



31761 081067134

DUPLICATE

5892



СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ.

Апрѣль № 4.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. ДЕМАКОВА, Новый пер., д. № 7.

1894.



~~56533~~
~~1894~~
~~apr.~~

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 29 марта 1894 года.



AP

50

557

1894

No. 4

Главная Контора «Съвернаго Вѣстника» по-
корнѣйше просить гг. подписчиковъ, пользующихся
разсрочкой, во избѣжаніе задержки въ высылкѣ май-
ской книжки, поторопиться высылкой 2-го взноса съ
указаніемъ адреса и № бандероли.

Обѣщанная новымъ годовымъ подписчикамъ въ
видѣ бесплатного приложения I-ая ч. «Записокъ Смир-
новой» будетъ разослана имъ вмѣстѣ съ іюньской
книжкой журнала.

СОДЕРЖАНИЕ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СТРАН.

I.— НА РАЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ. (Романъ въ 3-хъ частяхъ). Часть вторая. Гл. IV—VI. Вас. Немировича-Данченко	1
II.— О СЕБЯЛЮБИИ, КАКЪ ЕДИНСТВЕННОМЪ ДВИГАТЕЛЬ ВЪ ОБЩЕ- СТВЕННОЙ ЖИЗНИ. А. Исаева	41
III.— ГУМАНИТАРНОЕ УЧЕНИЕ ИЛИ ГУМАНИТАРИАНИЗМЪ. Г. С. Солта. Перевода съ англійского подъ редакціей «Посредника»	51
IV.— СЕМЕЙСТВО ПОДАНЕЦКИХЪ. Романъ. Часть вторая. Генрика Сенкевича. (Переводъ съ польскаго М. Кривошеева)	67
V.— МАТЕРИНСКОЕ ЧУВСТВО ЖИВОТНЫХЪ И ЧЕЛОВѢКА. Владимира Вагнера	95
VI.— ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА. Ек. Лѣтковой	119
VII.— СОНЕТЫ ПЕТРАРКИ. Переводъ Ник. Соколова	132
VIII.— ПОЭЗІЯ ПЕССИМИЗМА. «Лупза Аккерманъ». С. Кавость-Дехтеревой .	133
IX.— ЗАПИСКИ А. О. СМИРНОВОЙ. (Изъ записныхъ книжекъ 1826—1845 гг.). Пушкинъ о патріотизмѣ и ненависти къ врагу.— Пушкинъ о Мицкевичѣ.— Пушкинъ и Смирнова о крѣпостномъ правѣ.— Пушкинъ о европейской и русской исторіи.— Государь о Пугачевѣ и Стенькѣ Разинѣ	
X.— НА 25-ЛѢТИЕ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ А. Н. ОСТРОВСКАГО. Стихотвореніе. А. Апухтина	190
XI.— ЗАРНИЦЫ. Рассказъ. В. Микуличъ	191
XII.— НА МОТИВЪ СЮЛЛИ ПРЮДОМА. (Chants d'automne). Стихотвореніе. О. Чюминой	228
XIII.— КАПЛУНЫ. Пьеса въ одномъ дѣйствіи. Соч. Люсъена Декавъ и Жоржа Даріенъ. Переводъ кн. А. И. Урусова и Р. М. Хинъ.	229
XIV.— ИЗЪ ДНЕВНИКА АМІЕЛЯ. Переводъ съ франц. гр. М. Толстой подъ редакціей гр. Льва Толстого	249

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

	СТРАН.
I.—ОБЛАСТНОЙ ОТДѢЛЪ: БРОДЯЧАЯ РУСЬ. А. Карелина.	1
II.—ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ. Безлюдье въ уѣзда. — Какъ опредѣлить это явленіе. — Люди и земская работа. — «Моск. Вѣдомости» и «Одесскій Листокъ» о нынѣшней молодежи. — Смазные сапоги и бѣлая подкладка. — «Каспій» обѣ змеритальной кассѣ для литераторовъ. — Мужчина и двѣ женщины въ «Новоросс. Телеграфѣ». — Письма трехъ женщинъ въ «Одесскомъ Листкѣ». — Резултатъ женскаго учителства по «Кievлянину». — Право женщинъ на трудъ, какъ и на распоряженіе имуществомъ. Л. Прозорова	16
III.—КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ. А) КРИТИКА. Иванъ Щегловъ. Убыль души. Около истинъ. — К. Бальмонтъ. Подъ сѣвернымъ небомъ — Фалькенбергъ. Исторія новой философіи. — Виндельбандъ. Исторія древней философіи. — Альфонсъ Фуллье. Исторія философіи. — Кошловичъ. Исторія русскаго самосознанія по историческимъ памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ	34
Б) БИБЛИОГРАФІЯ. 1) Литература и педагогія. 2) Общественные науки и исторія. 3) Этнографія и естествознаніе. 4) Книги для дѣтей	44
IV.—ПИСЬМА ИЗЪ АМЕРИКИ. XLVI. «Международная выставка въ Санть-Франциско». В. Макъ-Гаханъ.	55
V.—ПИСЬМА ИЗЪ ЛОНДОНА. Лондонская еженедѣльная и ежемѣсячная печать. I. Нѣсколько параллелей. II. Финансы. С. Рыбакова.	60
VI.—ТЕАТРЪ. (Текущій репертуаръ). Бенефис г. Давыдова, «Гусь Лапчата». Салова. — Московские драматурги и унтеръ-офицерская вдова. — Юбилей И. И. Сосницкаго. — Театральная благотворительность. — Конецъ большого сезона и его итоги. — Школьные спектакли. Д. Д. К.	71
VII.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНИЕ. Русско-германскій торговый трактать. — Попыткіе пассажирскаго тарифа на желѣзныхъ дорогахъ	82
VIII.—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЗАМѢТКИ. Г. Михайловскій и его разсужденія о русской литературѣ. А. Волынского.	98
IX.—ИЗЪ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ. Гладстонъ и Розбері. — Голосъ русскаго о швейцарской литературѣ. — Романический эпизодъ изъ жизни Альфieri. — Стихотворенія Ады Негри. — О женскихъ врачебныхъ курсахъ.	122
X.—ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ. Л. Д.	133
XI.—КОНЕЦЪ СТАТЬИ пр. В. Модестова. О Петербургскомъ университѣтѣ	138
XII.—ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ. (Инцидентъ на юбилѣе г. Скабичевскаго). А. Волынского	145
XIII.—КНИГИ, поступившія въ редакцію для отзыва.	

НА РАЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ.

(Романъ въ трехъ частяхъ).

IV.

Нужно сказать правду, Калерія Алексѣевна далеко не всю ночь проспала такъ спокойно. Часовъ около пяти, ее будто толкнуло — она разомъ поднялась и нѣсколько минутъ не могла сообразить, что случилось? Она даже не отдавала сама себѣ отчета — спитъ она или нѣтъ? Только когда при слабомъ разсвѣтѣ, проникавшемъ въ комнату изъ-за гардинъ, она увидѣла себя въ зеркало сидящею, спустивъ ноги съ постели, — она очнулась, выпила содовой воды, затѣмъ посмотрѣла на часы. Что это съ нею? Неужели незамѣтно для самой себя она такъ разволновалась вчера. Кажется нѣтъ? Шожалуй, еще сегодня будетъ блѣдна и желта?.. Въ самомъ дѣлѣ — приснилось ей что-то? Нѣтъ — по крайней мѣрѣ она ничего не помнить. Чтобы привести себя въ порядокъ, она прошла по толстому и мягкому ковру. Босыя ступни ея почти сплошь уходили въ него — и она съ удовольствиемъ ощущала его теплоту... Отъ чернаго шолка рубашки ноги ея казались бѣлѣе и нѣжнѣе. Она еще разъ взглянула въ зеркало и съ ревнивою завистью подумала: „неужели у той, у другой лучше“? Вѣрно, какъ у всѣхъ, даже у самыхъ красивыхъ, женщинъ — колѣна немножко кривы; положимъ она, Селицкая, меныше, миниатюрнѣе. Да вѣдь маленькия женщины всегда держать въ рукахъ такихъ большихъ и крупныхъ людей, какъ Левъ Самойлович! И чего она, Наталья Григорьевна, замѣшалась сюда. Мало-ли, что было когда то! Да, собственно говоря, даже ничего и не было у нихъ! Самсоновъ теперь принадлежитъ ей, Селицкой. Она вѣдь нарочно не пряталась, не скрывалась, компрометировала себя, — чтобы Льву Самойловичу труднѣе было съ нею разстаться, бросить ее. Нѣтъ, все это сущая чепуха, — ну, встрѣтилъ ту, увлекся, поте-

ряль голову... Не всякое лыко въ строку! Онъ прежде, случалось, ухаживалъ и она это знала. Въ „Francillonе“ увидѣлъ артистку одну въ Діешѣ, и съ ума сошелъ. Бредилъ ею! Калерія Алексѣевна не только не приревновала его, а напротивъ, познакомилась съ тою, къ себѣ пригласила, его представила, а сама даже на недѣлю въ Парижъ уѣхала. Чѣмъ же кончилось? Самъ же прилетѣлъ къ ней сюда и въ ногахъ валялся. Положимъ, теперь серьезнѣе. Онъ два мѣсяца не вспомнилъ о ней, ни слова ей не написалъ. Даже не отвѣчалъ на ея письма. Но вѣдь онъ и всегда былъ лѣнивъ писать... Да сверхъ того, она знаетъ свою силу. Сегодня здѣсь онъ опять будетъ у нея въ рукахъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь это уже *сегодня!* И у нея сердце захолонуло.А что, ежели?.. Ежели онъ скажетъ Пьеру — „поблагодари мадамъ Селицкую. Я рѣшилъ остановиться въ отелѣ и заѣду къ ней послѣ...“ Что если это конецъ ихъ отношеній? Она сѣла въ кресло и задумалась. Разумѣется, и это можетъ случиться, еще бы. Какъ онъ настроенъ! Если онъ весь еще полонъ тою, о ней одной только и думаетъ. Если онъ не хочетъ останавливаться въ Парижѣ, а переждетъ отъ поѣзда до поѣзда? Впрочемъ нѣтъ, у него здѣсь важныя дѣла, онъ не можетъ бросить ихъ или поручить другимъ... Селицкая отлично знаетъ это... Лучше будетъ сейчасъ же позвонить, вѣдь Жаниѣ взять ея письмо у Пиера и самой поѣхать встрѣчать Самсонова. Какъ это ей раньше не пришло въ голову, вѣдь это такъ просто. Случалось и прежде она его встрѣчала. Она подошла къ звонку, но вдругъ остановилась. А вѣдь этого, именно этого нельзя сдѣлать... Нѣтъ, разумѣется, нельзя! Вѣдь первая минута когда они увидятся другъ съ другомъ, должна все рѣшить... А тамъ въ этой толпѣ, въ суматохѣ, когда всѣ куда то спѣшатъ, кричатъ и у каждого голова кругомъ идетъ... Если онъ настроенъ дурно, если онъ охладѣлъ за это время къ ней, отвыкъ отъ нея — такое свиданіе еще больше пожалуй расхолодитъ его и онъ совсѣмъ возьметъ себя въ руки, упрется, что случается часто съ слабохарактерными людьми, и тогда его не увидишь... Нѣтъ, надо рискнуть... Дождаться его здѣсь... Быть такою, какой она еще никогда не была — и тогда пусть онъ попробуетъ отвертѣться отъ нея! Она даже вдругъ почувствовала приливъ какой то злобы къ нему. Въ самомъ дѣлѣ, извольте изъ-за этого Адониса по ночамъ волноваться, да думать? Калерія Алексѣевна сообразила, что еще можетъ проспать до восьми; значитъ — два съ половиною часа. Легла въ постель, охолодѣвшую за эти нѣсколько минутъ, и съ наслажденiemъ подъ одѣяло протянула свои озябшія ноги... Сонъ не сейчасъ же явился къ ней въ этотъ разъ. Она начала считать до тысячи и, разумѣется, не досчитала. Скоро ея ровное и тихое дыханіе послышалось изъ-за альбома и зеркало теперь

отражало только ея спокойное, розовое лицо, красивая блыка хотя и нѣсколько полная руки и круглое плечо, съ котораго сдвинулось одѣяло.

Левъ Самойловичъ чувствовалъ себя не хорошо...

Эти два мѣсяца ему дались не легко. Начались такъ ярко, восторженно и кончились недовольствомъ собою, разбитыми нервами! Все точно развихтилось и расходилось въ немъ. Въ самомъ дѣлѣ, такъ страстно любить женщину, какъ онъ ее любилъ! Быть постоянно, постоянно съ нею и въ то же время оставаться такъ далеко отъ нея!.. У него болѣли и душа и тѣло. Откинувшись въ уголь (онъ никогда не спалъ на жѣлезной дорогѣ), онъ закрывалъ глаза, мысленно представляя Наталью Григорьевну у себя въ рукахъ, въ полной его волѣ. Рисовалъ ее не защищающеюся, не отталкивавшею его — а покорною, отдававшуюся ему съ тѣмъ неистовствомъ, какое удущливой и одуряющей волною поднималось въ немъ самомъ и совсѣмъ кружило ему голову. Но тутъ же у него внутри вдругъ все падало; разсудокъ подсказывалъ ему, что онъ какъ ребенокъ тѣшилъ себя несбыточнымъ, и онъ старался думать о чёмъ-нибудь другомъ, но не могъ... Нѣсколько разъ, когда онъ забывался — Наташу точно заслонила вдругъ Калерія Алексѣевна — и онъ даже начиналъ радоваться. Какое-то спокойствіе охватывало его. Онъ весь подчинялся знакомому обаянію ея безконечной нѣжности, ея ласковой граціи, очарованію ея голоса, въ которомъ было что-то совсѣмъ заколдовавшее. Очнувшись, онъ даже негодовалъ на себя. „Фу, какая гадость, думалъ онъ. Съ небесъ да прямо къ черту! Не казалась ли она еще наканунѣ ему совсѣмъ противною? Вѣдь онъ насквозь видѣлъ эту Калерію Алексѣевну. Правда, она все-таки еще и теперь хороша! Въ своемъ родѣ. Да! Совершенство даже и опять-таки въ своемъ родѣ... Но вѣдь это куртизанка, въ полномъ смыслѣ слова куртизанка. Она его не любить. Ей нужны его богатство, брилліанты, виллы. Сдѣлайся онъ сегодня нищимъ — она его швырнетъ какъ растоптанную туфлю. Онъ даже съ нею не увидится въ Парижѣ. Кончитъ свои дѣла и уѣдетъ. Она вѣдь и не знаетъ, что онъ будетъ здѣсь! Правда, ему впервые придется помѣститься въ отелѣ. А онъ такъ привыкъ къ тѣмъ комнатаамъ, рядомъ съ ея будуаромъ. Такъ все удобно устроено тамъ: онъ точно у себя дома. Если бы не противная рожа Романа Викентьевича. Да впрочемъ этотъ только за обѣдомъ и завтракомъ показывается. А въ самомъ дѣлѣ ему, Льву Самойловичу, надо бы хоть немножко успокоиться, вѣдь этакій двухмѣсячный „делиріумъ“ хоть кого дуракомъ сдѣлаетъ. Если бы въ послѣдній разъ еще остановиться у Коко?.. А? Въ послѣдній разъ?.. Вѣдь это даже не измѣна Свѣтлинѣ-Донецкой. Та вѣдь и не при-

надлежитъ ему совсѣмъ... Сблизя оны, кончись все между ними — иное дѣло. Отдайся ему она — да онъ бы скорѣе убилъ „Кокошку“ (какъ онъ презрительно называлъ Калерію Алексѣевну) чѣмъ опять попасть къ ней. Нельзя же ему, если еще годъ протянется вся эта церемонія развода, оставаться такъ. Онъ слишкомъ здоровъ и силенъ и избалованъ. Ей легко, у нея холодная натура и она до сихъ поръ дѣвушка — другое дѣло. Вѣдь онъ на это не посмотритъ какъ на нѣчто серьезное. Тутъ ни любви, ни увлеченія!.. Вѣдь онъ души своей, сердца своего не отдастъ! Онъ ни на минуту не перестанетъ думать о той, — другой!.. Та будетъ вѣчно царить въ его мысляхъ, мечтахъ... Но чтобы наконецъ не сойти съ ума — онъ долженъ хотя на день, на два привести въ порядокъ свои измученные нервы.

— Что это я? вдругъ приходилъ онъ въ себя, представляя мысленно строгій образъ Натальи Григорьевны, его „Наташи...“ Какимъ грустнымъ взглядомъ она проводила его въ послѣдній разъ... И это онъ, онъ, который на нее молится — не успѣла она еще домой доѣхать — а онъ уже мечтаетъ о другой. „И башмаковъ еще не износила“, вспоминается ему Шекспировская фраза. Въ самомъ дѣлѣ, это уже и не не измѣна, а подлость, просто подлость... Она вѣдь, Свѣтлинъ-Донецкая и мысли не допускала, чтобы онъ былъ способенъ на такую низость. Да какая же низость? добивался онъ самъ у себя. Я єду къ себѣ, пользуюсь тѣмъ, что мое, и только! Вѣдь это просто, совсѣмъ просто. „Я долженъ даже для Наташи приберечь себя! Вѣдь это въ ея интересахъ. Что же хорошаго если ей наконецъ достанется больной и нервный мужъ?“.. И затѣмъ онъ совсѣмъ непослѣдовательно заканчивалъ: „Гдѣ же остановиться: въ „Грандъ-отелѣ“ или „Континенталѣ“? И тамъ, и тамъ шумъ, топотня лакеевъ по коридорамъ, какъ отливъ и приливъ въ морѣ, прїѣздъ и отѣзду цѣлыхъ стаи красноносыхъ и противуестественныхъ англичанокъ. Сейчасъ же къ нему полѣзетъ всякая шушера, и о каждомъ ему станутъ докладывать, вся эта жадная, голодная сволочь, живущая бездѣльничая отъ одного русскаго до другого. Всякие проJECTеры, изобрѣтатели, аферисты, которымъ нужно только нѣсколько тысячъ, чтобы облагодѣтельствовать весь міръ. А у него никогда не было на столько силы воли, чтобы крикнуть на нихъ какъ Гоголевская невѣста: пошли вонъ, дураки. Онъ каждого брезгливо выслушивалъ, мысленно посыпая его къ черту, и даваль ему поскорѣе стофранковую бумажку, только чтобы отѣлаться. И потомъ въ самыхъ лучшихъ отеляхъ — точно чужимъ потомъ пахнетъ, и вѣдь какъ знать, кто на этихъ постеляхъ спалъ? Хорошо, если чахоточные... А если хуже. Вѣдь это что — перемѣнять бѣлье и радуйся. А если все кругомъ пропитано заразою ихъ дыханія, испареніями больного тѣла.

Въ Біарицѣ онъ посыпалъ все въ Баіону купить. Нужно и въ Парижѣ сдѣлать тоже самое—все вновь... А дерево кровати, заплеванные обои стѣнъ, заплеванный коверъ. Какая гадость... Ну, да дѣлать нечего. Какую нибудь недѣлю, а тамъ онъ побѣдетъ въ Петербургъ къ себѣ—и отдохнетъ. Мало-по-малу подъ однообразное движение вагона онъ сталъ засыпать и опять ему снилась то Наталья Григорьевна чистая, цѣломудренная, какъ христіанская мученица въ Римскомъ колизѣ. „Почему въ Римскомъ колизѣ?“ добивался онъ... „Ахъ да, это у меня картина такая есть“. То вдругъ вмѣсто нея—передъ нимъ сидѣть и нѣжно, нѣжно смотрѣть на него Селицкай и ластится къ нему какъ котенокъ — „возьми же меня на колѣна, погладь, за ушкомъ почеши“. И говорить ему что то, а Самсонову кажется, что она мурлыкаетъ и ему становится вдругъ спокойно и хорошо, точно озабочему — въ теплой комнатѣ... А позади — лакей чуть дотрогивается до его плеча. Онъ оборачивается. „Извините, шепчетъ тотъ, я уже давно зову васъ, да вы не слышали, mon prince! Я хотѣлъ васъ предупредить, что на этой кровати спать нельзя: тутъ у насъ недавно тифозный больной лежалъ. Изволите слышать, какой кислый запахъ кругомъ“. Левъ Самойловичъ вскакиваетъ — и просыпается. Черная ночь смотрѣть въ окно вагона, закрытый синимъ кашемиромъ огонекъ чуть-чуть мерещится, бросая въ купѣ какія-то странныя тѣни. Глухо стучать колеса по рельсамъ и гудить, и пыхтить, и хрипить поѣздъ, уносясь все дальше и дальше на сѣверъ... Левъ Самойловичъ снимаетъ занавѣску со стекла вверху, и оттуда вдругъ слѣпить ему глаза яркій огонь газа. Вынимаетъ газету и начинаетъ ее читать, но ничего не можетъ разобрать. Давно ли онъ сталъ такимъ идиотомъ? Или это Полъ де-Кассаньякъ такъ нынче пишетъ, что ничего не поймешь. Да и понимать нечего: все это такъ чуждо ему и такъ мелко въ сравненіи съ его личнымъ страданіемъ!..

Подъ утро онъ заснулъ—и проснулся когда въ окно къ нему вдругъ сунулось какое-то горбоносое лицо съ закрученными вверхъ по жандармски усами и бородкой запятою.

- Monsieur, voulez-vous... votre billet!
- Развѣ мы прїѣхали? по-русски спросилъ его Самсоновъ.
- Comrends pas... Monsieur, votre billet.
- Ахъ, pardon!

И Самсоновъ отдалъ ему билетъ, смотря въ окно на однообразныя линіи домовъ парижскаго предмѣстія. Въ самомъ дѣлѣ, сколько ему еще трепаться? По тихимъ обраинамъ, по сѣрымъ улицамъ до рѣки, потомъ черезъ Сену, оттуда по разнымъ avenues — въ скверной извоющічѣй крытой каретѣ „съ gallerie“ на верху. Ему всегда онѣ казались похожими на гроба. А тамъ прїѣдешь — отѣлѣ-

ніе въ гостиницѣ еще неубрано. Окурки вездѣ. Грязныя тряпки на умывальникѣ. Постель распотрошили да такъ и оставили. Фу мерзость! Ну, да дѣлать нечего... Поѣздъ, когда контролеръ собралъ всѣ билеты, тронулся, медленно вкатился, гремя и свистя, подъ закопченые стеклянные своды дебаркадера. Какая-то толпа народа. Все чужія лица. Какъ вообще много на свѣтѣ чужихъ людей, которымъ ни до тебя ни тебѣ до нихъ нѣтъ никакого дѣла. Вѣдь если сейчасъ поѣздъ этотъ перейдетъ черезъ его, Самсонова, тѣло — никому кромѣ него не будетъ больно, и никто кромѣ него не умретъ... Бросается изъ празднаго любопытства, а пожалуй ни одинъ платка не пожертвуетъ, чтобы перевязать рану. Развѣ онъ самъ не помнить въ морѣ, около его отеля, съ какимъ-то мальчуганомъ въ водѣ обморокъ сдѣлался. Вѣдь такъ-бы и умеръ, потому что всѣ, въ томъ числѣ и Самсоновъ, вмѣсто того, чтобы войти въ воду и поднять мальчика, только кричали, пока прибѣжалъ рыбакъ и вытащилъ. Хорошо, что пришелъ въ себя бѣдняга. А то-бы изъ за того что Левъ Самойловичъ боялся штаны себѣ замочить — такъ-бы и погибъ.

— Monsieur!

Самсоновъ даже попятился. Передъ нимъ стоялъ, снявъ шляпу Пьеръ и, радостно улыбаясь, объявлялъ, что ландо ждетъ его и протягивалъ ему записку... „Совсѣмъ одна, мужа нѣтъ... сердце замираетъ... вся, вся ваша“... безпорядочно мелькало въ его глаза и точно какая-то теплая волна приливала къ нему и подхватывала его.

— Кто васъ послалъ?.. Совсѣмъ уже глупо переспросилъ Самсоновъ.

— Mais... Madame la princesse!.. оторопѣвъ, отвѣтилъ тотъ, тоже ничего не понимая.

— Да, да... Правда... Я не могу сейчасъ къ вамъѣхать... Мне надо остановиться въ самомъ городѣ, въ центрѣ, въ Грандъ-Отелѣ, у меня дѣла... Экипажемъ я пожалуй воспользуюсь.

Пьеръ бросился къ ландо... Самсоновъ єхалъ и хвалилъ себя. „Въ самомъ дѣлѣ, отлично сдѣлалъ. Такъ и слѣдуетъ... Что за слабость! Надо-же разъ навсегда взять себя въ руки и дѣйствовать, какъ слѣдуетъ порядочному человѣку“. Его даже охватило восторженное чувство. Вовсе ужъ онъ не такой слабохарактерный. Дня черезъ два онъ, пожалуй, заѣдетъ къ Калеріи мимоходомъ. А вѣдь она ждетъ его теперь, вся розовая, теплая отъ сна... И въ самомъ дѣлѣ надо любить Наташу такъ, какъ, онъ чтобы отказаться ото всего. Когда же конецъ этимъ безконечнымъ улицамъ съ сырьми домами... Слава Богу, Сена! Вонъ соборъ парижской Богоматери весь въ чешуѣ и кружевѣ барельефовъ, статуй, рѣзьбы... Проѣхали уже островъ. Опять рѣка. Площадь Побѣды съ бронзовымъ Людовикомъ XIV. Биржа... Ну сей-

часъ и бульваръ... А не побѣхать-ли и остановиться у Селицкой... Въ послѣдній разъ вѣдь? Нельзя-же какъ сапожнику разрывать. Надо объясниться... Вѣдь не хамъ-же онъ. И передъ людьми... Что толькъ-же Пьеръ подумаетъ... Кучеръ... Это безглѣбно и по отношенію къ ней безжалостно... Даже просто низость, и именно одна низость.

И вдругъ онъ опять поймалъ себя на этомъ—и даже всхынулъ. Въ самомъ дѣлѣ—какая онъ слабохарактерная дрянь. Вѣдь только что рѣшилъ... Надѣ нимъ всѣ—всѣ смеяться станутъ. Вѣдь это просто ни на что не похоже. Ни на что!.. Вѣдь—любой мальчишка сильнѣе его. Нѣтъ, разумѣется, онъ останется вѣренъ Наташѣ. Пусть это донъ-кихотство, пусть это смѣшно... Ему все равно, она—Свѣтлинъ-Донецкая, пойметъ и оцѣнитъ это—ее это, напротивъ, обрадуетъ. Въ самомъ дѣлѣ, нужно-же разъ навсегда разорвать всѣ связи съ прошлымъ! Оно и легче—кончилъ и забылъ иничто, по крайней мѣрѣ, напоминать не станетъ!.. Онъ заплатитъ Калеріи Алексѣевнѣ—она и сама пойметъ—не ребенокъ. Вѣдь она его и цѣнила только по деньгамъ, значитъ деньгами отъ нея и отѣлаться легко. О чёмъ-же еще тутъ волноваться и мучиться... Коляска подѣвжала къ Грандъ-Отелю... Кучеръ повернуль туда, сталъ придерживать ужъ лошадей, какъ вдругъ Левъ Самойловичъ самъ, неожиданно для самого себя, крикнулъ какъ-то особенно рѣзко и рѣшительно:

— Пьеръ!..

Тотъ живо обернулся съ козелъ.

— На Avenue de Wagram!

Крикнулъ и изумилъся! Съ чего это — вдругъ.

„Ну то-то! Такъ и отпечаталось на лицѣ Пьера... „Какая я дрянь, думалъ про себя Самсоновъ... Ну да въ послѣдній, въ послѣдній разъ и никогда, никогда больше“.

Коляска свернула на боковую улицу и мягко покатилась по асфальту...

Калерія Алексѣевна встала въ восемь часовъ, заботливо осмотрѣла себя, свои комнаты, привела въ порядокъ волоса, освѣжила лицо, смѣшавъ одеколонъ съ водою; опрыскала все кругомъ любими ми духами Самсонова. Горничной она отдала приказъ—если Левъ Самойловичъ пріѣдетъ, сказать ему, что она всю ночь не спала, заснула только что, небольше получаса назадъ и что поэтому она, Жанна, не рѣшается ее разбудить. Затѣмъ, отпустивъ ее, она отомкнула двери въ комнаты къ Самсонову и ключи даже бросила на каминъ, чтобы какому-нибудь дураку не вздумалось оттуда запереть ее. Дверь осталась такимъ образомъ только притворенной. Окончивъ со всѣмъ этимъ, она прилегла на кушетку. Время ей показалось страшно медленно. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тянется... И часы какъ

громко стучать на ночномъ столикѣ. Она взяла ихъ и положила подъ подушку. Они и оттуда слышны ей, противные. Слабые лучи играютъ на золотистомъ рисункѣ, на розовой отдѣлкѣ на стѣнахъ, какъ въ брильянтѣ горятъ на какомъ-то флаконѣ туалетнаго столика. Чу... Подъѣхало ландо... Мягко подкатило сквозь ворота рѣшетки къ подъѣзду. Стукъ на лѣстницѣ, стукъ въ комнатѣ рядомъ. Голосъ Жанны... Вопросы Льва Самойловича... Тяжелая поступь лакеевъ, вносятъ чемоданы. Шорохъ по коврамъ пола. Какой-то глухой говоръ. Бульканье воды — моется съ дороги. Люди ушли... Что-же онъ не идетъ сюда?.. Она ни за что къ нему. Пусть придетъ самъ и увидитъ ее... Шаги его. Тише и тише — замерли въ другой комнатѣ. Нѣтъ вотъ опять у самой двери... Остановился. Ей чудится, что она слышитъ дыханіе его за этою дверью... Чего-же онъ медлитъ? Какъ верхнително пробуетъ заперта-ли она... Повернуль ручку — дверь прютворилась... „Калерія Алексѣвна“... Какъ онъ это тихо, боится разбудить, или виноватымъ себя чувствуетъ? Изъ полуопущенныхъ рѣсницъ она въ зеркало видѣть, что онъ въ полуоткрытую дверь только голову продвинулъ и смотритъ на нее...

Ишь, подумалъ про себя Самсоновъ, утомилась бѣдная. Всю ночь она изъ за меня проволновалась. Хорошъ-бы я былъ, если-бы остановился въ Грандъ-Отель?.. А руки... Нѣтъ такихъ прелестныхъ рукъ!.. Коко... Ты спиши... Ты слышишь меня...

Она ровно дышала... Сдѣлала во снѣ движеніе. Точно сквозная ткань пеньюара была ей тяжела, и нѣжная прелестная плечи чуть-чуть порозовѣли изъ-подъ нея.

Левъ Самойловичъ на цыпочкахъ, хоть коверь и безъ того дѣлалъ беззвучнымъ всякое движеніе, подошелъ къ ней...

— Ахъ какъ хорошо. И вдругъ его обдало знакомыми духами, знакомымъ очарованіемъ уютности, покоя, удобной любви, нѣгою этого красиваго тѣла, такъ легко и слабо дышущаго, которое онъ можетъ взять сейчасъ, сию минуту — потому что оно принадлежитъ ему.

— Коко!.. Коко! — еще громче проговорилъ онъ. Что-то потянуло его къ ней. Онъ не замѣтилъ самъ какъ наклонился и поцѣловалъ ее...

— Лева, милый! Радость моя, красота моя! И точно сейчасъ проснувшаяся, она вдругъ приподнялась и обвилась вокругъ его шеи своими мягкими и нѣжными руками...

Кто кого цѣловалъ — онъ ее или она его...

— Ты устала, ты не спала?

— Тебя ждала... И она такъ и замерла подъ его губами, порывисто и жарко дыша.

— Я тоже усталъ. За все это время усталъ!.. Чего-чего только

ни изнанкался. Если-бы ты знала, какъ я измучился. Чуть съ ума не сошелъ. Слава Богу, что пріѣхалъ сюда.

Если-бы онъ былъ повнимательнѣе онъ-бы замѣтилъ какъ ея глаза вдругъ блеснули. Точно радость торжества на минуту показалась въ нихъ, но тотчасъ-же опять погасла. Она не стала даже его спрашивать — не все-ли равно. Самъ ей все скажетъ, во всемъ покается. Она слишкомъ привыкла къ этому взрослому ребенку и хорошо понимала его...

— Ты знаешь, я хотѣлъ, чтобы не беспокоить тебя, остановиться въ отелѣ...

— Давно-ли ты это боишься беспокоить меня? насыщливо обернулась она къ нему и съ тою-же лукавою улыбкою. Самсоновъ не сводилъ глазъ отъ дразнившей его сквозной ткани пеньюара. Калерія Алексѣевна вынула длинный мяг cantile халатъ и бросила его Самсонову.

Черезъ часъ онъ уже спалъ... Она смотрѣла на него влажными глазами, съ которыхъ еще не сбѣжала вѣга успокиеннай страсти. Смотрѣла не подымаясь съ подушки, чтобы не разбудить Самсонова, и думала: „Ну, теперь онъ опять мой... А въ самомъ дѣлѣ—Приглядовъ правъ. Та, — въ мою пользу работала... Спасибо ей! Ну, теперь ты не уйдешь отъ меня. Я вижу, что очень-то тебя распускать въ самомъ дѣлѣ опасно“...

V.

Калерія Алексѣевна больше не спалось.

Она не подымалась, чтобы не разбудить Льва Самойловича. Прислушиваясь къ его ровному дыханію, она невольно поддавалась какому-то приливу досады и негодованія. Въ самомъ дѣлѣ—развѣ та, другая, не знала, что Самсоновъ теперь принадлежитъ ей и только ей одной. Съ какой стати — она, честная женщина, у которой есть все, вздумала ради какихъ-то сентиментальныхъ воспоминаній отнимать у Селицкой этого сѣверного богатыря. Ужъ, разумѣется, не Калерія Алексѣевна станетъ щадить ее... Слишкомъ ей дорого стоить слабохарактерный богачъ, котораго сама судьба послала ей послѣ столькихъ тяжкихъ испытаній. Наталья Григорьевна и безъ того хорошо живется: у нея есть общество, почетъ, положеніе, что для самой развязданной женщины всегда является предѣломъ доступнаго ей счастья... Къ тому же—ужъ если толковать о разводѣ—а Калерія Алексѣевна слишкомъ была умна и хорошо поняла, что разъ сближеніе Самсонова съ Свѣтлинъ-Донецкой началось, навѣрное мысль о такомъ разводѣ явилась или у него или у нея — такъ почему же не развестись ей самой, Селицкой, съ своимъ мужемъ и не выйти за Льва Самойло-

вича... И мысль ея дѣятельно заработала въ этомъ направленіи. Въ самомъ дѣлѣ, оглядываясь на свое прошлое—она прекрасно вѣдь понимала, что развратными и падшими женщины на свѣтѣ не рождаются, что ихъ дѣлаетъ такими чай-нибудь обманъ, что прежде чѣмъ стать хищницей и другихъ подчинять себѣ — всякая изъ такихъ, какъ она, сама испробуетъ роль жертвы... И Калерія Алексѣевна не сразу сдѣлалась тѣмъ, чѣмъ она была теперь. Она себя помнить, и хорошо помнить совсѣмъ иною. Она даже зажмурилась передъ наивнымъ и милымъ лицомъ дѣвушки, вдругъ взглянувшимъ на неё Богъ знаетъ изъ-за какихъ потемокъ... Селицкая даже приподнялась, бросила за спину лишнюю подушку и, неотступно глядя въ свое прошлое, далекое, чудное прошлое, опять переживала всѣ эти десятки лѣтъ разочарованій, обмановъ, потерь, оставившихъ въ ея душѣ такое мстительное чувство... Въ самомъ дѣлѣ это она—она сама!..

Ей уже минулъ шестнадцатый годъ... Бѣдная дѣвушка, она рано осталась сиротою. При переходѣ въ седьмой классъ московскаго института, ее позвали какъ-то къ начальницѣ. Маман встрѣтила ее торжественно и прежде чѣмъ сообщить ей о смерти отца, нѣсколько разъ прикладывала къ сухимъ глазамъ тонкій батистовый платокъ. Поцѣловавъ дѣвушку, она болѣе по привычкѣ поправила ей пелеринку, посвятила rauvre petite въ великую тайну о томъ, что мы всѣ рано или поздно должны умереть, что le bon Dieu никакого исключенія изъ этого правила не допускаетъ. Затѣмъ, освѣдомясь, когда она получила послѣднее письмо отъ отца, патетически воскликнула: плачь, плачь бѣдное дитя, небо отзвало его къ себѣ, провидѣнію понадобилась его добрая душа. „Бѣдное дитя“ плакало нѣсколько дней, хотя толкомъ само не понимало о чѣмъ. Ея отецъ не жилъ съ женой—и Калерія его смутно помнила, но все-таки не настолько смутно, чтобы не сообразить, что провидѣніе въ данномъ случаѣ ошиблось. „Добрая душа“ часто заставляла плакать мать дѣвочки. Наканунѣ окончательного разрыва—отецъ ея явился домой только для того, чтобы оратъ на несчастную забитую женщину, швырять чѣмъ попало въ зеркала, топать на всѣхъ такъ, что жильцы съ низу посыпали узнавать, что случилось на верху. Зачѣмъ понадобился онъ небу—она не знала, но ея положеніе, бѣдной сиротки, все-таки было довольно интересно. Во-первыхъ, ею всѣ занимались. Даже самыя свирѣпые классныя дамы, у которыхъ губы давно свело въ ниточку, а носы отъ злости заострились на подобіе копій, и тѣ гладили ее по головкѣ и называли „ангеломъ“; учителя ставили ей высшіе баллы, а подруги закармливали конфектами и въ ея альбомъ писали чувствительныя посланія, гдѣ почему-то слово „сирота“ рифмовалось съ „заботою“, а ея „милому“ отцу рекомендовалось распустить

свои „бѣлоснѣжныя крылья“ и слетѣть къ „окропленному слезами“ изголовью Калеріи. Начальница института, узнавъ, что за дѣвочку будетъ продолжать платить ея тетка—еще усугубила свою нѣжность и „бѣдный ангелъ“ такимъ образомъ плавалъ въ цѣломъ морѣ общаго сочувствія. Черезъ два года она окончила институтъ—и тутъ-то ея интересная роль совершенно оборвалась. Тетка сочла всѣ свои обязанности выполненными вполнѣ, тѣмъ болѣе, что она уѣхала въ Ниццу и тамъ вышла замужъ за какого-то эксь-крупье, обольстившаго ее своими выпученными черными глазами и бородкой Henri IV. Калерія осталась одна на цѣломъ свѣтѣ, лицомъ къ лицу съ страшнымъ и невѣдомымъ ей океаномъ жизни, въ вспѣненныхъ волнахъ котораго гибли и болѣе опытные пловцы. Ея незнаніе людей еще помогало дѣвшейся оставаться спокойной, впрочемъ, до того момента, когда начальница пригласила ее къ себѣ и задала „бѣдному ангелу“ довольно суровый вопросъ: что вы, моя милая, думаете дѣлать съ собою?.. Раувре petite отлично знала, гдѣ находится Пекинъ и Вальпараизо, какими подвигами отличился Мстиславъ Удалой — но еѣ разрѣшенію подобныхъ диллемъ не была подготовлена вовсе.

— Что-же вы, моя милая, думаете дѣлать съ собою?

Самымъ естественнымъ было бы отвѣтить: этому у насъ не учили! Но она во-время вспомнила прощальное напутствіе отца Серафима, русая борода котораго ей особенно нравилась и растроганно проговорила:

— Я думаю посвятить всю себя счастію моихъ близкихъ.

— Это, ma chère, прекрасно и дѣлаетъ вамъ честь, но какъ же именно вы исполните это?

— Я буду стараться, татаан! У меня за сочиненіе было всегда пять балловъ и за географію тоже. Потомъ madame Краснушкина находила, что у меня прекрасное туше.

— Но, куда вы поѣдете, отсюда? Есть у васъ родные, знакомые, которые могутъ васъ пріютить?

— Моя подруга Барсукова звала меня къ себѣ.

— Да, но ея матушка небогатая женщина и живеть далеко... Въ Симбирской губерніи. Ваше положеніе безвыходно. Тетя — сама вышла замужъ. Она вамъ прислала триста рублей на то, чтобы одѣться, и только. Даже просила васъ больше на нее не разсчитывать. У васъ есть еще родные?

— На небесахъ!.. И Калерія сочла необходимымъ прослезиться. Я надѣюсь на Бога, татаан, я буду ему молиться. Богъ меня не оставитъ.

— Вотъ что... Я не могу допустить, чтобы вы погибли. Пока я вамъ не пришу что-нибудь — вы останетесь при институтѣ пе-

пиньеркой. Я не могу дать вамъ жалованья, но я буду о васъ заботиться. А тамъ мы посмотримъ—можетъ быть найдется что-нибудь получше. Только помните, ваше поведеніе должно быть примѣромъ всѣмъ моимъ воспитанницамъ.

Такимъ образомъ оказалось, что Вальпариозо и Мстиславъ Удалой вовсе не такъ бесполезны. Калерія осталась при институтѣ, что дало случай ея подругамъ выразить къ ней всю полноту своей любви. Одна присыпала ей конфетъ отъ Флея, другая вышила ей сашѣ для платковъ, четвертая поссорилась даже съ братомъ, убѣждая его жениться на ней—въ полномъ убѣжденіи, что нѣтъ такого каменного мужскаго сердца, въ которое Мстиславъ Удалой и Вальпариозо не пробили бы глубокой бреши. Но конфеты отъ Флея скоро были съѣдены, полотенце съ русскимъ узоромъ истрепалось, сашѣ съ пестрыми незабудками—тоже, а братцы принадлежали къ нынѣшнему благоразумному поколѣнію и взамѣнъ Мстиславовъ Удалыхъ—требовали невѣсть съ процентными бумагами или, по крайней мѣрѣ, съ служебною протекціей, а пока довольствовались маскарадами нѣмецкаго клуба. Калерію первое время часто приглашали на свадьбы. Ея подруги, удовлетворившія этимъ условіямъ, выходили довольно быстро замужъ. Калерія, уже вошедшая въ роль пепиньерки, давала имъ наставленія о томъ, чего именно сама не знала, т. е. какъ слѣдуетъ жить и, сжимая губы, начинавшія у нея блѣднѣть, довольно строго прислушивалась къ разсужденіямъ болѣе легкомысленныхъ товарокъ. Такимъ образомъ изъ нея мало-по-малу могла выработатья настоящая классная дама того иконописнаго типа, которымъ особенно гордятся наши институты. Черезъ нѣсколько лѣтъ у нея неизбѣжно заболѣли бы зубы и отъ нея запахло бы камфорою, еще немного спустя она-бы высохла, носъ заострился-бы копыемъ, губы свело-бы въ ниточку и она-бы даже перестала гадать на трефового короля!. Тѣмъ болѣе что стѣны института, казалось, все выше и выше подымались между нею и окружающимъ міромъ. Все выше и выше по мѣрѣ того, какъ подругъ оставалось менѣе. Жизнь съ ея волненіями и тревогами, съ ея заботами, радостями и печалями отливалась куда-то прочь, оставляя за собою безплодныя песчаныя отмели. Скоро и послѣднія понятія обѣ этой жизни Калерія утратила совсѣмъ. Въ этомъ отношеніи институтскія дамы и китайскіе богдыханы поставлены въ совершенно одинаковыя условія. Жизнь не смѣеть ихъ касаться и, даже выѣзжая однѣ изъ своихъ педагогическихъ темницъ, другіе изъ своихъ дворцовъ, видѣть передъ собою только чуждыя имъ пустыя улицы не-вѣдомаго народа... Первые сполохи ея грезъ, сладостный трепетъ сердца и вѣющие нѣго дѣвицы сны—связаны были съ русою бо-

родою „батюшки“. Остальные учителя выбирались для подобныхъ заведеній специально и представляли такой подборъ противоестественныхъ харь, что ничѣй души, разумѣется, расшевелить не могли. Батюшка, впрочемъ, былъ отцомъ многочисленнаго семейства и попадья его, сколько разъ ее ни встрѣчала дѣвушка, оказывалась въ томъ положеніи, которое кавалеры изъ любезности находять интереснымъ. Одинъ изъ профессоровъ, именно русской словесности — обратилъ было на Калерію свое вниманіе и даже со слезами на глазахъ декламировалъ ей не разъ: „и въ рубищѣ почтена добродѣтель“, но, во-первыхъ, ему было пятьдесятъ восемь, во-вторыхъ, онъ красиль бороду въ лиловый цветъ и дышался пачулями, въ третьихъ, на жилетѣ у него всегда оставалось меню отъ его завтрака, а въ четвертыхъ, у него въ носу помѣщалась какая-то странная машина, акомпанировавшая дикимъ сопѣнiemъ его мастерской декламаций. Тѣмъ не менѣе пепиньерка начинала посматривать на него довольно благосклонно, но разъ на институтскомъ балу онъ потерялъ свой парикъ и голова его оказалась точною копіею бѣлыхъ камышинскихъ арбузовъ. Послѣ этого Калерія съ особеннымъ выраженіемъ стала пѣть: „pleurez-pleurez mes yeux“ и при словѣ „мужчина“ какъ-то поджимать губы внутрь, что должно было означать высочайшее презрѣніе ко всѣмъ представителямъ этого пола. Арбузъ, получившій у нея афронтъ, уѣхался, женившись на своей кухаркѣ, и пересталъ красить бороду, а вмѣсто: „И въ рубищѣ почтена добродѣтель!“, декламировалъ съ неменьшимъ возбужденіемъ: „коварный сердца не вѣдаютъ пощады!“ Разъ какъ-то къ ней пріѣзжалъ въ институтъ молодой студентъ съ порученіемъ отъ сестры — ея подруги. Калерія послѣ того долго мечтала о немъ. Но ея грезы были весьма невиннаго свойства. Ей представлялась громадная зала, вся залита огнями. За зеленью, за пышными вѣроверовидными листами латаній играетъ невидимый оркестръ. Въ залѣ нѣть никого. Только она съ *timbre* несутся „въ вихрѣ вальса“. Куда и зачѣмъ — неизвѣстно!.. Она купила себѣ тетрадку, озаглавила ее: „Mes douleurs“ и выписала туда письмо Татьяны къ Онѣгину. По вечерамъ неопределенно глядя въ пространство она читала вслухъ:

Я вамъ пишу, чего-же болѣ?
Что я могу еще сказать?
Теперь я знаю — въ вашей волѣ
Меня презрѣніемъ наказать...

а при словахъ: „Зачѣмъ вы посѣтили насъ — въ глухи забытаго селенія“? на глазахъ ея навертывались непрошеннія глупыя слезы и она, повидимому ни съ того ни съ сего, бросалась и цѣловала одну изъ воспитанницъ старшаго курса, дѣвицу, столь мѣжественнаго вида,

что у нея надъ верхнею губою показывались настоящіе усы, а отъ висковъ шло внизъ нѣкоторое подобіе бакенбардъ... Дѣвица эта — во время институтскихъ танцклассовъ — всегда исполняла роль кавалера, на крылосѣ пѣла такимъ густымъ контральто, что трудно было опредѣлить, гдѣ кончается оно и начинается басъ, любила больше всего картофель въ рубашечкѣ¹⁾) и почему-то носила между подругами прозвище Монтезумы. Объятія Калеріи такъ надоѣли Монтезумѣ, что при первыхъ словахъ: „я вамъ пишу“ — Монтезума старалась помѣстить между Калерію и собою — по крайней мѣрѣ столъ, а когда это не подѣствовало, толкнула ту локтемъ въ бокъ, такъ, что „бѣдный ангелъ“ вообразила, что у него чахотка и начала декламировать:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной
Она томилась, увядала...

Потомъ ей стало ужасно жалко самую себя — и она разрыдалась, представляя себя такую „чистую и прекрасную“ лежащею въ бѣломъ газетовомъ гробу и осиппанную розами. Розы должны были, умирая, благоухать на ея трупѣ, а тамъ на небесахъ le bon Dieu уже ожидалъ своего „непорочнаго“ ангела...

Бѣдному ангелу, вѣроятно, всю жизнь пришлось бы провести за высокими стѣнами института. Мало-по-малу въ ней успокаивалось даже тревожное любопытство молодой души узнать, что творится тамъ, „на волѣ“, откуда иной разъ такъ радостно, такъ ма-
нище свѣтили ей ясныя голубыя небеса, вѣяло свѣжимъ вѣтеркомъ, пробуждающимъ неопределенный желанія, смутные порывы унести-
куда-то далеко, далеко! Она уже даже перестала обращать вниманіе на Монтезуму и разъ объявила той, что у нея „неприличная физіономія“. Монтезума, привыкшая въ институтѣ къ общему поклоненію, обидѣлась и пожаловалась матат. Калерія потомъ долго пла-
кала и цѣлую недѣлю не говорила съ „своимъ врагомъ“. Но всѣмъ этимъ маленьkimъ огорченіямъ ея безпрѣтного существованія скоро сама судьба положила конецъ. Разъ, когда она распекала маленькую воспитанницу за перепачканные чернилами пальчики, причемъ та, оправдываясь, увѣряла, что это тѣнь, ее вдругъ позвали внизъ — къ матат. Начальница института, которую пепиньерки между собою называли бонзой за ея важность или Далай-Ламой — сидѣла вмѣстѣ съ какою-то дамой, очень простой и одѣтой такъ, что Калерія тотчасъ отнесла ее къ разряду „мовешекъ“.

— Ma petite! — коснулась начальница ея лба губами и оставила на немъ слѣды отъ розовой помады. Ваша родственница въ Ницѣ

¹⁾ Въ институтѣ запрещалось говорить «картофель въ мундирахъ», потому что это могло цѣломудреннымъ душамъ напомнить существование оффцеровъ.

вспомнила о васъ наконецъ. Вотъ ея знакомая м-ме... madame? — вопросительно обернулась она къ той.

— Сывороткина...

На лицѣ у маман явилось негодующее выражение. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно носить такую фамилию и лѣзть съ нею въ гостиную, откуда только что вышла м-ме la princesse Oboldouy-Tarakanoff... Сывороткина очевидно тоже почувствовала это и приняла како-то умоляющій видъ, точно извинялась.

— Онѣ прѣѣхали за вами. Вы, разумѣется, если хотите, можете остаться у меня, но — въ виду того, что эта тетушка ваша въ Ниццѣ — единственная родня вамъ... я-бы совѣтовала вамъ подумать.

— И потомъ климатъ! — вдругъ вырвалось у Сывороткиной.

— Что? — осторожно подняла вверхъ наклеенные брови маман, точно давая знать, что она ни за что болѣе не отвѣтаетъ.

— Я говорю климатъ... Ахъ какой климатъ... И общество... деликатное — путалась та.— Каждый день музыка заграничная! и... море... А вдоль моря по променаду англичанки въ ландахъ катаются.

„Ландахъ“ окончательно убило Сывороткину въ мнѣніи начальницы. Маман уже не говорила съ нею.

— Такъ вы, милое дитя, подумайте, а завтра... эта дама зайдетъ узнать ваше рѣшеніе.

Милое дитя, которому было уже девятнадцать лѣтъ, тоже встала.

— Я ничего не знаю о тетѣ. Она ни слова мнѣ не писала...

— Ахъ, какая я дурища,—вдругъ вырвалось у Сывороткиной.— Вѣдь у меня къ вамъ письмечко...

Уже выходившая изъ гостиной маман, при словѣ „дурища“, быстро обернулась, презрительно обвела эту даму такимъ взглядомъ, что та, я думаю, сама была-бы готова спрятаться въ ридикюль, гдѣ она теперь рылась... Взявъ письмо, Калерія величественно простилась съ Сывороткиной, сказавъ ей — „я подумаю!“ Потомъ догнала въ другой комнатѣ маман и съ виноватымъ видомъ обратилась къ ней:

— Я должна просить у васъ прощенія.

— Въ чёмъ это, дитя мое?

— Я была невольной причиной непріятности... Эта дурно воспитанная дама... Я, право... Если-бы я только знала...

— Мне отрадно, что у меня, въ институтѣ, такъ чувствуютъ разницу съ этими... Я васъ понимаю, ma chère... Вы должны негодовать, но, я думаю, ваша тетушка не такъ виновата, какъ намъ кажется. Разумѣется, она могла послать кого-нибудь получше. Но не будемъ поспѣшны въ заключеніяхъ...

И еще разъ оставивъ на Калериномъ лбу слѣды отъ губной помады, Далай-Лама величественно удалилась къ себѣ.

Поднявшись наверхъ, Калерія встрѣтила Монтезуму, съ которой уже помирилась и даже въ ознаменование этого перемѣнилась своею брошью — серебряною голубкою, съ бирюзовой незабудкою въ клювѣ, на ея перочинный ножикѣ.

— Меня зовутъ въ Ниццу! — гордо объявила ей Калерія.

— Куда?

— Ницца на Средиземномъ морѣ, городъ Французской республики, знаменитый купаньями, на которыхъ съезжаются со всѣхъ концовъ міра.

Едва-ли не въ первый разъ ей понадобилась географія.

— Зачѣмъ-же?..

— Тамъ у меня тетя... Тамъ зимою цвѣтутъ розы... И англичанки катаются въ ландо!..

— Постой, я ничего не понимаю. Зачѣмъ же тебѣ купанья и ландо. Вѣдь они не твои.

— Монтезума, ты глупа! Моя тетя grande-dame.. Я тамъ могу занять положеніе... И, разумѣется, я не забуду васъ всѣхъ... здѣшнихъ... Я вамъ непремѣнно пришлю фотографіи Ниццы... Ахъ, море... Какъ это хорошо у Пушкина: „о море, море кто тебя усѣялъ бѣлыми костями“...

— Ты путаешь, Калерія.

— Ну, ужъ, пожалуйста: у меня изъ русской словесности всегда было пять съ плюсомъ.

Впрочемъ, въ письмѣ ее ждало нѣкоторое разочарованіе.

Тетя писала ей, что, задумавъ взять къ своимъ дѣтямъ русскую гувернантку — она вспомнила о своей племянницѣ и рѣшила прежде всего ей предложить это мѣсто. „Все лучше родной, чѣмъ посторонней“. А такъ какъ о Калеріи она слышала, какъ о дѣвушкѣ скромной, разсудительной, то и совѣтуетъ ей, не колеблясь, выѣзжать съ Сывороткиной въ Ниццу. Сывороткина — хотя дама „не нашего круга“, но она давно живетъ тамъ для здоровья и „на нее Калерія можетъ вполнѣ положиться“. Тетя поручила той привезти племянницу... Только впередъ при этомъ просить ее помнить, что „она въ домѣ будетъ прежде всего гувернанткою, а ужъ послѣ родственницей, что для нея въ свое время было сдѣлано все и теперь ей, Калеріи, предстоитъ долгъ отблагодарить за расходы на нее и заботы о ней“.

Она точно съ неба упала.

Она всю ночь не спала, думая, что ей дѣлать, и вдругъ было замиравшая уже жажда жизни нахлынула на нее какою-то теплою, одуряющею волною. Она, эта волна, подхватила дѣвушку, и тихо укачивая, понесла въ какую-то яркую, яркую даль, гдѣ все розовѣло,

все сияло мягкимъ и разнѣживающимъ свѣтомъ, все являлось такъ прекрасно, такъ ново!.. Сердце ея жутко и радостно било, она, широко открывъ глаза, смотрѣла на бѣлую стѣну своей комнаты и ей рисовались на этой стѣнѣ чудные миражи, смутные, непонятные, но манящіе куда-то далеко-далеко отсюда... Ей вдругъ показалось страшнымъ оставаться здѣсь, въ этомъ институтѣ. И странно: еще наканунѣ она улыбалась, вспоминая письмо своей подруги: „нѣужели ты заживо похоронила себя тамъ!“, а теперь ей дѣйствительно почудилось, что она заживо скончана, что долго-долго надъ крышкою ея гроба неслась жизнь — а она не могла даже крикнуть „спасите!..“ Неужели теперь, когда крышку этого гроба приподнимали надъ нею, она останется лежать добровольно, съ скрещенными на груди руками и опущенными вѣками неподвижныхъ глазъ, безъ желаній въ сердцѣ, безъ мыслей въ пробуждающемъ умѣ. О, нѣть, скорѣе, скорѣе... Она встала съ постели и босикомъ прошлась по полу... Холодъ его изѣсколько успокоилъ ея расходившіеся нервы. Она прижалась горячей головой къ замерзшему стеклу окна и вдругъ ей страстно, неудержимо страстно захотѣлось поскорѣе, поскорѣе отсюда, вонъ изъ этихъ стѣнъ, на встрѣчу всему счастью, всей радости жизни... Она почувствовала, что останься здѣсь еще день-два, и пожалуй она задохнется...

Утромъ, блѣдная и измученная безсонною ночью, она объявила начальницѣ, что рѣшиласьѣхать.

— Да хранить тебя Богъ!.. — торжественно проговорила Далай-Лама. — Помни, чему тебя учили здѣсь, институтъ тебя выпускаетъ во всеоружіи добродѣтели... и... и... и хорошихъ манеръ. Умѣй сохранить первую и не испортить вторыя... а мы здѣсь будемъ за тебя молиться!

Та расплакалась...

Плакалъ весь институтъ впрочемъ. Монтезума подарила ей величайшую свою драгоцѣнность — портретъ какого-то пѣвца съ надписью „душка“, даже маленькая воспитанница, которая постоянно ходила съ запачканными въ чернилахъ пальчиками, убѣжала куда-то и, когда Калерія уже садилась въ карету, вдругъ появилась передъ ея дверцами, вся въ слезахъ, швырнула ей на колѣни украденнаго у швейцара котенка и только и могла проговорить, всхлипывая:

— Калерія Алексѣевна... Онъ очень любить сливки! А чаю совсѣмъ не пьетъ...

Едва-едва ей удалось отдѣлаться отъ этого подарка.

Она только теперь поняла, что ее здѣсь любили — столько было криковъ, воплей, слезъ, объятій и поцѣлуевъ!

Институтъ остался позади... Калерія Алексѣевна въ окна кареты

разсѣянно смотрѣла на шумныя улицы, на яркія вывески, на проѣзжавшихъ мимо извозчиковъ, на городовыхъ — и не могла бы дать себѣ отчета — запотѣли стекла экипажа или это у нея въ глазахъ стоять слезы. Сидѣвшая рядомъ Сывороткина одинаково глупо таращилась на все и изрѣдка, ни съ того, ни съ сего, восклицала:

— Ахъ, mademoiselle, если бы вы знали, какъ нынче трудно жить замужней дамѣ!

И тотчасъ же, забывая объ этомъ, переходила къ другому, не менѣе интересовавшему ее соображенію.

— Зачѣмъ это порядочныя женщины нынче монсовъ держать? У насъ, въ Ниццѣ — два монса у madame Катинъ, брюхо по землѣ и слюна на мордѣ... Какъ увижу — такъ у меня кусокъ въ горло не идетъ, а апельсины туда привозятъ изъ Алжира!..

— Что у тети собирается много народа?

— Да... Только она молодыхъ дамъ не любить. Сами понимаете, мужъ у нея... Совсѣмъ красавецъ. Ну, а она старше его на пятнадцать лѣтъ... Ихъ вѣдь только распусти... Хвосты-то у нихъ сейчасъ на отлетъ...

— У монсовъ? Ничего не поняла Калерія.

— Нѣтъ, у этихъ самыхъ, у мужьевъ.

— Какіе хвосты?

— Ихніе... Какіе еще... Другая француженка вѣромъ такъ не можетъ... Ахъ, сколько нашей сестрѣ муки отъ нихъ приходится принимать. Будете замужемъ, душенька, не вѣрьте. Онъ вамъ станетъ говорить — а вы не вѣрьте. Ничему не вѣрьте... Онъ вамъ слова — а вы ихъ совсѣмъ напротивъ понимайте!..

Но та уже не слышала...

Ей вдругъ ужасно жалко стало института. Откинувшись въ уголъ кареты, она вспоминала свою маленькую съ голыми стѣнами комната, и вся она сдѣлалась ей разомъ дорога и близка. Искусственная розы у зеркальца, пухлый гипсовый младенецъ, котораго она принимала за ангела, тогда какъ уличный продавецъ упорно сбывалъ ей его за купидона, плачущая дѣвушка съ разбитымъ кувшиномъ, въ рамкѣ, ю самой оклеенной золоченой бумагой. Желѣзная кровать съ бѣлымъ одѣяломъ; окно съ замазанными известкой стеклами и зеленою занавѣской; „казенная“ икона Николая-Чудотворца съ голубою лампадой, откуда робкій и ласковый огонекъ такъ вѣжно и кротко, словно прищуриваясь, смотрѣлъ на нее въ безсонныя ночи; простенькая дорожка, шедшая отъ двери къ столу, гдѣ лежали двѣ-три книжки и альбомъ съ надписью „память моего сердца“... нѣсколько фотографій булавками приколотыхъ къ стѣнѣ надъ этимъ столомъ и ночной столикъ съ ярко вычищеннымъ мѣднымъ подсвѣчникомъ...

Кто-то помѣстится теперь въ этой комнаткѣ? Только бы не противная Саранчева, которую весь институтъ звалъ лошадью. И Калерія почему-то казалось, что „лошадь“ сейчасъ же протореть известку на окнѣ—и станетъ по цѣлымъ часамъ смотрѣть на проѣжающихъ мимо офицеровъ. Не даромъ у нея растутъ баки и хотя она разсказываетъ, будто у всѣхъ красивыхъ испанокъ есть такія, но она, во-первыхъ, не испанка, а во-вторыхъ, это неприлично порядочной дѣвушкѣ. Калерія даже обидѣлась за свою комнату. По мнѣнію всѣхъ — въ ея стѣнахъ витали безплотные ангелы, тамъ все благоухало добродѣтелью и чистотою души—и вдругъ въ нихъ станетъ распоряжаться дѣвица съ бакенбардами, сама рассказывавшая, что она когда-то прочла даже „Нану“ Золя. Положимъ, что когда ее призвала къ себѣ Далай-Лама — лошадь немедленно отказалась отъ Золя, а на вопросъ о Нана — отозвалась, что она съ этой дамой вовсе незнакома, такъ что шапан даже прослезилась и поцѣловала ее въ лобъ, проговоривъ.

— Я теперь вижу ясно, что мои труды для васъ не пропали даромъ... Молитесь, дочь моя!

И отпустила ее величественнымъ жестомъ мягкой, пухлой и бѣлой руки...

И этой тишины въ ея комнатѣ не будетъ. Калерія бывало ляжетъ на постель, скрестить на груди руки, слушаетъ безмолвіе кругомъ, а сама сладко думаетъ—какая я святая. Если я умру сейчасъ, le bon Dien прямо возьметъ меня на небо и дастъ мнѣ мѣсто у своего престола... А у лошади ноги большія — она такъ настучитъ тамъ, что даже внизу будетъ слышно...

Ей вдругъ страстно захотѣлось вернуться въ институтъ; но въ это время карета остановилась у какого-то подъѣзда, изъ котораго выскочили швейцары и отворили дверцы...

— Все готово? спросила его Сывороткина.

— Для барышни?.. Все-съ...

— Икону не повѣсили? Не было у васъ?

— Хозяинъ самъ приколотилъ въ уголъ... Онъ хоть и немецъ — а озабочился.

— Провѣтривали?.. Фортонку отворяли?

— Анбреемъ душили даже. Такой духъ идетъ, какъ въ первыхъ домахъ.

Сывороткина сладко улыбнулась.

— Я ужъ для васъ, душенька — постаралась! У насъ комнаты рядомъ. Моя только похуже, да ужъ куда мнѣ — чумичкѣ... И въ зеркало-то противно смотрѣть... Вы барышники вещи возьмите... Картонки эти... Сундуки у нихъ — у кучера на козлахъ. Никакихъ больше шпитончиковъ нѣтъ.

— Чего?

— Шпилончиковъ? Шкатулокъ маленькихъ... Ну, и слава Богу.. Въ дорогѣ съ вещами наплачешься. Вотъ въ Россіи ничего, а за границей сейчасъ все въ багажъ пожалуйте и за каждую мелочь деньги... Ну, вотъ...

Въ коридорѣ, куда вошла Калерія, пахло кухней и сквернымъ мыломъ. Мимо дѣвушки пробѣжала горничная съ дерзкими и наглыми глазами. Одна изъ дверей отворились; оттуда выглянула толстая лупоглазая жилица. Пепиньерка замѣтила, что у той съ плоскаго лица сыплется пудра на откровенно распахнувшійся капотъ. Пока Сывороткина о чёмъ-то переговаривалась съ унылымъ лакеемъ, у котораго одна фалда чернаго фрака зачѣмъ-то попала въ карманъ, а на затылокъ изъ-подъ воротника выѣхали двѣ бѣлые тесемки — Калерія смотрѣла на лупоглазую даму, а та на нее. Наконецъ за тою показалось пухлое и красное лицо съ закрученными усами и подмигнуло дѣвушкѣ. Она всхихнула и отвернулась...

— Пожалуйте, милочка, пожалуйте... заторопилась Сывороткина... Вотъ ваша комнатка, а вотъ и моя... Двери въ двери... Тутъ мнѣ сказывали — все хорошие господа живутъ. Напротивъ — графиня одна, настоящая... Я ее видала: рыжая, въ веснушкахъ — гаданьемъ занимается; къ ней даже на собственныхъ лошадяхъ ёздятъ. Большия деньги ей за это платятъ. Я сама собиралась, да страшно мнѣ. Подъ сердце подкатывается — боюсь... А рядомъ съ вами за этой дверью — актриса; про нее въ газетахъ даже пишутъ.

— Актриса? съ ужасомъ переспросила Калерія Алексѣевна.

— Да!.. Не поняла та — ея волненія... Бриллантъ у нея, душенька, такие, что я разъ посмотрѣла, такъ у меня подъ ложечкой засосало... Букетовъ ей носять этихъ... А въ Ниццѣ, душенька, за франкъ можете вотъ какой букетъ купить... Ну, говядина тамъ дороже. За кило мы по два платили... А рубашку выстирать цѣлый капиталъ.

Калерія уже не слушала ее и подошла къ зеркалу.

У нея еще никогда не было такого. Это отражало всю ея стройную и тоненькую фигуру, такъ что дѣвушка даже улыбнулась себѣ самой... Въ самомъ дѣлѣ, передъ нею было бѣленькое лицо съ большими глазами и красивыми высокими бровками... Гладко зачесанные волоса вились у висковъ и толстою косою закручивались на затылкѣ...

„А вѣдь я хорошенъкая!“ мелькнуло у нея въ головѣ.

И вдругъ что-то сладко, сладко заныло въ ея сердцѣ... Она задышала торописто — полураскрыла губки и между ними блеснули мелкие, бѣлые, хорошо подобранные одинъ къ одному зубы. Она вспомнила, какъ ихъ хвалили въ институтѣ (Боже мой, какъ онъ вдругъ

показался ей далеъ отъ нея... А эта талия, какая она гибкая изящная... Именно изящная. Недаромъ учитель словесности когда-то говорилъ: „вы сложены, какъ стрѣла“. А развѣ стрѣлы складываются? Наивно спрашивала она, щуря ему глазами... Сывороткина, вошедшая въ эту минуту, и замѣтивъ, что дѣвушка смотрится въ зеркало, заговорила:

— Много вы на своемъ вѣку ихнихъ сердецъ перегубите...

— Чьихъ?

— А кавалерскихъ... Чтобъ имъ подлецамъ!.. Не жалѣйте ихъ вы, мамочка, при случаѣ... Не стоятъ они, павлины, жалости. Потому какъ они рвутъ нашу сестру! Какъ рвутъ! Стукъ въ голову да зубами за горло... Еще не очнешься, а онъ ужъ хвостъ-то вѣромъ передъ другой распускаетъ, охаживаетъ ее... Фррръ, фррръ!.. А крыльями съ земли пыль ей въ носъ... да кругомъ, да кругомъ... Грудь впередъ... глаза на лобъ... Много я ихъ видѣла такихъ-то... Такъ закружать, что и дороги подъ ногами не видишь: по неволѣ за ними идешь... А, вотъ, вамъ за грѣхъ будетъ — потому вы совсѣмъ какъ въ журналахъ рисуютъ. Красавица...

Калерія улыбалась. Ей было пріятно слышать это и все слаше и слаше дѣлалось на душѣ и смутно тянуло къ чему-то неизвѣстному... Теплой волной заливало грудь. Сама чувствовала, что у нея разгораются щеки... Она сѣла въ кресло... Звонъ въ головѣ, только такой пріятный, точно убаюкиваетъ ея мысли, въ нѣжный сонъ на самое дно какого-то томного счастья погружаетъ ..

— Да, душечка, тараторила Сывороткина... Много благородная дѣвица, съ красотой ежели, можетъ сдѣлать, потому и у папильоновъ-то этихъ, разуму вѣдь мало. Жадности у нихъ сколько хочешь, а разуму капелька, да и ту они всѣ въ винѣ развели... А нѣ ей и нѣть... Такъ они за вами ударятся — сами увидите... А вы только къ нимъ неглажа! Точно они вамъ и не надобны совсѣмъ... Страдайте-де, а миѣ все равно, потому на всѣ ваши фокусы я плевать хотѣла...

Дѣвушку покоробило, но она заставила себя разсмѣяться.

— Вы, душенька, сами увидите, какіе они штукатуры.

— Я бѣдная... у меня ничего нѣть.

— Потому-то вамъ и надобно свою позицію держать! Красота — это капиталъ отъ Бога. Надо его въ хорошія руки... Впрочемъ, тетенька ваша на этотъ счетъ аховая тоже. Она васъ наставитъ... Тамъ-то въ Ниццѣ — что князьевъ, графовъ этихъ! Хоть и не графъ, все равно называется графомъ. Потому деньги есть — хоть королемъ зовись — только дороже за все платить заставятъ. Тамъ деньги дешевы... Вотъ какъ вы увидите козыря этакаго — сейчасъ его изъ колоды-то и отличите... Да марьяжными картами и накройте. А

то время пропустите — при никовомъ интересѣ останетесь, и одна вамъ будетъ дорога: всю жизнь гувернаткой по чужимъ дѣтямъ скитаться... Я васъ любя — вѣдь. Потому вижу — добро пропадаетъ даромъ... Въ институтахъ вы вѣдь точно конфетки въ коробочкахъ кондитерскихъ. Никто вѣсть не видить, никого — вы... Лежите себѣ цѣлые дни — да покупателя ждете. А тутъ — другое дѣло. Тутъ, милочка, какъ въ сраженіи. Подошелъ къ тебѣ кавалеръ — ты и знай — врагъ онъ тебѣ... Улыбаться-то ему улыбайся, глазами закатывай такъ, чтобы у него у шельмы колѣнки ходуномъ ходили — а сама норови какъ бы его ловче за горло да за шаферами — Исаія лицуй послушать. Потому если дѣвица сама себя не устроитъ — кто о ней позаботится? Кому дѣло чужую бѣду разводить?.. Очень надо! И ихъ нынче за горло-то не сразу... Они-то отъ брака какъ черти отъ ладону. Многосъ ними лукавства надо, ахъ, много... Потому какъ и ихъ винить. Своя воля кому не дорога!.. Ну, и бѣгаютъ они отъ нашей сестры, если замѣчаютъ, что мы ихъ намѣрены за шиворотъ да въ церковь... Настоящая война, милочка...

Но Калерія уже не слышала ее... Теплныя волны, заливавшія ея грудь, теперь, казалось, все затопляли кругомъ и, ласково покачивая, уносили дѣвушку къ какимъ-то волшебнымъ счастливымъ берегамъ, такъ нѣжно мѣшившимъ вдали подъ солнцемъ и синимъ небомъ...

Сывороткина думала, что она устала и хочетъ отдохнуть.

— То-то... Будемъ вмѣстѣ въ Ниццѣ, тамъ вы всю эту механику на ладони разсмотрите — слѣпымъ глазомъ! А пока я тоже къ себѣ пойду — дѣловъ, дѣловъ!.. Одной икры мнѣ заказано привезти туда двѣнадцать жестянокъ, да селедокъ нашихъ, да семги... Икра-то тамъ кусается... 15 франковъ фунтъ тамъ, по ихнему ливръ!

Она уже оканчивала болтать за дверями...

Дѣвушка только теперь оглядѣлась. Сейчасъ — у себя въ комнатахъ — вспоминала этотъ день, она помнить все до послѣдней мелочи, до самой незначительной черточки! И еще-бы не помнить! Сколько-бы не прожила она, а это первое время ея свободы, юности, даже пожалуй счастья будто въ явь всякий разъ встаетъ передъ ней, всякий разъ, когда, какъ сегодня, она уйдеть въ свое наивное далекое прошлое. Кому оно не дорого! Какъ-бы женщина не пала, она никогда не забудетъ времени, когда ей не доставало только крыльевъ, чтобы совсѣмъ походить на ангела. Отъ самыхъ глупыхъ мечтаний юности на нее до сѣдыхъ волосъ будетъ вѣять нѣжнымъ благоуханіемъ чистоты, святости, покоя, душевнаго равновѣсія.

Сундуки ея и картонки были поставлены къ стѣнѣ. На полу оказывался заштопанный и зашитый коверъ... Цѣлныя поколѣнія случайныхъ жильцовъ и жились пачкали его грязными подошвами. Ме-

бель тоже носила на себѣ сальные слѣды опиравшихся о спинки креселъ и дивана головы. На ея красномъ трипѣ — были какія-то ссадины, позолота ободковъ облупилась, полиняла и потускла... Маленький столикъ въ углу, на немъ глупая фаянсовая ваза съ желтыми цветами и красными амурами. Край отбитъ, изнутри торчтъ ручка метелки которой горничная давно уже не обмахивала мебель. На окнахъ гардины, но онъ прорваны и грубо закрѣплены толстыми нитками. Стекла оконъ тусклы такъ, что черезъ улицу едва видна большая облѣзлая вывеска... Кровать покрыта краснымъ байковымъ одѣяломъ — далеко не первой свѣжести... Подушки въ протершихся хоть и чистыхъ наволочкахъ. Графинъ съ водой, на графинѣ пыль, а вода давно пожелтѣла... Калерія обводила все это разсѣяннымъ взглядомъ, но не замѣчала, до какой степени комната ея прожухла... Ей, дѣвушкѣ, видѣвшей до сихъ поръ только голыя стѣны института, вся эта растрескавшаяся позолота, вытертый бархатъ, наглые обои съ серебряными разводами, заплеванный коверъ, грубые гардины — казались чѣмъ-то новымъ, пожалуй даже роскошнымъ... Объ этомъ она читала, но ничего подобнаго не видѣла. Положимъ, уголокъ Далай-Ламы былъ лучше. Но институтская шатац вообще базалась божествомъ, а ея пребываніе недоступнымъ простому смертному раю. Калерія еще разъ вздохнула счастливо, радостно — до того уже на первыхъ порахъ ей нравилась новая жизнь... Она хотѣла даже заснуть, но картины, висѣвшія на стѣнкахъ, обратили на себя ея вниманіе. Дѣвушка не знала, что это жалкія олеографіи. Она смотрѣла на розовое дерево и желтый бликъ заходящаго за фантастическими колоннами солнца, потомъ перевела взглядъ рядомъ — и вспыхнула...

— Ай, какой срамъ! подумала, но сердце у нея тотчасъ же забилось и такъ какъ дверь къ Сывороткиной была притворена, она подошла поближе къ картинѣ. Краска залила все лицо дѣвушки... Съ краснаго фона нагло смотрѣлъ какой-то кудрявый цирульникъ съ закрученными усами и эспаньолкой въ видѣ запятой. Руки его обнимали ноги, сидѣвшей противъ него женщины. И дѣвушка съ жаднымъ любопытствомъ слѣдила, какъ пальцы этого донъ-Жуана впивались въ толстныя, въ зеленыхъ чулкахъ нѣкоторыя дамы, стыдливо закрывавшейся вѣромъ...

— Неужели они дѣлаютъ это? думала дѣвушка и что-то новое, чего она сама стыдилась, поднималось въ ея душѣ и одурманивающимъ туманомъ окутывало ей голову. Ай, какой срамъ. Отчего же она только вѣромъ закрываеться, а не кричить. И эта глупая закругленная эспаньолка, казалось, дразнила ее, Калерію, касалась ея лица... Она даже отодвинулась, точно на своихъ ногахъ почувствовала прикосновеніе тонкихъ безпощадныхъ пальцевъ.

— Я бы крикнула! Вотъ „лошадь“, впервые съ завистью подумала она объ институтской подругѣ. Вотъ „лошадь“ — ей хорошо. Она все это знаетъ — такія книги ей братъ въ коробкахъ съ конфектами приносили. Бывало она читаетъ одна, краснѣеть, смѣется а намъ ни за что не показываетъ, даже боится, какъ бы не вышло чего-нибудь... Развѣ такъ именно любить? Это и называется любить?.. Взять за ноги... Фу, какъ это глупо... и все-таки ужасно стыдно... Нѣтъ, я бы крикнула, ей-Богу крикнула“. Когда стариkъ докторъ, прививая ей оспу, держаль ей руку у плеча, года три назадъ, Калерія, вся красная, чуть не плакала отъ стыда... А тутъ вдругъ...

Она отошла отъ олeографіи и опять сѣла въ кресло... Тишину слушала... А потомъ вдругъ ей представлялось, что скоро можетъ быть другой такой же съ усами будетъ стоять на колѣняхъ около нея и обниметъ ея ноги... Она хотѣла встать и не могла; всю ее охватывала какая-то истома и нѣга... „Неужели это такъ страшно, какъ толкуетъ Сывороткина... Но вѣдь это значитъ всегда такъ бываетъ, ежели даже на картинахъ рисуютъ?.. Со всѣми... И съ нею тоже?.. Отчего ихъ не учили этому въ институтѣ; теперь она бы не оказывалась такою дурой“...

Вошелъ засаленный лакей по прежнему съ одною фалдою въ карманѣ, поставилъ на столъ лампу, отъ которой запахло керосиномъ. Рядомъ въ комнатѣ у Сывороткиной что-то упало... За другими дверями, изъ помѣщенія, занятаго „актрисой“, послышалось нѣсколько аккордовъ рояля, смѣхъ... Мужской голосъ запѣлъ что-то... Женскій ему вторилъ и опять хохотъ... Стукнула крышка рояля — дверь задрожала — точно на диванѣ, стоявшій за нею, кто-то бросился... И опять смѣхъ...

— Ну... Александръ Ивановичъ — убирайтесь... Вѣдь рядомъ живутъ... Надоѣли...

Слова эти такъ и остались въ памяти у Калеріи.

— Я ничего... Что же я дѣлаю?

— Ничего!.. Только я васъ по рукамъ за это... Держите себя прилично. А то я позову горничную... И... И не велю васъ принимать больше...

„Неужели онъ ее тоже за ноги хватаетъ?“ пронеслось въ головѣ у дѣвушки, и она вся красная, не зная сама что дѣлаетъ, наклонилась, чтобы посмотреть въ замочную скважину. Но, увы — за нею было темно. Должно быть спинка дивана заслоняла ее...

Впрочемъ „Александръ Ивановичъ“ вѣрно тоже успокоился, потому что актриса ужъ ему спокойно стала рассказывать, какой страшный успѣхъ она имѣла въ Новочеркасскѣ, гдѣ студенты выпрягли лошадей изъ ея кареты...

— Да, въ Новочеркасскѣ университета нѣтъ! занялся было Александръ Ивановичъ.

— Вотъ еще—нѣтъ, значитъ есть, если на себѣ меня возили... Для меня вездѣ есть! Для кого можетъ быть и нѣтъ, а только не для меня! Я всюду такой успѣхъ имѣла!.. Въ Ростовѣ на Дону греки меня — боготворили. Одинъ даже на моемъ бенефисѣ застрѣлиться хотѣлъ. Подать букетъ и застрѣлиться.

— Зачѣмъ это?

— Чтобы всѣ знали, какой онъ благородный грекъ!.. Вотъ какіе были — а я ему позволяла только всего, что руку въ ладонь цѣловать.

„Зачѣмъ это въ ладонь“? завертѣлось опять въ умѣ у Калеріи. Зачѣмъ въ ладонь? Что это значитъ? И что я должна дѣлать, если кто-нибудь меня въ ладонь поцѣлуется? Хорошо это или дурно?.. Ахъ зачѣмъ насъ этому не учили?

И вдругъ всѣ эти Вальпариазо и Мстиславы-Удалые — показались ей совсѣмъ ничего не стоющею дрянью. Въ самомъ дѣлѣ: ну, что въ томъ, что въ Сантъ-Яго канатныя фабрики, а Лже-Смердиса смѣнилъ Дарій Гистаспъ? Насколько эти канатныя фабрики и Гистаспы съ Смердисами дадутъ ей возможность разобраться съ самыми пустыми вопросами.

Рядомъ стало тихо.

Александръ Ивановичъ простился и ушелъ, причемъ сосѣдка почему-то вытолкнула его за дверь... Потомъ она сѣла къ роялю и стала пѣть и пѣла что-то совсѣмъ необыкновенное. Въ институтѣ тоже пѣли, но больше о птичкахъ или рыбкахъ... „Если бы я птичкой!“ или „Дитя, твоя молитва“ или „Земные помыслы не смѣютъ коснуться вашихъ дивныхъ устъ...“ А тутъ вдругъ Калерія разобрала:

Ахъ, какъ онъ меня цѣлууетъ...
Какъ ласкаѣтъ горячо...

И вдругъ страшная мысль пришла въ голову дѣвушкѣ.

— Неужели я такая дура, что ничего — такъ-таки ничего не знаю и не понимаю!..

Она бы теперь готова была засмѣяться надъ тою наивною, ничего не понимавшею дѣвочкою, если бы ей вдругъ не захотѣлось плакать... Въ самомъ дѣлѣ, какъ ея настоящее не похоже на первый день ея воли, на этотъ первый проблескъ свободы, когда непроницаемыя институтскія стѣны остались позади и странная непонятная жизнь поднялась лицомъ къ лицу съ нею... О, какъ она ненавидѣтъ ихъ всѣхъ — и этого, золотисто-русаю голова котораго покоятся теперь на ея подушкѣ — въ ея спальнѣ. Всѣхъ, всѣхъ такъ и хватавшихся за нее руками, готовыхъ обманывать ее и обманывавшихъ тысячи разъ прежде, чѣмъ она сама не научилась этой вѣчной лжи, этой звѣриной хитрости. Потомъ, потомъ она сама стала мстить имъ

рабствомъ, ихъ рабствомъ за побѣды надъ нею. Надо сказать правду, она заставила ихъ дорого заплатить за ихъ первое торжество. Она была овцой сначала — и какъ овцу каждый волкъ ее смѣло хваталъ за горло, но — овца скоро взялась за умъ и стала тигрицей. Превращеніе зоологически невозможное, но въ жизни случающеся нерѣдко. Вѣдь если она не погибла, не была вышвырнута на бульваръ, на улицу, если ее не растоптала безпощадная колесница кровожаднаго божества разврата, такъ только потому, что она съумѣла скорь стать на ноги сама...

А какъ она была глупа первое время — какъ глупа!

И день за днемъ — все это время стало воскресать передъ нею — день за днемъ, часъ за часомъ. Безмысленное съ его безцѣльными паденіями и никѣмъ неоплаканными печалиами!.. Сложись иначе обстоятельства — можетъ быть и изъ нея вышла бы такая же праведная, какъ и другія... И она не должна была бы жертвовать своею совѣстью, сердцемъ, всѣмъ, всѣмъ, что, несмотря ни на какую кору — живетъ въ каждой женщинѣ, куда бы ее судьба ни закинула.

О, едва-ли есть на свѣтѣ такая мука, которою она могла бы воздѣять имъ, своимъ повелителямъ, за все, что они заставили ее испытать и выстрадать на первыхъ порахъ! Едва-ли! И если у нея теперь нѣть жалости ни къ кому — кто же посмѣеть обвинить ее.

Левъ Самойловичъ заговорилъ что-то — со сна.

Она обернулась къ нему... Прислушалась. Но онъ опять задышалъ ровно, спокойно...

— И онъ тоже... Если бы тогда я встрѣтилась ему — развѣ онъ не сдѣлалъ бы со мною то же, что сдѣлалъ *тотъ*, другой. Всѣ они — на одну стать. Во всѣхъ сидѣтъ дикое и хищное животное, и горе намъ, пока мы остаемся людьми съ ними. Ахъ, нѣтъ-нѣтъ у меня никакой жалости въ душѣ ни къ кому, ни къ кому изъ нихъ. Этотъ еще лучше другихъ. Можетъ быть потому, что слабѣе всѣхъ... Говорятъ есть люди. Почему они не попадались на моей дорогѣ? Почему я встрѣчала только такихъ, какъ... И она вдругъ вспыхнула, сама обрывая свои воспоминанія. И на зло ей самой, безсильныя слезы выступили у нея на глаза.

— Подлецъ... Подлецъ!.. Нѣтъ, какъ бы ни была отвратительна и гадка женщина, ей далеко до васъ, далеко!.. Будьте вы прокляты!..

Она тихонько поднялась, перешла къ окну, слегка откинула гардину и засмотрѣлась на улицу. Солнце ярко свѣтило — на ея противоположную сторону, горѣло въ зеркальныхъ окнахъ какого-то дома. Лучи его скользили по майоликовымъ вазамъ, выставленнымъ на балконъ, крупные кисти цветовъ, голубые и розовые, свѣшивались за его круглый перила. Какое-то дѣтское лицико показалось въ окно. Прильнуло носомъ къ его стеклу — пятачекъ пятачкомъ. А безотвязныя

воспоминанія такъ и носятся, такъ и въются вокругъ этой женщины, казалось опять переживавшой всѣ боли и муки своего прошлаго. Она чувствовала, что могла бы счастливой быть, если бы забыла его или простила. Но ни забытья, ни прощенія не находила въ душѣ своей. И опять день за днемъ, часть за часомъ проходили передъ нею это первое время ея воли, ея глупой овечьей любви... Долго она будетъ помнить грязныя меблированныя комнаты, куда ее завезла тогда изъ института услужливая „мадамъ Сывороткина“.

Когда Левъ Самойловичъ проснулся—она уже спокойная, улыбающаяся, вполнѣ овладѣвшая собою—ласково встрѣтила его тихимъ и нѣжнымъ смѣхомъ.

— Какъ ты, должно быть, усталъ въ дорогѣ. Даже бредиль.

И положила ему на голову свою мягкую руку.

Онъ благодарно взглянулъ на нее, но тотчасъ же отвелъ глаза въ сторону. Ему на мгновеніе показалось, что изъ-за плечъ этой женщины—смотретьъ на него строго и пристально другая.

— Ты недоволенъ чѣмъ-нибудь?—заботливо спросила его Калерія Алексѣевна... Можетъ быть мною?..

— Нѣтъ... Если кѣмъ и недоволенъ, такъ самимъ собой...

Селицкая внимательно всмотрѣлась въ его лицо...

— Ты похудѣлъ, милый... И какимъ-то нервнымъ сталъ... Заработался?..

Она тихо провела по его лицу рукою, точно хотѣла снять съ него что-то.

— Нѣтъ... Такъ... Морской воздухъ, купанья.

Калерія Алексѣевна совершенно неожиданно упала въ кресло и вся такъ и разразилась неудержимымъ хохотомъ. Это было такъ внезапно, что Самсоновъ даже вздрогнулъ.

— Что съ тобою?..

— Постой... Ты меня смѣшишь.

— Чему это ты?..

— Морской воздухъ... Купанья... и... и... Наталья Григорьевна.

— Ты почемъ знаешь? — вырвалось у Льва Самойловича.

— Я все... все знаю... У меня своя полиція... Вездѣ... Впрочемъ, что тебя томить, я вѣдь не ревнива. Здѣсь былъ Приглядовъ. Ты можетъ быть еще сегодня увидишь его... Впрочемъ, я прикажу никого не принимать. Я думаю они тебѣ и тамъ надоѣли...

— Ты... Ты дѣйствительно не ревнуешь?

— Къ кому?.. Къ этой амфибіи...

Левъ Самойловичъ— покраснѣлъ.

— Что мнѣ за дѣло до твоихъ капризовъ... Я стану ревновать! За кого ты меня считаешь. Я знаю, что только одна я могу дать тебѣ счастье... Она... Она, дѣйствительно, красива... Отличный экзем-

пляръ для живыхъ картинъ... Достаточно даже неподвижна для этого. Послѣ того я стану тебя пожалуй къ статуямъ Луврскаго музея ревновать. Одинъ вѣдь толкъ. И потомъ, зачѣмъ же мнѣ ревновать тебя? Вѣдь ты совершенно свободенъ. Дѣлаешь — что хочешь. Я никогда не стояла на твоей дорогѣ... Я — люблю тебя... И счастлива, когда ты со мною... и... стараюсь не думать о томъ, что ты дѣлаешь, когда меня нѣтъ около тебя... Я не хочуничѣмъ стѣснять тебя. Тотъ уголокъ сердца, который ты мнѣ отдалъ — мой, и я имъ довольна и ничего большаго не желаю... Я отдаюсь вся и въ замѣнъ ничего-ничего не требую... Если бы я была дѣвушкой — я бы какъ собака пошла за тобою, горничной твоей стала, пожалуй, твоей женѣ бы служила, чтобы хоть изрѣдка видѣть тебя... Я не умѣю любить, заставляя страдать любимаго человѣка. *Другая,* пожалуй, назоветъ меня женщиной безъ правилъ. Что же — пусть ее. По моему главное правило каждой женщины, дать счастье и покой любимому человѣку!..

Онъ тихо дѣловалъ ея руку — и ему все лучше и лучше становилось на душѣ. Точно его подхватывали и укачивали теплыя, нѣжныя волны, полныя нѣги и ласки. И мысль падала и все замирало и въ головѣ и въ сердцѣ... „Оболокла-таки меня, заколдовала!“ въ послѣдній разъ шевельнулся въ немъ упрекъ... „Э, да не все-ли равно! Нужно же когда-нибудь быть счастливымъ“.

VII.

„Оболокла, околдовала!“ И дѣйствительно, было что-то сверхъ-естественное въ незамѣтномъ, но неотразимомъ вліяніи этой женщины. Черезъ три-четыре дня Самсонову стало казаться, что вся чудная, только что пережитая имъ у моря быль — ушла куда-то, потусклла. Точно сонъ, оставившій по себѣ смутное впечатлѣніе, миражъ, вдругъ полинявшій на голубыхъ небесахъ. Левъ Самойловичъ отлично понималъ, что, отойди онъ отъ Калеріи Алексѣевны, и отъ ея очарованія тоже ничего не останется; но пока она была около, онъ весь принадлежалъ ей, ей и безъ остатка, да и ему самому хотѣлось забыться, жить этою лѣнивою дѣйствительностію, ни о чёмъ не думать, ни чѣмъ не мучиться. Надо отдать справедливость и Селицкой; казалось, что она еще никогда не была такъ нѣжна, такъ ласкова, такъ хороша. Она какъ будто жила волей и мыслію Самсонова, была все это время его тѣнью, его отраженіемъ. Все остальное замерло въ ней, потускло. Къ еще большему благополучію — Романъ Викентьевичъ не показывался. Онъ пребывалъ гдѣ-то на Нормандскомъ берегу и писалъ женѣ ежедневно, но письма эти получались не при Самсоновѣ, и потому ничто кругомъ не напоминало ему самого Селицкаго. Льву Самойловичу надо было

ѣхать изъ Парижа, но ему лѣнъ было встать точно съ спокойнаго качающагося кресла. Онъ дремалъ въ немъ, все погружаясь въ какое-то сладостное бездѣйствіе. Недѣли уходили за недѣлями — одна похожая на другую до такой степени, что, оглядываясь назадъ, онъ видѣлъ продолженіе все одного и того же дня, счастливаго дня. Порою онъ вспоминалъ свое желаніе писать туда въ Петербургъ — Натальѣ Григорьевнѣ. Что-то неопредѣленнымъ туманомъ вставало со дна его души. Легкимъ недовольствомъ портило ему безмятежность и благополучіе этого „отдыха“; но Калерія Алексѣевна точно чутьемъ угадывала — являлась со своими одурманивающими ласками, и съ своимъ нѣжнымъ голосомъ, выдумывала какую-нибудь поѣзdkу, во время которой Самсоновъ оставался опять на-единѣ съ нею — и отъ утренняго упрека совѣсти къ вечеру не оставалось и слѣда. Одного только напрасно ждала Селицкая. Прежде Левъ Самойловичъ каялся ей во всѣхъ своихъ капризахъ. Ему это даже доставляло удовольствіе — ведь онъ впередъ зналъ: она не обвинить его ни въ чёмъ, она вѣстѣ съ нимъ будетъ смеяться надъ тѣмъ, что она сама называла „многоточіями“ въ ихъ любви. Но теперь — сколько разъ она ни заговаривала о Біарицѣ — Самсоновъ или отмалчивался, или хмурился и переводилъ разговоръ на другое. Ему было бы непріятно говорить съ нею о Свѣтлинѣ-Донецкой. Отъ одной мысли о такой бесѣдѣ что-то ныло, болѣло и жаловалось въ его душѣ, точно тамъ вдругъ увидали цвѣты, еще наполнившіе все кругомъ своимъ тонкимъ и цѣломудреннымъ ароматомъ... Незамѣтно ему самому — но все чаще и чаще въ его сознаніе прокрадывалась мысль: что если бы „та другая“ была похожа на эту, если бы не онъ былъ ея рабомъ, а она бы умѣла и хотѣла ему служить, какъ служить, казалось, каждымъ біенiemъ своихъ пульсовъ Калерія Алексѣевна. Тогда бы счастью не было предѣла, тогда ничего лучшаго нельзѧ было бы и требовать отъ жизни!.. Когда наконецъ наступила пора оставить Парижъ — и то уже на его столѣ лежала цѣлая пачка телеграммъ съ его фабрикъ и заводовъ, писемъ отъ его управляющихъ, на которыхъ онъ до сихъ поръ не отвѣчалъ — онъ отрывался отъ Селицкой безъ тоски, безъ особенной печали, но съ какимъ-то благодарнымъ чувствомъ, съ сожалѣніемъ, отчего этотъ праздникъ не можетъ длится долго-долго. И сама Селицкая какъ будто всѣльзъ говорила, обнимая его — своими мягкими руками, кажется, никогда еще не сдѣлавшими ни одного неловкаго движенія: ахъ, если бы ты былъ моимъ мужемъ! И вдругъ засмѣялась. — Чему это ты?.. спросилъ онъ ее. — Такъ, мнѣ пришло въ голову... Согласился бы мой Романъ Викентьевичъ на разводъ?.. — Разумѣется, согласился бы. Только бы дорого взялъ. — А ты?.. — Что я?.. — А ты — хотѣлъ бы быть моимъ мужемъ. Онъ улыбнулся. „Развѣ намъ такъ дурно?..“

Потомъ заговорилъ о чёмъ-то другомъ и ему вдругъ стало грустно, что эта такая спокойная и беззаботная женщина даже не знаетъ, ради чего таkъ рано уѣхала въ Петербургъ и надѣ чѣмъ работаетъ тамъ Марго де-Франсъ. Что если бы сказать Калеріи сейчасъ обо всемъ? Разорвать съ нею навсегда?.. Но какъ разъ въ эту минуту она смотрѣла на него съ такою безграничною преданностью, таkъ ласкала его своими красивыми глазами, что Левъ Самойловичъ рѣшилъ обо всемъ написать ей впослѣдствіи, когда онъ это найдетъ возможнымъ и нужнымъ!..

Странное дѣло — уже по дорогѣ къ вокзалу желѣзной дороги Левъ Самойловичъ началъ чувствовать, что съ его души сползаетъ мало-по-малу обаяніе Калеріи Алексѣевны. Когда-то самъ говорилъ объ этомъ Натальѣ Григорьевнѣ, но онъ не ожидалъ, чтобы это случилось теперь именно. Онъ таkъ же былъ привѣтливъ съ Селицкою, таkъ же пожималъ ея руку, даже въ голосѣ его было то же выраженіе — но эта разлука уже не казалась ему тягостной! Часъ тому назадъ въ ея комнатѣ Льва Самойловича пугала перспектива громаднаго пути среди полнаго одиночества. Ему хотѣлось перенести съ собою на сѣверъ всю эту удобную обстановку, съ этойю удобною женщиной, не отрываться отъ ея ласкъ, и — достаточно было шума и движенія парижской улицы, суеты дебаркадера, чтобы точно экраномъ Калерія Алексѣевна была заслонена мелкими и незначущими заботами отѣзда, хлопотами, выборомъ купѣ, возней съ сошедшими проводить его знакомыми!.. Еще нѣсколько минутъ тому назадъ ему былъ таkъ отраденъ взглядъ этой женщины, останавливавшійся на немъ. Онъ даже не соображалъ, что и эти глаза, и эти руки оплачены имъ, что каждая ласка ея таксирована — а теперь ни горечи, ни недовольства. Удобная качалка осталась позади и о ней сейчасъ же забываешь. Такъ что когда поѣздъ пошелъ черезъ Парижъ и въ отворенное окно вагона на Льва Самойловича пахнуло прохладой — онъ подставилъ ей свое лицо — и сразу сталъ думать о томъ, что его ожидало дома. Ни одной мысли не унеслось назадъ, ни одно желаніе казалось не застряло тамъ на avenue de Vaugraine за трельяжами знакомаго ему будуара. Весь этотъ вчерашній день съ его счастьемъ и радостями сливалъ, не оставивъ въ душѣ и слѣда. Если Калерія Алексѣевна и оболакивала, околдовывала человѣка — надо сказать правду, ея волшебство не было долговременно!..

Поѣздъ быстро уносился на сѣверо-западъ...

Откинувшись на спинку дивана, Левъ Самойловичъ уже всѣми своими мыслями былъ впереди. Какъ его встрѣтять въ Петербургѣ, увидится-ли онъ съ „нею“ и какъ увидится? Сверкнетъ-ли въ ея сѣрыхъ, гордыхъ глазахъ хоть одинъ отраженный лучъ ихъ недавнихъ встрѣчъ у голубого моря подъ безоблачными небесами? Мэ-

жетъ-ли онъ поѣхать къ ней?.. Сдѣлала-ли ужѣ что-нибудь Маргарита Францовна или еще и не начинала? Въ какомъ-то полуснѣ, весь отдавшійся воспоминаніямъ, онъ миновалъ нѣмецкую границу. Затянувъ синею занавѣскою газовый рожокъ вагона — онъ въ потемкахъ, казалось, еще переживалъ эту недавнюю бѣль. Всѣ его страданія и муки были покинуты имъ передъ Парижемъ. Въ его памяти остались счастливые дни и часы у далекаго теперь моря. Недѣли, проведенныя съ Калеріей Алексѣевной, не вызывали даже раскаянія въ немъ, хоть онъ, самъ себѣ улыбаясь, повторялъ теперь мысленно клятвы, данныхы имъ когда-то Свѣтлинѣ-Донецкой. „Развѣ женщины, такія, какъ она, понимаютъ что-нибудь въ этомъ — не съ ума же сходить намъ. Она никогда и не узнаетъ обѣ этомъ. Да и не за чѣмъ. Тутъ и каяться нечего“...

Подъ шумъ и грохотъ поѣзда онъ сталъ засыпать и ему почудилось, что это не вагоны бѣгутъ по рельсамъ, а волны Атлантическаго океана изъ какой-то таинственной дали — гряда за грядою несутся на скалы и отмели берега... Ему казалось, что свѣжее дыханіе ихъ наполняетъ все кругомъ прохладою, что стоитъ ему только открыть глаза и передъ нимъ забѣлѣеть пѣна, засинѣютъ далекіе утесы и надо всѣмъ опрокинется дивнымъ куполомъ полное тишины и благоговѣнія небо! Какъ было хорошо, какъ было хорошо!.. Когда все устроится — первые мѣсяцы ихъ счастья они проведутъ именно тамъ, въ знакомомъ отелѣ, у тѣхъ же каменныхъ уступовъ, у тѣхъ же волнъ, что такъ ластились къ ихъ лодкѣ, подъ чудными трепетными звѣздами, робко и радостно мерцавшими надъ утонувшимъ въ потемкахъ океаномъ... Утромъ, когда онъ проснулся — поѣздъ уже былъ около Берлина. Ото всей голубой сказки этого лѣта осталась только мокрая зелень растрепанныхъ вѣтромъ деревьевъ. Сыпался ровный, надобливый дождь. Даль была окутана холоднымъ, скучнымъ, однороднымъ туманомъ, въ которомъ пропадало все: и дома, и люди, и поля и сады. Отъ южныхъ красокъ и южнаго тепла — самыя воспоминанія казались чуждыми и странными. Точно ихъ вовсе не было въ дѣйствительности — и они только снились разгоряченному воображенію.

Чѣмъ дальше, тѣмъ было хуже и хуже! Подъ Петербургомъ уже падаль снѣгъ, дали были обутаны тусклыми, блѣсоватыми тонами. Анемическая природа сѣвера не радовала ни одною яркою, опредѣленною черточкою. Все сливалось, расплывалось и будто таяло. Деревья, дома казались намѣченными карандашомъ. Тоскливо смотрѣлъ Левъ Самойловичъ въ окно — и чѣмъ ближе къ цѣли, тѣмъ больше и больше его душу охватывала безнадежность. На станціяхъ — точно озабытыхъ посреди холодныхъ пустырей — сновала сѣрая, молчаливая толпа. Мимо вагона мелькали безлистныя вѣтви — точно

кости какихъ-то скелетовъ, протягивавшихся на встрѣчу поѣзду. Издали будто марь надвигалась на всю эту только что пережитую яркую сказку юга и поредѣ нею быстро линяли его краски... Мелкорослые, шаршавыя, лохматыя лошаденки бѣжали по слякоти дорогъ, тянувшихся рядомъ съ чугункою. На телѣгахъ мерещились такие же лохматые и шаршавые мужики. Ему тошно было смотрѣть на эту блѣдную немочь, какъ онъ самъ называлъ окрестности Петербурга, и ему казалось, что онъ ужъ задыхается, что воздуху мало кругомъ, точно въ кошемарѣ что-то наваливалось ему на грудь и давило ее! Даже лица первоклассныхъ пассажировъ смотрѣли недовольно, хмуро. Ни одной выдающейся черты. Однообразная тусклость, выцвѣтшіе глаза, вылинявшія щеки. Взгляды, полны раздраженія на что-то, никому невѣдомое. Тутъ очевидно и баловнямъ судьбы жилось скверно и грустно. Голоса звучали хрипло. Люди не говорили, а брюжжали и жаловались невѣдомо кому и на что. Самсоновъ чувствовалъ, что та же марь оболакиваетъ и его голову. Мысль засыпала, мечта, какъ подстрѣленная птица, падала о земль и тщетно билась на ней, силясь подняться. Увы—у крыльевъ уже не было силы. На югъ тоже слушалось замиралъ мозгъ—но тамъ его завораживали нѣга и прелесть окружающей природы, благополучіе жизни, наслажденіе ею... „Развѣ это жизнь? думалъ онъ про себя. Что за несчастная страна съ ея безконечными зимами, безсолнечными, вѣчно прячущимися въ грузныхъ, сѣрыхъ, медлительныхъ тучи; съ ея громадными разстояніями, неисходными пустырями! Куда же намъ угнаться за Европой — та живеть вдвое скорѣе и передѣлаетъ втрое болѣе дѣла“!. А гладь по сторонамъ вытягивалась все ровнѣе и ровнѣе. Пустыннѣе раскидывались дали, западавшіе въ неоглядные туманы. Безлюдѣемъ и бездорожьемъ вѣяло оттуда. Когда такой же однообразный, тусклый и скучный Петербургъ надвинулся на него, въ душѣ у Самсонова погасло даже желаніе выбиться изъ-подъ этой мглы. Только порою, какъ на далекомъ югѣ электрические вращающіеся маяки бросали горстями въ океанъ свои загадочные лучи, воспоминанія тепломъ и свѣтомъ врывались въ потемки его души. И тогда подъ этими лучами воскресала передъ нимъ высокая и стройная фигура Натальи Григорьевны. Скоро-ли онъ увидить ее? Она его не звала къ себѣ, въ Петербургъ. Онъ зналъ даже, что его появленіе въ ея гостиной будетъ ей далеко не пріятно. Она ему не разъ говорила объ этомъ въ Біаріцѣ. „У себя я должна быть спокойна. Я не хочу красть минуты счастья—и цѣлые дни потомъ расплачиваться за нихъ скучой и раскаяніемъ. Нѣть, тамъ вы должны помнить обо мнѣ такой, какою я была здѣсь, на югѣ... Будьте увѣрены, что если вы встрѣтитесь со мною у меня—я простужу васъ“... Но все равно онъ узнаетъ о ней отъ Марго, отъ другихъ. Онъ можетъ встрѣтить ее на улицѣ,

въ театрѣ... Мало-ли гдѣ? Да, наконецъ, какъ-бы она его ни встрѣтила, какимъ-бы холодомъ ни повѣяло отъ нея — кто ему запретить познакомиться съ ея мужемъ. Быть у нихъ... Пусть она не обращаетъ на него при другихъ ни малѣйшаго вниманія, все-таки онъ услышитъ ея голосъ, уловить ея улыбку, если она тутъ не разучилась еще улыбаться. Хоть порою прочтеть въ ея глазахъ отвѣтный отблескъ ихъ любви, ихъ, увы, такъ быстро-быстро миновавшаго счастья. Можетъ быть какъ-нибудь ему удастся отнять у судьбы одну минуту, когда она нежданно-негаданно опять сдѣлается такою, какою она была еще нѣсколько дней назадъ — и въ потемкахъ озабытаго сѣвера — это и согрѣть и освѣтить его жизнь... Можетъ быть тутъ ей самой будетъ невыносимо притворство... „Я не хочу ни въ чёмъ каяться!“ говорила она. Каяться. Вотъ ему есть въ чёмъ — а онъ не кается же. И не считаетъ, что измѣнилъ ей, потому что вся эта вспышка Парижа сплыла съ него, какъ съ гуся вода!.. И мысль его даже ни на одну минуту не возвращалась назадъ къ тѣмъ алымъ розамъ на сѣрой стѣнѣ, къ тѣмъ благоухающимъ трельяжамъ, за которыми слышался такъ нѣжно ласкающій смѣхъ Калеріи Алексѣевны...

На первыхъ порахъ въ Петербургѣ ему ничего не хотѣлось дѣлать. Домъ его — нѣсколько холодный и пустынnyй — на этотъ разъ показался ему еще холоднѣе и пустынѣе. Комнаты были громадны — и недаромъ ихъ называли Приглядовской галлереей. Приглядовскія картины смотрѣли на него отовсюду. Даже пустовавшее надъ его столомъ мѣсто было теперь занято послѣднею работою Ивана Николаевича, посланною изъ Біарица. Левъ Самойловичъ здѣсь и прежде чувствовалъ себя жутко. Слишкомъ гулко отдавались его шаги по этимъ заламъ, кабинетамъ и гостинымъ. Въ торжественномъ молчаніи этого величаваго парада какъ-то странно ему самому звучалъ его голосъ. Лакеи двигались безшумно, выслушивали его приказанія, слегка наклоняясь къ нему, и не отвѣчая ни слова, также безшумно исчезали, чтобы исполнить ихъ. Его управляющій говорилъ съ нимъ шопотомъ. Казалось, все здѣсь боится разбудить кого-то... Даже въ спальнѣ у Самсонова было холодно и пусто. Слишкомъ много простора и никакого уюта. Вещи дорогія и изящныя какъ будто нуждались только въ отмѣткахъ и номерахъ для указателя. Будь это — и весь домъ Льва Самойловича быль-бы похожъ на громадный музей, по которому ходятъ тысячи людей, но гдѣ не живеть никто... Подъ стать этому и въ громадныя окна смотрѣль сюда скучой, сѣрый, тусклый петербургскій день!.. Левъ Самойловичъ, нѣсколько отдохнувъ съ дороги, послалъ свою карточку Маргаритѣ Францовой, но ее не было дома. Часа черезъ два онъ заѣхалъ къ ней самъ, но Маргарита Францовна еще не возвращалась. Его встрѣтилъ глухой генераль и

обрадовался, взялъ его за пуговицу и не выпустилъ, пока Богъ знаетъ въ который разъ не рассказалъ ему, какъ онъ былъ раненъ на Кавказѣ и какъ неудобно было заносить эту рану въ формулярный списокъ: „и тутъ подлецъ-судьба меня обидѣла“. Разслышавъ или угадавъ наконецъ вопросъ Самсонова, что дѣлаетъ Маргарита Францевна, онъ поднялъ обѣ руки кверху и съ благоговѣніемъ прошепталъ: „Вся въ хлопотахъ, вся въ хлопотахъ. Только что пріѣхала—сейчасъ же за дѣла“... Сообразивъ, что отъ Кленовскаго все равно ничего не узнаешь, Самсоновъ поѣхалъ — рѣшился-таки наконецъ! — въ Свѣтлинъ-Донецкимъ. Но „барыня“, оказалось, уѣхала кататься, а баринъ засѣдали въ какой-то комиссіи. Самсоновъ хотѣлъ оставить карточку, но что-то точно толкнуло его — „не дѣлай этого?“.— Въ другой разъ заѣду! проговорилъ онъ и отправился дальше. Пообѣдалъ онъ въ какомъ-то ресторанѣ. Ему страннымъ казалось на первыхъ порахъ сидѣть одному въ своей громадной столовой, среди молчаливыхъ и торжественныхъ кардиналовъ-лакеевъ. Еще болѣе пугало его одиночество вечеромъ и онъ послалъ купить себѣ билетъ хоть у барышниковъ въ оперу. Домой онъ заѣхалъ только переодѣться — и до начала спектакля прошелъ на свое мѣсто въ первый рядъ. Онъ сидѣлъ въ самомъ углу и, не замѣчая ничего окружающаго, весь ушелъ въ свои воспоминанія. Въ оркестрѣ только что садились музыканты, пробовали скрипки, віолончели; цѣлый хаосъ безпорядочныхъ звуковъ носился тамъ, иногда на одно мгновеніе складываясь неожиданно въ какой-то странный мотивъ. Позади слышались шаги, шуршанье платьевъ, бѣглый разговоръ разсаживавшихся по мѣстамъ слушателей. Рядомъ съ Львомъ Самойловичемъ какой-то толстякъ, пыхтя, протиралъ бинокль, развертывалъ афишу. Дальше, прислонясь къ барьера, два молоденькихъ офицера старались принять позы понебрежнѣе и покрасивѣе и мучительно слѣдили по ложамъ, замѣчаютъ-ли ихъ оттуда или нѣтъ... Самсоновъ взялъ бинокль и тоже сталъ смотрѣть по сторонамъ. Его поразили эти скучающія лица, которыми отличается именно Петербургъ. Нигдѣ даже въ туманномъ и знаменитомъ своимъ сплиномъ Лондонѣ нѣтъ подобныхъ. У насъ царить сплошная тоска какая-то. Левъ Самойловичъ пробѣгалъ по рядамъ сидѣвшихъ уже въ партерѣ дамъ, мужчинъ, юношей, стариковъ — и на всѣхъ ихъ лежало одно и то же выраженіе неодолимой скучи. Казалось, не только они тяготятся жизнью и землей, но и жизнь и земля невыносимо обременены ими и не знаютъ, куда дѣвать этотъ сѣрый и непосильный балластъ. Самое кислое недоумѣніе было въ ихъ безцвѣтныхъ лицахъ и тусклыхъ глазахъ. Какое-то стихійное недовольство лежало въ холодныхъ губахъ, напрасно кривившихся въ улыбку, никого не обманывавшую, въ складкахъ и впадинахъ щекъ. И все это сморкалось, кашляло, хрюпѣло. Къ общей скучѣ присоединялась вѣчная вселен-

ская простуда. Каждый, садясь на свое мѣсто, прежде всего торопился точно отойти отъ чего-то оболохавшаго его непроходимыми потеками, стужей, туманомъ. Отойдя, онъ супился, недовольно оглядывался по сторонамъ, начиная сразу ненавидѣть своихъ сосѣдей только потому, что это его сосѣди, злобно смотрѣлъ въ затылокъ сидящаго напротивъ, а если кто притискивался мимо на свое мѣсто — протягивалъ впередъ ноги, притворяясь, что не замѣчаетъ этого и негодяя отъ всей души — „какъ ты смѣль приди позже и надоѣдать мнѣ, беспокоить“. Человѣконенавистничество сказывалось во всемъ и всѣхъ, и свѣжему, только что вернувшемуся въ Петербургъ „съ воли“ оно было еще виднѣе и замѣтнѣе. Левъ Самойловичъ почувствовалъ, что и его самого начинаетъ охватывать отовсюду эта кислая мгла и скучная оторопь сѣвера — какъ вдругъ, только что вошедшее въ одну изъ ложъ бенуара, дама съ своимъ мужемъ заставили его быстро приподняться, вздрогнуть... Онъ впился въ нихъ стеклами своего бинокля и уже не отрывался. Онъ слѣдилъ, какъ дама сбросила съ себя что-то мягкое, бѣлое, пушистое и, оправляя длинныя перчатки на рукахъ, садилась къ барьеру ложи. На одну минуту онъ перевелъ свой бинокль на ея спутника — и обрадованно понялъ, что между нимъ, и ею по прежнему ничего-ничего общаго... „Экій истуканъ! шепталъ про себя Левъ Самойловичъ. Ничего человѣческаго въ лицѣ, та же лошадиная морда“! А „лошадиная морда“ въ это время величественно садилась въ кресло и съ благосклонною снисходительностью смотрѣла сверху на цѣлое море головъ внизу. Зато его дама не обращала ни на что и ни на кого вниманія. Такая же гордая, спокойная, холодная. Какое счастье, что онъ, Самсоновъ, пріѣхалъ именно сюда — въ этотъ театръ, какое счастье! Теперь онъ насмотрится на нее по крайней мѣрѣ, а въ антрактѣ подойдетъ къ ней. Будь, что будетъ, а подойдетъ. Онъ знаетъ, что на лицѣ ея мужа выразится нѣкоторое недоумѣніе; но Владимиръ Петровичъ его нисколько не занималъ въ эту минуту, что онъ почувствуетъ — Льва Самойловича вовсе не интересовало. Да, именно такая же спокойная, гордая и какъ будто чуточку еще холоднѣе стала — точно искусь на себя наложила за то, что тамъ на югѣ на минуту отогрѣлась было подъ горячимъ солнцемъ у синяго, теплаго моря... Даже непонятно, какъ эта, именно эта недоступная женщина могла обнимать и цѣловать его тамъ, и не только „его“, но и его руки... Неужели эта головка, которой не хочется даже повернуться въ сторону — довѣрчиво, въ неудержимомъ порывѣ опускалась на его плечи, и эти сѣрые, неподвижные глаза ласково и тихо свѣтили ему, плакали, улыбались и губы эти — будто изваянныя изъ коралла — смыкались и какъ смыкались!.. Чудныя, звѣздныя ночи, дивные, божественные вечера. Будь

тысячу разъ благословенъ далекій-далекій, такъ сблизившій ихъ океанъ, съ его неугомонными волнами, давшими ему столько счастья, столько радости, что ему самому странно, какъ онъ не задохнулся отъ нихъ. Неужели эти мраморныя плечи горѣли у него въ рукахъ и этотъ стройный станъ трепеталъ въ его объятіяхъ... Подумать только, что они оба были недалеко, такъ недалеко отъ *его* волшебнаго острова, съ чудными миражами любви, что заколдованное море несло къ его сказочнымъ берегамъ ихъ послушный челинь... Какъ хорошо, какъ свѣтло было!.. И неужели это не повторится?.. Владимиръ Петровичъ сказалъ ей что-то... Левъ Самойловичъ такъ и впился въ лицо Натальи Григорьевны. Она даже не повернулась къ мужу, отвѣчая ему. Точно и не ей былъ предложенъ имъ какой-то вопросъ. Самсонову стало еще веселѣе... Онъ-бы теперь не хотѣлъ ни на минуту потерять изъ глазъ этого спокойнаго, непроницаемаго лица.. Воинъ она, эта родинка подъ правымъ ухомъ. Чуть-чуть замѣтная, крохотная. Онъ ее цѣловалъ бывало. И какъ будто отъ послѣдняго поцѣлуя и до этой минуты — ничего не было: ни времени, ни разстояній, ни впечатлѣній, ни другихъ поцѣлуевъ. Достаточно было ему увидѣть эту женщину, чтобы все случившееся въ эти дни — сплыло куда-то, въ бездну провалилось, не оставивъ за собою никакого, рѣшительно никакого слѣда. Ни Парижа не было, ни этого сѣраго палаццо на avenue de Vagrame, ни этой пахнущей раздражавшими его духами спальні, ни Калеріи Алексѣевны съ ея нѣжными, завораживающими ласками. Были мгновенія, когда ему, этому взрослому ребенку, чудилось, что за стѣнами театра медлительно и тихо колышется у молчаливыхъ каменныхъ террасъ море и у самаго берега ждетъ ихъ въ своей лодкѣ старый Бенуа... А дальше хмурится не-проглядная даль и только звѣзды вверху трепетно подстерегаютъ влюбленныхъ... друзей и только друзей... Боже мой, неужели на ея лицѣ ничего не отразится, когда она встрѣтится съ нимъ, съ Львомъ Самойловичемъ, глазами? Неужели она останется также непроницаемо спокойна и блѣдная ея щеки не зальются хоть на мгновеніе яркимъ радостнымъ румянцемъ?.. И Самсоновъ смотрѣть, неотступно смотрѣть, хоть въ оркестрѣ, уже медленно и величаво развертывалась широкая увертюра Мейербера и скрипки плакали о чёмъ-то и чему-то смѣялись. Потомъ, когда свѣтъ электрической люстры внезапно погасъ и послышалось шуршанье занавѣси, Самсоновъ сообразилъ, что далѣе смотрѣть на Наталью Григорьевну было бы неосторожно, и отвернулся...

Она такъ его и не видала... На одну минуту онъ уловилъ въ ея лицѣ отсвѣтъ точно изнутри какой-то грусти... Но только на минуту. Она прошла — и это лицо было также непроницаемо и спокойно! Левъ Самойловичъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ, когда окончится этотъ актъ. Передъ нимъ что то пѣли артисты. Какой-то

слабогрудый теноръ изводился, неистово выдавливая изъ себя верхнія ноты, съ отчаяніемъ утопающаго схватывался за фальцетъ, какъ за единственное свое спасеніе, бѣшено кидался по сценѣ то въ одну, то въ другую сторону, заслоняя недочеты голоса игрою; публика то и дѣло приходила въ восторженное настроеніе, знаменуя тѣмъ самымъ полное свое невѣжество; оркестръ старался переорать артистовъ, артисты — перекричать оркестръ; красивый баритонъ отпускалъ заранѣе намѣченныя психопаткамъ взоры отъ пяти до двадцати пяти рублей за штуку и старался принимать такія позы, чтобы въ самомъ выгодномъ свѣтѣ выказать свои атуры. Левъ Самойловичъ не замѣчалъ ничего. Ходульная ложь и фальшивъ бездарностей и фальшивыхъ монетчиковъ искусства, замѣнявшихъ наглостю отсутствіе истиннаго дарованія, — проходила какъ-то стороной... Онъ все время оглядывался на ложу Свѣтлинъ-Донецкой — точно боялся, что до окончанія этого безконечнаго акта Наталья Григорьевна можетъ уйти оттуда. Но всякий разъ онъ видѣлъ, что она сидитъ все таѣ же и такъ же безучастна. Она даже мало смотрѣла на сцену. Должно быть и ее простуженные пѣтухи этой вокальной богадѣльни ни мало не интересовали. На ея шеѣ ярко радужнымъ блескомъ сверкала великолѣпная ривьера — но ни въ ушахъ не было серегъ, ни на рукахъ браслетовъ... Левъ Самойловичъ любовался мелькомъ знакомыми ему изгибами этой шеи, волосами, завивавшимися на ней, чудной линіей ея плечъ, такъ напоминавшихъ ему Венеру Луврскаго музея... Надѣли ли ей перчатки, но онъ замѣтилъ какъ она медленно сняла ихъ и ея великолѣпныя руки на темномъ бархатѣ барьера такъ и вырѣзались такимъ художественнымъ рисункомъ, что Самсоновъ, ужъ не замѣчая странности своего положенія, всю остальную часть акта пропидѣлъ полуоборотясь къ ихъ ложѣ... Къ счастію — дѣйствіе скоро кончилось. Начались обычные восторги, того горячечнаго характера, которымъ отличается только наша русская публика. Къ барьеру прорвались необыкновенно рѣшительныи и предпримчивыи дѣвицы съ платками и такъ размахивали ими, точно хотѣли отхлестать по лицу восхищавшихъ ихъ тенора съ баритономъ, какіе-то тупорылые молодые люди, у которыхъ волоса начинались отъ бровей, не уступали имъ въ „поклоненіи искусству“... Левъ Самойловичъ прошелъ на середину и простоялъ тамъ на минуту. Ему хотѣлось, чтобы Наталья Григорьевна замѣтила его раньше, чѣмъ онъ подойдетъ къ ней. Воспользовавшись тѣмъ, что психопатки нѣсколько угомонились и очистили барьерь, онъ прислонился къ нему. Вліяніемъ ли его взгляда или невидимыми нитями, связывающими сердца людей — передалось Свѣтлинѣ-Донецкой его желаніе, мольба, приказаніе — назовите это какъ хотите, но она, сидѣвшая спиной къ сценѣ, вдругъ обернулась — и не останавливалась глазъ на всей этой громадѣ партера —

встрѣтила именно его... Радостно, съ до боли забившимся сердцемъ Левъ Самойловичъ замѣтилъ, что ее точно подняло всю. Она вздрогнула, подъ вліяніемъ какого-то неудержимаго порыва, встала, вся загорѣлась радостная, счастливая и смятенная въ одно и то же время. Казалось, черезъ десятки рядовъ, черезъ сотни головъ, бывшихъ между нимъ и ею, она хотѣла ему крикнуть что-то неудержимое на весь этотъ театръ. Левъ Самойловичъ увидѣлъ, какъ заколыхалась ея грудь, высокая и красивая, какъ Наталья Григорьевна прижала руку къ сердцу, точно оно готово было у нея разбить свою клѣтку и выскочить на встрѣчу другому такъ же бившемуся. Какъ горѣли ея глаза въ эту минуту! Неужели нѣсколько мгновеній назадъ они могли быть такими спокойными, холодными, гордыми. Онъ по неволѣ вспомнилъ ихъ встрѣчу на террасѣ далекаго отеля передъ лицомъ недвижнаго тогда океана. Это были тѣ же глаза, та же радостно-смущенная улыбка, то же непередаваемое волненіе... Онъ нѣсколько секундъ оставался еще, любясь ею. Ему не хотѣлось лишать себя наслажденія видѣть ее такою именно... Только немного спустя — онъ рѣшительно двинулъся къ ней... Но это было не такъ-то легко: публика стояла въ проходахъ. Бездѣ толковали о „выѣденномъ яйцѣ“, т. е. обѣ исполнителяхъ сегодняшней оперы. Это внезапное оживленіе еще такъ скучавшихъ недавно истукановъ было на свѣжій взглядъ — больше, чѣмъ странно. Точно гальванизированный трупъ, все это жестикулировало, дико и судорожно двигалось. Остановливаясь на каждомъ шагу, извиняясь, выжидая и внутренно бѣясь на эти проволочки, Левъ Самойловичъ проходилъ къ намѣченной имъ ложѣ бенуара. Онъ не былъ еще съ визитомъ у ея мужа — и ему нельзя было войти въ ложу изъ коридора; онъ могъ только раскланяться съ Натальей Григорьевной и сказать ей нѣсколько словъ у ея барьера. Кстати сидѣвшіе тамъ встали и ушли и мѣсто было свободно. И на ходу Левъ Самойловичъ замѣтилъ — какая перемѣна совершилась съ Свѣтлинѣ-Донецкой. Недавнія, бѣрицкая — она мало-по-малу опять входила въ роль царевны-недотроги, мраморной красавицы, бѣлаго ангела, какъ ее называли здѣсь. Оживленіе и радость сбѣгали съ ея лица, краски его тускли, глаза гасли. Грудь дышала медленнѣе и спокойнѣе. Очевидно, по ея любимому выраженію, она забирала себя въ руки... На минуту какая-то до апоѳлексіи затянутая въ кѣрсетъ туша задержала Льва Самойловича. Она встала съ мѣста, когда онъ уже подходилъ къ ложѣ — и Самсоновъ долженъ былъ отступить передъ этойю Хеопсовою кувалдой. Когда онъ двинулъся уже безпрепятственно къ Натальѣ Григорьевнѣ — та сидѣла холода, безмятежна, низко опустивъ длинныя рѣчицы — такъ низко, что онъ еще далѣѣ бросали чуть не до половины щекъ свою тѣнь. Грудь ея дышала медленно и ровно. Когда Левъ Са-

мойловичъ наконецъ подошелъ и низко ей поклонился, боясь сказать хотя слово, чтобы не выдать своего волненія, Наталья Григорьевна уже была опять въ своей тарелкѣ. Она спокойно подняла на него свои рѣсницы, холодно обвела его раскраснѣвшееся, горѣвшее восторженными глазами лицо — ничего не говорившимъ взглядомъ большихъ сѣрыхъ глазъ — и какъ будто ничего-ничего между ними обоими никогда не было, спросила его, не подавая руки, этой блой, красивой, изящной руки, такъ неподвижно лежавшей на аломъ бархатѣ барьера.

— Вы давно вернулись, м-сье Самсоновъ?

Онъ даже растерялся, не понявъ сразу что это такое?

Хорошо, что ея мужа не было въ ложѣ. Какой-то конногвардеецъ входилъ туда и кланялся въ дверяхъ. Она и ему такъ же спокойно и незначуще кивнула головой.

— Вы давно пріѣхали, м-сье Самсоновъ?

— Сегодня... Тихо проговорилъ онъ совсѣмъ обезкураженный...

— И ужъ здѣсь?

— Да... И такъ счастливъ... Такъ...

— Чему это... Вѣдь опера, надо сказать правду — никуда негодится.

— Нѣтъ, я... не тому...

Онъ поднялъ на нее глаза. Она смотрѣла на него внимательно, но въ ея взглядѣ не было ничего-ничего прежняго. Неужели это та же женщина, которая писала ему то памятное ему письмо, которая такъ ласкала его въ лодкѣ среди торжественного молчанія одними звѣздами озареннаго океана, на той скамьѣ въ бесѣдкѣ сада въ Санъ-Себастіанѣ?.. Что сдѣлалось съ нею?..

— Какая разница... вырвалось у него вслухъ.

У Натальи Григорьевны чуть дрогнули брови.

— Въ чемъ?

— Во всемъ... Какъ непохожъ Петербургъ на Біарицъ. — Ужъ совсѣмъ глупо замѣтилъ онъ. Такъ глупо, что она, хотя и поняла его — усмѣхнулась.

— Еще бы! Что же общаго!.. Я вѣдь вамъ говорила, что вы простудитесь здѣсь... На что же другое вы могли разсчитывать? подчеркнула она и обернулась къ своему гостю.

— Я сегодня была у вашей мамы.

— Какъ же, она мнѣ говорила...

Начался пустой, незначущій разговоръ... Самсоновъ, сознавая всю нелѣпость своего положенія стоялъ, молча и, воспользовавшись первою минутой, вставилъ.

— Я тоже былъ у васъ сегодня.

— По четвергамъ я никогда-никогда не бываю дома.

Онъ опять долженъ быть переждать минуту, чтобы воспользоваться новою паузой.

— Когда же я могу представиться вамъ и вашему мужу?..

— Мужъ?.. Мужъ никогда не бываетъ дома... А я... я еще не начала своихъ приемовъ.

Ему показалось, что онъ получилъ пощечину. На лицѣ у сидѣвшаго въ ложѣ офицера показалась сдержанная насмѣшливая улыбка. Самсоновъ попятился и пошелъ назадъ на свое мѣсто... Я думаю, побитая собака чувствуетъ себя также. Онъ сѣлъ. Но если бы онъ видѣлъ взглядъ, какимъ проводила его Наталья Григорьевна — его сердце опять бы забилось радостно...

— Однако, Наталья Григорьевна, вы не очень-то ободрили вѣшаго поклонника.

— Моего поклонника? — протянула она.

— Да... Этого золотоволосаго богатыря. Кто это?

— Самсоновъ.

— Миллионеръ? — удивился тотъ.

— Онъ самый. Я его давно знаю. Еще въ дѣвушкахъ...

Офицеръ ужъ съ уваженіемъ взглянулъ на Льва Самойловича, стоявшаго около своего кресла, опустя голову.

Въ слѣдующемъ антрактѣ онъ уже издали смотрѣлъ на Наталью Григорьевну. И вдругъ, его сердце точно захолонуло отъ восторженнаго чувства надежды и благодарности. Свѣтлинъ-Донецкая съ минуту, уже не владѣя собою, смотрѣла на него — знакомымъ и милымъ ему взглядомъ своихъ мерцающихъ глазъ. И въ нихъ и во всемъ лицѣ ея какъ будто выражалось и безъ словъ ясное:

„Прости меня, мой дорогой, хороший, что я сдѣлала тебѣ больно... Я не виновата... Я предупреждала тебя, что здѣсь буду совсѣмъ другою. Я не своя здѣсь — но помни, я такъ же тебя люблю, какъ и тамъ... Люблю, люблю!“

Домой халъ Левъ Самойловичъ въ какомъ-то угарѣ.

Онъ уже былъ около своего подъѣзда — какъ вдругъ его точно ударило въ голову:

— Епифанъ! — приказалъ онъ кучеру. Пошелъ на Сергіевскую.

— Слушаюсь.

Кучеръ повернулъ лошадь и сани быстро понеслись туда.

— Гдѣ прикажете остановиться? — сдержалъ онъ коня на минуту, повернувшись съ Фонтанки на эту улицу.

— У Кленовскихъ!

„Господи, какое сумасшествіе? Маргарита Францовна вѣдь спить вѣрно!.. Что они подумаютъ? Въ первомъ часу ночи“!.. Но издали разглядѣвъ окна Кленовскихъ, Левъ Самойловичъ успокоился. Они были освѣщены...

В. Пемировичъ-Данченко.

(Продолженіе слѣдуетъ).

S 1 M 15

О СЕБЯЛЮБИ, КАКЪ ЕДИНСТВЕННОМЪ ДВИГАТЕЛЬ ВЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Недавно вышла въ свѣтъ книга Лоріа «Экономическая основанія общественного строя». Нося имя писателя, извѣстнаго сочиненіемъ о поземельной рентѣ, книга обратила на себя вниманіе и на Западѣ, и въ нашей литературѣ. Авторъ развиваетъ три основныя положенія. 1) Всѣ факты истории человѣчества объясняются экономическими причинами. 2) Всѣ перемѣны въ общественной жизни совершаются въ интересахъ имущихъ классовъ. 3) Послѣдній распадается на двѣ самостоятельные группы—владѣльцевъ земли съ одной стороны и движимости съ другой. Интересы тѣхъ и другихъ часто бываютъ различны и даже противоположны: борясь между собою, они ищутъ поддержки неимущихъ классовъ и доставляютъ послѣднимъ нѣкоторыя выгоды. Участь бѣднѣйшихъ людей улучшается только вслѣдствіе того, что каждая изъ борющихся сторонъ находить нужнымъ привлечь ихъ къ себѣ. Такъ какъ интересы богатыхъ и неимущихъ не совпадаютъ, то послѣдніе могутъ разсчитывать на очень медленное и частичное, но отнюдь не коренное улучшеніе своей доли. Когда борьба землевладѣльцевъ и капиталистовъ замѣтно расширяетъ права неимущихъ, то обѣ группы, забывая свою рознь, соединяются и препятствуютъ бѣднѣйшимъ согражданамъ достигнуть такого политического могущества, какое можетъ быть опасно для состоятельныхъ классовъ.

Мы не будемъ останавливаться на первомъ положеніи итальянского писателя; оно уже оцѣнено въ русской литературѣ. Н. И. Карьевъ (см. *Русское Богатство*, 1894, январь) указалъ на невѣрное истолкованіе Лоріа многихъ крупныхъ и общеизвѣстныхъ историческихъ фактовъ, а В. А. Гольцевъ (*Русская Мысль*, 1893, ноябрь), сдѣлавъ Лоріа цѣлый рядъ возраженій, провелъ ту мысль, что человѣчествомъ двигаютъ не одни экономические мотивы, но и чисто этическія силы. Напомнимъ, что и въ прежнихъ своихъ трудахъ г. Гольцевъ опредѣленно и убѣдительно высказывался противъ этого направленія. «Односторонность теоріи эко-

номического материализма, говорить онъ, признается теперь самими защитниками ея, правда, далеко не всѣми. Наблюденія надъ процессомъ исторического развитія народовъ указываютъ на повсемѣстный и всеускоряющійся ростъ сознанія и нравственно-общественныхъ идей. Изъ не преднамѣренного результата всей личной и общественной жизни, идеи эти становятся цѣлями и для обдуманной дѣятельности отдельного человѣка, и для планомѣрного переустройства общественныхъ порядковъ». (*Гольцевъ*. Лавле «о правительствѣ въ демократіи». (Сборн. Правовѣд., I 115). Постараемся же дать себѣ отчетъ, насколько вѣрны второе и третье положенія итальянского писателя.

Дѣятельная жизнь безчисленными фактами подкрѣпляетъ эти положенія. Обширная и разнообразная область частной и общественной благотворительности служить неисчерпаемымъ источникомъ доказательствъ. Я не буду говорить о музыкальныхъ и танцевальныхъ вечерахъ въ пользу нуждающихся, театральныхъ представлениихъ, безпроигрышныхъ лотереяхъ, о базарахъ кустарныхъ издѣлій, гдѣ новѣйшая мода и утонченное изящество съ обворожительной улыбкой продаютъ игрушки и конфекты въ пользу подваловъ и чердаковъ: каждый, въ комъ живеть хотя слабое чувство нравственного изящества, знаетъ смыслъ и цѣну этихъ видовъ благотворительности. Праздность, притупленная воспріимчивость относительно обычныхъ, распространенныхъ формъ пріятнаго препровожденія времени, тщеславіе низшаго разбора — вотъ что руководитъ этой благотворительностью. Но и въ правильно организованномъ общественномъ призрѣніи сказываются чисто эгоистические расчеты, сказывается боязнь, какъ бы многочисленныя массы, лишенныя работы и средствъ къ жизни, не были опасны существующему порядку вещей. Фабричные законы служать для многихъ писателей лучшимъ доказательствомъ заботливости, съ которою государство относится къ интересамъ бѣднѣйшихъ гражданъ; но Лоріа, ссылаясь на исторію англійскаго фабричнаго законодательства, подобно нѣкоторымъ другимъ экономистамъ, съ удареніемъ говорить о томъ, что фабричные законы были проводимы въ Англіи, благодаря поддержкѣ торіевъ; торіи, заигрывая въ этой формѣ съ рабочими классами, хотѣли отмстить промышленникамъ за агитацию, направленную къ отменѣ хлѣбныхъ пошлинъ. Можно согласиться и съ тѣмъ, что новѣйшая реформа ирландскаго арендаго права совершилась лишь въ тѣхъ предѣлахъ, какіе были необходимы, дабы смягчить озлобленность коттеровъ. Не трудно найти подтвержденіе этой мысли и въ переселенческой политикѣ. Въ Англіи частная предпріимчивость и казна помогали и продолжаютъ поддерживать эмигрантовъ, но лишь въ скромныхъ размѣрахъ, которые, не умаляя числа рабочихъ рукъ, необходимыхъ для промышленности, могутъ отвлекать часть элементовъ, недовольныхъ существующимъ порядкомъ вещей. Въ Россіи, гдѣ эмиграціонный вопросъ имѣть очень малое значеніе и гдѣ только внутреннія переселенія являются крупнымъ фактомъ

общественной жизни, переселенческая политика потому не соответствует важности дела, что боятся, какъ бы переселенія въ широкихъ размѣрахъ не причинили убытокъ землевладѣльцамъ повышенiemъ заработной и понижениемъ арендной платы. Къ двумъ — тремъ, на удачу взятымъ примѣрамъ, можно пріобщить и множество другихъ; и многіе другіе доказываютъ, что мѣропріятія для бѣднѣйшихъ классовъ ограничиваются предѣлами, въ которыхъ они выгодны состоятельнымъ и властвующимъ общественнымъ группамъ, что они отнюдь не вызываются стремлениемъ создать для бѣднѣйшихъ гражданъ, ради ихъ самихъ, болѣе благопріятную обстановку.

Однако, подобное толкованіе не всегда соответствуетъ положенію дѣла. Возьмемъ, прежде всего, область частной благотворительности. Среди разнообразныхъ формъ частной благотворительности и многочисленныхъ учрежденій, которымъ она созидаетъ, мы находимъ и людей богатыхъ, отдающихъ дѣлу съ полнымъ безкорыстiemъ и самоотверженiemъ. Не будемъ говорить объ Оуенѣ, Годенѣ, Говардѣ, Пибоди и другихъ, пріобрѣвшихъ на этомъ поприщѣ всемирную известность. Въ каждомъ значительномъ центрѣ около многочисленныхъ благотворительныхъ обществъ группируются, среди множества хлыщѣй, шарлатановъ и пройдохъ, искаженныхъ честолюбцевъ и высокочекъ, люди, относящіеся къ дѣлу съ неподдельной душевной теплотой. Какъ разнообразны цѣли благотворительности, такъ различны и формы, въ которыхъ эти люди даютъ просторъ своему альтруистическому чувству. И человѣкъ скромнаго достатка, который открываетъ въ медвѣжьемъ углу столовую для голодающихъ, и бывшій профессоръ, оставляющій въ цвѣтѣ лѣта свою аудиторію, чтобы вносить въ убогую книжину грамотность и начатки знаній, и одушевленные дѣятели оксфордскаго и кембриджскаго университетовъ, которые съ профессоромъ Стюартомъ во главѣ, не щадя времени и силъ, двинули въ народъ цѣлья системы высшаго образования, и американскій миллионеръ, жертвующій состояніе на народныя школы, и яѣкоторые прозелиты крупныхъ благотворительныхъ обществъ — все должны быть отнесены къ этой группѣ. Возьмемъ Бутса и его армию спасенія. Быть можетъ, правы те, которые упрекаютъ самого генерала въ своеокрыстныхъ побужденіяхъ и не вѣрятъ, чтобы онъ руководствовался въ своей дѣятельности исключительно влечениемъ къ добру. Но въ арміи насчитываютъ до 10,000 людей; многіе изъ нихъ, принадлежа къ имущимъ классамъ, фанатически преданы дѣлу вспоможенія ближнимъ. Правда ли, что все это капля въ морѣ, что эти мѣры, исходя отъ отдельныхъ лицъ, могутъ поднять материальное благосостояніе и духовное развитіе только горсти бѣдняковъ? Нѣтъ, нужно оцѣнивать всю эту дѣятельность не только по непосредственному вліянію, но и по косвеннымъ результатамъ, которые она вызываетъ. Она имѣеть значеніе для благопріимыхъ тѣмъ, что измѣняетъ къ лучшему ихъ жизненную обстановку; она важна для благотворителей, такъ какъ напо-

минаетъ имъ обѣ огромныхъ размѣрахъ тѣлесной и духовной нищеты, которая нась окружаетъ; она имѣеть еще болѣшую цѣну потому, что лучшихъ, наиболѣе даровитыхъ, гуманныхъ и безкорыстныхъ побуждаетъ не ограничиваться только паліативными мѣрами для устраниенія немногихъ, наиболѣе рѣзкихъ признаковъ нужды, но и *восходить къ познанію ея причинъ*. Я не вѣрю, чтобы человѣкъ, сколько-нибудь мыслящий и съ чуткой душой, чувствовалъ себя удовлетвореннымъ, если доставилъ босоногому населенію подваловъ иѣсколько сотъ билетовъ на бесплатные обѣды. Нѣтъ, или неотступно, или хотя судорожно имъ овладѣваютъ вопросы о томъ, какая причина этой обездоленности, что порождаетъ эту чудовищную неравномѣрность въ распределеніи имуществъ, почему такъ много нужды незаслуженной, не вызванной порокомъ, ни даже внезапными ударами судьбы, обезсилающими и мощныхъ людей, а нужды хронической, сѣрой, беспросвѣтной? При свѣтѣ знанія на всѣ эти вопросы можно отвѣтить безъ труда. Но и для тѣхъ, лучшихъ изъ благотворителей, которые стоять далеко отъ научного знанія, при постоянномъ упражненіи въ благотворительности и общеніи, многое становится понятнымъ; если не познаются основныя силы, которыя идутъ далеко въ глубь общественного строя, то уясняются хотя ближайшія непосредственные причины, которыя порождаютъ эти явленія.

Въ частной благотворительности многое заслуживаетъ осмѣянія, но не все. Многое не идетъ дальше мизерной помощи, но не все. Многое не идетъ дальше непосредственныхъ результатовъ и не имѣеть воспитательного вліянія на благотворителей, но не все. Въ этомъ обширномъ кругѣ есть элементы, которые поддерживаютъ наклонность къ добру, возбуждаютъ дремлющую любознательность, направляютъ умъ на изученіе причинъ общественныхъ бѣдствій. И съ каждымъ поколѣніемъ частная благотворительность накопляетъ все больше материала, который переживается благотворителей. Я говорю не о тѣхъ болѣе или менѣе прочныхъ вещественныхъ памятникахъ, которые, въ видѣ монументальныхъ пріютовъ, больницъ, богадѣлень, почлежныхъ домовъ, навсегда сохраняютъ имена жертвователей, но о томъ духовномъ материалѣ, который выражается въ сознаніи долга имущими классами по отношенію къ неимущимъ, въ искреннемъ и дѣятельномъ желаніи улучшить его бытъ, въуваженіи его личности, и это вѣрно *даже* для тѣхъ людей, которые въ современномъ общественномъ строѣ наиболѣе полно удовлетворяютъ свое себялюбіе и находять непрекращаемый источникъ для своего тщеславія. Благодаря росту этого духовнаго материала, часть того, что богато, именито, чему открыть доступъ ко всѣмъ усладамъ жизни, получаетъ наклонность къ истиинно-доброй, полезной широко общественной работѣ не только при народныхъ бѣдствіяхъ, въ дни тяжелыхъ испытаній и при общемъ подъемѣ духа, но правильно, спокойно, настойчиво, изо дnia въ день;

ростъ этого материала вносить въ законодательную работу 19-го столѣтія такія черты, которыя не могутъ быть связаны съ эгоистическимъ разсчетомъ богатыхъ и влиятельныхъ классовъ.

Согласимся, что первые фабричные законы были изданы въ Англіи, благодаря борьбѣ, которую землевладѣльцы вели съ промышленниками. Но такъ было въ 30-хъ и 40-хъ годахъ. Когда хлѣбная лига одержала победу, выразившуюся въ отменѣ хлѣбныхъ законовъ, и землевладѣльцы пережили вліяніе, которое имѣла эта отмена на ренту, то былъ устраненъ поводъ, заставлявшій ториевъ ратовать за интересы рабочаго класса. А, вѣдь, англійское фабричное законодательство развивалось безостановочно. Въ 1878 году совершилась кодификація англійскихъ фабричныхъ законовъ; а до тѣхъ поръ, въ теченіе 28 лѣтъ (отъ 1850 года) было издано 15 законовъ; некоторые изъ нихъ имѣютъ первоклассное значеніе. Было-бы большой натяжкой объяснять изданіе позднѣйшихъ законовъ только личными выгодами фабрикантовъ. Правда, сокращеніе крайне долгаго рабочаго дня повышаетъ производительность труда и приноситъ выгоды промышленникамъ. Но нельзя доказать, что такія-же выгоды доставляютъ всѣ разнообразныя, важныя для работниковъ ограниченія, нашедшія себѣ мѣсто въ фабричныхъ законахъ. Ни тори, ни виги, съ точки зрѣнія личныхъ выгодъ, не были заинтересованы въ законодательномъ проведеніи этихъ мѣръ. Гдѣ тѣ или другіе содѣйствовали ихъ проведенію, тамъ являлись они не ториами и вигами, не землевладѣльцами и заводчиками, а людьми, которые понимали или хотя безотчетно чувствовали необходимость смягчить положеніе работника. Замѣтимъ, что широкія права, предоставленныя фабричнымъ инспекторамъ при осмотрѣ фабрикъ, идутъ въ разрѣзъ съ упрочившемся въ Англіи идеей личной свободы, неприосновенности жилища и независимости частныхъ учрежденій отъ государства. Парламентское большинство, содѣйствовавшіе про-веденію цѣлаго ряда фабричныхъ законовъ, было достаточно дальновидно, для усвоенія той простой истины, что движеніе, разъ принять известную форму, будетъ все легче и легче принимать и другія сходныя формы, что законъ, ограничившій право частныхъ лицъ въ одномъ случаѣ, ограничитъ позднѣе и во многихъ другихъ, т. е. затронеть англичанъ съ той стороны, гдѣ они наиболѣе чувствительны. Не нужно большой прозорливости, чтобы понимать это; и если такие законопроекты находили за себя большинство, то лишь въ силу убѣжденія, что работникъ имѣть право на заботливость со стороны государства. Какъ объяснить, что движеніе, начавшись въ Англіи, перешло на материкъ Европы и выражилось здѣсь въ формахъ, отчасти еще болѣе благопріятныхъ для работниковъ, нежели въ Великобританіѣ? Я имѣю въ виду швейцарскій фабричный законъ 1877 и австрійскій — 1885 года; эти законы обнаруживаютъ большую заботливость о рабочихъ, нежели англійскіе. Въ обоихъ государствахъ не было условій, которыя позволили-бы говорить объ этихъ

законахъ, какъ о результатѣ борьбы между землевладѣльцами и промышленниками. Наивно думать, чтобы всѣ пункты этихъ законовъ были «очевидно выгодны» для фабрикантовъ; что имъ выгодно, напр., запрещеніе ночной работы дѣтей и подростковъ, особенная заботливость о беременныхъ работницахъ и роженицахъ. Если мы припишемъ изданіе этихъ законовъ только подражанію, желанію усвоить англійскій образецъ и даже обогнать Англію, то, отказавшись отъ нелѣпой мысли о возможності стѣнного подраженія, должны будемъ признать здѣсь работу мысли и чувства, направленную въ пользу бѣднѣшихъ классовъ и побудившую перенять и усовершенствовать нормы права, выгодныя для работниковъ.

Заглянемъ въ область финансовой политики. Современные финансовые системы производятъ удручающее впечатлѣніе на каждого, кто пишетъ въ государственномъ хозяйствѣ хотя бы самой грубой справедливости. Лоріа идетъ въ этомъ направлѣніи такъ далеко, что считаетъ прогрессивные доходные налоги и налоги съ наслѣдства возможными только потому, что они выгодны для имущихъ классовъ. Аргументація итальянского писателя такъ искусственна, что сразу выдаѣтъ свою несостоятельность. За послѣднія 25 лѣтъ, говорить онъ, въ западной Европѣ обнаруживается стремленіе нѣсколько болѣе привлечь къ налогамъ капиталъ, нежели то было раньше. «Это вовсе не противорѣчить теоріи экономического основанія государства, такъ какъ является послѣдствіемъ только невозможности большаго обложенія рабочихъ классовъ, которые отнынѣ сведены къ низшему уровню заработной платы». (Loria, 243). Но усиленное обложение капитала — когда прибыль опускается очень низко — лежитъ въ интересахъ и самихъ капиталистовъ: прогрессивные налоги замедляютъ возрастаніе капитала и отсрочиваютъ чрезмѣрное производство и наступленіе торговыхъ кризисовъ. Когда прибыль стоитъ выше минимума, то невозможность усилить косвенные налоги, т. е. обложить, главнымъ образомъ, работниковъ, заставляетъ взимать съ наслѣдства довольно высокую подать, въ разсчетѣ, что прибыль, будучи довольно высока, не помѣшаетъ капиталистамъ восполнить пробѣлъ, который причиняетъ налогъ съ наслѣдства. Все это уменьшаетъ для состоятельныхъ классовъ побужденіе направлять капиталы на спекуляцію. Эти объясненія невѣрны. Во-первыхъ, нельзя доказать, чтобы въ новѣйшее время заработка плата опустилась до уровня, который соотвѣтствуетъ *minimum*'у и не допускаетъ дальнѣйшаго возвышенія косвенныхъ налоговъ. Конечно, плата стоитъ гораздо ниже уровня, на которомъ покрываются гигіенически необходимыя потребности (см. нашу книгу «Начала политической экономіи», стр. 205—212). Но не слѣдуетъ говорить о *minimum*'ѣ въ томъ смыслѣ, что законодатель уже не можетъ взять изъ платы ничего: какъ бы ни былъ дурно поставленъ работникъ, налоги еще могутъ урвать у него что-нибудь. Въ западной Европѣ и Америкѣ возрастаютъ потребленіе вина, табаку, сахару, мяса и налогъ еще можетъ взять нѣсколькокрохъ изъ потребительного бюджета

работника. Второе положение — о выгодности для самихъ капиталистовъ податей съ наследствъ и прогрессивного подоходного налога—совершенно искусственно. Въ Швейцаріи, Германії и Великобританії, имѣющихъ наиболѣе развитое обложение этого рода, рыночный учетный процентъ стоитъ на 3—3 $\frac{1}{2}$ % годовыхъ; нѣть основанія утверждать, чтобы этотъ процентъ былъ низшимъ возможнымъ уровнемъ прибыли. Невѣрно также предположеніе, что биржевая спекуляція безостановочно возрастаетъ. Отъ времени до времени мы наблюдаемъ взрывы спекуляціи, но не видимъ усиливающейся тенденціи. Невѣрно и то, будто обложение наследствъ является тормазомъ для развитія биржевой спекуляціи. Человѣкъ обыкновенно равнодушенъ въ судьбѣ своихъ отдаленныхъ родственниковъ, которые, получая отъ него наследство, подлежать значительному налогу въ 8—10%. Почти каждый принимаетъ близко къ сердцу участъ своихъ дѣтей; но съ наследства, перешедшаго къ дѣтямъ, уплачивается обыкновенно не болѣе 1—2%. Наслѣдователь можетъ смотрѣть съ полнымъ хладнокровiemъ на потерю наследниками столь незначительной суммы. Есть психологическое основаніе утверждать, что многія лица, огорченныя перспективой 8—10%, на которые налогъ уменьшитъ имущество ихъ наследниковъ, предпочутъ усиленному сбереженію и энергичному труду биржевые обороты и направятъ къ нимъ значительная доли своего капитала. Замѣтимъ, наконецъ, что капиталсты знаютъ, для увеличенія прибыли и ослабленія наклонности къ биржевой спекуляціи, болѣе привлекательное средство, чѣмъ прогрессивная подать или налогъ съ наследствъ. Даже малоопытному капиталисту извѣстно, что пониженію процента препятствуетъ перемѣщеніе капитала изъ странъ старинной культуры въ страны, рѣдко населенные и бѣдныя капиталами. Германскій заводчикъ знаетъ, что его капиталъ, доставляющій въ Германії 5—10%, будетъ приносить ему 15—20%, если онъ ликвидируетъ дѣла на родинѣ и устроитъ такой же заводъ въ Россіи. Англійскій рентъ убѣдился, что если дома консоли приносятъ ему только 2 $\frac{1}{2}$ % годовыхъ, то помѣщеніе капитала въ египетскія или бразильскія желѣзныя дороги дастъ ему 5—6%. Процессъ перемѣщенія капиталовъ изъ богатыхъ странъ въ бѣдныя съ каждымъ годомъ принимаетъ все болѣшіе размѣры и противодѣйствуетъ пониженію процента у богатыхъ народовъ. Капиталисты въ своемъ отношеніи къ доходу могутъ быть раздѣлены на 3 группы: одни довольствуются тѣмъ скромнымъ и абсолютно низкимъ процентомъ, который получаютъ на родинѣ; другіе пзыскиваютъ способы помѣстить весь капиталъ или часть его заграницей, где рыночный процентъ выше; наконецъ, третьи, не довольствуясь небольшимъ повышеніемъ процента, котораго ищутъ вторые, становятся на скользкій путь биржевой игры. Можно выдать крупную премію за отысканіе такихъ чудаковъ капиталистовъ, которые предпочли бы установление прогрессивныхъ налоговъ одной изъ указанныхъ формъ отношенія къ доходу на капиталъ.

Въ налогахъ съ наследствъ и прогрессивномъ обложеніи доходовъ нужно видѣть не что иное, какъ уступку богатыхъ классовъ предъ новыми теченіями общественной мысли. Эти уступки не обновили системы налоговъ въ современномъ европейско-американскомъ мірѣ: налогъ съ наследствъ болѣе чѣмъ умѣренъ, прогрессивное обложение не удовлетворяетъ требованія финансовой справедливости. Эти уступки, еще очень, очень скромныя, являются плодомъ научныхъ ідей, которыхъ съ начала 19 вѣка безостановочно росли, упрочивались въ финансовой литературѣ и воспитывали въ законодателяхъ сознаніе, что принципъ относительно болѣшой обязанности крупныхъ доходовъ соотвѣтствуетъ требованіямъ справедливости. Въ средѣ большинства законодательныхъ собраній, принимавшихъ законы о прогрессивныхъ налогахъ и налогахъ съ наследствъ, многие руководствовались не дружелюбiemъ, а честолюбiemъ; пусть такъ; несомнѣнно одно, что проведение въ финансахъ этихъ началь, имѣющихъ важное общественное значеніе, не соотвѣтствуетъ узкимъ, личнымъ интересамъ состоятельныхъ классовъ.

За предѣлами народного хозяйства мы находимъ еще болѣе вѣскія доказательства нашей мысли. Можно согласиться, что члены имущихъ классовъ, оберегая свои сословныя права и классныя преимущества, даже помимо всякихъ альтруистическихъ побужденій, готовы сдѣлать кое-что для улучшенія экономического быта народа. Но приобрѣтеніе бѣднѣйшими классами основныхъ гражданскихъ и государственныхъ правъ вовсе не соотвѣтствуетъ выгодамъ имущихъ гражданъ. Таковы прежде всего свобода собраній и сходокъ, свобода печати, связанное съ обязательнымъ обученіемъ право быть грамотнымъ. Во всѣхъ странахъ западной Европы имущіе классы уже давно стоятъ на томъ уровнѣ умственнаго развитія, который внушаетъ убѣжденіе, что неправда всего легче поддерживается въ такомъ общественномъ строѣ, где населеніе не имѣеть первоначальныхъ и основныхъ правъ гражданина. Пока ихъ нѣть, до тѣхъ поръ подавляющее большинство людей находится въ непробудномъ умственномъ сне, съ которымъ примиряется тупое, полуживотное недовольство своимъ положеніемъ; но где нѣть мѣста сколько-нибудь ясному представлению о причинахъ общественныхъ золъ, о способахъ ихъ устраненія и о формахъ лучшей, болѣе справедливой, болѣе привлекательной жизни. Разъ приобрѣты основныя права, — то создано условіе для безостановочнаго развитія. Повязка не вдругъ спадаетъ съ глазъ; но разъ эти права приобрѣты, то она спадетъ, непремѣнно спадетъ, не сейчасъ, такъ чрезъ два — три поколѣнія. Почти во всѣхъ странахъ Европы все населеніе имѣеть эти права. У однихъ народовъ они явились результатомъ упорной и кровавой борьбы; другіе же приобрѣли ихъ путемъ мирныхъ и постепенныхъ позмѣненій въ законодательствѣ. Есть ли основаніе утверждать, что закрѣпленіе этихъ правъ за всѣми гражданами выгодно для имущихъ

классовъ съ точки зрењія личныхъ интересовъ послѣднихъ? Землевладѣльцы и капиталисты не извлекаютъ никакихъ выгодъ изъ права коалиціи, которымъ пользуются всѣ граждане въ западной Европѣ. Это право дало рабочимъ союзамъ возможность развиться до такихъ размѣровъ, что хотя ихъ силы далеко не сравнялись съ силами предпринимателей, — во многихъ случаяхъ промышленники прислушиваются къ ихъ требованіямъ и стараются удовлетворять ихъ. Развѣ стачки, также облегчаемыя правомъ коалиціи, доставляютъ какія-либо выгоды имущимъ классамъ? Конечно нѣтъ: большею частію, онѣ не приводятъ къ практическимъ послѣдствіямъ; однако около $\frac{1}{3}$ общаго числа стачекъ оканчиваются такъ, что хозяева уступаютъ требованіямъ работниковъ.

То же скажемъ мы о всеобщемъ обязательномъ обученіи. Ни лордъ Бругамъ, взывая къ согражданамъ о нуждахъ народнаго образованія, ни даже Гизо, созида во Франціи основы начальной школы, не думали о выгодахъ имущихъ классовъ. Послѣдніе имѣютъ возможность дать образованіе своимъ дѣтямъ даже помимо участія государства и помимо распространенія школьнай повинности на всѣхъ гражданъ. Грамотность бѣднѣйшихъ людей и приобрѣтеніе ими элементарныхъ знаній не нужны имущему классу, дабы онъ былъ обеспеченъ работниками и домашнею прислугою, дабы онъ сохранилъ свое материальное благосостояніе и политическое могущество. Нѣтъ, въ мѣропріятіяхъ, которыя направлены на развитіе народной школы, выражается уваженіе къ человѣческой личности, выражается или ясное сознаніе, или смутное чувство того, что всѣ люди должны получить условіе, могущее постепенно пріобщить ихъ къ благамъ цивилизації.

И свобода печатнаго слова, съ точки зрењія имущихъ классовъ, можетъ быть включена въ болѣе тѣсные предѣлы, нежели тѣ, которыхъ требуютъ интересы массы населенія. Конечно, просвѣщенные и любознательные члены имущихъ классовъ не могутъ примириться съ крайними стѣсненіями печатнаго слова. Припомнимъ, однако, что критика существующаго экономического строя и созданіе плановъ новаго и болѣе справедливаго общественнаго порядка всего чаще вызываютъ преслѣдованіе закона въ странахъ, которыя не пользуются полной свободой печати; а обсужденіе этихъ вопросовъ особенно важно для массы населенія. Замѣтимъ и другое. Послѣдняя учится изъ газетъ; первые же имѣютъ доступъ къ книгамъ, которыя всегда пользуются болѣе благосклоннымъ отношеніемъ государства, чѣмъ ежедневная печать. А потому, полная свобода печатнаго слова есть синонимъ свободы для тѣхъ родовъ печати, которые именно и служатъ массѣ населенія. Такимъ образомъ, послѣдняя выигрываетъ отъ свободы печати больше, нежели имущіе классы. Будучи необходимымъ продолженіемъ и развитиемъ права собраній и права на грамотность, свобода печати даетъ огромную силу бѣднѣйшимъ и малопро-

свѣщеннымъ слоямъ населенія. Она постепенно приводить ихъ къ изученію причинъ, которыя лежать въ основаніи современаго общественнаго строя, и, проводя знаніе, подготавляетъ ихъ къ лучшему порядку вещей.

Сошлемся и на всеобщее избирательное право, которое стало удѣломъ населенія во многихъ государствахъ. Нѣтъ, основанія утверждать, будто это право является отвѣтомъ на личныя выгоды имущихъ классовъ. Въ современныхъ европейскихъ парламентахъ преобладаютъ представители этихъ классовъ; однако, представители народныхъ массъ—это всего лучше доказывается составомъ германскаго сейма,—возрастаютъ въ числѣ съ каждымъ законодательнымъ periodомъ. Не нужно было особенной прозорливости, чтобы предсказать этотъ процессъ еще 30 лѣтъ тому назадъ при получениіи всѣмъ народомъ права участія въ законодательной работѣ. Этотъ процессъ, представлявшися неизбѣжнымъ, рано или поздно приведетъ къ такому численному преобладанію народныхъ партій, что будетъ неизбѣжно мирное законообразное выполненіе самыхъ крупныхъ общественныхъ преобразованій, которыя когда-либо переживало человѣчество. Пріобрѣтеніе избирательныхъ правъ бѣднѣйшими гражданами не соотвѣтствовало интересамъ имущихъ и властныхъ; на совершеніе этого процесса побуждали чувство уваженія къ человѣческой личности и стремленіе пріобщить всѣхъ гражданъ къ политической свободѣ.

Иначе и быть не могло. Лоріа думаетъ, что пересозданіе общественнаго строя совершился вслѣдствіе вырожденія имущихъ классовъ и воспитанія въ рабочихъ, въ бѣднѣйшихъ гражданахъ, благодаря ихъ труду и закаленности въ общественной борьбѣ, такихъ качествъ, которыя облегчатъ имъ управленіе государствомъ. Это невозможно. Если въ теченіе тысячелѣтій имущіе классы не выродились для властовданія, а только измѣняли форму проявленія власти, то нѣтъ основанія думать, чтобы именно теперь начался обратный процессъ, способный въ ближайшія столѣтія привести къ вырожденію первыхъ и развитію въ массѣ тѣхъ свойствъ, которыя не были ей извѣстны. Это предположеніе не имѣть точки опоры. Если бы одинъ эгоизмъ руководилъ людьми въ общественной жизни, то большинство населенія даже въ наиболѣе культурныхъ странахъ было бы въ состояніи полнаго умственнаго мрака. Эта умственная тьма не позволила бы даже самому смѣлому мечтателю предсказывать, что масса населенія обновитъ общественный строй.

Критическая мысль имѣеть передъ собой обширное поле для плодотворной работы. Пусть она бичуетъ себялюбіе людей, узкіе, сословные и классные разсчеты; пусть расчищаетъ пути для коренныхъ общественныхъ преобразованій. Но она безсильна доказать, что основная и великая права, ставшія въ нѣкоторыхъ государствахъ достояніемъ всего населенія, созданы не общественнымъ чувствомъ, а только эгоизмомъ богатыхъ и вліятельныхъ классовъ.

А. Исаевъ.

ГУМАНИТАРНОЕ УЧЕНИЕ ИЛИ ГУМАНИТАРИАНИЗМъ.¹⁾

Г. С. Солта. Переводъ съ англійскаго подъ редакціей «Посредника».

«Въ человѣческой природѣ есть нечто, истекающее изъ самой ея сущности, что дѣлаетъ непріятными для насъ страданія другіхъ; оно заставляетъ насъ сочувствовать имъ и какъ бы включаетъ насъ въ кругъ ихъ страданій. Тяжело видѣть мученіе кого бы то ни было, человѣка или животнаго; тяжело даже слышать объ этихъ мученіяхъ».

Боластонъ. Религія природы.

I.

Определеніе, даваемое мною гуманитаріанизму, какъ видно изъ эпиграфа, опирается на свойства, врожденныя человѣческой душѣ, въ противу-положность утилитарному учению, выводящему нравственные основы изъ условій общественной жизни. Тутъ не мѣсто вдаваться въ разсужденія о различіяхъ между двумя направленіями этики—интуитивномъ и утилитарномъ, такъ какъ самый фактъ— состраданія признается и тою и другой школой. Согласимся-ли мы съ Бутлеромъ, признающимъ состраданіе за вполнѣ самостоятельное, независимое чувство въ человѣческой душѣ, или же съ Гоббесомъ, утверждающимъ наоборотъ, что состраданіе есть ничто иное, какъ воображеніе или предвѣщеніе будущаго несчастія для насъ самихъ, вызванное картиной несчастія другого человѣка—для современ-наго гуманитаріанца это безразлично, такъ какъ онъ вполнѣ убѣжденъ, что въ этомъ вопросѣ врожденное чувство и побужденіе просвѣщенного самосохраненія должны, въ концѣ концовъ, совпасть. Лекки въ своей «Исторіи нравственного развитія въ Европѣ» говорить, что сторонники врожденныхъ понятій утверждаютъ лишь одно, а именно, что человѣкъ

¹⁾ Подъ словомъ «гуманитаріанизмъ» авторъ настоящей статьи Г. С. Солта подразумѣвается: изученіе и приложеніе къ жизни человѣческихъ началь состраданія, любви, кротости и всеобъемлющаго доброжелательства. И потому гуманитаріанизмъ можетъ быть съ успѣхомъ замѣненъ русскимъ словомъ—человѣчность, понимаемымъ въ самомъ широкомъ его значеніи.

Прим. ред. «Посредника».

по природѣ своей знаетъ, что есть разница между человѣчностью и жестокостью (безчеловѣчностью), что первая присуща высшей или лучшей сторонѣ нашей души, и что наша нравственная обязанность развивать въ себѣ это чувство.

Но это воззрѣніе, приписывающее человѣчность высшей сторонѣ нашей природы уже этимъ самыи признаетъ существованіе и низшей, жестокой ея стороны. Въ человѣческой душѣ, повидимому, существуютъ два различныи и враждебныи другъ другу теченія, побуждающія — одно къ разрушенію и жестокости, другое — къ кротости, единенію и любви; истинная цивилизациѣ представляеть изъ себя картину постепеннаго ослабленія низшаго начала и такого же постепеннаго развитія и возрастанія высшаго.

Для того, чтобы человѣчность могла быть признана разумнымъ и логичнымъ началомъ, на которое цивилизованные люди могли бы ссылаться съ полной вѣрой въ его конечное торжество — она должна опираться на твердую и широкую основу, и включать въ поле дѣятельности своей любви не однихъ только людей, но и всѣ одушевленныи существа. «Исторія и современныи опыты достаточно ясно доказываютъ», говорить Лекки, «что невольный ужасъ и естественное чувство отвращенія, вызванные страданіями людей, не отличаются существенно отъ чувствъ, вызванныхъ страданіями животныхъ». «Сперва», продолжаетъ онъ, «чувство любви простирается лишь на семью; вскорѣ кругъ ея дѣйствія расширяется и включаетъ въ себя — сперва цѣлый классъ, затѣмъ народъ, группу народностей; все человѣчество; наконецъ вліяніе этого чувства отражается и на отношеніяхъ человѣка къ миру животныхъ».

И такъ мы видимъ, что гуманитаріанизмъ, понятый какъ и широко распространяющеся чувство любви, означаетъ нечто большее чѣмъ съ одной стороны «филантропія», а съ другой — «доброта къ животнымъ». Но не смотря на то, что важность этого вопроса всѣми признана, — большинство лицъ, писавшихъ когда-либо о задачахъ нравственности, не достаточно углублялось въ разработку его и, повидимому, избѣгало становиться лицомъ къ лицу съ тѣми выводами, къ которымъ правильная постановка его неизбѣжно должна привести. Они намъ передали огромные тома ученыихъ разсужденій по поводу всевозможныхъ вопросовъ жизни, между тѣмъ какъ въ большинствѣ случаевъ они избѣгали той почвы, которая могла бы служить надежной основой для системы «прикладной» нравственности.

Прежде чѣмъ вдаваться въ разсмотрѣніе современного гуманитаріализма намъ не мѣшало бы оглянуться назадъ и прослѣдить исторію развитія того начала, на которомъ основывается это ученіе.

Мы не станемъ останавливаться на миѳическихъ сказаніяхъ о золотомъ вѣкѣ, хотя и они указываютъ на то, что понятіе о кротости и человѣчности существовало въ самыя отдаленные времена.

Первое определенное требование любви и жалости ко всемъ одушевленнымъ существамъ мы находимъ въ учениѣ Будды, проповѣданномъ людямъ за пятьсотъ лѣтъ до Р. Х. «Тотъ, кто человѣченъ», такъ гласить буддійскій законъ, «не станетъ убивать. Это правило вѣчно и непрѣменно». Самъ Будда во всѣхъ тѣхъ сказаніяхъ, которыя окружаютъ его имя, представленъ намъ либо проповѣдующимъ учение о любви ко всему живущему, либо самимъ слѣдующимъ этому учению. Нужно, къ сожалѣнію, сознаться, что въ послѣдующія времена буддійское учение несолько съязнилось и застыло, вслѣдствіе безнадежного и пессимистического отношенія къ жизни позднѣйшихъ учителей буддизма и большої ихъ склонности къ внѣшнимъ обрядамъ. Почти одновременно съ возникновеніемъ буддизма на востокѣ, на западѣ стала укореняться весьма схожая, во многихъ отношеніяхъ, съ этимъ учениемъ—система Пиѳагора, которая хотя и основывалась главнымъ образомъ не на гуманитарныхъ, а на религіозныхъ и соціальныхъ началахъ, но включала въ свои правила также и требование, чтобы человѣкъ не убивалъ и не мучилъ невинныхъ животныхъ.

Ученіе же о переселеніи душъ, составляющее существенную основу какъ буддизма, такъ и философіи Пиѳагора,—безъ сомнѣнія должно было расширять кругъ симпатій человѣчества, образуя тѣсную связь не только между людьми, но также и между человѣкомъ и всей остальной одушевленной природой. Повидимому, учение Пиѳагора не имѣло значительного вліянія на умы послѣдующихъ поколѣній въ Греціи—относительно вопроса о гуманности. Природная же человѣчность и мягкость греческаго характера, въ сравненіи съ характерами другихъ народовъ древности, часто обращали на себя вниманіе историковъ. У грековъ было врожденное отвращеніе отъ жестокости, кровопролитія и насилия; на это указываютъ какъ литература, такъ и исторія народа, а также и то обстоятельство, что между алтарями, воздвигнутыми аѳенянами своимъ богамъ, одинъ алтарь предназначался Состраданію. Нельзя однако не сознаться, что эта мягкость нравовъ вытекала скорѣе изъ эстетическихъ, чѣмъ изъ нравственныхъ соображеній, и что намъ не трудно было бы привести изъ исторіи Пелопонесскихъ войнъ многочисленные примѣры жестокости и насилия. «При всемъ ихъ умственномъ развитіи и ихъ чуткости», говорить одинъ изъ новѣйшихъ историковъ¹⁾ «у грековъ было мало сердечности, человѣчные чувства проявлялись у нихъ порывами и не были постоянной чертой ихъ характера. Они были добры съ родными и друзьями, но у нихъ не доставало великодушія по отношенію къ врагамъ и беззащитнымъ рабамъ». Однако при дальнѣйшемъ развитіи и распространеніи цивилизациіи—эта человѣчность въ грекахъ сдѣлалась вполнѣ космополитичной; и весьма вѣроятно, что необычайная

¹⁾ Профессоръ Магаффи въ его сочиненіи: «Общественная жизнь въ Греціи».

мягкость и человѣчность, отличавшія законъ ессеевъ, этой странной еврейской секты, исторія которой до сихъ поръ такъ мало выяснена — обязаны отчасти греческому вліянію. На основаніи нравственныхъ началь, ессеи первые уничтожили у себя рабство. Они были вегетаріанцами и коммунистами, и на-ряду со строгимъ аскетизмомъ имъ удалось выработать нѣкоторая изъ лучшихъ сторонъ современного гуманитарного ученія. «Во многихъ отношеніяхъ», говоритъ одинъ изъ составителей «Encyclopaedia Britannica», «ессеи достигли самой высшей точки развитія во всемъ древнемъ мірѣ. Они были справедливы, человѣчны, добры и отличались вообще высокимъ духовнымъ строемъ».

Римляне по природѣ были далеко не такъ человѣчны, какъ греки. Ихъ главное стремленіе какъ воинственного народа сводилось къ тому, чтобы вырабатывать во что-бы то ни стало высокій уровень личной храбости и твердости, типичнымъ представителемъ которыхъ можетъ служить цензоръ Катонъ: и нѣть сомнѣнія въ томъ, что онъ не отличался излишнею мягкостью и человѣчностью. Язвами римской имперіи были рабство и кровавыя представленія въ циркахъ: послѣдня въ особенности были причиной и предлогомъ для невообразимыхъ мученій какъ людей, такъ и животныхъ.

Безмятежный стоицизмъ, который можно назвать религіей первыхъ временъ имперіи, не умѣлъ или не хотѣлъ возставать противъ этихъ ужасовъ. И все же, не смотря на эту язву и вызванную ею развращенность понятій, самая обширность римской имперіи выработала въ извѣстной степени въ ея гражданахъ чувства братства и равенства, выразившіяся въ болѣе человѣчномъ образѣ мыслей и болѣе человѣчныхъ узаконеніяхъ.

Извѣстное изреченіе Теренція: «*Homo sum; et nihil humanum a me alienum puto*», было предвѣстникомъ тѣхъ гуманныхъ мыслей, относящихся какъ къ человѣку, такъ и къ низшимъ существамъ, и разбросанныхъ въ произведеніяхъ Лукреція, Цицерона, Вирgilія, Овидія и всѣхъ прочихъ писателей временъ Августа. Гораздо болѣе обстоятельно и последовательно проповѣдывали ученіе о состраданіи уже въ первомъ столѣтіи два философа, одинъ — по-гречески, другой по-латыни.

Разсужденія Сенеки объ этикѣ и особенно его статья о «милосердії» пропитаны гуманитарными чувствами; онъ осуждалъ безсердечность рабовладѣльцевъ, безчеловѣчное обращеніе съ преступниками, ужасы Коллизея и жестокое обжорство римскихъ богачей.

Плутархъ еще дальше въ этомъ вопросѣ, и писалъ объ отношеніяхъ человѣка къ животнымъ съ сердечностью и глубиной, по которымъ онъ далеко опередилъ средній уровень понятій нашего времени.

«Повидимому, говоритъ Лекки, онъ былъ первымъ писателемъ проповѣдывавшимъ человѣчное обращеніе съ животными на основаніи всеобщей любви, въ противоположность Піоагору, выводившему тѣ же требования

изъ ученія о переселеніи душъ... Онъ настаиваетъ на этой нравственной обязанности съ такой силой и въ такихъ подробностяхъ, какія, мнѣ сдается, нельзя встрѣтить ни у одного христіанскаго писателя, по крайней мѣрѣ за первыя 17 столѣтій».

Это приводить насъ къ вопросу о вліяніи, которое имѣло христіанское ученіе на гуманитарную этику.

Несостоятельность языческихъ философовъ происходила въ этомъ вопросѣ, какъ и во всѣхъ остальныхъ областяхъ ученія о нравственности, не отъ недостатка личной мудрости или добродѣтели, но скорѣе отъ отсутствія въ ихъ ученіяхъ — прямого побужденія, двигательной силы, импульса, вслѣдствіе которыхъ «человѣчность» перестаетъ быть достояніемъ — избранныхъ, а дѣлается понятною и возможною и для не столь развитой толпы. Этотъ импульсъ, это побужденіе были, въ извѣстной мѣрѣ, даны человѣчеству новой религіей, которая проповѣдывала любовь, миръ и милосердіе по отношенію къ людямъ. Хотя по отношенію къ животнымъ она и не проявила широты и послѣдовательности учений Плутарха и Піеагора, но она забросила въ душу человѣческую драгоценное сѣмя стремленія къ безконечному идеалу. И дерево, выросшее отъ этого сѣмени, далеко переросло всѣ языческія ученія. Понятіе о неприкосновенности и святости человѣческой жизни, составляющее одинъ изъ основныхъ догматовъ первыхъ христіанъ, повело къ уничтоженію, или по крайней мѣрѣ къ сокращенію большого количества человѣческихъ страданій. Наконецъ, самой большой и несомнѣнной услугой въ дѣлѣ развитія человѣчности является уничтоженіе кровопролитныхъ представлений въ римскихъ циркахъ, совершившееся несомнѣнно подъ вліяніемъ христіанства. Въ средніе вѣка, отъ V до XV столѣтія, католическая церковь мало содѣйствовала распространенію какихъ бы то ни было человѣческихъ чувствъ. Воинственный и тиранническій духъ «господствующаго» христіанства съ его богословскимъ догматизмомъ, «священными» войнами, жестокими преслѣдованіями, религіозной нетерпимостью, представляетъ изъ себя прискорбный упадокъ послѣ любовебильной кротости первыхъ христіанъ; мрачное же направленіе средневѣковой мысли составляетъ печальную противоположность съ человѣческой философіей такихъ людей, какъ Сенека и Плутархъ. «Напирая на значеніе будущей жизни въ сравненіи съ теперешней, говоритъ современный намъ писатель, и отрицая вполнѣ для низшихъ животныхъ возможность подобной надежды — христіане среднихъ вѣковъ этимъ самымъ какъ-бы вытѣнили ихъ изъ круга нашего сочувствія и положили основаніе къ тому полному равнодушію, которое люди постоянно выказываютъ по отношенію къ нимъ». Католическая церковь никогда достаточно не признавала правъ животныхъ; единственно чѣмъ она можетъ похвалиться въ этомъ направленіи — въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ —

это сказания о пустынникахъ; да и то въ большинствѣ случаевъ эти рассказы объ укрощеніи дикихъ звѣрей людьми приведены въ духѣ узко-религіознаго, а никакъ не нравственнаго поученія. Исключениемъ въ этомъ отношеніи является святой Францискъ Ассизскій; его глубокое сочувствіе ко всѣмъ животнымъ, четвероногимъ и пернатымъ, и любовь къ нимъ рѣзко отличаются отъ господствующаго тона жестокости и равнодушія.

Самое еще отрадное, что мы можемъ сказать объ этихъ темныхъ временахъ — это то, что монастыри, подобно древнимъ языческимъ храмамъ, являлись убѣжищемъ для отверженныхъ; что за уничтоженіемъ представленій въ циркахъ послѣдовало въ VII вѣкѣ — запрещеніе травли дикихъ звѣрей въ звѣринцахъ. Лишь одинъ бой быковъ въ Испаніи уцѣлѣлъ до сихъ поръ, какъ безобразное напоминаніе о средневѣковомъ варварствѣ.

Когда по истеченіи первой христіанской тысячи лѣтъ передъ нами снова открывается картина культурнаго прогресса, то мы видимъ «возрожденіе» главнымъ образомъ въ наукѣ и въ литературѣ, а не въ области нравственной. Эпоха возрожденія принадлежитъ «гуманистамъ», а не «гуманитаріанцамъ». Эпоха эта была грубая и жестокая, полная кровопролитныхъ войнъ и разбоя, истязаній и преслѣдованій, жестокости къ людямъ и животнымъ, гнетущихъ лѣсныхъ законовъ и дикихъ увеселеній. Около этого времени стала возникать торговля неграми; а теорія Декарта — о томъ, что животныя будто-бы лишиены сознанія, явилась, со своей стороны, предлогомъ для безжалостнаго обращенія съ ними.

Но такъ какъ между гуманизмомъ и человѣчностью — гуманностью, все-же существуетъ безспорная связь, то и въ литературѣ «Возрожденія» можно найти достаточно признаковъ вновь возникающей проповѣди состраданія. Моръ и Эразмъ оба порицаютъ жестокость и безуміе охоты; человѣчные чувства встрѣчаются въ изобилії какъ у Бэкона, такъ и у Шекспира. Сочиненія же Монтанья подходятъ по духу своему даже весьма близко къ сочиненіямъ гуманитаріанцевъ XVIII-го столѣтія. Ибо только въ этомъ столѣтіи мы находимъ сознательное и оформленное признаніе этики гуманности. Какъ известно, XVIII столѣтіе было эпохой «чувствительности», возрастающаго состраданія къ жертвамъ войны, голода, мора и насилия. Это была вообще эпоха болѣе мягкаго и человѣчнаго настроенія, проникающаго во всѣ области жизни. Это настроеніе сильно выражено, между прочимъ, въ сочиненіяхъ длиннаго ряда англійскихъ поэтовъ того времени: Томсона, Попа, Гэя, Гольдсмита, Шенстона, Блэка, Каупера и Бёрнса. Философы также не отставали въ этомъ движениі, въ особенности Вольтеръ, главный представитель и проповѣдникъ новаго ученія. «Лишь тотъ можетъ считаться философомъ», утверждалъ онъ, «кто обладаетъ человѣчностью — этой добродѣтелью надъ добродѣтелями». Движеніе, направленное противъ торговли неграми, начавшееся во второй половинѣ XVIII-го столѣтія и достигшее своей цѣли въ 1807 году, было

однимъ изъ тѣхъ человѣколюбивыхъ замысловъ, которые, съ того времени до нашего, сдѣлали такъ много для улучшенія условій современной жизни и для усовершенствованія различныхъ общественныхъ учрежденій, въ которыхъ жестокость до тѣхъ порь господствовала почти незамѣченная и ничѣмъ и никѣмъ не ограниченная. Послѣ того, какъ въ 1764 году появилось сочиненіе Беккарія «О преступленіяхъ и наказаніяхъ», и нѣсколько лѣтъ спустя Говардъ впервые сдѣлалъ осмотръ тюрьмамъ, вниманіе общества было обращено на безчеловѣчность уголовныхъ законовъ. Понемногу стало возникать сознаніе того, что цѣль законодательства должна состоять не въ униженіи, а въ исправленіи преступника. Сумасшествіе, которое вплоть до XVIII столѣтія считалось «одержимостью» или притворствомъ, со стороны несчастныхъ больныхъ, стало также вызывать жалость; вместо того, чтобы сумасшедшихъ сжигать, или сажать на цѣпь, какъ дикихъ животныхъ, съ ними начали обращаться какъ съ страждущими братьями. Фабричные законы явились также примѣромъ (хотя и позднѣйшимъ) болѣе человѣчныхъ стремленій въ обществѣ. Англійскіе законы о бѣдныхъ (Poor Laws) были первоначально задуманы вполнѣ человѣчно. Въ настоящее время они, къ сожалѣнію, сильно искажены и имѣютъ въ виду главнымъ образомъ интересы имущихъ классовъ, вслѣдствіе чего они составляютъ одинъ изъ прискорбныхъ фактъ въ общемъ гуманитарномъ направленіи нашего вѣка. Это движеніе не ограничилось попытками улучшить положеніе человѣка. Бентамъ, одинъ изъ самыхъ убѣжденныхъ борцовъ за права животныхъ, смѣло утверждаетъ, что вопросъ не въ томъ — «могутъ-ли они разсуждать или говорить, а въ томъ — могутъ-ли они страдать». Въ 1822 году англійское правительство издало законъ, известный подъ названіемъ — «Martin's Act», и положило начало новой эпохи въ лѣтописи гуманности тѣмъ, что признало за низшими существами право на защиту закона, — начало, которое было съ тѣхъ порь подкреплено цѣльымъ рядомъ подобныхъ узаконеній.

Перечислить по именамъ всѣхъ гуманныхъ писателей, принадлежащихъ эпохѣ, где всѣ болѣе или менѣе были одушевлены этими стремлѣніями, немыслимо, да и нежелательно. Не могу, однако, не напомнить читателямъ, что въ сочиненіяхъ Шопенгауера — гуманитарізмъ достигъ своего полнаго, философскаго развитія. Въ своей «Основѣ Этики» (Die beiden Grundprobleme der Ethik, II) онъ принимаетъ за основаніе всякой нравственности «безграничное состраданіе, соединяющее насъ со всѣми живыми существами». «Въ состраданіи», прибавляетъ онъ, «мы имѣемъ самое прочное и вѣрное ручательство нравственности». Въ этомъ, присущемъ человѣку, чувствѣ состраданія Шопенгауеръ видитъ источникъ двухъ добродѣтелей — справедливости и любви, одной отрицательной, другой положительной; одной удерживающей насъ отъ нанесенія вреда или обиды, другой — побуждающей насъ къ дѣятельному благодѣянію.

Правъ-ли Шопенгауеръ, приписывая такое отношение любви и справедливости къ состраданию — остается вопросомъ, но нѣтъ сомнѣнія, что чувство состраданія имѣеть нѣкоторое средство съ чувствомъ справедливости; жалость, испытываемая гуманитаріанцемъ при видѣ страданій, обыкновенно бываетъ вызвана убѣжденіемъ (или по крайней мѣрѣ—связана съ убѣжденіемъ), что страданія эти незаслужены; другими словами, это чувство есть протестъ противъ несправедливости судьбы или людей. Изъ всего этого явствуетъ, что гуманитарное движение основывается на врожденномъ человѣку «сочувствіи»; и потому оно можетъ быть только подвигнуто, а никакъ не остановлено эволюціоннымъ ученіемъ, которое стремится установить на научныхъ основахъ древнее воззрѣніе Пиѳагора на единство человѣка и природы. «Ученіе о переселеніи душъ», говорить Штраусъ, «является на востокѣ, связующимъ звеномъ между человѣкомъ и тварью, и соединяетъ всю природу въ одно таинственное и неразрывное цѣлое. Замѣчательно то, что въ настоящее время, среди болѣе развитыхъ народовъ стало пробуждаться участіе къ животному миру, находящее себѣ слабое выраженіе въ обществахъ покровительства животнымъ. Это доказываетъ, что выводы современной науки, уничтожающіе постепенно прежнее отчужденіе человѣка отъ остальной природы, совпадаютъ съ безсознательнымъ настроеніемъ толпы».

II.

Таковъ путь, пройденный гуманитарнымъ движениемъ въ прошломъ; постараемся-же ознакомиться теперь съ современнымъ его положеніемъ, съ его задачами и кругомъ его дѣятельности. На сколько я могу понять, это движение основано на инстинктивномъ чувствѣ состраданія, чувствѣ, либо съ самаго начала присущемъ нашей природѣ, либо приобрѣтенномъ человѣчествомъ, но со столь давнихъ поръ, что теперь оно въ каждомъ изъ насъ является прирожденнымъ. Далѣе мы видимъ тѣсно связанное съ этимъ чувствомъ сродное ему чувство справедливости.

Задача гуманитаріанства состоитъ въ томъ, чтобы воспитывая въ себѣ самомъ доброе, любящее чувство ко всему живущему, защищать всѣ живыя существа отъ жестокостей и несправедливостей, совершаемыхъ надъ ними другими людьми, и смягчать страданія, ставшія уже неизбѣжными фактами. Для этого оно должно стремиться къ развитію врожденного инстинкта состраданія и преобразовать его въ сознательное и разумное начало.

Никто не можетъ сомнѣваться въ количествѣ тѣхъ страданій, которыхъ въ настоящее время имѣютъ право на наше участіе. Болѣе того—приходишь невольно къ убѣждению, что по мѣрѣ того какъ чувство состраданія становится болѣе сознательнымъ, разумнымъ и ясно-выражен-

нымъ, противоположныя чувства жестокости или равнодушія дѣлаются болѣе и болѣе злостными и трудно искоренимыми. Принужденныя отступать передъ нападками или убѣжденіемъ гуманности—эти чувства вѣчно готовы искать себѣ убѣжище въ умственной софистикѣ. Подобно Протею—страданія принимаютъ новые облики, по мѣрѣ того, какъ мы пытаемся одолѣть ихъ путемъ разума и человѣчности. Проклятіемъ одной эпохи—является физическое насилие; вы его побѣждаете, и оно вновь возникаетъ въ видѣ давленія plutokratіи. Человѣческая жизнь, защищеннай нижнѣ такъ старательно отъ грубаго разбоя,—медленно подкашивается нишетой, которая по всей вѣроятности влечетъ за собой въ десять разъ больше горя и страданія, чѣмъ всякая другая язва. Мысль о явномъ кровопролитіи приводить насъ въ ужасъ, между тѣмъ какъ голодъ дѣлаетъ свое смертное дѣло въ нашихъ большихъ городахъ быть можетъ медленнѣе, но столь-же вѣрно. То же самое можно сказать и о страданіяхъ животныхъ. Мы далеко ушли отъ жестокости древнихъ религіозныхъ жертвоприношеній, римскихъ цирковъ и т. п., но мы терпимъ и даже поощляемъ ремесло мясника, забаву охотника, занятіе вивисектора. Жаждя убивать чтобы то ни было, лишь-бы убивать — сдѣлалась одной изъ самыхъ распространенныхъ затѣй нашего времени. Горе тому существу, которое ни къ чему не «приписано»; не принадлежать никому—положительно считается преступленіемъ. Всего прискорбнѣе то обстоятельство, что господство нашихъ высшихъ классовъ непосредственно и почти исключительно основано на униженіи и порабощеніи—низшихъ, и что современное общество въ своей безумной погонѣ за богатствомъ совершило изъ виду древнюю римскую поговорку, что «прибыль для одного есть убытокъ для другого» ¹⁾.

Можно сказать безо всякаго преувеличенія, что средній состоятельный англичанинъ (тоже можно сказать и о представителяхъ остальныхъ «цивилизованныхъ» народностей)—обязанъ своей пищей, своимъ кровомъ, своей одеждой и своимъ затѣямъ—цѣлому ряду страданій людей и животныхъ. И это не по своей личной винѣ, не по какой-нибудь исключительной безсердечности, а вслѣдствіе полнаго равнодушія того общества, къ которому онъ принадлежитъ. Для такихъ людей были написаны стихи Китса:

«For them the Ceylon diver held his heath,
And went all naked to the hungry shark;
For them his ears gush'd blood; for them
The seal on the cold ice with piteous bark in death
Lay full of darts; for them alone did seethe
A thousand men in troubles winde and dark:
Half ignorant, they turned an easy wheel,
That set sharp racks at work, to pinch and peel ²⁾).

¹⁾ *Lucrum sine damno alterius fieri non potest.*

²⁾ Для нихъ, задержавъ дыханіе, водолазъ у береговъ Цейлона опускался на дно

Противъ этихъ и подобныхъ имъ видовъ страданія людей и животныхъ гуманитарізмъ возстаетъ, взывая къ тому простому чувству человѣчности, существованіе котораго оно предполагаетъ (и не безъ основанія) — въ каждомъ человѣческомъ сердцѣ, хотя бы въ видѣ зародыша. И если часто приходится взывать втунѣ — то причину неудачи слѣдуетъ искать въ отсутствіи опредѣленного и несомнѣнного мѣрила человѣчности; ибо для столь многосложнаго общества, какъ наше — недостаточно одного обращенія къ безсознательному и полуинстинктивному чувству состраданія.

Много вреда принесло въ этомъ отношеніи то, что чувствительность (сентиментальность) такъ часто смѣшивается съ настоящимъ чувствомъ. Большая часть нашихъ такъ называемыхъ «благотворительныхъ» и «человѣколюбивыхъ» затѣй — исключительно сентиментальны, и только отвлекаютъ вниманіе и участіе отъ предпріятій, движимыхъ гуманитарными соображеніями. Энергія, потраченная въ настоящее время на подобную близорукую и одностороннюю филантропію, можетъ быть привлечена и приложена къ гуманитарнымъ задачамъ, провозглашеніемъ разумнаго и всеобъемлющаго основнаго принципа милосердія ко всему живущему. Только такимъ путемъ возможно будетъ побѣдить ту жестокость, или скажемъ лучше — то равнодушіе, съ которымъ богатые классы столь часто относятся къ попыткамъ помочь жертвамъ общественной несправедливости. Ибо, если оставить въ сторонѣ случаи, где проявляется особое раздраженіе и мстительность, то можно съ увѣренностью сказать, что жестокость, девяносто девять разъ на сто, происходитъ лишь отъ недостатка чуткости и участія, иначе говоря — отъ недостатка воображенія. Жестокій человѣкъ потому жестокъ, что онъ не можетъ перенестись въ положеніе страждущаго и чувствовать за одно съ нимъ; не можетъ представить себѣ достаточно ясно — несчастія, которыхъ онъ не испыталъ. Поэтому, чтобы бороться съ жестокостью, нужно убѣдить человѣчество усиленно развивать въ себѣ «сочувственное» воображеніе. Это уже значительно затрудняется тѣмъ — что до сихъ поръ задачи гуманности являлись въ столь туманной, односторонней и непослѣдователльной формѣ.

До тѣхъ поръ пока люди будутъ исключительно настаивать на отдѣльныхъ видахъ человѣчности, пока они будутъ чувствовать и выражать жалость лишь къ тому или другому виду человѣческихъ страданій и въ то же время пренебрегать другими, не менѣе существенными ихъ

морское, окруженнѣй жадными акулами. Изъ за нихъ у него уши наливались кровью; изъ за нихъ тюлень, съ жалобными стонами лежалъ на холодномъ льду, весь пробитый стрѣлами. Изъ за нихъ тысячи людей день за день терзаются въ кипучемъ омутѣ страданія и горя.

Не то въ невѣдѣніи, не то въ равнодушномъ ослѣплѣніи, они вертятъ колеса, которыя тамъ — вдалѣ приводятъ въ движеніе острыя орудія пытки, терзающія и рвущиа на части свои несчастныя жертвы.

формами, — пока будетъ отказано въ жалости животнымъ, или пока эта жалость будетъ обращена только къ нѣкоторымъ породамъ животныхъ,— до тѣхъ порь будетъ труденъ переходъ отъ узкаго эгоизма личныхъ интересовъ къ болѣе возвышенному и благородному чувству всемѣрного братства. Для меня несомнѣнно, что недостатокъ человѣчности въ одной какой-нибудь области непремѣнно долженъ повлечь за собой равнодушіе ко всему человѣчеству вообще. Я, разумѣется, не хочу этимъ сказать, что люди, проявившіе жестокость въ одномъ случаѣ, неспособны проникнуться человѣчными чувствами—въ другомъ. Наоборотъ, одна изъ моихъ задачъ — доказать, что непослѣдовательность людей въ этомъ отношеніи есть непослѣдовательность вполнѣ наивная и безсознательная, но вслѣдствіе этого—весьма трудно искоренимая; ибо человѣческій умъ обладаетъ удивительной способностью — вполнѣ ясно понимать какое-нибудь одно явленіе и рядомъ съ этимъ упускать изъ виду другое, столь же близкое ему.

Въ своихъ «Четырехъ ступеняхъ жестокости» Игартъ изображаетъ своего героя Тома Неро — сперва въ видѣ мальчишки, мучившаго собаченку; потомъ въ видѣ кучера, истязающаго лошадь; далѣе въ видѣ убийцы своей возлюбленной, и наконецъ — въ видѣ трупа преступника, подвергающагося анатомическому вскрытию. Это, безъ сомнѣнія, весьма замѣчательное, и наводящее ужасъ сдѣлленіе обстоятельствъ, но я сильно сомнѣваюсь, чтобы эта картина могла подѣйствовать на существующихъ въ дѣйствительности людей подобныхъ Тому Неро. Она черезчуръ отзыается той прописной моралью, которая проповѣдуется, что дѣтскія шалости всегда ведутъ къ преступленію. Гораздо ближе къ истинѣ—Лекки, утверждающій, что человѣческія чувства столь непостоянны, что одно и то же лицо можетъ, безъ сознательнаго противорѣчія, быть и жестокимъ, и на-ряду съ этимъ — мягкосердечнымъ. Какъ примѣръ, онъ приводить личность—Спинозы, который, будучи однимъ изъ самыхъ кроткихъ и незлобивыхъ людей, забавлялся тѣмъ, что ловилъ мухъ и сажалъ ихъ въ паутины, и съ другой стороны — Марата, который не смотря на совершенно противоположныя Спинозѣ качества — кормилъ у себя голубей. «Человѣчный охотникъ» есть собственно говоря—«*Contradictio in adjecto*», и нельзя безъ горькой улыбки читать слова Исаака Вальтона ¹), который говорить, что онъ «по природѣ не жестокъ и любить убивать лишь однѣхъ рыбъ». Однако въ болѣе тѣсномъ смыслѣ этихъ словъ — кротость и злость (такова непослѣдовательность человѣческой души)—часто уживаются рядомъ въ одномъ и томъ же человѣкѣ. «Человѣчныхъ истязаній» не можетъ быть, но самъ истязатель можетъ при случаѣ и въ другихъ отношеніяхъ проявлять вполнѣ человѣчныя чувства.

¹⁾ Авторъ книги «The perfect Angler».

«Между охотниками», говоритъ Лей Гунтъ¹⁾), «можно встрѣтить много милыхъ людей, которые, какъ говорится, и мухи неспособны обидѣть—т. е. на окнѣ; дѣло иное, когда муха — на концѣ удочки»

Хотя я и признаю въ отдельныхъ случаяхъ эту двойственность темперамента, но все же для меня несомнѣнно, что слишкомъ большая привычка видѣть страданія (каковы бы они не были) — должна въ концѣ концовъ притупить инстинктъ состраданія, и что на человѣчности не можетъ не отзваться дурно то, что она направлена исключительно на нѣкоторые излюбленные предметы. По мнѣнію Бентама²⁾ законодательство обязано запрещать все то, что можетъ развивать ожесточеніе нравовъ. Варварскія зрѣлища въ римскихъ циркахъ безъ сомнѣнія способствовали развитію въ римлянахъ той дикой жестокости, которую они выражали въ своихъ междуусобныхъ войнахъ. Нельзя было ожидать отъ народа, привыкшаго въ своихъ забавахъ ставить ни во что человѣческую жизнь, чтобы онъ уважалъ ее среди разгара страстей.

Но настанетъ время, когда человѣчность распространить свои лучи на все то, что дышетъ. Мы начали съ того, что вникли въ положеніе рабовъ; мы кончимъ тѣмъ, что облегчимъ участіе тѣхъ животныхъ, которыхъ помогаютъ намъ въ работахъ или доставляютъ намъ пищу и другія удобства.

Года два тому назадъ въ газетахъ появилось описание потрясающей проповѣди, читанной Лондонскимъ священникомъ передъ нарядной публикой, о страдальческомъ существованіи извоичьей лошади. «И велики были слезы», говорить корреспондентъ «который лился по роскошнымъ котиковымъ шубкамъ глубоко растроганныхъ прихожанъ»...

Вотъ вамъ яркій примѣръ той порывистой сентиментальности, на которую я указывалъ раньше: съ одной стороны дешевая жалость къ измученнымъ лошадямъ, а съ другой — полное равнодушіе къ столь же несчастному пушному звѣрю. Охота за морскими котиками, какъ известно, соприжена съ такими жестокостями, что даже самые огрубѣлые рыбаки не сразу могутъ къ ней привыкнуть. И все же нарядные барыни продолжаютъ носить шубки, шапочки и муфты изъ котикового меху, который они поливали слезами, слушая блестящую проповѣдь моднаго священника! И все же (когда слезы пообсохнутъ!) ихъ престарѣлые рысаки будутъ продолжать поступать въ тотъ разрядъ извоичьихъ клячъ, страданія которыхъ, повидимому, такъ разстроили ихъ!

Послѣ этого, можно ли удивляться, что не взирая на шумъ поднятый противъ избѣженія лѣсныхъ пташекъ, услаждающихъ нашъ слухъ своимъ пѣнiemъ, — женщины съ упорствомъ продолжаютъ носить птичи трупы

¹⁾ «Table-talk».

²⁾ «Principles of Penal Law.».

или хотя частицы труповъ — на шляпахъ, на головныхъ уборахъ? Да можно ли ихъ винить за это, когда до сихъ поръ не создано «несомнѣннаго» мѣрила человѣчности, которое бы дѣлало немыслимымъ подобный отвратительныи украшенія? По этимъ вопросамъ часто подымаются какіе-то безсильные и неосмысленные крики и возгласы, вродѣ отчаяннаго воззванія сэра Артура Гелпсъ къ нѣжному женскому сердцу... «Мнѣ кажется», говорить онъ, «что женщины могли бы оказать сильную поддержку этому дѣлу»... Но что же могутъ сдѣлать женщины тамъ, гдѣ мужчины беспомощны? Да и много ли могутъ сдѣлать и мужчины и женщины вмѣстѣ, пока они не выяснили себѣ окончательно этого вопроса, и сами въ точности не знаютъ чего хотятъ?

Столь же беспомощна оказалась — и должна была оказаться — «мольба о защитѣ» для низшихъ животныхъ — на томъ основаніи, что они «нѣмые». — «Какимъ могучимъ побужденiemъ для состраданія является это обстоятельство!» восклицаетъ Серъ Артуръ Гелпсъ. На дѣлѣ же — нѣмыми оказываются не животныя, а люди, и есть основаніе думать, что подобныя клички и эпитеты не только не побуждаютъ къ добротѣ, а часто имѣютъ совершенно обратное дѣйствие на людей. Ричардъ Джѣфферезъ весьма мѣтко замѣчаетъ, что слово «raipere» (ницій) сдѣлалось — глубоко безнравственной кличкой. Точно также можно найти зловѣштій оттѣнокъ въ такихъ выраженіяхъ какъ «скотина», «скотъ безсловесный», «живой инвентарь» и т. п.

Указывая на то, какимъ образомъ одностороннее проявленіе гуманности можетъ задержать развитіе разумной философіи состраданія, я конечно не могу отрицать, что людьми, избравшими для обличенія и преслѣдованія какой-нибудь отдельный видъ жестокости, были совершены и доселѣ совершаются великие подвиги служенія человѣчеству. Но какова бы не была близорукость и односторонность существующихъ филантропическихъ попытокъ, все же лицемѣріе, такъ называемыхъ, «свѣтскихъ людей» еще болѣе поражаетъ насъ. Признавая на дѣлѣ законность чувства состраданія (ибо нѣть почти человѣка, который бы не поддавался ему, или не взывалъ такъ или иначе къ этому чувству) — они не только не развиваются его въ себѣ, но весьма часто либо осмѣиваютъ гуманитарное направление въ другихъ, либо противодѣйствуютъ ему. Если состраданіе не есть дѣйствительная добродѣтель или не имѣетъ того значенія, которое ему приписываютъ философы и моралисты, то пусть это будетъ открыто высказано тѣми, кто придерживается этого воззрѣнія, — и пусть они составятъ программу для руководства такимъ обществомъ, изъ котораго состраданіе будетъ исключено. Но если мы продолжаемъ вѣрить въ значеніе участья, любви и всемѣрного братства, то мы обязаны подвергнуть инстинктъ состраданія болѣе систематичному изученію, чѣмъ то, какимъ оно пользовалось до сихъ поръ. Онъ заслуживаетъ хотя бы того, чтобы мы не отно-

сились къ нему равнодушно, а также, чтобы мы не проповѣдывали и не отставали его съ легкомысленnoй горячностью. Зачѣмъ намъ слѣпо идти по теченію, не управляемыи никакимъ твердымъ началомъ, ограждая жизнь одной рукой, истребляя ее—другой? Провозглаша неприкосновенность и святость человѣческаго существованія, въ то время, когда вокругъ насть завѣдомо мрутъ братья отъ нищеты и горя, сентиментально разсуждая во время прогулки о нашей любви ко всякой твари земной и небесной—и, вернувшись домой, выражая еще большее пристрастіе къ ней, когда она появляется за обѣденнымъ столомъ въ иномъ и болѣе знакомомъ намъ видѣ!.. Вмѣсто того, чтобы поощрять въ себѣ тупую безчувственность, близкую къ жестокости, мы должны были бы развивать въ себѣ болѣе высокие и отзывчивые нравственные инстинкты, чтобы заручиться неоцѣненною помощью той необычайной силы привычки, которая до сихъ поръ была въ постоянной враждѣ съ человѣчными стремлѣніями. Человѣчность, проповѣдуемая нами, должна проявляться хоть на столько послѣдовательно, чтобы согласоваться съ нашими инстинктами состраданія (и во всякомъ случаѣ—не отставать отъ нихъ), насколько эти послѣдніе въ данное время успѣли развиться. Нравственность идеть впередъ: кругозоръ ея постоянно расширяется; поэтому въ нашемъ нравственномъ развитіи не можетъ быть такой точки для ступени, где ея логичность была бы неуязвима. Мы видимъ постоянное движеніе впередъ, и можно съ увѣренностью предсказать, что наша любовь, наше сочувствіе будутъ охватывать круги, вѣчно расширяющіеся, и что никогда нельзя будетъ остановиться на окончательномъ и неизмѣнномъ мѣрилѣ этики гуманности.

Вслѣдствіе этого гуманитаріанцамъ, проповѣдующимъ дальнѣйшее распространеніе любви, нечего страшиться извѣстнаго разсужденія, что всему есть мѣра, что гдѣ-нибудь нужно же будетъ остановиться и т. п. Пусть люди останавливаются въ своемъ участіи, въ своихъ симпатіяхъ на той крайней точкѣ (если вообще можетъ быть рѣчь о точкѣ тамъ, гдѣ не существуетъ границы), которая будетъ имъ указана врожденнымъ чувствомъ жалости и состраданіи, при условіи, конечно, чтобы этимъ чувствамъ давали свободно развиваться, и что привычки и предразсудки искусственно не останавливали ихъ роста. Нужно сознаться, что есть нѣкоторые вопросы, которые настолько темны и многосложны, что полное ихъ рѣшеніе должно быть представлено будущимъ поколѣніямъ, такъ какъ не настало еще время для обсужденія, съ нравственной точки зрѣнія, вопросовъ, не вызывающихъ покуда въ человѣчествѣ опредѣленныхъ нравственныхъ опущеній. Но изъ того, что весь путь не можетъ быть совершенъ сразу, не слѣдуетъ, чтобы мы не должны были сдѣлать первые шаги на немъ. Гуманитаріанизмъ долженъ бороться съ первыми представшими его взгляду злоупотребленіями, и не давать себя отпугивать упрекомъ въ томъ, что онъ не достигъ еще полной послѣдовательности. Эти «ступени» человѣч-

ности, которые, не будучи логичными, однако вполне естественны и неизбежны—указаны, какъ я уже говорилъ раньше, нашимъ инстинктомъ состраданія, который возбуждается соразмѣрно не только со степенью страданія, но также и съ близостью къ намъ страждущаго существа: главное же—соразмѣрно съ способностью этого существа ощущать страданія. Чѣмъ сильнѣе развита эта способность, тѣмъ неотложнѣе становится для послѣдователя гуманитарного ученія—его обязанность помочь страждущему.

Въ то же время, я убѣжденъ, что поле дѣятельности человѣческихъ чувствъ должно постепенно расширяться, и понемногу включить въ свою область многое, что до сихъ поръ находилось виѣ дѣйствія любви.

«...Есть извѣстноеуваженіе, говорить Монтэнъ, и общій долгъ человѣчности, которыхъ связываютъ насъ не только съ животными, обладающими жизнью и чувствами, но и съ растительнымъ міромъ. Мы должны быть справедливы къ людямъ и оказывать милость и благоволеніе другимъ существамъ, способнымъ отзываться на эти чувства. Между нами и ими существуетъ обмѣнъ чувствъ, и нѣкоторыя взаимныя обязанности».
(Montaigne. «Sur la sgiauté!»).

Изъ этого какъ бы вытекаетъ, что человѣчность по существу своему весьма близка къ «любви къ прекрасному», такъ какъ есть много сходства между ужасомъ, охватывающимъ насъ при видѣ страданій людей или животныхъ, и негодованіемъ, вызваннымъ въ насъ безцѣльнымъ разрушениемъ красоты природы — рубкой здороваго дерева или загрязненіемъ чистой рѣки.

Гуманитаріанцы не могли бы выбрать себѣ лучшей «profession de foi», чѣмъ одно изъ правилъ «Общества Святаго Георгія», основаннаго Рѣскинымъ: «Я не буду убивать никакое живое существо, ни наносить ему вреда. Не буду также уничтожать ничего прекраснаго; я буду всѣми силами стараться сохранять и при случаѣ спасать невинную жизнь; а также — оберегать и совершенствовать на землѣ — природную красоту»...

Что же должно въ концѣ-концовъ восторжествовать? Человѣчные ли инстинкты, преобразовавшіеся мало-по-малу въ это гуманитарное ученіе, или же дикие инстинкты, остатки доисторического варварства, которые побуждаютъ насъ къ безжалостному самовознесенію, купленному цѣною чужихъ страданій? Можно сказать безъ преувеличенія, что отвѣтъ, который исторія дастъ на этотъ вопросъ,—въ большей мѣрѣ повліяетъ на будущность всего цивилизованнаго міра. Наша эпоха — всѣми признана переходною.

По мѣрѣ того, какъ кротость и сердечность будутъ болѣе и болѣе овладѣвать нами, мы будемъ болѣе и болѣе приближаться къ истинной цивилизаціи, при которой всякое здоровье и безвредное существованіе будетъ находить возможность развиваться безъ ограниченій и безъ пре-

градъ. Въ этой статьѣ моя цѣль была указать на существование естественной связи и естественного соотношения между различными ступенями человѣчныхъ чувствъ, а также и на то, что признавая одну изъ этихъ ступеней, мы не можемъ не признать и остальныхъ.

То, что было высказано мною о значеніи гуманитаріанизма, какъ ученія возвышающаго душу и ведущаго насъ къ добру, не есть пустое предположеніе. Великія перемѣны не могутъ быть совершены въ одинъ день, и мы должны съ прискорбиемъ признать существованіе душевныхъ стремлений, идущихъ въ разрѣзъ съ тѣми, которыя я пытался выразить. Но въ состраданіи, будь оно — прирожденный инстинктъ, или пріобрѣтенное качество, мы найдемъ (и уже нашли) одну изъ твердыхъ основъ для нравственного ученія, основу, которая имѣеть за себя хотя бы то, что она въ одно и то же время и популярна и научна.

Гуманитаріанизмъ сдѣлалъ много въ прошломъ — для облегченія страданія и горя, не смотря на всѣ препятствія, которыя онъ встрѣчалъ на пути. Онъ сдѣлаетъ еще больше въ будущемъ, если его основное начало будетъ сознательно признано, и смѣло и разумно доведено до послѣднихъ, непрѣбѣжимыхъ заключеній.

СЕМЕЙСТВО ПОЛАНЕЦКИХЪ.

Романъ Генрика Сенкевича.

(Переводъ съ польского М. Кривошеева).

IV.

Поланецкій, прия къ Плавицкимъ, нашелъ тамъ Гонтовскаго. Молодые люди поздоровались довольно холодно и несовсѣмъ дружелюбно. На цѣломъ свѣтѣ не было въ этотъ вечеръ болѣе несчастнаго человѣка, чѣмъ Гонтовскій. Старикъ Плавицкій подшучивалъ надъ нимъ по обыкновенію или даже болѣе обыкновеннаго, потому что онъ былъ сегодня въ отличномъ расположениѣ духа, такъ какъ умерла его богатая родственница, послѣ которой онъ надѣялся получить значительное наслѣдство. Марину присутствіе Гонтовскаго сильно стѣснило и она напрасно старалась побѣдить въ себѣ неловкость, удваивая къ нему свою любезность и вниманіе. Наконецъ, Поланецкій дѣлалъ видъ, что онъ почти его не замѣчаетъ. Видно было также, что Гонтовскій еще ничего не говорилъ объ этомъ старику Плавицкому и теперь онъ дрожалъ при мысли, что Поланецкій могъ намекнуть на его инцидентъ съ Машко или просто разсказать о немъ со всѣми подробностями.

Поланецкій сразу это замѣтилъ; онъ понялъ также, что своимъ упорнымъ молчаниемъ онъ беретъ верхъ надъ этимъ „медвѣженкомъ“. Жѣлая воспользоваться этимъ для дѣла Машко, онъ молчалъ, не будучи, однако, въ состояніи отказать себѣ въ удовольствіи наказать Гонтовскаго совершенно иначе. Въ продолженіе цѣлаго вечера онъ такъ ухаживалъ за Мариной, какъ никогда еще съ самой смерти Литки, что, видно, давало ей громадное удовольствіе, потому что она сияла отъ радости. Оставивъ Гонтовскаго въ обществѣ старика Плавицкаго, они вмѣстѣ ходили по комнатѣ, задушевно бесѣдуя, потомъ оба усѣлись рядомъ подъ той пальмой, подъ которой онъ увидѣлъ по возвращеніи съ похоронъ Литки пани Эмилію—и темой для ихъ разговора служила те-

перь именно ова, собиравшаяся на этихъ днѧхъ перейти въ домъ сестеръ милосердія. Но Гонтовскому казалось, что такъ задушевно могутъ бесѣдовать только женихъ и невѣста, и онъ чувствовалъ то, что должна перечувствовать грѣшная душа, вступая не въ чистилище, потому что въ чистилищѣ можно еще надѣяться, а прямо въ адъ, надѣ вратами котораго красуется надпись: „*Lasciate ogni speranza*“.

Видя ихъ все вмѣстѣ, онъ вдругъ подумалъ, что, быть можетъ, Поланецкій купилъ этотъ лѣсъ отъ Машко вмѣстѣ съ землей, чтобы хоть часть Кремя вернуть Маринѣ и, кто знаетъ, быть можетъ это было сдѣлано съ ея вѣдома. И при одной мысли о той кашѣ, которую онъ заварилъ, сдѣлавъ скандалъ Машко, волосы стали у него дыбомъ. Плавицкій же, замѣтивъ, что Гонтовскій отвѣчалъ ему разсѣянно и часто даже совершенно невпопадъ, отъ души потѣшался надъ „бѣднымъ провинціаломъ“, который окончательно поглуپѣлъ въ городѣ. Пань Плавицкій себя считалъ образцомъ „столичнаго жителя“.

Настала, однако, минута, когда Мариня занялась приготовленіемъ чаю въ столовой, а Плавицкій вышелъ въ кабинетъ за сигарой, такъ что молодые люди остались одни; тогда Поланецкій, обратившись къ Гонтовскому, сказалъ:

— Послѣ чаю выйдемъ вмѣстѣ; я хочу поговорить съ вами относительно вашего инцидента съ Машко.

— Хорошо! — мрачно отвѣтилъ Гонтовскій, догадавшись, что Поланецкій является секундантомъ Машко.

Между тѣмъ надо было остаться къ чаю, а потому приличие требовало посидѣть еще довольно долго, такъ какъ панъ Плавицкій не любилъ рано ложиться и предложилъ Гонтовскому сыграть въ шахматы. Во время игры панна Мариня съ Поланецкимъ сидѣли снова рядомъ и оживленно бесѣдовали къ великой досадѣ и безконечной мукѣ „медвѣженка“.

— Пріѣздъ пана Гонтовскаго — вдругъ сказалъ Поланецкій, обращаясь къ своей собесѣдницѣ, — доставилъ вамъ, вѣроятно, большое удовольствіе, онъ напомнилъ вамъ вашъ Кремень.

На лицѣ Марини выразилось изумленіе, что Поланецкій первый заговорилъ о Кремнѣ. Ей всегда казалось, что послѣ ихъ примиренія безъ словъ и безъ объясненій весь кремневскій инцидентъ преданъ забвенію и вѣчному молчанію. Чрезъ минуту она отвѣтила:

— Я ужъ больше не думаю о Кремнѣ.

Но, говоря это, она говорила неправду, потому что въ глубинѣ души она искренно жалѣла свой милый Кремень, гдѣ она выросла, работала и поднялась... Но, подавивъ въ себѣ все это, она говорила то, что говорилъ ей голосъ долга и новое чувство къ Поланецкому, которое росло съ каждымъ днемъ.

— Кремень, — прибавила она немного взволнованнымъ голосомъ, — былъ причиной нашей ссоры, а теперь я хочу, чтобы между нами былъ миръ, вѣчный миръ.

И говоря это, она смотрѣла въ глаза Поланецкаго съ такимъ очаровательнымъ кокетствомъ, полнымъ блаженства, на которое нехорошая женщина способна всегда, а честная — только тогда, когда она начинаетъ любить. Поланецкій же подумалъ:

„Какая она, однако, добрая“...

А вслухъ онъ прибавилъ:

— Вы бы тогда имѣли противъ меня страшно сильное оружіе, потому что добротой можно меня завести даже въ адъ кромѣшній.

На это она отвѣтила:

— Я не хочу васъ туда завести.

И, въ знакъ того, что она этого не хочетъ, она, улыбаясь, тряхнула своей чудной темной головкой, а Поланецкій, глядя ей въ лицо, на ея улыбающейся, немного широкій ротикъ, думалъ въ это время:

„Люблю ли я ее, или не люблю, — одно я только знаю: что еще ни одна женщина не тянула меня такъ къ себѣ, какъ она“.

И никогда еще она такъ не привлекала его, такъ не нравилась ему, какъ теперь, — гораздо больше даже, чѣмъ тогда, когда у него еще не было тѣни сомнѣнія, что онъ ее любить, и когда ему пришлось бороться съ этимъ чувствомъ.

Но онъ сталъ, однако, прощаться, потому что было уже довольно поздно. Чрезъ минуту Поланецкій съ Гонтовскимъ очутились вмѣстѣ на улицѣ.

Тогда Поланецкій, который никогда не отличался особой сдержанностью, остановивъ несчастнаго „медвѣженка“, обратился къ нему съ вопросомъ такимъ тономъ, точно дѣжалъ ему вызовъ:

— Знали-ли вы, что Кременевскій лѣсъ купленъ мною?

— Да, зналъ — отвѣтилъ Гонтовский; — вашъ управляющей, тотъ, который считаетъ себя родомъ изъ татаръ, не помню его фамиліи... былъ тогда у меня въ Яблжиковѣ... онъ-то и говорилъ мнѣ, что вы купили.

— Въ такомъ случаѣ, почему вы сдѣлали скандалъ Машко, а не мнѣ?

На это Гонтовскій отвѣтилъ:

— Вы ужъ, пожалуйста, не прижимайте меня такъ къ стѣнѣ, — я этого не люблю. Скандалъ я сдѣлалъ ему, а не вамъ, потому что отъ васъ Плавицкимъ ничего не слѣдуетъ, а тотъ долженъ выплачивать имъ ежегодно за Кремень известную сумму, какъ обязался. Если же Машко разоритъ Кремень, тогда ему не съ чего будетъ платить имъ. Вы хотѣли знать, почему я наговорилъ дерзостей Машко, таѣвъ вотъ и знайте...

Поланецкій долженъ быть внутренно признаться, что въ отвѣтъ Гонтовскаго было много правды, а потому онъ сразу перемѣнилъ тонъ разговора.

— Панъ Машко просилъ меня быть его секундантомъ,—сказалъ онъ,— поэтому-то дѣло это меня и интересуетъ. Какъ секундантъ, я буду у васъ завтра. Сегодня же, какъ человѣкъ совершенно частный, притомъ и родственникъ,—правда далекій—пана Плавицкаго, могу вамъ сказать только одно: вы оказали весьма плохую услугу пану Плавицкому, и если онъ и панна Мария останутся безъ куска хлѣба, то только благодаря вамъ. Да-съ, вотъ оно какъ!..

Глаза Гонтовскаго вдругъ сдѣлались совершенно круглыми.

— Безъ куска хлѣба?.. Благодаря мнѣ?..

— Да, вотъ оно какъ!—повторилъ Поланецкій.—Слушайте же, что я вамъ скажу: каковъ-бы ни былъ результатъ этого инцидента... фактъ тотъ, что послѣствія его могутъ быть самыя печальные; повторю вамъ еще разъ: вы, по всей вѣроятности, разорили пана Плавицкаго и отняли у него и у дочери послѣднія средства къ существованію.

Если Гонтовскій дѣйствительно не любилъ, чтобы его прижимали къ стѣнѣ, то именно теперь былъ какъ разъ моментъ для проявленія этого чувства. Но Гонтовскій совершенно потерялъ голову; онъ остановился пораженный, съ открытымъ ртомъ, не зная, что отвѣтить, и лишь вѣсколько минутъ спустя пробормоталъ:

— Что? Какъ? Какимъ образомъ? Будьте покойны, до этого не дойдетъ, я не допущу, хотя бы мнѣ пришлось пожертвовать Яблжиковымъ.

Но Поланецкій прервалъ его:

— Кому вы это рассказываете, панъ Гонтовскій? Я вѣдь знаю всю вашу окрестность съ малыхъ лѣтъ. Что представляетъ собою ваше Яблжиково и что вы тамъ имѣете?

Это была правда. Яблжиково было небольшая деревенька, всего какихъ-нибудь девять влокъ, притомъ Гонтовскій сидѣлъ весь въ долгахъ, оставленныхъ ему, по обыкновенію, въ наслѣдство — и у него сразу опустились руки.

Но ему, однако, пришла мысль, что, быть можетъ, дѣло обстоитъ еще не такъ плохо, какъ его нарисовалъ Поланецкій, и онъ ухватился за эту мысль, какъ утопающій за соломенку.

— Не понимаю, что вы говорите—сказалъ онъ. Богъ свидѣтель,—я охотно согласился бы самъ погибнуть, чѣмъ погубить Плавицкихъ; но знайте, — какъ мнѣ ни хочется свернуть шею Машко, но если это нужно, если дѣло касается Плавицкихъ, то ужъ лучше пусть чортъ меня самого поберетъ!.. Я сейчасъ послѣ инцидента

былъ у пана Ямыша,—онъ теперь здѣсь на съездѣ — и рассказалъ ему все; онъ хорошенько пожурилъ меня и сказалъ, что я сдѣлалъ большую глупость! Если-бы тутъ дѣло шло только о моей шкурѣ — кто бы сталъ беспокоиться?! Никто палецъ о палецъ не ударилъ бы; но разъ дѣло касается другихъ, то я сдѣлаю все, что мнѣ посовѣтуетъ панъ Ямышъ, хоть-бы мнѣ пришлось потомъ провалиться сквозь землю. Панъ Ямышъ остановился въ Саксонской гостиницѣ, и я тоже тамъ живу.

Тутъ они разстались и Гонтовскій отправился къ себѣ въ гостиницу, отъ души проклиная Машко, самого себя и Поланецкаго. Онъ чувствовалъ, что все было такъ, какъ говорилъ Поланецкій, что случилось какое-то непоправимое несчастье и что онъ причинилъ сильное огорченіе той самой панни Маринѣ, за которую готовъ былъ отдать послѣднюю каплю крови; чувствовалъ онъ также, что если у него могла еще быть какая-нибудь надежда, то онъ теперь самъ ее разбилъ. Плавицкій закроетъ предъ нимъ двери. Панна Маринѣ выйдетъ за Поланецкаго,—развѣ только тотъ самъ ея не захочетъ. Но кто-бы могъ не хотѣть такого счастья? И вмѣстѣ съ тѣмъ, бѣдный Гонтовскій ясно видѣлъ, что между всѣми, которые могли претендовать на ея руку,—онъ, во всякомъ случаѣ, былъ самый послѣдній. — „Что у меня есть? Ровно ничего! — говорилъ онъ себѣ: — это подлое Яблжиково и ничего больше: ни ума, ни денегъ... Каждый что-нибудь знаетъ, я только одинъ ничего не знаю! каждый что-нибудь да значитъ, я только одинъ ничего не значу. Поланецкій и ученъ, и богатъ, а если я ее люблю больше — то отъ этого ни тепло, ни холодно ни мнѣ, ни ей, колѣ скоро я такой дуракъ, что не только ей не помогаю, но только еще порчу...“

Поланецкій, возвращаясь домой, думалъ о Гонтовскомъ тоже самое, нисколько ему не сочувствуя. Дома онъ нашелъ Машко, подждавшаго его ужъ больше часу.

— Другимъ моимъ секундантомъ будетъ Кресовскій — обратился онъ къ Поланецкому, прежде чѣмъ тотъ успѣлъ съ нимъ поздороваться.

Поланецкій, немного поморщившись, отвѣтилъ:

— Я видѣлъ Гонтовскаго.

— Ну, и что же?

— Онъ просто дуракъ!

— Съ этимъ я вполнѣ согласенъ. Ты чтонибудь говорилъ ему отъ моего имени?

— Отъ твоего имени ничего. Я говорилъ съ нимъ въ качествѣ родственника пана Плавицкаго и прибавилъ только, что онъ оказалъ послѣднему самую скверную услугу.

— И ни о чёмъ больше не говори!?

— Нѣтъ! Послушай, Машко, тебѣ важно получить полное удовлетвореніе, мнѣ также совершенно безразлично, будете-ли вы стрѣляться, или нѣтъ. Но послѣ того, что я говорилъ Гонтовскому, онъ, кажется, согласится на всѣ твои условія. Къ счастью, онъ обратился къ пану Ямышу, а это человѣкъ умный и спокойный, который также понимаетъ, что Гонтовскій поступилъ, какъ послѣдній дуракъ, — и навѣрно задастъ ему хорошій урокъ.

— Хорошо — сказалъ Машко. — Дай мнѣ перо и бумаги.

— Все найдешь на письменномъ столѣ.

Машко сѣлъ и началъ писать; окончивъ, онъ подалъ исписанный листокъ Поланецкому.

Послѣдній прочелъ слѣдующее:

„Симъ заявляю, что я ворвался къ Машко, будучи въ пьяномъ, невмѣняемомъ состояніи, никакъ не отдавая себѣ отчета въ томъ, что говорю. Нынѣ-же, вытрезвившись, признаю въ присутствіи моихъ секундантовъ и секундантовъ пана Машко, а также и всѣхъ присутствовавшихъ при нападеніи, что мой поступокъ былъ дерзкій и безумный, и съ величайшимъ сожалѣніемъ и покорностью обращаюсь къ благоразумію и милости пана Машко, прося у него извиненія и заявляя публично, что всѣ его поступки стояли и стоятъ выше суда людей, подобныхъ мнѣ“.

— Гонтовскій долженъ сначала все это продекламировать, а потомъ подписать — сказалъ Машко.

— Но это чертовски безжалостно. Никто на это не согласится.

— Ты признаешь, что этотъ идіотъ выкинулъ противъ меня что-то неслыханное?

— Да, признаю.

— Ты знаешь, какія послѣдствія повлечетъ за собой этотъ отвратительный инцидентъ.

— Ну, этого нельзя предвидѣть.

— А я предчувствую — и скажу тебѣ только то, что и теща, и невѣста въ душѣ сожалѣютъ, что онѣ со мною связались и воспользуются малѣшимъ случаемъ, который дастъ имъ возможность сколько-нибудь прилично разорвать со мною. — Это ужъ вѣрно. Теперь я погибъ, безвозвратно погибъ!

— Чортъ возьми!

— Понимаешь теперь, что я на комъ-нибудь долженъ сорвать всю злость, которая во мнѣ такъ бѣшено кипитъ — и Гонтовскій такъ или иначе долженъ заплатить мнѣ за эту обиду.

Поланецкій пожалъ плечами.

— Меня-то твой Гонтовскій очень мало трогаетъ. Пожалуй, — пусть будетъ и такъ.

— Кресовскій зайдетъ за тобой завтра въ девять.

— Хорошо.

— Итакъ, до свиданья! Кстати, если увидишь завтра Плавицкаго, передай ему, что въ Римѣ умерла его родственница, Плошовская, послѣ которой онъ ждетъ наслѣдства. Завѣщаніе тутъ, у нотариуса Подвойнаго; завтра, кажется, его вскроютъ.

— Плавицкій обѣ этомъ ужъ давно знаетъ, — она умерла пять дней тому назадъ.

Поланецкій остался одинъ. Нѣсколько времени онъ думалъ о долгѣ Машко, не видя предъ собою исхода, какъ удастся ему получить отъ несостоятельный Машко причитающуюся ему сумму — и эта мысль сильно тревожила его. Но онъ тутъ же сообразилъ, что его долгъ останется, безъ сомнѣнія, въ числѣ другихъ ипотечныхъ долговъ по имѣнію Кремень и, въ худшемъ случаѣ, онъ останется, какъ прежде, кредиторомъ Кремня. Правда, Кремень, какъ лицо кредитоспособное, представлялъ собою такъ же мало положительного, какъ и несостоятельный Машко, но ничего больше пока не оставалось, какъ только примириться съ этимъ.

Потомъ пришли ему въ голову и другія мысли. Вспомнились ему и Литка, и пани Эмилія, и Мариня и его вдругъ поразила мысль о томъ: какая громадная разница существуетъ между міромъ подобныхъ женщинъ, міромъ чувства, главная основа которого заключается въ любви, въ счастьи близкихъ, и міромъ мужчинъ, полнымъ разочарованій, вѣчной борьбы, досады, гнѣва, дуэлей, напряженія послѣднихъ силъ въ погоню за состояніемъ и безконечныхъ мученій. И онъ почувствовалъ то, чего ужъ давно не чувствовалъ, что если на свѣтѣ есть отдыхъ, счастье и покой, то все это слѣдуетъ искать только въ любимой женщинѣ. Это чувство такъ шло въ разрѣзъ съ его философіей послѣднихъ дней, что оно не на шутку встревожило его. Но продолжая сравнивать эти два міра, онъ не могъ, однако, не признать, что другой міръ, — міръ женщинъ — имѣетъ свои прелести и свой смыслъ.

Будь Поланецкій болѣе твердъ въ Священномъ Писаніи, онъ бы навѣрное вспомнилъ изреченіе: „И Марія избрала себѣ лучшую часть“.

V.

Кресовскій на другой день опоздалъ почти на цѣлый часъ. Онъ, какъ говорится, гранилъ мостовую, т. е. былъ однимъ изъ тѣхъ, которые ровно ничего не дѣлаютъ. Онъ носилъ довольно известную фамилию.

лію и въ свое время спустилъ довольно значительное состояніе. Благодаря этимъ двумъ заслугамъ, онъ занялъ извѣстное положеніе, по-всюду бывалъ и всѣ были согласны, что онъ человѣкъ вполнѣ порядочный. Какимъ образомъ при такихъ данныхъ удается занять видное положеніе въ обществѣ,—это ужъ тайна большихъ городовъ; но мало того, что положеніе Кресовскаго было признано и вполнѣ обеспечено, но его особенно уважали, какъ единственного человѣка, къ которому можно было смѣло обращаться даже въ самыхъ щекотливыхъ вопросахъ. Въ судахъ чести онъ всегда фигурировалъ, какъ главный по-средникъ, а при дуэляхъ—какъ опытный секундантъ. Въ высшихъ финансовыхъ кругахъ его охотно приглашали на обѣды, свадьбы, крестины и тому подобныя торжества, благодаря его солидной, патриціанской лысинѣ и очень типичному польскому лицу, которыми онъ такъ великолѣпно декорировалъ обѣденный столъ.

Въ сущности говоря, это былъ человѣкъ разочарованный, нѣсколько чахоточный и очень желчный; онъ обладалъ, однако, извѣстной дозой неподдѣльного юмора, тонко подмѣчая въ людяхъ ихъ смѣшныя сто-роны, особенно въ мелочахъ, чѣмъ нѣсколько напоминаль Букацкаго,—и зло подшучивалъ надъ своей-же желчностью. Онъ позволялъ под-шучивать на этотъ счетъ и другимъ, но только въ мѣру. Если-же кто, увлекшись, хваталъ иногда чрезъ край, онъ, не задумываясь, обрывалъ смѣльчака, озадачивая его и безжалостно прижимая къ стѣнѣ; вслѣдствіе этого Кресовскаго даже побаивались и считали далеко не безопаснымъ. Говорили, что онъ въ нѣсколькихъ случаяхъ обнаружилъ столько смѣлости, какой не у всякаго-бы хватило, и что онъ, вообще, умѣлъ „высоко задирать носъ“. Онъ никого не щадилъ и ни къ кому не питалъ особаго уваженія, кромѣ какъ къ собст-венной, дѣйствительно аристократической физіономіи, всегда, вездѣ и повсюду опаздывая.

И теперь, явившись къ Поланецкому, онъ, лишь только поздоровавшись, сейчасъ заговорилъ о причинѣ своего опозданія.

— Не правда-ли,—сказалъ онъ,—какъ на зло, когда человѣкъ ужасно торопится и ему до зарѣзу необходимо торопиться, чтобы поспѣть куда-нибудь во время, тогда у него изъ подъ-рукъ непремѣнно пропадутъ самыя нужныя вещи, точно онъ въ воду канутъ. Лакей ищетъ шляпу—нѣтъ шляпы; ищутъ калошъ — нѣтъ калошъ; ищутъ кошелекъ—пропалъ кошелекъ, да и только!

— О, да, это случается—отвѣтилъ Поланецкій.

— А я даже изобрѣлъ спеціальное средство для такихъ случаевъ. Какъ только я начинаю чего-нибудь искать, я сейчасъ-же преспо-койно сажусь и, немножко улыбаясь, начинаю хладнокровнѣйшимъ образомъ разсуждать вслухъ: „ужасно, молъ, мнѣ нравится, когда я

что-нибудь растеряю; человѣкъ тогда ищетъ, оживляется, двигается, убиваетъ время—все это и пріятно, и здорово". И что-бы вы на это сказали? Я тогда сразу нахожу то, чего раньше такъ долго и напрасно искалъ.

— Вы бы, въ такомъ случаѣ, похлопотали о привилегіи на такое замѣчательное изобрѣтеніе—шутливо замѣтилъ Поланецкій. Однако, займемся дѣломъ Машко.

— Прежде всего, намъ нужно отправиться къ пану Ямишу. Машко прислалъ мнѣ черновикъ письма, предназначеннаго для Гонтовскаго. Онъ упорствуетъ и не хочетъ измѣнить ни слова,—но это просто невозможно—письмо слишкомъ рѣзко и рѣчи не можетъ быть о томъ, чтобы оно было принято. Дуэли значить не миновать—другого исхода я тутъ не вижу. Гонтовскій тутъ ни причемъ, все зависитъ отъ пана Ямиша, на которого онъ вполнѣ надѣется и онъ сдѣлаетъ все, что тотъ ему скажетъ; панъ Ямишъ-же, во-первыхъ, очень недоволенъ поступкомъ Гонтовскаго, а, во-вторыхъ, онъ человѣкъ больной, спокойный, мягкий, такъ что,—кто его знаетъ,—быть можетъ онъ согласится и на такія условія.

— Этотъ панъ Ямишъ порядочная, должно быть, тряпка—сказалъ Кресовскій;—однако, двинемся, ужъ довольно поздно.

И они вышли. Вскорѣ санки ихъ остановились у Саксонской гостиницы. Панъ Ямишъ уже ожидалъ ихъ, но встрѣтилъ ихъ въ халатѣ, будучи дѣйствительно нездоровъ; Кресовскій, взглянувъ на его интеллигентное, но словно придавленное и налитое лицо, подумалъ:

— Этотъ, пожалуй, и вправду согласится на все.

— Присядьте-же, господа,—любезно предложилъ панъ Ямишъ.—Я пріѣхалъ сюда всего дня три тому назадъ и чувствую себя, какъ видите, очень неважно, но буду очень радъ, если намъ удастся хоть какъ-нибудь уладить это дѣло. Повѣрите-ли, — я первый ужъ порядочно-таки намылилъ голову моему забіякѣ.

Онъ пожалъ плечами, а затѣмъ, обращаясь къ Поланецкому, спросилъ:

— Какъ-же живутъ Плавицкіе? Я еще не былъ у нихъ, а я такъ скучаю по моей золотой Маринѣ...

— Панна Мария здорова—отвѣтилъ Поланецкій.

— А старикъ?

— Нѣсколько дней тому назадъ умерла его дальняя родственница, очень богатая, послѣ которой онъ надѣется получить громадное наслѣдство. Онъ говорилъ мнѣ объ этомъ вчера, но я слышалъ, что она, будто бы, все свое состояніе распредѣлила между богоугодными заведеніями.

— Хорошо-бы было, если-бы Богъ вразумилъ ее оставить что-

нибудь Маринѣ... Однако, приступимъ къ дѣлу. Излишне говорить вамъ, господа, что нашъ долгъ состоить въ томъ, чтобы всѣми силами постараться кончить все это миромъ...

Кресовскій поклонился. Ему страшно надоѣли подобнаго рода вступленія, которая невѣсть сколько разъ уже приходилось ему выслушивать, и онъ вѣжливо прервалъ:

— Мы глубоко проникнуты сознаніемъ нашего долга.

— Я такъ и зналъ—добродушно отвѣтилъ панъ Ямишъ. — Я самъ признаю, что панъ Гонтовскій не имѣлъ ни малѣйшаго права поступать такъ, какъ поступилъ; я даже нахожу справедливымъ, чтобы онъ понесъ за это должное наказаніе, а потому склоню его на всякия, даже очень значительныя уступки, могущія дать пану Машко должное удовлетвореніе.

Кресовскій досталъ изъ кармана сложенный листокъ бумаги и, подавая его пану Ямишу, съ улыбкою сказалъ:

— Панъ Машко ничего болѣе не требуетъ, лишь-бы панъ Гонтовскій, во-первыхъ, прочелъ этотъ небольшой документъ въ присутствіи своихъ и его секундантовъ, а также и всѣхъ присутствовавшихъ при инцидентѣ, а во-вторыхъ, чтобы онъ подпісалъ подъ нимъ свою почтенную фамилію.

Панъ Ямишъ подошелъ къ письменному столу, разыскалъ среди бумагъ свои очки, надѣлъ ихъ и сталъ читать. Но, по мѣрѣ того, какъ онъ читалъ, лицо его сначала краснѣло, потомъ блѣднѣло, затѣмъ онъ сталъ сопѣть, а, въ концѣ концовъ, ни Поланецкій, ни Кресовскій не вѣрили глазамъ своимъ, что это тотъ самый панъ Ямишъ, который за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ былъ готовъ на всякия уступки.

— Господа,—сказалъ онъ прерывающимся отъ волненія голосомъ—панъ Гонтовскій поступилъ какъ забіяка, какъ сумасбродъ, но панъ Гонтовскій... дворянинъ, вотъ все, что я отъ имени его могу отвѣтить пану Машко.

Сказавъ это, онъ разорвалъ листокъ на четыре части и бросилъ ихъ на полъ.

Такого исхода никто не ожидалъ. Кресовскій былъ до того изумленъ, что самъ не зналъ, что ему дѣлать, обидѣться ли на эту выходку, которая, отчасти, роняла и его достоинство, какъ секунданта—и лицо его покрылось холоднымъ потомъ и искривилось, какъ у злой собаки; Поланецкій, искренно любившій пана Ямиша, былъ восхищенъ благородствомъ этого поступка.

— Господинъ совѣтникъ, сказалъ онъ, подчеркивая каждое слово—панъ Машко оскорблѣнъ такимъ неслыханнымъ образомъ, что менѣе требовать онъ не можетъ, но какъ я, такъ и панъ Кресовскій пред-

видѣли вашъ отвѣтъ, который только еще болѣе увеличиваетъ наше къ вамъ уваженіе.

Панъ Ямишъ сѣлъ; страдая одышкою, онъ нѣсколько времени съ трудомъ переводилъ дыханіе, потомъ, немного успокоившись, замѣтилъ слабымъ голосомъ:

— Я думалъ предложить вамъ извиненіе со стороны Гонтовскаго, но въ совершенно другихъ выраженіяхъ; теперь-же я вижу, что мы только понапрасну тратили время, а потому прямо приступимъ къ другому способу удовлетворенія, а именно: съ оружиемъ въ рукахъ. Вскорѣ явится панъ Вильковскій, другой секундантъ Гонтовскаго, и если вы располагаете временемъ, то мы сейчасъ-же можемъ поговорить объ условіяхъ.

— Вотъ это называется прямо идти къ цѣли! — воскликнулъ Кресовскій, который совсѣмъ уже примирился съ паномъ Ямишемъ.

— Но это значитъ идти къ цѣли по необходимости, да еще по прискорбной необходимости — отвѣтилъ панъ Ямишъ.

Поланецкій посмотрѣлъ на часы:

— Къ одиннадцати часамъ я долженъ быть въ конторѣ, — сказалъ онъ; — но если позволите, я загляну къ вамъ около часу, чтобы просмотрѣть и подписать условія.

— Хорошо. Предупрѣжаю васъ, я отлично понимаю, что условія нужно поставить такія, которыхъ бы не возбуждали смѣха въ обществѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ разсчитываю на пана Кресовскаго и на васъ, панъ Поланецкій, что вы не захотите довести ихъ до крайности.

— Нѣтъ. Будьте увѣрены, что я и не думаю неистовствовать тамъ, гдѣ дѣло касается чужой шкуры.

Сказавъ это, онъ вышелъ и прямо отправился въ контору, гдѣ его ждало нѣсколько серьезныхъ дѣлъ, которыхъ пришлось ему, за отсутствиемъ Бигеля, решить самому. Покончивъ съ дѣлами, онъ заѣхалъ къ Ямишу и подписалъ условія дуэли, которыхъ были очень серьезны, хотя и въ мѣру, потомъ отправился обѣдать въ надеждѣ встрѣтить тамъ Машко.

Но Машко, вѣроятно, остался обѣдать у Краславскихъ, за то первое лицо, бросившееся въ глаза Поланецкому, былъ панъ Плавицкій, одѣтый, по обыкновенію, очень старательно, выбритый, надушенный, застегнутый на всѣ пуговицы, но мрачный, какъ ночь.

— Что вы тутъ дѣлаете, милый мой дядюшка? — спросилъ Поланецкій.

— Когда бываю чѣмъ-нибудь разстроенъ, тогда дома не обѣдаю, чтобы не огорчить Марини — возразилъ панъ Плавицкій. — Забираюсь я тогда куда-нибудь — и крыльшко отъ курицы, ложечка компоту — вотъ

все, что мнѣ нужно. Садись ко мнѣ, если тебя не ждеть болѣе веселое общество.

— Что случилось? — спросилъ Поланецкій.

— Гибнуть старыя традиціи — вотъ что случилось.

— Ба! И это-то васъ такъ разстроило, дядюшка?

Панъ Плавицкій, посмотрѣвъ на него довольно мрачно, но вмѣстѣ съ тѣмъ торжественно, тихо сказалъ:

— Сегодня вскрыли завѣщаніе.

— Ну, и что?

— И что? И говорять теперь во всей Варшавѣ: „она никого не забыла, даже самыхъ дальнихъ родственниковъ!“... Хорошо же она помнила, нечего сказать?! Маринѣ она записала — да? Знаешь сколько? Четыреста рублей пожизненно... А еще миллионерша!! Я понимаю такую подачку горничной своей — а не родственницѣ...

— А вамъ дядя?

— Мнѣ ничего. Управляющему своему она записала пятнадцать тысячъ рублей, а мнѣ ни гугу...

— Что-жъ дѣлать?

— Гибнуть старыя традиціи, да и только! Сколько людей въ былые времена дѣлалось богачами, благодаря наслѣдствамъ? А почему? Потому что въ семьяхъ существовала любовь, солидарность...

— Сколько я еще теперь знаю такихъ, которые получили наслѣдства въ десятки тысячъ...

— Да! Есть счастливцы, есть! Ихъ даже очень много, только жаль, что я къ нимъ не принадлежу.

Панъ Плавицкій оперѣ голову на руку и у него вырвалось нечто въ родѣ слѣдующаго монолога:

— Всегда, повсюду, кто-то, кому-то, что-то...

Тутъ онъ вздохнулъ, потомъ прибавилъ:

— А мнѣ нигдѣ и никогда, никто ничего...

Поланецкому вдругъ пришла въ голову какая-то дикая мысль развеселить пана Плавицкаго и онъ, не долго думая, прервалъ монологъ старика:

— Да что вы, — она умерла въ Римѣ, здѣшнее завѣщаніе сдѣлано давно, притомъ, я слышалъ, что она ужъ разъ одно завѣщаніе уничтожила. Кто знаетъ, быть можетъ, изъ Рима получатся еще дополнительные документы и въ одно прекрасное утро вы проснетесь миллионеромъ.

— Да гдѣ тамъ получатся! — отвѣтилъ панъ Плавицкій.

Но слова Поланецкаго взволновали его; онъ сталъ на него посматривать, сталъ вертѣться на стулѣ, точно стулѣ, на которомъ онъ сидѣлъ, былъ ложемъ легендарного Мадея — и, наконецъ, сказалъ:

— И ты допускаешь, что это возможно?

На это Поланецкий отвѣтилъ съ дѣйствительно чертовской серъезностью:

— Я тутъ не вижуничѣго невозможнаго.

— О, еслибъ небу угодно было...

— Все можетъ случиться.

Панъ Плавицкій оглянулся кругомъ — никого въ залѣ, кромѣ нихъ, не было; вдругъ онъ отодвинулъ кресло и, указывая на свой жилетъ, сказалъ:

— Милый мой юноша, подойди же ко мнѣ...

Поланецкий нагнулъ голову, которую панъ Плавицкій два раза попѣловалъ, приговаривая:

— Ты ободрилъ меня, подкрѣпилъ... Пусть будетъ, какъ Богу будетъ угодно, но ты подкрѣпилъ меня... Предъ тобой не стану скрывать — я ей недавно писалъ. Такъ себѣ, только чтобы напомнить, что мы, моль, живемъ. Я спрашивалъ въ письмѣ относительно одного ея имѣньяца, когда кончается срокъ контракту съ арендаторомъ. Понимаешь, что меня очень мало интересуетъ вопросъ обѣ этой арендѣ, но предлогъ былъ удачный... Да вознаградить тебя Богъ, что ты вернулъ мнѣ всю бодрость... Здѣшнее завѣщаніе она, вѣроятно, сдѣлала до полученія моего письма, потому она уѣхала въ Римъ, по дорогѣ она навѣрное вспомнила о моемъ письмѣ, слѣдовательно, и о настѣ — и — ты говоришь, что это возможно? — да вознаградить-же тебя Богъ.

Чрезъ минуту лицо его совершенно прояснилось. Вдругъ онъ положилъ руку на колѣно Поланецкаго и, щелкнувъ языкомъ, воскликнулъ:

— Знаешь что, другъ любезный? Вѣдь можетъ быть ты счастливо предсказалъ?! Не выпить-ли намъ по этому случаю бутылочку Mouton-Rotscheld — что?

— Ей Богу, не могу! — отвѣтилъ Поланецкий, начавшій немногого стыдиться своей шутки — не могу и не буду.

— Ты долженъ.

— Честное слово, не могу. Мнѣ предстоитъ еще масса работы и я ни за что на свѣтѣ не стану мутить себѣ голову.

— Однако, ты упоренъ, какъ быкъ! Выпью въ такомъ случаѣ моль-бутылочки самъ за счастливое предсказаніе.

И онъ приказалъ подать себѣ вина, послѣ чего спросилъ:

— Какая у тебя сегодня работа?

— Да различная. Послѣ обѣда я долженъ также заѣхать къ профессору Васковскому.

— Что за человѣкъ этотъ Васковскій?

— Да, правда — сказалъ Поланецкій — и онъ получилъ наслѣдство и даже довольно крупное послѣ брата своего, который былъ горнымъ инженеромъ. Но онъ почти все раздаетъ бѣднымъ.

— Раздаетъ бѣднымъ, а самъ посѣщаетъ лучшіе рестораны, — я люблю такихъ филантроповъ! Если-бы я рѣшилъ все раздать бѣднымъ, тогда я бы себѣ во всемъ отказывалъ.

— Онъ долго болѣлъ и доктора совѣтовали ему хорошо питаться. Но онъ и тутъ заказываетъ себѣ то, что подешевле. Самъ онъ живетъ въ конурѣ, гдѣ у него масса разныхъ птицъ, а рядомъ помѣщаются двѣ большихъ комнаты, гдѣ ночуютъ — знаете кто? — дѣти, которыхъ онъ подбираетъ на улицѣ...

— Мнѣ съ самого начала показалось, что у него тутъ немногого не въ порядкѣ!..

И панъ Плавицкій стукнулъ нѣсколько разъ указательнымъ пальцемъ по лбу.

Поланецкій не засталъ Васковскаго дома и, повидавшись еще съ Машко, около пяти часовъ зашелъ къ Маринѣ, потому что чувствовалъ угрызенія совѣсти за вздоръ, который онъ наговорилъ Плавицкому. „Стариkъ — думалъ онъ — будетъ пока пить дорогія вина въ счетъ будущихъ благъ, а они, кажется мнѣ, и безъ того живутъ не по своимъ средствамъ. Необходимо скорѣе покончить съ этой неудачной штукой“.

Марину онъ засталъ уже въ шляпкѣ, — она собиралась уйти къ Бигелямъ; но она его задержала и онъ охотно остался, тѣмъ болѣе, что и безъ того зашелъ не на долго.

— Поздравляю васъ съ наслѣдствомъ, — сказалъ онъ.

— Я очень рада, — отвѣтила она; — это, по крайней мѣрѣ, ужъ нѣчто вѣрное, а въ нашемъ положеніи это очень важно. Впрочемъ, я бы хотѣла быть очень, очень богатой.

— Почему?

— А помните, вы когда-то мнѣ говорили, что хотѣли-бы имѣть столько, чтобы открыть фабрику и бросить торговый домъ. Я это отлично помню, а такъ какъ у каждого свои желанія, то и я желаала-бы имѣть много, много денегъ.

Она вдругъ спохватилась, испугавшись, не сказала-ли она слишкомъ много и слишкомъ ясно, а потому начала усердно разглаживать складки своего платья, что дало ей возможность склонить головку и опустить глаза.

— Я пришелъ, чтобы извиниться предъ вами — сказалъ Поланецкій. — Сегодня за обѣдомъ я наболталъ пану Плавицкому вздоръ: будто покойная Плоповская могла измѣнить свое завѣщаніе и записать ему все свое состояніе. Сверхъ моего ожиданія, опѣ отнесся къ

этому слишкомъ серьезно. Я бы не хотѣль заставить его питать напрасныя надежды и, если позволите, то зайду къ нему въ кабинетъ, чтобы какъ-нибудь все это разъяснить.

Мариня начала весело смѣяться.

— Я ужъ объясняла ему,—но онъ меня выругалъ и даже сильно выругалъ! — Видите, что вы надѣлали. Вамъ дѣйствительно есть за что прощенія просить.

— Такъ простите!

И схвативши ея руку, онъ сталъ покрывать ее поцѣлуюми; она не отнимала руки, приговаривая только шутливо, но не безъ волненія:

— Панъ Стахъ нехорошій, панъ Стахъ нехорошій!

Поланецкій весь этотъ день, пока не уснулъ, чувствовалъ на своихъ устахъ какую-то пріятную теплоту отъ руки Марини, не думая ни о комъ и ни о чёмъ,— ни о Машко, ни о Гонтовскомъ, лишь время отъ времени повторяя про себя съ какимъ-то упорствомъ:

— Пора бы все это выяснить...

VII.

Кресовскій съ докторомъ и съ ящикомъ, гдѣ были пистолеты,ѣхали въ одной каретѣ, а Поланецкій съ Машко — въ другой, направляясь къ Бѣлянамъ. День былъ ясный и морозный, а внизу стлался розовый туманъ. Колеса со скрипомъ поворачивались по мерзлому снѣгу, отъ лошадей поднимался паръ и онъ покрывались инеемъ, на деревьяхъ ярко блестѣли ледяные сосульки.

— Вотъ такъ морозъ — сказалъ Машко.— Чего доброго, еще пальцы примерзнутъ къ куркамъ пистолетовъ.

— Тоже пріятность теперь снимать шубы.

— Такъ ужъ пожалуйста, не теряйте по напрасну времени. Голубчикъ, скажи Кресовскому, чтобы онъ не медля приступилъ къ дѣлу.

Туть Машко сталъ вытиратъ вспотѣвшія стекла своего пэнснѣ, потомъ прибавилъ:

— Пока доѣдемъ, солнце поднимется высоко и блескъ снѣга будетъ только рѣзать глаза.

— Это долго не продолжится — отвѣтилъ Поланецкій.— Коль скоро Кресовскій явился во-время, то тѣхъ намъ ждать не придется,— они привыкли вставать рано.

— Знаешь, о чёмъ я думаю въ эту минуту? — сказалъ Машко,— что вотъ есть нѣчто, есть какой-то факторъ, съ которымъ никто не считается ни въ своихъ планахъ, ни въ своихъ дѣйствіяхъ, но который можетъ все разбить, уничтожить, перековеркать — это

ужасно глупо! Предположимъ, что я обладаю умомъ въ десять разъ болѣшимъ, чѣмъ теперь, допустимъ, что я преслѣдую цѣли не какого-то пана Машко, а что я великий политикъ, какой нибудь Бисмаркъ или Кавуръ, которому вдругъ потребовалось цѣлое состояніе, чтобы провести свои великія идеи, который разсчитываетъ каждый свой шагъ, каждое слово — и что-же? Приходитъ какое нибудь животное, глупое, идіотское, о которомъ никто никогда даже и не думалъ — и все вдругъ идетъ прахомъ!.. Это что-то невѣроятное! Застрѣлить-ли онъ меня или нѣтъ — не въ этомъ теперь дѣло, но такая скотина испортила мнѣ работу цѣлой моей жизни.

— Кто можетъ это предвидѣть — отвѣтилъ Поланецкій.— Это все равно, что если тебѣ на голову вдругъ упадетъ черепица.

— Это-то именно и приводитъ въ бѣшенство!..

— А что касается того, что онъ тебя убьетъ, то ужъ „ахъ, оставьте“!

Машко сразу овладѣлъ собой, еще разъ протеръ свое пэнснэ и снова заговорилъ:

— Я вижу, голубчикъ, что съ тѣхъ поръ, какъ мы сѣли въ карету, ты какъ-то подозрительно посматриваешь на меня, а теперь вздумалъ поддать мнѣ немнога храбрости. Съ твоей стороны это вполнѣ естественно. Но и съ моей стороны я долженъ тебя успокоить и даю тебѣ честное мое слово, что вамъ изъ-за меня краснѣть не придется. Совершенно понятно, я немнога теперь волнуюсь, точно у меня что-то тутъ, подъ ложечкой, сосетъ — и знаешь почему? Что касается самой опасности дуэли, это стрѣляніе другъ въ друга — это пустяки!.. Пусть намъ обоимъ дадутъ ружья и пустятъ куданибудь въ лѣсъ, ей-Богу цѣлый день такъ буду стрѣлять въ этого дурака, такъ что небу жарко станетъ, и цѣлый день выдержу его выстрѣлы. Но у меня ужъ разъ была дуэль и я отлично знаю, что это такое. Меня больше волнуетъ вся эта комедія, эти приготовленія, эти секунданты, эта мысль, что на тебя всѣ смотрятъ и это опасеніе, хорошо-ли ты себя держишь, хорошо-ли ты отличишься. Это ничего иное, какъ первый дебютъ, тутъ вопросъ только о самолюбіи — и ничего больше. Для нервныхъ натуръ это просто цѣлое событіе. Но я не изъ нервнаго десятка. Я также понимаю, что въ этомъ отношеніи я куда выше стою моего противника, потому что я больше привыкъ къ людямъ, чѣмъ онъ. Такой осель ограничепъ и убогъ воображеніемъ,— онъ не въ состояніи представить себѣ, какъ онъ ляжетъ трупомъ, какъ этотъ трупъ начнетъ разлагаться и такъ далѣ. Но я съумѣю лучше его владѣть собою... Притомъ скажу тебѣ еще вотъ что. Философія философіей, но въ подобныхъ обстоятельствахъ все зависитъ отъ темперамента, отъ разгорѣвшейся страсти...

Мнѣ эта дуэль ничего хорошаго не обѣщаетъ, она меня не спасетъ, а скорѣе, наоборотъ, еще во многомъ попортитъ. Однако, мнѣ трудно было-бы отказаться отъ нея... Я такъ сильно возмущенъ, такъ ненавижу этого дурака, мнѣ бы такъ хотѣлось раздавить, растоптать и растереть его, что я въ настоящемъ случаѣ просто отказываюсь разсуждать. Смѣю тебя увѣрить, что лишь только увижу эту идіотскую рожу, какъ все забуду, забуду и беспокойство и всю комедію — а буду видѣть предъ собой только его одного...

— Я это отлично понимаю, — отвѣтилъ Поланецкій.

И красная пятна на лицѣ Машко еще болѣе увеличились и посинѣли отъ мороза, придавая ему видъ довольно безобразный и очень злобный.

Они прїѣхали. Почти одновременно заскрипѣла карета, привезшая Гонтовскаго, пана Ямиша и Вильковскаго, которые, выйдя изъ кареты, раскланялись съ противниками и всѣ семеро, считая и доктора, направились въ глубину лѣса къ мѣсту, избранному наканунѣ Крестовскими.

Кучера, поглядывая на эти семь пальто, отъ которыхъ падали на бѣлый снѣгъ какія-то странныя черныя тѣни, начали подмигивать другъ другу.

— Знаешь, что здѣсь будетъ? — спросилъ одинъ.

— Знаю: это мнѣ не впервые, — отвѣтилъ другой.

— Пусть себѣ дураки стрѣляются!..

Тѣ же тѣмъ временемъ шли все далѣе въ лѣсъ, шлепая большими калошами и выпуская изъ ноздрей цѣлые столбы бѣлаго пара. По дорогѣ панъ Ямишъ, отступивъ немного отъ установленныхъ въ подобныхъ случаяхъ правилъ, подошелъ къ Поланецкому и заговорилъ съ нимъ:

— Я искренно желалъ-бы, чтобы Гонтовскій извинился предъ паномъ Машко, но при такихъ условіяхъ, право, невозможно.

— Я предложилъ Машко, чтобы онъ смягчилъ свое письмо, — но онъ не хотѣлъ...

— Въ такомъ случаѣ, другого исхода нѣтъ. Все это страшно глупо, но исхода нѣтъ!

Поланецкій ничего не отвѣтилъ и оба продолжали свой путь. Но, спустя немного, панъ Ямишъ снова спросилъ:

— Да, я слышалъ, что Мария Плавицкая получила какое-то наслѣдство?

— Получила, но очень небольшое.

— А старики?

— Онъ ужасно золъ, что все наслѣдство не перешло къ нему.

Панъ Ямишъ, ударивъ себя перчаткой по лбу, сказалъ:

— У этого Плавицкаго тутъ немного не въ порядке...

Потомъ, оглянувшись кругомъ, прибавилъ:

— Однако-жъ, мы куда-то далеко идемъ.

— Скоро будемъ на мѣстѣ.

И они шли дальше. Солнце высоко поднялось надъ молодымъ лѣсомъ. Отъ деревьевъ ложились по снѣгу голубоватыя тѣни, во въ лѣсу становилось все свѣтлѣе и свѣтлѣе. Галки и вороны, спрятавшись гдѣ-то на верхушкахъ, страхивали снѣгъ, сухой и легкій, какъ пухъ, который безъ шума падалъ на землю, образуя подъ деревьями небольшіе остроконечные бугорки. Всюду царствовалъ покой и мертвая тишина. Только люди нарушили ее для того, чтобы убить другъ друга.

Наконецъ всѣ стали у опушки лѣса, гдѣ было довольно свѣтло. Небольшую рѣчъ пана Ямиша на тему о превосходствѣ мира надъ войной Гонтовскій и Машко выслушали спокойно, уткнувъ уши въ высоко поднятые мѣховые воротники; потомъ, Кресовскій зарядилъ пистолеты; они сбросили шубы и, получивъ каждый по заряженому пистолету, стали другъ противъ друга съ поднятымъ кверху оружіемъ.

Гонтовскій тяжело дышалъ, лицо его раскраснѣлось, а на усахъ повисли ледяныя сосульки. По выраженію его лица и по всей фігурѣ видно было, что вся эта обстановка страшно его стѣсняетъ, что онъ точно чѣмъ-то связанъ, что онъ держится только благодаря чувству стыда и силѣ воли и что, дай онъ волю своему настоящему чувству, онъ съ удовольствіемъ бросился бы на своего противника и хорошенько прошелся бы по его спинѣ пистолетнымъ прикладомъ или даже собственнымъ кулакомъ. Машко, который сначала дѣлалъ видъ, что его не замѣчаешь, смотрѣлъ теперь на него съ выражениемъ, полнымъ ненависти, злобы и презрѣнія. Все лицо его покрылось пятнами. Но онъ, однако, лучше владѣлъ собой, чѣмъ Гонтовскій, и — одѣтый въ длинный англійскій сюртукъ, въ высокой шляпѣ и съ своими длинными бакенбардами, — казался вполнѣ спокойнымъ и даже надменнымъ, напоминая собою скорѣе актера, играющаго роль стоящаго у барьера джентельмена.

„Онъ застрѣлить этого „медвѣженка“, какъ собаку“ — подумалъ Поланецкій, глядя на нихъ.

Раздались слова команды и два выстрѣла оглушили лѣсную тишину, послѣ чего Машко, обратившись къ Кресовскому, произнесъ ледянымъ голосомъ:

— Прошу зарядить пистолеты.

Но одновременно съ этимъ на снѣгу образовалось большое кровяное пятно.

— Вы ранены — сказалъ докторъ, быстро приближаясь къ нему.

— Можетъ быть... прошу зарядить...

И въ эту минуту онъ зашатался, такъ какъ дѣйствительно былъ раненъ. Пуля попала ему въ колѣно, зашибивъ верхнюю часть кости.

Дуэль была прекращена. Только Гонтовскій стоялъ еще нѣкоторое время, не двигаясь съ мѣста, съ большими изумленными глазами, пораженный тѣмъ, что случилось.

Когда докторъ окончилъ первую перевязку, Гонтовскій, подталкиваемый паномъ Ямшомъ, подошелъ, однако, къ Машко и пробормоталъ, хотя далеко несвязно, но очень искренно:

— Теперь сознаюсь, что я не имѣлъ ни малѣйшаго права нападать на васъ; всѣ слова мои беру назадъ и покорно прошу васъ извинить меня. А если вы ранены, то, право, я этого никакъ не хотѣлъ.

И чрезъ минуту, удалился вмѣстѣ съ паномъ Ямшемъ и Вильковскимъ, и можно было слышать, какъ онъ говорилъ:

— Ей-Богу, нечаянно... совершенно случайно... Это пистолеты такие... Я прицѣлился надъ его головой...

Машко въ продолженіе цѣлаго дня ни разу не раскрылъ рта — и на вопросы доктора, какъ онъ себя чувствуетъ и очень ли беспокоитъ его небольшая рана, онъ только отрицательно качалъ головой.

Бигель, возвратившись еще наканунѣ изъ-за границы съ полными карманами вновь заключенныхъ контрактовъ и узнавши обо всемъ случившемся, въ разговорѣ съ Поланецкимъ, сказалъ ему:

— Машко безсомнѣнно человѣкъ интеллигентный, но, ей-Богу, между нами будь сказано, въ немъ сидитъ какой-то гвоздь. У него, къ примѣру, хорошая смѣкалка, множество хорошихъ дѣлъ, онъ бы могъ хорошо зарабатывать и нажить состояніе. Такъ нѣтъ же, захотѣлось ему разбрасываться, залѣзть въ долги, покупать имѣнія, разыгрывать роль большого земельного собственника, лорда какого-то, Богъ вѣсть чего, лишь бы не быть тѣмъ, что онъ есть на самомъ дѣлѣ. Уму непостижимо, какъ все это странно, и что еще удивительнѣе всего, это распространено вездѣ и всюду. Иногда я думаю, что жизнь сама по себѣ довольно хороша, но всѣ ее сами портятъ какимъ-то полнѣйшимъ отсутствіемъ умственного равновѣсія, какой-то чертовской фантазіей, какимъ-то поголовнымъ умопомѣшательствомъ. Я понимаю еще, что человѣку хочется имѣть больше, чѣмъ онъ имѣеть, и пользоваться болѣшимъ значеніемъ, чѣмъ онъ пользуется, но это все должно быть въ извѣстныхъ границахъ, чтобы оно не перешло въ область фантазіи. Я первый готовъ признать за Машко и массу энергіи, и много ума и ловкости, но принимая все это во вниманіе — ей-Богу, у него тутъ навѣryoе что-то неладно.

И Бигель нѣсколько разъ стукнулъ указательнымъ пальцемъ по лбу.

Машко, между тѣмъ, стиснувъ зѣбы, сильно страдалъ, — рана его, не угрожая опасностью для жизни, была, однако, страшно мучительна. Къ вечеру онъ два раза лишился чувствъ въ присутствіи Поланецкаго. Потомъ наступило ослабленіе; рѣдкая сила воли, поддерживавшая молодого адвоката въ продолженіе цѣлаго дня, къ вечеру совершенно ослабла и исчерпалась. Послѣ перевязки, когда докторъ ушелъ, онъ нѣкоторое время лежалъ почти спокойно, но потомъ, глубоко вздохнувъ, сказалъ:

— Вотъ каково мое счастье!...

— Не думай теперь объ этомъ, отвѣтилъ Поланецкій.

Машко же продолжалъ:

— Оскорблѣнnyй, униженnyй, раненnyй и разоренnyй, — все вмѣстъ...

— Повторяю тебѣ, что теперь не время объ этомъ думать.

Машко оперся локтемъ на подушку и, застонавъ отъ страшной боли, прошепталъ:

— Да оставь-же меня въ покоѣ! я теперь доживаю послѣднія минуты, когда я еще могу поговорить по душѣ съ порядочнымъ человѣкомъ. Чрезъ недѣлю, самое большее чрезъ двѣ я ужъ буду принадлежать къ тѣмъ, которыхъ, по возможности, стараются избѣгать... И какое мнѣ теперь дѣло до твоей температуры, до какого-то тамъ жара!.. Самое ужасное въ подобномъ разореніи, въ такой неожиданной превратности судьбы — это то, что потомъ первый встрѣчный глупецъ, какой-нибудь гусь лапчатый будетъ говорить: „о, я обѣ этомъ уже давно зналъ“, „я это предвидѣлъ съ самаго начала“.. Да, всѣ мастера предвидѣть все... но послѣ того, какъ фактъ ужъ совершился — и человѣка, у котораго все вдругъ пошло прахомъ, дѣлаютъ еще въ придачу идиотомъ или сумасшедшемъ.

Поланецкій въ эту минуту припомнилъ свой послѣдній разговоръ съ Бигелемъ. Машко же, по какому-то удивительному совпаденію мыслей, продолжалъ говорить такъ, какъ бы желая на него отвѣтить:

— А ты думаешь, что я не отдавалъ себѣ отчета въ томъ, что я ужъ слишкомъ сильно натягивалъ струну, что я не въ мѣру рвался впередъ, что мнѣ захотѣлось подняться выше своей головы, что я слишкомъ высоко задралъ носъ... Въ этомъ, по крайней мѣрѣ, никто не можетъ меня упрекнуть; ты, вѣдь, знаешь, я часто повторялъ себѣ то же самое... Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я говорилъ себѣ: что это необходимо, — что это единственный путь, чтобы какъ-нибудь выбиться — и что же вышло? Быть можетъ, отношенія аномальны, исковерканы, быть можетъ въ жизни, вообще, все идетъ шиворотъ на выворотъ, но если бы не этотъ глупый, неожиданный и непредвидѣнnyй инцидентъ, я бы выился, я бы выплылъ, наконецъ — и то лишь благодаря тому, что я дѣйствовалъ такъ, а не иначе... Если бы я былъ

скромненькимъ, тихенькимъ,— мнѣ о паниѣ Краславской даже и мечтать нельзя было бы... У насъ всегда нужно разыгрывать кого-нибудь или что-нибудь, и если я теперь лопнуль по всемъ швамъ, то не изъ-за моего тщеславія,— смѣю тебя увѣрить,— а лишь изъ-за этого духа цара небеснаго.

— Однако, чортъ возьми, ты вѣдь еще не знаешь навѣрно, разстроена-ли твоя женитьба, или нѣть?

— Ты, видно, голубчикъ, понятія не имѣешь объ этихъ женщинахъ. Онѣ, за неимѣніемъ лучшаго, согласились связаться съ паномъ Машко, потому что пану Машко везло... Если же упадетъ хоть малѣйшая тѣнь на мое благосостояніе, на мое положеніе, на занимающее мною място въ обществѣ,—онѣ безжалостно бросятъ меня, а потомъ будутъ еще валить на меня все, что угодно, лишь бы себя оправдать во мнѣніи свѣта. Развѣ ты ихъ знаешь? Панна Краславская — это не панна Плавицкая...

Настала минута молчанія; потомъ Машко продолжалъ слабымъ голосомъ:

— Та могла бы меня спасти... Она бы вывела меня на другую дорогу, тихую, спокойную... Кремень былъ бы спасенъ... Не было бы тогда и ея долга, и ренты старика Плавицкаго... Я бы вылѣзъ, навѣрное бы даже вылѣзъ... Притомъ — теперь мнѣ ужъ нечего скрывать предъ тобой, — но я былъ влюбленъ въ нее, какъ гимназистъ какой-нибудь... Самъ даже не знаю, откуда это у меня взялось... Но она предпочла на тебя сердиться, чѣмъ меня полюбить... Теперь я все это отлично понимаю. Ничего не подѣлаешь...

Поланецкій, которому весь этотъ разговоръ былъ не по душѣ, прервалъ его, сказавъ съ оттенкомъ нѣкотораго нетерпѣнія:

— Удивляюсь только, что ты, при всей твоей энергіи, считаешь все потеряннымъ, когда еще все далеко не потеряно. Панна Плавицкая для тебя теперь уже прошлое, надъ которымъ ты самъ поставилъ крестъ, сдѣлавъ предложеніе паниѣ Краславской. Что касается настоящаго — тебя, правда, оскорбили, но ты дрался со своимъ противникомъ на дуэли; ты раненъ, но чрезъ недѣлю будешь совершенно здоровъ — и, наконецъ, Краславская еще не объявили тебѣ о разрывѣ. До тѣхъ поръ, пока у тебя не будетъ документальныхъ данныхъ, — тебѣ объ этомъ и толковать нечего... Ты боленъ, разстроенъ — и напрасно себя преждевременно хоронишь. А я вотъ что тебѣ скажу. Необходимо извѣстить твоихъ дамъ обо всемъ, что случилось. Если хочешь, то я завтра къ нимъ зайду. Пусть онѣ потомъ сдѣлаютъ все, что имъ заблагоразсудится, но, пока, важно, по крайней мѣрѣ, чтобы до нихъ дошло это извѣстіе не отъ городскихъ сплетниковъ, а изъ устъ близкаго свидѣтеля.

Машко, подумавъ немногого, отвѣтилъ:

— Я и безъ того хотѣлъ было написать моей невѣстѣ, но буде́тъ гораздо лучше, если ты самъ зайдешь къ нимъ. Я не пытаю никакихъ надеждъ, чтобы изъ этого что-нибудь вышло,—но все-таки не мѣшаешь быть въ порядкѣ. Благодарю тебя. Ты сумѣешь представить дѣло въ надлежащемъ свѣтѣ... Только, Бога ради, ни слова о моихъ денежныхъ дѣлахъ... Объясни имъ, что вся продажа той проклятой рощи не больше какъ пустяки, нуль какой нибудь, что я продалъ тебѣ ее только изъ желанія оказать тебѣ любезность... Искренно тебя благодарю. Скажи имъ также, что Гонтовскій изви-нился предо мною....

— Есть ли тутъ кто-нибудь, кто будетъ при тебѣ сидѣть?

— Лакей мой и его жена. Докторъ также обѣщалъ сегодня еще прийти и привести съ собой фельдшера... Меня только это чертовски беспокоитъ, а такъ чувствую себя почти сносно.

— Итакъ, до свиданья.

— Всего лучшаго. Спасибо тебѣ. — Ты...

— Спи хорошенько.

И Поланецкій вышелъ. Всю дорогу онъ думалъ о Машко и думалъ не безъ нѣкотораго гнѣва: „Что, кажется, общаго между Машко и романтизмомъ, а, однако, и онъ считаетъ своимъ долгомъ корчить изъ себя человѣка, одержимаго этой болѣзнью... Панна Плавицкая! Онъ любилъ ее... онъ пошелъ бы тогда по другой дорогѣ... она бы его спасла... вотъ какую дань онъ платить романтизму — и въ придачу еще совершенно фальшивой монетой, потому что чрезъ мѣсяцъ онъ уже успѣлъ сдѣлать предложеніе какой-то куклѣ — изъ-за какихъ-то денегъ. Быть можетъ, я глупъ, но я все-таки этого не понимаю и я не вѣрю въ искренность сердечныхъ муки, которыхъ такъ легко проходятъ и забываются. Если бы я полюбилъ женщину и любовь моя была отвергнута, я черезъ мѣсяцъ все-таки не женился бы на другой. Накажи меня Богъ, если бы я это сдѣлалъ! Машко, однако, правъ, утверждая, что Мариня не Краславская, что она женщина совершенно другого рода... Да что тутъ толковать... Совершенно другого! Совершенно другого!“...

И мысль эта доставила ему очень много пріятнаго. Вернувшись домой, онъ нашелъ письмо отъ Букацкаго изъ Италіи и записочку отъ Марини, полную тревоги и вопросовъ относительно слуховъ о дуэли. Она просила его сообщить ей завтра утромъ обо всемъ, что произошло, съ чего все это началось, а, въ особенности о томъ: все ли дѣйствительно уже окончено и не осложнилось-ли дѣло снова, угрожая новой опасностью.

Поланецкій, подъ вліяніемъ той мысли, что „она женщина совер-

шенно другого рода, чѣмъ Краславская", написалъ нѣсколько строкъ въ гораздо болѣе искреннемъ тонѣ, чѣмъ онъ самъ этого хотѣлъ и приказалъ лабею доставить это письмо по адресу завтра въ девять часовъ утра. Потомъ онъ взялся за чтеніе письма Букацкаго и чѣмъ дальше онъ читалъ его, тѣмъ чаще онъ подергивалъ плечами и качалъ головой.

Вотъ что писалъ Букацкій:

„Да вымолитъ тебѣ Сакія-Муни благословенную Нирвану. Кромѣ того, скажи Карапанеру, пусть онъ слѣдуемыхъ мнѣ трехъ тысячъ рублей серебромъ не высылаетъ въ Флоренцію; пусть останутся онѣ у него до моего распоряженія. На этихъ дняхъ я рѣшилъ подумать о намѣреніи (видишъ, какъ все это рѣшительно) стать вегетаріанцемъ. Если эта мысль меня не измучаетъ, если намѣреніе это перейдетъ въ рѣшеніе, а рѣшеніе не окажется выше силъ моихъ, то перестану быть мясопожирающимъ животнымъ и жизнь обойдется мнѣ гораздо дешевле. Вотъ и все. Что касается тебя, прошу тебя, ради всего — успокойся, потому что жизнь не стоитъ труда.

„Знаешь? Я теперь уже понимаю почему славяне предпочитаютъ синтезъ анализа. Потому что они лѣнти, а анализъ требуетъ много труда. Разводить синтезы можно даже послѣ обѣда съ хорошей сигарой во рту. Впрочемъ, они совершенно правы въ томъ, что такие лѣнти. Во Флоренціи очень тепло, въ особенности на Lung-Arno. Я только то и дѣлаю, что шляюсь и синтезирую на тему о флорентийской школѣ. Я тутъ познакомился съ однимъ очень талантливымъ художникомъ — акварелистомъ, тоже славянинъ, добывающій себѣ средства жизни исключительно искусствомъ, но онъ доказываетъ, что искусство одно лишь свинство, что оно плодъ мѣщанского тщеславія, болѣзnenного стремленія къ роскоши и излишества богатства, которое одни накапливаютъ на счетъ другихъ. Однимъ словомъ: искусство, по его мнѣнию, одна лишь подлость и вредъ! Онъ набросился на меня, какъ на бѣшенную собаку, доказывая съ пѣной у рта, что быть буддистомъ и заниматься искусствомъ это ужъ верхъ безмыслицы; но я набинулъ на него еще съ большей яростью и отвѣтилъ ему, что предпочитать здравый смыслъ безмыслицѣ — это, именно, и есть верхъ мѣщанского обскурантизма, мѣщанскихъ предубѣждений и подлости. Онъ до того былъ пораженъ и до того растерялся, что даже не нашелся что отвѣтить.—Я уговариваю его, чтобы онъ повѣсился, но онъ не хочетъ.—Скажи мнѣ, пожалуйста, увѣренъ ли ты, что земля дѣйствительно вертится вокругъ солнца и не выдумка ли все это. Въ Варшавѣ я очень жалѣлъ это милое дитя, которое умерло. Здѣсь я тоже часто думаю о немъ.—Какъ это глупо!.. Что подѣлывается пани Эмилія? Я думаю, что судьба каждого человѣка на

землѣ предъопредѣлена, а на ея долю выпала роль мученицы съ бѣлыми крыльями... Почему она была такъ чиста и добродѣтельна? Въ противномъ случаѣ ей было бы веселѣе. Что касается тебя, милый человѣкъ, сдѣтай мнѣ, пожалуйста, одно одолженіе. Прошу тебя ради всего: не женись. Помни, если ты женишься, если ты будешь имѣть сына, если ты всю жизнь будешь трудиться, чтобы оставить ему кругленькое состояніе, то ты это сдѣлаешь исключительно для того, чтобы твой сынъ былъ точно такой же, какъ и я,—а я, въ сущности, представляю собою очень милаго молодого человѣка, но сильно сомнѣваюсь: нужнаго ли кому-нибудь? Да здравствуетъ пылкая энергія, да здравствуй торговыи домъ, коммиссіонное товарищество, переходная форма, привычныи трудъ, мученикъ золота, будущій отецъ семейства, разводитель дѣтей и хлопотъ. Обними отъ меня Васковскаго. Онъ тоже синтетикъ. Да откроестъ тебѣ Сакія-Муни глаза, дабы ты узрѣлъ, что на солнцѣ всегда тепло, а въ тѣни — холодно, что удобнѣе лежать, чѣмъ стоять. Твой Букацкій.“

— Что за винегретъ! — подумалъ Поланецкій.

И потомъ онъ сталъ разсуждать самъ съ собой:

— Все это искусственно, все это вполнѣйшій самообманъ, какая-то крайность. Стоитъ только къ этому привыкнуть и привычка станетъ второй натурай и тогда все пойдетъ прахомъ: прощай тогда и умъ, и энергія, и даже душа начнетъ разлагаться словно трупъ. Не штука броситься внизъ головой въ такую прорубь, въ какую бросился Машко, или въ такую, какую избралъ себѣ Букацкій. Но въ обѣихъ случаяхъ непремѣнно очутишься подо льдомъ. Однако, что за чертовщина! Должна же быть, наконецъ, гдѣ — нибудь и здоровая, нормальная жизнь — надо только имѣть немнога мозговъ въ башкѣ. Вотъ такому Бигелю живется недурно на свѣтѣ. У него жена, которую онъ обожаетъ, дѣти, которыхъ онъ любить, работаетъ онъ какъ воль, но вмѣстѣ съ тѣмъ носить въ своемъ сердцѣ какую-то глубокую привязанность ко всѣмъ вообще, а въ частности къ своей віолончели, на которой онъ поигрываетъ при лунѣ, задирая голову къ потолку. Про него нельзя сказать, чтобы онъ былъ матеріалистомъ. О, нѣтъ. У него какъ то все гармонируетъ одно съ другимъ.

Поланецкій началъ ходить по комнатѣ взадъ и впередъ, время отъ времени поглядывая на улыбающееся лицико Литки, выглядывавшее изъ-за березъ, нарисованныхъ на поляхъ фотографіи. Его все сильнѣе и сильнѣе охватывала потребность свести наконецъ счеты съ самимъ собою. Какъ купецъ, онъ началъ съ того, что сталъ разсматривать свой „debet“ и „credit“, что, впрочемъ, не было сопряжено ни съ какими трудностями. Въ рубрикѣ положительныхъ сторонъ его жизни первое мѣсто нѣкогда занимало его чувство къ Литкѣ. Въ свое

время она была для него столь дорога, что если бы ему годъ тому назадъ сказали: „возьми ее себѣ навсегда, какъ твоего собственнаго ребенка“, — онъ бы не задумался взять ее и тогда бы зналъ, что у него есть цѣль въ жизни. Теперь же отъ этого чувства осталось одно только печальное воспоминаніе, которое перешло теперь изъ рубрики счастья въ рубрику несчастья. Что же, послѣ этого, у него осталось? Прежде всего, осталась сама жизнь, во-вторыхъ, остался этотъ умственный диллентатизмъ, который, какъ бы тамъ ни было, все-таки представляеть много пріятнаго, дальше осталась еще будущность, возбуждающая любопытство, пользованіе материальными благами и, наконецъ, его торговый домъ. Все это, безсомнѣнно, имѣло свое значеніе, но Поланецкій чувствовалъ, что во всемъ этомъ нѣтъ главнаго, — нѣтъ цѣли. Что касается торгового дома, Поланецкому нравились успѣхи, какие онъ вездѣ встрѣчалъ, но отнюдь не сама работа, съ которой сопряжено было веденіе этихъ дѣлъ. Наоборотъ, работа эта не только не удовлетворяла его, но она его стѣсняла, душила и это раздражало и сердило его. Съ другой стороны, и диллентантизмъ, и книги, и весь этотъ умственный міръ — все это имѣло значеніе, какъ красоты жизни, какъ прикрасы къ ней, но отнюдь не могло стать ея основой и ея цѣлью. Букацкій, — думалъ Поланецкій, — вѣзъ во все это по уши, ему захотѣлось жить исключительно этимъ — и онъ свихнулся, истощился, выдохся. Цвѣты сами по себѣ великолѣпны и роскошны, но кто захочетъ дышать только ими и ихъ запахомъ, — тотъ отравится“. И дѣйствительно, не нужно было быть великимъ мудрецомъ, чтобы замѣтить кругомъ себя цѣлую массу исковерканныхъ людей, которыхъ умственный диллентатизмъ подрѣзаль такъ, какъ морфинъ подрѣзываетъ силы физической.

И ему онъ причинилъ уже не мало горя, хотя бы, начать съ того, что создалъ изъ него скептика. Отъ тяжелой, опасной болѣзни его спасли только здоровый его организмъ, чувствовавшій необходимую потребность излить свои силы, утилизировать лишнюю энергию — и трудъ. Но что же будетъ дальше? — Можетъ ли оно продолжаться такъ дальше? На этотъ вопросъ Поланецкій отвѣтилъ теперь рѣшительно: — нѣтъ. Коль скоро конторскія занятія не могли наполнить его жизнь, коль скоро наполнить жизнь диллентантизмомъ было просто опасно, то необходимо же, въ такомъ случаѣ, наполнить ее чѣмънибудь другимъ, создать себѣ новый міръ, новыя обязанности, открыть новые горизонты, а на это было одно только средство — жениться.

Раньше, когда онъ, бывало, думалъ объ этомъ, въ воображеніи его рисовался какой-то неопределенный образъ, полное воплощеніе всѣхъ прелестей, всѣхъ качествъ физическихъ и нравственныхъ, но безъ плоти и крови, безъ имени и фамиліи. Теперь же образъ этотъ

ожилъ, принялъ знакомыя формы. Поланецкій видѣлъ предъ собой спокойные, голубые глаза, темные волосы, немногого широкій ротикъ и зналъ, что имя его — Мариня Плавицкая. О другой не могло тутъ быть и рѣчи, а Мариню онъ представилъ себѣ такъ ясно, такъ реально, что даже жилы у него на вискахъ забились сильно. Но онъ отлично сознавалъ, что въ этомъ чувствѣ къ Маринѣ теперь чего-то недоставало, того именно, около чего витаетъ мечта; того, что не смѣеть ничего требовать, но всего ожидаетъ; того, что боится, что дрожитъ, что становится на колѣни, что говоритъ любимой женщинѣ: „у твоихъ ногъ“; что изъ вожделѣнной любви создаетъ какой-то культь, полный благоговѣнія, придающій отношеніямъ мужчины къ женщинѣ какой-то мистической оттѣновъ и обращающій мужчину не только въ любовника, но и въ идолопоклонника. Это прошло. Поланецкій, думая теперь о Маринѣ, думалъ о ней трезво, почти грубо. Онъ чувствовалъ, что онъ, когда ему вздумается, можетъ придти, взять ее и обладать ею и что если онъ это сдѣлаетъ, то лишь по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что онъ чувствуетъ къ Маринѣ больше влеченія, чѣмъ ко всѣмъ другимъ женщинамъ, а во-вторыхъ, потому, что разсудокъ диктуетъ ему, что пора жениться и жениться непремѣнно на ней.

„Потому что она—думалъ онъ—все-таки, такая хорошая, такая спокойная. Въ ней ничто еще не выдохлось, ничто еще не высохло. Эгоизмъ еще не изсушилъ въ ней сердца и, безспорно, она ужъ не будетъ думать только о себѣ и о томъ, что интересуетъ одну лишь ее. Это воплощенное благородство, воплощенный долгъ—и, пожалуй, въ жизни придется заботиться о томъ, чтобы она, посвящая себя другому, не забывала и о себѣ. Коль скоро разсудокъ говорить мнѣ, что я долженъ жениться, то я, право, сдѣлалъ бы непростительную глупость, если бы вздумалъ искать другую...“

Потомъ онъ задалъ себѣ вопросъ: не будетъ-ли съ его стороны просто неблагородно, если онъ откажется отъ Марини. Литка соединила ихъ. И при одной мысли о сопротивленіи волѣ и жертвѣ, принесенной этимъ дорогимъ ребенкомъ, что-то заговорило въ немъ и запротестовало. Но если бы онъ даже рѣшилъ пойти на перекорь ся волѣ, то имѣлъ ли онъ право поступать такъ, какъ поступалъ? О, нѣтъ. Тогда ему, со смерти Литки не слѣдовало-бы бывать у Плавицкихъ, не слѣдовало-бы видаться съ Мариной и цѣловать у нея ручки, не слѣдовало-бы поддаваться той волнѣ, которая унесла его,—быть можетъ, силой обстоятельствъ,—но все-таки унесла такъ далеко, что теперь, отступая, онъ поступилъ-бы крайне несправедливо по отношенію къ Маринѣ и упаль-бы въ ея глазахъ очень низко, до степени человѣка, который самъ не знаетъ, чего хочетъ. Вѣдь

нужно быть слѣпымъ, чтобы не видѣть, что Марина считаетъ себя его нѣвѣстой и что если она до сихъ поръ спокойно относится къ его молчанию, то лишь благодаря тому, что приписываетъ это трауру, который они оба въ глубинѣ своихъ сердецъ носятъ по Лятеѣ.

— И такъ — почти вслухъ произнесъ Поланецкій — разсудокъ говоритъ мнѣ, что я долженъ на ней жениться, мой инстинктъ само-сохраненія, чувство благоразумія и порядочности говорятъ тоже самое! Такъ въ чёмъ же дѣло? А дѣло въ томъ, что я быль бы тряпкой и ничтожествомъ, если бы я стала хотя еще одну минуту колебаться и не считалъ бы это дѣло решеннымъ. Рѣшено, значитъ, и подписано.

Потомъ онъ вздохнулъ и еще быстрѣе зашагалъ по комнатѣ. Подъ лампой лежало письмо Букацкаго. Поланецкій взялъ его и сталъ перечитывать то мѣсто, на которомъ случайно остановились его глаза:

„Прошу тебя ради всего: не женись. Помни, если ты женишься, если ты будешь имѣть сына, если ты всю жизнь свою будешь трудиться, чтобы оставить ему кругленькое состояніе, то ты это сдѣлаешь исключительно для того, чтобы твой сынъ быль точно такой же, какъ и я...“

— А вотъ увидишь, шутъ ты гороховый — отвѣтилъ Поланецкій не безъ нѣкотораго упорства, — я женюсь, — и женюсь на Маринѣ Плавицкой; слышишь ли, я непремѣнно буду трудиться, чтобы составить себѣ состояніе и если я буду имѣть сына, то не сдѣлаю изъ него декадента — понимаешь ли?

И онъ быль доволенъ собой.

Потомъ онъ снова посмотрѣлъ на Литку и имъ овладѣло вдругъ сильное волненіе. Чувство жалости и сожалѣнія о ней, съ какой-то новой силой, волной поднялось въ его сердцѣ. Онъ сталъ разговаривать съ ребенкомъ, какъ обыкновенно въ трудныя минуты жизни обращаются къ дорогимъ покойникамъ:

— Котикъ теперь доволенъ? не правда ли? — спрашивалъ онъ.

А она улыбалась ему, окруженнная березами, нарисованными Мариной. Казалось, она моргаетъ своими глазками и отвѣчаетъ:

— Да, панъ Стакхъ! Да!..

У Поланецкаго на глазахъ навернулись слезы.

Въ тотъ же вечеръ, раньше чѣмъ отправиться спать, онъ потребовалъ отъ лакея письмо къ Маринѣ, предназначеннное къ отсыльѣ на другой день утромъ, разорвалъ его и написалъ другое, еще болѣе дружеское, въ слѣдующихъ словахъ:

„Гонтовскій наскандалилъ въ квартирѣ Машко совершенно нелѣпо, слѣдствиемъ чего была дуэль. Машко легко раненъ. Противникъ извилился предъ нимъ у барьера. Другихъ послѣдствій не будетъ, развѣ

только то, что я еще разъ убѣдился, насколько вы добры, внимательны, насколько вы лучше всѣхъ, и что завтра, если позволите, приду раз-
цаловать съ благодарностью ваши милыя, дорогія ручки. Приду по-
полудни, потому что утромъ миѣ нужно побывать у Краславскихъ,
а потомъ заѣду попрощаться съ Васковскими, хотя, признаюсь, охотно
бы началъ завтрашній день не съ нихъ. *Поланецкій*".

Написавъ письмо, онъ посмотрѣлъ на часы и, хотя ужъ пробило
одиннадцать, приказалъ отнести его не на другой день, а сейчасъ.

— Ты пойди чрезъ кухню,—сказалъ онъ лакею,—если барышня
ужъ спитъ, то передай письмо горничной.

Потомъ, оставшись одинъ, онъ обратился къ Маринѣ съ слѣдую-
щей рѣчью:

— Ты была бы очень не догадлива, если бы не догадалась, зачѣмъ
я завтра приду...

(Продолженіе слѣдуетъ).

МАТЕРИНСКОЕ ЧУВСТВО ЖИВОТНЫХЪ И ЧЕЛОВѢКА.

Материнская любовь, говорить, лежитъ въ основѣ семьи; семья въ свою очередь лежитъ въ основѣ общественности; наконецъ, общественность — въ основѣ культуры. Понятна отсюда вся важность вопросовъ о происхождѣніи материнского чувства и его психической природѣ.

Эволюціонная теорія, составляющая базисъ современаго естествознанія, какъ извѣстно, производить нравственную природу и умственные способности человѣка — путемъ постепенныхъ измѣненій и развитія — отъ низшихъ животныхъ. Вся аргументація Дарвина, хотя, можетъ быть, никогда ясно не формулированная, сводится къ заключенію, что особенности человѣка — нравственные, умственные и духовные — произошли отъ нихъrudimenta у низшихъ животныхъ тѣмъ же путемъ и дѣйствиемъ того же общаго закона, какимъ произошла его физическая структура.

Въ частности о материнскомъ чувствѣ Дарвинъ (словами Вьюэлля) говоритъ слѣдующее: «можетъ ли тотъ, кто читалъ трогательные примѣры материнской любви, разсказываемые такъ часто про женщинъ всѣхъ націй и про самокъ всѣхъ животныхъ, сомнѣваться, что основанія этихъ поступковъ тождественны въ обоихъ случаяхъ?»¹⁾.

«Что же касается источника родительской и дѣтской любви», читаемъ мы въ другомъ мѣстѣ (Прил. Ibid. стр. 85), «лежащей очевидно въ основѣ общественныхъ привязанностей, то всѣ наши умозрѣнія бесполезны; мы можемъ только принять, что эти чувства развились въ значительной степени путемъ естественнаго подбора».

Эти идеи, какъ мы увидимъ, далеко не доказанныя²⁾ даже въ такихъ условныхъ предѣлахъ, въ какихъ онѣ высказывались Дарвіномъ, послу-

¹⁾ Происхожденіе человѣка. Переводъ подъ редакц. Сѣченова. 1871 г. Стр. 38 и 39.

²⁾ Уэллесь въ своей постѣдней работѣ «Darwinism applied to man», напримѣръ, прямо утверждаетъ, что идея Дарвина о происхождѣніи нравственныхъ и духовныхъ способностей человѣка отъ нихъrudimenta у низшихъ животныхъ путемъ того же процесса, которымъ развилась его физическая структура, стоитъ въ противорѣчіи со многими хорошо проverifiedными фактами (стр. 461).

жили исходнымъ пунктомъ для цѣлаго ряда изслѣдованій авторовъ, придавшихъ имъ гораздо болѣе широкое значеніе и такой смыслъ, отъ кото-
раго онъ потеряли значительную долю своей цѣнности.

Эспинасъ, особенно тщательно разработавшій этотъ вопросъ и посвя-
тившій ему нѣсколько главъ своей книги «Соціальная жизнь живот-
ныхъ», является яркимъ представителемъ ученыхъ сказанного направле-
нія, и потому на немъ мы остановимъ особенное вниманіе.

Одинъ изъ основныхъ тезисовъ его работы заключается въ томъ,
что «мы должны начинать изученіе материнскаго чувства съ низшихъ
ступеней зоологической лѣстницы, т. е. съ существъ, лишенныхъ мысли-
тельной способности, или по крайней мѣрѣ такихъ, у которыхъ присут-
ствіе ея весьма сомнительно — съ беспозвоночныхъ, самыхъ несовершен-
ныхъ въ смыслѣ организаціи»; «что только одинъ этотъ путь рѣшенія
вопроса и можетъ быть признанъ научнымъ».

Такъ какъ *причина* материнской любви у высшихъ (млекопитаю-
щихъ) животныхъ имѣетъ объясненія, изъ коихъ нѣкоторыя предста-
вляются въ значительной степени вѣроятными, то задача сводится, во
1-хъ, къ тому, чтобы выяснить *причины* материнскаго чувства низшихъ
животныхъ, во 2-хъ, чтобы показать, какимъ образомъ, однажды явив-
шись, чувство это все больше и больше осложнялось, пока наконецъ
не достигло того, что мы видимъ у человѣка.

Стремленіе Эспинаса во что бы то ни стало *вывести* материнское
чувство человѣка путемъ эволюціи этого чувства отъ низшихъ живот-
ныхъ ставить его въ необходимость разыскать такія причины его у этихъ
послѣднихъ, которыя могли бы служить хотя бы намекомъ на лежащія
въ основе материнской любви высшихъ млекопитающихъ животныхъ.
Но какими нитями связать, напримѣръ, материнскую любовь насѣко-
мыхъ съ тѣмъ же чувствомъ человѣка, когда яйцо у нихъ переживаетъ
мъть, которая сама вышла изъ яйца, пережившаго ея родителей? Какъ
объяснить себѣ, что насѣкомое можетъ предвидѣть будущее по непрѣд-
ному прошедшему? или что оно можетъ узнавать самого себя въ суще-
ствахъ, имѣющихъ совершенно отличную отъ него форму и даже при
отсутствії въ немъ всякой живой формы (когда любовь направлена на
яйца)? или, наконецъ, какъ объяснить заботы матери о такихъ нуждахъ
дѣтенышей, о которыхъ она не имѣетъ никакого понятія? Очевиднымъ
казалось бы, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ причинами материнскаго
чувства, въ значительной степени отличающимися отъ тѣхъ, которыя
видимъ у человѣка и высшихъ животныхъ, — отличающимися и по сво-
ему происхожденію, и по своему характеру; что задача на той почвѣ,
на которой она дебатируется — неразрѣшима. «Но», говорятъ авторы,
«задача требуетъ настоятельнаго решенія» въ указанномъ смыслѣ,
безъ чего «соціология лишается своей основы»... (Эспинасъ, стр. 287) п

они приступают къ ея рѣшенію попыткой устраниТЬ противорѣчіЯ неустранимЫя. Условія существованія видовъ, говоритъ Эспинасъ, могли появиться позднѣе, чѣмъ появилась материнская любовь. Такъ наскѣкомЫя, напримѣРъ, не всегда могли проходить всѣ фазы превращеній (гусеница, куколка и взрослое животное), какъ проходятъ теперь, и такимъ образомъ могли сначала заготовлять своему потомству ту самую пищу, которой питаются сами, а потомъ сохранили привычку, не смотря на измѣненіе образа жизни.

Предположеніе это однако не объясняетъ того, какимъ же образомъ наскѣкомое выработало въ себѣ способность заботиться о яйцахъ, какъ о живыхъ существахъ. Для этого оказалось необходимымъ новое предположеніе о томъ, что наскѣкомые сначала были живородящими. Эта новая гипотеза рѣшила бы дѣло; на бѣду, однако, по заключенію самого автора ея, она встрѣчаетъ возраженіе въ самой эволюціонной теоріи! «Наскѣкомые», говоритъ онъ, «произошли отъ червей, а нѣкоторые кольчатые черви проявляютъ уже заботливость о яйцахъ». Словомъ, никакъ не выходитъ того, что нужно, и создать гипотезу, согласную съ фактами самыми нестрымыми разнохарактерными, оказывается совершенно невозможнымъ. И вотъ въ результатѣ многочисленныхъ предположеній и болѣе или менѣе остроумныхъ, хотя ни на чёмъ неоснованныхъ догадокъ, Эспинасъ — и не одинъ онъ — приходитъ къ слѣдующему неутѣшительному для него, но совершенно естественному, заключенію: «мы пытались», говоритъ онъ на стр. 337, «отыскать причину материнской любви у беспозвоночныхъ и должны были въ концѣ концовъ отказаться отъ своего намѣренія». Только напрасно онъ надѣется, что «другие психологи будутъ счастливѣе» относительно его изслѣдованія «въ томъ же духѣ»; можно съ увѣренностью сказать, что въ этомъ духѣ задача будетъ неразрѣшимой, кто-бы за нее ни брался. Ключъ къ рѣшенію ея лежитъ въ другомъ мѣстѣ.

Покончивъ такъ печально съ первой половиной задачи и не отыскавъ требуемыхъ причинъ, авторъ переходитъ къ другой: къ вопросу *о развитии и постоянномъ осложненіи материнского чувства въ животномъ царствѣ*.

Само собою разумѣется, что по смыслу задачи необходимо представить развитіе этого чувства такъ, чтобы оно шло параллельно съ усложненіемъ животныхъ существъ, чтобы по мѣрѣ того, какъ мы поднимаемся съ одной низшей зоологической ступени на слѣдующую высшую, материнская любовь становилась все болѣе и болѣе сложной и сильной.

Къ несчастію, и здѣсь факты никакъ не хотятъ укладываться въ требуемую рамку; этого мало: и здѣсь на каждомъ шагу встрѣчается непреодолимыя затрудненія.

Тогда остается одинъ выходъ: минуя факты, детальное выясненіе
Кн. 4. Отд. I.

которыхъ предоставается будущему, берутся просто «главныя проявленія материнской любви въ животномъ царствѣ», причемъ «раціональнымъ порядкомъ» очерка признается тотъ, «который вытекаетъ изъ возрастающей сложности этой функции» (стр. 288. Эспинасъ).

Сначала поэтому рассматриваются группы животныхъ, у которыхъ «мать относится безразлично къ откладываемымъ ею яйцамъ»; затѣмъ рассматриваются «различныя степени особенностей, вытекающихъ изъ болѣе и болѣе активной роли самки, которая, во-первыхъ, дѣлаетъ выборъ мѣста, благопріятствующаго вылупленію дѣтенышъ изъ яицъ, во-вторыхъ, выбираетъ помѣщеніе, удобное для ихъ сохраненія, въ-третьихъ, находитъ пѣлесообразныя средства для ихъ прикрепленія или зарыванія, въ-четвертыхъ, строить для нихъ особую защиту, въ-пятыхъ, кладетъ яйца вслѣдъ веществъ, способныхъ служить пищей для личинокъ или вылупившихся дѣтенышъ, доставляя имъ кормъ или въ обыкновенномъ видѣ, или-же въ видоизмѣненной формѣ», и т. д. «Поднимаясь все выше и выше, мы доходимъ, наконецъ, до появленія обществъ (у насѣкомыхъ), у которыхъ животная техника дѣлаетъ быстрые успѣхи и производить неожиданныя чудеса». «Въ самомъ дѣлѣ», говоритъ авторъ, «до сихъ поръ матеріалъ и орудія для своей защиты большинство низшихъ животныхъ заимствовало изъ веществъ своего собственнаго тѣла. Защита (например, коконовъ) была лишь продолженіемъ организма, изъ которого она исходила, точно также и орудія: напримеръ, тенета паука — являлись какъ бы распространениемъ животнаго, занимающаго его центръ. Напротивъ, если мы взглянемъ на продукты общественной техники, то увидимъ, что они построены изъ матеріаловъ, такъ сказать, постороннихъ составнымъ веществамъ рабочаго, и обрабатываемыхъ съ внѣшней стороны исключительно механическими средствами» (стр. 298, 299).

Такимъ образомъ получается длинный рядъ ступеней постепенного усложненія и развитія материнскаго чувства, какъ будто-бы дѣйствительно существующаго въ природѣ. Правда, фактовъ, подтверждающихъ такое его развитіе, не существуетъ; мало этого, часто они стоять въ совершенномъ противорѣчіи съ этой лѣстницей; но..., говорить намъ, съ одной стороны факты эти еще очень не полно изучены, а съ другой — «трудно допустить, чтобы логика вещей, столь согласная во многомъ съ логикой ума, отходила слишкомъ далеко отъ такого разумнаго плана и такой теоретически установленной послѣдовательности» (стр. 288).

Факты дѣйствительно изучены недостаточно полно и недостаточно хорошо и логика теоретическихъ разсужденій поэтому является тѣмъ болѣе заманчивой, что, какъ мы видѣли выше, сдѣлать желательные выводы изъ систематического изученія фактовъ оказалось безусловно невозможнымъ. Зато, «миновавъ препятствія въ систематическомъ матеріалѣ» и ограничившись «главными проявленіями материнской любви», мы съ

большею легкостью получаемъ возможность не только установить теоретически послѣдовательный рядъ усложненія и развитія материнскаго чувства, но даже подобрать для каждого проявленія и соотвѣтствующіе факты.

Нѣть ничего удивительного поэтому, что на этотъ разъ логика фактъ разошлась съ логикой ума; ближайшее изученіе дѣла тотчасъ же доказываетъ, что «разумный планъ» вовсе не совпадаетъ съ дѣйствительностью.

Факты эти, какъ мы сейчасъ увидимъ, подтверждаютъ, что материнская любовь въ предѣлахъ цѣлаго класса животныхъ без позвоночныхъ иногда не только можетъ не усложняться и не увеличиваться по мѣрѣ восходящаго развитія составляющихъ его группъ и семействъ, но можетъ систематически падать и, наконецъ, вовсе исчезать. Факты доказываютъ затѣмъ, что въ одномъ не только семействѣ, но даже и въ одномъ родѣ, могутъ быть весьма различно развиты степени материнского чувства; наконецъ, что постройки гнѣздъ изъ сторонняго материала вовсе не составляютъ признака животныхъ общественныхъ, а встречаются и у тѣхъ самыхъ пауковъ, между прочимъ, которые выставляются примѣрами животныхъ, не обладающихъ способностями къ такимъ постройкамъ, и т. д., и т. д. Словомъ, оказывается, что проявленія материнского чувства не представляютъ никакой восходящей лѣстницы усложненія и что эта лѣстница рушится при первомъ прикосновеніи съ фактами. Но обратимся къ этимъ послѣднимъ.

По свидѣтельству всѣхъ авторовъ—среди низшихъ (без позвоночныхъ) животныхъ—пауки (*Araneina*) представляютъ классъ, въ которомъ материнская любовь достигаетъ высшихъ предѣловъ. Классъ этотъ мы и возьмемъ для своего изслѣдованія.

Число фактъ, доказывающихъ высокое развитіе чувства, которое называется «материнскою любовью», у пауковъ—дѣйствительно огромно, и оставляя въ сторонѣ оцѣнку, дѣлаемую авторами этому чувству, не можетъ подлежать сомнѣнію. По свидѣтельству знаменитыхъ англійскихъ энтомологовъ Кэрби и Спенсъ, часто цитируемыхъ Дарвиномъ,—способность этихъ животныхъ питать инъянѣйшія чувства любви къ своимъ дѣтямъ по-истинѣ изумительна¹⁾.

Подтверждая сказанное, авторы рассказываютъ, между прочимъ, объ извѣстномъ опыте Боннета, который, чтобы испытать силу привязанности одного паука (*Lycosa*), бросилъ его вмѣстѣ съ кокономъ въ логово «муравьинаго льва». Животное это схватило коконъ, а вслѣдъ затѣмъ и самку-паука, которая не хотѣла оставить свою драгоценную ношу и предпочла погибнуть вмѣстѣ съ нею. чѣмъ спасти свою жизнь бѣгствомъ.

1) Кэрби и Спенсъ, перев. А. Мина, стр. 328—329.

Профессоръ Hentz, говоря о материнскомъ инстинкѣ *Lycosidae* вообще, отмѣчаетъ, что «матерь защищаетъ свое потомство до послѣдней крайности», и что «можно отрывать у нея ногу за ногой прежде, чѣмъ она оставитъ свое сокровище; такъ велика можетъ быть материнская любовь въ существахъ, безпощадныхъ къ своему собственному виду и даже къ полу, который даетъ жизнь ея потомству», заключаетъ авторъ.

Про *Dolomedes Albineus* разсказываютъ слѣдующій случай: самка была проткнута булавкой, потомъ посажена въ стеклянныи сосудъ, гдѣ рана скоро зажила. Черезъ три дня она сдѣлала коконъ и снесла яйца; она держала его постоянно въ челюстяхъ, но силы ея ослабли; рана открылась, кровь потекла свободно и самка постепенно теряла свои силы, но при всемъ этомъ она до послѣдней минуты жизни не выпускала кокона.

Этого мало. Я могу присоединить къ разсказамъ авторовъ еще одинъ интересный фактъ. Молодые паучки *Theridium pictum* въ неволѣ, при недостаткѣ корма, иногда открыто нападаютъ на свою мать и съѣдаютъ ее, хоть этой жертвѣ ничего не стоило-бы самой полакомиться крохотными созданиями, трусливыми и не осмѣливающимися нападать даже на мухъ, которыхъ мать умерщвляетъ прежде, чѣмъ дѣти примутся за эту добычу; а тутъ посмотрите, какъ смѣло взбирается крохотный голодный паучекъ на тѣло своей матери, не отступающей въ обычное время отъ борьбы съ пчелою и всегда остающейся побѣдительницей, какъ онъ пре-небрегаетъ слабымъ ея протестомъ, движеніями ея ногъ, которыми она хочетъ оттолкнуть нападеніе, и какъ въ концѣ концовъ вонзаетъ свои челюсти обреченной на смерть матери; милые ея сердцу дѣтки скоро обсыпаютъ ее какъ бисеромъ и высасываютъ безъ остатка. Дальше этого чувство материнской любви идти уже, разумѣется, не можетъ.

Все это — факты; ихъ число очень велико и всѣ они не подлежатъ сомнѣнію. Соответствуютъ-ли имъ однако дѣлаемыя изъ нихъ заключенія о тождествѣ природы материнской любви у беспозвоночныхъ и высшихъ животныхъ, хотя-бы въ ея основаніяхъ; даютъ-ли право эти факты утверждать, что материнская любовь животныхъ по мѣрѣ генетического развитія того или другого ихъ класса усиливается и проявленія ея дѣлаются болѣе сложными, какъ это полагаютъ авторы,— мы сейчасъ увидимъ.

Чтобы сдѣлать правильную оценку явленій такъ называемой материнской любви у пауковъ необходимо съ возможною полнотою выяснить:

1) характеръ этого чувства у особи, обладающей имъ въ высокой степени развитія, и

2) опредѣлить, путемъ сравнительного изученія представителей всѣхъ главнѣйшихъ семействъ хотя-бы одной нашей фауны — общий характеръ материнской любви у этого класса животныхъ въ его цѣломъ.

Обращаясь къ особи, начнемъ съ *Lycosa*, у которой материнское

чувство является очень развитымъ и на которую всегда ссылаются натуралисты, когда рѣчь заходитъ объ этомъ предметѣ. Чтобы сдѣлать надлежащую оценку интересующихъ насъ явлений, нельзя ограничиваться, какъ мы это сейчасъ увидимъ, только общими ихъ признаками, только выдающимися, прямо бросающимися въ глаза чертами этихъ явлений. Необходимо знать всѣ частности, изъ которыхъ слагается цѣлое, называемое материнскою любовью пауковъ, и безъ которыхъ истинное пониманіе природы этого чувства едва-ли возможно.

Отмѣтимъ главнѣйшія изъ такихъ частностей; главное, бросающееся въ глаза, т. е. заботу о коконѣ, самоотверженную защиту его, и т. п. мы уже видѣли.

Оказывается прежде всего, что у *Lycosa* (а равно и у всѣхъ другихъ пауковъ, сколько я это знаю) *сила материнской любви далеко не одинакова за весь периодъ времени выхаживания молоди*. Вездѣ мы видимъ, что *сначала* эта любовь бываетъ, относительно говоря, очень слабою. Самка тарантула, напримѣръ, отложивъ яйца на основную пластинку кокона неудачно (я наблюдалъ это въ неволѣ), такъ что они съ нея сливались внизъ, «мало подумавъ», преправно ихъ съѣдаетъ. Ея «горе», въ случаѣ похищенія у нея кокона вначалѣ,— слабѣе и кратковременнѣе, чѣмъ нѣсколько дней спустя. По мѣрѣ же того, какъ приближается время выхода молодыхъ изъ яичекъ, *сила материнской любви, направленная не на одушевленный предметъ, а на коконъ, становится все большею и большею*. Ко времени выхода молоди чувство это достигаетъ своего кульминаціоннаго пункта, но съ этого же момента начинается и его пониженіе. Чѣмъ болѣе подрастаетъ молодь, тѣмъ индифферентнѣе относится къ нимъ самка, а къ тому времени, когда молодые достигаютъ возраста, въ который могутъ производить самостоятельную охоту,— материнская любовь исчезаетъ совсѣмъ.

Изучая внимательно всѣ градации этого чувства и его постепенного исчезновенія, не знаешь иногда, чему удивляться — биологической-ли цѣлесообразности самого факта, или изумительной точности соотвѣтствія между сплою такъ называемаго материнского чувства съ одной стороны и потребностью въ этомъ чувствѣ потомства — съ другой для каждого данного периода времени.

Это строгое соотвѣтствіе можетъ быть формулировано такъ: паукъ особъ проявлять свою любовь тѣмъ спѣнѣе, чѣмъ значеніе кокона въ интересахъ вида больше; а значеніе это становится болѣшимъ съ каждымъ днемъ развитія молоди, ибо съ каждымъ днемъ шансы на успѣшное развитіе потомства увеличиваются.

Въ самомъ дѣлѣ, принимая (конечно приблизительно), что число ежедневныхъ опасностей отъ враговъ (у кокона — своихъ специальныхъ) равняется 10, мы для пятнадцатидневнаго периода (приблизительно), потреб-

наго для развитія молоды въ яйцѣ, будемъ имѣть для кокона въ первый день его существованія 150 опасностей. Цѣнность такого кокона для интересовъ вида почти въ 150 разъ меныше, чѣмъ та, которую имѣеть коконъ, счастливо избѣжавшій опасности до 15 днія развитія. Отмѣченный фактъ проявленъ на множествѣ формъ. У всѣхъ тѣхъ пауковъ, за которыми можно хотя съ нѣкоторыми оговорками признать существованіе материнскаго чувства, процессъ этотъ остается неизмѣнно одинаковымъ и я, не боясь преувеличенія, считаю возможнымъ признать значеніе факта огромнымъ въ вопросѣ объ оцѣнкѣ истинной природы рассматриваемыхъ явлений.

Другая, не менѣе характерная и не менѣе важная подробность материнской любви у пауковъ заключается въ томъ, что она продолжается въ теченіе строго опредѣленнаго періода времени, съ истечениемъ котораго исчезаетъ безъ всякой связи и зависимости отъ состоянія объекта любви. Вотъ фактъ, доказывающій справедливость сказаннаго. Отнимемъ коконъ, напримѣръ, у тарантула на 7-й и 8-й день послѣ того, какъ онъ имѣть быть сдѣланъ, и будемъ наблюдать. Тарантуль — этотъ образецъ чадолюбія, повергается въ страшное беспокойство; съ необыкновенною тщательностью и энергией начинаетъ онъ обыскивать все свое помѣщеніе, перерываетъ всю землю около своей норы, и успокаивается, т. е. оставляетъ поиски, лишь окончательно потерявъ силы. Дотрогивайтесь до него въ это время пальцами, толкайте съ мѣста — онъ или остается безъ движенія, или еле ступая, сдѣлаетъ два-три шага, чтобы снова остановиться. Возвратите коконъ и онъ бросится на него съ горячностью, которая не оставляетъ сомнѣнія въ интенсивности руководящаго имъ чувства. Этого мало. Потребность носить въ это время коконъ такъ велика, что пауки легко поддаются обману, и тѣмъ легче, чѣмъ ближе къ моменту наивысшаго развитія материнскаго чувства совершаются эксперименты. Дайте самкѣ *Theridium pictum* втрое большій коконъ *Theridium lineatum* — и паукъ помѣщаетъ его къ себѣ въ гнѣздо; дайте два такихъ кокона и онъ сдѣлаетъ то же; онъ соберетъ ихъ въ цѣлую кучу и будетъ охранять съ одинаковою заботливостью опредѣленный періодъ времени.

Вложите въ коконъ *Lycosae* вмѣсто яицъ дробинку, какъ это дѣлали г. и г-жа Pekham, причемъ вѣсь кокона сдѣлается втрое болѣшимъ, и дайте его пауку — онъ тотчасъ же схватываетъ коконъ и послѣ болѣшихъ трудовъ прикрѣпляетъ его къ прядильнымъ органамъ. Подложите вмѣсто коконовъ похожіе на нихъ предметы и пауки сем. *Lycosidae* легко вводятся въ обманъ. Названные авторы описываютъ при этомъ одинъ, очень — на мой взглядъ — интересный фактъ, а именно: пауку, у котораго былъ отнятъ коконъ, были предложены одновременно шарики изъ хлопчатой бумаги и изъ сердцевины пера; самка, подойдя съ одной стороны, сперва

тронула послѣдній и тотчасъ схватила его челюстями, но, удаляясь, за-тронула ногой и первый, остановилась, постояла минуту или двѣ, потомъ бросила взятый сначала шарикъ, схватила хлопчато-бумажный и унесла его. На завтра повторили тотъ же опытъ. Случилось, что опять попался ей прежде всего шарикъ изъ сердцевины пера; она схватила и уѣжала съ нимъ и только по прошествіи довольно долгаго времени удалось подложить передъ ней настоящій коконъ; тронувъ его ногами, она остановилась надъ нимъ и черезъ нѣсколько минутъ бросила сердцевинный шарикъ и взяла свой коконъ.

Пзъ этихъ опытовъ слѣдуетъ, что пауки рода *Lycosa* неспособны помошью осозанія отличать предметы, но что потребность въ извѣстное время носить нечто на прылкахъ такъ велика, что они при невозможности сдѣлать выборъ, хватаютъ сколько-нибудь подходящее и, удовлетворивъ органическому требованію данного периода времени, успокаиваются даже если имъ приходится таскать дробинку. Но время идетъ; пзъ кокона выходятъ молодые паучки и любовь матери становится все меньшо и меньшо, пока наконецъ не исчезаетъ совсѣмъ. И вотъ что изумительно и характерно: периодъ времени, обнимающій всю гамму сначала восходящаго, а потомъ исходящаго чувства материнской любви у паука, стоять, какъ было сказано, вѣнѣ зависимости и связи съ тѣми измѣненіями, которыя претерпѣваетъ развивающееся молодое поколѣніе.

Объясню это фактами, строго и много разъ проверенными. Возьмемъ паука рода *Lycosa*, который носить свой коконъ, положимъ, отъ 12 до 15 дней. Къ концу этого срока материнское чувство достигаетъ своего кульминаціоннаго пункта; къ этому же времени, при нормальныхъ условіяхъ развитія, изъ кокона выходятъ молодые; самка бросаетъ пустой коконъ и переносить свои чувства на молодыхъ паучковъ.

Далеко не всѣ коконы, однако, достигаютъ благополучнаго развитія; содержимое многихъ изъ нихъ уничтожается паразитами. Какъ же поступаютъ пауки въ такомъ случаѣ? Они носятъ опустѣвшій до истеченія обычнаго периода времени (до 15 дней) коконъ и затѣмъ бросаютъ его, никогда не изслѣдовавъ его содержимаго.

Разсуждая по аналогіи съ тѣмъ, что мы видимъ у человѣка, все въ описанномъ явленіи совершенно ясно: паукъ носить коконъ, ожидая выхода молоди; онъ знаетъ приблизительно срокъ ея выхода, знаетъ, что иногда могутъ быть несчастныя случайности, вслѣдствіе которыхъ молодые паучки не развиваются, и потому проносивши коконъ соответствующій периодъ времени, бросаетъ его, *увѣренный*, что изъ такого кокона ничего уже не выйдетъ.

Разсуждая такимъ образомъ—явленія эти конечно совершенно ясны. Болѣе тщательное изученіе ихъ однако тотчасъ же выдвигаетъ на очередь факты, которые дѣлаютъ такую ясность все меньшо и меньшо, пока, нако-

нецъ, она не окажется сплошною ошибкою съ антропоморфизмомъ довольно грубаго свойства въ ея основаніи. Чтобы долго не останавливаться на этомъ предметѣ, скажу лишь, что пауки сем. Lycosidae, о которыхъ идеть рѣчь (а равно и всѣ другіе) знать времени выхода молоды безусловно *не могутъ: самки не имѣютъ никакого понятія даже о содержимомъ своихъ коконовъ.* Въ самомъ дѣлѣ, случается иногда, что вслѣдствіе какихъ-либо патологическихъ причинъ, разумѣется, — паукъ, приготовивъ часть кокона, которая необходима къ моменту кладки яицъ, таковыхъ не откладываетъ, а посидѣвъ въ той позѣ, въ которой они откладываются, столько времени, сколько согласно инстинкту это требуется, продолжаетъ свою обычную, слѣдующую по времени работу, т. е. завершаетъ, задѣлываетъ этотъ коконъ до конца. Я наблюдалъ такія явленія на свободѣ у тарантуловъ; самка относилась къ *пустому кокону* совершенно также, какъ къ нормальному: носила его, берегла, не разставалась съ нимъ и сила ея материнской любви текла, развиваясь и понижаясь, какъ всегда течетъ въ періодъ гнѣздовья.

Аналогичные случаи наблюдались многими арахнологами.

Такимъ образомъ, пониженіе и повышеніе материнскаго чувства паука совершается безъ всякаго отношенія къ дѣйствительному состоянію того объекта, на который это чувство направлено, и происходит исключительно въ зависимости отъ того значенія, которое эта «любовь» имѣеть для интересовъ «вида», причемъ допустить сознательное представленіе о такомъ значеніи у животнаго, которое производить свои дѣйствія одинаково совершенно, какъ въ первый, такъ и въ послѣдующіе раза—независимо отъ наученія и опыта — разумѣется невозможно.

Общее впечатлѣніе, производимое подъемомъ и понижениемъ материнскаго чувства пауковъ, напоминаетъ то, которое получается при наблюденіи за волною: она поднялась, вспѣнилась на своемъ гребнѣ и исчезла, строго удерживая для каждого момента соответствующій періодъ времени—есть подъ ней песчаное дно или этого дна вовсе не видно, несетъ она на себѣ бревно, подвижную беспокойную чайку или покончившій житейскіе счеты трупъ — все равно. Самка паука совершаєтъ свои процессы сама по себѣ, ея поколѣніе—само по себѣ. Они связаны чисто формально и лишь въ теченіе опредѣленного періода времени, который у взрослой особи опредѣляется совокупностью опредѣленныхъ инстинктовъ въ связи съ группою опредѣленныхъ же вѣнчанихъ импульсовъ.

Нормально совершаются тѣ физіологические и біологические процессы, изъ которыхъ часть предшествуетъ, а другая сопровождаетъ развитіе молоды—и дѣятельность самки представляется изумительно цѣлесообразной и совершенно аналогичной дѣятельности человѣка и высшихъ животныхъ; не нормально—и всѣ эти дѣйствія представляютъ рядъ «бесмысленныхъ актовъ», которые неукоснительно продѣлываются самкой въ однажды

установленномъ порядкѣ и послѣдовательности, и которые въ сущности совершенно такъ-же «осмыслены», какъ и тѣ, которые намъ таковыми кажутся.

Отъ сдѣланной характеристики материнского чувства *особи* перейдемъ къ характеристикѣ этого чувства у класса пауковъ въ его цѣломъ. Первое, что мы узнаемъ здѣсь и что нѣсколько расходится съ представлѣніемъ о материнскомъ инстинкѣ, какъ о чёмъ-то общераспространенномъ — это то, что у нѣкоторыхъ пауковъ такого чувства не наблюдается вовсе.

Правда, самка въ определенное время съ чрезвычайнымъ тщаніемъ принимается за устройство иногда очень сложного помѣщенія для своего будущаго потомства, но потомства этого она уже никогда не видѣть; этого мало: въ случаѣ нечаянной встрѣчи съ однимъ изъ его членовъ неизбѣжно нападаетъ на него и съѣдаетъ, какъ обыкновенную добычу...

Между этою группою пауковъ и тѣми изъ нихъ, которые беззавѣтно отдаютъ себя заботамъ о своемъ потомствѣ, ухаживаютъ за нимъ и умираютъ, защищая его — цѣлая бездна. Какъ и вездѣ въ природѣ, однако, крайняя группы явленій не стоятъ изолированными, а связываются между собою длиннымъ рядомъ промежуточныхъ переходныхъ формъ.

Изучая эти формы, изучая вмѣстѣ съ тѣмъ и ту сторону ихъ индустріи, которая стоить въ связи съ материнскимъ инстинктомъ, т. е. тѣ постройки, которыя дѣлаются пауками съ цѣлями охранять свое молодое потомство и выхаживать въ первые дни его жизни, — мы получимъ возможность не только воспроизвести самыя характерныя черты материнского чувства этихъ животныхъ, но и подойти къ выясненію вопроса о томъ, почему-же чувство это оказывается неодинаково развитымъ въ предѣлахъ класса, иногда семейства и даже рода; другими словами, подойти къ решенію вопроса о *причинѣ* материнского чувства у этихъ животныхъ. Индустрія пауковъ, изученная путемъ сравнительного метода, развертываетъ передъ нами нижеслѣдующую картину.

Входящія въ составъ этого класса животныхъ составляютъ генетически связанные другъ съ другомъ ряды формъ, въ которыхъ могутъ быть указаны какъ исходныя, такъ и конечныя звенья. Строительный инстинктъ представителей каждого изъ этихъ звеньевъ цѣли Aganepina далеко не одинаковъ. Формы первичныя (Scytodidae, Pholcidae) надѣлены очень несовершеннымъ строительнымъ инстинктомъ. Чѣмъ дальше отстоитъ данное звено или данная форма цѣли отъ ея исходнаго пункта, тѣмъ индустрія ея выше. Другими словами, пауки — по мѣрѣ своего генетического развитія — вырабатываютъ все болѣе и болѣе совершенные строительные инстинкты. Эволюція этихъ послѣднихъ совершается въ двухъ направлениихъ: одна группа пауковъ совершенствуетъ гнѣздо, т. е. такую постройку, которая служитъ для помѣщенія кокона и паука вмѣстѣ; друг-

гая совершенствуетъ одинъ коконъ, т. е. постройку, предназначающую специально для охраны только будущаго потомства; эта послѣдняя группа пауковъ не устраиваетъ гнѣзда вовсе.

Посмотримъ теперь, въ какомъ отношеніи стоитъ чувство такъ называемой материнской любви къ только что указанному прогрессу въ индустріи; остается-ли оно неизмѣннымъ, какъ нѣчто самостоятельное и всѣмъ этимъ животнымъ присущее чувство, или оно подвергается колебавіямъ и ничего самостоятельного не представляется?

Факты насытъ учать, что эта любовь является наиболѣе развитою тамъ, где уходъ матери за ея потомствомъ необходимъ, т. е. тамъ, где постройка кокона несовершена, где отсутствие гнѣзда или иныхъ способовъ защиты потомства влечетъ за собою почти неизбѣжную его гибель, если самка хотя-бы на самый короткій срокъ оставила его на произволъ судьбы.

Таковы, напримѣръ, Pholcidae, пауки, таскающіе за собою свои жалкие коконы, нити которыхъ даже не прикрываютъ яицъ: таковы Lycosidae, вслѣдствіе своего бродячаго образа жизни таскающіе съ собою свои коконы, хотя и очень хорошо устроенные, но которые вслѣдствіе особенностей ихъ архитектуры дѣлаютъ непрерывныя заботы и уходъ за ними неизбѣжными, и т. д.

Здѣсь именно, въ этихъ группахъ пауковъ и ихъ ближайшихъ родичей, черпаются авторами тѣ факты, которые служить основаніемъ для рассказовъ о поразительной материнской любви пауковъ. И факты эти, какъ мы видѣли, дѣйствительно поразительны.

Сила материнской любви такимъ образомъ достигаетъ наиболѣшаго развитія у исходныхъ пунктовъ генетическихъ рядовъ класса, т. е. у пауковъ, носящихъ съ собою свои коконы и не разстающихся съ ними ни на минуту.

Чѣмъ дальше отъ этихъ исходныхъ пунктовъ стоитъ данная форма, чѣмъ совершеніе становится архитектура ихъ построекъ, тѣмъ слабѣе и слабѣе становится заботы матери о потомствѣ и любовь ея къ дѣтямъ.

Наконецъ, наступаетъ моментъ, когда совершенство строительныхъ инстинктовъ достигаетъ такой высоты, при которой цѣлостность потомства гарантируется защищающимъ его гнѣздомъ или кокономъ безъ особыхъ о немъ хлопотъ самки.

Что-же дѣлается съ «материнскою любовью» въ такомъ случаѣ?

Увы! она уже не понижается, а вовсе исчезаетъ, если образъ жизни паука можетъ стѣсняться какими-нибудь, хотя-бы минимальными, заботами о потомствѣ.

Такимъ образомъ развитіе строительныхъ инстинктовъ у пауковъ стоитъ въ обратно-пропорціональномъ отношеніи къ силѣ материнской

любви: чѣмъ выше и сложнѣе эти инстинкты, тѣмъ слабѣе и проще заботы матери о потомствѣ.

Материнская любовь всегда на лицо, когда архитектура построекъ и другія биологическая условия одни, безъ ея содѣйствія не гарантируютъ цѣлостности вида; но лишь только самка получаетъ возможность сложить съ себѣ эти заботы — она оставляетъ свое потомство въ тотъ-же часъ какъ отстроила для нихъ помѣщеніе. Другими словами, материнская любовь, разсматриваемая у класса пауковъ въ его цѣломъ, представляеть признакъ совершенно аналогичный многимъ морфологическимъ признакамъ, которые по мѣрѣ надобности то находятся въ наличности, то исчезаютъ. Подобно тому какъ нѣкоторыя аспидіи, напримѣръ, теряютъ свой хвостъ, когда онъ имъ становится ненужнымъ, паразитические раки — свои органы пищеваренія; а съ другой стороны нѣкоторые черви въ извѣстный періодъ жизни получаютъ особенно развитые глаза, олени — рога, которые потомъ отпадаютъ, и т. д., и т. д. — точно также материнская любовь паука, представляя простой видовой признакъ, закрѣпляется подборомъ за каждою данною формою лишь въ такой мырѣ и въ такомъ случаѣ, идѣ и сколько онъ можетъ быть полезенъ виду въ его борьбѣ за существование. Этого мало: материнская любовь не только исчезаетъ тогда, когда особь найдетъ возможнѣе сложить свои заботы на усовершенствованную архитектуру кокона, но къ этому усовершенствованію съ цѣлью освободить себя отъ заботъ о потомствѣ (если онъ сколько-нибудь стѣснительны) направлена вся совокупность эволюціоннаго процесса строительныхъ инстинктовъ.

Материнское чувство, которымъ разные представители пауковъ надѣлены въ такой точно степени, въ какой это необходимо для интересовъ вида, т. е. чего-то, о чёмъ животное не имѣеть и не можетъ имѣть никакого понятія, — чувство, которое зачинается, растетъ, достигаетъ пахітизма и падаетъ независимо и безъ всякой связи съ состояніемъ развитія объекта, на который направлено, и наконецъ — что всего важнѣе — чувство, отъ которого классъ животныхъ въ цѣломъ его составѣ стремится эмансирироваться всякий разъ, когда оно можетъ стѣснить индивидуальную свободу и обычный образъ жизни, — чувство это не можетъ имѣть въ своей основѣ факторовъ, тождественныхъ тѣмъ, которые мы видимъ въ материнской любви высшихъ животныхъ и человѣка. Этими фактами у без позвоночныхъ животныхъ является только естественный подборъ, удѣрживающій за видомъ его полезные признаки; здѣсь источникъ материнской любви есть не болѣе какъ прокинувшіяся особья повадки, удѣржанныя подборомъ въ связи съ тѣми или другими предшествующими или сопровождающими ихъ явленіями — и только.

Но можетъ быть пауки составляютъ исключеніе? Можетъ быть въ другихъ группахъ мы найдемъ такие факты, которые дадутъ основаніе для иного решенія поставленныхъ вопросовъ?

Хотя ни одинъ изъ классовъ беспозвоночныхъ животныхъ съ биологической точки зрѣнія (сколько я знаю) не былъ изученъ сравнительнымъ методомъ и потому въ литературѣ предмета, собственно въ объясненіи тѣхъ или другихъ фактовъ можно встрѣтить цѣлый рядъ мнѣній, другъ друга исключающихъ, тѣмъ не менѣе однако есть данныхъ, которыхъ значеніе такъ очевидно, что разногласіе въ толкованіи ихъ едва ли возможно, и факты эти не только не расходятся съ тѣми выводами, которые мною сдѣланы изъ систематического изученія класса пауковъ, но вполнѣ ихъ подтверждаютъ.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ жуковъ нашей фауны, напримѣръ. Какой изъ нихъ является наиболѣе поразительный примѣръ материнской любви? Безспорно—такъ называемая божья коровка.

Сдѣлавши себѣ на вѣткѣ березы небольшой плоскій коконъ, самка помѣщается на немъ, обхватывая его ногами, и сидитъ до выхода изъ яицъ личинокъ, не принимая пищи, не двигаясь съ места и не покидая его даже въ томъ случаѣ, если ее бросятъ съ нимъ въ спиртъ. Дѣлался, напримѣръ такой опытъ. Срѣзалась вѣтка, на которой помѣщалась самка съ кокономъ, и погружалась въ спиртъ такимъ образомъ, что туловище самки находилось въ спирту, голова же и грудь оставались не погруженными. Насѣкомому нужно было сдѣлать лишь нѣсколько шаговъ вверхъ по вѣткѣ (что оно и продѣлываетъ всегда весьма быстро, если не имѣть кокона), чтобы спасти свою жизнь; но божья коровка не оставляла кокона и, разумѣется, гибла, судорожно обхватывая свою драгоценность ногами. Животное гибнетъ въ виду свободы и самой легкой возможности сохранить свою жизнь!

Рядомъ съ такимъ изумительнымъ самоотверженіемъ, очень напоминающимъ описанный нами выше примѣръ «материнской любви» нѣкоторыхъ пауковъ, существуютъ жуки—и ихъ очень много,—которые, отложивъ свои яички въ место, служащія для нихъ даже мало надежной гарантіей цѣлости, оставляютъ ихъ на произволъ судьбы.

Всѣ данные, известныя намъ по этому вопросу изъ изученія насѣкомыхъ, въ главнѣйшихъ чертахъ подтверждаютъ вышеизложенія заключенія, добытыя нами изъ изученія класса пауковъ. Вся разница въ томъ лишь, что у насѣкомыхъ различная степень развитія материнского чувства не стоптъ, повидимому, ни въ какихъ отношеніяхъ къ филогенезису, представляя безконечное разнообразіе въ предѣлахъ и большихъ, и малыхъ таксаномическихъ единицъ класса.

Данныя, добытыя изъ изученія другихъ группъ беспозвоночныхъ животныхъ, поскольку они известны, въ основныхъ чертахъ подтверждаютъ сдѣленные выводы, и мы получаемъ вслѣдствіе этого основаніе утверждать, что идея объ эволюціи материнского чувства (а вѣроятно и многихъ другихъ способностей) у высшихъ позвоночныхъ животныхъ изъ

соответствующихъ и сходныхъ по некоторымъ внешнимъ признакамъ явлений у животныхъ без позвоночныхъ должна быть оставлена: идея эта всякий разъ тѣмъ больше расходится съ фактами, чѣмъ полнѣе и тщательнѣе они изучены. Но если причины материнской любви у без позвоночныхъ и позвоночныхъ животныхъ различны, и потому у послѣднихъ онѣ не могутъ быть выведены эволюціоннымъ порядкомъ изъ первыхъ, то нельзя ли допустить по крайней мѣрѣ общность этихъ причинъ въ классѣ позвоночныхъ животныхъ и здѣсь вывести материнскую любовь человѣка изъ соответствующаго чувства животныхъ, стоящихъ на низшей ступени этого зоологического отряда. Эспинасъ, въ числѣ многихъ другихъ авторовъ, полагаетъ, разумѣется, что можно. Аргументація почтенного автора и здѣсь однако грѣшитъ совершенно такими же настѣжками и на своемъ пути встрѣчаетъ такія же непреодолимыя препятствія, какъ и раньше.

Признавши за фактъ, что въ рыбахъ материнская любовь не можетъ быть доказана путемъ генезиса отъ без позвоночныхъ животныхъ, Эспинасъ подходитъ къ рѣшенію задачи съ другой стороны. Онъ задается вопросомъ: не составляютъ ли у нихъ заботы и попеченія о новорожденныхъ дѣйствія *органическихъ импульсовъ*, которые по своему существу всегда оставались неизмѣнными, или — что одно и то же — никогда не были актами воли?

Измѣненія (продолжаетъ авторъ), выгодныя для яицъ и новорожденныхъ, проявляются въ организмѣ родителей въ періодъ размноженія и развиваются путемъ естественного подбора, такъ что въ сущности родители побуждаются къ тому или другому акту, отъ которого зависитъ сохраненіе ихъ потомства,ничѣмъ инымъ, какъ дѣйствиемъ безвозвратной необходимости: они побуждаются къ этому самыми законами организма.

Многое множество фактовъ сами собою тотчасъ же возникаютъ въ памяти всякаго біолога въ подтвержденіе этой идеи. Нѣкоторые изъ нихъ указываются и Эспинасомъ. Такъ яйца и гнѣзда многихъ рыбъ проклеиваются выдѣляемой ими слизью лишь во время кладки яицъ и вылупленія изъ нихъ дѣтенышей, причемъ процессъ выдѣленія этой слизи зависить не отъ воли, а обусловливается унаследованными особенностями организациі. То же самое представляютъ и органы, которые способствуютъ насиживанію у птицъ: во время кладки яицъ онѣ испытываютъ общее горячечное состояніе, препятствуя же въ сплетеніи кровеносныхъ сосудовъ, расположенныхъ на животѣ, и потому получившихъ название насиживательного сплетенія. Это же горячечное состояніе вмѣстѣ съ тѣмъ отнимаетъ у птицъ аппетитъ, т. е. избавляетъ ихъ отъ необходимости отлучаться отъ гнѣзда для добыванія пищи, и т. д., и т. д.

Для того, однако, чтобы связать материнское чувство низшихъ позвоночныхъ животныхъ съ этимъ чувствомъ у высшихъ животныхъ этого

класса, и чтобы получить «восходящую лѣстницу развитія этого чувства» параллельно съ усовершенствованіемъ организаціи оть рыбъ до человѣка, автору необходимо было къ признанію органическихъ, развивающихъ основу материинскаго чувства, направленного на не живые предметы (яйца) у низшихъ позвоночныхъ,—импульсовъ, изъ которыхъ материинской любви человѣка вывести, очевидно, нельзя, — присоединить еще такой элементъ, который дѣлалъ бы желаемую эволюцію возможной.

Такой элементъ онъ и открываетъ въ существующемъ будто-бы у рыбъ сознательно материинскомъ чувствѣ къ своему потомству.

«Въ жизни каждого животнаго», разсуждаетъ авторъ, «обладающаго сколько-нибудь сложной организаціей, существуютъ два періода: одинъ, когда его сохраненіе обезпечивается процессомъ явленій почти исключительно механическаго (бессознательнаго) порядка, и другой — когда его развитіе совершается подъ болѣшимъ или меньшимъ вліяніемъ интеллекта или представлений» (стр. 340). Возможность вліянія психическихъ явленій возрастаетъ по мѣрѣ возвышенія лѣстницы организмовъ и въ концѣ концовъ дѣлается такимъ значительнымъ, что если, напримѣръ, выдѣленіе питательной жидкости зобными железами голубей, которою они кормятъ своихъ птенцовъ, первоначально было автоматическимъ, то позднѣе это отдѣленіе само развивалось вслѣдствіе психическихъ причинъ, т. е., материинской любви.

Другими словами, автору-эволюціонисту за поддержкой его идей приходится обращаться къ той сторонѣ ученія Ламарка, которая уже давно оставлена всѣми эволюціонистами, и противъ котораго выступилъ поль вѣка тому назадъ первый эволюціонистъ Ч. Дарвинъ съ своей неотразимой аргументаціей въ вопросѣ о происхожденіи видовъ.

Но будемъ слѣдить за дальнѣйшими соображеніями почтеннаго автора «Соціальной жизни животныхъ». Какъ уже сказано, по мнѣнію Эспинаса, жизнь животнаго слагается изъ двухъ періодовъ — бессознательнаго и сознательнаго, причемъ послѣднимъ можетъ вырабатываться и опредѣляться функція органовъ.

Допустимъ на минуту, что эта, болѣе чѣмъ сомнительная, догадка справедлива, и посмотримъ, что говорять и какъ укладываются съ нею факты.

Оказывается, что въ огромномъ подавляющемъ большинствѣ случаевъ рыбы лишены вовсе материинскаго чувства, которое составляетъ здѣсь крайне рѣдкое исключеніе. Оказывается вмѣстѣ съ тѣмъ, что ни по сложности своего образа жизни, ни по разнообразію инстинктовъ, тѣры, которыхъ не проявляютъ материинскаго чувства, не только не стоять ниже тѣхъ, которыхъ имъ надѣлены, но часто безусловно превосходятъ послѣднихъ. Изъ этого само собою слѣдуетъ, стало быть, что если материинская

любовь есть дѣло сознанія, то ея отсутствіе есть тоже актъ сознанія. Гдѣ же и въ чёмъ искать причину такого явленія съ точки зрењія эволюціи материнского чувства? Этотъ вопросъ оставляется авторомъ безъ отвѣта. Дающее оказывается, что, по скольку мы знаемъ, развитіе этого чувства, стоитъ виѣ всякаго отношенія къ генезису рыбъ и, представляясь исключительнымъ видовымъ признакомъ, не даетъ возможности построить никакой восходящей лѣстницы. Наконецъ, оказывается — и это пунктъ особенно затруднительный, — что тамъ, где заботы о потомствѣ существуютъ, «роли родителей перемѣшаны» и материнское чувство проявляется не самкою, а самцомъ. Самцы такъ называемыхъ морскихъ иголь и морскихъ коньковъ носятъ яички, отложенные самками, въ особомъ выводковомъ мѣшкѣ; гнѣзда «прѣсноводного бычка» устраивается самцомъ; самцы *тинапора* или *круглопера* охраняютъ яйца, снесенные самками, и выводятъ изъ своей спины дѣтенышей въ открытое море; самцы колюшекъ не только строятъ гнѣзда, но вталкиваютъ въ нихъ беременныхъ самокъ и загоняютъ молодыхъ рыбокъ въ случаѣ опасности; по наблюденіямъ Карбонье, самецъ гуарама (одна изъ лабиринтовыхъ рыбъ), подобно морскимъ конькамъ, помогаетъ своимъ самкамъ метать икру и помѣщаетъ ее на гнѣздѣ плавающихъ пузырьковъ, которые онъ сопровождаетъ и поддерживаетъ вплоть до вылупленія молоди. Мы знаемъ, наконецъ, даже такія оригинальныя формы «материнской заботливости» самца: въ Тиверіатскомъ озерѣ существуютъ рыбы, самцы которыхъ сохраняютъ и выхаживаютъ до двухсотъ молодыхъ рыбокъ въ своей глоткѣ и жаберной полости; по изслѣдованіямъ Лорте, когда самка снесетъ яйца въ тростникѣ, самецъ приближается къ этому мѣсту и посредствомъ всасыванія заставляетъ ихъ войти къ себѣ въ ротъ, а затѣмъ въ промежутокъ между жаберными листками, и т. п.

Какъ же быть съ этими фактами? Какъ уложить хотя бы (по мнѣнію автора) и сознательную материнскую любовь рыбъ въ основу материнской любви высшихъ позвоночныхъ животныхъ? Вотъ какъ это дѣлаетъ Эспинасъ. «Родители животныхъ, стоящихъ ниже млекопитающихъ и птицъ», говоритъ авторъ, «*знаютъ ничто о томъ, что содержитъ въ себѣ яйцо*, и это нѣчто служить опредѣленнымъ импульсомъ сложныхъ актовъ, которыми проявляется любовь» (стр. 344).

Итакъ, значитъ, рыбы знаютъ кое-что по части эмбріологии.

«Руководясь смутной идеей» (sic), продолжаетъ авторъ, «рыбы считаютъ яйца такими же живыми существами, какъ онѣ сами, и следовательно (?) нуждающимися, какъ онѣ сами, въ извѣстной охранѣ и уходѣ».

Такъ какъ есть натуралисты, которые серьезно трактуютъ о томъ, что въ такомъ-то и въ такомъ-то случаѣ «разсказалъ жукъ своимъ товарищамъ», то отчего же и не говорить о степени познанія эмбріологии рыбами. Только вотъ въ чёмъ тутъ являются новые затрудненія:

Во 1-хъ, почему же, допустивъ у рыбъ наличность такихъ познаній, авторъ категорически отрицаетъ ее у животныхъ безпозвоночныхъ. «У низшихъ животныхъ», говоритъ онъ, «напримѣръ у асцидій, сохраняющихъ яйца подъ своимъ мѣшкомъ и у морскихъ звѣздъ, отводящихъ имъ мѣсто подъ центральной частью своего тѣла просто немыслимо объяснить данное явленіе какимъ либо опредѣленнымъ представлениемъ, а тѣмъ менѣе предусмотрѣніемъ.» Авторъ, разумѣется, не даетъ отвѣта на вопросъ, почему же такое допущеніе представляется по отношенію къ асцидіямъ невозможнымъ, а по отношенію къ рыбамъ не только возможнымъ, но и необходимымъ; да такого отвѣта и нельзя дать вовсе.

Другой пунктъ затрудненія еще существенное. Если рыбы знаютъ нечто о содержаніи яицъ, то почему же *не самки*, которыхъ ихъ откладываютъ, проявляютъ по отношенію къ нимъ материнскую любовь, какъ это слѣдовало бы заключить изъ такого знанія, а самцы?

Недоразумѣніе это такъ существенно, что для того, чтобы изъ него выйти, автору понадобилось къ предположенію объ эмбриологическихъ познаніяхъ у рыбъ присоединить еще одно предположеніе, не менѣе рискованное и еще болѣе голословное.

Извѣстно, что оплодотвореніе у рыбъ происходитъ не внутри тѣла самки, а вѣтъ его: самцы приплываютъ къ отложенными самкою яичками и обливаютъ ихъ оплодотворяющею жидкостью. Такъ вотъ, видите ли, въ этихъ-то оплодотворяющихъ тѣльцахъ самцы тоже видятъ части *самихъ себѣ*, какъ самки видятъ эти части въ откладываемыхъ ими яйцахъ и вслѣдствіе этого *стараются о ихъ охраненіи*, ибо считаютъ ихъ живыми!

Но спрашивается, почему же именно на самца, а не на самку падаютъ материнскія заботы, если самка тоже считаетъ живыми отложенные ею яйца и тоже видитъ въ нихъ часть самой себѣ? «А потому», отвѣчаетъ Эспиналь, «что самецъ послѣднимъ извергаетъ воспроизводящую жидкость на яйца, а самка, которую этотъ процессъ нѣсколько удаляетъ отъ нихъ, не можетъ болѣе распознать своей икры въ неустойчивой средѣ, гдѣ она ее металась» (стр. 346, 347).

Но если такъ, то во всѣхъ случаяхъ, когда самка видитъ отложенные ею яички и когда ничто не мѣшаєтъ проявленію ея материнской любви, она должна будетъ таковую имѣть и проявлять.

Выводъ этотъ очевидно неизбѣженъ; оказывается, однако, что и здѣсь факты рѣшительно доказываютъ всю несостоятельность новой догадки. Сотни примѣровъ доказываютъ намъ, что и при внутреннемъ оплодотвореніи самецъ, хоть и не видитъ оплодотворяющей жидкости, однако заботится о потомствѣ, а съ другой стороны сотни примѣровъ доказываютъ, что самки при томъ же внутреннемъ оплодотвореніи, хотя и видятъ откладываемые яички и хотя никто не мѣшаєтъ имъ оставаться

при нихъ безотлучно, однако не обнаруживаютъ по отношению къ нимъ никакого материнского чувства. Такимъ образомъ всѣ разсужденія автора о томъ, что яйца охраняются рыбами, земноводными, пресмыкающимися и птицами потому, что животныя эти имѣютъ «смутную идею о ихъ содержаніи», и заботятся о нихъ потому, что видятъ въ нихъ части самого себя — безусловно расходятся съ фактами. А отсюда уже само собою слѣдуетъ, что общая идея автора о томъ, что будто бы причиною материнской любви позвоночныхъ является интересъ, который всякое живое существо питаетъ къ самому себѣ и своимъ частямъ, а стало быть, къ выдѣляемымъ ими половыми продуктамъ, — не выдерживаетъ самой синхронитальной критики.

Мы полагаемъ поэтому, что по отношению къ перечисленнымъ группамъ позвоночныхъ животныхъ возможно только одно толкованіе причины материнского чувства, а именно: чувство это у низшихъ (мы увидимъ потомъ, что и у высшихъ) позвоночныхъ, какъ и у всѣхъ беспозвоночныхъ, есть чувство исключительно инстинктивное; что въ основе его лежать органическіе импульсы, далеко не всегда и во всѣхъ группахъ тождественные; что эти основы, какъ и многообразныя формы проявленія материнского чувства, представляютъ не болѣе какъ одинъ изъ видовыхъ признаковъ, въ которомъ ни сознаніе, ни воля не играютъ никакой роли. И, быть можетъ, только у птицъ уже послѣ того, какъ вылупились молодые птенцы, къ дѣятельности инстинктивной присоединяются немногіе моменты сознанія и воли не столько въ самомъ чувствѣ любви, сколько въ приемахъ охраненія молодыхъ отъ опасности.

Намъ остается такимъ образомъ для выясненія причины материнской любви и ея природы у человѣка разматривать одинъ только классъ, — млекопитающихъ, составляющей каплю въ морѣ животныхъ существъ, навсегда отказавшись отъ «выведенія» этого чувства отъ низшихъ, не только беспозвоночныхъ, но и позвоночныхъ животныхъ.

Обращаясь къ этому классу, мы замѣчаемъ прежде всего, что у всѣхъ млекопитающихъ безъ исключенія материнская любовь существуетъ всегда; у всѣхъ самка рождаетъ живыхъ дѣтенышей и, наконецъ, всѣ онѣ корѣмятъ ихъ выдѣленiemъ млекопитательныхъ железъ.

Что-же можетъ быть признано основою ихъ материнской любви, ея причиной?

Эспинасъ, разумѣется, утверждаетъ, что эта причина лежить въ томъ, что дѣти, будучи похожими на мать (утверждение — не совсѣмъ точное: у сумчатыхъ, напримѣръ, и некоторыхъ другихъ животныхъ, такое сходство весьма сомнительное) здѣсь уже безъ труда узнаются ею, и что самка такимъ образомъ любить въ нихъ часть самой себя. Этимъ способомъ разсужденія получается требуемая связь материнского чувства высшихъ позвоночныхъ съ низшими; получается даже желаемая лѣстница въ связи

съ эволюціей животнаго царства. Сначала сознаніе и идея о томъ, что икринка есть существо живое и составляетъ часть самки, смутны и неясны, потомъ онѣ становятся все яснѣ и опредѣленнѣе. Материнское чувство вытекаетъ, по мнѣнію Эспинаса, изъ симпатіи и сознательного состраданія или участія къ тому, что составляетъ «плоть отъ плоти» матери-самки.

Дѣло въ томъ, однако, что чувство участія (жалости) совершенно отлично отъ чувства любви, такъ какъ иначе мы чувствовали-бы равное участіе, какъ къ людямъ, которыхъ любимъ, такъ и къ тѣмъ, которыхъ не знаемъ вовсе. Сверхъ того: участіе къ другимъ имѣть своимъ источникомъ отнюдь не воспоминанія о *собственныхъ* страданіяхъ, которые вызываются въ насъ видомъ страдающаго человѣка, а представляетъ инстинктивное чувство, развившееся своимъ особымъ путемъ. Волки несомнѣнно принимаютъ участіе въ страданіяхъ своихъ дѣтенышей, хотя они безучастны къ страданіямъ другихъ животныхъ. Мы полагаемъ поэтому, что чувство участія, какъ и чувство материнской любви, у млекопитающихъ животныхъ являются такими-же инстинктивными, какъ и у другихъ животныхъ; мы полагаемъ далѣе, что причины этого послѣдняго чувства, какъ и у всѣхъ остальныхъ животныхъ, лежать въ органическихъ импульсахъ, изъ которыхъ главнѣйшіе здѣсь — *въ предѣлахъ класса млекопитающихъ представляются тождественными*, а потому и самый инстинктъ общераспространенный и сходны. Однимъ изъ такихъ органическихъ импульсовъ должно считать, разумѣется, кормление дѣтенышей молокомъ матери.

Отмѣтимъ кстати, что импульсъ этотъ, будучи общимъ для животныхъ млекопитающихъ, отличаетъ ихъ отъ всѣхъ другихъ животныхъ, такъ какъ млечные железы свойственны исключительно имъ однѣмъ. Этого мало: даже филогенетическое происхожденіе сказанныхъ органовъ до настоящаго времени остается неяснымъ и все, что можно утверждать съ достовѣрностью по этому вопросу, сводится къ тому, что они представляютъ видоизмѣненіе кожныхъ железъ (сальныхъ).

Каковыми-бы ни были причины, первоначально обусловившія возникновеніе чувства материнской любви, теперь эта любовь, усиленная естественнымъ подборомъ, представляетъ собою уже общераспространенный среди млекопитающихъ инстинктъ, совершенно обособленный, и если не у всѣхъ, то у высшихъ изъ нихъ, способный проявляться, повидимому, даже независимо отъ органическихъ импульсовъ, которые несомнѣнно его усиливаютъ.

Въ подтвержденіе сказаннаго укажу на слѣдующій фактъ.

Кобылицы дикихъ лошадей въ Парагваѣ часто бываютъ принуждены вступать въ настоящую битву съ мулами, у которыхъ по временамъ проявляется инстинктъ материнской любви. Тогда они стараются силой или

хитростью овладѣть жеребенкомъ, причемъ этотъ несчастный, конечно, скоро погибаетъ. Фактъ этотъ поучителенъ и въ томъ отношеніи, что указываетъ на истинную психологическую природу материнского чувства у такихъ высокостоящихъ животныхъ, какъ лошади.

Что органические импульсы однако усиливаютъ материнскій инстинктъ— это удостовѣряется цѣлымъ рядомъ наблюдений надъ поведеніемъ самокъ (собакъ и другихъ животныхъ), у которыхъ дѣти отнимались до кормленія и *послѣ* него. Въ послѣднемъ случаѣ это чувство проявлялось съ несравненно большею силой, чѣмъ въ первомъ.

Мнѣ припоминается здѣсь одинъ прелестный этюдъ французскаго автора, котораго фамилія сейчасть, къ сожалѣнію, ускользнула изъ моей памяти. Рассказъ идетъ о дѣвушкѣ, которая пришла къ пастору просить разрѣшенія будущаго грѣха: она должна, непремѣнно должна будеть его совершить. На вопросъ, что это за грѣхъ, дѣвушка категорически отказалась отвѣтить. Послѣ ряда осторожныхъ вопросовъ, пасторъ, сначала въ свою очередь отказался въ разрѣшеніи, наконецъ соглашается, но съ условіемъ: дѣвушка должна обѣщать «накормить то существо, по отношенію къ которому собирается совершить грѣхъ». Разрѣшеніе цѣнью этого обѣщанія получено. Проходитъ нѣсколько дней. Дѣвушка родить въ условіяхъ, которая всегда такимъ нестерпимо тяжелымъ гнетомъ ложатся на душу молодой матери, когда ей вмѣстѣ съ физическими страданіями приходится переживать нравственную пытку. Рѣшимость такъ или иначе отдѣлаться отъ ребенка вслѣдствіе этого не только не ослабѣла, но еще нашла для себя новые стимулы. Все было готово... но она вспомнила свой обѣтъ: «накормить его»... Психологическій анализъ пережитаго ею чувства здѣсь, разумѣется, не у мѣста; важенъ его выводъ изъ созданного положенія: рѣшимость скрыть замѣненія борьбою, изъ которой материнскій инстинктъ выходить побѣдителемъ безъ дальнѣйшихъ сомнѣній и колебаній...

Я только что сказалъ, что этотъ инстинктъ есть чувство, въ такой же степени безсознательное, какъ и всякий другой инстинктъ. Несомнѣнно однако, что къ этому безсознательному чувству матери присоединяются у многихъ высшихъ млекопитающихъ животныхъ элементы разума и воли.

Такъ, у обезьянъ мы встрѣчаемся уже съ такими сложными механическими явленіями, которые во многомъ дѣйствительно напоминаютъ человѣка. Ихъ привязанность тѣмъ особенно замѣчательна, что она не ограничивается особями одного вида. Обезьяны легко заключаютъ самую нѣжную дружбу даже съ дѣтьми человѣка, съ котятами и щенятами. Ухаживать за маленькимъ существомъ, возиться съ нимъ, заботиться о немъ, глядѣть на него, быть съ нимъ — составляетъ для нихъ наслажденіе, столь сильное, что удаленіе, или смерть любимаго существа весьма часто имѣеть послѣдствиемъ смерть оставленной обезьяны, смерть отъ силы аффекта.

Такимъ образомъ здѣсь вопросъ сводится уже не къ тому: есть-ли элементы дѣйствительного сходства между материнскою любовью человѣка и высшихъ млекопитающихъ животныхъ: таковое не подлежитъ сомнѣнію и можетъ быть прослѣжено шагъ за шагомъ по ступенямъ восходящихъ группъ этого небольшаго класса; вопросъ сводится лишь къ тому: въ какихъ предѣлахъ такія аналогіи возможны?

Факты удостовѣряютъ, во-1-хъ, что хотя материнская любовь высшихъ млекопитающихъ является чувствомъ сложнымъ, въ которомъ на ряду съ актами, бесусловно инстинктивными, могутъ наблюдаваться и элементы сознанія, но эти послѣдніе всегда минимальны; во-2-хъ, что высшая животная, а въ томъ числѣ и обезьяны, холять милыя имъ существа, ухаживаютъ за ними потому лишь, что это составляетъ удовлетвореніе ихъ материнскому инстинкту, потому что это удовлетвореніе пріятно раздражаетъ ихъ *собственную первную систему*. Стоить только, чтобы другое, столь-же инстинктивное побужденіе стало въ разрѣзъ съ благомъ этихъ милыхъ существъ, и благо это приносится въ жертву собственнымъ влечениямъ безъ всякаго колебанія.

Но, скажутъ на это, развѣ у людей мы не встрѣчаемъ того-же самаго? Развѣ привязанность матери къ дѣтямъ не соединена у насъ съ эгоистическими чувствами, подчасъ самаго грубаго свойства? Развѣ наши матери всегда приносятъ въ жертву свои собственные влечения благу дѣтей ихъ? Что такое какъ не тотъ же эгоизмъ, хотя и менѣе грубо выраженный въ тѣхъ возгласахъ, которые намъ такъ часто приходится слышать: «знаю, что это дурно, что слѣдовало бы принять мѣры, но мнѣ жалко, я не могу видѣть лишеній ребенка, не могу допустить надъ нимъ насилия»; причемъ подъ насилиемъ разумѣются либо запрещенія «шалостей», безусловно вредныхъ для здоровья, либо борьба съ распущенностью и лѣнию, которая санкционируются «материнскою любовью» и преподаются дѣтямъ ежедневными примѣрами собственной распущенности и лѣни родителей.

Конечно, одно и то же. Но только гдѣ же основаніе *такую* материнскую любовь называть *разумной*?

Материнская любовь человѣка, какъ и высшихъ млекопитающихъ — чувство сложное. Въ немъ есть элементы разумные; есть рядомъ съ ними элементы и животные—инстинктивные. Постольку, поскольку они разумны, они и должны, и могутъ называться человѣческими; постольку-же, поскольку они инстинктивны—они являются чувствами *животными*. Ничего неѣтъ удивительного поэтому, что элементы материнской любви человѣка могутъ быть сходными, я скажу — тождественными, съ материнской любовью высшихъ животныхъ: они тождественны постольку, поскольку основою этой любви являются инстинкты. Въ то же время въ этомъ чувствѣ

есть элементы, отличающие его от материинской любви животныхъ: это элементы сознанія и разума, и чѣмъ большее число актовъ инстинктивныхъ замѣняется этими послѣдними, тѣмъ меньшее остается для аналогіи, и наоборотъ.

Если же мы, принимая во вниманіе господствующій порядокъ вещей, должны будемъ признать, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ родители современного намъ общества руководятся въ дѣлѣ воспитанія дѣтей почти исключительно указаніями страсти, т. е. животнаго инстинкта, что эти указанія лишь изрѣдка смягчаются опредѣленными «правилами», которыхъ источникъ однако не заходитъ далѣе воспоминаній дѣтства и заимствуется у того прошлаго, котораго авторами въ значительной мѣрѣ являются няньки и другіе агенты, опредѣляющіеся не просвѣщеніемъ, а невѣжествомъ вѣка, — то мы, разумѣется, должны будемъ признать, что аналогія материинскаго чувства людей и высшихъ животныхъ будетъ очень значительной. Не должно лишь забывать при этомъ, что, устанавливая эти аналогіи, мы отнюдь не животное возвышаемъ ими до человѣка, какъ это выходитъ по смыслу авторскихъ объясненій, а какъ разъ наоборотъ — человѣкъ низводится до степени животнаго. А это не совсѣмъ одно и то же.....

Резюмируя сказанное по поводу материинскаго чувства человѣка и животныхъ, мы такимъ образомъ можемъ формулировать наши заключенія.

1) Материинское чувство не можетъ считаться чувствомъ общераспространеннымъ въ животномъ царствѣ. Скажемъ болѣе: принимая во вниманіе, что во многихъ отдельахъ животныхъ съ огромнымъ числомъ представителей материинское чувство составляетъ видовой признакъ далеко не всѣхъ, а иногда очень немногихъ, мы получаемъ основаніе полагать, что для большинства группъ оно является скорѣе исключеніемъ, чѣмъ правиломъ.

2) Материинское чувство животныхъ, тамъ, где оно наблюдается, всегда представляетъ собою чувство инстинктивное, въ основе котораго лежать органические стимулы и которое развивается путемъ естественного подбора въ тѣхъ случаяхъ, когда оказывается полезнымъ виду.

3) Эти органические импульсы не всегда и не во всѣхъ группахъ животнаго царства одинаковы, и потому задача «вывести» эволюціоннымъ путемъ причины материинскаго чувства одной группы животнаго царства изъ другой раныше, чѣмъ тождественность импульсовъ будетъ доказана,— не можетъ считаться научной.

4) Даже тамъ, где органические импульсы могутъ считаться сходными (въ предѣлахъ одного класса напримѣръ), степень развитія материинского чувства далеко не всегда имѣть такую связь съ восходящей въ эволюціонномъ порядкѣ цѣпью органическихъ существъ данной группы, какую за неї предполагаютъ авторы, желающіе вывести материинскую любовь человѣка изъ этого чувства у низшихъ животныхъ. Мало того, мы рас-

полагаемъ фактами, которые доказываютъ, что по мѣрѣ развитія группъ класса материнское чувство можетъ не усложняться и усиливаться, а шагъ за шагомъ слабѣть и, наконецъ, исчезнуть вовсе, какъ мы это видѣли у пауковъ.

5) Не подлежащій сомнѣнію фактъ, что рядомъ съ такими классами животныхъ, въ которыхъ материнская любовь по мѣрѣ генетического развитія одного изъ нихъ систематически слабѣть, существуютъ другіе классы, изъ которыхъ одни представляютъ примѣры съ развитымъ чувствомъ материнской любви, или его полнымъ отсутствиемъ безъ всяаго отношенія къ генезису класса (какъ это мы видимъ, напримѣръ, у насѣкомыхъ, а другіе — примѣры всегда наличного и неизмѣнно усиливающагося чувства материнской любви по мѣрѣ генетического развитія класса (какъ мы это видимъ у млекопитающихъ)). Факты эти въ свою очередь служатъ доказательствомъ того, что «основы», «причины» материнской любви въ разныхъ группахъ животнаго царства различны. Въ то время какъ у однихъ, благодаря этимъ причинамъ возможны однѣ формы и одинъ путь развитія этого чувства, у другихъ должны были явиться другія формы и другіе пути.

6) У млекопитающихъ животныхъ однимъ изъ такихъ *органическихъ стимуловъ* является кормленіе дѣтенышемъ отдѣленіемъ млечныхъ железъ, и такъ какъ этотъ стимулъ является у всѣхъ нихъ безъ исключенія, то причина материнской любви млекопитающихъ животныхъ можетъ счи-таться однородной.

7) Психическая природа материнского чувства млекопитающихъ животныхъ (какъ и всѣхъ другихъ) безспорно инстинктивная, и только у высшихъ представителей класса къ инстинктамъ, составляющимъ ея основу и сущность, присоединяются элементы сознанія.

8) Материнская любовь человѣка — всегда чувство сложное; поскольку она является инстинктивною, она не только сходна, но и тождественна съ тѣмъ, что мы видимъ у всѣхъ животныхъ. Она отличается отъ материнского чувства этихъ послѣднихъ тѣмъ болѣе, чѣмъ большее число инстинктивныхъ актовъ замѣняется актами сознательными и разумными.

Владимиръ Вагнеръ.

ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА.

Въ первыхъ нумерахъ «Figaro» за 1894 годъ былъ напечатанъ *Un roman d'amour* виконта Шпольберга де-Ловенжуля, извѣстнаго знатока Бальзака, автора «Histoire des œuvres de H. de Balzac». Шпольбергъ рассказалъ всю исторію любви автора «Человѣческой комедіи» къ т-те Ганской, ставшей за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти Бальзака его женой. У Шпольберга находятся въ рукахъ письма Бальзака—часть его переписки съ Ганской, длившейся восемнадцать лѣтъ. Къ несчастью, часть этихъ писемъ — хоть и небольшая — не найдена. Остальная же тщательно подобранны, классифицированы и уже начали выходить въ свѣтъ, въ *Revue de Paris*. По словамъ Шпольберга, они составятъ почти три тысячи страницъ. Лишь писемъ пятьдесятъ изъ нихъ вошли въ сборникъ общей «Переписки» Бальзака, въ 1876 г. Но и они были напечатаны не съ оригиналовъ, а съ копій, переписанныхъ и сокращенныхъ вдовой Бальзака, и только теперь появятся въ своемъ полномъ видѣ, прямо съ автографовъ.

Если оставить въ сторонѣ очень важный вопросъ: хорошо или нѣтъ дѣлать общественнымъ достояніемъ интимную переписку великихъ людей, порядочно или нѣтъ копаться въ душѣ человѣка и давать эту душу на общее пользованіе, то значеніе писемъ Бальзака не требуетъ пояснений. Эти письма блещутъ всѣми достоинствами, свойственными Бальзаку: искристая поэтичность, изящество, наблюдательность — все есть въ нихъ. Кромѣ того въ нихъ развертывается пѣлая, до сихъ поръ почти неизвѣстная — картина любви Бальзака къ Евѣ Ганской, любви, наполнившей всю жизнь этого великаго писателя.

Почти всѣ биографы и комментаторы Бальзака утверждаютъ, что онъ жилъ анахоретомъ. Можетъ быть любовь къ Евѣ Ганской такъ наполнила его жизнь, что другія женщины не играли въ ней первой роли, но несомнѣнно, что «женщина» занимала громадное мѣсто и въ творчествѣ и въ жизни Бальзака. Но эта жизнь всегда была покрыта какой-то тайной. Даже его близкіе друзья не знали ничего, что касалось карьеры и лич-

ной жизни Бальзака. Онъ то притворялся богатымъ, то бѣднымъ, то говорилъ объ успѣхѣ, то о неудачѣ; поэтому-то къ воспоминаніямъ о Бальзакѣ надо относиться крайне осторожно. Онъ самъ сдѣлалъ все возможное, чтобы создать о себѣ легенду, противорѣчащую всякой истинѣ.

Извѣстно, что раньше, чѣмъ стать знаменитостью, онъ былъ и писцомъ у нотаріуса, и типографомъ, и анонимнымъ сотрудникомъ многихъ писателей и изданій, и неизвѣстнымъ авторомъ драмъ. Онъ испыталъ и нужду, и горе, и всѣ страданія талантливаго неудачника. И только послѣ долгихъ лѣтъ борьбы и попытокъ Бальзакъ наконецъ добился успѣха. Это было въ началѣ 30-хъ годовъ. Вмѣсто насыщекъ и презрѣнія явилась слава. О Бальзакѣ заговорили. Появленіе «Физіологіи брака» и затѣмъ «Сценъ изъ частной жизни» совершенно измѣняютъ судьбу Бальзака: его заваливаютъ просьбами о сотрудничествѣ, его приглашаютъ самые разнообразные журналы и газеты. Постоянная нужда въ деньгахъ побуждаетъ его пользоваться этимъ и онъ начинаетъ работать съ лихорадочной торопливостью. Онъ сотрудничаетъ и въ *Mode*, и въ *Caricature*, и въ *Silhouette*, и въ *Voleur*. Рядомъ съ этимъ онъ печатается въ «Revue de Paris» и работаетъ надъ романомъ «Шагреневая кожа», появившимся въ августѣ 1831 г.

Бальзака хвалить и бранить, о немъ говорить и писать очень много. Но въ его душѣ остается какое-то пустое мѣсто, чего-то недостаетъ ему. У него нѣтъ настоящей любви, нѣтъ счастья, и рядомъ съ этимъ есть страстная жажда этого счастья. Вотъ можетъ быть почему маленький конвертъ съ русской маркой, полученный имъ отъ незнакомки 28 февраля 1832 г., сыгралъ такую большую роль въ его жизни.

Незнакомка, писавшая Бальзаку, была Эвелина (или Ева) Ганская, рожденная гр. Ржевуская; когда она начала переписку съ Бальзакомъ, ей было двадцать семь лѣтъ, а ея мужу за пятьдесятъ. Они жили въ своемъ имѣніи, въ Кіевской губерніи; мужъ занимался сельскимъ хозяйствомъ и постоянно оставлялъ жену одну. Однокая, въ громадномъ пустынномъ домѣ, красавица, умная, образованная, но съ празднымъ воображениемъ и празднымъ сердцемъ Ева Ганская вся отдалась книгамъ и, конечно, французскимъ книгамъ. Бальзакъ былъ уже тогда моднымъ писателемъ и Ганская съ увлеченіемъ проглотила всѣ его романы, начиная съ *Dernier Chouan* и кончая *La peau de chagrin*. Послѣдняя вещь, несмотря на всю ея прелестъ и мощь, не оправдала ожиданій Евы Ганской. Послѣ «Scènes de la vie privée» она ждала совсѣмъ другого. Воспитанная въ религіозномъ духѣ, доходившемъ до экзальтациі—она мечтала о томъ, что продолженіемъ прочитанныхъ ею прелестныхъ страницъ явится рядъ еще болѣе захватывающихъ по своей тонкости произведеній, проникнутыхъ тѣмъ поэтическимъ мистицизмомъ, къ какому была она такъ склонна, какъ и многія женщины ея круга и ея времени. Надежда ея не оправдалась,

и это разочарование такъ глубоко подѣйствовало на нее, что она рѣшила написать Бальзаку. И вотъ это-то письмо и послужило началомъ той переписки, которая послѣ восемнадцати лѣтъ привела ее къ браку съ Бальзакомъ. Это первое письмо, подписанное «Иностранка» (*l'Etrangère*), было адресовано издателю *Шагреневой кожи*, книгопродавцу Госселену въ Парижъ, и получено Бальзакомъ 28 февраля 1832 г. Думалъ-ли тогда великій романистъ, какое вліяніе и значеніе будетъ имѣть это письмо на все его дальнѣйшее существованіе? Къ сожалѣнію этого письма не нашлось въ бумагахъ Бальзака, доставшихся Шпольбергу. Очень можетъ быть, что Бальзакъ сжегъ и его въ 1847 г., когда, послѣ одной изъ житейскихъ драмъ, сжегъ почти всѣ письма Евы Ганской.

Во всякомъ случаѣ это письмо должно было быть незаурядно, чтобы такъ захватить будущаго автора «Человѣческой комедіи». Вѣроятно «Иностранка» послѣ восторженныхъ похвалъ «Сценамъ изъ частной жизни» упрекала Бальзака за то, что онъ въ «Шагреневой кожѣ» забылъ то, что создало успѣхъ его предыдущему произведенію, т. е. тонкое пониманіе женскаго характера и главное тотъ пьедесталъ, на который онъставилъ женщину въ своихъ «Сценахъ». «Иностранка», должно быть, умоляла его вернуться къ прежней возвышенной манерѣ и отказаться отъ ироніи и скептицизма, имѣющихъ цѣлью всегда униженіе женщинъ, или отрицаніе той благородной и чистой роли, какая принадлежитъ женщинѣ, понимающей свое высокое призваніе.

Бальзакъ долго находился подъ вліяніемъ этого письма, а главное подъ вліяніемъ автора его. И онъ, не смотря на всю свою скрытность, рассказалъ объ этомъ письмѣ и даже показалъ его нѣкоторымъ знакомымъ. Но затѣмъ совершенно замкнулся, замолчалъ и никто уже болѣе не слышалъ отъ него о письмахъ изъ Россіи.

А между тѣмъ Ева продолжала ему писать. Въ рукахъ Шпольберга находятся два ея письма, подписанныя значительно позже ея первого посланія. Одно изъ нихъ отъ 7-го ноября 1832 г., а второе отъ 8-го января 1833 г.

Въ первомъ письмѣ она пишетъ:

... «Мнѣ хотѣлось-бы познакомиться съ вами, но думаю, что это лишнее: инстинктъ души подсказываетъ мнѣ, кто вы, я воображаю васъ по своему и если-бы я увидала васъ, я сказала-бы: *вотъ она*».

Эта характерная фраза (такъ напоминающая Пушкинскую Татьяну) уже даетъ понятіе тоже о томъ настроеніи, о той почвѣ, на которую упали пламенные строки Бальзака.

«Когда я стала читать ваши произведенія, пишетъ она дальше, сердце мое встрепенулось; вы поднимаете женщину на настоящую высоту; любовь въ женщинѣ—небесная добродѣтель, божественный даръ; меня восхищаетъ въ васъ удивительная чуткость, заставившая васъ угадать это.

Вы, конечно, любите и любимы. Не земное счастье должно быть удѣломъ въась обоихъ; ваши души должны испытывать неизвѣстныя другимъ радости. *Иностранка* любить въась обоихъ и хочетъ быть вашимъ другомъ. Она тоже была способна любить, но это и все. О! Вы поймете меня!

«Я хочу писать вамъ время отъ времени, излагать вамъ мои мысли, мои размышленія; не принимайте меня за фанатичку, за экзальтированную энтузиастку. Нѣть; я проста и естественна, но застѣнчива и боязлива. Я такая не блестящая, что на меня почти не обращаютъ вниманія; сила, энергія и мужество во мнѣ существуютъ только на то, что связано съ оживляющими меня чувствомъ—съ любовью. Я умѣла любить и до сихъ поръ люблю; но никто не могъ понять моей пламенной души, поглотившей все мое существо. Вы,—вы поймете меня; вы почувствуете также какъ и я, что мнѣ суждено было любить разъ, одинъ только разъ, и если меня не поймутъ—прозябать и умереть!... Я отдала все сердце, всю душу и все-таки одинока. Пусть моя жизнь будетъ грустной мечтой о несбывшейся надеждѣ—я все-таки не хотѣла-бы потерять воспоминаніе обѣ этой любви. Любовь — фантасмагорія вѣчного могущества, все созидающаго, во все вѣрящаго и все оживляющаго; она — выше моего описанія, это мечта о Богѣ, пониманіе его!»

«Ваші произведения пронизали меня глубокимъ энтузиазмомъ, вы лу-
чезарный метеоръ... Пламя вашего ума даетъ мнѣ жизнь; я не могу этого
ни описать, ни нарисовать жгучими штрихами, какъ это дѣлаете вы.
Однимъ словомъ, вы завладѣли всѣмъ моимъ существомъ: я восхищаюсь ва-
шимъ талантомъ, благоговѣю передъ вашей душой; я хотѣла бы быть
сестрой вашей... За тысячу лье отъ васъ—я васъ вижу; мнѣ кажется, что
я живу вашей жизнью, вашими мыслями; но я умѣю только ихъ чув-
ствовать, а не описывать. Мнѣ хотѣлось бы обсуждать съ вами всѣ ваши
работы, высказывать вамъ, одному только вамъ, и мой восторгъ и мое
осужденіе; быть для васъ и только для васъ вашимъ правосудіемъ, ва-
шой мої лью, вашей совѣстью. Вѣчная правда оживляетъ меня, я это
чувствую; она воспламеняетъ меня; вы одинъ можете это понять и опи-
сать ту чистую священную любовь, которая заставляетъ меня жить и
житъ, чтобы любить; оттого-то я такъ спокойно и смиренno смотрю въ
будущее, я чувствую, что она будетъ счастье и радость для того, кто
съумѣеть схватить эту искру, кажущуюся мнѣ вѣчной правдой, которая
вмѣстѣ съ природой, любовью и истиной должна уяснить человѣку всю
гармонію его существованія и сказать ему: «Вотъ, что ты есть и чѣмъ
долженъ быть!»

Далѣе *«Иностранка»* просить Бальзака напечатать въ *Quotidienne* только два слова, что онъ получилъ ея письмо. Бальзакъ это и дѣлаетъ. Въ *Quotidienne* отъ 9 декабря 1832 г. въ концѣ рубрики *Faits divers* напечатано: «Г. де Б. получилъ то, что ему было послано; онъ только

сегодня могъ увѣдомить объ этомъ путемъ газеты и сожалѣть, что не знаетъ, куда адресовать отвѣтъ».

Въ слѣдующемъ письмѣ уже Ганская говорить, что постарается указать ему «вѣрное средство переписываться свободно» и прибавляеть: «если узнаютъ, что я пишу вамъ и получаю ваши письма — я пропала». Это письмо помѣчено 8-мъ января 1833 г., а на первомъ письмѣ Бальзака, напечатанномъ въ *Revue de Paris*, надписано «январь 1833». На второмъ «конецъ января 1833», но, очевидно, тутъ вкрадась ошибка; по содержанію писемъ видно, что между ними прошло не мало времени. Уже въ первомъ письмѣ видно, съ какой радостью Бальзакъ принялъ вызовъ «Иностранки» и сталъ изливаться совершенно незнакомому человѣку. «Если бы вы видѣли мои глаза — вы прочли бы въ нихъ все: и благодарность возлюбленного и самыя возвышенныя чувства: чистую нѣжность сына къ матери, брата къ сестрѣ и уваженіе молодого человѣка къ женщинѣ и сладкую надежду на долгую и горячую дружбу... Среди борьбы, тяжкихъ трудовъ, безконечныхъ изученій, въ этомъ тревожномъ Парижѣ, гдѣ политика и литература поглощаютъ часовъ шестнадцать—восемнадцать въ сутки, мнѣ несчастному и совсѣмъ непохожему на того писателя, какимъ обыкновенно представляютъ меня — вы дали чудные часы... Моя участіе—описывать чужое счастье и жаждать его и не встрѣтить. Только тотъ, кто страдаетъ, можетъ изобразить радость, потому что изображаешь лучше то, что постигаешь, чѣмъ то, что испыталъ... Когда человѣку только тридцать лѣтъ, когда онъ еще совсѣмъ не жилъ и не любилъ—съ какой страстью онъ схватываетъ слово дружбы, каждое нѣжное слово!..»

Вотъ въ какомъ настроеніи былъ Бальзакъ, когда сталъ получать письма изъ далекой Россіи, отъ таинственной почитательницы его таланта, въ которой онъ представлялъ себѣ молодую, красивую и несчастную женщину. И онъ не ошибся. Ганская, дѣйствительно, была и молода, и красива, и несчастна. И Бальзакъ, не смотря на то, что работаетъ восемнадцать часовъ въ сутки (какъ пишетъ онъ во второмъ письмѣ)—увлекается перепиской съ Ганской настолько, что отвѣтаетъ ей длинными и подробными письмами.

«Такъ какъ я обманулся во всѣхъ моихъ привязанностяхъ и вѣрованіяхъ, такъ какъ всѣ мои мечты разлетѣлись — то я долженъ быть *создателемъ* себѣ страсти и я пристрастился къ искусству. Я живу въ моей работе. Я стремлюсь писать какъ можно лучше. Я взвѣшивая мои фразы и мои слова, какъ скупецъ взвѣшиваетъ свое золото. Сколько такимъ образомъ я теряю любви! Сколько счастья, брошенного на вѣтеръ! Моя трудовая молодость, мое долгое ученье не получать никакой награды... Черезъ нѣсколько лѣтъ молодость будетъ однимъ воспоминаніемъ!.. Я не выхожу изъ моего длиннаго кабинета, уставленного книгами; я одинокъ, и не хочу слушать никого. Мнѣ такъ больно убивать въ сердцѣ всѣ надежды!

Надо вырывать ихъ какъ коноплю: одну за одной. Отказаться отъ женщины, отъ моего единственного земного божества!»

Бальзакъ, какъ и всѣ писатели, и во всѣ времена, получалъ не мало анонимныхъ писемъ съ самыи разнообразныи содержаніемъ. Но письма Ганской должны были особенно запитересовать его, чтобы онъ такъ охотно и много отвѣчалъ ей; вскорѣ они окрасились для него еще и особынныи, мистическимъ цвѣтомъ и получили особенное, мистическое значеніе. Бальзакъ, какъ извѣстно, вѣрилъ въ передачу мыслей на разстояніи, вѣрилъ въ таинственное дѣйствіе одного человѣка на другого даже и черезъ громадныя пространства. Ева Ганская прислала ему «Подражаніе Иисусу Христу». Бальзакъ писалъ тогда своего «Деревенскаго доктора» и увидалъ въ подаркѣ Ганской единеніе душъ во имя одной и той же возвышенной идеи. Теперь, когда напечатаны письма Бальзака, это совпаденіе объясняется совершенно просто и естественно.

Во второмъ письмѣ, напечатанномъ въ *Revue de Paris*, Бальзакъ говорить: «Теперь я оканчиваю одну работу, совершенно евангельскаго характера; она кажется мнѣ опоэтизованнымъ Подражаніемъ Иисусу Христу». Должно быть Бальзакъ забылъ эту фразу и поэтому былъ такъ пораженъ, когда получилъ изъ Россіи книгу, о которой такъ много думалъ въ то время. «Нѣть сомнѣнія, пишетъ онъ 24 февраля 1833 г., что между нами есть какой-то добрый геній. Я не смѣю сказать ничего другого, потому что какъ объяснить, что вы послали мнѣ «Подражаніе Иисусу Христу», когда я день и ночь работалъ надъ вещью, где я стараюсь драматизировать духъ этой книги, принаравливая ее къ стремленіямъ цивилизациіи нашего времени? Какъ случилось, что вамъ пришло въ голову послать мнѣ ее именно когда я переходилъ отъ размышленія къ исполненію...»

Уже въ этомъ письмѣ Бальзакъ пишетъ Евѣ Ганской: «Я люблю васъ, незнакомка, и это странность — естественное слѣдствіе неполной и несчастной жизни, которую я наполнялъ только идеями и невзгоды которой я заглушалъ призрачными удовольствіями. Если подобное приключение должно было случиться съ кѣмъ нибудь — такъ именно со мной. Если бы я могъ высказать вамъ мои мечты! Эти мечты несбыточны, но онѣ милы мнѣ! Поѣхать такъ, чтобы никто въ мірѣ не зналъ кто я, поѣхать въ вашу страну, побывать у васъ такъ, чтобы вы не знали, повидать васъ, возвратиться и написать вамъ: «Вотъ вы какая!»..

Въ этомъ же письмѣ Бальзакъ уже ревнуетъ свою анонимную корреспондентку, и проситъ ее прислать подробный снимокъ съ той комнаты, где она пишетъ, где думаетъ, где она — она. Однимъ словомъ онъ уже любить ее, или думаетъ, что любить, а въ слѣдующемъ своемъ письмѣ (конецъ марта 1833 г.) онъ говорить: «Я уже слишкомъ люблю, не видя васъ. Нѣкоторыи фразы въ вашихъ письмахъ заставили биться мое

сердце и если бы вы знали, съ какимъ жаромъ я бросаюсь къ тому, чего такъ долго жаждалъ!.. Полюбите меня! Все, что вы потребуете благороднаго, правдиваго, чистаго — найдется въ сердцѣ, хотя испытавшемъ много ударовъ, но еще не увядшемъ»...

Бальзакъ просить въ этомъ письмѣ Еву Ганскую писать ему письма-дневники, чтобы онъ могъ знать всю ея жизнь, часъ за часомъ. Она сейчас же исполняетъ это и въ концѣ мая Бальзакъ пишетъ ей длинное письмо, гдѣ благодаритъ ее за этотъ дневникъ, описываетъ ей, какъ старой знакомой и другу, что онъ дѣлаетъ, какъ работаетъ, о чёмъ думаетъ и обѣщаетъ ей описывать, также какъ и она, всѣ мелочи своей жизни.

Она уведомила его, что уѣзжаетъ изъ Россіи за границу, и слѣдующее письмо Бальзака отъ 19 июля 1833 г. уже адресовано въ Невшатель, *poste restante*. Это день окончанія его романа «Деревенскій докторъ», гдѣ уже одно изъ дѣйствующихъ лицъ названо въ честь Ганской «Эвелинной». «Я такъ усталъ, пишетъ Бальзакъ въ этомъ письмѣ, и жизнь для меня такъ пустынна! Единственное повидимому настоящее чувство теперь въ моей жизни — за тысячу лѣтъ отъ меня. Нужно, въ самомъ дѣлѣ, всю мошь души поэта, чтобы находить въ этомъ утѣшеніе, чтобы послѣ долгаго труда говорить себѣ: «Она затрепещетъ отъ радости», увидѣвъ, что ея имя было у меня на умѣ, что она была въ моихъ мысляхъ и что я назвалъ ея именемъ самую прекрасную, самую благородную девушку... Ваши письма приводятъ меня въ восхищеніе; вы все больше и больше заставляете любить себя; но моя жизнь постоянно рвется къ вамъ и сграетъ въ усиляхъ, не становясь счастливѣе. Любить и не знать другъ друга — мука».

Уже слѣдующее письмо говоритъ о томъ, что Ганская дала свой полный адресъ Бальзаку; онъ посыпаетъ ей книги на имя *m-lle* Борель въ Невшатель; известно, что эту зиму Ганскіе проводили въ Женевѣ, тогдашнемъ центрѣ польской эмиграціи. У Евы Ганской, при дочери, была гувернантка *m-lle* Борель, родомъ изъ Невшателя, и такъ какъ она была главной помощницей Евы въ перепискѣ съ знаменитымъ писателемъ, то очевидно и свиданіе ихъ не обошлось безъ ея помощи. Уже ровно черезъ мѣсяцъ послѣ предыдущаго письма Бальзакъ умоляетъ Еву позволить ему пріѣхать къ ней, отдохнуть послѣ года тяжелой работы. Онъ говоритъ, что пріѣдетъ подъ чужимъ именемъ, что никто не будетъ знать, кто онъ. «Мнѣ страшно увидѣть васъ потому, что я не осуществилъ ни одного изъ вашихъ ожиданій, и все-таки я хотѣлъ бы васъ видѣть. Въ самомъ, дѣлѣ, милая, непрѣдѣльная, дающая мнѣ жизнь, прогоняющая мои огорченія и поддерживающая мое мужество въ часы печали — эта надежда ласкаетъ меня и ободряетъ. Всѣ мои страшныя усилия — только для васъ. Если я хочу стать чѣмъ-нибудь, если я работаю, если я цѣлыми почами изнуряю себя — то клянусь вамъ только

отъ того, что я переживаю ваши волненія, я стараюсь заранѣе угадать ихъ: такъ, напр., я въ отчаяніи, что не знаю, кончили ли вы Ferragus, потому что письмо madame Jules — страница слезъ и я думалъ о васъ, предлагая вамъ въ ней изображеніе любви, наполняющей мое сердце, любви желанной и никогда не извѣданной. Почему? Вѣроятно я слишкомъ люблю. Я ненавижу все мелкое и безъ колебаній вѣрю въ прекрасное. Я подписалъ на вашемъ экземплярѣ *Луи Ламбера* латинское изреченіе св. Павла: *una fides*, одинъ разъ, любить только разъ! Господи! Я васъ очень люблю, знайте это... Знайте, что моя мысль каждый день съ вами, что отъ васъ я почерпаю мужество, что каждое ваше жесткое слово для меня горе и рана. Будьте добрая и великодушная; вы не найдете никогда (я желалъ бы сейчасъ быть на колѣняхъ передъ вами, чтобы вы могли увидеть всю мою душу въ глазахъ) сердца ни болѣе преданного, ни болѣе обширного, ни болѣе исключительного... Я хотѣлъ бы окутать васъ моей душой!».

Послѣ этого письма Бальзакъ, должно быть, получилъ разрѣшеніе прѣѣхать познакомиться, потому что въ слѣдующемъ письмѣ (отъ конца августа 1833 г.) онъ пишетъ, что черезъ нѣсколько времени онъ явится въ Невшатель. Въ Іїеневѣ Еву Ганску окружало слишкомъ много родныхъ и знакомыхъ и потому ей было бы неудобно видѣться тамъ съ Бальзакомъ. Она приказала ему соблюдать строжайшую тайну и Бальзакъ придумалъ цѣлую исторію, чтобы имѣть предлогъ уѣхать изъ Парижа. Онъ давно уже думалъ начать дешевые изданія и теперь воспользовался случаемъ, чтобы поѣхать какъ будто въ Безансонъ закупить бумаги для этихъ изданий. Но недостатокъ средствъ помѣшалъ Бальзаку исполнить сейчасъ же страстное желаніе. «У меня къ деньгамъ такое же презрѣніе какъ и у васъ, пишетъ онъ Евѣ, но деньги нужны и вотъ почему я примусь съ жаромъ за обширное и выходящее изъ ряда вонъ предпріятіе, которое въ январѣ должно возникнуть. Вамъ будетъ пріятно, если оно удастся. Оно дастъ мнѣ возможность путешесвовать быстрѣе и чаще бывать у васъ. *Una fides*; да, мой ангель любимый, любить одинъ разъ и всю эту любовь отдать вамъ. Это очень поздно для молодого человѣка съ ѿдѣянными волосами; но у него сердце очень пылкое, оно такое какъ вы желаете: наивное, дѣтское, довѣрчивое»...

Бальзакъ еще ни разу не видѣлъ Евы Ганской, не видалъ даже и ея портрета, а уже весь полонъ любовью къ ней; она наполняетъ его даже во время работы, къ которой — какъ извѣстно — онъ относился какъ къ священнодѣйствію. Онъ пишетъ Евѣ о второй части «Деревенскаго доктора», и прибавляетъ: «Вы видите одно имя (Эвелина), написанное съ восторгомъ на каждой страницѣ. Мнѣ было такъ пріятно заниматься вами, говорить съ вами!»

И, повидимому, чѣмъ труднѣе Бальзаку осуществить мечту: увидѣть

интересную незнакомку — тѣмъ ярче разгорается пламя его любви. «Какъ вы говорите, чтобы мнѣ не любить васъ? пишетъ онъ 9 сентября 1833 г., вы явились издалека и первая отогрѣла сердце, которое уже отчаявалось любить! Я все сдѣлалъ, чтобы призвать къ себѣ ангела свыше: слава была для меня только маякомъ, не больше. И вы угадали все: душу, сердце и человѣка... Я бы хотѣлъ теперь посвятить вамъ всю мою жизнь, думать только о васъ, писать для васъ одной. Если бы я былъ обеспеченъ, я съ радостью принесъ бы — какъ єпіамъ — на алтарь любви всѣ пальмы, всю славу, всѣ самыя лучшія мои произведенія... Любить, Ева, — въ этомъ моя жизнь!..»

«Я давно хотѣлъ попросить у васъ вашъ портретъ... Но я хочу имѣть его только послѣ того, какъ увижу васъ... Простите меня, дорогая, но я люблю васъ, какъ любить ребенка, со всѣми радостями, со всѣми предразсудками, со всѣми иллюзіями первой любви. Милый ангель! Сколько разъ я говорилъ себѣ: «Если бы меня полюбила женщина двадцати семи лѣтъ, какъ я былъ бы счастливъ! Я могъ бы любить ее всю жизнь, не боясь разлуки, обусловливаемой возрастомъ». И вы, вы, мой кумиръ, вы можете навсегда быть воплощеніемъ этой мечты любви... Зачѣмъ вы оставляете пустыя страницы въ вашихъ письмахъ? Но оставляйте, оставляйте. Не надо ничего принужденаго! Я самъ заполняю эти бѣлыя страницы. Я говорю себѣ, что ваша рука лежала на нихъ и цѣлую ихъ!»

Рядомъ съ этими изѣясненіями въ любви, Бальзакъ постоянно говорить о своихъ работахъ; онъ все время держитъ любимую женщину au courant своихъ замысловъ и своихъ дѣлъ. По этой перепискѣ можно будетъ возстановить всю исторію произведеній великаго автора «Человѣческой комедіи». Но мы пока оставимъ это въ сторонѣ и прослѣдимъ исторію любви Бальзака, до сихъ поръ еще не описанную такъ подробно, какъ это сдѣлалъ онъ самъ въ своихъ письмахъ. «Любить, говорить онъ, значитъ, не имѣть въ своемъ сердцѣ ничего, кроме любимаго существа. Если этого нѣтъ — значитъ, нѣтъ любви. У меня уже нѣтъ мыслей, кроме какъ о васъ: моя жизнь — вы. Огорченія?.. Съ нѣкоторыхъ поръ у меня нѣтъ ихъ. У меня есть печали и горе только отъ васъ; все остальное — непріятности. Я говорю себѣ: «Я такъ счастливъ, что долженъ платиться за это...» Преслѣдованіе, несправедливость закаляютъ мое мужество. Я безсиленъ только противъ нѣжныхъ чувствъ. Одна вы можете уязвить меня, Ева! Я у вашихъ ногъ: я отдаю вамъ мою жизнь, мое сердце. Убейте меня разомъ, но не заставляйте меня страдать. Я вѣрю люблю всѣми силами моей души, не разбивайте этихъ прекрасныхъ надеждъ!»

Въ слѣдующемъ письмѣ (18 сентября 1833 г.) онъ уже объявляетъ ей, что выѣзжаетъ 22-го сентября, чтобы познакомиться съ нею, и дѣйствительно 26-го мы видимъ его уже въ Невшатель.

Первая встрѣча Бальзака съ любимой имъ женщиной разсказывается на разные лады. По одной изъ этихъ версій оказывается, что онъ пріѣхалъ въ Невшатель, не зная ничего кромѣ названія гостиницы, куда онъ долженъ былъ явиться въ опредѣленный часъ; ему было приказано войти въ садъ и узнать посреди сидѣвшихъ на террасѣ особъ свою «Иностранку». Говорять, что Ева Ганская, державшая въ рукахъ томъ Бальзака, издали увидала его и сейчасъ же узнала, благодаря его повсюду распространеннымъ портретамъ. Книга выпала у нея изъ рукъ. Онъ бросился къ ней и они оба въ искреннемъ сердечномъ порывѣ вскрикнули: Ева!.. Онора!..

По другой же версіи — Ева Ганская была глубоко разочарована при видѣ толстенькаго и неэлегантнаго Бальзака. Но онъ скоро заставилъ ее забыть это первое впечатлѣніе и минутное разочарованіе.

У Шпольберга имѣется въ рукахъ драгоцѣнныи документъ, подробно и искренно передающій впечатлѣніе, произведенное на Бальзака Ганской и пятью днями, проведенными близъ нея въ Швейцаріи. Этотъ документъ — собственноручное письмо Бальзака къ сестрѣ:

«Я встрѣтилъ тамъ все, что только можетъ льстить тщеславію животнаго, именуемаго человѣкомъ, самой тщеславной разновидностью котораго является поэтъ... Но, что я говорю о тщеславіи!.. Нѣть, тутъ нѣть ничего подобнаго. Я счастливъ, очень счастливъ мысленно, en tout bien tout honneur пока. Къ несчастью, проклятый мужъ всѣ пять дней ни на секунду не оставилъ насъ съ ней вдвоемъ. Онъ переходилъ отъ юбки жены къ моему жилету... Я былъ какъ въ пеклѣ. Я не выношу принужденности. Дѣло въ томъ, что намъ двадцать семь лѣтъ, что мы удивительно хороши, что у насъ самые красивые черные волосы въ мірѣ, нѣжная и поразительно тонкая кожа, какая бываетъ у брюнетокъ, что у насъ маленькая ручка, какъ у амура, и наивное двадцатисемилѣтнее сердце; это настоящая M-me de Линьель, неосторожная до такой степени, что готова была при всѣхъ броситься мнѣ на шею.

«Я не говорю тебѣ о ея колоссальномъ богатствѣ; что оно въ сравненіи съ ея красотой, которую я только могу сравнить съ красотой княгини Bellejoyeuse¹), только неизмѣримо лучше... Я былъ опьяненъ любовью!.. Я счастливъ какъ ребенокъ... Господи! Какъ хорошоѣ этотъ Val de Travers, какъ прелестно Биенское озеро!.. Мы отослали мужа позаботиться о завтракѣ, но все-таки были на виду и тутъ-то подъ тѣнью большого дуба былъ данъ первый тайный поцѣлуй любви. Затѣмъ — такъ какъ мужу уже подъ шестьдесятъ — я поклялся ждать, а она сохранить мнѣ и руку и сердце».

Бальзакъ провелъ пять дней въ Невшатель и уѣхалъ съ тѣмъ,

¹) Бальзакъ называлъ всегда такъ кн. Бельджюйозо.

чтобы черезъ мѣсяцъ опять пріѣхать повидаться съ Евой въ Женевѣ. По возвращеніи въ Парижъ, онъ пишетъ ей уже на «ты», называетъ ее «ch『re』 erouse d'amour», говорить ей, какъ будущей женѣ все, что касается его дѣлъ, заботъ и радостей. Опять безденежье гнететъ его, но онъ пишетъ ей, что теперь у него больше силъ для работы, больше энергіи.

«Въ продолженіе цѣлаго мѣсяца я буду усиленно работать, — все для того, чтобы видѣть тебя; ты во всѣхъ моихъ мысляхъ, въ каждой написанной мной строчкѣ, въ каждой минутѣ моей жизни, во всемъ моемъ существѣ, въ каждомъ моемъ волосѣ»...

Съ этой поры Бальзакъ обѣщаетъ писать Евѣ каждый вечеръ, записывать все, что онъ дѣлалъ, и разъ въ недѣлю отсылать этотъ дневникъ Евѣ.

«Завтра, въ понедѣльникъ, 7-го (октября) я начну мой дневникъ, онъ будетъ прерываться только въ дни счастья, когда моя счастливая звѣзда позволитъ мнѣ тебя видѣть... Теперь, моя супруга, моя обожаемая, чтобы я не писалъ тебѣ, спѣши, грустно или весело,—знай, что въ моей душѣ живетъ громадная любовь, что ты наполняешь мое сердце, жизнь мою, что хоть я и не всегда хорошо высказываю тебѣ эту любовь — тѣмъ не менѣе ничто ее не охладить... Какъ я люблю тебя и какой бальзамъ эта любовь для меня, — теперь для меня нѣть горя! Ты моя сила и ты ви-дишь это!»

Бальзакъ работаетъ по прежнему лихорадочно, торопливо, но по прежнему обдуманно и со свойственной ему усидчивостью и добросовѣстностью. Онъ даетъ себѣ отдыхъ по четверть часа и въ эти пятнадцать минутъ переживаетъ пять дней, проведенныхъ въ Невшателѣ, вспоминаетъ Val de Travers, отдѣльные слова, отдѣльные взгляды. Письма его за это время полны необыкновенной прелести; онъ точно воскресъ, точно переродился. Онъ такъ боялся, что Ева, увида его, разочаруется и разлюбить его, что когда этого не случилось — онъ вѣнчъ себя отъ восторга. Онъ не находитъ достаточно нѣжныхъ словъ, чтобы высказать ей свою любовь («я хотѣлъ бы изобрѣсти слова и ласки только для тебя одной»), заботится обѣ ея здоровье, успокаиваетъ ея тревоги, боится дать ей хоть минуту печали или беспокойства. «Я только тобой одной дышу, обѣ одной тебѣ думаю, работаю только тобой и для тебя». Безденежье и житейскія невзгоды попрежнему беспокоятъ его, но онъ уже относится къ нимъ спокойнѣе. «Моя прекрасная, тайная жизнь — мнѣ утѣшеніе во всемъ». Онъ не меньше прежняго хлопочетъ о своемъ материальномъ благосостояніи, но у него для этого теперь ясная и опредѣленная цѣль: быть какъ можно свободнѣе материально и нравственно, чтобы всегда имѣть возможность поѣхать и увидать любимое существо. Разставшись съ Евой въ Невшателѣ, онъ только и думаетъ, что о предстоящемъ свиданіи въ Женевѣ». «Я вздрогиваю двадцать разъ въ день при мысли, что увижу тебя», пишетъ онъ. Работа и любовь наполняютъ всю его жизнь. Какъ только Бальзакъ

перестаетъ работать, онъ принимается за письмо къ Евѣ; онъ спить только пять часовъ въ сутки, выходитъ гулять только къ себѣ въ садъ, чтобы опять-таки подумать о своей Евѣ. «Я только что изъ сада, пишетъ онъ; я сорвалъ одну изъ послѣднихъ фіалокъ; гуляя, я пѣлъ тебѣ гимнъ любви; посылаю его тебѣ на этой фіалкѣ; посылаю поцѣлуи на этомъ лепесткѣ розы. Роза значитъ поцѣлуй; фіалки — думы. Работа и ты — вотъ весь міръ для меня. Внѣ этого — ничего».

Онъ думаетъ о ней, когда слушаетъ музыку, посыпаетъ ей камелію, потому что она цѣлую недѣлю во время его работы стояла передъ нимъ и онъ подыскивая подходящія слова смотрѣлъ на ея бѣлые лепестки; когда у него не случилось цвѣтка подъ рукой — онъ посыпаетъ ей кусочекъ спички, которую онъ держалъ губами въ то время, какъ писалъ ей письмо; съ этой спичкой онъ посыпаетъ ей и тысячу поцѣлуевъ.

Изъ писемъ Бальзака видно, что и отвѣты на нихъ были не менѣе нѣжные и страстные. По нѣкоторымъ фразамъ можно судить, что Ева безгранично полюбила его и мучилась и ревностью, и разлукой, и своимъ подневольнымъ положеніемъ. Она съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждѣтъ его прїѣзда въ Женеву. Цѣлый мѣсяцъ они оба только и живутъ этимъ ожиданіемъ. Двадцать восьмое письмо Бальзака уже написано въ Женевѣ. Помѣчено оно: «конецъ декабря 1833». Онъ извѣщаетъ Еву, что прїѣхалъ, и говорить: «черезъ минуту я все скажу тебѣ, моя боготворимая; въ одномъ взглядѣ я скажу тебѣ больше, чѣмъ на тысячѣ страницъ... Не одна, а миллионы ласкъ предстоять намъ. Я такъ счастливъ, что не могу больше писать».

По біографіи Бальзака извѣстно, что эта поѣздка автора «Человѣческой комедіи» рѣшила его судьбу и привела его къ браку съ М-те Ганской. Но этотъ бракъ совершился лишь 15 апрѣля 1850 года. Цѣлыхъ семь-надцать лѣтъ прошло въ ожиданіи, и между веселымъ, страстнымъ и пылкимъ человѣкомъ, явившимся въ концѣ декабря въ Женеву, и Бальзакомъ, прїѣхавшимъ въ Парижъ послѣ свадьбы — нѣть ничего общаго.

Мучительная болѣзнь Бальзака, его послѣдняя поѣздка въ Россію, его грустная свадьба въ Бердичевѣ описаны столько разъ, что, конечно, всѣмъ извѣстны. Его краткая женатая жизнь окрашена однимъ мрачнымъ цвѣтомъ. Полагаютъ, что на нервнаго и больного Бальзака отчасти повліяло первое впечатлѣніе прїѣзда домой послѣ свадьбы. Извѣстно, что онъ всю жизнь приготовлялъ гнѣздышко для своего таинственного божества, собирая художественные произведенія, украшалъ и любилъ комнаты, где должна была начаться для него настоящая, полная жизнь. Когда онъ обвѣнчался съ Евой Ганской, онъ написалъ матери, назначилъ день прїѣзда въ Парижъ и попросилъ приготовить все къ встрѣчѣ ихъ: убрать комнаты цвѣтами, ярко освѣтить ихъ и оставить все на попеченіи лакея Франсуа, старого и преданного слуги Бальзака. М-те Бальзакъ такъ и

сдѣлала, приготовила все и уѣхала къ себѣ, куда на слѣдующій день долженъ быть пріѣхать ея сынъ съ женою.

Когда «молодые» подъѣхали къ своему дому—они увидали, что все готово къ ихъ встрѣчѣ: окна были освѣщены; но сколько они ни звонили, имъ не отворяли. Пришлось взломать двери. По ярко освѣщенныемъ комнатамъ бродилъ ничего не сознававшій Франсуа: онъ внезапно, уже послѣ отѣзда матери Бальзака, сошелъ съ ума.

Черезъ четыре мѣсяца послѣ свадьбы Бальзакъ, какъ извѣстно, умеръ; умеръ еще въполномъ разцвѣтѣ своего громаднаго дарованія, съ безкочечнымъ запасомъ идей и замысловъ, со страстной жаждой любви и счастья.

Ек. Лѣткова.

СОНЕТЫ ПЕТРАКИ.

I.

Сорвавшись съ Альпъ холодной высоты,
Угрюмыхъ скалъ раздринувъ мощно своды,
Мчить Рона вдаль серебряныхъ воды,
Куда меня зовутъ мои мечты.

Мнѣ не поспѣть, о Рона, за тобой...
Иди впередъ, — но бѣгъ нетерпѣливый
Останови, гдѣ ярче зелень нивы,
Гдѣ чистъ и ясенъ воздухъ голубой,
Гдѣ такъ свѣтло, гдѣ берегъ твой цвѣтеть,
Гдѣ наше солнце свѣтитъ и живеть
И обо мнѣ, быть можетъ, вспоминаетъ...

И въ тихомъ рокотѣ твоихъ пѣвучихъ струй
Она подслушаетъ тотъ робкій поцѣлуй,
Что издали ей путникъ посылаетъ...

II.

Передъ звѣздой съ прекрасными очами
Полны любви счастливыя мечты...
Гдѣ нѣтъ ея — тамъ нѣтъ и красоты
И ночь свѣтла любви ея лучами...

И рядомъ съ ней — нѣтъ мѣста для другой,
Вѣка прошли — и не было ей равной.
Что красота гречанки своенравной,
Троянской плѣнницы предъ этой красотой?

Гдѣ гордость Аргоса, гдѣ чары Гипсипилы,
Гдѣ слава римлянки, что темный мракъ могилы
Безславной жизни смѣло предпочла?..

Зачѣмъ-же ты на небѣ нашей ночи
Такъ рано гасишь пламенные очи
И поздно такъ свои огни зажгла?..

Ник. Соколовъ.

ПОЭЗІЯ ПЕССИМИЗМА.

Луиза Аккерманнъ.

«Тотъ кто истину — какая бы она ни была —
не ставить выше всего, тотъ не свободный
человѣкъ.

А. Г.

I.

М-ме Ackermann можетъ служить лишній разъ примѣромъ той неизмѣримой пропасти, которая раздѣляетъ публику отъ настоящаго художника. Реклама — эта позорная сила нашего вѣка — никогда не занималась ея именемъ. Ея скромно-отшельническая жизнь протекла тихо, незамѣтно для большого свѣта и многіе въ первый разъ услыхали ея имя, когда вся парижская печать вѣнчала ея могилу. Всѣ газеты и журналы вдругъ заговорили о ней. Болтливый «Figaro» и благопристойный «Temps», клерикальная «Estafette» и радикальный «Intransigeant» помѣщали о ней статьи и были согласны въ одномъ: что Луиза Аккерманнъ была выдающимся поэтомъ и замѣчательной женщиной. И теперь еще продолжаютъ появляться о ней статьи. Въ сентябрьской книжкѣ 1891-го года «Revue des deux Mondes» благодарнамѣренный Haussonville помѣстилъ о ней цѣлое изслѣдованіе, въ которомъ, не смотря на различіе ихъ точекъ зрѣнія, вполнѣ признаетъ ея большое дарованіе и силу ея стиха.

Въ русской литературѣ смерть М-ме Ackermann прошла почему-то совсѣмъ незамѣченной. Между тѣмъ въ былое время и у насъ переводили ея стихотворенія (Вейнбергъ, Курочкинъ), а «Отечественные Записки» вскорѣ послѣ появленія ея «Poésies Philosophiques» въ 1876-омъ году помѣстили о ней статью, въ которой разбирали ея дѣятельность и значеніе.

Умерла М-ме Ackermann 77 лѣтъ. Ея портретъ, талантливо исполненный молодымъ, безвременно погибшимъ художникомъ Островскимъ, изображаетъ ее намъ серьезной старушкой, энергичной не по женски, съ высокимъ лбомъ и великолѣпными глазами, освѣщающими своимъ блескомъ

уже утомленное годами лицо. Была-ли она когда-нибудь красива? Неизвестно. Ни у кого изъ ея друзей не сохранилось другого портрета, а она сама слишкомъ пренебрегала всѣмъ виѣшнимъ, чтобы хотя этой слабостью походить на женщину: «Si vous saviez comme je m'arrangeais...» говорила она... «мое стремлѣніе была свобода, а красавая женщина не можетъ быть свободной». Будучи очень плохого мнѣнія о женщинахъ вообще, она откровенно выражала имъ свое недоброжелательство и оставалась логична до конца, не желая ни въ чемъ походить на нихъ. «Женщина, писала она, существо низшее, главная функція которой есть воспроизведеніе рода. Къ сожалѣнію, она не можетъ исполнить эту работу одна, ей нуженъ сотрудникъ. Всѣ ея желанія, всѣ ея усилия направлены только къ тому, чтобы его заполучить. Она — слѣпой инструментъ въ рукахъ природы, цѣлямъ которой она прекрасно помогаетъ. Но, такъ какъ природа старается избѣжать лишней расточительности, то она отказалась женщинѣ во всякой серьезной умственной способности». М-те Ackermann сама съ неподражаемымъ юморомъ объявляла, что судьба предназначала ей родиться мужчиной, а отецъ ея вполнѣ разсчитывалъ имѣть сына-нотаріуса: *Je devais être notaire; mon père était déterminé d'avoir un fils à ce métier.* Каково было его разочарованіе, когда вместо нотаріуса у него родилась дочка!

Я видѣлась съ М-те Ackermann въ зиму 1887-го года, вскорѣ послѣ ея первого нервнаго удара. Жила она въ той симпатичной сторонѣ латинскаго квартала, которая еще сохранила поэзію старины: при домахъ тамъ крошечные внутренніе садики, окна и двери обыкновенно причудливыхъ формъ. Здѣсь часто попадаются мастерскія художниковъ; улицы узки. Все говорить здѣсь о напряженной кипучей умственной жизни мыслящаго пролетаріата. Rue des Feuillantines, 12, былъ именно тотъ домъ, гдѣ нѣкогда жила Georges Sand и гдѣ, возвратясь изъ Ниццы, М-те Ackermann поселилась на 19 лѣтъ. Если признать, что обстановка почти всегда сильно характеризуетъ того, кто живетъ въ ней, то обстановка М-те Ackermann вполнѣ подтверждала эту мысль. Все въ ея домѣ было до-нельзя просто, чисто, серьезно, чтобы не сказать сурово. Мебель—незатѣйливая, съ прямыми спинками и жесткими сидѣніями, ея было очень немногого, стояла она по стѣнамъ въ чинномъ порядкѣ. На большомъ ея рабочемъ столѣ изъ краснаго дерева аккуратно были разложены журналы, во всемъ чувствовалась педантичная любовь къ порядку, ненависть къ роскоши и всякому излишеству. Одѣта она всегда была въ черномъ, и даже не одѣта, а завернута въ какіе-то платки и косынки. Писатель Paul Desjardin принялъ ее однажды на улицѣ за *«loueuse de chaises»* и какъ истый парижанинъ, не могъ прийти въ себя отъ изумленія, когда узналъ, что это—поэтесса, М-те Ackermann. Но обыденная, буржуазная ея виѣшность стушевывалась въ томъ общемъ

симпатичномъ впечатлѣніи, которому особенно способствовали ея чудные, сильные мыслю, глаза, тѣмбръ честнаго голоса и всегда умная, оживленная рѣчь. Вы постепенно забывали, что говорите съ женщиной; съ вами бесѣдовалъ серьезный, умный человѣкъ и вы никогда не рисковали скучать или прослушать что-нибудь пустое, банальное. Разговоръ преимущественно вертѣлся на темахъ философскаго и нравственнаго содержанія. М-те Ackermann посвящала васъ въ свое міровоззрѣніе, съ самыми спокойными, безмятежными видомъ говоря вамъ, что она пессимистка, что жизнь есть зло и что невозможно исповѣдывать другой доктрины. Ея взгляды на любовь тоже были самые безотрадные. Она бывала въ отчаяніи, когда кто-нибудь изъ ея друзей женился. Женатый человѣкъ былъ для нея потеряннымъ, вѣроятно, изъ-за его законной (она въ своей наивности не предполагала другой) близости къ женщинѣ. Женщины въ ея глазахъ были самыми презрѣнными существами. «*Elles sont toutes si instinctives*», говорила она, выражая этимъ терминомъ ихъ склонность ко всему запретному. И доводила она эти взгляды до самыхъ послѣднихъ предѣловъ. Нѣкоторые изъ нихъ очень напоминаютъ Крейцерову Сонату. Однажды, замѣтивъ, что пришедшая навѣстить ее молодая дама въ интересномъ положеніи, она попросила ее удалиться, сказавъ ей: «Сударыня, женщина, которую я принимаю, должна убить въ себѣ самку». Въ другой разъ ей пришлось также строго поступить съ одной подругой дѣтства, тогда уже старушкой шестидесяти лѣтъ. Разговоръ шелъ о Кантѣ, о категорическомъ императивѣ. Сидѣли у камина. Вдругъ М-те Ackermann показалось, что ея пожилая подруга слишкомъ «чувственно» передала каминные щипцы такому-же старому, какъ и она, господину. Виновница было объявлена *«instinctive»* и была навсегда изгнана изъ салона Аккерманъ. Но человѣческой натурѣ не дано быть вполнѣ послѣдовательной въ пессимизмѣ и ригоризмѣ. Какъ-бы противорѣчіемъ аскетизму М-те Аккерманъ является ея слѣпое поклоненіе Musset, которого она такъ горько оплакиваетъ въ прекрасномъ стихотвореніи *«Ode à Musset»*; или, напримѣръ, одна изъ ея *«Pensées»*: «любовь, какъ тебя ни обвиняй и ни проклинай, только у тебя одной приходится просить силы и пламени»¹⁾). Но, очевидно, это были только проблески юной и страшной мечты, которую она впослѣствіи съумѣла похоронить безслѣдно и безвозвратно. «Я могу быть смѣла въ моихъ философскихъ умозрѣніяхъ, говорила она; но зато я всегда была чрезвычайно осмотрительна въ моемъ поведеніи. Это, впрочемъ, понятно. Неосторожности дѣлаютъ только со стороны своихъ страстей; а я не знала страстей, кроме страстей ума». Вѣроятно, боясь именно этой свободы для женщины, она была противъ женскихъ лицеевъ и высшаго образования; имя-же независимой Lélia она произносila съ тѣмъ выраженіемъ священнаго ужаса и

¹⁾ L. Ackerman. *«Pensées d'une solitaire»*, pag. 17.

надменнаго презрѣнія, съ которымъ говорить христіанинъ фанатикъ объ еретикѣ.

Какъ всѣ отшельницы, она была полна собой. Она не скрывала почти дѣтской радости при похвалахъ ея таланта и съ удовольствиемъ рассказывала свою биографію всякому посѣтителю, выражавшему на то свое желаніе. Впослѣдствіи она напечатала ее въ началѣ своего томика стиховъ, подъ названіемъ «Ma vie». Переидемъ-же къ этой жизни, удивительной по своей цѣльности и здравому равновѣсію, жизни, которая на всемъ своемъ протяженіи сохранила характеръ спокойствія и созерцанія.

II.

Луиза Аккерманъ была дочь иѣкоего Шюкѣ, состоятельного буржуа, служившаго въ Сенскомъ коммерческомъ судѣ. И отецъ, и мать ея были парижане, но родомъ изъ Пикардіи. Родилась она въ Парижѣ 30 ноября 1813 года; но лѣтъ черезъ пять отецъ перевезъ всю семью въ деревню, такъ какъ рѣшилъ бросить службу частью вслѣдствіе нездоровья, частью же просто изъ любви къ независимости и свободѣ. Дѣтство протекло для нея грустно, безъ ласкъ, въ которыхъ она, впрочемъ, по собственнымъ ея словамъ, не нуждалась, при постоянныхъ выговорахъ матери, отчаянно скучавшей въ деревнѣ и находившейся въ состояніи хронического раздраженія. Дѣтей маленькихъ Шюкѣ не любила, она не умѣла съ ними играть, не интересовалась ихъ забавами. Она предпочитала одиночество, любила уходить въ уголокъ сада, наблюдать природу въ ея разнообразной жизни; наскокомъ своей микроскопической дѣятельностью, боязливой и возбужденной, сосредоточили ея вниманіе; она съ любовью изучала ихъ и все больше и больше уходила въ себя.

Понятно, что при такомъ складѣ характера она должна была страстно полюбить чтеніе. Еще до того, какъ научилась читать, она съ благоговѣніемъ смотрѣла на библіотеку отца, и была въ восхищеніи, когда ей удавалось услышать что-нибудь изъ чтенія родителей.

Когда Луизѣ минуло 12 лѣтъ, мать рѣшила отдать ее въ пансіонъ для подготовки къ довольно сложному католическому обряду первого причастія. Серьезная, сосредоточенная, довѣрчивая Луиза Шюкѣ была поражена главными католическими догматами, со страстью отдалась вѣрѣ, и, вѣроятно, со временемъ пошла бы въ монастырь, если бы не вліяніе отца, который пришелъ въ ужасъ отъ ея душевнаго состоянія. Онъ сталъ давать ей читать Вольтера, Бюффона и другихъ скептиковъ и логістовъ. Мало-по-малу ея экзальтированность успокоилась и она снова занялась книгами, читая, что попадалось. Любовь къ поэзіи не покидала ее и къ 14 годамъ у нея самой начали слагаться рифмы.

Узнавъ объ этомъ мать сильно перепугалась: съ ея буржуазной точки

зрѣнія это было нечто ужасное. Она рѣшилась отобрать у дочери все книги, но когда та отъ этого заболѣла, должна была снова разрешить чтеніе. Въ отчаяніи она просила совѣта у одной своей пріятельницы, парижанки, которая посмотрѣла на дѣло иначе, посовѣтовала продолжать образованіе дочери и поощрять ея способности. Тогда Луизу отдали въ пансионъ къ нѣкотою м-те Daubrée. Товарки относились къ ней недоброжелательно, а замѣтили однажды, что она пишетъ стихи, подняли ее на смѣхъ. Дѣло дошло до м-те Daubrée, которая вздумала при этомъ случай засадить весь классъ за писаніе стиховъ.

Луизѣ Шюкѣ былъ порученъ выборъ темъ для стихотвореній. Она выбирала своихъ героевъ между самыми громкими историческими личностями, воспѣвая Наполеона, Карла Великаго и др. Преподаватели не скрывали своего восхищенія передъ молодой поэтессы и одинъ изъ нихъ даже носилъ ея произведенія Виктору Гюго, который далъ разные совѣты и указанія по поводу ритма и стиха, навсегда запечатлевшіеся въ памяти талантливой дѣвушки. Она говорила, что жизнь въ пансионѣ была для нея просто наслажденіемъ. Работала она много, читала Шиллера, Гете, Байрона, съ которыми ей открывался совсѣмъ новый поэтический міръ. Всѣ предсказывали ей блестящую литературную будущность.

Послѣ трехъ лѣтъ пансионной жизни, Луиза Шюкѣ вернулась домой, въ деревенскую тихую обстановку своей «Reverie», какъ называлось имѣніе ея родителей. Тутъ она продолжала прежнія занятія, чтеніе и была бы вполнѣ довольна, если бы не сосѣдство одного семейства, которое вѣчно устраивало какія-нибудь празднества и увеселенія. Мать ея требовала, чтобы и она посѣщала эту семью, танцевала на ихъ балахъ, принимала участіе во всевозможныхъ «parties de plaisirs». Луизѣ все это было нестерпимо. Въ свѣтское общество она всегда приходила угрюмой, неразговорчивой; она держалась въ сторонѣ и была, разумѣется, только въ тягость хозяевамъ, что прекрасно сама сознавала. Отецъ оберегалъ ее отъ приставаний матери, но исторіи не прекращались.

Вскорѣ отецъ ея умеръ. Луиза лишилась въ своемъ отцѣ единственнаго сочувствовавшаго ей въ семье человека. Ихъ характеры гармонировали, они относились съ большимъ пониманіемъ и сочувствіемъ другъ къ другу.

Но и послѣ смерти отца Луиза не прекратила борьбы за свою самостоятельность. Послѣ долгихъ усилій она завоевала себѣ возможность жить, какъ ей нравилось и какъ того требовалъ весь складъ ея натуры. Она даже вскорѣ выпросила себѣ разрешеніе съѣздить въ Берлинъ, къ нѣкимъ Шубартамъ, которые держали образцовый пансионъ для дѣвицъ.

Здѣсь она прожила одинъ годъ, затѣмъ съ сожалѣніемъ вернулась въ Парижъ. Но черезъ два года по смерти матери, она рѣшила снова отправиться въ Берлинъ къ своимъ добрымъ Шубартамъ.

III.

Живя въ Берлинѣ, Луиза Шюкѣ продолжала вести свой любимый, занятой и замкнутый образъ жизни, изучая древніе и новые языки, зачитываясь философскими сочиненіями самыхъ разнообразныхъ школъ. Знакомыхъ у нея было мало—нѣсколько литераторовъ и ученыхъ, посѣшившихъ домъ ея друзей. У нихъ же она познакомилась со своимъ будущимъ мужемъ Paul Ackermann'омъ. Это былъ красивый молодой человѣкъ, скромный, мягкий, сдержанній. Родомъ изъ Эльзаса, онъ работалъ временно въ Берлинѣ надъ бумагами Фридриха II, приготвляя ихъ къ печати. Родители предназначали его въ духовное званіе, но онъ не докончилъ курса теологии, утративъ мало-по-малу къ ней склонность. Тѣмъ не менѣе эта первая школа навсегда наложила на него отпечатокъ строгостью своихъ нравовъ и пуританскихъ чувствъ. Серьезная, работящая Луиза Шюкѣ произвела на него сразу большое впечатлѣніе. Долго не выказывалъ онъ ей своего чувства. Наконецъ, когда Луиза собралась уѣзжать изъ Берлина, онъ рѣшился просить ея руки. Отношеніе будущей M-me Ackermann къ этой любви было самое оригинальное. Сперва, судя по собственнымъ ея письмамъ, эта любовь скорѣе раздражала ее. Ея мечта была жить свободной жизнью, посвященной наукѣ. Наконецъ, упорное и сильное чувство Аккермана тронуло ее, общность ихъ вкусовъ и стремленій, та помощь, которую она надѣялась найти въ его просвѣщенномъ умѣ, побѣдили ее и она дала свое согласіе, но безъ малѣйшаго энтузіазма или увлеченія. «Если бы мнѣ объявили наканунѣ моей свадьбы, говорила она, что мой женихъ умеръ, я отвѣтила бы: какъ жаль, право, онъ былъ очень хороший малый». Въ одномъ письмѣ къ своей сестрѣ она пишетъ: «Я предпочла бы въ тысячу разъ быть предметомъ закорѣнѣлой ненависти, чѣмъ такой привязанности. Аккерманъ молодъ, очень пріятной наружности. Не будучи красавцемъ, онъ одержалъ здѣсь много побѣдъ своими чудными волосами, красивыми глазами и особенно той страстной манерой, которая вездѣ нравится женщинамъ. У него хорошее положеніе, есть будущность: его прежняя жизнь всѣмъ известна, его поведеніе безукоризненно; это человѣкъ высокой нравственности. Такъ вотъ я желала бы имѣть какую-нибудь подругу, которой я могла бы его уступить, такъ какъ мнѣ менѣе чѣмъ когда-либо хочется выходить замужъ. Я не знаю, какая діавольская мысль пришла ему такъ привязаться ко мнѣ. Что вѣрно, это то, что ни молодость и не красота увлекли его. Говорять, что некрасивыя женщины возбуждаютъ самыя сильныя страсти. Вотъ тому примѣръ. Къ несчастью, я могу только уваженіемъ и дружбой отвѣтъ на такую любовь».

Убѣдясь окончательно, что ея женихъ имѣеть одинаковые съ ней взгляды

и также пессимистично смотрить на жизнь и на ея продолжение, Луиза Шюэ въ 1843 году вышла за него замужъ и стала носить то имя, подъ которымъ она впослѣдствіи сдѣлалась извѣстной. Въ сущности это было не замужество, а братскій союзъ. Впрочемъ, живя съ Аккерманномъ, она была вполнѣ счастлива — просто, буржуазно, самымъ тщательнымъ образомъ скрывая свое поэтическое дарование. Она говорила, что слишкомъ дорожить его уваженiemъ, чтобы признаться ему въ томъ, что пишетъ стихи. «Мой мужъ, писала она впослѣдствіи, ни за что не допустилъ бы, чтобы его жена декольтировалась; тѣмъ болѣе запретилъ бы онъ ей печатать стихи. Писать для женщины — это декольтироваться; только можетъ быть менѣе неприлично показывать свои плечи, чѣмъ свое сердце»¹).

Жизнь супруговъ Аккерманнъ носила характеръ какой-то удивительно спокойной, работящей идиліи. Они мало принимали, но зато тѣ, кто бывалъ у нихъ принадлежали къ тому, что французы называютъ *d'élite*: Александръ Гумбольдтъ, Варнхагенъ, Юханесъ, Мюллеръ, Бѣкъ и др. Интеллигентные иностранцы, проѣзжая Берлинъ, непремѣнно посѣщали ихъ домъ. Кромѣ другихъ работъ П. Аккерманъ задумалъ издать большой исторический лексиконъ, въ родѣ лексикона Литтре. Жена помогала ему въ этомъ труде, рылась въ старинныхъ изданіяхъ и часто своими знаніями, а еще больше глубиной пониманія ставила вступикъ талантливаго философа. «Это удивительно, до чего ты умна!» — восклицалъ онъ и отвѣтомъ ему была только ея улыбка.

«Я всегда носила въ душѣ идеалъ супружескаго счастья, писала она въ своей автобіографіи, но считала его исполненіе невозможнымъ, я покорилась судьбѣ очень рано и рѣшила жить и умереть дѣвицей. При моихъ чрезвычайныхъ нравственныхъ требованіяхъ и при свойствахъ моего ума, суроваго и исключительного одновременно, замужество могло быть для меня или превосходнымъ или отвратительнымъ. Оно было пре- восходно».

Но этому тихому счастью суждено было скоро кончиться. Къ концу второго года Аккерманъ сильно расхvorался; появилось кровохарканье и Луизѣ предстала страшная истина: ея мужъ былъ въ послѣднемъ градусѣ чахотки. «Прими участіе въ моемъ горѣ, писала она сестрѣ. Не можетъ существовать большаго. Я не смѣю думать о глубинѣ того страданія, которое ждеть меня». Какъ только больному нѣсколько полегчало, М-те Аккерманъ немедленно увезла его въ Юру, въ Монбеліардъ, где жили его родные. Но было уже поздно. Аккерманъ скончался въ іюлѣ 1846 года. Ему было тридцать четыре года. Ударъ для М-те Аккерманъ былъ ужасенъ. Не смотря на уравновѣщенность своей натуры, она жестоко страдала. Обѣ ея сестры были замужемъ. Каждая изъ нихъ звала

¹) L. Ackermann. «Pensées d'une solitaire» pag. 53.

ее къ себѣ. Она рѣшила ѿхать въ Ниццу, гдѣ жила младшая ея сестра M-me Girard, съ которой она была вообще дружнѣе. „Только дивная природа и спокойствіе чуднаго ниццкаго неба, писала она потомъ, помѣшали моему горю перейти въ отчаяніе».

M-me Ackermannъ такъ полюбила Ниццу, что рѣшила остатся въ ней навсегда. Она купила себѣ небольшой участокъ земли. Положеніе ея дома, служившаго прежде монастыремъ, было чудесно. Чтобы добраться до него, приходилось подниматься въ гору узкими тропинками, заросшими богатой растительностью юга. Къ дому она пристроила башню, въ которой просиживала иногда цѣлые ночи. Такимъ образомъ, въ устроенномъ самой себѣ одиночномъ заключеніи, жила M-me Ackermann отшельницей, не видя никого, успокаивая себя близостью къ природѣ, занимаясь своимъ садомъ, его деревьями и цветами. Но мало-по-малу любовь къ книгѣ возвратилась, въ ея замкѣ начали появляться всевозможныя періодическія изданія и она снова цѣлыми днями зачитывалась произведеніями философіи и поэзіи. Однажды, изучая одну индійскую повѣсть, она была поражена мѣрными звуками стиховъ, которые непріизвольно слагались у нея въ умѣ... Радость ея была необычайна! А рифмы лились, лились и лились... Съ этого дня для нея началась совсѣмъ иная жизнь. «Съ мѣсяца для меня началась новая жизнь, писала она. Фантазія улыбается мнѣ со всѣхъ концовъ небосклона. У меня только одно беспокойство: я боюсь какъ бы не изсякъ источникъ, до того я черпаю изъ него *«à tous de bras»*.

Первой ея работой въ этомъ періодѣ ея жизни были *«Сказки»* (*Contes*) изъ галльской жизни, написанныя старо-французскимъ языкомъ. Она съ такимъ увлечениемъ писала ихъ, что не прошло трехъ дней, какъ они были готовы. «Меня очень веселить мысль, говорила она, что послѣ столькихъ лѣтъ я была еще въ состояніи писать стихи. Это сильно подняло бодрость моего духа и мой пыль воскресъ во мнѣ».

Работая сама, она съ еще большимъ интересомъ слѣдила за всѣмъ, что дѣлалось въ средѣ науки и мысли. Ученіе обѣ эволюціи и законъ соотношенія и преобразованія силъ были совершенно согласны съ ея идеями. «Я видѣла въ нихъ, говорила она, естественное рѣшеніе задачъ, которыхъ меня занимали. Этими откровеніями наука создавала новое состояніе души и открывала уму горизонты, въ которыхъ поэзія имѣла, очевидно, *«un beau jeu»*. Я очень удивляюсь, что меня не опередилъ на этой почвѣ кто-нибудь изъ нашихъ молодыхъ поэтовъ».

Для лучшей характеристики отношенія M-me Ackermann къ творчеству, не лишнее будетъ привести двѣ послѣднія страницы изъ ея автобіографії.

«Въ этомъ краткомъ изложеніи моего поэтическаго развитія легко угадать различные источники, изъ которыхъ я черпала мои рѣдкія вдохновенія.

венія. По пути я также отвѣтила на тѣ два вопроса, которые мнѣ часто задаютъ теперь: «Почему такъ поздно? Почему такъ мало?» Вся моя жизнь можетъ резюмироваться въ нѣсколькихъ словахъ: оцѣненое, грустное дѣтство, молодость, которая въ сущности не была молодостью, два короткія года счастливаго сожитія, 24 года добровольного одиночества. Это собственно не весело, но въ этомъ ничего нельзѧ найти, что бы оправдывало моп жалобы и проклятія. Я избѣгла сильной борьбы, горькихъ разочарованій. Въ сущности мое существованіе было тихо, легко, независимо. Судьба дала мнѣ то, что я у нея просила прежде всего: досугъ и свободу. Что же касается послѣднихъ выводовъ науки, то они меня лично никогда не смущали; я заранѣе была къ нимъ приготовлена. Я даже могу сказать, что я ихъ ждала. Болѣе того, я съ какимъ-то сумрачнымъ наслажденіемъ примирялась со своимъ скромнымъ появлениемъ среди безпрестанныхъ волненій сущности. Но если я легко смотрѣла на свою личную судьбу, у меня совершенно мѣнялись чувства, какъ только дѣло шло о родѣ человѣческомъ. Его слабости, его страданія, его тщетные стремленія наполняли мое сердце глубокой жалостью. Въ моихъ уединенныхъ размышленіяхъ родѣ человѣческій представлялся мнѣ изданиемъ несчастной драмы, которая по слѣпому закону разыгрывается въ потерянномъ углу вселенной, передъ безучастной природой; и нѣть ей другойвязки, кромѣ небытія».

Въ этихъ строкахъ ш-те Аккерманнъ рисуется намъ вполнѣ,—какою она и была на самомъ дѣлѣ: благородной, справедливой, спокойной, уравновѣшенной, склонной больше къ жизни ума, чѣмъ сердца. Только обладая подобнымъ характеромъ и направленіемъ ума, она могла прожить въ такомъ абсолютномъ одиночествѣ цѣлыхъ 24 года. Эта жизнь безъ свѣтскихъ и пустыхъ обязательствъ, которая ш-те Аккерманнъ ненавидѣла, эта полная свобода среди природы, при постоянной здоровой работе тѣла и духа, была совсѣмъ по ея вкусу.

Можетъ быть ш-те Аккерманнъ осталась бы навсегда въ Ниццѣ, но 1870 годъ своей повышенной для французовъ жизнью встревожилъ и ее. Утомилась ли она одиночествомъ, думала ли быть полезной соотечественникамъ, но она вдругъ оставила свою «Lanterne» и вернулась въ Парижъ.

Работала она уже теперь мало и ничего не печатала, начиная съ 1883 года. Но, не смотря на преклонные годы, ея свѣтлый умъ не ослабѣвалъ, ея рѣчь продолжала звучать энергией и убѣжденіемъ. Она следила съ интересомъ за тѣмъ, что дѣлалось въ наукѣ и литературѣ, и часто увлекалась въ спорѣ со своими собратьями по перу. Хотя она и сказала въ одной «pensée», что «разговаривать значитъ бросать свое остроуміе за окно», но сама никогда не скучилась на слова въ своихъ интересныхъ и увлекательныхъ бесѣдахъ. Въ умной, красивой рѣчи ея чувствовался тонкій юморъ, суровая, почтенная черты освѣщались хитро-

ватой улыбкой и трудно становилось думать, что это все также т-те Ackermann.

Такъ прожила т-те Аккерманъ въ Парижѣ 17 лѣтъ, окруженнай цѣлымъ кружкомъ преданныхъ друзей. У нея бывали Renan, Соррэе, Bourget, Barbeу d'Aurevilly, Ernest, Haret, бѣллетристъ Theuri t, соціологъ Letourneau и всѣми любимая, всему хорошему сочувствующая и готовая помочь т-elle Louise Read, всю свою жизнь оплакивающая брата—симпатичнаго и талантливаго молодого поэта, сшедшаго въ могилу 19 лѣтъ.

М-те Аккерманъ любила, когда ее навѣщали. Къ старости она даже утратила свою супровость и, какъ бы желая наверстать потерянное для веселья время, не отказывалась прослушать и анекдотъ изъ богатой легкомысленными поступками парижской жизни.

За три года до смерти съ неей сдѣлался первый ударъ. Она быстро оправилась отъ него, но черезъ два года ударъ повторился, и на этотъ разъ сплошь ее ослабилъ. Какъ только ей сдѣлалось немного лучше, ея любимая сестра, т-те Girard, увезла ее въ Ниццу. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ т-те Аккерманъ заболѣла воспаленіемъ легкаго; организмъ уже былъ надорванъ; болѣзнь быстро осложнилась и т-те Аккерманъ умерла 2-го августа 1890 года.

IV.

Для того, чтобы читатели могли отдать себѣ лучшій отчетъ въ томъ значеніи, которое т-те Аккерманъ имѣла во французской литературѣ, прежде чѣмъ приступить къ обзору ея произведеній, посмотримъ, какъ относились къ ея поэзіи крупные французские представители литературной критики. Отзывы такихъ людей, какъ Ренантъ, Бурже, Каро, Барбе, полагаю, во всякомъ случаѣ, интересны.

Caro, бывшій въ это время въ апогѣѣ своей свѣтской и литературной извѣстности, какъ изящный лекторъ и профессоръ Сорбонны, въ своей статьѣ, напечатанной въ *Revue des deux Mondes*, 15 мая 1874 года писалъ о ея поэзіи: «Въ нашемъ вѣкѣ мы ничего не слышали болѣе отчаяннаго. Эта крикъ долженъ быть раздастся надъ безучастіемъ и легкомысліемъ дѣлового и позитивнаго поколѣнія; это — откликъ переработаннаго сплошнымъ воображеніемъ новаго міросозерцанія, которое намъ желають внушить. Въ этомъ и заключается характеръ и повелительная оригинальность этихъ поэмъ; онѣ странны и увлекательны. Суровая монотонность выраженія непреодолимо запечатлѣваетъ ихъ въ душѣ. Отъ этой силы невозможно болѣе отдѣлаться. Въ ней исчерпываешь до конца это мрачное сладострастіе. Вамъ овладѣваетъ какое-то заунывное упоеніе, голова начинаетъ кружиться, какъ будто находишься на краю пропасти, въ которую заглядываешь».

Renan написалъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій, что т-те Аккерманъ оставитъ лучшія стихотворенія въ нашемъ вѣкѣ.

Въ статьѣ, напечатанной въ «Parlement» 14 декабря 1882 года, Бурже такъ характеризуетъ поэзію т-те Аккерманъ: «это — трезвая и мужественная поэзія, языкъ простой, лишенный всякихъ прикрасъ: эта поэзія дышетъ пламенной метафизической страстью, превосходящей всякое сравненіе. Стихотворенія т-те Аккерманъ были и будуть читаны до тѣхъ поръ, пока существуютъ умы, жаждущіе правды, сердца, жаждущія любви, сознанія, жаждущія справедливости, и смертные, жаждущіе вѣчности».

Въ книгѣ недавно умершаго старого критика и беллестриста Barbey d'Aurevilly — «Les Poëtes», въ которой собраны его статьи о поэтахъ нашего вѣка, есть и этюды о т-те Аккерманъ. Восторгаясь мужественной красотой ея поэзіи, Barbey d'Aurevilly доходитъ до паѳоса: «Эти стихотворенія прекрасны... прекрасны до того, что пугаютъ, какъ говорилъ Боссюэ объ умѣ Фенелона. Это, безспорно, самые прекрасные литературные ужасы, которые были написаны со временеми «Fleurs du mal» Боделара. Они даже прекраснѣе, потому что въ изображеніи зла,—абсолютнаго зла,—они чище. Стихотворенія т-те Аккерманъ представляютъ «цѣломудренное отчаяніе только одного ума»¹⁾.

V.

«Лучше не имѣть тяжелаго багажа», говорила т-те Аккерманъ. И дѣйствительно, она написала немнogo. «Сказки», изданныя въ 1885 году, «Premières Poésies», появившіяся въ 1864 году, «Poésies Philosophiques» (1875 г.) и наконецъ микроскопическій томикъ, подъ названіемъ «Renseignements d'une solitaire», напечатанный въ Парижѣ въ 1883 году,—вотъ все, что послѣ нея осталось.

Не знаю, почему плодовитость часто ставится въ похвалу писателю. А между тѣмъ эта плодовитость есть сплошь и рядомъ настоящая причина недозрѣлости, поверхности, иногда даже недюжиннаго таланта. Впрочемъ, т-те Аккерманъ и не могла быть «плодовитой». Писала она только тогда, когда это являлось потребностью ея настроенія, когда наболѣвшіе вопросы переполняли душу или созрѣвшая мысль просила словъ, чтобы вылиться въ опредѣленную форму. Такъ, напримѣръ, свои «Contes» она написала въ три дня. Это сказки въ стихахъ, мысль о которыхъ была навѣяна ей одной индійской поэмой (замѣтимъ кстати, что т-те Аккерманъ знала основательно санскритскій, татарскій и китайскій языки). Не смотря на такую быструю работу, здѣсь, какъ и въ другихъ болѣе серьезныхъ ея произведеніяхъ, обработка стиха, точность выражений не оставляютъ желать ничего лучшаго.

¹⁾ Barbey d'Aurevilly. Les œuvres et les Hommes. «Les Poëtes», page 158.

И она выбрала достойную ея стиха тему, оплакивая страданія человѣчества, тщету его существованія и надеждъ. Лирическихъ произведеній у нея почти нѣтъ. Въ сборникѣ стиховъ, озаглавленномъ «*Premi res Po esies*», лирическими стихотвореніями можно назвать только слѣдующія: «*Adieux   la po esie*», «*Le D part*», «*La M mori am*», «*Un autre coeur*».

Первое изъ нихъ она написала, когда ей было 22 года; тутъ слышится вопль одинокаго сердца и высказывается гордое рѣшеніе никогда не воспѣвать своихъ мученій.

«Car je sentirais   les dire,
Plus de douleur qu'   les porter» ¹⁾.

Затѣмъ, «*Le D part*», въ которомъ она съ ужасомъ видитъ, что, уѣзжая съ родины, она не оставляетъ ни одного любящаго взгляда, ни одного дорогого образа... «А между тѣмъ, Богъ мнѣ свидѣтель», восклицаетъ она, «я желала-бы сосредоточить все мое сердце въ одной большой любви!» И кончаетъ:

«Bien que le coeur soit mort, on en souffre toujours» ²⁾.

Стихотвореніе «*Ja M mori am*» написано послѣ смерти m-r Ackermann, въ 1850, 51 и 52 годахъ. Оно состоить изъ трехъ частей, въ которыхъ послѣдовательно отражается состояніе ея души за эти три года. Двѣ первыя части напоминаютъ своей формой нашъ старинный русскій «Плачъ Ярославны» изъ «Слово о полку Игоревѣ». Сперва она обращается къ вѣтру, прося его навсегда унести ее отъ тѣхъ береговъ, гдѣ она жила съ дорогимъ ей существомъ... Съ любовью погибла и вся прелесть этихъ мѣстъ, все на этомъ холодномъ берегу полно для нея дорогимъ для нея образомъ. «Какъ-бы я могла, грустная, плачущая, одна, влечить омертвѣлое сердце по тѣмъ же тропинкамъ, гдѣ мы были вдвоею, гдѣ мнѣ было весело, гдѣ я улыбалась?» Затѣмъ, обращаясь къ ясному небу, къ блѣснѣжнымъ вершинамъ, къ тихому заливу, она говоритъ имъ, что ихъ великолѣпіе ее печалить и вызываетъ на глаза ея слезы. Воспоминаніе о дорогомъ другѣ, котораго унесла могила, преслѣдуєтъ ее на этомъ берегу.

«Souvent je me reproche, o soleil sans nuage!
Lorsqu' il ne te vois plus, de t'y trouver si beau» ³⁾.

Третья и послѣдняя часть выражаетъ собой если не утѣшеніе, то по крайней мѣрѣ успокоеніе ея души послѣ многихъ лѣтъ:

¹⁾ «Потому что ихъ высказывать, мнѣ больно, чѣмъ ихъ переносить». L. Ackermann. «*Premi res Po esies*», pag. 4.

²⁾ «Хотя сердце умерло, боль все же остается навсегда». L. Ackermann. «*Premi res Po esies*», pag. 12.

³⁾ «Я часто упрекаю себя, о безоблачное солнце! что восхищаюсь тобою, когда онъ уже не видѣть тебя». L. Ackermann. «*Premi res Po esies*», pag. 23.

«Si rien n' a refleurri, ni le présent sans charme,
 Ni l'avenir brisé
 Du moins mon pauvre coeur fatigué de mes larmes
 Mon coeur s'est apaisé
 Et je puis, sous ce ciel que l'oranger parfume
 Et qui sourit toujours,
 Rêver aux temps aimés et voir sans amertume
 Naître et mourir les jours»¹⁾.

«Un autre coeur», стихотворение, въ которомъ т-те Аккерманъ удивляется своему сердцу, теперь спокойному и холодному, и не находить въ немъ больше сходства съ тѣмъ, которое когда-то такъ сильно было полно любви нетерпѣнія и подвижности.

«Serait-ce un autre coeur que la Nature donne
 A ceux qu'elle préfère et destine à vieillir,
 Un coeur calme et glacé que toute ivresse étonne,
 Qui ne saurait aimer et ne veut pas souffrir?»²⁾.

Этими немногими стихотвореніями исчерпывается весь запасъ ея лирическихъ пьесъ. Остальная въ сборнике «Premières Poésies» носять отпечатокъ байроновскаго романтизма. Между ними нужно отмѣтить «La lyre d'Orphée», гдѣ она говорить, что связь съ древнимъ міромъ кончена; «A Alfred de Musset», которому она слѣпо поклоняется и котораго она горячо оплакиваеть. Затѣмъ «La lampe d'Hercule», воззвание къ путеводному свѣту людей (пдеалу). «Hébé», въ которомъ т-те Аккерманъ уподобляетъ нашу молодость богинѣ Гебѣ, награждающей очарованныхъ боговъ чуднымъ нектаромъ. Мы тоже протягиваемъ кубки, когда проходитъ молодость, и получаемъ отъ нея опьяняющія и чарующія вина, но, улыбнувшись своей бессмертной улыбкой, Геба удаляется; напрасно зовутъ ее и долго слѣдятъ за ней наши заплаканные глаза...

Наконецъ, стихотвореніе «l' Abeille», которымъ и заканчивается сборникъ «Premières Poésies». Это послѣднее стихотвореніе посвящено Charles Read, молодому поэту, о которомъ мы упомянули выше. Пчела вылетаетъ изъ своего улья, все ей улыбаются, всѣ цветы ее привлекаютъ и зовутъ къ себѣ. Отъ одного къ другому перелетаетъ она и не замѣчаетъ, какъ надвигается буря. Уже поздно, ей не добраться до улья, роза закрываетъ свои лепестки и погибаетъ, а пчела упивается послѣднимъ ея ароматомъ

¹⁾ «Если ничто не расцвѣло снова, ни тоскливое настоящее, ни разбитая будущность, по крайней мѣрѣ мое бѣдное, утомленное слезами сердце успокоилось. И я могу подъ этимъ благоухающимъ, вѣчно улыбающимся, небомъ мечтать о любимомъ времени и безъ горечи видѣть, какъ нарождаются и умираютъ дни». L. Ackermann. «Premières Poésies», pag. 25.

²⁾ «Не особенное-ли сердце даетъ природа тому, кого она предпочитаетъ и обрѣкаетъ на старость? Сердце спокойное, холодное, удивляющееся всякому увлечению, сердце, которое не умѣеть любить и не хочетъ страдать». L. Ackermann. «Premières Poésies», pag. 55.

и также умираетъ... Сколько отважныхъ художниковъ, продолжаетъ поэтъ, подобно пчелѣ отправляются въ путь въ ясный день, ихъ ведеть любовь къ искусству. Они уже возвращаются къ своему улью, но посреди ароматовъ смерть разбиваетъ ихъ крылья и они, подобно пчелѣ, погибаютъ съ ихъ золотистой добычей, которой имъ не удалось спасти.

Вся эта часть произведеній м-те Аккерманнъ, озаглавленная «*Premi res Po esies*», также какъ «*Contes*», не выражаютъ оригинальныхъ качествъ ея таланта. Тутъ, какъ будто, слышится вліяніе Ламартина, Сенакура, Де-Винни. Настоящая м-те Аккерманнъ во всей силѣ своей концепціи является намъ только въ своихъ «*Po esies Philosophiques*».

VI.

Въ «*Po esies Philosophiques*» м-те Аккерманъ, подобно Леопарди, передаетъ намъ страданія всего человѣчества, и это человѣчество остается все время ея единственнымъ героемъ. Удивительный стоицизмъ! Она не затрагиваетъ ни одной жизненной струны, кромѣ печали, она игнорируетъ дружбу, презираетъ страсть, не понимаетъ даже материинской любви! Да, ни одного слова любви, той жизненной любви, которую, очевидно, она считала слабостью и которая все-таки всегда останется основой жизни нашего міра. Всѣ чувства, всѣ положенія, всѣ силы природы она трактуетъ съ одной и той же точки зрѣнія — тщеты человѣческаго существованія, его мимолетности и бесплія. Но человѣкъ слабъ, онъ жаждетъ утѣшенія или, по крайней мѣрѣ, забвенія. Даже понимая всю эфемерность своихъ вожделѣній и чувствъ, онъ готовъ отдать вѣчность за мгновеніе. Она же всегда становится лицомъ къ лицу со страшной дѣйствительностью, она гордо подымаетъ голову, громитъ, грозить, проклинаетъ... и, надо отдать ей полную справедливость, отъ ея проклятій становится жутко...

Эта широкая задача и отвлеченность темъ, а также философская подкладка ея произведеній дѣлаетъ ихъ мало доступными для массы. Но за то, можно сказать, что она была единственнымъ поэтомъ, рѣшившимся проводить въ поэзіи свой научно-философскій образъ мысли и съумѣвшимъ найти въ ней выраженія для теоріи Дарвина и пессимизма Шопенгауера.

«*Po esies Philosophiques*» были изданы въ 1876 году. Саго напечаталъ по поводу нихъ статью въ «*Revues des deux Mondes*», въ которой съ большимъ энтузіазмомъ говорилъ о никому почти тогда неизвѣстной м-те Аккерманъ. Онъ получилъ за эту статью благодарность отъ м-те Аккерманъ и на ея письмо отвѣтилъ ей въ еще болѣе лестныхъ выраженіяхъ. Вотъ начало его письма:

«Я, право, не признаю за собой никакой заслуги въ томъ, что сказала о вашихъ стихахъ, что они прекрасны. Они полны моцной, сосре-

доточеной красоты, которая меня охватила всецѣло, какъ только я ихъ узналъ. И кромѣ того, у васъ такая искренность страданія, вы такъ глубоко и болѣзненно чувствуете людскія дѣла, что увлекаешься симпатіей прежде, чѣмъ заговорить разумъ». Затѣмъ Саго выражаетъ надежду, что эта поэзія отчаянія не будетъ послѣднимъ словомъ т-те Аккерманъ, что это не рѣшеніе задачи, а только ея кризисъ.

Статья Саго сильно заинтересовала интеллигентный Парижъ; всѣ спрашивали другъ у друга о т-те Аккерманъ. Ея слава вспыхнула, но немногіе съумѣли оценить ее, какъ она того заслуживала.

«А что, говоритъ она въ стихотвореніи, озаглавленномъ «Mon livre», если вы проклянете тотъ энергичный голосъ, который заставитъ васъ вздрогнуть?»

Вѣрно,— правда часто наказывается проклятіями. Но проклятія не удержать ее. Она настолько любить правду, что не остановится ни передъ какими предразсудками, она признаетъ только то, что ее убѣдить. «Я не могу не принимать участія, говоритъ она дальше въ этомъ стихотвореніи, въ той великой драмѣ, въ которой правда борется, чтобы пройти себѣ дорогу».

«Est-ce ma faute à moi si dans ces jours de fièvre,
D'ardentes questions se pressent sur mes lèvres?»¹⁾.

Стихотвореніе, озаглавленное «Les Malheureux» и посвященное м-ле Louise Read, дало начало ея извѣстности. Оно было написано въ 1862 году и тогда же появилось въ маленькомъ сборникѣ, напечатанномъ въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ въ Ниццѣ. Его особенно замѣтила критика и представители литературы. Дѣйствительно, это высоко художественная вещь. Выраженія страданія и вопли возмущенной души перемѣшиваются въ изумительныхъ по силѣ стихахъ. Приведемъ это стихотвореніе цѣлкомъ, въ очень удачномъ переводе П. И. Вейнберга.

Н E C S C A S T N Y E .

Раздался трубный звукъ. Въ раскрывшихся могилахъ,
Проснувшись, вздрогнули ихъ блѣдные жильцы,
И вышли... Но не всѣ: иные мертвѣцы

Все слышали и подняться въ силахъ,
Но ни труба, ни громкій зовъ
Небесныхъ духовъ изъ гробовъ

Ихъ не заставлять встать.

Какъ! Вновь родиться! Снова
Увидѣть воздухъ, небо, свѣтъ —
Холодныхъ жителей, страданія былого,
Но незабвеннаго! О, нѣть!

Нѣть, лучше вѣчный мракъ, нѣть, лучше тишина нѣмая.

¹⁾ «Моя ли вина, если въ эти лихорадочные дни жгучіе вопросы просятся на мои уста?» L. Ackermann. «Poésies Philosophiques» pag. 70.

Вы, дѣти хаоса, укройте насть крыломъ!
 А ты, о смерть, пебесъ посланница благая,
 Ты, въ чьихъ объятьяхъ мы заснули сладкимъ сномъ,
 Теперь любовными руками
 Прижми къ своей груди еще тѣснѣе насть...
 О, будь всегда, всегда благословенъ тотъ часъ,
 Въ который ты пришла за нами!
 Въ могилѣ не забудемъ мы,
 Что ты одна привѣтныя объятья
 Раскрыла гибнувшимъ средь безысходной тьмы,
 Подъ гнетомъ вѣчнаго проклятья!
 Разбитыми пришли мы къ сердцу твоему,
 Изнemоженными, лишенными надежды,
 Въ тупомъ отчаяніи, не вѣря ничему,
 Съ сознаньемъ, что глупцы, бездѣльники, невѣжды,
 Себялюбивые и хитрые умы
 Спокойно, весело, блаженно проходили
 Дорогой тою же, гдѣ мы
 Слезами жгучими свой каждый шагъ крошили!
 О, какъ тяжка она была
 Отъ самыхъ первыхъ дней! Суроно,
 Не подаривши намъ ни ласковаго слова,
 Ни взгляда свѣтлаго, прошла
 Предъ нами молодость. Источникъ благодатный
 Любви святой и необъятной
 На нашихъ жаждущихъ губахъ
 Безплодно высохъ; ни единий
 Цвѣтокъ весны въ глухи пустынной,
 Въ ея губительныхъ пескахъ
 Намъ не раскрылся. Тщетно взоры
 Искали дружеской опоры;
 Когда-жъ ошибкой хоть одна
 Порой являлась передъ нами,
 Увы, чтобъ рухнула она,
 Намъ только стоило прижаться къ ней сердцами!
 Съ прикосновеньемъ ихъ и крѣпкій дубъ стариkъ
 Вдругъ становился слабъ и шатокъ, какъ тростникъ.
 Въ бездонной пропасти, которую копала
 Неумолимая судьба,
 Рука невидимая гнала
 Насъ день и ночь. Въ ярмѣ раба,
 Въ лохмотьяхъ и ишеты голодной,
 Съ тупой покористью мы шли,
 Появят тицету борьбы безплодной
 Со всѣми пытками земли!

Да, очень можетъ быть, что мы имѣемъ право
 На блага райскія; тѣхъ не кидаютъ въ адъ,
 Кто, если и грѣшилъ, то и платилъ кроваво
 За прегрѣшенія... Но никакихъ наградъ

Не нужно намъ. Отъ наслажденій,
Приготовленныхъ въ раю,
Мы отрекаемся, не просимъ утѣшеній
За жизнь разбитую свою.
Мы знаемъ: въ горнемъ царствѣ міра
Свободы и любви блаженству нѣтъ конца,
Въ струяхъ лазурнаго эоніа
Ликуютъ избранныхъ сердца;
Тамъ всюду благодать и всюду обаянья;
Гнѣвъ, ропотъ, злоба, скорбь молчать въ святой тиши...
Но кто же тамъ у насъ, воспоминанье,
Бессмертная змѣя, исторгнетъ изъ души?
Когда въ селепіяхъ священныхъ
Хоръ серафимовъ встрѣтить насъ
И, какъ избранниковъ блаженныхъ,
Начнетъ привѣтствовать, мы крикнемъ имъ тотчасъ:
„Кто? Мы — блаженные? Кто? Мы — въ числѣ избранныхъ?
Да посмотрите намъ въ глаза.
До этихъ поръ еще въ нихъ ни одна слеза
Лежитъ, какъ жгучій слѣдъ страданій несказанныхъ;
И, какъ ни свѣтлъ рай, но сквозь такой покровъ
Онъ намъ покажется нечаленъ и суровъ!“
Къ чemu тревожить прахъ, просящій лишь забвенія,
Забвенія дней стыда, и гнета, и борьбы?
Ахъ, послѣ столькихъ муку для насъ всѣ наслажденія —
Насмѣшка горькала судьбы!
Пусть не снимаютъ съ насъ земли могильной бремя,
Пусть не мѣшаютъ намъ, уснувшимъ въ царствѣ тымы,
Забыть навѣкъ, что было время,
Когда существовали мы!

Сильнѣе этого, пожалуй, не высказался не одинъ пессимистъ. И какъ ни странно, но этотъ же пессимизмъ отдалъ автора отъ чистаго материализма, упрека въ которомъ т-те Аккерманъ боялась больше всего. Въ одномъ письмѣ своемъ она говорить по этому поводу слѣдующее: «Я ненавижу чистый материализмъ. Философа, котораго я тебѣ рекомендую, такъ какъ ты теперь занимаешься философіей — Спиноза. Я примѣшиваю къ нему немного Гегеля и приготовляю изъ этого очень здоровый и подкрѣпляющій философскій рагу. Онъ имѣть то огромное преимущество, что избавляетъ меня отъ вульгарной пищи, не отбрасывая меня въ материализмъ». На всякие вопросы, затрагивающіе ея личныя вѣрованія, она отвѣчала: «Я не считаю себя въ правѣ ни утверждать, ни отрицать. Вотъ четверостишіе, которое очень хорошо резюмируетъ ея мысль. Оно, къ сожалѣнію, не вошло въ изданіе ея стихотвореній. Говорятъ, т-те Аккерманъ предназначала его въ заключеніе посмертнаго изданія своихъ произведеній:

«J'ignore; un mot; le seul par lequel je r  ponde
Aux questions sans fin de mon esprit d  cu

*Et lorsque je me plains au sortir de ce monde
C'est moins d'avoir souffert que de n'avoir rien su¹⁾.*

Для человѣка, неспособнаго жить и наслаждаться внѣшнимъ міромъ, такой результатъ умственной работы — цѣлая пытка. Но хвала тому уму, который не останавливается ни передъ какими преградами, который готовъ разорвать связь даже съ тѣмъ, что ему дорого, если онъ призналъ его безсмыслицей, который выше всего въ жизни ставить права правды. Такъ т-те Аккерманъ заходитъ иногда за предѣлы, положенные позитивизмомъ, она проклинаетъ, возмущается тѣмъ, что должно было бы ей быть неизвѣстно.

Оставаясь въ предѣлахъ своихъ конкретныхъ жизненныхъ убѣжденій, т-те Аккерманъ отстаиваетъ ихъ съ непоколебимою твердостью и съ тою же спирю, которая характеризуетъ всю ея поэзію. Стихотвореніе «La Guerre» могло бы сдѣлаться эпиграфомъ къ современному роману Берты фонъ Суттеръ или проповѣдямъ Толстого.

*«Oui, bien fauché! Vraiment la r colte est superbe,
Pas un sillon qui n' ait des cadavres pour gerbe!»²⁾*

восклицаетъ она, давая картину всеуничижающей войны. Ей больноѣ всего сознаніе, что всѣ жертвы войны пропадаютъ напрасно. Она, какъ поэтъ и мыслитель, понимаетъ и не бѣдетъ отрицать величія добровольной смерти, она даже примирилась съ войной, если-бы ею достигался идеалъ и покупалось торжество идеи. Но этому гордому звѣрству, этимъ уничижающимъ подвигамъ и ненужнымъ пораженіямъ она всегда будетъ посыпать проклятие:

*«O Guerre, Guerre impie, assassin qu'on encense,
Je resterai, navr  e et dans mon impuissance,
Bouche pour temaudire et coeur paur t'ex  crer.³⁾*

«Prometh  e» — одна изъ самыхъ сильныхъ поэмъ т-те Аккерманъ. Ее нельзя сравнивать съ Прометеемъ Эсхила, Гете, Шелли, но въ ней есть свои особенные оригинальные достоинства. Чувства ненависти и страстной злобы выражены у нея съ особенною мощью и страстью:

*«Frappe encore, Jupiter, accable moi, mutile
L'ennemi terrass   que tu sais impuissant!*

¹⁾ «Не знаю; одно слово; единственное, которымъ я отвѣчаю на безконечные вопросы моего обманутаго ума. И уходя изъ этого міра, я меньше жалуюсь на перенесенная страдапія, чѣмъ на полное свое незнаніе».

²⁾ «Да, чисто скопено! Дѣйствительно, чудный урожай, пѣть и одного поля, на которомъ не было-бы споловъ изъ человѣческихъ тѣлъ».

L. Ackermann. «Po  sies Philosophiques», pag. 122.

³⁾ «О, печестивая, беззаконная Война, убийца, которому курять єпіамъ, у меня удрученной и беспомощной, все-таки остаются уста, чтобы тебя проклинать и сердце, чтобы тебя ненавидѣть».

L. Ackermann. «Po  sies Philosophiques», pag. 127.

Ecraser n'est pas vaincre et ta foudre inutile
S'eteindra dans mon sang¹⁾.

восклицаетъ Прометей, казненный Юпитеромъ за то, что онъ вздумалъ облегчить участъ людей. Прометей не можетъ побороть въ себѣ глубокой жалости къ тому несчастію, которое ненависть Юпитера посыла въ плоть и кровь человѣчества. Желая облегчить его горькую участъ, онъ похотилъ у Юпитера божественный огонь. Между тѣмъ, когда-то, онъ самъ помогалъ Юпитеру въ борбѣ съ Титанами, желая покончить съ развращенными богами и надѣясь, что Юпитеръ самъ предпочтеть общее счастіе, веселіе и любовь.

О, обманутыя надежды!
О, улетучившійся сонъ!

восклицаетъ Прометей,

„Тотъ, кто могъ все, захотѣлъ страданія²⁾.

Но Юпитеръ не долженъ заблуждаться. У Прометея родился наслѣдникъ: человѣческое сознаніе, которое вселитъ въ человѣка отвагу; оно даже не будетъ обвинять Юпитера, а прямо и спокойно накажетъ его полнымъ отрицаніемъ...

Мотивы неизбѣжного страданія и отчаянія проникаютъ у нея даже въ любовные сюжеты. Таково стихотвореніе:

«Писловѣдь любящаго»,
(«Paroles d'un Amant»).

„Когда, отдавшись весь восторгамъ страстнымъ
Я всѣми чувствами тону въ любви одной,
И забываю міръ предъ существомъ прекраснымъ
Боготворимымъ мной,
Я знаю, что восторгъ внушенъ мнѣ тѣнной формой,
Что можетъ вдругъ застыть въ объятьяхъ у меня
Мнѣ отвѣчавшая на разумъ, сердце, взоръ мой,
Смѣясь глины и огня.
Что обратившись въ прахъ, не можетъ ужъ она мнѣ
Оставить на землѣ ни звука, ни слѣда,
Я брошу горсть земли, отмѣчу день на камнѣ,
Конецъ—п на всегда!“³⁾

Въ этомъ стихотвореніи много несомнѣнныхъ поэтическихъ красотъ и его слѣдуетъ отмѣтить, какъ одно изъ лучшихъ выраженій пессимизма и философскихъ убѣждений т-ре Аckerманна:

¹⁾ «Поражай меня, Юпитеръ, дави, уродуй своего поверженного врага, ты знаешь его бессилие; но раздавить не значитъ побѣдить и твой бесплодный огонь погаснетъ въ моей крови».

L. Ackermann. «Poésies Philosophiques», pag. 97.

²⁾ L. Ackermann. «Poésies Philosophique», pag. 101.

³⁾ Переводъ Курочкина.

„Въ часъ страшный для меня я буду твердъ, какъ прежде
И сердце, съ дорогимъ прощаюсь существомъ,
Такъ переполнится любовью—что надеждѣ
Не будетъ мѣста въ немъ“¹⁾.

Также поэтична поэма, озаглавленная «L'amour et la Mort». Она состоитъ изъ трехъ частей. Ничтожество (*néant*) человѣческихъ вещей, вѣчный законъ сохраненія вида и то легкомыслie, съ которымъ мы ему служимъ, представляется тутъ съ поражающимъ краснорѣчіемъ.

«Посмотри на эти пары, обнимающіяся на одну минуту, говорить она въ первой части этого стихотворенія; онѣ все еще рѣшаются повторять тоже заклятіе. О, вы, которые проживете такъ мало, зачѣмъ эти обѣщанія? Влюбленные! Вокругъ васъ все тотъ-же неумолимый голосъ кричитъ всему, что рождается: «люби и умирай тутъ-же».

Во второй части выражается возмущеніе передъ краткостью земной любви.

«И потерять ее навсегда! Одна эта мысль превращаетъ для насъ образъ любви въ призракъ. Какъ! Эти безконечныя обѣщанія, эта безсмысленная горячность создана для существа, которое проживаетъ одинъ день!»..

«Вѣчность человѣка иллюзія, химера, ложь, которую придумала любовь и людская гордость. Человѣчество, это эфемерное привидѣніе, не имѣло вчерашняго дня, ему нужень завтрашній», съ негодованіемъ восклицаетъ поэтъ въ послѣдней части этого стихотворенія. И затѣмъ, обращаясь къ легкомысленному человѣчеству, возмущенно допрашиваетъ его: «Какъ, неужели оно забываетъ всю ограниченность даннаго ему предѣла за эту минутную всipyшку въ его сердцахъ! Вы повѣряете ночи слово любви, а завтра ея звѣзды будуть освѣщать ваши могилы. Видя ваше счастье, природа только улыбается, но она безчувственна.»

«У нея, вѣчнаго палача, только одно желаніе,—безконечнаго, неостанавливающагося зачатія. Жадная мать, она взяла себѣ вѣчность и оставляетъ намъ смерть».

«Когда вы прижимаете къ сердцу другое страдающее существо, вы думаете, что вы уже обнимаете вѣчность; но эти желанія и наслажденія, эти экстазы ничто иное, какъ уже будущее человѣчество, волнующееся въ вашихъ сердцахъ...»

«Когда, прижимая къ угасающему сердцу, другой образъ ищетъ страдающаго существа, вамъ кажется, смертные, что вы сжимаете вѣчность въ вашихъ объятіяхъ.»

«Знайте, что этотъ священный бредъ, эти беспредѣльныя желанія, всѣ эти порывы ничто иное, какъ будущее человѣчество, которое вырывается изъ вашего лона»²⁾.

¹⁾ Переводъ Курочкина.

²⁾ L. Ackermann. Poésies Philosophique, page 88.

И народятся новые сердца, которые до бесконечности будут продолжать ваши слезы, ваши мечтания, ваше пламя. Образуя вечную цель, все люди, пробегая один за другим, передают друг другу факел любви. «Вы ослеплены блеском его света, вы даете заклитье удержать его навсегда; но ваша немощная рука уже роняет его. По крайней мере вы видели восхитительный блеск и можете унести в пропасть свое ослепление», заключает поэтъ.

Очень характерны для выражения настроения, беспокоившаго т-те Аккерманнъ, два стихотворения, озаглавленные «Слово природы человѣку» и «Слово человѣка природѣ». Въ первомъ изображается безучастіе природы къ человѣчеству. Единственная цель природы — творить, нарождая поколѣніе за поколѣніемъ. «У меня есть идеалъ, говорить природа, идеалъ, котораго я жажду. Но ты, человѣкъ, ты въ сущности ничто, какъ неудавшійся набросокъ того, который еще не родился, и ты долженъ умереть въ свое время, какъ это ни кажется тебѣ больно и возмутительно. Ты всегда останешься въ моихъ рукахъ только глиной для новой работы».

Человѣкъ отвѣчаетъ природѣ, что ей ничего не удастся достигнуть, кроме смерти. Идеалъ, о которомъ она мечтаетъ всегда, останется далекъ и недосягаемъ и она жертвуетъ человѣкомъ для того, который никогда не рождается. «И однако, говоритъ человѣкъ, я тоже твой сынъ, не я ли одинъ восхищаюсь твоей красотой. На своемъ лицѣ я ношу отпечатокъ высокихъ назначений, а мой умъ былъ твоимъ первымъ зеркаломъ. И въ обмѣнъ я получаю только презрѣніе и обиды. Когда ты восклицаешь: «я стремлюсь!» Я отвѣчу тебѣ: «я страдаю!» И этотъ ужасный крикъ повторяется всеми, кто рождается и дышетъ. Я живу только для того, чтобы умирать. Но я человѣкъ, я обвиняю тебя, создательница! Прими проклятие, выраженное этимъ смѣлымъ стихомъ».

Эти два стихотворенія очень краснорѣчивы; безсильное негодование человѣка за свое вечное страданіе выражено сильными стихами. Но они должны быть отнесены къ тѣмъ мистическимъ отступленіямъ, которыхъ т-те Аккерманнъ какъ бы невольно дѣлала иногда въ своихъ произведеніяхъ.

Стихотвореніе «De la Lumière» («Свѣта, Свѣта») является, напротивъ, очень послѣдовательнымъ отраженіемъ ея взглядовъ. Въ немъ т-те Аккерманнъ взываетъ къ свѣту и говоритъ, что это единственное наше желаніе, для котораго неѣть надежды. Съ искони вѣковъ мы жаждемъ свѣта, но продолжаемъ блуждать во тьмѣ.

„Вотъ свѣточъ! — говоритъ преданье: путь спасенія
Обрящ�ъ съ нимъ, когда съ покорностью зажжешь;
Но помнить онъ столѣтій заблужденія
И гордо говорить онъ — лжешь!“...

Наука замѣнила преданіе и хотя отчасти освѣтила нашу мглу, но мы все-таки продолжаемъ блуждать въ темнотѣ. Стихотвореніе кончается слѣдующими двумя четверостишіями:

«Пусть это тщетный звукъ, но свѣта, больше свѣта!
Надежды нѣть — такъ что-жъ, оно еще сильнѣй —
Чѣмъ безнадежнѣе желанье наше это,
Тѣмъ грозный крикъ его страшнѣй?
Когда-жъ и онъ замретъ, когда умретъ желанье,
Такъ солнце старое во тьмѣ лучей своихъ
Отвѣтитъ трепетомъ на страстное прощеніе
Усть человѣчества нѣмыхъ».

Самое крупное по объему и по достоинствамъ стихотвореніе т-те Аккерманнъ — поэма «Pascal». Сила стиха и выраженія этой поэмы удивительны. Она чрезвычайно широко задумана, обнимая собою цѣлую область борьбы человѣческой мысли XIX столѣтія, поражая «янсенизмъ» и отдавая должное уваженіе разуму и его праву. Очевидно, это стихотвореніе сильно волновало самого автора. Увлекаясь Паскалемъ, любя его, т-те Аккерманнъ до глубины души страдаетъ за его слабость и если рѣшается порицать его, то словами, въ которыхъ звучитъ трогательное уваженіе и сердечная скорбь за него. «Что меня интересуетъ въ Паскаль, говорить она въ своихъ «Pensées d'une Solitaire» — это его душа, надрывающаяся въ борьбѣ. Между тѣмъ, я не смѣю заглядывать въ самую глубь этой страсти и этого бреда; я почти боюсь головокруженія. Такой фанатизмъ превосходитъ меня. Этотъ умъ по всѣмъ направленіямъ стремится къ безконечному. Ему достаточно было любить одинъ день, чтобы довести эту любовь до ея благороднѣйшей высоты. Какъ онъ борется подъ гнетомъ своей человѣчности! Онъ надѣется ее побороть посредствомъ издѣвательствъ и презрѣнія, но онъ самъ раздавленъ ею. Вотъ почему въ его безсиліи у него вырываются такие крики!.. Его устами говорить человѣкъ. Жажда счастья, непреодолимое желаніе связать небеса съ цѣпью нашихъ несчастій, что можетъ быть болѣе человѣческаго?» ¹⁾.

Но, несмотря на всѣ невзгоды, на смерть, на страданія, продолжаетъ поэты въ стихотвореніи «l'Homme», когда грубая дѣйствительность прижимаетъ человѣка, у него все-таки остается это убѣжище, эта химера, называемая идеаломъ.

«Je veux de l'eternel, moi qui suis l'ephemere
Quand le reel me presse impereux, brutal,
Pour refuge au besoin n'ai-je pas la chimere
Qui s'appelle Ideal?»? ²⁾

¹⁾ L. Ackermann. «Pensées d'une Solitaire», pag. 60, 61.

²⁾ L. Ackermann. Poésies Philosophique, pag. 169.

Въ одной своей «*pensée*» т-те Аккерманнъ сказала: «Чтобы писать прозой, нужно непремѣнно имѣть что сказать. Чтобы писать стихами, это не обязательно» ¹⁾). Это остроумное и нѣсколько злое для ея собратьевъ замѣчаніе, отнюдь не идетъ къ ея собственной поэзіи; дѣйствительно, изъ этого почти полнаго обзора произведеній т-те Аккерманнъ видно, что сила ума была главной ея силой и ни одно стихотвореніе не лишено серьезной мысли и сильного убѣжденія. Какъ хорошо, напримѣръ, четверостишіе, выражавшее ея поклоненіе передъ человѣческой мыслью:

«Non, ton éternité d'inconscience obscure,
D'aveugle impulsion, de mouvement forsé,
Tout l'infini du temps ne vaut pas, o Nature!
La minute où j'aurai pensé» ²⁾.

«Poésies Philosophiques».

заканчиваются двумя стихотвореніями, озаглавленными «Le Déluge» и «Le Cri». Это два послѣдніе крика, вырвавшіеся изъ души поэта-пессимиста. «Мы хотѣли свѣта, говорить она, а волны потока создадутъ мракъ. Мы мечтали о гармоніи, а вотъ наступаетъ хаосъ. И въ этомъ приливѣ ненависти и дикой ярости самыми счастливыми будутъ тѣ, которыхъ поглотятъ волны»...

Въ стихотвореніи «Крикъ» поэтъ уподобляетъ свое чувство тому, которое долженъ испытывать путешественникъ на погибающемъ кораблѣ. Ея отчаяніе поражаетъ здѣсь своимъ рѣшительнымъ, патетическимъ спокойствиемъ. Посреди разломанныхъ мачтъ, въ смертельномъ ужасѣ, безъ надежды на спасеніе, она издастъ послѣдній безпомощный, раздирающій крикъ. «Подобно этому путешественнику, я скроюсь, говорить поэтъ, въ неизвѣстныхъ моряхъ. Но это другія волны, другая гроза, море глубже и погибель полнѣе. Это затерянное судно—наше человѣчество, а мы — погибающіе на немъ».

«L'équipage affolé manoeuvre en vain dans l'Ombre;
L'Epauvante est à bord, le Désespoir, le Deuil;
Assise au Gouvernail la Fatalité sombre
Le dérive vers un écueil» ³⁾.

«Но я, которую, помимо моей воли, слѣпая судьба бросила на этотъ корабль, я не хочу тонуть молча, какъ остальные мои собратья. Я со-

¹⁾ L. Ackermann. «Pensées d'une Solitaire», pag. 26.

²⁾ «Нѣть, твоя вѣчность, при ея темной безсознательности, слѣпыхъ побужденіяхъ, непривольныхъ движеніяхъ, вся безконечность времени не стоптъ, природа, той минуты, когда я начала мыслить».

L. Ackermann. «Poésies Philosophiques», pag. 171.

³⁾ «Напрасно изструпленный экипажъ маневрпруетъ въ темнотѣ: ужасъ, отчаяніе, смерть уже распространились на кораблѣ. И взявъ руль въ свои руки, мрачный рокъ направляетъ корабль на подводный камень».

L. Ackermann. «Poésies Philosophique», pag. 181.

брала въ своемъ сердцѣ все отчаяніе и всѣ проклятія другихъ сердецъ и пусть раздаются со всей силой мои крики»...

«Ah! c'est un cri sacré que tout cri d'agonie;
Il proteste, il accuse au moment d'expirer,
Eh bien! ce cri d'angoisse et d'horreur infinie
Je l'ai jeté; je puis sombrer»¹⁾.

VII.

Итакъ, самая характерная черта поэзіи м-те Аккерманъ — ея мрачный и безнадежный пессимизмъ. Этотъ пессимизмъ былъ не субъективнаго происхожденія. Не испытавъ страсти, она не знала разочарованія. Нѣкоторые критики даже удивлялись тому, что результатомъ такого ровнаго, спокойнаго существованія могло быть произведеніе подобнаго отчаянія.

Въ настоящее время пессимизмъ не въ модѣ. На него идетъ гоненіе изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ. Ему приписываютъ апатію, бездѣльствіе, индеферентизмъ нашей молодежи. Но это вѣрно развѣ только для натуръ слабыхъ и не глубокихъ. Въ самомъ сознаніи страданія уже есть стремленіе отъ него избавиться. «Къ чему, въ значительной степени, сводится сознаніе страданія? говоритъ Guyau. Къ идеѣ, что было бы возможно его избѣгнуть, къ концепціи состоянія лучшаго, т. е. къ извѣстнаго роду идеалу. Только то единственное существо, которое говорить и думаетъ, способно плакать. Одинъ поэтъ сказалъ: «Идеаль зарождается въ сердцѣ страдальца». Но не самъ-ли идеаль зарождаетъ нравственное страданіе, не онъ ли даетъ человѣку полное сознаніе его боли?»²⁾.

М-те Аккерманъ ни минуты не оставалась апатичной, индеферентной. Ни одно ея произведеніе не носитъ характера смиренія. Она возмущается инертностью людей, она борется за далекій идеаль, она зоветъ къ борьбѣ другихъ... Теперь, когда даже центръ интеллигентной жизни—Парижъ настолько умственно ослабѣ, что породилъ сенсуалистовъ, ко-буддистовъ и другихъ выродковъ болѣзеннаго вѣка, мужественный голосъ м-те Аккерманъ, смѣло взывающій къ человѣческому разуму и справедливости, заслуживаетъ еще большаго вниманія и поклоненія.

С. Кавось-Дехтерева.

¹⁾ «Ахъ! всякий предсмертный крикъ священецъ; онъ протестуетъ, онъ обвиняетъ въ минуту погибели. Такъ вотъ, я бросила этотъ крикъ смертельной тоски и безконечнаго ужаса, я могу утонуть».

L. Ackermann. «Poésies Philosophique», pag. 182.

²⁾ Guyau. „Esquisse d'une morale“ page 240.

ЗАПИСКИ А. О. СМИРНОВОЙ.

(Неизданные исторические документы).

Изъ записныхъ книжекъ 1826 — 1845 гг.

Государь бесѣдовалъ съ Нессельроде у Императрицы о Реформѣ-Билль; повидимому, духъ партіи проявился въ то время съ такою силой, которая всѣхъ ихъ поразила; даже билль 1829 года не возбудилъ въ такой степени ни обѣихъ партій, ни публику. Государь сказалъ: «Это потому, что уже настало время для освобожденія католиковъ, даже въ глазахъ публики.» Нессельроде сказалъ затѣмъ: «Билль Грея былъ необходимъ, эти *rotten boroughs* были дѣломъ постыднымъ для Англіи.» Онъ рассказалъ, что въ XVII вѣкѣ произошла знаменитая сцена въ палатѣ, когда всѣ члены поднялись съ мѣстъ и схватились за рукояти своихъ сабель, но не вытащили ихъ изъ ноженъ. Въ минувшемъ столѣтіи послѣ засѣданій дрались на дуэли, до того необузданъ былъ духъ партій, думали, что онъ нѣсколько успокоился, а билль Грея вызвалъ броженіе, которое продолжалось два года; въ 1831 году, когда онъ прошелъ въ палатѣ общинъ, въ первомъ чтеніи съ большинствомъ *одного* голоса, утверждали, что это *пьяный* членъ ошибся дверью, уверяли, что впослѣдствії заставляли подавать голосъ людей больныхъ, которые лежали въ постели.

Я отправилась кончать вечеръ къ Карамзину и все это рассказала Пушкину, по поводу чего онъ замѣтилъ намъ, что Англія страна, которую понимать не легко, не только намъ русскимъ, но и французамъ. Англичане ему нравятся своимъ практическимъ умомъ и независимымъ характеромъ, который составляетъ основу характера національнаго, притомъ безъ тѣни революціоннаго духа; они питаютъ большое уваженіе къ закону и къ правамъ всѣхъ и каждого.

— Твои англичане большіе эгоисты, сказалъ ему Тургеневъ.

— А ты когданибудь видалъ, чтобы политика была основана на любви къ другимъ народностямъ, возразилъ Пушкинъ,— близкіе соседи

и тѣ рѣдко любять другъ друга; у тебя предубѣженія французовъ противъ *коварнаго Альбиона*. Эти два народа много сражались во всѣ времена, потому было Ватерло, котораго не забыли, что, быть можетъ, и естественно для поклонниковъ Наполеона. Но эта ненависть къ лорду *Vilainton*¹⁾ ребячество, такъ какъ не могъ же Веллингтонъ дать себя разбить, чтобы доставить удовольствіе французамъ.

— Вольтеръ сказалъ, что патріотизмъ требуетъ отъ насъ ненависти къ другимъ народамъ.

— Это софизмъ, какъ многія остроты Вольтера, отвѣчалъ ему Пушкинъ,—да и ты, Тургеневъ, порядочный любитель софизмовъ и парадоксовъ. Я могу быть патріотомъ, не ненавидя другихъ народовъ; почему любовь къ родинѣ обязываетъ меня ненавидѣть все то, что находится по ту сторону Таурогена?²⁾.

Жуковскій одобрилъ эту мысль, сказавъ:

— Солдатъ—патріотъ и жертвуетъ родинѣ жизнью, онъ убиваетъ потому, что и на полѣ битвы находится для того, чтобы убивать или ранить, но онъ не ненавидитъ, хотя бы даже, возбужденный сраженіемъ, онъ совершилъ иногда звѣрскія дѣла: онъ опьяненъ борьбой, запахомъ пороха, крови. Но какъ скоро сраженіе кончено, онъ становится человѣколябивымъ, онъ подаетъ напиться раненому врагу. Онъ никогда не убиваетъ хладнокровно, а потому онъ не имѣеть въ сердцѣ ни малѣйшей ненависти.

— Побѣдители всегда сострадательнѣе побѣжденныхъ, сказалъ ему Тургеневъ,—это очень естественно.

— Ничуть, отвѣчалъ Жуковскій,—въ 1812 году мы были очень долго побѣжденными и даже ранѣе 1812 года. Бываютъ исключенія, но въ видѣ общаго правила можно сказать, что у солдата ненависть не связана съ патріотизмомъ, по крайней мѣрѣ у того, котораго я видѣлъ; и многіе военные говорили мнѣ тоже самое, между прочимъ Батюшковъ.

— Рылеевъ, Раевскій, Денисъ Давыдовъ говорили мнѣ тоже самое, сказалъ Пушкинъ.—Да еслибъ ненависть всегда тутъ сказывалась, война была бы еще ужаснѣе, чѣмъ она есть, а она и такъ страшная необходимость. Ненависть, при вторженіи врага въ страну, оказывается сильнѣе среди населенія, чѣмъ среди солдатъ, это вѣрно. Если чувство ненависти проявляется въ войскахъ—это плохой знакъ, такъ какъ тогда къ патріотизму примышливается народное тищеславіе. Въ сущности говоря, пораженіе не есть униженіе, если весь долгъ исполненъ, такова судьба сраженій, чтобы были побѣжденный и побѣдитель, этому должно покоряться, какъ и прочимъ житейскимъ невзгодамъ. Патріотизмъ—чувство благородное, достойное, не слѣдуетъ умалять и унижать его, съ помопью

¹⁾ Прозваніе данное французами Веллингтону.

²⁾ Граница въ то время, до желѣзныхъ дорогъ, была въ Таурогенѣ.

самаго жалкаго порока, какой только существует—тищеславія. Слава Богу, порокъ этотъ не свойственъ ни русскому народу, ни русскому войску. Благородно перенести пораженіе, несчастье—это дѣло, быть можетъ, болѣе достохвальное чѣмъ побѣда, такъ какъ оно болѣе трудное. Петръ Великий служилъ этому примѣромъ, побѣды Карла XII подъ Нарвой и Венденомъ нисколько не унизили Петра I и онъ былъ дивно прекрасенъ во время побѣды подъ Полтавой. Это былъ такой великій характеръ.

Г-жа Карамзина сказала ему:

— Вы воодушевляетесь всякой разъ, какъ говорите о Петрѣ Великомъ, вы даже взволнованы.

— Это правда, я люблю говорить о немъ, я много о немъ думаю. Государь иногда говоритъ со мной о немъ, онъ также гордится своимъ предкомъ и оживляется, когда говорить о немъ.

— Англичане отличаются невыносимой народной надменностью, сказала Тургеневъ.

— Скорѣй народной гордостью, возразилъ Пушкинъ,— безъ всякаго тищеславія, но даже гордость слѣдуетъ предпочитать жалкому тищеславію, такъ какъ въ гордости не всегда есть заносчивость. Они вправѣ гордиться своей страной, своими писателями, своими политическими правами. Я очень горжусь Россіей, всѣмъ, что она совершила со временъ Петра Великаго, я горжусь тѣмъ, что она произвела такого своеобразнаго генія, такого великаго патріота, который никогда не усомнился въ будущности своей родины, въ ея силахъ, въ ея способностяхъ, который всегда вѣрилъ въ нее и, передъ Полтавской битвой сказалъ своимъ войскамъ: думать не о Царѣ, но о Россіи. Это слова патріота, гражданина; хотѣлось бы мнѣ повторить ихъ Байрону когда онъ писалъ Мазепу, ради одного стиха, который онъ вставилъ въ эту поэму.

— Того, который ты выставилъ эпиграфомъ къ Полтавѣ, улыбаясь сказала ему Жуковскій.

Пушкинъ, въ отвѣтъ, кивнулъ головой. Когда онъ увлекается и одушевляется, всѣ замолкаютъ, чтобы его слушать, даже Вяземскій и Тургеневъ, которые знали его ребенкомъ. Что-же касается до Жуковскаго—онъ смотрить на него съ нѣжностью, онъ наслаждается всѣмъ, что говоритъ его Фениксъ; есть что-то трогательное, отеческое и виѣстѣ съ тѣмъ братское въ его привязанности къ Пушкину, а въ чувствѣ Пушкина къ Жуковскому—оттѣнокъ уваженія даже въ тонѣ его голоса, когда онъ ему отвѣчаетъ. У него совсѣмъ другой тонъ съ Тургеневымъ и Вяземскимъ, хотя онъ ихъ очень любить. Я также наблюдала за его обращеніемъ съ г-жей Карамзиной: это не только простая почтительность по отношенію къ женщинѣ уже старой, это нѣчто болѣе ласковое. Онъ чрезвычайно дружески почтителенъ съ княгиней Вяземской, съ т-те Хитрово, но его обращеніе съ Карамзиной совсѣмъ не то. Вообще

онъ относится съ почтительной вѣжливостью ко всѣмъ женщинамъ, молодымъ и старымъ, даже въ шутливыхъ разговорахъ, Catherine Мещерская замѣтила это и говорила мнѣ, что онъ безконечно благовоспитанъ. Я думаю, что онъ безконечно добръ, истинная вѣжливость исходить также изъ сердца, даже болѣе чѣмъ изъ благовоспитанности. Покойная Императрица всегда говорила: «источникъ вѣжливости—сердце». Пушкинъ отличается большимъ благородствомъ и утонченностью чувствъ, что также необходимо, чтобы не оскорблять своего ближняго. Невѣжливость и недостатокъ вниманія къ людямъ и исходить: у людей свѣтскихъ, изъ дурного сердца: ихъ дерзость, ихъ заносчивость преднаਮѣренны; люди безъ воспитанія часто грубы безъ намѣренія, они порою даже не подозрѣваютъ, что они невѣжливы, ихъ можно извинить. Чего я не извiniю, такъ это заносчивости, соединенной съ низостью, которая такъ часто встречаются въ большомъ свѣтѣ, при дворѣ, гдѣ лѣстивы съ однimi и дерзки съ другими. Многіе воображаютъ, что Государь, Императрица и Великій Князь Михаилъ Павловичъ всего этого не замѣчаютъ, а они такъ хорошо это видятъ. Императрица говорила мнѣ объ этомъ, а также иногда и Великій Князь Михаилъ Павловичъ. Жуковскій отличается какой-то ласковой вѣжливостью съ друзьями, дышащей искренностью, привѣтливостью съ тѣми, съ кѣмъ онъ не близокъ, и преисполненной достоинствомъ, вѣжливостью съ остальными, его манера держать себя при дворѣ безукоризненна. Государь быстро оцѣнилъ его, это видно по всему его обращенію съ Жуковскимъ и по тому, что онъ говорилъ своему сыну, совсѣмъ ребенку, когда тотъ приходилъ прощаться вечеромъ: «Доволенъ ли тобой, за эту недѣлю, Василій Андреевичъ? Я не говорю объ урокахъ, а о твоемъ поведеніи; надо, чтобы ты заслужилъ его уваженіе и его одобрение, такъ какъ твои родители его очень уважаютъ».

Это повторялось каждую субботу: въ остальные дни рѣчь была только объ урокахъ¹⁾.

¹⁾ Такъ какъ Наслѣдникъ учился одинъ, то Жуковскій сказалъ Государю, что для поощренія его было-бы полезно, чтобы онъ имѣлъ товарищѣ по занятіямъ; выбрали Иосифа, старшаго сына графа Михаила Віельгорскаго, мальчика чрезвычайно способнаго, очень серьезнаго и крайне прилежнаго, а къ нему прикомандировали юнаго Паткуля. Сынъ генерала Адлерберга былъ, главнымъ образомъ, однимъ изъ товарищѣ игръ, равно какъ и будущій поэтъ графъ Алексѣй Толстой. Бабушка молодого Александра Адлерберга воспитывала Государа съ колыбели до того дня, когда онъ перешелъ въ мужскія руки и все семейство Адлерберга жило при дворѣ. Уже позже князь Александръ Барятинскій (будущій фельдмаршалъ) сдѣлался товарищемъ юности Наслѣдника, онъ былъ друженъ съ Иосифомъ Віельгорскимъ. Эти три человѣка: Александръ Адлербергъ, Алексѣй Толстой, Александръ Барятинскій были самыми преданными и самыми вѣрными друзьями Александра II, со временемъ его молодости. Иосифъ Віельгорскій умеръ въ Римѣ, двадцати лѣтъ, отъ чахотки. Опять, съ своимъ другомъ Александромъ Барятинскимъ, началь составлять коллекцію древнє-русскихъ предметовъ: иконъ, оружія, портретовъ, книгъ,—она должна была достаться тому изъ

Пушкинъ провелъ у насъ вечеръ, онъ говорилъ намъ прелестные стихи, которые написалъ для Мицкевича и прибавилъ: «Какъ онъ счастливъ: онъ былъ въ Веймарѣ, онъ видѣлъ Гёте!» Весь вечеръ говорили

нихъ, который переживетъ другого и уже около 1839 года Александръ Баратинскій ее наследовалъ. Онъ путешествовалъ съ Наслѣдникомъ, объѣздилъ съ нимъ всѣ западные дворы. И такъ было решено, что тотъ, у котораго будетъ всего болѣе отмѣтокъ, войдетъ прощаться первымъ и часто этимъ первымъ былъ Иосифъ Віельгорскій; будучи слабаго здоровья, онъ мало игралъ и страшно любилъ занятія; очень робкій онъ останавливался у дверей, краснѣя и въ нерѣшительности; тогда Наслѣдникъ толкалъ его впередь; когда-же ему самому удавалось заполучить хорошія отмѣтки, то онъ, краснѣя отъ удовольствія, входилъ первымъ. Паткуль былъ отъявленный лѣтній, которому Государь говорилъ: «Другіе краснѣютъ, а ты никогда не краснѣешь, чтоѣчи па хвостѣ». Слова эти оставляли юнаго лѣтнинца совершенно равнодушнымъ. Моя мать записала еще одинъ случай: чтобы дать Паткулю возможность хотѣть разъ торжественно войти первымъ, Наслѣдникъ и Иосифъ Віельгорскій порѣшили, что они не будутъ знать ип одного урока и, къ всеобщему изумленію, Паткуль вошелъ первымъ. Государь поздравилъ его съ успѣхами, но улыбки остальныхъ двухъ учениковъ заставили его угадать, что они способствовали этому нежданному успѣху. Въ этотъ вечеръ Государь ничего не сказалъ, но на другой день, увидавъ Паткуля въ хвостѣ, воскликнулъ: «Его усердіе, насколько я вижу, было непродолжительное». Тогда Паткуль отвѣтилъ: «Это потому, что сегодня они знали свои уроки, а вчера они ничего не звали, тогда я — хоть что-нибудь да зналъ.

— Ты умѣешь бѣгать и лазить, сказалъ ему Государь, — вообще ты отличаешься въ играхъ на открытомъ воздухѣ.

Мать моя тогда была очень молода, ее забавляло слѣдить за играми мальчугановъ, она даже играла съ маленькими Велическими Княжнами. Она описываетъ ихъ игры и говоритъ: «Иосифъ Віельгорскій судья состязаний, онъ слишкомъ слабъ, чтобы бороться и шалить, онъ смотритъ какъ другіе играютъ, это прелестный мальчикъ, но я боюсь, чтобы онъ, подростая, не нажилъ себѣ чахотки, онъ задыхается всякий разъ что быстро пройдется или поднимется по лѣстницѣ».

Въ другой замѣткѣ описывается любимая игра, — схватка между Наслѣдникомъ, Сашей Адлербергъ, Алешей Толстымъ и «изнаменитымъ лѣтніемъ Паткулемъ», который переживаетъ самую пріятную для себя минуту. «Наслѣдникъ весь въ поту, Саша съ оторваннымъ воротникомъ (въ то время дѣти носили большие воротники), Паткуль растрепанный болѣе чѣмъ когда-либо, Алеша красный, какъ падѣйский пѣтухъ, всѣ хоочутъ какъ сумасшедшия, счастливые возможностью бороться, кричать, двигаться, размахивать руками. Алеша отличается баснословной силой, онъ безъ всякаго усилия поднимаетъ ихъ всѣхъ, перебрасываетъ ихъ по очереди себѣ черезъ плечо и голопишуясь съ этой вошней, подражая ржанью лошади. Онъ презабавный и предложилъ Государю помѣриться съ нимъ. Его Величество сказалъ ему: «Со мной? но ты забываешь, что я сильнѣе тебя, гораздо выше».

— Это все равно, я не боюсь помѣриться съ кѣмъ-бы то ип было, я очень спленѣнъ, я это знаю.

Государь отвѣтилъ ему: «Такъ ты, злакитъ, богатырь?

Мальчуганъ возразилъ: «У меня казацкая душа», и, къ всеобщему удивленію, привелъ стихъ изъ Полтавы; это восхитило Государя, который сказалъ ему:

«Что жъ, помѣримся силами, я выше тебя ростомъ и буду бороться одной рукой».

Алеша сжалъ кулаки, поклонился какъ на кулачномъ бою, а затѣмъ спросилъ:

о Польшѣ, о Мицкевичѣ, котораго мой мужъ разъ встрѣтилъ въ Римѣ у княгини Зинаиды Волконской, а затѣмъ впдалъ во Флоренцію у Орлова; онъ замѣтилъ въ немъ почти болѣзnenную меланхолію и болѣзnenную-же восторженность. Княгиня Зинаида, которая знала его въ Москвѣ, была очень добра къ нему въ Римѣ. Говорили объ Одынцѣ, о Лелевелѣ, о Красинскомъ, о Б. Залескомъ, который напечаталъ прелестную поэму, которую Соболевскій получилъ изъ Парижа. Затѣмъ Пушкинъ говорилъ о филаретахъ¹⁾). Онъ говорилъ, что Мицкевичъ чрезвычайно склоненъ къ мистицизму, но, что въ немъ не сидитъ заговорщикъ, ни что-либо дѣйствительно политическое, что это мечтатель, натура любящая, что онъ долго находился подъ влияниемъ Шиллера, а впослѣдствіи Байрона, что онъ также напоминаетъ ему идеи Кюхельбекера и иѣкоторыхъ декабристовъ, напримѣръ Одоевскаго, которые отнюдь не были политическими

«Я могу болѣно бить»?—«Нисколько не стыняясь». Казакъ мгновенно сорвался съ мѣста, точно ядро, выброшенное изъ жерла пушки. Государь отражалъ его нападеніе одной рукой и отъ времени до времени говорилъ: «Онъ силенъ, этотъ мальчишка, силенъ и ловокъ». Замѣтивъ, что тотъ, наконецъ, задыхается и еле дышетъ, Государь поднялъ его, поцѣловавъ и сказалъ ему: «Молодецъ и богатырь».

Тогда и остальные пожелали попытаться сбить Государя съ ногъ; богатырю съ казацкой душой дали немногого передохнуть и всѣ они ринулись на своего противника, который скрестилъ руки на груди; они хватали его за полы мундира, за ноги, стремясь заставить его согнуть колѣни, ничего подѣлать не могли, отъ времени до времени онъ говорилъ имъ: «Да не кричите такъ сильно, только запыхаешься». Напрасный трудъ, они были слишкомъ возбуждены. Наконецъ битва кончилась за немногимъ бойцовъ: всѣ попадали на траву, совсѣмъ обезсилѣвшись.

Что особенно насыпало Государя такъ это дѣвочки: даже Мэри, которая не такой ужъ ребеночекъ, казалась неспокойной, онъ былъ почти испуганъ воображалъ, что напашиутъ съ ногъ; когда онъ увидали, что мальчики лежать на землѣ, онъ закричали «Ура!» и бросились къ нему, чтобы поцѣловать его, спрашивая, не сѣлали-ли ему больно? Это его очень позабавило.

Какимъ онъ смотритъ счастливымъ, когда у него выберется часъ, который онъ можетъ посвятить имъ, онъ какъ-то говорилъ: «Моя жена и мои дѣти это моя радость и моя отдыхъ, а у меня теперь такъ мало времени, которое я могъ бы посвятить имъ, такъ мало минутъ, чтобы наслаждаться моими дѣтьми». Когда я вижу его на какой-нибудь церемоніи, на празднике, на парадѣ, такимъ серьезнымъ, даже суровымъ, я говорю себѣ, что тѣ, которые не видятъ его среди дѣтей, его не знаютъ, не видятъ въ немъ истиннаго человѣка, того, котораго надо видѣть въ его семье и который тогда — совершенно другая личность. Я передавала иѣкоторымъ подробности о немъ Пушкину, котораго это всегда интересуетъ, какъ равно и все, что разсказываетъ ему Жуковскій о своихъ бесѣдахъ съ Государемъ о воспитаніи его старшаго сына.

1) Филареты, съ 1820 по 1825 г., были чѣмъ-то въ родѣ Литовскаго Тугенбунда. Виленскихъ заточили въ Россіи: Мицкевичъ былъ высланъ въ Одессу, затѣмъ перешаля въ Москву и, наконецъ, въ Петербургъ; въ 1828 году онъ получиль заграничный паспортъ, Одынецъ уже былъ въ Дрезденѣ. Въ 1829 году Мицкевичъ поѣхалъ Италию, родины онъ болѣе не видалъ, такъ какъ умеръ въ Константинополь.

дѣятелями, но великими романтиками. Мой мужъ сказалъ ему, что именно такого рода впечатлѣніе и произвѣль на него Мицкевичъ, равно какъ и на Орлова. Пушкинъ прибавилъ: «Мицкевичъ—эмигрантъ, у него нѣть болѣе родины, несчастіе изгнанія съ эмиграціи и заключается въ томъ, что уже болѣе не чувствуешь почвы подъ ногами. Наконецъ, начинаешь жить надеждами и миражами. Боюсь, какъ-бы окружающіе Мицкевича не заставили его отказаться отъ его истинной почвы, отъ поэзіи. Это великий лирикъ, пожалуй еще слишкомъ въ духѣ Байрона, онъ всегда болѣе меня поддавался его вліянію, онъ остался тѣмъ, чѣмъ былъ въ 1826-мъ году. Въ Конрадѣ Валленродѣ есть прелестныя мѣста и три поэмы въ одной, что и составляетъ ея недостатокъ: лирическая поэма любви, эпическая поэма ненависти и мщенія и поэма Мавра—это уже национальный вопросъ, это Гетеистское вліяніе эпохи. Сюжетъ онъ почерпнулъ изъ исторіи, но безусловно исказилъ исторію, а это заблужденіе». Я спросила: «Которая изъ этихъ поэмъ лучшая?»—«Поэма любви, лирическая часть, описанія Литвы, описанія природы, мнѣ кажется, что въ этомъ описаніи Мицкевичъ никогда не достигнетъ большаго, съ точки зрѣнія искусства все это прекрасно и не уступаетъ нѣкоторымъ строфамъ изъ юношескихъ произведеній Байрона. Поэма Мавра, которую онъ сюда вставилъ, также очень хороша и очень напоминаетъ Байрона: характеры Конрада и Альдоны совершенно въ байроновскомъ духѣ. Третья поэма будетъ понята навыворотъ и въ этомъ ея недостатокъ: она какъ-будто проповѣдуется ненависть, мщеніе, но она, правда съ недомолвками, проповѣдуется противное; я это сказалъ Мицкевичу, онъ недостаточно обработалъ эту часть, онъ не ясно различалъ передъ собою путь, да и необладалъ тогда достаточнымъ критическимъ чутьемъ, онъ даже не вполнѣ владѣлъ собою, когда писалъ эту часть поэмы».

Вяземскій спросилъ его:—Ты находишь, что въ Валленродѣ три поэмы. Что это похвала или порицаніе?

Пушкинъ отвѣтилъ: «Это литературная критика. Можно соединить эпизодъ изъ частной жизни съ историческимъ фактомъ—не вредя единству произведенія, но въ Конрадѣ Валленродѣ недостаетъ именно связи между тремя вопросами, обсуждаемыми авторомъ, и въ особенности недостаетъ ясности. Мнѣ кажется, что онъ могъ бы изъ этого сдѣлать двѣ поэмы, совершенно отдѣльныя. Каждая часть, сама по себѣ, прекрасна и тѣмъ болѣе чувствуется недостатокъ гармоніи».

Вяземскій замѣтилъ: Ты говоришь съ русской точки зрѣнія. «Ничуть!»—воскликнулъ Пушкинъ. Будь тутъ русские, нѣмцы, будь тутъ намеки на семейную расплюю подъ видомъ войны между Тевтонскимъ орденомъ и Литвой, это было бы то же самое. Кроме того, фактъ борьбы Ордена съ Литвой—историческій, намекъ на Россію ясенъ, такъ какъ Мицкевичъ

упираеть на национальное чувство, а исторически это невѣрно: въ эпоху войнъ съ Орденомъ нельзя было быть гетеристомъ 20-го года, да еще въ XIV и XV столѣтіяхъ вдобавокъ! Я замѣтила Вяземскому, что онъ: *plus royaliste que le roi*, что онъ раскритиковалъ стихи Пушкина: *На взятие Варшавы и Клеветникамъ Россіи*, но, что, тѣмъ не менѣе, существуетъ «исторія». Онъ отвѣтилъ мнѣ: «мы побѣдители». Пушкинъ возразилъ: — «Да, теперь, но ты забываешь, что мы очень долго были побѣжденными; впрочемъ, я никакъ не виню Міцкевича въ томъ, что онъ излилъ свои патріотическія чувства въ этой поэмѣ, но я полагаю, что поэма Мавра въ особенности могла бы превратиться въ отдѣльное произведеніе, болѣе длинное, вполнѣ прекрасное и чрезвычайно своеобразное; въ тоже время Мавръ оплакиваетъ свободу, такъ какъ долженъ же ты признать, что для завоевателей Испаніи завоеванная страна не могла быть родиной, въ томъ смыслѣ, какой мы придаемъ этому слову. Вотъ почему эта часть поэмы противорѣчитъ остальному содержанію ея, что вызвано чувствомъ патріотическимъ, національнымъ. Признайся, что я правъ?» Вяземскій проворчалъ: «Ну, конечно, да, ты всегда правъ». Его тонъ разсмѣшилъ Пушкина, который продолжалъ: «Задолго до пожара 12-го года поляки осаждали, грабили и жгли Москву отнюдь не менѣе татарь; я совсѣмъ и не думалъ о 12-мъ годѣ, когда писалъ свою оду, но такъ какъ я немного знаю исторію, то мнѣ кажется, что я не ошибся, заговоривъ о семейной распрѣ: западная Европа тутъ ни причемъ. Подобная же распрыя существуетъ между Англіей и Ирландіей, съ какого права стали бы мы въ нее путаться? Что справедливо для однихъ, справедливо и для другихъ; право можно подумать, что мы одни учинили раздѣлъ Польши. Ты забываешь, что въ 12-мъ году прусаки имѣли гарнизонъ въ Варшавѣ. Въ 12-мъ году грабили, но пожаръ не былъ зажженъ исключительно поляками, не больше, чѣмъ французами, кто знать кѣмъ онъ былъ зажженъ? Я полагаю, что всѣ этому способствовали; во всякомъ случаѣ армія Наполеона была усиlena всѣми народами, которыхъ онъ терроризировалъ, и въ Варшавѣ его приняли съ распостертymi объятіями, забывъ, что онъ не особенно щадилъ національности». Тогда мой мужъ сказалъ ему: «Растопчишь увѣряль меня, что отецъ его никогда не давалъ приказанія сжечь Москву». Пушкинъ отвѣтилъ: «Да, это возможно; но онъ быть-можетъ подготовилъ его—этотъ пожаръ. Кромѣ того, тогда растворили тюрьмы, крестьяне поджигали свои села, огонь могъ быть зажженъ русскими, а также французскими, польскими, иѣмецкими солдатами, отставными отъ строя, почемъ мы знаемъ? Грабили усердно, и не русскіе тогда грабили и жгли въ Кремлѣ, въ этомъ я вполнѣ увѣренъ. Да и то сказать, Наполеонъ грабилъ музей въ Италии и въ Испаніи, маршалы его также, слѣдуетъ ли удивляться, что солдатъ грабить, въ особенности когда такая громадная армія, состоящая изъ столькихъ національностей. Я сказалъ въ своихъ

стихахъ, которые не понравились Вяземскому, что русскіе никогда не сожгутъ Варшаву и я это повторяю. Въ арміи Наполеона были поляки, но я даже и не думалъ о 12-мъ годѣ, я, главнымъ образомъ, думалъ о семейной распѣ, это было достаточно ясно сказано. Ты написалъ мнѣ, что это *шинельные стихи*, это выходка салоннаго либерала, такъ какъ ты самъ же былъ бы въ отчаяніи, еслибы настъ разбили».

Вяземскій разсмѣялся и проворчалъ: «Ты на меня за это сердишься?» «Ничуть, отвѣтилъ Пушкинъ,—я высказалъ то, что чувствовалъ и я же-лаю, чтобы семейная распра утихла. Началась она, когда Болеславъ Сильный предательски напалъ въ Киевѣ на своего зятя, Ярослава Мудраго». «Что вы на это скажете, аббать Тѣту?»¹⁾). Вяземскій мнѣ отвѣчалъ: «Скажу, что у вашего Пушкина чертовская память». Я возразила: «Какой-то французъ сказалъ, что она необходима для всѣхъ умственныхъ отправленій, хотя есть и очень глупые люди, обладающіе памятью».

Пушкинъ. Это правда, но люди глупые помнятъ ненужныя глупости и мелкія и пустыя подробности. Надо упражнять свою память, указывать ей, что она должна сохранять, и отбрасывать то, что обремѣняетъ мозгъ» Я отвѣчала: «Вотъ почему я никогда не могла выучить таблицы умноженія, это обремѣняло мнѣ мозгъ. Вы бы посмѣялись надъ лицомъ моего мужа, когда онъ сдѣлалъ это открытие, я отлично дѣлаю сложеніе и вычитаніе, но дѣленіе осталось для меня непроницаемой тайной, я отъ него отказалась. Между тѣмъ, когда я играю на фортепіано, *à livre ouvert*, въ четыре руки съ Одоевскимъ, онъ пораженъ потому, что я никогда не сбиваюсь съ такта». Они смѣялись какъ мальчишки надъ моей исповѣдью и мой мужъ сказалъ, что действительно онъ былъ пораженъ, узнавъ о моемъ невѣжествѣ въ ариометрикѣ, но приписываетъ его плохимъ урокамъ. Я протестовала: эти самые уроки сдѣлали изъ Александрии Зубовой и другихъ воспитаницъ — ученыхъ, даже умственные задачи казались имъ легкими и тройное правило — шуткой. Разсуждали о различныхъ видахъ памяти и способностей, и Пушкинъ высказалъ очень оригинальную мысль о Шекспирѣ и Данте: «Они всего выше тѣмъ, что они не высиживали своихъ произведеній, точно также какъ Гомеръ или Эсхилъ. Намъ, современнымъ писателямъ, это почти невозможно. Французскіе романтики теперь слишкомъ гонятся за формой, Мюссе менѣе другихъ. То, что я читалъ изъ его произведеній, кажется мнѣ очень прочувствованнымъ и продуманнымъ». Затѣмъ онъ говорилъ о Шекспирѣ, о его взглядахъ на любовь, о его молодыхъ дѣвушкахъ и любовникахъ, изъ которыхъ ни одинъ не сентименталенъ и не романиченъ, даже среди романническихъ и необычайныхъ приключеній, потому, что чувства ихъ такъ естественны; о его замужнихъ женщинахъ,

¹⁾) Прозвище Вяземского.

среди которыхъ встречаются только красивые типы, объ его мысляхъ о королевской власти, о славѣ, о войнѣ, о смерти, о совѣсти, и онъ закончилъ: «Нѣть ни одной стороны души, ума, сердца, характера, слабостей, страстей, пороковъ, добродѣтелей, которыхъ бы онъ не наблюдалъ и не описалъ, отъ зерна и корня человѣческаго растенія до его послѣдняго листа, цвѣта, плода»... Вяземскій сказалъ, что Московскій пожаръ вспыхнулъ наканунѣ вступленія Наполеона, онъ думаетъ, что всѣ этому способствовали и что никогда не узнаютъ истины относительно пожара, но, что во всякомъ случаѣ Ростопчинъ не давалъ формального приказа. Онъ слышалъ, что Ростопчинъ, узнавъ о пожарѣ, сказалъ: «Теперь не время тушить, пусть горитъ». Изъ этого заключили, что онъ сказалъ: «Зажгите городъ». Это очень возможно. Пушкинъ продолжалъ: «Это участь многихъ историческихъ изречений, напримѣръ словъ Франциска I, но обыкновенно забываютъ конецъ его письма, пишутъ «*Все потеряно кромѣ чести*» и ставятъ восклицательный знакъ, конецъ менѣе поэтиченъ: «но жизнь спасена», это совершенно естественно, когда пишешь сестрѣ и не думаешь о потомствѣ».

Вяземскій чрезвычайно увлеченъ Мицкевичемъ, Пушкинъ восхищается некоторыми частями изъ Валленрода, думами, лирическими стихотвореніями и частью поэмы: *Dziady* (Предки), но находитъ, что онъ часто слишкомъ романтиченъ или, вѣрнѣе, романиченъ. Пушкинъ прибавилъ: «Ты не будешь со мной согласенъ, Вяземскій, такъ какъ ты чрезвычайно романтиченъ подъ старость и бредилъ Байрономъ на берегахъ Вислы. Баратынскій моего мнѣнія и онъ просилъ Мицкевича не подражать Байрону, находя въ немъ славянскую оригинальность, онъ очень любилъ его талантъ и именно то, что въ немъ принадлежало ему лично. По моему мнѣнію его лучшее произведеніе Панъ Тадеушъ и мнѣ хочется его перевести,—на старости лѣтъ, когда ужъ мнѣ болѣе нечего будетъ сказать своего. Мнѣ кажется, что Мицкевичъ читалъ Гёте и Шекспира также, какъ Шиллера и Байрона; княгиня Зинаида Волконская совѣтывала ему изучать итальянскихъ поэтовъ, онъ хорошій латинистъ и это было бы ему легко. Я нахожу новыя мысли въ Панѣ Тадеушѣ. Гёте нашъ великий учитель и Байронъ это понялъ а между тѣмъ у него подъ рукою былъ Шекспиръ, не только какъ поэтъ, но какъ великій философъ, какъ творецъ цѣлаго человѣчества, не стихи Шекспира слѣдуетъ изучать, а мысли его. Гёте—Данте Германіи, у него и мысли и стихи, онъ также многимъ обязанъ Данту и Шекспиру».

Я обожаю Пушкина, когда онъ въ ударѣ, увлекается и думаетъ вслухъ; тогда его ни съ кѣмъ сравнить нельзя, такъ какъ умъ его такъ удивительно ясенъ. Вяземскій спросилъ его: «Байронъ гнался за формой?» «Нѣть и всего менѣе въ Чайльдѣ-Гарольдѣ, Кайнѣ, Донѣ-Жуанѣ, Манфредѣ, въ Землѣ и Небѣ и даже не въ юношескихъ произведеніяхъ, ни

въ Гяурѣ, ни въ Ларѣ, ни въ Корсарѣ, ни въ Абидосской Невѣстѣ, впрочемъ задача англичанъ до такой степени рознится отъ задачъ французской литературы, а Байронъ былъ и политическимъ дѣятелемъ. Погоня за формой, *литературничанье*, есть въ Разбойникахъ, хотя не замѣтна въ Колоколѣ; нѣмцы всегда задавались чрезвычайно опредѣленными цѣлями; Донъ-Карлосъ, Эгмонтъ—произведенія политическія. Протестъ въ Разбойникахъ безсодержателенъ, такъ какъ волить противъ всякой нравственной власти—просто ребячество, это произведеніе юношеское и приводило въ восторгъ юнцовъ». Онъ говорилъ затѣмъ, что боится кружка, который сплотился около Мицкевича, этихъ эмигрантовъ вродѣ секты Тавянскаго о которомъ Голынскій сообщилъ разныя подробности Соболевскому, который говорилъ съ нимъ также о сенъ-симонистахъ и фурьеристахъ. Говоря о Мицкевичѣ, Пушкинъ былъ взволнованъ, такъ какъ онъ считаетъ его чрезвычайно несчастнымъ, а порою и озлобленнымъ. Говоря о поэмѣ на наводненіе онъ сказалъ: «Мицкевичъ думалъ, что лошадь¹⁾ ринется въ пропасть и разобьется, но я не такой дурной пророкъ какъ онъ, она удержится на ногахъ, эта отлитая изъ мѣди лошадь. Пропасть настъ поглотить лишь въ томъ случаѣ, если мы не совершимъ того, о чёмъ я мечтаю съ лицая—не освободимъ крѣпостныхъ, не возвратимъ имъ правъ гражданина и собственности. Остальные виды свободы придутъ потомъ, въ силу вѣщѣй. Я надняхъ спорилю съ Х., который воображаетъ себя либераломъ и, подъ предлогомъ, что мужикъ варваръ, находитъ, что освободить его нельзя, хочетъ сдѣлать изъ него вѣчнаго несовершеннолѣтняго, вмѣсто взрослого человѣка. Гдѣ-жъ тутъ либерализмъ?»

Мой мужъ сказалъ: «Х. жалуется, что самодержавіе его тяготитъ, а самъ—деспотъ. Первое дѣло: освободить Россію отъ крѣпостного права. Х. мечтаетъ о парламентѣ на англійскій ладъ и совсѣмъ не знакомъ съ исторіей этого парламента, онъ воображаетъ, что онъ всегда существовалъ такимъ, какимъ онъ сталъ со временемъ Реформъ—Билля! онъ воображаетъ даже, что парламенту этому не случалось порой задерживать реформы, не думаетъ о томъ, что приходилось выдерживать сильную борьбу, чтобы добиться освобожденія католиковъ, уничтоженія rotten boroughs, продажи мѣстья и пр.». Пушкинъ отвѣчалъ: «Онъ забываетъ, что въ парламентѣ неизбѣжно существуютъ двѣ партіи, а иногда и болѣе двухъ, реформаторовъ и контрѣ-реформаторовъ и воображаетъ, что Дума могла бы превратиться въ англійскій парламентъ; я въ этомъ сомнѣваюсь, такъ

¹⁾ Лошадь—Россія, которая, по мнѣнію Мицкевича, стремилась къ своей гибели. Лошадь Фальконета символическая, просвѣтитель ее сдерживаетъ и поднимаетъ въ галопъ. Въ произведеніи представителя Виленскихъ Филаретовъ уже видѣнъ зародышъ идеи и теорій русскихъ славянофиловъ, которые усматривали пучину въ реформахъ Петра I. Взглядъ Пушкина былъ совершенно противуположный.

какъ не тѣмъ путемъ она шла и хотя и была уничтожена, а все же думскіе бояре составили самую узкую оппозицію противъ Петра Великаго. Дворянство у насть (а быть можетъ, отчасти и вездѣ) самое образованное сословіе, въ виду своихъ досуговъ, у насть это безспорно такъ, я сожалѣю, что оно лишилось нѣкоторыхъ своихъ правъ, но горячо желаю, чтобы оно лишилось права имѣть рабовъ. Ты моего мнѣнія, Смирновъ, такъ какъ ты говорилъ мнѣ, что право это даже препятствуетъ помѣщику хоть нѣсколько облегчить своихъ крестьянъ, препятствуетъ изъ-за сосѣдей, такъ какъ ихъ крѣпостные сердятся и бываютъ недовольны, видя крестьянъ освобожденныхъ отъ нѣкоторыхъ повинностей».

Мой мужъ отвѣталъ: «Да, мнѣ-таки жаловались сосѣди; но я уничтожилъ барщину, оброкъ мнѣ платятъ въ томъ размѣрѣ, въ какомъ его уплачивали отцу, я его не увеличиваю. Я оплачиваю работу въ моихъ садахъ даже рубку дровъ. Крестьяне работаютъ только въ полѣ и всѣ жатвы собираются по закону крѣпостного права, такъ какъ по закону ничто меня не обязываетъ требовать съ нихъ барщину, если мнѣ это не приятно. Оброкъ тотъ-же трудъ. Я не вмѣшиваясь ни въ браки, ни въ выборъ рекрутовъ, они все это решаютъ между собой, это ихъ дѣло. Но на каждомъ шагу встречаются затрудненія, — такъ мнѣ приходили жаловаться на то, что крестьяне выдали своихъ дочерей замужъ за сосѣдей и, что этимъ лишили моихъ крестьянъ невѣсть. Я отвѣталъ, что отецъ вправѣ выдавать своихъ дочерей за кого хочетъ и, что мои крестьяне могутъ также искать себѣ невѣсть у сосѣдей. Но сосѣду-то приходится платить, это возмутительно, я имъ даже давалъ на это денегъ. День, когда Государь подпишетъ указъ, будетъ лучшимъ днемъ моей жизни». Тогда Вяземскій сказалъ: «К. говорилъ мнѣ, что польское восстаніе этому помѣщало, что Его Величество тогда этого желалъ». Пушкинъ со вздохомъ сказалъ: «Ненавижу я придворное дворянство, съ нимъ-то Государю всего труднѣе будетъ справиться въ дѣлѣ освобожденія, оно всегда будетъ возставать противъ реформъ. Пропасть наша заключается въ томъ, что мы еще слишкомъ завязли въ привычкахъ прошлаго, побѣждать приходится не политическія идеи, а предразсудки, самый узкій изъ всѣхъ — это вѣрить, что единообразіе есть порядокъ, безмолвіе — согласіе и, что истинна не выигрываетъ при обсужденіи мнѣній. Петръ разрушилъ только развалины и предразсудки, которые крѣпче всякихъ принциповъ, такъ какъ въ его время у его противниковъ не было никакихъ понятій политического порядка. Да, Петръ былъ революціонеръ-гигантъ, но это гений какихъ нѣтъ, тѣмъ болѣе великий, что со времени его смерти прошло 110 лѣтъ, со времени рожденія 163 года, а у него были идеи, которыхъ опередили его время на цѣлый вѣкъ. Жалкимъ былъ бы я русскимъ патріотомъ, еслибъ сѣтовалъ на него за то, что онъ отнялъ у боярства нѣкоторыя права, которыми часто дурно, очень дурно пользовались, хотя нерѣдко не щадили себя и приносили

большія жертвы странѣ. Я безъ конца спорю съ Хомяковымъ и Погодинымъ, хотя люблю и цѣню ихъ, но они слишкомъ несправедливы къ Петру Великому. Я роюсь въ архивахъ, тамъ ужасныя вещи, дѣйствительно, много было пролито крови, но ужъ рокъ велить варварамъ проливать ее и исторія всего человѣчества залита кровью, начиная отъ Кaina и до нашихъ дней. Это, быть можетъ, неутѣшительно, но не для меня, такъ какъ я имѣю въ виду будущность тѣхъ, кто мыслить и въ то же время любить. Въ сущности, мы еще въ Европѣ варвары или язычники, но когда-нибудь мы сдѣлаемся людьми цивилизованными и христіанами, только мы-то, въ Россіи, слишкомъ молоды и страстны, чтобы быть всегда справедливыми. Одни обзываютъ меня демократомъ, другіе аристократомъ, я ни то, ни другое, такъ какъ въ Россіи все это лишь слова, лишенныя положительнаго содержанія. У поляковъ была военная аристократія на пѣнзенской ладѣ и она погубила Польшу. Мы этого избѣгли и тѣмъ лучше. Что ты на это скажешь, милордъ Николай, итальянскій бояринъ?»

Мой мужъ отвѣталъ ему: «Я всегда съ тобой согласенъ. Англійская аристократія единственная, которая съумѣла сыграть свою роль, скорѣй политическую, чѣмъ военную, и она совершила преобразованія, хотя Байронъ, этотъ мнимый радикалъ, въ сущности высокій аристократъ! Но Англія не похожа ни на какую другую страну, о ней судить трудно». Пушкинъ отвѣталъ: «Во всякомъ случаѣ то, что полезно въ Лондонѣ, еще вредно въ Москвѣ».

Доложили о приѣздѣ гостей и они отправились къ мужу, играть на билліардѣ. Мнѣ было досадно, разговоръ меня занималъ, такъ какъ Пушкинъ говорилъ съ увлеченіемъ. Видя, что я недовольна, Николай оставилъ Пушкина ужинать. Гости моп уѣхали около 11, онѣ отправлялись на балъ, но Вяземскій остался и Жуковскій приѣхалъ изъ дворца съ Михаиломъ Вельгорскимъ, вместо того, чтобыѣхать къ Карамзінымъ, Мятлевъ также явился, говоря: «Не тотъ-ли я незванній гость, что хуже татарина?» Я отвѣчала: «Всегда званный; мой мужъ и Пушкинъ играютъ на билліардѣ, ступайте за ними, скажите имъ, что дамы уѣхали, это заставитъ ихъ вернуться». Разговоръ возобновился, и Пушкинъ, говоря о Байронѣ, сказалъ: «Его взгляды на монархію чисто англійскіе, Смирновъ объяснялъ мнѣ, какъ они смотрять на корону, на ея привилегіи и права; чтобы понять это воззрѣніе, надо жить въ странѣ и совсѣмъ вблизи изучать ихъ парламентскую исторію. Такъ, напримѣръ, мы думаемъ, что англійская королевская власть всегда была такою, какою мы ее видимъ, и это заблужденіе, она была феодальной и отличалась особымъ характеромъ, феодальный король былъ у нихъ первымъ рыцаремъ и барономъ; женились они постоянно на подданныхъ и есть множество семействъ, имѣющихъ королевскій гербъ. Война Бѣлой и Алой Розы результатъ этихъ браковъ, наконецъ они выдали эту принцессу Плантагенетъ за

валлійского дворянина, внука Оуэна Тюдора и принцессы Валуа, этотъ Оуэнъ не былъ даже пэромъ, но онъ потомокъ валлійского короля. Сынъ этого Генриха VII, Генрихъ VIII, настоящій, неограниченный король, сынъ его король карточный, за него царствуетъ протекторъ, герцогъ Сомерсетъ, а обѣ дочери короля пользуются почти неограниченной властью, въ особенности Елизавета, молодецъ-баба. Первый изъ Стюартовъ даже разогналъ свой парламентъ и созвалъ его лишь по истечениіи двухъ лѣтъ, за это время онъ царствовалъ и правилъ при помощи совѣта. Смирновъ говорилъ мнѣ, что когда онъ вступилъ на престолъ, этотъ Яковъ I, двѣ трети пэрловъ находились подъ запрещенiemъ, также и всѣ герцоги, за исключенiemъ двухъ, Онъ возвратилъ имъ ихъ права и возвелъ въ это званіе, далъ этотъ титулъ новымъ лицамъ. Карль I пытался царствовать и управлять, его заставили пожертвовать Страффордомъ и епископомъ Лодъ и наконецъ судили его самого, но это не была революція. Это была междуусобная война. Оуэнъ, англичанинъ, говорилъ Смирнову, что до XVIII вѣка всѣ его предки погибли насильственной смертью на войнѣ или на эшафотѣ, или-же были задушены въ тюрьмѣ. Кромвель также былъ совершенный деспотъ, онъ даже нарушилъ конституцію, войдя въ парламентъ съ своими солдатами. Карль II былъ жалкая личность, а братъ его, Яковъ II, былъ низверженъ за то, что хотѣлъ освободить католиковъ, что не понравилось епископамъ, такъ какъ этимъ путемъ освободились-бы и методисты. Это оригинально, король изгнанный изъ-за своего либерализма». Мой мужъ отвѣчалъ: «Да, но они заставили принца Оранского подписать билль, ограничивавшій права государя и принудили Анну призвать лютеранъ изъ Ганновера. Съ этой минуты министры начали борьбу съ личнымъ режимомъ нѣмецкихъ королей». Пушкинъ сказалъ: Все это сдѣлалось не въ одинъ день и это-то придало ихъ королевской власти этотъ англійскій и особый типъ. Я не могъ объяснить себѣ этого регента, столь презираемаго, столь презрѣннаго, погрязшаго въ долгахъ, имѣвшаго этотъ постыдный процессъ съ женой, этого человѣка, которому Брогамъ наговорилъ такихъ рѣзкихъ вещей, котораго заклеймили въ своей рѣчи; но монархическому принципу ничто не повредило, такъ какъ дѣло монархіи не было поставлено на карту. *The King can do no wrong.* Король не можетъ дѣлать зла, такъ какъ онъ царствуетъ не управляя и его личный режимъ не существуетъ. Все это было-бы невозможно въ другой странѣ. Смирновъ объяснилъ мнѣ многое относительно англичанъ. Принцъ Оранскій и Георги пытались управлять, и главнымъ препятствиемъ для нихъ была оппозиція виговъ, крупныхъ аристократовъ». Мой мужъ отвѣчалъ: «Не забудь, однако, что Болингброкъ, Чатамъ и Питтъ были тори. Англійскій режимъ—послѣдствіе ихъ исторического прошлаго, очень медленнаго усвоенія свободы и ихъ столь независимаго характера, къ тому-же ихъ аристократія постоянно обнов-.

лялась, благодаря остальнымъ классамъ». Пушкинъ сказалъ затѣмъ, что революція доказала, что буржуазія можетъ быть despoticnѣe аристократіи и королей и, что дворянство, вѣрное государямъ, всегда однако независимо. Онъ прибавилъ: «Во Франціи дѣлаются опыты парламентаризма и король вмѣшиваетъ во все. Наполеонъ былъ также мало ограниченъ въ своей власти, какъ и Людовикъ XIV, ихъ великий король былъ Генрихъ IV. Избирательный принципъ отдалъ Польшу на жертву всѣмъ интригамъ сосѣдей и сеймовъ и даже довелъ ее до избрания иноземныхъ королей; король по избранию нѣчто, не имѣющее смысла, монархическая власть должна быть наследственной, что нашъ земскій соборъ и понялъ въ 1613-мъ году».

Вяземский. «Въ странѣ, гдѣ наслѣдованіе по прямой линіи восторжествовало не безъ труда,—даже Иоаннъ III отдалъ своего старшаго сына отъ престола». Пушкинъ отвѣчалъ: «Право родительское! но старшая линія восторжествовала надъ Рязанью, такъ было написано въ книгѣ судебъ! Въ 1613 году страна порѣшила вопросъ съ большимъ здравымъ смысломъ, въ силу великаго инстинкта превозгласила родовое право. Жуковскій говорилъ мнѣ, что Государь объявилъ ему, что онъ самъ будетъ преподавать Наслѣднику исторію со временъ Петра Великаго и онъ вполнѣ правъ, такъ какъ преемники слѣдуютъ программѣ Петра. И чѣмъ болѣе русскими они будутъ, тѣмъ болѣе уподобятся ему. Въ немъ всегда былъ, я это буду утверждать наперекоръ всѣмъ, архи-русскій инстинктъ. Спорилъ я какъ-то вечеромъ, въ Москвѣ, съ Хомяковымъ и Погодинымъ, Чаадаевъ и Соболевскій были моего мнѣнія. Нелогично утверждать, что Петръ Великій насыпалъ русскій характеръ, желая цивилизовать страну и, что мы должны были создать свою цивилизацию изъ ничего. Прежде всего не онъ первый: Владимиръ долженъ-же былъ заимствовать христіанство у Византіи, новгородцы призвали скандинавовъ, сами они пришли съ запада. Мы были меньшинами варварами, по сравненію съ Европой, во времена Александра Невскаго, чѣмъ въ XVII вѣкѣ. Иоаннъ III выписалъ свою византійку изъ Рима, Иоаннъ Грозный даже переписывался съ Поссевиномъ и Менгли-Гиреемъ и три первыхъ царя посыпали посольства въ Европу. Михаиль Федоровичъ Романовъ выписалъ Олеарія изъ Голландіи, Алексѣй Михайловичъ даже положилъ начало театрамъ, Годуновъ неустанно стремился цивилизовать страну, онъ даже заимствовалъ у поляковъ, болѣе цивилизованныхъ въ то время, крѣпостное право,—вотъ это было заблужденіе. Лучшиіе умы отнюдь не были противъ западной цивилизаціи, наоборотъ, еслибъ она дѣйствительно была противна русскимъ, даже Петру Великому не удалось бы все такъ быстро измѣнить, а по смерти его все-бы погибло. Анна Иоанновна была веселая толстуха, очень невѣжественная, съ московскими привычками и съ привычками мелкихъ нѣмецкихъ дворовъ, но однако она возвратилась въ Пе-

тербургъ. Биронъ несомнѣнно былъ чудовищемъ, но очень умный Волынскій былъ почти варваромъ, такъ какъ онъ сѣкъ Тредьяковскаго, поэтъ этотъ точно жалкій, но съумѣлъ-же онъ понять языкъ, этотъ сынъ пастуха, онъ уже былъ цивилизованъ! Мне выпало на долю большое торжество, я спросилъ Хомякова и Погодина: «Русскій-ли Ломоносовъ?» Понятно они превознесли его до небесъ, а я возразилъ: «Онъ сдѣлался тѣмъ, чѣмъ былъ благодаря западу, до него можетъ быть была дюжина Ломоносовыхъ, которые ничего не сдѣлали, такъ какъ не были ни цивилизованы, ни образованы. Чаадаевъ не понимаетъ Петра Великаго, онъ требуетъ отъ него современныхъ идей, забывая время и полученное имъ воспитаніе, это тоже самоучка, но крайне геніальный».

Жена Хомякова очень нравится Пушкину, но она слабаго здоровья и чрезвычайно нервная, Языковъ (братья г-жи Хомяковой) очень и даже слишкомъ увлекается московскими цыганками; Пушкинъ находитъ, что онъ слишкомъ мало работаетъ и губить свой талантъ, говорятъ—онъ большой кутила. Чаадаевъ имѣеть большой успѣхъ въ Москвѣ, это Чацкій, онъ фронтонируетъ. Шевыревъ по-горло погруженъ въ архивы. А. Тургеневъ открылъ чрезвычайно любопытные французскіе дипломатическіе документы. Погодинъ много работаетъ. Соболевскій покупаетъ рѣдкія книги, онъ даже приобрѣлъ ихъ у Сухаревой башни, въ какой-то лавочонкѣ.

Сегодня вечеромъ мужъ разсказывалъ намъ, что онъ сравнивалъ русскихъ слугъ съ иностранцами, въ особенности въ Италии и что его камердинеръ, который умѣлъ читать и писать, очень быстро научился итальянскому языку, онъ даже читалъ на немъ; кучеръ, котораго мужъ тоже выписалъ, выучился читать отъ камердинера и черезъ шесть мѣсяцевъ зналъ больше по-итальянски, чѣмъ англійской грумъ, который прожилъ во Флоренціѣ три года. Это поразило иностранцевъ, которые говорили Николаю, что русскій народъ жаждетъ учиться больше чѣмъ итальянскій, и доказываетъ, что онъ вовсе не держится невѣжества, онъ старается образовать себя: какъ только русскій человѣкъ увидитъ иностранцевъ, онъ хочетъ научиться тому, что онъ знаютъ. Пушкинъ отвѣчалъ ему: «Вотъ аргументъ, который долженъ заставить замолчать тѣхъ, кто утверждаетъ, что Петръ Великій не понялъ русскаго характера, насиливалъ русскій умъ, русскій духъ. Впрочемъ историческій часъ прошелъ, мы должны были исполнить свою миссію и повернуться спиной къ Лзіи. Преждевременная смерть Петра задержала насъ на 20 лѣтъ, съ 1725 года до вступленія его дочери на престоль мы попятались назадъ. Недавно какъ-то бесѣдовалъ я съ Государемъ о Пугачевѣ и Его Величество высказалъ мнѣ чрезвычайно вѣрную мысль по поводу этого эпизода; Государь говорилъ, что это служитъ ему доказательствомъ, что провинція еще находилась въ средневѣковыхъ потемкахъ, что въ самомъ

успѣхѣ Пугачева было нечто нелѣпое, въ этой баснѣ, которой всѣ повѣрили; что онъ убивалъ, грабилъ, совершалъ безчисленные ужасы, а народъ могъ думать, что онъ царь. Это доказывается, что у нихъ было оригинальное понятіе о царѣ! Съ другой стороны полный недостатокъ энергіи въ остальныхъ классахъ, никакого общественнаго духа, никакого сопротивленія этому разбою, ему предоставляли дѣлать что угодно, да и всѣ были почти также невѣжественны какъ народъ. Стоило тогда выѣхать изъ большого города, чтобы попасть въ средневѣковую Россію. На Западѣ бунты, жакеріи были организованы въ видахъ извѣстныхъ пѣлей, здѣсь же не было ничего кроме дикости, второй Стенька Разинъ. Государь говорилъ также о Мазепѣ и о Гайдамачинѣ, что все это имѣло цѣль, какую-нибудь *raison d'etre*, какъ и самозванцы; но Стенька и Пугачевъ, въ сущности, не имѣли ни истинныхъ пѣлей, ни политической задачи, задача заключалась въ грабежѣ, въ безцѣльномъ беспорядкѣ — признакѣ варварства. Вотъ, что поразило Государя въ этихъ двухъ бунтахъ. По моему Его Величество безусловно правъ, тѣмъ болѣе, что эти два разбойника перебили столько же крестьянъ, сколько дворянъ, быть можетъ даже болѣе и, что Пугачевъ подражалъ Стенькѣ въ его собственной сторонѣ — тамъ именно, гдѣ тотъ оставилъ по себѣ легенду. Не будь Петра, у насъ и теперь бы еще были бунты XVII вѣка. Онъ засталъ всеобщій хаосъ и разсчистилъ почву, уже это одно — благодѣяніе.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Extraits des carnets de souvenirs d'Alexandrine Smirnoff née de Rosset d. 1826 à 1845.

L'empereur a causé avec Nesselrode du bill de Réforme chez l'Impératrice. Il parait que l'esprit de parti s'est manifesté alors avec une vivacité qui les a tous surpris. Même le bill de 1829 n'a pas autant excité les deux partis, ni le public.

L'Empereur disait: «C'est que le temps était venu pour l'émancipation des catholiques, même pour le public». Nesselrode disait ensuite: «Le bill de Grey était indispensable, les bourgs pourris étaient chose honteuse pour l'Angleterre». Il a raconté qu'au XVII^e s. il y avait eu une scène fameuse à la chambre lorsque les membres se sont levés et ont mis la main sur la garde de leurs épées, mais ne les ont pas tirées. On se battait en duel après des séances au siècle dernier, l'esprit de parti était si violent. On le croyait un peu calme et le bill de Grey a causé deux ans d'effervescence. On prétendait en 1831, lorsqu'il a passé en 1^{ère} lecture à une seule voix aux communes, que c'était un membre *ivre* qui s'était trompé de porte, et que plus tard on a fait vôtér des gens malades dans leur lit.

J'ai été achevé la soirée chez les Karamzine et j'ai conté tout cela à Pouschkine, à propos de quoi il nous disait que l'Angleterre est un pays difficile à comprendre, non seulement pour nous autres russes, mais aussi pour des français. Les anglais lui plaisent par leur esprit pratique et leur caractère indépendant, qui est le fond du caractère national et sans le moindre esprit révolutionnaire; ils ont un grand respect de la loi et du droit de chacun.

«Tes anglais sont de grands égoïstes», lui a dit Tourgueniev.

«As-tu jamais vu que la politique soit basée sur l'amour des autres nations, a riposté Pouschkine, et les proches voisins ne s'aiment pas souvent. Tu as les préjugés des français contre la perfide Albion. Ils se sont

beaucoup battus de tout temps et puis il y a eu Waterloo qu'on n'oublie pas, ce qui est peut-être naturel pour les admirateurs de Napoléon. Mais cette haine de lord *Vilainton*¹⁾ est un enfantillage, car Wellington ne pouvait pourtant pas se laisser battre pour obliger les français».

«Voltaire a dit que le patriotisme exige de nous la haine des autres nations».

«C'est un sophisme, comme beaucoup de mots de Voltaire, lui a répondu Pouschkine, et toi, Tourguénéff, tu ne détestes pas toujours les sophismes et les paradoxes. Je puis être patriote sans haïr les autres peuples, en quoi l'amour de la patrie m'oblige-t-il à détester tout ce qui est de l'autre côté de Tauroggen?»²⁾.

Joukovsky a approuvé cette réflexion en disant: «Le soldat est patriote et se fait tuer pour sa patrie, il tue parcequ'il est sur le champ de bataille pour tuer ou blesser, mais il ne hait pas, si même dans l'excitation du combat il commet parfois des actes de férocité, il se grise de la lutte, de l'odeur de la poudre, du sang. Mais dès que le combat est fini il devient humain, il donne à boire au blessé ennemi. Il ne tue jamais de sang froid, il n'a donc nulle haine dans son coeur».

«Les vainqueurs sont toujours plus compatissant que les vaincus, lui a dit Tourguénéff, c'est très naturel».

«Du tout, a répondu Joukovsky, en 1812 nous étions les vaincus très longtemps, et même avant 1812. Il y a des exceptions, mais en règle générale la haine n'est pas lié au patriotisme chez le soldat, du moins celui que j'ai vu, et beaucoup de militaires m'ont dit la même chose, entre autres Batuschkoff».

«Ryléeff, Raéwsky, Denis Davydoff m'ont dit la même chose, a dit Pouschkine, mais si la haine s'en mêlait toujours, la guerre serait encore plus atroce qu'elle n'est, et déjà c'est une terrible nécessité. Elle paraît aux heures d'invasion dans les populations plus que chez le soldat, ceci est certain. Si elle paraît dans les armées c'est un mauvais signe, car il se mêle alors de la vanité nationale au patriotisme. Après tout une défaite n'est pas une humiliation si on a fait tous son devoir, c'est le sort des batailles qu'il y ait un vaincu et un vainqueur et il faut s'y résigner, comme aux autres défaites de la vie. Le patriotisme est un sentiment noble, digne, il ne faut pas l'amoindrir et l'abaisser avec le vice le plus médiocre qui soit—la vanité. Dieu soit loué, ce défaut n'est pas celui du peuple russe, ni celui de l'armée russe. Supporter noblement une défaite, un désastre, c'est chose peut-être plus glorieuse qu'une victoire, parceque c'est plus difficile. Pierre le Grand en a donné l'exemple; les victoires de

¹⁾ Sobriquet que les français donnaient à Wellington.

²⁾ La frontière était à Tauroggen alors, avant les chemins de fer.

Charles XII à Narva et Wenden n'ont nullement abaissé Pierre I et il a été très beau dans la victoire à Poltava. C'était un si grand caractère.

M-me Karamzine lui a dit: «Vous vous animez chaque fois que vous parlez de Pierre le Grand, même vous êtes ému».

«C'est vrai, j'aime à parler de lui, je pense beaucoup à lui, L'Empereur m'en parle parfois, lui aussi est fier de son ancêtre et s'anime quand il en parle».

«Les anglais ont un orgueil national insupportable», a dit Tourguéneff.

«De la fierté nationale plutôt, a riposté Pouschkine, et nulle vanité, mais l'orgueil même est préférable à la mesquine vanité car dans l'orgueil il n'y a pas toujours de la morgue. Ils ont raison d'être fiers de leur pays, de leurs écrivains, de leurs moeurs politiques. Je suis très fier de la Russie, de tout ce qu'elle a accompli depuis Pierre le Grand; je m'enorgueillis qu'elle ait produit un génie aussi original, aussi grand patriote, qui n'a jamais douté de l'avenir de sa patrie, de ses forces, de ses capacités, qui a toujours cru en elle et qui a dit avant la bataille de Poltava à ses troupes de ne pas penser au Tzar mais à la Russie. Voilà un mot de patriote, de citoyen. J'aurais voulu redire ce mot à Byron lorsqu'il écrivait Mazeppa, à cause d'un vers qu'il a mis dans ce poème».

«Celui que tu as mis pour épigraphe dans Poltava», lui a dit Joukowsky en souriant.

Pouschkine a fait un signe de tête en réponse. Quand il se laisse aller et s'anime, on finit par se taire pour l'écouter, même Wiasemskoy et Tourguéneff qui l'ont connu enfant. Quant à Joukowsky il le regarde avec tendresse, il jouit de tout ce que dit son Phénix. Il y a quelque chose de touchant, de paternel et de fraternel à la fois dans son affection pour Pouschkine, et dans celle de P. pour Jouk., une nuance de respect, même dans le ton de sa voix quand il lui répond. Il n'a pas du tout le même ton avec T. et W. tout en les aimant beaucoup. J'ai observé aussi sa façon d'être avec M-me Karamzine, ce n'est pas seulement la simple déférence vis-à-vis d'une femme déjà agée, c'est plus affectueux. Il est très respectueusement amical avec la P-sse Wiasemskoy, M-me Hitrovo, mais sa façon d'être avec M-me K. est différente. En général il est d'une politesse déférente, avec toutes les femmes jeunes et vieilles, même en plaisantant; Catherine Metschersky en faisait l'observation et me disait qu'il est foncièrement bien élevé. Je crois qu'il est foncièrement bon, la véritable politesse vient aussi du cœur et plus que de l'usage, c'est ce que feu l'Impératrice disait toujours: «c'est le cœur qui est poli». Pouschkine a une grande noblesse et délicatesse de sentiments, ceci est aussi indispensable pour ne pas blesser son prochain. L'impolitesse et le manque d'égards viennent d'un mauvais cœur chez les gens du monde et d'indélicatesse; leur insolence, leur morgue est

intentionnelle, des gens sans éducation sont souvent grossiers sans intention, ils ne se doutent même pas parfois qu'ils sont impolis, on les excuse. Je n'excuse pas la morgue jointe à la bassesse, qui est ~~si~~^{assez} commune dans le grand monde, à la cour, où l'on est obséquieux avec les uns, insolent avec les autres. On se figure que l'Empereur, l'Impératrice et le Grand Duc Michel ne remarquent pas tout cela, et ils le voient si bien, l'Impératrice m'en a parlé et le Grand Duc M. aussi parfois. Joukovsky a une politesse même affectueuse avec ses amis, cordiale avec ceux qui ne sont pas ses intimes et une politesse pleine de dignité avec le reste du monde, sa tenue à la cour est parfaite. L'Empereur l'a vite apprécié et estimé, cela se voit à toute sa manière d'être avec Joukovsky et tout ce qu'il disait à son fils, tout enfant, lorsqu'il venait prendre congé le soir: «Was. Andr. est-il content de toi cette semaine? Je ne te parle pas des leçons, c'est de ta conduite. Il faut que tu mérites son estime et son approbation, car tes parents l'estiment beaucoup». Ceci se répétait tous les samedis. Les autres jours il était question des leçons seulement¹⁾.

Pouschkine a passé la soirée chez nous, il nous a recité des vers

¹⁾ Comme l'Héritier étudiait seul Joukovsky avait dit à l'Empereur, que pour le stimuler il serait bon qu'il eut des compagnons de classe. On choisit Joseph, le fils ainé du C-te Michel Wielhorsky, garçon très doué, très sérieux et très studieux et on lui adjoignit le jeune Patkull. Le fils du G-l Adlerberg fut un des compagnons de jeu surtout et de même le futur poète le C-te Aléxis Tolstoy. La grand'mère du jeune Alexandre Adlerberg avait élevé l'Empereur dès le berceau jusqu'au jour où il fut confié à des hommes, et toute la famille A. vivait à la cour. Plus tard déjà le Pr. Alexandre Bariatinsky (le futur Maréchal) devint un camarade d'adolescence de l'Héritier, il était lié avec Joseph Wielhorsky. Ces trois hommes: A. Adlerberg, A. Tolstoy, A. Bariatinsky furent les amis les plus dévoués et le plus sûrs d'Alexandre II dès sa jeunesse. Joseph W. mourut poitrinaire à 20 ans à Rome. Il avait commencé avec son ami A. Bariatinsky une collection d'anciens objets russes, des icônes, des armes, des portraits, des livres; elle devait revenir à celui qui survivrait l'autre, et vers 1839 déjà A. B. en hérita. Il fit le voyage, le tour des cours de l'Occident avec l'Héritier. On avait donc décidé que celui qui aurait le plus de bonnes marques entrerait le premier pour prendre congé et souvent ce 1-er était Joseph. W., d'une santé faible, il jouait peu et avait la passion de l'étude. Très timide il s'arrêtait à la porte en rougissant et hésitait, alors l'Héritier le poussait en avant. Lorsque lui-même avait attrapé de bonnes marques, rougissant de plaisir il entraînait le premier. Patkul était un franc paresseux auquel l'Empereur disait: «Ce sont les autres qui rougissent et toi tu ne rougis pas d'être toujours à la queue». Ceci laissait le jeune fainéant parfaitement indifférent. Ma mère a inscrit un incident: pour que Patkul fasse une fois une belle entrée, au 1-er rang, l'Héritier et Joseph. W. avaient décidé qu'ils manqueraient toutes leurs leçons et à l'ébahissement général Patkul parut le premier. L'Empereur le félicita de ses succès, mais les sourires des deux autres écoliers l'ont fait déviner qu'ils avaient contribué à ce succès inattendu. Il ne dit rien ce soir là, mais le lendemain eu voyant Patkul à la queue il s'écria: «Son zèle n'a pas duré longtemps à ce que je vois». Alors Patkul répondit: «C'est qu'ils savaient leurs leçons aujourd'hui et hier ils ne savaient rien; alors—moi—je

charmants qu'il a fait pour Mieckéwicz et il disait: «qu'il est heureux, il a été à Weimar, il a vu Goëthé». On a parlé de la Pologne toute la soirée, de Mieckéwicz que mon mari a rencontré chez la p-sse Z. Wol-

savais quelque chose». «Tu sais courir et grimper, lui dit l'Empereur, tu te distingues en plein air en général».

Ma mère était fort jeune alors et s'amusait à aller voir jouer les gamins; elle jouait même avec les petites grandes duchesses. Elle décrit leurs jeux et dit: «Joseph W. est le juge du combat, il est trop faible pour lutter et s'ébattre, il regarde jouer les autres. C'est un charmant garçon, mais j'ai bien peur qu'il ne devienne poitrinaire en grandissant, il s'essouffle dès qu'il marche vite et monte les escaliers».

Une autre note décrit le jeu favori, une lutte entre l'Héritier, Sacha Adlerberg, Alecha Tolstoy et «l'illustre paresseux Patkul», dont c'est le beau moment. «L'Héritier en nage, Sacha le col arraché (on faisait porter de grands cols alors aux enfants), Patkul plus ébouriffé que jamais, Alecha rouge comme un dinde; riant tous comme des fous, heureux de lutter, crier, remuer, gesticuler. Alecha est d'une force prodigieuse, il les soulève tous sans effort, à tour de rôle les jette sur son épingle et galoppe avec cette charge en piaffant comme un cheval.

Il est très drôle, car il a proposé à l'Empereur de se mesurer avec lui. S. M. lui a dit: «Avec moi? Mais tu oublies que je suis plus fort que toi, bien plus grand».

«C'est égal, je n'ai pas peur de me mesurer avec n'importe qui. Je suis très fort, je le sais».

L'Empereur lui a répondu: «Tu es donc un Bogatyr?» Le gamin riposte: «J'ai une âme de cosaque». Et à l'étonnement général il cite un vers de Poltava.

Ceci a charmé l'Empereur, qui lui a dit: «Eh bien! mesurons nos forces, je suis plus grand que toi et je lutterai avec une seule main».

Alecha a serré les poings, a salné comme au *Koulatchnoï Boy* et puis il a demandé: «Je puis taper fort?» «Tant que tu veux». Aussitôt le cosaque est parti comme une bombe lancée. L'Empereur parait d'une main et disait de temps en temps: «Il est fort, ce gamin, fort et adroit». Le voyant finir essoufflé et haletant, l'Empereur l'a soulevé, l'a embrassé et lui a dit: «Molodetz y Bogatyr!»

Alors les autres ont voulu essayer de renverser l'Empereur; on a laissé le Bogatyr à l'âme cosaque souffler un peu et ils se sont précipités sur leur adversaire qui avait croisé les bras. On lui saisissait les pans de son uniforme, les jambes, voulant lui faire plier les jarrets, rien n'y faisait; de temps en temps il leur disait: «Mais ne criez pas tant, cela vous essouffle». Peine perdue, ils étaient trop excités, enfin le combat a fini faute de combattants, toute la bande c'est laissée tomber sur l'herbe n'en pouvant plus.

Ce qui a surtout amusé l'Empereur c'était les petites, même Mary, qui est déjà moins enfant, semblait inquiète, A Oly presqu'éffrayées, croyant qu'on allait renverser Papa. Quand elles ont vu les gamins par terre, elles ont crié: «hourra!» Et se sont précipitées vers lui pour l'embrasser lui demandant si on lui avait fait mal? Ce qui l'a beaucoup amusé. Comme il semble heureux quand il a une heure à leur donner; il disait un jour: «C'est ma joie et mon repos, ma femme et mes enfants, et j'ai si peu de temps à leur donner à présent, si peu d'instant pour jouir de mes enfants». Quand je le vois à une cérémonie, une fête, une parade, si grave, même austère souvent, je me dis que ceux qui ne le voient pas au milieu de ses enfants ne le connaissent pas, l'homme véritable, celui qu'il faut voir dans sa famille et qui est un personnage si différent alors. J'ai raconté quelques détails sur lui à Pousch-

konsky à Rome, une fois et ensuite à Florence chez Orloff, il l'a trouvé d'une mélancolie presque maladive et d'une exaltation maladive. La p-sse Zéneide qui l'a connue à Moscou a été très bonne pour lui à Rome. On a parlé d'Odinetz, de Lélewély, de Krasinsky, de B. Zalesky, qui a publié un charmant poème que Sobolewsky a reçu par courrier de Paris. Pouschkine a parlé ensuite des Philarètes¹⁾). Il disait que Mieckéwicz est très disposé au mysticisme et qu'il n'a ni l'étoffe d'un conspirateur, ni rien de vraiment politique, que c'est un rêveur, une nature aimante; qu'il a été sous l'influence de Schiller longtemps et Byron ensuite, qu'il lui rappelle aussi les idées de Küchelbecker et quelques dékabristes, Odoéwsky p. ex. qui n'étaient nullement des hommes d'action politique mais de grands romantiques. Mon mari lui a dit que c'était l'effet que Mieckéwicz lui avait fait justement, et à Orloff²⁾ aussi. Pouschkine a ajouté: «Mieckéwicz est emigré, il n'a plus de patrie, le malheur de l'exil et de l'émigration c'est qu'on *ne sent plus de sol sous ses pieds*. On finit par vivre d'espérances et de mirages. Je crains que l'entourage de M. ne lui fasse abandonner son terrain véritable, la poésie. C'est un grand lyrique, un peu trop byronien encore, et il l'a toujours été plus que moi; il est resté ce qu'il était en 1826. Il y a de belles choses dans Conrad Wallenrod et trois poèmes en un seul et c'est son défaut; le poème lyrique de l'amour, le poème épique de la haine et de la vengeance et le poème du Maure, c'est une question nationale, c'est l'influence Hétériste de l'époque. Il a pris le sujet dans l'histoire, mais il a complètement dénaturé l'histoire et c'est une erreur». J'ai demandé lequel est le meilleur? «Poème de l'amour, la partie lyrique, la description de la Lithuanie, de la nature, je crois que sous ce rapport M. ne fera jamais mieux; au point de vue de l'art poétique tout cela est beau et ne le céde pas à certains passages de la jeunesse de Byron. Le poème du Maure, qu'il a intercalé, est aussi très beau et très byronien, du reste le caractère de Conrad et d'Aldona sont tout à fait dans le ton byronien. Le troisième poème sera compris à rebours et c'est son défaut, il a l'air de prêcher des haines, des vengeances, à demi mots il prêche le contraire, je l'ai dit à M. du reste, il n'a pas assez travaillé cette partie, il n'y voyait pas

kine, que cela intéresse toujours, comme tout ce que Joukowsky lui raconte sur les conversations qu'il a avec l'Empereur sur l'éducation de son fils aîné».

¹⁾ Les Philarètes de 1820 à 1825 étaient une façon de Tugendbund lithuanien. On a interné ceux de Vilna en Russie, Mieckéwicz fut envoyé à Odessa, puis il vint à Moscou et enfin à Petersbourg, en 1828 il eût un passeport pour l'étranger. Odinetz était déjà à Dresde, en 1829 Mieckéwicz visita l'Italie. Il n'a plus revu la patrie, car il est mort à Constantinople. Dans Pan Tadeusch il a décrit la Lithuanie avec plus de poésie réaliste, c'est son chef-d'œuvre à mon avis, quoiqu'on admire surtout Wallenrod. O. S.

²⁾ Frère du dékabriste, sa fille a épousé le prince Orsini.

clair et il n'avait pas l'esprit assez critique alors, il n'était pas de sang-froid même en le fesant».

Wiasemskoy lui a répondu: «Tu trouves qu'il y a trois poèmes dans Wallenrod, est-ce une louange ou un blâme?» Pouschkine a répondu: «C'est une critique littéraire. On peut mêler un épisode de vie privée à un fait historique sans nuire à l'unité d'une œuvre, mais ce qui manque à C. Wallenrod c'est le lien entre les trois questions qu'il a traitées et surtout manque la clarté. Je crois qu'il aurait pu en faire deux poèmes tout à fait séparés. Chaque partie en elle-même est très-belle et l'harmonie manque autant». Wiasemskoy a répondu: «Tu parles du point de vue russe». — «Pas du tout» s'écria Pouschkine. «Que ce soit des russes, des allemands, qu'il y ait des allusions à la querelle de famille sous prétexte de la guerre entre l'ordre Teutonique et la Lithuanie, ce serait la même chose. D'ailleurs le fait de la lutte de l'Ordre et la Lithuanie est historique; l'allusion à la Russie est claire, parceque M. appuie sur le sentiment *national* et historiquement c'est faux à l'époque des guerres avec l'Ordre. On n'était pas hétériste de 1820 au XIV et XV s. encore!» J'ai dit à Wiasemskoy qu'il est plus royaliste que le roi et qu'il a critiqué les vers de Pouschkine sur la prise de Varsovie et aux calomniateurs de la Russie, mais qu'il y a l'histoire pourtant. Il m'a répondu: «Nous sommes les vainqueurs». Pouschkine a riposté: «Oui, à présent, mais tu oublies que nous étions les vaincus très-longtemps. D'ailleurs je ne blâme nullement Mieckéwicz d'avoir exhalé son patriotisme dans ce poème, mais je crois que celui du Maure surtout aurait pu devenir une œuvre séparée plus longue, très belle et très originale. En même temps le maure pleure la liberté, car tu m'avoueras que pour les conquérants de l'Espagne le pays conquis ne pouvait pas être une patrie au sens que nous donnons à ce mot. C'est pourquoi cette partie jure avec le reste, qui est dû au sentiment patriotique, national. Avoue, que j'ai raison?» Wiasemskoy a grogné: «Eh! bien, oui, tu as raison toujours». Son ton a fait rire Pouschkine qui a continué: «Bien avant l'incendie de 1812, les Polonais ont assiégié, pillé et brûlé Moscou tout autant que les tartars. Je n'ai nullement pensé à 1812, seulement en écrivant mon ode, car je connais un peu d'histoire et je ne crois pas m'être trompé en parlant de la querelle de famille; l'Europe occidentale n'a rien à y voir. Cette querelle existe entre l'Angleterre et l'Irlande, de quel droit irions nous intervenir? Ce qui est juste pour les uns est juste pour les autres; on dirait que nous avons fait seuls le partage de la Pologne. Tu oublies qu'en 1812 les Prussiens tenaient garnison à Varsovie. En 1812 on a pillé, mais l'incendie n'a pas été allumée par les Polonais spécialement, pas plus que par les Français. Qui sait *par qui* il a été allumé? Je crois que tout le monde y a contribué. En tous cas l'armée de Napoléon a été augmentée par tous les peuples qu'il

a terrorisés et à Varsovie on l'a reçu à bras ouverts, oubliant qu'il n'a pas beaucoup ménagé les nationalités». Mon mari lui a dit alors: «Rostopchine m'a assuré que son père n'a jamais donné l'ordre de bruler Moscou». Pouschkine a répondu: «Oui, cela se peut. Mais il l'a préparé peut-être—l'incendie. D'ailleurs on a ouvert les prisons, des paysans ont incendié leurs villages; le feu a pu être allumé par des russes, des trainards français, polonais, allemands, qu'est ce qu'on sait? On a pillé ferme et ce ne sont pas des russes qui ont pillé et brûlé au Kremlin alors, de cela je crois être sûr. D'ailleurs Napoléon a pillé les musées en Italie et en Espagne, ses maréchaux aussi; faut-il s'étonner que le soldat pille et surtout lorsqu'il y a une armée aussi énorme, faite de tant de nationalités. J'ai dit dans mes vers, qui ont déplu à Wiasemskoy, que les russes ne flamberont pas Varsovie et je le répète. Il y a eu des polonais dans l'armée de Napoléon, mais je n'ai pas seulement pensé à 1812, j'ai surtout pensé à la querelle de famille, c'était assez clairement dit. Tu m'as écrit que ce sont des poèmes de capote¹⁾ de soldat. C'est une boutade de frondeur de salon, car toi-même tu serais désolé si nous étions battus».

Wiasemskoy s'est mis à rire en grognant: «Tu m'en veux?»

— «Nullement, a dit Pouschkine; j'ai dit ce que je sentais et je souhaite que la querelle de famille s'apaise. Elle a commencé quand Boleslas le Fort a attaqué Kiew traitrusement, son beau-frère Jaroslaw le Sage». — «Que dites-vous de cela, abbé Tétu?» Wiasemskoy m'a répondu: «Que votre Pouschkine a une mémoire diabolique». J'ai riposté: «Un français a dit qu'elle est nécessaire pour toutes les opérations de l'esprit! Quoi qu'il y ait des gens très bêtes qui ont de la mémoire».

Pouschkine. «Ceci est vrai, mais en général les gens bêtes se souviennent de bêtises inutiles ou de petits détails puérils. Il faut cultiver sa mémoire, lui enseigner ce qu'elle doit garder et ce qu'elle doit rejeter, ce qui encombre le cerveau».

J'ai répondu: «C'est pourquoi je n'ai jamais retenu la table de multiplication, cela m'encombrerait le cerveau. Vous auriez ri de la figure de mon mari quand il a découvert ce détail; je fais très bien les additions et les soustractions, et les divisions sont restés pour moi un mystère insoudable, j'y ai renoncé; en même temps quand je joue du piano à livre ouvert, à 4 mains avec Odoéwsky, il est émerveillé parce que je ne manque jamais la mesure».

Ils ont ri comme des gamins de ma confession et mon mari disait qu'en effet il fut abasourdi en apprenant mon ignorance en arithmétique mais qu'il l'attribuait aux leçons très mal données. J'ai protesté, ces mêmes leçons ont fait d'Alexandrine Zouboff et d'autres élèves des savantes

¹⁾ Шпильные стихи. О. С.

et même le calcul de tête leur semblait facile et la règle de trois une plaisanterie. On a discuté sur les différentes mémoires, les différentes facultés et Pouschkine a dit un mot original sur Shakespeare et Dante: «Ce qu'ils ont de plus sublime c'est qu'ils n'ont jamais fait de la littérature, pas plus qu'Homère et Eschyle. A nous autres modernes c'est presque impossible. Les romantiques français font beaucoup trop de littérature à présent et Musset est celui qui en fait le moins ce que j'ai lu de lui me semble très senti et pensé». Il a parlé de Shakespeare ensuite, de ses idées sur l'amour, ses jeunes filles et ses amoureux dont pas un seul n'est sentimental ou romanesque même au milieu d'aventures romanesques et extravagantes, parce que les sentiments sont si naturels; de ses femmes mariées dont il y a de si beaux types, de ses idées sur la royauté, la gloire, la guerre, la mort, la conscience et il a fini: «Il n'y a pas un seul côté de l'âme, de l'esprit, du cœur, du caractère, des fai-blesses, des vices, des passions, des vertus qu'il n'ait observé et décrit; de la graine et la racine de la plante humaine à sa dernière feuille, à sa fleur, son fruit».

Wiasemskoy disait en suite que l'incendie de Moscou a éclaté la veille de l'entrée de Napoléon. Il croit que tout le monde y a contribué et qu'on ne saura jamais l'exakte vérité sur l'incendie, mais qu'en tous cas Rostopchine n'a pas donné d'ordre formel. Il a entendu dire que Rostopchine, ayant appris qu'il y avait un incendie avait répondu: «Ce n'est pas le moment d'éteindre, laissez bruler». De là on aura conclu qu'il a dit: «Flambez la ville». C'est très possible. Pouschkine a repris: C'est comme beaucoup de mots historiques, celui de François I, mais on oublie la fin de la lettre, on écrit: «Tout est perdu, fors l'honneur!» Et on met un point d'exclamation. La fin est moins poétique: «Mais la vie est sauvé». C'est très naturel quand on écrit à sa soeur, et quand on ne pense pas à la postérité. Wiasemskoy est très enjoué de Mieckéwicz, Pouschkine admire certaines parties de Wallenrod, des Doumy, des poèmes lyriques, et une partie des Dziady (les ancêtres). Mais il trouve qu'il est souvent trop romantique ou plutôt romanesque. Il a ajouté: «tu ne seras pas de mon avis, Wiasemskoy, parce que tu es très romantique sur tes vieux jours, et que tu as déliré pour Byron sur les rives de la Vistule! Baratynsky est de mon avis et il a prié Mieckéwicz de ne pas imiter Byron, lui trouvant de l'originalité slave, il aimait beaucoup son talent et ce qui était bien à lui justement. A mon avis son chef d'œuvre est Pan Tadeusch et j'ai envie de le traduire sur mes vieux jours quand je n'aurai plus rien à dire qui soit à moi. Je crois que Mieckéwicz a lu Goëthe et Shakespeare plus que Schiller et Byron a présent? La pisse Zénaïde W. lui a conseillé d'étudier les poètes italiens, il est un assez bon latiniste et cela lui serait facile; je trouve dés idées nouvelles dans Pan Tadéusch.

Goëthe est notre grand maître et Byron l'a mis en faïte, pourtant il avait Shakespeare à domicile, pas comme poète seulement, mais comme grand philosophe, créateur de toute une humanité. Ce ne sont pas les vers de Shakespeare, ce sont ses idées qu'il faut étudier. Goëthe est le Dante de l'Allemagne, il a les pensées et les vers, il doit aussi beaucoup à Dante et à Shakespeare» (sic).

J'adore Pouschkine quand il est lancé, qu'il se laisse aller et pense tout haut, il est unique, alors, parce que l'esprit est si lucide. Wiasemskoy lui a demandé: «Byron a-t-il fait de la littérature?» — «Non et surtout pas dans Childe Harold, Caïn, Don-Juan, Manfrede, la Terre et le Ciel et pas même dans des poèmes de Jeunesse, ni dans Giaour, Lara, Corsair, la Fiancée d'Abydos, mais du reste le bût des anglais est si à part de ceux de la littérature française et Byron a été un homme politique même. Il y a de la littérature dans les Brigands, pas du tout dans la Glocke; les allemands ont eu des buts très définis toujours, Don-Carlos, Egmont sont des œuvres politiques aussi. La protestation dans les Brigands est vide, elle n'a pas de consistance en elle-même, car crier contre toute autorité morale est un enfantillage même, c'est une œuvre d'adolescent et cela a enthousiasmé de très jeunes». Il disait ensuite qu'il craint le cercle qui entoure Mieckéwicz, des émigrés comme la secte de Tawiansky sur lequel Hollynsky a donné des détails à Sobolewsky, qui lui a parlé des St.-Simoniens et des Fauriéristes aussi. En parlant de Mieckéwicz Pouschkine était ému, car il le croit très malheureux et aigri parfois. Parlant du poème sur l'inondation il disait: «Mieckéwicz a cru que le cheval¹⁾ allait tomber dans l'abîme et se briser. Mais je suis meilleur prophète que lui. Il restera debout, le cheval d'airain. Nous irons à l'abîme seulement si nous n'accomplissons pas ce que je rêve depuis le lycée, émanciper les serfs, leur rendre des droits de citoyens et une propriété. Les autres libertés viendront ensuite par la force même des choses. J'ai discuté avec X. l'autre jour, qui se croit libéral et qui sous prétexte que le paysan est barbare, trouve qu'il ne peut pas être libéré, il vent en faire à perpétuité un mineur au lieu d'un homme fait. Où est donc le libéralisme?»

Mon mari disait: «X. se plaint que l'autocratie lui pèse et c'est un autocrate despote même. La première chose est de débarrasser la Russie du servage. X. rêve à un parlement à l'anglaise et il ne sait rien de l'histoire de ce parlement, il se figure qu'il a toujours existé tel qu'il est depuis le reforme bill! Il se figure même que ce parlement n'a pas par-

¹⁾ Le cheval—la Russie qui courait à sa perte selon Mieckéwicz. Le cheval de Falconnet est symbolique, le civilisateur le retient et l'enlève. On voit dans le poème du Philharète de Vilna le germe des idées et des théories nationalistes des slavistes russes déjà, qui ont vu l'abîme dans les réformes de Pierre I. La doctrine de Pouschkine était tout à fait contraire.

fois arrêté des réformes et qu'il y a eu des luttes violentes pour arriver à émanciper les catholiques, détruire les bourgs pourris, la vente des sieges, ce qu'ils appelaient Borough Mongering». Pouschkine a répondu: «Il oublie que dans un parlement il y a nécessairement deux partis et parfois plus de deux, des réformateurs, des contre réformateurs, et il se figure que la Douma aurait pu se transformer en parlement anglais. J'en doute, car elle n'en prenait pas le chemin et quoiqu'abolie, ce sont les boyars de la douma qui ont fait l'opposition la plus étroite à Pierre le Grand. La noblesse est chez nous (et un partout peut-être) la classe la plus lettrée et civilisée ayant des loisirs; chez nous sans contredit; je regrette qu'elle ait perdu certaines droits, mais je souhaite vivement qu'elle perde celui d'avoir des serfs. Tu es de mon avis, Smirnoff, puis que tu m'as dit que ce droit empêche même un propriétaire de libérer quelque peu ses paysans, à cause des voisins, puisque leurs serfs alors sont vexés et mécontents en voyant des paysans libérés de certaines corvées». Mon mari a répondu: «Oui, des voisins se sont plaint à moi. Mais j'ai aboli des corvées, la *bartchina*, je fais payer l'*obrok*, tel qu'on le payait à mon père, je ne l'augmente pas. Je paie le travail qu'on fait dans les jardins et des coupes de bois, l'*iswoss* même. Ils ne travaillent que les champs et font toutes les récoltes selon la loi du servage, car rien ne m'oblige légalement à exiger d'eux la *bartchina* si cela me déplait. L'*obrok* est une redevance comme le travail. Je ne me mêle ni des mariages, ni des recrues, ils décident cela entre eux, c'est leur affaire. Mais à chaque pas il y a des difficultés; ainsi on est venu se plaindre à moi que des paysans ont marié leurs filles chez des voisins et que cela enlevait les filles à marier aux miens. J'ai répondu qu'un père est libre de marier ses filles et que les miens peuvent chercher aussi leurs fiancées chez des voisins. Mais on doit payer au voisin, c'est révoltant. Je leur ai donné de quoi payer même. Le jour où l'Empereur signera l'oukaze sera le plus beau jour de ma vie». Wiasemskoy a dit alors: «K. m'a dit que l'insurrection, en Pologne a empêché cela, que S. M. le voulait alors». Pouschkine a soupiré: «J'ai la noblesse de cour et la bourgeoisie de cour en horreur, c'est avec elle que l'empereur aura le plus de mal pour émanciper elle s'opposera toujours aux réformes. Notre abîme est d'être encore trop dans l'ornière du passé et ce ne sont pas des idées politiques, ce sont des préjugés à vaincre; le plus étroit de tous est de croire que l'uniformité est de l'ordre, le silence de l'adhésion et que la vérité ne gagne pas à la discussion des opinions. Pierre n'a brisé que des choses en ruines et des préjugés, qui sont plus forts que des principes, car de son temps il n'y avait aucune notion d'ordre politique chez ses opposants». — «Oui, Pierre a été un formidable révolutionnaire, mais c'est un génie unique, d'autant plus grand qu'il est mort il y a 110 ans, est né il y a 163 ans et qu'il a

eu des idées qui ont devancé son temps d'un siècle. Je serais un piètre patriote russe si je lui en voulais parce qu'il a enlevé au boyarstwo certains droits dont on a mal usé souvent et très-mal, quoiqu'on ait souvent payé de sa personne et fait de grands sacrifices au pays. Je discute à perte de vue avec Khomiakoff et Pogodine, tout en les aimant et les appréciant, mais ils sont trop peu équitables pour Pierre le Grand. Je lis les archives, elles sont terribles, on a versé beaucoup de sang en effet, mais c'est la fatalité de l'état barbare d'en verser et toute l'histoire humaine est arrosée de sang depuis Caïn jusqu'à présent. C'est décourageant peut-être, mais pas pour moi, car je compte sur l'avenir de ceux qui pensent et ceux qui aiment en même temps. Au fond, nous sommes encore des barbares ou des païens en Europe, mais un jour nous deviendrons des civilisés et des chrétiens. Seulement en Russie nous sommes trop jeunes et passionnés pour être justes toujours. Les uns m'accusent d'être démocrate, les autres d'être aristocrate, je ne suis ni l'un, ni l'autre, car en Russie tout cela n'est qu'un mot vide de contenu positif. Il y a eu une aristocratie militaire à l'allemande chez les polonais et elle a perdu la Pologne. Nous avons échappé à cela et c'est tant mieux. Qu'en dis-tu, milord Nicolas, boyar italien?»¹⁾.

Mon mari lui a répondu: «Je suis toujours de ton avis. L'aristocratie anglaise est la seule qui ait su faire son métier, plus politique que militaire, et elle a fait des réformes; quoique Byron, ce soit-disant radical soit un grand aristocrate au fond! Mais l'Angleterre ne ressemble à aucun autre pays, il est difficile de le juger».

Pouschkine a répondu: «En tout cas ce qui est utile à Londres, est encore nuisible à Moscou».

On a annoncé du monde et ils sont allés jouer au bilard chez mon mari. J'étais vexée, la conversation m'intéressait, parce que Pouschkine était lancé. Voyant que j'étais contrariée Nicolas a retenu Pouschkine à souper²⁾. Mes visites sont parties vers 11 heures ils allaient au bal, mais Wiasemskoy est resté et Joukovsky est venu du Palais avec M. Wielhorsky au lieu d'aller chez les Karamzine³⁾. Miatleff a paru aussi en disant: «Suis-je le tartare non invité?» J'ai répondu: «Toujours invité. mon mari et Pouschkine jouent au billard, allez les chercher, dites leur que les dames sont parties, cela les ramènera». On a repris la conversation et Pouschkine en parlant de Byron disait: «Ses idées sur la monarchie sont toutes anglaises: Smirnoff m'a expliqué leurs idées sur la couronne, ses priviléges et ses franchises. Pour les comprendre il faut vivre

¹⁾ Sobriquet donné par lui à mon père.

²⁾ L'habitude de souper, quoiqu'on dine tard a subsisté encore en Russie.

³⁾ On allait chez les Karamzine même à minuit, à une soirée non invitée, on y veillait très tard.

dans le pays et étudier leur histoire parlementaire de très-près. Ainsi nous avons l'ideé que leur royauté a toujours été celle que nous voyons et c'est une illusion. Elle a été féodale et d'essence spéciale. le roi féodal était chez eux le premier chevalier et baron. Ils se mariaient à des sujettes sans cesse et il y a quantité de familles qui ont les armes royales, la querelle des deux roses est un résultat de ces mariages même, ils ont marié enfin cette p-sse Plantagenet à un gentilhomme gaulois, petit fils d'Owen Tudor et d'une p-sse de Valois et cet Owen n'avait pas de pairie même, mais il descend d'un roi gallois. Le fils de ce Henri VII est un véritables roi absolu, Henri VIII, son fils est un roi de carton, c'est le duc de Somerset, le Protector, qui règne pour lui, et les deux filles du roi sont pas mal absolues, surtout Elisabeth, une maîtresse femme. Le 1-er Stuart a même chassé son parlement et ne l'a fait assebler qu'au bout de deux ans, il a régné et gouverné avec un conseil alors. Smirnoff m'a dit que lorsqu'il est monté sur le trône, ce James I, il y avait les deux tiers des pairies séquestrés, suspendues, abrogées, tous les Ducs, excepté deux. Il en a rendu et fait d'autres. Charles I a essayé de régner et gouverner, on l'a obligé à sacrifier Stafford et Laud l'évêque et on l'a enfin jugé lui-même; mais ce n'était pas une révolution, c'était une guerre civile. Un anglais disait à Smirnoff que jusqu'au XVIII s. tout ses ancêtres avaient péri de mort violente, en guerre ou sur des échafauds, ou bien étranglés en prison. Cromwell était un despote absolu aussi, même il a violé la constitution, il est entré au parlement avec ses soldats. Charles II était un piètre sire et son frère James II a été renversé parce qu'il voulait émanciper les catholiques, ce qui a déplu aux évêques, car cela libérait aussi les méthodistes. Ceci est original, un roi renvoyé pour son libéralisme». Mon mari a répondu: «Oui, mais ils ont fait signer un bill limitant les droits du souverain au p-r d'Orange et obligé Anne à appeler les luthériens de Hanovre. C'est le moment où les ministres ont commencé leur lutte avec le régime personnel des rois allemands». Pouschkine a dit: «Tout cela ne s'est pas fait en un seul jour et ceci a donné à leur royauté ce type anglais et spécial. Je ne m'expliquais pas ce Régent si méprisé, si méprisable, criblé de dettes, ayant eu ce honteux procès avec sa femme et auquel Brougham a dit des choses si fortes, qu'il a taré dans son discours; mais rien n'a nui au principe monarchique, car la cause de la monarchie n'était pas en jeu. The King can do no wrang, puisqu'il règne sans gouverner et son régime personnel n'existe pas. Tout cela serait impossible ailleurs. Smirnoff m'a expliqué beaucoup de choses sur les anglais. Le Prince d'Orange et les Georges ont essayé de gouverner et c'est l'opposition des whigs, des grands aristocrates qui a été leur principale difficulté». Mon mari a répondu: «N'oublie pas pourtant que Bolingbroke, Chatham et Pitt sont des tories. Le régime anglais est la

suite de leur passé historique, d'un très long apprentissage de la liberté et de leur caractère si indépendants et leur aristocratie s'est toujours renouvelée dans les autres classes aussi». Pouschkine disait ensuite que la révolution avait prouvé que la bourgeoisie pouvait être plus despote que l'aristocratie et des rois, et que la noblesse, fidèle aux souverains, est toujours indépendante pourtant». Il a ajouté: «En France on fait des essais de parlementarisme et le roi se mêle de tout. Napoléon était aussi absolu que Louis XIV, leur grand roi était Henri IV. Le principe électif a livré la Pologne à toutes les intrigues des voisins et des Diètes et même au choix de rois étrangers; un roi élu est une chose vide de sens, la monarchie doit être héréditaire et c'est ce que notre Zemskoï Sobor a compris en 1613».

Wiasemskoy. «Dans un pays où la succession directe a eu de la peine à triompher, même Iwan III a écarté son ainé du trône». Pouschkine a répondu: «Droit paternel! Mais la branche ainée a triomphé de Riazan, c'était écrit! Le pays a décidé avec un grand bon sens en 1613, avec un grand instinct il a proclamé le *rodové pravo*⁷⁾, Joukowsky m'a dit que l'Empereur lui avait annoncé qu'il enseignerait lui-même l'histoire à l'Héritier depuis Pierre le Grand et il a bien raison puisque les descendants suivent le programme de Pierre. Et plus ils seront russes, plus ils seront comme lui. Il a eu, je le maintiendrai envers et contre tous, l'instinct archirusse toujours».

«J'ai discuté avec Khomiakoff et Pogodine à Moscou un soir, Tchadæff et Sobolewsky étaient de mon avis. Il est illogique de dire que Pierre le Grand a violenté le caractère russe en voulant civiliser le pays et que nous devions créer de rien notre civilisation. D'abord il n'est pas le premier, Wladimir a bien dû prendre le christianisme à Bysance, les Nowgorodiens ont appelé des scandinaves, ils sont venus eux-même d'occident. Nous étions moins barbares comparés à l'Europe à l'époque d'Alexandre Newsky qu'au XVII s. Iwan III a fait venir sa byzantine de Rome, Iwan Groznoy a même correspondu avec Possevine et Mengli Ghirei et les trois premiers tzars ont envoyé des missions en Europe. Michel Téodorovitch Romanoff a fait venir Oléarius de Hollande, Aléxis Mihaïlovitch a même commencé les théâtres, Godounoff a sans cesse cherché à civiliser le pays, il a même pris le servage des polonais, plus civilisés alors, c'était une erreur p. ex. Les meilleurs esprits n'étaient nullement opposés à la civilisation occidentale, au contraire. Si en effet elle était contraire aux russes, Pierre le Grand même n'aurait pas réussi à tout changer si vite et

⁷⁾ Droit de sauche, de liguée. La charte que les délégués du concile terrien ont donné à Michel Romanoff en signant leur choix, spécifie son droit d'ainesse, de la branche ainée par sa grand'mère et le vœu de la nation entière, *wzé zemno, wsé sosslowné*, toute la terre, toutes les classes.

lui mort tout aurait péri. Anna Iwanovna était une grosse réjouïe, très inculte, avec des habitudes moscovites et celles de la petite allemagne, mais pourtant elle est rentrée à Pétersbourg. Biron était monstrueux sans doute, mais Wollynsky fort intelligent, était presque barbare puisqu'il rossait Trédiakowsky, c'est un pauvre poète en effet, mais il a su comprendre la langue, ce fils de berger, il était déjà civilisé. J'ai eu un grand triomphe, j'ai demandé à Khomiakoff et Pagodyne si Lomonosoff n'est pas russe? Ils l'ont naturellement porté aux nues et j'ai riposté: «Il est venu ce qu'il était grâce à l'occident, il y a eu peut-être une douzaine de Lomonosoff avant lui et qui n'ont rien fait, n'étant pas civilisés et instruits. Tchadaeff ne comprend pas Pierre le Grand, il exige de lui des idées modernes, il oublie l'époque et l'éducation, qu'il a eue, c'est un *samooutchka*¹⁾ aussi, mais de grand génie». La femme de Khomiakoff plait beaucoup à Pouschkine, mais elle est délicate de santé et très nerveuse, Jazykoff (frère de M-me Khomiakoff) est très et trop lancé chez les bohémiennes de Moscou, Pouschkine trouve qu'il travaille trop peu et qu'il gaspille son talent, on le dit très viveur. Tchadaeff a beaucoup de succès à Moscou, c'est Tchatzky, il fronde; Chévyreff est plongé dans les archives jusqu'au cou. À. Tourguéneff a trouvé des documents français très curieux, diplomatiques. Pagodyne travaille beaucoup. Sobolewsky achète des livres rares, il en a trouvés à là Souharéva Bachnia même²⁾, dans une échoppe.

Mon mari nous racontait ce soir qu'il avait comparé des domestiques russes à des étrangers surtout en Italie et que son valet de chambre qui savait lire et écrire a très vite appris l'italien, même il le lisait, un cocher qu'il a fait venir aussi, a appris à lire du valet de chambre et savait plus d'italien en 6 mois que le groom anglais qui avait vécu 3 ans à Florence. Ceci a frappé les étrangers, qui lui disaient que le peuple russe est désireux de s'instruire plus que l'italien et prouve qu'il ne tient nullement à rester inculte, il cherche à se Civiliser, dès qu'il voit des étrangers il veut apprendre ce qu'il savent. Pouschkine lui a répondu: «Voila un argument pour faire taire ceux qui disent que Pierre le Grand n'a pas compris le caractère russe et a violenté l'esprit russe, le rousskoë douch. Du reste l'heure historique avait sonné, nous devions accomplir notre mission et tourner le dos à l'Asie. La mort prématurée de Pierre nous a arrêtés 20 ans. De 1725 à l'avènement de sa fille nous avons reculé. Je causais de Pougatcheff avec l'Empereur il y a quelque temps et il m'a fait une réflexion très judicieuse sur cet épisode; il disait que

¹⁾ De *sam-soi-même, outchit—enseigner*, veut dire celui qui fait son éducation tout seul, sans aide ou conseil.

²⁾ L'ancien réservoir, où il y avait des échoppes.

cela lui avait prouvé que la province était encore dans les ténèbres du moyen âge, qu'il y avait quelque chose d'absurde dans les succès de Pougatcheff, de cette fable à laquelle on a cru; qu'il a massacré, pillé, commis des atrocités sans nombre et que le peuple a pu croire qu'il est le souverain, que cela prouvait qu'ils avaient une singulière idée d'un souverain! Et d'un autre côté le manque total d'énergie des autres classes, aucun esprit public, aucune résistance à ce brigandage, on le laissait faire et on était presqu'aussi inculte que le peuple par conséquent. Dès qu'on quittait une grande ville on tombait dans une Russie du moyen âge, les émeutes, les Jaqueries en occident étaient des choses organisées avec des bûts et ici il n'y avait rien que de la sauvagerie, un second Stenka Razine. Il disait aussi de Mazepa et de la Haydamatchina que tout cela avait eu des bûts, une raison quelconque, comme les prétendants; mais Stenka et Pougatcheff n'avaient au fond ni vrais bûts, ni raison d'être politique; la raison d'être était le pillage, le désordre sans bût—signe de barbarie. C'était ce qui l'avait frappé dans ces deux émeutes. Eh! bien, l'Empereur a parfaitement raison, d'autant plus que ces deux brigands ont massacrés autant de paysans que de seigneurs, peut-être plus même, et que Pougatcheff a imité Stenka dans son propre pays, là où il a laissé une légende justement. Si Pierre n'avait pas vécu nous aurions eu les émeutes du XVII s. encore à présent. Il a trouvé le chaos général et il a déblayé le terrain. C'est déjà un bienfait».

(*A suivre*).

На 25-лѣтіе дѣятельности А. Н. Островскаго¹⁾.

* * *

Лѣть двадцать пять спала родная сцена,
И сонъ ея былъ тяжекъ и глубокъ,
Но вы сказали ей: «что-жъ бѣдность не порокъ!»—
И съ ней произошла благая перемѣна.

* * *

Безцѣнныхъ перловъ рядъ театру подаря,
За нимъ «доходное» вы укрѣпили «мѣсто»,
И наша сцена, вамъ благодаря,
Теперь не «бѣдная невѣста».

* * *

Заслуги ваши громко вознеслись,
А кто не цѣнитъ ихъ иль понимаетъ ложно,
Тому сказать съ успѣхомъ можно:
«Не въ свои сани не садись!»

А. Апухтишъ.

¹⁾ Предлагаемое стихотвореніе было записано со словъ Апухтина его хорошимъ знакомымъ, бывшимъ товарищемъ прокуроръ владимирскаго окружнаго суда, Свицкимъ, и передано было моей матери. Ни въ одно изъ трехъ изданий стихотвореній Апухтина оно не вошло и, сколько миѣ известно, нигдѣ еще напечатано не было.

К. Бальмонтъ.

ЗАРНИЦЫ.

(РАЗСКАЗЪ).

(Окончаніе).

Не смотря на то, что мы съ Алешей встали въ три часа ночи и устали съ дороги, мы довольно поздно разошлись въ этотъ вечеръ. Ужъ и музыка смолкла, и публика давно разошлась по домамъ и отелямъ, а мы все еще сидѣли и разговаривали. Вспоминали мы Божидаровку и пріѣздъ къ намъ Николая Федоровича. Онъ всѣхъ хорошо помнилъ и спрашивалъ о мамѣ, о тетѣ Анѣ, о Лизѣ.

— Лиза? Ахъ, и не говорите!.. — съ сокрушеніемъ сказала Катя, — выходитъ замужъ за офицера, который ея совсѣмъ не стоитъ.

— Да онъ ей нравится, — заступился за жениха Алеша.

— Нравится!.. — Просто влюблена, бѣдняжка. А любовь увѣнчаетъ, украсить кого угодно...

— Убирашеть не любовь, а воображеніе, сказала я, — а любовь только приближаетъ. То, что намъ близко, мило намъ и безъ украшеній и увѣнчиваній. Настоящей любви не нужно воображеніе...

— А какая это любовь *настоящая*? Лиза, напримѣръ, влюблена въ своего херувима и ей кажется, что ея любовь самая *настоящая*. А намъ со стороны видно, что это только влюбленность, которая пройдетъ очень скоро и смѣнится разочарованіемъ.

— Почемъ знать, — сказалъ Алеша, — этого никогда нельзя сказать заранѣе.

— Die Leidenschaft flieht,

Die Liebe muss bleiben, — продекламировалъ Николай Федоровичъ.

— Какая тамъ Leidenschaft? Просто юность и сентиментальность — возразила Катя. — А онъ пустѣйший мальчишка и навѣрное причинить ей много горя. Очень грустно, что насъ такъ плохо воспитываютъ, такъ плохо подготовляютъ къ жизни. Создаемъ себѣ какіе-то туманные идеалы, которыхъ въ жизни, конечно, никогда не находимъ и потомъ мечемся и чувствуемъ себя несчастными.

— Надо не искать въ жизни идеаловъ, а вносить ихъ въ жизнь,— сказалъ Николай Федоровичъ.

— А па счетъ жениха Лизы ты сильно преувеличиваешь, душа моя,— снова заступился за отсутствующаго Алеша,— человѣкъ какъ человѣкъ; пороху не выдумаешь, это вѣрно; да въ томъ ли счастье?

— А въ чёмъ оно?..

И въ виду живописнаго, мирно уснувшаго озера, мы всѣ стали придумывать и опредѣлять, гдѣ и въ чёмъ счастье, спорили о счастьѣ, о долгѣ, о любви, о томъ, слѣпа она или дальновидка. И всѣ таѣ разболтались, что жаль было разойтись.

Не смотря на радость, переполнявшую мнѣ сердце, — мнѣ страшно хотѣлось спать, когда мы пришли съ Марьиной въ отведенную намъ комнатку. Чудесно и необыкновенно заканчивался этотъ день, начавшійся гдѣ-то далеко и высоко, въ сосѣствѣ суповой вершины Санъ-Готарда. Смутно вспоминались мнѣ Альпы, снѣгъ, собака, француженка, а въ ушахъ звучалъ голосъ Николая Федоровича, звучали когда-то пѣтые имъ романсы.

— Я думаю вамъ страшно спать хочется съ дороги? — сказала Марьяна. — Ничего если я еще схожу къ папѣ и вернусь немножко позже?

Я стала раздѣваться и укладываться съ твердымъ намѣреніемъ дождаться ея возвращенія. Но глаза мои смыкались и не успѣла я донести головы до подушки, какъ уже спала.

Спала я какъ убитая и когда утромъ я открыла глаза, солнце уже ярко ударяло въ штору, освѣща ю веселую чистенькую комнатку съ двумя бѣлыми кроватями и скромной свѣтлой мебелью. Марьяна сидѣла на своей постели, натягивая черные чулки на свои худенькия ноги и смотрѣла на меня своими ласковыми черными глазами. Увидя, что я проснулась, она дружелюбно кивнула и улыбнулась мнѣ.

— Хорошо выспались?..

— Чудесно. Который-то часъ? Я открою окно. Что за утро! какой воздухъ!..

— Шестой часъ должно быть. Я всегда встаю въ шесть, а тетя Катя спитъ до восьми и чай пьюмъ въ девять. Я здѣсь по утрамъ все одна гуляла. Теперь буду съ вами. Это лучше. Вы хотѣли шляпу бути?

— Да, да я не знаю гдѣ. Тутъ можно?

— Я васъ свожу. Я здѣсь все, все знаю... Ахъ, какія тутъ есть прогулки!..

Одѣвшись, мы прошли черезъ пустой и сонный коридоръ, мимо запертыхъ дверей и выставленныхъ передъ ними сапогъ и башмаковъ, и вышли на улицу.

Утро было чудное, свѣтлое, веселое и радостное.

Небо было ярко и безоблачно и казалось мнѣ необыкновенно чистымъ и глубокимъ. Было въ красотѣ этого утра что-то особенное. Никогда еще горы не были такъ живописны, озеро не свѣтилось такъ привѣтливо. Миръ ли сталъ лучше, душа-ли моя глубже, только мнѣ казалось, что такого чуднаго утра я еще не видывала.

Отели спали, даже ставни ихъ не были открыты.

Прежде всего Марьяна повела меня ко „Льву“ Торвальдсена. Мы сѣли съ ней на скамеечкѣ прямо противъ скалы, посреди которой лежалъ въ своей нишѣ бѣдный раненый левъ, со слезой во взорѣ, грустно опустивъ на лапу грустную морду. Марьяна читала мнѣ вслухъ надпись: „*Helvetiorum fidei ac virtuti. Haec sunt nomina eorum, qui ne sacramenti fidem fallerent, fortissime pugnante cediderunt*“, а я любовалась чуднымъ выражениемъ чуднаго изваянія. Надъ высокой отвесной скалой, живописно окаймленной кустами, деревьями и ползучими растеніями, видѣлось яркое и чистое голубое небо, и съ высоты бѣжалъ ручей, впадая въ бассейнъ, въ которомъ отражалось художественное изваяніе. Пронзенный копьемъ, бѣдный левъ плавалъ; и видъ этой неожиданной печали, въ такое свѣтлое и радостное утро слегка смутилъ мнѣ сердце. Мы заговорили съ Марьянѣй о Торвальдсенѣ, о скульптурѣ. Мы обѣ находили, что отдельно взятое художественное произведение, помѣщенное въ такой поэтической обстановкѣ, какъ здѣсь, напримѣръ, доставляетъ несравненно больше наслажденія, чѣмъ цѣлая галерея музея, гдѣ рѣдкія произведенія искусства тѣснятся какъ солдаты на смотрѣ или торговки на базарѣ.

Марьяна рассказывала мнѣ о музеяхъ, которые она видѣла, а я, глядя на страдающаго льва, думала, что Богъ просто испытываетъ меня, посылая мнѣ столько счастья. И за что? Ужъ я не говорю о радости его неожиданного прїѣзда, обѣ этой встрѣчѣ теперь, когда я уже почти перестала и мечтать обѣ этомъ!.. Въ этомъ положительно было что то сверхъестественное. Но и не говоря уже объ этой главной радости, здѣсь было все, все что я только любила: красивая природа, вода, лодка, горы, музыка... Марьяна рассказывала мнѣ, что онѣ съ Катей чуть не каждый день ходили въ церковь слушать знаменитый органъ... За франкъ можно каждый вечеръ отъ шести до семи доставить себѣ это удовольствіе, и какое удовольствіе!.. Потомъ Марьяна напомнила мнѣ, что мнѣ надо купить шляпу и мы пошли съ ней въ лавки, гдѣ я купила себѣ и шляпу и кушакъ точь въ точь такие, какъ у Марьянѣ. Сбоязнувшись по тому, по другому, разговоръ, конечно, возвращался къ папѣ.

— Отчего онъ прїѣхалъ теперь, а не осенью?

— Говоритъ, что выдалось неожиданно свободное времячко; вотъ Кн. 4. Отд. I.

онъ имъ и воспользовался. Осеню онъ опять пріѣдетъ. Впрочемъ у него что-то есть. Когда онъ пріѣхалъ, онъ мнѣ сказалъ, что хочетъ серьезно поговорить со мной объ одномъ важномъ для насъ обоихъ дѣлѣ. Мы рѣшили поговорить вечеромъ, когда я останусь съ нимъ одна. Но когда вы пріѣхали, онъ почему-то передумалъ. Я къ нему пришла вчера вечеромъ... Онъ ходилъ по комнатѣ. Я говорю: „Что же нашъ разговоръ?“ А онъ помолчалъ, потомъ поцѣловалъ меня и сказалъ: „Теперь поздно; тебѣ пора спать. Къ тому же я вижу, что тебѣ съ ними такъ хорошо и весело, что грѣшно было бы отравить тебѣ эти дни. Мы поговоримъ потомъ. Разговоръ нашъ не уйдетъ. Это еще успѣется.“ Я спросила только, не случилось ли чего дурнаго! онъ сказалъ — нѣтъ.

— Видите... Мы вамъ помѣшали...

— Напротивъ. Онъ очень радъ. Онъ васъ очень любить: и васъ, и тетю Катю. Онъ и за меня такъ радъ; вѣдь у меня очень мало друзей и знакомыхъ. И когда, еще до вашего пріѣзда, я ему рассказывала, какъ вы мнѣ понравились, какъ я сдружилась съ тетей Катей и съ вами, и какъ я рада, что теперь у меня есть друзья въ Россіи, онъ сказалъ, что я не могла сдѣлать лучшаго выбора. Я не знаю, что это можетъ быть? О чёмъ онъ хочетъ говорить со мной? Можетъ быть, онъ хочетъ взять меня въ Россію или перевезти куда-нибудь въ другое мѣсто. Мнѣ это было бы жалко. Я такъ привыкла и къ Монтрѣ и къ Салтыковымъ. Ну, да узнаю; когда захочетъ, онъ скажетъ.

— Конечно, слава Богу, что нѣтъ ничего дурнаго, подтвердила я, а сама невольно подумала. А вдругъ онъ женится и хочетъ сообщить ей это? Но нѣтъ, нѣтъ, не надо! Зачѣмъ ему жениться? Развѣ ему такъ не хорошо?..“

Когда мы вернулись въ Бориважъ, Катя и Алеша сидѣли рядомъ на диванчикѣ и отодвинулись другъ отъ друга при нашемъ входѣ. На столѣ передъ Катей стояли открытые коробки и футляры съ мозаиками, кораллами и камнями, привезенными Алешей изъ Милана. Катя выбирала себѣ вещи, которыхъ ей нравились и распредѣляла остальное для подарковъ. Мы съ Марьяной тоже получили по одинаковому мозаичному прибору и рассматривали и перебирали камен, когда въ комнату вошелъ Николай Федоровичъ.

— Гдѣ вы были? — сказалъ онъ. — Я вездѣ искалъ васъ. И у Льва, и въ Глетчергартенѣ, и у Штауфера...

Алексѣй Александровичъ былъ въ чудесномъ настроеніи и все твердилъ:

— Но какъ это мило, что мы тутъ съѣхались! Вѣдь чего всегда недостаетъ въ этихъ вояжахъ? Именно своего дружескаго кружка. А

въ такой компании всѣ экскурсіи вдвое пріятнѣе и интереснѣе. Не махнуть-ли намъ всѣмъ вмѣстѣ въ Испанію?

— Самое время, въ такую жару! — сказала Катя.

Наканунѣ она безъ устали восхищалась Люцерномъ. И она и Марьяна говорили обѣ этомъ городѣ такъ, какъ будто онѣ открыли, если не основали его. Но теперь, когда Алексѣй Александровичъ началъ раздѣлять ихъ восхищеніе, Катя, по привычкѣ противорѣчить ему, стала поговаривать о томъ, что пора-бы, въ сущности и домой. И она считала по пальцамъ, сколько мѣсяцевъ мы уже пробыли за границей: февраль, мартъ и т. д. Мама, вѣроятно, уже въ Божидаровкѣ; не оставлять же тамъ ее одну. И потомъ, въ Парижѣ они такъ и не купили фисгармоніи; а нельзя дольше откладывать этого. Какъ думаетъ Николай Федоровичъ, можно купить хорошую фисгармонію въ Вѣнѣ?.. Съ прѣздомъ Алеши, Катя оказалась всецѣло поглощенной мечтами о фисгармоніи и безъ устали разспрашивала Николая Федоровича о системахъ, о регистрахъ. А мнѣ было совершенно все равно, говорить-ли онъ о любви, обѣ овцахъ и свиньяхъ, или о фисгармоніи. Я слушала его голосъ и была совершенно счастлива.

Чемоданы заброшены. Вещи уложены по комодамъ. Мы ведемъ осѣдлую жизнь. Дни проходятъ за днями, какъ свѣтлая мгновенія. Мы предпринимаемъ чудныя экскурсіи въ горы, поднимаемся на Риги, обѣзжаемъ берега Фирвальштедтскаго озера, катаемся въ лодкѣ, слушаемъ органъ... Катя играетъ намъ на роялѣ, и Николай Федоровичъ охотно слушаетъ ея игру; но самъ пѣть не соглашается, не смотря на всѣ наши просьбы. Вообще онъ здѣсь еще солиднѣе и серьезнѣе, чѣмъ былъ въ деревнѣ. Оттого-ли, что съ нимъ здѣсь взрослая дочь, или эти два года сдѣлали его еще спокойнѣе идержаннѣе... На Марьяну онъ смотритъ съ нѣжностью, но и съ затаеній тревогой, которую я объясняю себѣ заботой о ея здоровьѣ.

Голубое озеро, отъ котораго вѣеть миромъ и покоемъ, тихо свѣтится подъ нашими окнами. Дружба моя съ Марьяной растетъ, не по днямъ, а по часамъ. Мы, конечно, уже на ты. Мы такъ сжились и сдружились, на столько понимаемъ другъ друга, что намъ нѣть надобности разговаривать въ присутствіи старшихъ. Обмѣняться взглядомъ или улыбкой намъ достаточно для того, чтобы сообщить другъ другу свои мысли и чувства. У насъ одинакія розовые блузочки; одинакіе большие бѣлые воротники, одинакіе кожаные пояса и одинакія шляпы. И Марьяна радуется, когда кто-нибудь приметъ насъ за сестеръ. По утрамъ мы катаемся съ ней вдвоемъ на лодкѣ; но случается, что и Николай Федоровичъ присоединяется къ намъ, и тогда нельзя ничего представить себѣ лучше такой прогулки. Мы никогда не остаемся съ нимъ вдвоемъ; Марьяна всегда съ нами, но

это не мѣшаетъ мнѣ быть счастливой... Я довольна тѣмъ, что есть, и не желаю ничего лучшаго. И по утрамъ я горячо молюсь: „Господи, дай мнѣ любить его хорошо и не дай мнѣ полюбить его дурно!“ Что выражаетъ это безсмысленное возвзваніе, я не понимаю хорошенько и сама, но чувствую, что оно вырывается изъ глубины души.

Когда я причесываюсь утромъ передъ зеркаломъ, меня окружаетъ моя уродливость. Всѣ недостатки моего лица, всѣ недостатки моей фигуры вырастаютъ въ моихъ глазахъ до чудовищныхъ размѣровъ и смущаютъ меня до такой степени, что мнѣ хочется куданибудь уѣхать, спрятаться, скрыться, чтобы никто не видѣлъ такого урода. И только нагулявшись и набѣгавшись по горамъ съ Марьиной, я забываю о моей наружности и помню только о моей любви. А вечеромъ, послѣ счастливаго свѣтлого дня, проведеннаго въ его обществѣ, въ его близости, я снова взглядаю на себя въ зеркало и не узнавая своего преобразившагося лица и сияя счастьемъ и радостью любви, думаю: „Господи! Онъ все, все можетъ; онъ можетъ даже сдѣлать меня хорошенѣккой!..“

Часто я чувствую на себѣ его взглядъ, отъ котораго мнѣ становится какъ-то неловко. Но стоитъ мнѣ поднять на него глаза, и онъ мгновенно принимаетъ самое строгое и холодное выраженіе. Зачѣмъ? Что это значитъ?.. Боже мой, неужели же я не скромна, неужели я нечаянно, неумышленно дѣлаю что-нибудь, что онъ находитъ предосудительнымъ?.. Мнѣ это грустно и больно, и я начинаю еще строже слѣдить за собой. Я знаю, что онъ меня не полюбитъ. Во-первыхъ, я этого и не стою; и во-вторыхъ, послѣ такой женщины, какой была его жена, развѣ онъ взглянетъ на кого-нибудь?.. Но мнѣ ничего и не нужно. Мнѣ довольно того, что есть. Когда онъ входитъ въ комнату, все мгновенно дѣлается ярче и живѣй, когда онъ выходитъ,—все меркнетъ и тускнѣетъ. Звуки его голоса я ловлю не слухомъ, а сердцемъ и искренно думаю, что другого такого голоса нѣтъ на свѣтѣ. Не глядя на него, я вижу его, не теряю ни одного его движенія и угадываю, что онъ скажетъ, что спроситъ. Я замѣчу теперь въ немъ какую-то перемѣну. Онъ не тотъ, что былъ въ Божидаровѣ; что-то случилось... что-то есть у него на душѣ и мнѣ хочется узнать, что? хотѣть и страшно узнавать. Онъ все еще откладываетъ свой разговоръ съ Марьиной, а мнѣ хочется, чтобы разговоръ этотъ состоялся, потому что вѣдь Марьина мнѣ скажетъ. Но дни проходятъ за днями. Онъ ничего не говоритъ Марьинѣ, а она ничего не говоритъ мнѣ.

По вечерамъ мы снова катаемся по озеру.—Катя садится въ лодку только тогда, когда перестаютъ ходить пугающіе ее пароходы. Каждый вечеръ на берегу играетъ музыка непрерывно то передъ Швей-

пергофомъ, то передъ Насъоналемъ. Послѣ чуднаго органа, звуки плохенькаго оркестра доставляютъ намъ мало удовольствія; мы стараемся слушать ихъ издали и для этого садимся въ лодку и уплываемъ какъ можно дальше.

— Ну, а что Софья Николаевна, скажи пожалуйста, говорить въ одно изъ такихъ катаній Алексѣй Александровичъ. И онъ начинаетъ перебирать сосѣдей и знакомыхъ Николая Федоровича, безпрестанно возвращаясь къ вдовѣ-сосѣдкѣ, влюбленной, по его словамъ въ Николая Федоровича. И онъ шутить, и острить на счетъ интересной вдовы; Марьяна, какъ ни въ чемъ не бывало, смеется этимъ шуткамъ, а Николай Федоровичъ принимаетъ свой непроницаемый видъ.

Мгновенно все кругомъ темнѣеть, горы становятся безобразными тяжелыми глыбами, отдѣленные звуки оркестра, играющаго мотивы „Карменъ“, дѣлаются еще болѣе рѣзкими, пошлыми и непріятными. Я гребу изъ всѣхъ силъ, чтобы скрыть мое отчаянье и отогнать ненавистный образъ; но вдова упорно мелькаетъ въ каждой волнѣ, и встаетъ изъ водъ, какъ опасная сирена, и томить и мучить меня. Теперь мнѣ все ясно. Онъ женится на вдовѣ и прѣѣхалъ сообщить объ этомъ Марьянѣ. Какъ ему не грѣшно?! Послѣ святой женщины, которая была его женой, посадить на ея мѣсто эту вдову!.. Я прислушиваюсь къ тому, что говорить о ней Алеша. Онъ говоритъ, что она—бокетка, стало быть—дрянь, говоритъ, что такой-то и такой-то былъ ея поклонникомъ... Стало быть прямо погибшая скверная женщина! И влюблена въ него... И красива, конечно, и ловка, и опытна, и обаятельна... Я съ гнѣвомъ и грустью смотрю на красивую стройную фигуру Николая Федоровича, сидящаго на рулѣ, и гребу, гребу, гребу...

Слѣдующій за этимъ катаньемъ день былъ послѣднимъ днемъ нашего пребыванія въ Люцернѣ. Послѣ обѣда, за которымъ мы всѣ чому-то неудержимо и судорожно смѣялись, Катя пошла къ себѣ уѣзжаться, Алеша сѣлъ писать письма, а Марьяна ушла съ отцомъ въ лавки. Я знала, что ей хотѣлось купить подарки мнѣ и Катѣ и потому не пошла съ ними. Они намѣревались скоро вернуться, а между тѣмъ пришелъ вечеръ, стемнѣло, а ихъ все еще не было. Мы пошли втроемъ на музыку, гуляли, сидѣли на пристани, ходили по бульвару, возвращались въ отель, и нигдѣ не могли найти ихъ.

— Гдѣ же это они такъ загулялись? удивлялась Катя.

— Досадно! Нашъ послѣдній вечеръ въ Люцернѣ и не проводимъ его вмѣстѣ. Посидите здѣсь; а я пройдусь еще, поищу ихъ.

Оркестръ сыгралъ свое первое отдѣленіе, пропустилъ антрактъ и заигралъ второе отдѣленіе; а они все не шли. Мнѣ было нестерпимо скучно безъ нихъ и обидно, что мы такъ проводимъ нашъ послѣдній

вечеръ въ Люцернѣ. Я догадывалась, что оставшись въ первый разъ, кажется, за все наше пребываніе въ Люцернѣ, наединѣ, — они приступили къ своему серьезному разговору. Это должно было случиться само собой; первое случайное слово могло вызвать этотъ разговоръ. Грустно! Но теперь, по крайней мѣрѣ, я узнаю, въ чемъ дѣло.

Было уже совсѣмъ темно, и оркестръ доигрывалъ послѣднюю пьесу второго отдѣленія, когда мы наконецъ встрѣтились на бульварѣ.

— Мы васъ давно ищемъ.

— А мы — васъ...

— Гдѣ это вы пропадали?!

Не смотря на темноту, я увидѣла по ихъ лицамъ, что оба взволнованы и разстроены. Марьяна была совсѣмъ смущена и потрясена, хоть и старалась казаться спокойной и развязно-веселой. Онъ тоже говорилъ что-то слишкомъ много и слишкомъ торопливо. Мы присѣли всѣ вмѣстѣ на скамеечкѣ, стараясь разговаривать, но всѣ чувствовали себя какъ-то необычно тѣгостно, неловко и тоскливо и разошлись спать раньше обычновенного.

Я надѣялась, что Марьяна скажетъ мнѣ что случилось, но она молчала и раздѣвалась съ лихорадочной торопливостью, поворачиваясь ко мнѣ спиной. Видя это, я тоже стала торопиться и, не прощаюсь съ ней, погасила свѣтъ.

Я лежала и мучилась и недовѣріемъ Марьянѣ, и мыслями о вдовѣ. Отчего Марьяна не сказала мнѣ?.. Это ли дружба? Катя говоритъ правду. Они ужасно горды: и онъ, и Марьяна... Мы ихъ такъ любимъ, а они слишкомъ горды, для того, чтобы любить насъ. Имъ насть и не нужно вовсе...

И я вздыхала и чувствовала себя одинокой и несчастной.

Что-то давило мнѣ сердце. Марьяна вороchалась въ своей постели, глубоко вздыхая отъ времени до времени... И слыша, какъ она вздыхаетъ и ворочается, я тоже не могла уснуть.

Такъ прошелъ часъ другой, третій... Въ коридорѣ стихли всѣ звуки; стихло шарканье шаговъ, хлопанье дверей. Все въ отель уснуло. Громкій храпъ соѣда мѣрно гудѣлъ за стѣной. Полная луна тихо плыла въ небѣ, проникая сквозь штору и щели и въ нашу комнатку, свѣтилась на полу и на бѣломъ одѣялѣ Марьянѣ, которая, почудилось мнѣ, — тихо всхлипывала.

Я приподнялась на кровати и прислушалась. Положительно, она плачетъ.

— Маня!..

Отвѣтъ нѣтъ. Она притаила дыханіе и притворилась спящей.

Я уже не могла лежать спокойно и сидѣла на кровати, закрывъ лицо руками, погрузившись въ горькія и черныя думы о вдовѣ.

Ясно, что онъ женится на вдовѣ. Онъ уже объявилъ это Манѣ, и она теперь убивается и плачетъ. Я слышу, что она плачетъ. Господи!..

— Маня, ты не спиши?

Она молчить; но я ясно слышу ея горькія всхлипыванья.

Я вскаакиваю босикомъ, перебѣгаю къ ней на кровать и стараюсь заглянуть ей въ лицо, мокрое отъ слезъ.

— О чѣмъ ты, о чѣмъ?.. Случилось у васъ что-нибудь!.. Не плачь такъ, ради Бога!..

Она отрицательно качала головой и горько плакала.

— Ну перестань, ради Христа!.. Подумай, что ты еще расхвораешься... Маничка, дорогая, ну не плачь же!..

Я давала ей воды, укутывала ее одѣяломъ и утѣшала глупыми словами, какія только приходили на языкъ. А она все молчала, дрожала и плакала.

Потомъ и она сѣла на кровати и на мои вопросы: „Да что? Да о чѣмъ ты?“ сказала, продолжая всхлипывать.

— Ничего не случилось. Ты не думай, что случилось что-нибудь новое... Горе старое... Горе въ томъ, что она умерла... умерла... что ея нѣть...

— Да, но зачѣмъ же растравлять въ себѣ старое горе?.. Ты думаешь, ей легко было бы видѣть, какъ ты убиваешься!.. Ну, перестань же...

— Я не могу тебѣ сказать... Я обѣщала вамъ не говорить... Но ты узнаешь... Ты узнаешь... И я тебѣ напишу... Я тебѣ все напишу и объясню... Ты поймешь... Я не могу сказать, когда я обѣщала... Ты не думай, что я все хочу для себя... Господи, я такъ его люблю!.. Я и не о горѣ вовсе... А я плачу, что я такая гадкая, злая, эгоистка... несправедливая... я такая скверная!.. Ты и не знаешь... но я напишу... Я не могу сказать...

— Это жаль,—сказала я, можетъ быть, тебѣ было бы легче выскажать... И какое у тебя можетъ быть горе?.. Послѣ того, что ты пережила, въ сравненіи съ потерей матери, все уже будетъ легче, все будетъ не такъ страшно...

— Да, конечно. Я обѣщала не говорить, а то я сказала бы тебѣ. Но я тебѣ напишу. И ты меня не суди... Я примирюсь... Я понимаю, что это нужно!.. Еслиъ только это не было такъ неожиданно, такъ неожиданно!..

У меня сердце разрывалось, глядя на нее.

„Конечно онъ женится на вдовѣ. Что мнѣ спрашивать, когда я и такъ это знаю!“ И не выдержавъ, я тоже залилась слезами и стала рыдать такъ, что Марьяна, отирая свои слезы, принялась утѣшать меня тоже безсвязными и неопределеными фразами.

Луна спокойно плыла по небу, заглядывая къ намъ въ комнату... А мы плакали и плакали.

Потомъ и луна скрылась. Подкрался блѣдный разсвѣтъ. Шторка стала бѣлѣть; очертанія комнаты становились яснѣе и отчетливѣе, помѣрѣ того, какъ исчезали ночные тѣни; пропѣль пѣтухъ и зачирикали птицы. Утро тихо просыпалось, а мы все плакали и говорили отъ времени до времени. „Ты мнѣ напиши“... „Я тебѣ напишу“...

— Знаешь, Маничка, надо бы однако заснуть. А то они обратятъ вниманіе; начнутъ распрашивать...

— Боже сохрани!..

— Такъ постараемся заснуть... Еще есть время.

Мы притихли, я вернулась въ свою кровать, и мы заснули.

Въ шесть часовъ мы обѣ вскочили и стали одѣваться.

— Ты спала? — Кажется; по крайней мѣрѣ, видѣла какіе-то сны. А ты?

— И я, кажется, заснула. И мы обѣ зѣвали.

— Не видно? — спрашивали мы другъ друга о своихъ заплаканныхъ лицахъ. „Не видно?“...

Конечно было очень видно. Глаза и лица у насъ распухли, рты неудержимо зѣвали, но мы успокаивали другъ друга тѣмъ, что „почти незамѣтно“.. Пособивъ другъ другу одѣться, мы вышли на улицу, надѣясь на то, что утренній воздухъ освѣжитъ и подбодритъ насъ.

Утро было чудное, какъ и всѣ эти дни. Солнце пріятно ласкало наши наболѣвшіе нервы. Я уже не спрашивала Марьяну о томъ, что случилось. Не想要 сказать, такъ и не надо. Что-жъ?.. „Пойдемъ ко Льву“, — сказала я ей.

Тамъ мы усѣлись на нашей любимой скамеечкѣ и принялись уже не плакать, а напротивъ, подкрѣплять другъ друга всевозможными философскими изреченіями, какія только приходили намъ на память.

Мы говорили другъ другу, что надо быть сильнѣе всякого горя. „Да у меня горя и нѣтъ“, повторяла поблѣднѣвшая за ночь Марьяна.

— Ну, да, я знаю; но я говорю вообще... „Да вообще“... И мы говорили, что вообще, конечно, не надо слишкомъ близко принимать къ сердцу ни горя, ни радостей. Жизнь должна быть выше этого. А горе, печаль и страданія неизбѣжны въ жизни, какъ пыль, грязь и дождь неизбѣжны въ путешествіи. И не стоитъ роптать или жаловаться. Это малодушіе. Надо обращаться къ свѣтлымъ сторонамъ нашего существованія и умѣть находить въ нихъ утѣшепіе: въ любви, дружбѣ, религії, философії.

Мы говорили о нашей дружбѣ, когда къ намъ неожиданно пошелъ Николай Федоровичъ со словами: „Я зналъ, что найду васъ здѣсь. Какое славное утро!“ Онъ взглянулъ на заплаканное лицо

Марьяны и покачалъ головой, потомъ взглянула на мое заплаканное лицо и остановился и даже отступилъ на шагъ, глядя на меня съ изумленiemъ, съ тревогой и состраданиемъ. А мнѣ было неимовѣрно стыдно и хотѣлось провалиться сквозь землю.

О чёмъ я плакала? — О вдовѣ. И теперь онъ это понимаетъ, стало быть, понимаетъ и больше. Онъ все пойметъ. Нѣтъ этого нельзя пережить; я, кажется, лиши себя жизни, если онъ еще будетъ такъ смотрѣть на меня!.. Онъ вопросительно взглянула на Марьяну, которая прямо и твердо посмотрѣла ему въ глаза и чуть-чуть качнула отрицательно головой, какъ бы говоря: „нѣтъ, я ей не сказала“. Онъ вздохнулъ свободнѣй, сѣлъ подлѣ Марьяны и продолжая подозрительно поглядывать на меня, спросилъ ее:—А ты плохо спала... Ты плакала?..

— Да, мы обѣ плакали о томъ, что мы разстаемся и о томъ, что разстаемся съ Людерномъ, который мы такъ полюбили. А теперь мы пошли прощаться съ нашими любимыми уголками, — сказала Марьяна, прислоняясь къ его плечу.—Мнѣ ужасно жаль, что мы разстаемся съ Наташой; кто знаетъ, когда мы увидимся?..

Онъ погладилъ ее по головѣ и сталъ говорить о томъ, какъ проводивъ насъ до Цюриха, они поѣдутъ куда-нибудь въ горы, поѣдутъ, куда она захочетъ, въ Церматъ, въ Интерлакенъ, можетъ быть? Онъ говорилъ, какъ они будутъ ходить пѣшкомъ по горамъ, и какъ осенью онъ снова приѣдетъ къ ней... И Марьяна, развлеченная проектами этихъ поѣздокъ и прогулокъ и успокоенна проявленіями его нѣжности и любви къ ней, развеселилась и стала улыбаться ему.

— А о чёмъ вы говорили, когда я къ вамъ подошелъ? — спросилъ Николай Федоровичъ.

— О нашей дружбѣ.

Онъ сталъ благодарить меня за дружбу къ Марьянѣ, сказалъ, что оба они всегда будутъ считать меня своимъ другомъ, что всякое мое горе будетъ горемъ и для нихъ и всякая моя радость будетъ и ихъ радостью. Потомъ онъ заговорилъ о замужествѣ, о бракѣ и сталъ рассказывать намъ о томъ, какъ онъ встрѣтился со своей первой женой, какъ полюбилъ ее, какъ они были счастливы и какъ сильно и благотворно было ея влияніе на него...

Роса блестѣла въ травѣ, солнце играло въ свѣжей зелени, бѣдный левъ, грустно положивъ грустную морду на лапу, плакалъ, потрясая бурбонской лиліей, а вода, падавшая съ высоты, тихо журчала, вливаясь въ бассейнъ. Мы съ Марьянѣ съ благоговѣніемъ слушали разсказы о покойной мама...

Въ заключеніе Николай Федоровичъ, крѣпко пожимая мнѣ руку, пожелалъ мнѣ встрѣтить человѣка, который съумѣлъ бы оцѣнить меня

и быть меня достойнымъ и въ какихъ-то трогательныхъ и не вычурныхъ словахъ пожелалъ мнѣ счастья. А я смотрѣла на него съ улыбкой, не смотря на то, что слова его произали мнѣ сердце, какъ копье, поразившее бѣднаго льва и думала: „Теперь онъ *меня* ублажаетъ. Глупый!.. Точно мнѣ что-нибудь нужно. На что мнѣ счастье, и на что мнѣ этотъ хороший человѣкъ? Что мнѣ съ нимъ дѣлать?.. Развѣ два раза любятъ? Ничего и никого мнѣ не надо. Было бы у нихъ все хорошо. А я — что?..“

Мы всѣ трое были растроганы, но намъ было хорошо и даже весело. Мы всѣ трое улыбались, и только раненый левъ, который не умѣлъ ни мѣняться, ни притворяться, все еще плакалъ и плакалъ, умирая въ своемъ гrotѣ.

Мы прошли еще въ Глетчергартеръ, посидѣли на верху въ павильончикѣ, изъ котораго открывался знакомый и красивый швейцарскій видъ. Здѣсь Марьяна взяла у отца карандашъ и записала на одномъ изъ столбиковъ наши три имени, годъ и число.

Въ тотъ же день мы всѣ вмѣстѣ уѣхали въ Цюрихъ, гдѣ провели еще хороший вечеръ на берегу прелестнаго Цюрихскаго озера. Николай Федоровичъ былъ въ очень хорошемъ настроеніи, очень ласковъ и сердеченъ со всѣми нами и, радуясь этому, я не хотѣла вспоминать ни о чёмъ горькомъ. Тѣмъ не менѣе, когда мы вернулись на ночлегъ въ свой *Baigt au lac*, и я опять осталась одна съ Марьянной, я не утерпѣла и спросила ее.

— Ты не можешь сказать мнѣ теперь, о чёмъ ты плакала сегодня ночью, и что у васъ случилось?

Она отрицательно покачала головой.

— Я обѣщала не говорить.

— А я знаю, что Николай Федоровичъ женится.

Марьяна вздохнула и промолчала и не сказавъ ни да, ни нѣтъ, раздѣлась и легла въ постель. Стало быть, *да?*

Утромъ Николай Федоровичъ и Алексѣй Александровичъ пошли купаться; а мы втроемъ сидѣли въ садикѣ, приготовляясь смотрѣть какое-то состязаніе гребцовъ. Одна Катя искренно интересовалась гребцами и ихъ состязаніемъ; мы же съ Марьянной были разсѣяны и заняты своими думами.

Выходя изъ купальни, Николай Федоровичъ и Алеша не присоединились къ намъ, а стали ходить взадъ и впередъ по берегу, очевидно продолжая заинтересовавшій ихъ разговоръ. Николай Федоровичъ что-то объяснялъ и рассказывалъ, а Алеша шелъ съ нимъ рядомъ, опустивъ голову и изрѣдка взглядывая на него съ страннымъ выражениемъ лица. Мы переглянулись съ Марьянной, подумавъ: „Онъ сообщаетъ *это* и Алешѣ“. Но когда они вернулись къ намъ, лица

ихъ признали обычное спокойное выражение и Николай Федоровичъ, подсѣвъ къ Катѣ, заговорилъ съ ней о Вѣнѣ и о магазинѣ, въ которомъ онъ совѣтовалъ ей посмотреть фисгармонію.

И Николай Федоровичъ, и Марьяна поѣхали проводить насъ на вокзалъ, гдѣ мы все вмѣстѣ пообѣдали.

И вотъ мы сидимъ уже въ вагонѣ, съ плѣдами, съ несессерами, въ поѣздѣ, готовомъ мчать насъ домой, въ Россію. Какъ жаль уѣзжать отсюда! Главное, жаль разстаться съ ними. Они стоятъ рядомъ на платформѣ, у нашего вагона: онъ — высокій, широкоплечій, съ красивой кудрявой головой и добрыми близорукими глазами, она — тональная, нѣжная, изящная, съ блѣднымъ лицомъ и кроткимъ взглядомъ большихъ черныхъ глазъ. Жаль разстаться съ ними; жаль оторвать отъ нихъ сердце. О, какъ жаль, какъ жаль!..

Одинъ звонокъ, другой, третій, потомъ свистокъ, и поѣздъ отстаетъ отъ платформы и увозитъ насъ.

— До свиданія въ Божидаровѣ! — кричитъ намъ вслѣдъ Марьяна. — Пишите!..

Какъ прозвучавшій аккордъ дрожитъ и колеблется въ воздухѣ, пока не снимешь педали, такъ и у меня въ душѣ долго еще звучало что-то хорошее, какая-то чистая нѣжность и радость отъ свиданія и пребыванія съ ними. Я знала, что это хорошее будетъ звучать, пока не ворвутся въ душу новые впечатлѣнія и мнѣ такъ не хотѣлось ихъ. Мнѣ хотѣлось всеѣхать иѣхать и никуда не прїѣзжать, не слышать никакихъ разговоровъ,ѣхать съ мыслями о нихъ и не видѣть ничего и никого новаго...

Въ мечтахъ и думахъ, я и не замѣтила, какъ мы перебрались на пароходъ, который долженъ былъ везти насъ по Боденскому озеру. Надвигалась гроза. По небу быстро ползли сѣрые и бурые клочья; съ горизонта надвигалась туча темно-синеватая, густая, тяжелая, зловѣщая... По водѣ двигались пестрыя тѣни и полосы то зеленыхъ, то коричневыхъ... Поднялся вѣтерокъ. Среди наступившаго затишья глухо и величественно зарокоталъ громъ. Тучи встрѣтились, вытянулись, и при трескѣ и грохотѣ все усиливающіяся громовыхъ раскатовъ со всѣхъ сторонъ засверкали молніи, вонзаясь ослѣпительными зигзагами въ потемнѣвшую воду. Пошелъ дождь. Большинство пассажировъ попряталось въ каюту; меньшинство осталось сидѣть подъ брезентомъ, гдѣ можно было укрыться отъ дождя.

Я все думала о Люцернѣ. Я вспоминала, какъ Марьяна плакала ночью. И о чёмъ ей плакать?.. Она всегда сохранила его любовь, всегда будетъ съ нимъ; она и теперь съ нимъ, счастливая!.. А я? Зачѣмъ я уѣхала? Какъ могла я разстаться съ ними? Какое мало-

душіе! Вѣдь я не могу жить безъ нихъ. Какъ я буду жить теперь? до чего, до какихъ поръ?.. Вѣдь это ужасно! Я хочу быть съ ними. Вотъ я доѣду до слѣдующей станціи и сойду, прощусь съ Катей и Алешей и вернусь къ нимъ. Мнѣ все равно, какъ примутъ это Катя и Алеша. Что мнѣ это? Вѣдь моя жизнь — моя, а не ихъ...

И дождь подбодрялъ меня и громъ веселилъ меня и вѣтерокъ освѣжалъ меня. Да, да... Конечно. Пріѣду и скажу, что я не могу жить безъ нихъ. Но при мысли о томъ, какъ бы онъ взглянулъ на меня, еслибы я это сдѣлала, — я чувствую, что нельзя и не надо такъ храбриться. Нѣтъ, это было-бы гадко! Нечего дѣлать; надо покориться и ждать. Вдова-ли, не вдова-ли, а можетъ быть мы еще и увидимся. И вдова-ли, не вдова-ли, все-таки вѣдь онъ лучше всѣхъ на свѣтѣ...

Молни становились все ослѣпительнѣе и сверкали чаще и чаще; громовые раскаты съ трескомъ разрывались надъ нашими головами, и пароходикъ, пыхтя и глухо шипя, быстро улепетывалъ отъ непогоды, какъ трусливый заяцъ отъ погони.

Катя поднялась изъ каюты.

— Ты здѣсь? — сказала она. — А мы тебя вездѣ ищемъ. Пойдемъ ужинать.

— Не хочется что-то...

— Скажи, пожалуйста, тебѣ Марьяна ничего не говорила?.. Ты знаешь la grande nouvelle? Николай Федоровичъ женился.

— Нѣтъ, я не знала.

— Какъ странно, что Марьяна не сказала тебѣ этого. Она знала. А я и шла къ тебѣ, чтобы спросить, какъ она это приняла? Меня это очень интересуетъ.

— Не знаю.

— Вотъ тебѣ и неутѣшный вдовецъ! Ты знаешь, на комъ онъ женился?

— Нѣтъ.

— На Матренѣ, горничной своей покойной жены. Я ее отлично помню, эту Матрену. Когда послѣ свадѣбы Алеша возилъ меня знакомить со своими родными, мы у нихъ пробыли три дня. Она и мнѣ прислуживала, одѣвала меня... Я помню: сапоги маѣ застегивала: пыхтѣла, пыхтѣла, всѣ пуговицы оборвала... Елена Николаевна любила ее. И вотъ-то ужъ тогда мнѣ въ голову не приходило, что она сдѣлается моей belle-cousine и барыней въ Охлябининѣ. Мнѣ то, собственно говоря, совершенно все равно, на комъ-бы онъ ни женился, на графинѣ или на кухаркѣ. Я демократка и въ человѣкѣ чту человѣка. Если Матрена будетъ ему хорошей женой, то она даже будетъ мнѣ болѣе пріятной родственницей, чѣмъ многія изъ Алешиныхъ

кузинъ. А вотъ кузины-то ужъ не дадутъ ей пощады!.. Алеша думаетъ, что Николай Федоровичъ теперь окончательно затворится въ деревнѣ и откажется отъ всякаго общества. Ну, да не въ этомъ дѣло. А вотъ главное: какъ принала это Марьяна?.. И какъ-бы не вышло изъ этого чего-нибудь горькаго для нея...

Я молча смотрѣла въ окружающей насъ темный хаосъ и чувствовала себя разбитой и раздавленной. Я думала: „Теперь только не показать имъ виду; а ужъ потомъ разберусь, какъ-нибудь разберусь“.

А Катя, безпрестанно крестясь на молніи и придерживая лѣвой рукой края накинутой на голову косыночки, которую трепалъ вѣтеръ, — подсѣла ко мнѣ и продолжала:

— Когда онъ, помнишь, весной пріѣзжалъ къ намъ въ Божидаровку, у него уже былъ одинъ ребенокъ, а теперь родился второй; и вотъ ради этихъ дѣтей онъ повелъ въ одно прекрасное утро Матрену въ церковь и повѣнчался съ ней. Онъ только сегодня сообщилъ все это Алешѣ. Какой чудакъ!.. Цѣлую недѣлю молчалъ. И по моему, напрасно, совсѣмъ напрасно! Мы-бы приняли это просто и подружески, и это сдѣлало-бы хорошее впечатлѣніе на Марьяну. А теперь, кто знаетъ, можетъ быть, бѣдная дѣвочка мучится горемъ. Отъ него она будетъ скрывать это. Вѣдь они все деликатничаютъ другъ съ другомъ. А мы-бы ее поддержали и приласкали!.. Не понимаю, отчего онъ не хотѣлъ намъ сказать? Я вообще, впрочемъ, не понимаю его. Онъ увѣряетъ, что Марьяна приняла его сообщеніе прекрасно, что она вполнѣ его понимаетъ и раздѣляетъ его взглядъ на вещи. Онъ, видишь-ли, втолковаль ей, что такой бракъ — не измѣна памяти ея матери, а всякий другой былъ-бы измѣною. Признаюсь, меня такое объясненіе не удовлетворило-бы, Алеша тоже съ его словъ что-то разглагольствовалъ о связяхъ физическихъ и связяхъ психическихъ... Вѣсять они меня этими подраздѣленіями... Ну, пускай въ нихъ душа такъ легко отъ тѣла отдѣляется; можетъ быть для нихъ это и нетрудно, я не знаю, — я мужчиной вѣдь не была, — не могу судить; но чего они съ такимъ аппломбомъ женщину-то двоять? Съ Матреной моль связь физическая; а душа Матрены гдѣ-же въ это время гуляетъ, скажи пожалуйста!.. или о ея душѣ ужъ и говорить не стоитъ? Нѣтъ; это гадость!.. И въ поступкѣ Николая Федоровича есть что-то, что мнѣ нравится; а есть и что-то, что не нравится. Что дѣтей пожалѣлъ, конечно, хорошо. Это мнѣ нравится. А вотъ эти объясненія и оправданія, это отношеніе къ Матренѣ — мнѣ совсѣмъ, совсѣмъ не нравятся. Главное, онъ и лжетъ вѣдь на себя, потому что навѣрное относится къ Матренѣ, какъ къ человѣку. Ты какъ понимаешь?

Понимаю я что-нибудь! Я понимаю только, что если молніи

еще блещутъ, то только потому, что Богъ въ гнѣвѣ своемъ погасиль не весь свѣтъ на землѣ. У меня дрожатъ губы, и сердце точно перестало биться.

— Странно, что Марьяна такъ-таки ничего не сказала тебѣ, не смотря на вашу дружбу,—говорить Катя, не дождавшись моего отвѣта.—Бѣдная, бѣдная Манюша! Какіе однако эти мужчины эгоисты, подлецы и скоты!..

— Вы здѣсь?—говорить Алеша, тоже вылѣзая изъ каюты. — Что-жъ это ты? Пошла за сестрой и сама пропала. Наташа, макароны стынутъ. Идемте скорѣй!

Гроза стихала; громъ рокоталъ глухо и сердито; удары его становились рѣже и слабѣе, и только дождь шумѣлъ и шумѣлъ. Стараясь не наступать Катѣ на платье, я спустилась вслѣдъ за нею въ каюту, гдѣ было душно, тѣсно и накурено. Пассажиры дремали тамъ, ъли, пили, читали газеты и смотрѣли другъ на друга.

Мы подсѣли къ столику.

— Сказала сестрѣ новость?—весело спросилъ Алеша, вооружаясь ножомъ и вилкой и принимаясь за толстый и сочный Châteaubriand.

— Да. Представь, Марьяна ей ничего не говорила. Какіе у нихъ однако характеры! Я бы не выдержала. Я бы непремѣнно рассказала... Знаешь, я думаю, онъ и ей сказалъ только въ тотъ вечеръ, когда они ушли за покупками и такъ долго пропадали. Теперь я припоминаю, что они оба вернулись съ такими разстроеными лицами. Да и до этого вечера Марьяна была совсѣмъ другою. Какой чудакъ! Чего онъ откладывалъ? Бѣдная, бѣдная Манюша! И сколько намъ, женщинамъ, приходится терпѣть изъ-за васъ...

— Обидѣть васъ кто-нибудь. Вы сами всякаго обидите...

Но осужденіе мужчинъ было коњкомъ Кати, и разъ она касалась этого, трудно было остановить ее. Тщательно выбирая кости изъ какой-то швейцарской рыбы, которую она теребила вилкой, она принялась громить мужчинъ:

— Сколько въ нихъ эгоизма, лицемѣрія, жестокости... Удовольствіе, наслажденіе для нихъ законъ, мораль ихъ — лицемѣріе... Они такъ изолгались, что уже не въ состояніи вѣрить во что-нибудь хорошее. Въ добродѣтель они не вѣрятъ, хоть и требуютъ ея поддѣлки. Око ихъ нечисто, вотъ въ чемъ горе; отъ того и жизнь ихъ не чиста, и не знаешь, какъ съ ними ужиться и идти съ ними въ ногу... Оттого и все горе на свѣтѣ!.. Человѣкъ развратный не можетъ уже быть ни правдивымъ, ни гуманнымъ...

— Ну, что ты тамъ папѣваешь,—миролюбиво прервалъ ее Алексѣй Александровичъ,—кушай рыбу; вѣдь стынетъ...

— Не могу я давиться рыбьими костями; я и такъ чутъ не подавилась.

— Это тебя Богъ наказываетъ за то, что ты сестру еще съ толку сбиваешь.

— Пускай знаетъ. Ты думаешьъ, легко съ идеальными возрѣніями очутиться Богъ знаетъ гдѣ? Пусть знаетъ, какимъ тяжелымъ крестомъ ложится грязное прошлое мужа на плечи дѣвушки, которая думаетъ жить одной съ нимъ жизнью.

— Какія пышныя слова, подумаешь!..

— Да ты не обижайся, я не о насъ вѣдь говорю. Слава-Богу, сколько я видѣла браковъ, сколько мужей и женъ за эти четыре года. И что же это за браки? У жены въ душѣ симфонія Бетховена, а у мужа полька folichons... Какая ужъ тутъ гармонія!.. Нѣть, наши браки просто ужасны; грѣшно даже и стыдно призывать на нихъ благословеніе Божіе... Ужъ по мнѣ магометанскій бракъ куда выше и чище нашего лже-христіанскаго. Магометанскія женщины могутъ хотѣть не презирать своихъ мужей. Магометанка знаетъ, что мужъ — ея господинъ, что онъ береть себѣ другихъ женъ по праву, не унижаясь передъ нею до обмана. А вѣдь наши христіанскіе супруги лгутъ, притворяются, прячутся, какъ бабы, подличаютъ и лицемѣрятъ. Ну, скажи, пожалуйста, еслибъ я узнала, что ты мнѣ солгалъ, что я могла бы чувствовать къ тебѣ, кроме презрѣнія и жалости?..

— Ну, полно, однако... Недостаетъ, право, чтобы публика приняла тебя за проповѣдницу арміи спасенія. Вотъ ужъ на тебя смотрѣтъ начинаютъ. Того и гляди, апплодировать начнутъ!.. Что за охота обращать на себя вниманіе? И чѣго ты распинаешься? Никто тебѣ не измѣнялъ. Къ тому же измѣна мужа и измѣна жены совсѣмъ не одно и то же. Ce qui sied à un homme ne sied pas à une femme...

Они ссорились между собою, а я съ усилиемъ глотала макароны, которые не шли мнѣ въ горло и казались какими-то глиняными или каменными. Я думала: „Вѣдная, бѣдная Марьяна! Такъ вотъ о чёмъ мы съ ней плакали. Какъ же было не плакать. Вѣдь и ей должно быть больно, о, какъ больно“!..

Было уже совсѣмъ темно, когда мы снова пересѣли въ вагоны. Опять таможня, опять остановка, пересадка, суетливая бѣготня. До чего мнѣ надоѣло путешествовать! Что это за жизнь! Ни минуты покоя. Шумъ, суета, какое-то бѣснованье! Все кругомъ стало вдругъ такъ грязно, ручной багажъ сдѣлался такимъ тяжелымъ. Нѣть, довольно этихъ скитаній. Скорѣй, скорѣй домой, въ Россію, въ деревню!

Забравшись въ вагонъ, мы устроились въ немъ на ночлегъ. Катя

и Алеша скоро заснули. А я лежала, уткнувшись носомъ въ пыльную спинку дивана, и думала: „Такъ это кончено. Сомнѣй нѣть. Онъ женатъ. Однимъ словомъ, Катя разрушила прежнее очарованіе. Отчего? Что же это мѣняетъ?.. Вѣдь онъ все тотъ же и нравится мнѣ все такъ же? Отчего же мнѣ такъ ужасно больно?..“

Мы летимъ, снова летимъ по чужой землѣ, по невѣдомымъ дорогамъ и съ каждымъ поворотомъ колесъ, я все дальше и дальше отъ нихъ. Ну, и пускай!.. Можетъ быть, тамъ дальше будетъ легче, можетъ быть, тамъ не будетъ такъ больно.

Такъ онъ женатъ. Это крѣпко и свято. Тогда, въ деревнѣ, этого еще не было; но связь уже была. А онъ смотрѣлъ тогда счастливѣй и свободнѣй. Или для нихъ это не одно и то же? Тогда былъ одинъ ребенокъ, теперь ихъ двое. Тогда было такъ хорошо; онъ былъ веселъ, точно молодъ, пѣлъ романсы!.. А Матрена сидѣла въ деревнѣ со своимъ ребенкомъ. Теперь онъ въ горахъ съ Марьиной, а Матрена сидѣть въ деревнѣ съ двумя дѣтьми; и теперь она ему жена. И я уже не могу теперь вызвать образовъ Николая Федоровича и Марьины безъ того, чтобы къ нимъ не присоединялся образъ Матрены съ ея дѣтьми, съ *его* дѣтьми... О зачѣмъ, зачѣмъ меня тамъ не было, когда онъ оставался одинъ въ четырехъ стѣнахъ, въ старомъ домѣ, который смерть любимой жены обратила въ пустыню? Онъ тосковалъ, онъ былъ одинокъ и несчастливъ. А Матрена стерегла, берегла его, ходила за нимъ, и вотъ теперь она его жена.

Я вѣдь и не мечтала быть его женой; я думала, что я этого не стою, что я недостаточно хороша для него! Я думала, что послѣ такой женщины, какою была его первая жена, онъ уже не взглянетъ ни на кого... И нѣ обидно-ли, что пока онъ жилъ тамъ въ деревнѣ, не видя никого кромѣ своей Матрены,— я убивала время, выѣзжая и танцуя въ Петербургѣ, знакомясь съ какими-то ненужными и чуждыми мнѣ *кавалерами*, съ которыми я не знала о чёмъ говорить. А онъ жилъ все это время въ деревнѣ своей простой хорошей жизнью, и Матрена была съ нимъ и была подъ рукой. Ну, что-жъ, ея судьба, ея счастье.

Въ сущности она вѣдь и лучше меня. Конечно! Она — работница, она простой Божій человѣкъ, живущій для другихъ, не оглядываясь на себя, покорная, нетребовательная, здоровая... И дѣти ея будутъ здоровыми дѣтьми; хорошиими они будутъ уже потому, что это его дѣти. А что она Моцарта не играетъ, и вальса не танцуетъ, такъ вѣдь это все вздоръ...

Онъ поступилъ хорошо. Дѣти не будутъ брошены и несчастливы. Отрекаться отъ своихъ дѣтей, бросать, скрывать ихъ, выдавать за воспитанниковъ — какая гадость!.. Развѣ Бога обманешь! Можетъ

быть, Марьяна и погорюетъ сначала, но она пойметъ, что тутъ нѣтъ ничего дурного и полюбить этихъ дѣтей; и въ семью ихъ внесется новое оживленіе, новые заботы и радости, и ему будетъ хорошо.

Я знала, что у людей бываютъ незаконныя дѣти, хотя постичь разницу между законнымъ и незаконнымъ ребенкомъ не могла.

Я знала, что у Алешинаго отца были въ деревнѣ незаконныя дѣти, которыхъ Алеша отнюдь не считалъ своими братьями. Онъ только указывалъ Катѣ на хату одной изъ бабъ, говоря, что тамъ живетъ „фаворитка“ отца, и печалился иногда о томъ, что отецъ слишкомъ щедро наградилъ эту фаворитку и ея дѣтей. И когда я представляла себѣ, что и Николай Федоровичъ могъ бы также отвести Матренѣ хату и дать ей коровъ за то, что она дала ему дѣтей,— я радовалась тому, что онъ поступилъ иначе. А разъ онъ поступилъ хорошо, то все и будетъ хорошо. Я напишу Марьянѣ. Я напишу ей все, что объ этомъ думаю. И уткнувшись носомъ въ пыльную спинку дивана, я придумываю и перебираю все, что можно сказать по этому поводу, все, что подсказываетъ мнѣ ущемленное, но преданное имъ сердце.

Къ утру мы пріѣхали въ Мюнхенъ. Надоѣли мнѣ эти чуждыя города Европы. Что они мнѣ, что въ нихъ интереснаго? Поскорѣй бы домой, домой, въ Россію, къ мамѣ, въ глухую деревню, въ глухой садъ, въ глухую православную церковь съ незатѣйливымъ иконостасомъ и уродливо написанными иконами! Мнѣ хотѣлось сейчасъ войти въ такую полутемную церковь, стать на колѣни предъ царскими вратами, положить усталую голову на холодныя каменные плиты и, сложивъ на нихъ свою тревогу, свое гороченіе, поднять глаза къ иконѣ надъ царскими вратами, къ любимому изображенію Христа, сидящаго за столомъ съ двѣнадцатью учениками, преломляющаго съ ними хлѣбъ и подающаго имъ чашу...

Катя и Алеша выспались и соболѣзнули моей блѣдности и утомленному виду.

— Ты совсѣмъ не спала. Бѣдная! Выпей чернаго кофе.

Я пью черный кофе и изъ всѣхъ силъ стараюсь подбодриться, потому что чувствую себя слабой и разбитой.

Едва садимся въ вагонъ, чтобыѣхать дальше, какъ Катя съ мужемъ возвращаются къ неутѣшному вдовцу.

Новость свѣжа, и обсужденіе ея сокращаетъ имъ скучу желѣзно-дорожнаго перѣзда.

— Знаешь, что мнѣ и его самого жаль, говорить Катя.— Я убѣждена, что какъ-бы онъ тамъ ни успокаивалъ себя на счетъ Марьянны,— онъ всегда будетъ считать себя немножко виноватымъ передъ ней...

— Да, состояніе вѣдь Манино, отъ матери... Онъ самъ небогать. И представь теперь, что Матрена народить ему еще дѣтей. Маня врядъ ли захочетъ содержать эту ораву.

— Нѣтъ, я совсѣмъ не о деньгахъ говорю. А о его страсти копаться у себя въ душѣ. Онъ навѣрное будетъ чувствовать себя виноватымъ передъ Маней и увидишь, что *à la longue* это нарушить ихъ добрыя отношенія, какъ бы они ни старались сохранить ихъ. При самыхъ лучшихъ намѣреніяхъ это не можетъ быть иначе. Оба они такие щепетильные и чувствительные; оба — натуры глубокія...

— Да, ужъ съ глубокими натурами каши не сваришь.

— Онъ будетъ стараться быть безупречнымъ и относительно Марьяны и относительно Матрены, будетъ все бередить и преувеличивать; а Марьяна будетъ страдать и скрывать это отъ него. Вотъ увидишь...

— Да, бѣда быть такимъ чадолюбивымъ. А у нихъ это семейное; у нихъ это въ крови. Старшій братъ Алексѣй, когда женился, привель женѣ трехъ дѣтей, двухъ отъ одной сожительницы и одного отъ другой. И представь, она ихъ всѣхъ взяла и заботилась о нихъ; теперь у нея двое своихъ, да трое тѣхъ. И всѣ живутъ вмѣстѣ и никакихъ ссоръ, никакихъ непріятностей... Удивительная женщина!

— А гдѣ же матери этихъ дѣтей?

— А Христосъ ихъ знаетъ. Я не спрашивалъ.

Катя покачала головой.

— Ну хорошо, что хоть дѣтей не бросиль. Еслибы у тебя были дѣти, я тоже взяла бы ихъ съ радостью... Когда любишь человѣка, то любишь его съ его прошедшимъ, каково бы оно ни было.

— Нѣтъ, вы посмотрите теперь, какіе тутъ виды красивые... Это замѣчательная мѣста. Бинокль у тебя?..

Мы всѣ любуемся видами Баваріи до тѣхъ поръ, пока солнце не застилается сѣрыми тучами, а красивые пейзажи — проливнымъ дождемъ.

— Воображаю, какъ тяжело будетъ теперь Марьянѣ вернуться въ Охлябинино съ ея поэтическими воспоминаніями о покойной матери и найти тамъ новую хозяйку, новые порядки, новую семью, — говоритъ Катя, сдвигая и убирая бинокль.

— Ну, хозяйкой-то Охлябинина останется все — таки Маня. Онъ такъ и говоритъ...

— Она можетъ говорить, что хочетъ... Но желала бы я видѣть мачиху, которая дочуститъ падчерицу быть хозяйствой въ домѣ. Конечно, она такъ только говорить это, себя тѣшитъ...

— Да, перемудрилъ, перемудрилъ Николинъка, что и говорить. Да онъ и самъ это чувствуетъ. Еслибы ты слышала, съ какими вступленіями, съ какими предисловіями онъ приступилъ къ своему сооб-

щенію, и оправдывался-то и выворачивался... Видно многое человѣкъ передумалъ и придумалъ въ свое оправданіе. А оправдывается потому, что самъ чувствуетъ, что дѣло не совсѣмъ ладно.

И разговоръ о Николаѣ Федоровичѣ не истощается и тянется отъ станціи до станціи. Гадкія, гадкія нѣмецкія станціи!..

Дождь шумитъ и монотонно барабанитъ по крышѣ. „Вѣдная Марьяна! Такъ она знала и не сказала мнѣ, потому, что обѣщала ему не говорить. Но отчего онъ не хотѣлъ намъ сказать, зачѣмъ онъ откладывалъ? Вѣдь все равно узнали, вѣдь этого не скроешь“... Я смотрѣла въ окно; по стеклу текли крупныя капли дождя и такія же крупныя капли тихо катились по моимъ щекамъ; и сквозь дождь и сквозь слезы, я смотрѣла на затуманившіеся долины, горы и овраги, которые убѣгали и убѣгали, какъ убѣгали и мои несбывшіяся мечты и надежды.

А поѣздъ летѣлъ и стучалъ и гремѣлъ, точно хотѣлъ разбиться вдребезги и разбить, раздавить, сокрушить все не свѣтѣ.

Что сказать о Вѣнѣ? Гадкій скучный шумный городъ съ огромными домами и церквами, съ широкими улицами, садами и магазинами. Катя и Алеша возили меня осматривать достопримѣчательности, но я такъ уставала, что не могла вездѣ сопровождать ихъ и большую часть времени сидѣла одна у себя въ номерѣ. Я сидѣла на подоконнике, смотрѣла внизъ на площадь или читала случайно попавшійся мнѣ подъ руку „Le Rêve“ и плакала надъ страданіями Анжелики.

Въ Вѣнѣ мы получили нѣсколько писемъ. Мама писала, что съ нетерпѣніемъ ждетъ насъ въ Божидаровѣ, гдѣ все благополучно, кроме того, что скончалась скоропостижно бѣдная Ольга Павловна. Да котъ Васька не пережилъ своей подруги, тоже пересталъ жить и погребенъ садовникомъ у купальни, въ концѣ большой аллеи, подъ бѣлой акаціей.

Другое письмо было отъ Федора Федоровича, который былъ шаферомъ у брата. Онъ подробно и нѣсколько иронически описывалъ обрядъ вѣнчанія, называлъ Матрену та belle-soeur и разсыпался въ соболѣзнованіяхъ Марьянѣ.

Дорогой отъ Вѣны до Волочиска я или дремала или дѣлала планы на будущее. Я буду учиться, учиться, учиться... Отдохну лѣто въ деревнѣ, сберусь, съ силами, а на зиму поѣду въ Цюрихъ и займусь тамъ изученіемъ философіи, которая привлекаетъ меня больше всего. Если это не удастся, открою школу или пойду въ сестры милосердія, но ужъ такъ жить, какъ жила до сихъ поръ, жить ничего не дѣляя,—я не въ состояніи.

Мѣстность становится все красивѣе. Въ новыхъ вагонахъ много новыхъ пассажировъ. Слышится уже польская рѣчь, которая звучитъ какъ-то роднѣе, чѣмъ чуждая намъ нѣмецкая. По сторонамъ тянутся

красивые виды Галиції. Вѣеть воспоминаніями о романахъ Захеръ-Мазоха. Вотъ и кондуктора говорятъ уже по-польски.

На дебаркадерахъ толпятся дѣти и женщины, протягивая къ окнамъ корзинки съ чудными крупными, черными и блестящими вишнями, спѣлыми, сочными и сладкими. Мы съ Катей покупаемъ ихъ чуть не на каждой станціи, утолая ими жажду. А Алеша утоляетъ свою жажду пивомъ, выпивъ котораго, онъ безпробудно засыпаетъ сидя-ли, лежа-ли, все равно... Наискосокъ отъ насъ сидятъ двое юношей, говорящихъ между собою на славянскомъ нарѣчіи, въ которомъ мы ловимъ то русскія, то польскія словечки. „Это, кажется, болгаре“, — говоритъ Катя и прибавляетъ:

— Посмотри, какіе у братушки чудные глаза.

Братушка выслушиваетъ это, не сморгнувъ, но черезъ секунду заговариваетъ со своимъ спутникомъ на чистѣйшемъ русскомъ языке. Катя краснеетъ до корней волосъ и съ самымъ надменнымъ и равнодушнымъ видомъ начинаетъ смотрѣть въ окно. А братушка не въ силахъ сдержать самодовольной улыбки, снова переходитъ къ своему непонятному нарѣчію, но уже какъ-то особенно поводить и вращаетъ своими черными глазами.

Надвигается темнота и я радуюсь этому. Я совсѣмъ разлюбила свѣтъ и солнце. Ночь мнѣ пріятнѣе. Такъ хорошо, когда въ вагонѣ задернуть всѣ фонарики, пассажиры улягутся, притихнутъ и захрапятъ. Я сажусь къ окну, приподнимаю край шторки и смотрю на поля и холмы, по которымъ стелются ночные тѣни, темныя и грустныя, какъ печаль. Я смотрю на нихъ и грущу, и задумавшись, и прислонившись головой къ окошку, жду разсвѣта, утра и восхода солнца.

Душное жаркое утро. Мы подѣѣзжаемъ къ Волочиску. Воздухъ знойный и удушливый. Въ залѣ таможни озабоченно снуютъ и шмыгаютъ евреи съ смятеніемъ и тревогой на лицахъ, — типичные русскіе евреи въ пейсахъ и ермолкахъ, въ длинныхъ черныхъ кафтанахъ. Волненіе ихъ заразительно. Мнѣ начинаетъ казаться, что чемоданъ мой полонъ контрабанды, и я чувствую облегченіе, выдержавъ таможенный осмотръ. Русскій мужикъ или солдатъ въ красной рубашкѣ, не хохолъ, а настоящій русскій мужикъ съ русой бородой, съ проворными ловкими движеніями, съ ярославской рѣчью встряхиваетъ, перебрасываетъ, переворачиваетъ тяжелые сундуки и чемоданы. И намъ радостно видѣть этого русскаго мужика, радостно видѣть и флегматично согнувшагося на облучкѣ извоющика въ линючемъ сѣромъ азиатскомъ халатѣ, съ жестяной бляхой, сверкающей на солнцѣ.

Въ буфетѣ на стойкѣ мы видимъ икру, балыкъ, на большомъ блюдѣ гору дымящихся подовыхъ пирожковъ, которыхъ мы не видали полгода; тутъ-же рядомъ скалитъ зубы молочный поросенокъ... Чѣмъ-то

роднымъ, сочнымъ, беспорядочнымъ и лѣнивымъ вѣеть на насъ изъ пыльныхъ и грязныхъ угловъ комнаты. У дверей стоитъ бравый рослый жандармъ, застывшій въ неподвижной позѣ статуи командора; а ярославскій мужикъ хватаетъ за шиворотъ трепещущаго еврея.

Гдѣ-то въ отдаленіи слышится благовѣстъ. Мы переглядываемся и крестимся. Здравствуй, православная Русь!

Мы дома, мы на родинѣ, и мы сами какъ-то сразу мѣняемся, чувствуя себя уже не туристами, а простыми русскими людьми, рабочими, неувѣренными въ себѣ, добродушными и безхарактерными русскими людьми.

Сѣдаемъ по жирному подовому пирожку и идемъ къ вагонамъ съ русскими надписями.

— Какъ пріятно видѣть русскія буквы, — говоритъ Катя, посматривая на товарные вагоны съ крупными ярко-блѣющими буквами.

И мы перебираемъ и припоминаемъ всѣ шутки, пристегиваемыя самобичующимъ русскимъ остроуміемъ къ этимъ и другимъ буквамъ на вагонахъ. К. Х. А. Ж. Д. (Курско-Харьково-Азовская желѣзная дорога — Какая Хамская Анафемская жидовская дорога). К. Б. Ж. Д. (Киево-Брестская желѣзная дорога — Какъ Вы Живымъ Доѣхать и т. д. и т. д.).

Мимо насъ проходитъ сѣденкій кондукторъ съ мѣднымъ кофейникомъ въ рукѣ, и мы нарочно останавливаемъ его, чтобы поговорить по-русски.

Садимся въ вагонъ, гдѣ сидитъ уже многочисленная семья, состоящая исключительно изъ дамъ. Глухая разваливающаяся бабушка, курящая папироски маменька, лѣнивая и поминутно зѣвающая дочка-барышня, няня съ тремя погодками и мамка съ груднымъ младенцемъ, видъ котораго заставляетъ поморщиться Алексѣя Александровича. Въ вагонѣ душно и пахнетъ пеленками, ъдой, пылью и табачнымъ дымомъ.

— Вагонъ для некурящихъ? — спрашиваетъ Катя.

— Для некурящихъ, — обязательно откликается дама и затягивается папироской.

Няня чайничаетъ, одѣляя кренделями своихъ погодковъ, глухая бабушка подозрительно озирается по сторонамъ, мать и дочь говорятъ между собой на убийственномъ французскомъ языке, а мамка, встряхивая и подкидывая своего ревущаго младенца, визгливо поетъ, заглушая его ревъ.

Вваливается еще, еле пролѣзая въ дверцы, степнякъ-землевладѣлецъ, похожій на вуль муки, весь въ бѣломъ и въ бѣломъ картузѣ, изъ-подъ котораго выглядываетъ круглое, красное потное лицо съ заплывшими жиромъ глазками, съ бѣлыми бровями и усами. Носиль-

щикъ втаскиваетъ за нимъ круглый, тugo набитый чемоданъ и толстый сакъ-войжъ. Вещи тоже въ бѣлыхъ чехлахъ, очень похожи на своего владѣльца и тоже еле влѣзаютъ и умѣщаются въ сѣткѣ надъ его головой. Заплативъ носильщику, толстякъ грузно опускается на триповый диванъ, вытягиваетъ ноги и начинаетъ сопѣть, флегматично глядя на кончики своихъ сапогъ. И невольно, при видѣ его тучной фигуры и еле глядящихъ, заплывшихъ глазокъ, вспоминается русскій буфетъ съ его пирогами и кулебяками, съ жирными стерлядами и осетрами, индѣйками и поросятами. Алексѣй Александровичъ посматриваетъ на часы.

— Опоздаемъ, — говорить толстякъ, еле выговаривая слова отъ одышки, — этотъ поѣздъ всегда опаздываетъ. Уфт!..

Въ вагонъ нашъ вносятъ узель и кордонки жены начальника станціи, ёдущей куда-то по сосѣдству на имянину. Франтоватый и чистенько одѣтый оберъ-кондукторъ, держа свистокъ на-готовѣ, стоитъ въ концѣ платформы съ двумя хорошенѣкими всклокоченными еврейками, въ туфелькахъ на кривыхъ стоптанныхъ французскихъ каблукахъ. Одна изъ нихъ взволнованно и блаженно улыбается и пронзаетъ ломающагося передъ ней оберъ-кондуктора жгучими взглядами своихъ восточныхъ глазъ.

Начальница станціи показывается, сопровождаемая многочисленной свитой, состоящей изъ дѣтей и служащихъ. Войдя въ вагонъ, она вспоминаетъ, что забыла еще что-то; дѣвчонка опрометью бросается въ домъ и, запыхавшись, приносить забытый узелокъ. Наконецъ начальница станціи цѣлуетъ и креститъ мужа, оберъ-кондукторъ даетъ свистокъ и мы трогаемся съ мѣста, къ огорченю влюбленной еврейки, которая, какъ загипнотизированная, идетъ по платформѣ вслѣдъ за поѣздомъ.

Ёдущія съ нами дамы крестятся и начинаютъ искать какую-то сумочку.

— Mais où tu-as mis lui? — спрашиваетъ мать.

— Mais là bas, en haut, sur toi, — отвѣчаетъ дочь, показывая глазами на сѣтку.

Глухая бабушка некстати улыбается.

Няня продолжаетъ чайничать и кормить не перестающихъ ёсть дѣтей; а мамка, уложивъ спать своего вскормленника, поминутно проходитъ черезъ вагонъ, пряча что-то подъ передникомъ.

И мы ёдемъ, ёдемъ, ёдемъ...

Жарко въ степи, жарко такъ, что кажется, вотъ-вотъ еще немножко, и прогнеть раскаленная земля, вспыхнетъ высокая трава, и вся степь запылаетъ пожаромъ. Жжется земля, жжется трава, жжется воздухъ, душный и тяжелый. Земля въ томлѣніи взываетъ къ небу о каплѣ,

какъ богачъ къ Лазарю; но съ неба глядитъ на землю безучастное солнце и горитъ и жжетъ... Безпредѣльная вольная степь сливается на горизонтѣ съ небомъ. Воздухъ чистъ и прозраченъ. Вотъ она, родная Скифія, родная равнина, раскинувшаяся отъ Бѣлага до Чернаго, отъ Балтійскаго до Каспійскаго моря. Взоръ тонетъ въ безпредѣльномъ пространствѣ... Ширь и гладь!.. Въ высокой травѣ гуляютъ дрофи, да странники и богомолки бредутъ дорогой вдоль рельсовъ или отдыхаютъ, лежа и сидя въ открытой степи. Куда они бредутъ эти старики, старухи, дѣвушки, съ котомками за плечами, съ посохами въ рукахъ?..

Въ Воронежъ, въ Кіевъ, въ Соловки, къ Троицѣ?..

— Много християнъ въ лаптяхъ ходятъ, по миру бродятъ, *правды ищутъ*, — говорить Тургеневской Касьянь съ Красивой-Мечи. Правды и справедливости, — вотъ чего жаждетъ русская душа, широкая, какъ степь, русская душа, въ которой нравственные принципы и убѣжденія носятся по волѣ вѣтра какъ перекати-поле, въ которой свободно, какъ въ степи бурьянъ и репейникъ, разростается всякая дрянь и гадость. Какъ сказочная жаръ-птица гдѣ-то горитъ, сияеть эта правда; и не одинъ Иванъ-дуракъ хранитъ, можетъ быть, въ грязной тряпцѣ свѣтлое перо сказочной птицы съ вѣрой въ ея существованіе. Какъ жаръ, горятъ идеалы русской души. И въ безконечной степи мнѣ мерещатся величавые и простые русскіе типы: пахарь съ плугомъ, самъ Микула Селяниновичъ, иночъ съ крестомъ, богатырь на конѣ, русская женщина, стойкая, сильная и правдивая...

Поѣздъ ползетъ медленно, и Алексѣй Александровичъ, теряя терпѣніе, говорить тяжело дышащему толстяку.

— Ну, однако, я вамъ скажу, послѣ заграницныхъ поѣздовъ...

— А вы... уфъ!.. изволите... уфъ!.. изъ-за границы?..

Отъ времени до времени, какъ миражъ или оазисъ, показывается въ пустынѣ группа хатокъ съ соломенными крышами, съ вишневыми садочками, огороженными плетнями, узкія кривыя улицы съ зарывшими въ пыли свиньями, съ бѣловолосыми ребятишками, ютящимися на завалинкахъ. Прячки въ подоткнутыхъ застаскахъ колотятъ бѣлье на берегу ставка, живописно поросшаго вербами. Тутъ же купаются дѣти и лошади, плещутся и полощутся гуси и утки. Голый ребенокъ реветъ, закрывая лицо кулачками, перепуганный играющими съ нимъ щенятами. Косматая худая и взъерошенная собака, напоминающая голодныхъ волковъ, блаженно дремлють, растянувшись на солнечнѣ. Солнце же бѣлить длинныя полосы холста, разостланнаго на травѣ во всѣхъ направленияхъ. Покосившіяся сѣрыя хатки съ хохлацкимъ лукавствомъ посматриваютъ своими маленькими кривыми оконцами одна на другую, подмигивая на еврейскій шинокъ съ вы-

вѣской и сѣрыми столбами у заманчиваго крылечка. Бѣдностью и разоренiemъ вѣеть и отъ деревни и отъ заглохшаго барскаго дома съ покривившимися балконами, съ облупившимися колоннами, съ развалившимися остатками кладовыхъ и амбаровъ.

Пара сѣрыхъ воловъ безмятежно и терпѣливо тащить возъ, на верху котораго красуется вытянувшійся на животѣ хохоль, приподнявши голову въ высокой бараньей шапкѣ и устремившій въ пространство тотъ же тупой равнодушный взглядъ, какимъ смотрять и волы, мѣрно и неторопливо выступающіе среди тишины и зноя.

Деревня скрывается за зеленымъ холмомъ, на которомъ стоять безчисленное количество вѣтряныхъ мельницъ, напоминающихъ стаю сѣрыхъ птицъ, опустившихся на лету для отдыха среди безбрежной пустыни. Потомъ миражъ исчезаетъ, оазисъ скрывается и глазъ снова тонетъ въ широкой дали.

Поѣздъ ползетъ медленно, какъ будто и его везетъ не паровозъ, а пара лѣнивыхъ воловъ, которымъ хочется крикнуть: „Гей, собѣ!“..

— Опоздаемъ,— говоритъ Алеша, пожимая плечами и поглядывая на часы.

— Опоздаемъ,— флегматично соглашается бѣлыи толстякъ,— этотъ поѣздъ всегда опаздываетъ. Уфъ!..

— Жарко въ степи. Жарко такъ, что нѣть силъ ни думать, ни чувствовать, ни желать чего-нибудь или сожалѣть о чёмъ-нибудь. Альпы, Швейцарія, Николай Федоровичъ и Марьяна,— все это такъ далеко!.. Все это кажется сномъ, яркой, свѣтлой и прекрасной грезой, готовой разсѣяться.

— Боже,— что за пекло!— говоритъ Катя, безсильно опуская голову и обмахиваясь парижскимъ вѣромъ.

— Хуже Италіи, хуже Италіи!— гнѣвно твердитъ Алеша, отирая платкомъ мокре лицо.

Толстяку лѣнь поднять руку, чтобы отереть капли пота, катящіяся по его лицу, и онъ только сопитъ и говорить:— уфъ!..

На первой попавшейся станціи Алеша спрашивается пива, а Катя покупаетъ вишень у подѣгающихъ къ вагонамъ хохлушки. Вишни кислы, мелки, красны и, отвѣдавъ ихъ, Катя говоритъ мѣѣ съ гримасой:— какая разница съ вчерашними!..

А Алеша гримасничаетъ, пробуя пиво, которое тепло и горько, и, обращаясь къ толстяку, говоритъ ему:

— Нѣть, вотъ въ Вѣнѣ, я вамъ скажу, пиво...

Мы въ Харьковѣ. До Божидаровки еще около сутокъ їзды съ пересадкой на другую вѣтвь, но мы считаемъ, что мы уже прїѣхали.

Здесь все намъ знакомо: и вокзаль, и буфетчикъ, и повара, и лакеи, извозчики и улицы.

Мы такъ устали, что рѣшаемъ переночевать въ Харьковѣ, тѣмъ болѣе, что Алексѣю Александровичу надо повидать своего подрядчика. Мы садимся въ коляску и ѿдемъ по широкимъ улицамъ съ низенькими домами, съ православными церквями и колокольнями, съ лавками и магазинами, украшенными пестрыми безграмотными вывесками. Какъ все это странно, какъ не похоже ни на Парижъ, ни на Вѣну, какъ не похоже на Европу!

Мы здороваемся съ знакомымъ швейцаромъ гостиницы „Европа“ и идемъ по коридору, въ которомъ пахнетъ щами, пахнетъ кухней и чадомъ, пахнетъ Азіей.

Выспавшись, умывшись и отдохнувъ съ дороги, идемъ обѣдать въ столовую съ европейскимъ буфетомъ и запорожцами въ костюмахъ и роли европейскихъ „гарсоновъ“.

У окна сидятъ за столикомъ два помѣщика, худой и толстый, точно будто Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ и, чавкая на всю комнату, хлебаютъ борщъ съ саломъ, оживленно споря въ промежуткахъ о борзыхъ и гончихъ Долинскаго.

Дама въ чичунчевомъ ватерприофѣ стоитъ передъ большими зеркалами, повязывая на себѣ газовую вуаль; а гувернантка собирается и одѣвается отбѣдавшихъ дѣвочки и мальчика. Гарсонъ-запорожецъ въ усахъ, напоминающихъ своимъ видомъ щетку, которой чистятъ ламповыя стекла, приноситъ дамѣ сдачу на ладони. Дама брезгливо беретъ деньги кончиками пальцевъ въ свѣженькой шведской перчаткѣ и тихо, но внушительно говоритъ гарсону: — „Порядочный лакей не подаетъ съ руки“. И забравъ дѣтей, она выходитъ съ гувернанткой изъ комнаты.

А запорожецъ долго смотритъ ей вслѣдъ, затѣмъ, встряхнувъ салфеткой, принимается собирать тарелки, презрительно говоря вслухъ: „Фуфыра!.. Видала ты порядочного лакея!.. Будемъ знать. Другой разъ съ ноги подамъ“.

Другой гарсонъ подаетъ намъ тѣмъ временемъ борщъ, кашу, поросенка и вареники съ вишнями. Алексѣй Александровичъ уже совсѣмъ преобразился изъ туриста и фланера въ дѣльца, перебираетъ въ бумажнике полученные письма и ругаетъ своего инженера: „Вѣдь если этотъ идiotъ не найдеть мнѣ рабочихъ, чего доброго придется отказаться отъ подряда. Хорошо еще, что въ случаѣ отказа я не плачу неустойки“.

Сейчасъ же послѣ обѣда онъ собирается къ своему еврею, а намъ говорить: „Сѣѣздите ужъ, пожалуйста, къ Агафьѣ Алексѣевнѣ; можетъ, она на ваше счастье и не въ деревнѣ“. Агафья Алексѣевна бо-

гатая харьковская дама, кузина Алексея Александровича и Николая Федоровича. Она оказывается не въ деревнѣ, а временно въ городѣ и мы проводимъ у нея весь вечеръ. Здѣсь я испиваю до дна горькую чашу обсужденія поступка Николая Федоровича. Собираются еще кое-какие родные и знакомые, и всѣ, хоромъ осуждаютъ его.

Всѣ родные поражены и опшеломлены этимъ бракомъ. Возмущаются и самыми поступкомъ и таинственностью обряда вѣнчанія. Что жъ онъ боялся, что кто-нибудь слишкомъ пріѣдетъ взглянуть на Матрену въ вѣнчальномъ платьѣ? Куда какъ интересно, подумаешь! Ну, да по правдѣ-то ужъ сказать, Агафья Алексѣвна всегда ожидала чего-нибудь подобнаго отъ братца Николая Федоровича. Она хорошо знаетъ братца: этоистъ, развратникъ, гордецъ и тихоня. А что хуже всего, это то, что онъ даже и не извѣстилъ никого изъ родныхъ о своемъ бракѣ! Это ужъ верхъ гадости и невѣжества! Еслибъ не братецъ Федоръ Федоровичъ, Агафья Алексѣвна такъ ничего бы и не знала. Вотъ вамъ и родные! А вѣдь отцы ихъ не дальше, какъ родные братья. Сколько покойный дядя Федоръ Алексѣевичъ у нихъ въ домѣ жилъ, сколько ихъ хлѣба-соли ъѣлъ. Тоже гусь былъ, царство небесное!..

Осуждали Николая Федоровича вообще за гордость и самомнѣніе. Всегда такой былъ, всегда сторонился отъ родныхъ и отъ порядочныхъ людей, всегда былъ занятъ собой и хотѣлъ быть умнѣе всѣхъ. И вотъ отъ великаго ума какой глупостью кончилъ! Агафья Алексѣвна всегда говорила, что эта необыкновенная печаль его была только притворствомъ и аффектацией. Запирался, запирался въ комнатѣ жены!.. Вотъ теперь мы и видимъ, какъ онъ запирался. И всегда у нихъ что-то таинственное. Къ чему? Кто хорошо поступаетъ, тому нечего прятаться. И девчонка у него такая же: капризная, избалованная, злющая... Она у нихъ тутъ жила. Агафья Алексѣвна знаетъ, что это за зелье! Что она, жива еще?.. И никакой чахотки у нея нѣтъ. Просто тщеславіе... Сказать, что дочь воспитывается заграницей. А вотъ теперь и придется ей съ заграничнымъ воспитаніемъ жить съ глазу на глазъ со скотницей... Удружишь, братецъ, нечего сказать!

А вѣдь что это тогда за горе было, что за гrimасы!.. Агафья Алексѣвна и тогда ему говорила: „Да что вы, братецъ, развѣ у другихъ жены не умираютъ?.. Всѣ подъ Богомъ ходимъ. Вонъ у насъ товарищъ предсѣдателя жилъ съ женой душа въ душу, а какъ умерла жена, онъ черезъ пять недѣль на другой женился. Теперь и вторая умерла; ужъ онъ на третьей женатъ...“ И Николай Федоровичъ могъ еще очень прилично жениться и еще денегъ взять. Сколько у насъ хорошихъ девушки сидитъ... Да недалеко ходить, у Насти нашей

три дочери, рослые, красивые, здоровые, по сорокъ тысячъ у каждой... Агафья Алексеевна ему на нихъ указывала, такъ вѣдь онъ и смотрѣть не хотѣлъ. Конечно, возьмешь порядочную девушку, такъ и жить надо порядочно, и не заводить себѣ гарема... Ну, а съ Матреною все можно... Осуждали заодно и покойную жену Николая Федоровича. Тоже была зазнайка; франтиха и зазнайка. Осуждали и Марьяну. О томъ, какъ доставалось бѣдной Матренѣ, я ужъ и не говорю. Отецъ лошадей ковалъ, сама девчонкой въ запаскѣ гусей гоняла, коровъ доила, полы мыла. А все это были такія тяжкія преступленія, выслушавъ о которыхъ, оставалось заскрежетать зубами.

Катя пыталась нѣсколько разъ перевести разговоръ на что-нибудь другое, заговаривала о парижскихъ модахъ, о парижскихъ театрахъ, но добрые родные, скользнувъ по парижскимъ новостямъ, яростно возвращались къ неутѣшному вдовцу. Ихъ ужасно интересовало, какъ онъ держалъ себя въ Люцернѣ? Вѣдь кроме насъ никто еще и не видѣлъ его послѣ случившагося. И неужели же онъ такъ таки цѣлую недѣлю молчалъ и откладывалъ это сообщеніе до послѣдняго дня?.. То-то, видно, все-таки стыдно было! Жениться не стыдно, а признаться стыдно. Вотъ она гордость-то наказанная!

Пришелъ Алеша. Его осипали упреками за то, что остановился въ гостиницѣ; какъ это не по родственному! Что жъ онъ думалъ, что у Агафьи Алексеевны не найдется комнатъ для родныхъ. Да она не то что всѣхъ родныхъ, она цѣлый полкъ солдатъ можетъ размѣстить у себя въ домѣ. И обѣдали даже въ гостиницѣ! Ужъ это просто грѣшно, братецъ Алексѣй Александровичъ! Но завтра зато...

И на слѣдующій день мы обѣдаемъ у Агафьи Алексеевны. Вино льется рѣкой, насы угощаются, закармливаются, и во все время обѣда не умолкаютъ злые рѣчи, сплетни и намеки. Послѣ обѣда большинство гостей садится играть въ карты, а хозяйка, вся красная и лоснящаяся отъ Ѣды и радушки, приказываетъ перенести въ гостиную ликеры и сладости.

Вечеромъ всѣ родные гурьбой провожаютъ насы на станцію. Всѣ они веселы, полуписьмы и необыкновенно болтливы.

— Прощайте, братецъ!.. Прощайте, сестрицы!.. Будете писать брату Николаю Федоровичу, напишите, что мы здѣсь такъ ничего и не знаемъ.

— Что за аспиды!—говоритъ Катя, когда поѣздъ трогается.— Мы теперь стыдно, что и я судачила обѣ этой женитьбѣ. Какое мнѣ дѣло! Самъ знаетъ человѣкъ, какъ ему поступить. Теперь, за то, я думаю, наша очередь; намъ достается...

— Ну, нѣтъ, они тебя такъ любятъ.

— Рассказывай!..

— Что-жъ, родственную повинность отбыли. А хороший поваръ у Агаси. Ты замѣтила пирожки, не тѣ, не кругленькіе и не длинненькіе, а тѣ, квадратненькіе...

Послѣдняя почь въ вагонѣ. Засыпая, я все еще слышу злыхъ рѣчи, пьяные голоса и радуюсь тому, что мы удаляемся отъ нихъ въ тихую и мирную Божидаровку.

Когда на утро солнце всходитъ, оно освѣщаетъ уже хорошо знакомыя скалы, поля, села и деревни. Ближе и ближе Божидаровка. День клонится къ вечеру. Вотъ и преднослѣдняя станція и Божидаровскій лѣсъ. На опушкѣ его пасутся коровы. Стадо овецъ колышется на зеленой скалѣ.

Вотъ и хата знакомаго стрѣлочника. Стрѣлочница Паракса, съ грудной Галькой за пазухой, стоитъ съ развернутымъ флагомъ, а маленькой, толстый Яшка, держась за край ея бѣлой свитки, въ волненіи таращить глаза на вереницу быстро пролетающихъ пестрыхъ вагоновъ. Вотъ и еще лѣсокъ; вотъ и станція Божидаровка.

На дворѣ станціи мы уже издали видимъ коляску, запряженную четверикомъ, кучера Данилу въ красной рубашкѣ, поддевкѣ и круглой шляпѣ съ павлинными перьями, на козлахъ. На краю платформы стоитъ Ермолай, вытянувъ руки по швамъ и пытливо заглядывая въ окна приближающихся вагоновъ. Узнавъ насъ, онъ радостно улыбается и, снявъ картузъ, подходитъ къ вагону, говоря: „Съ пріѣздомъ“.

Мама стоитъ съ начальникомъ станціи и его помощникомъ. Я ощущаю волненіе; что-то щекочетъ мнѣ горло. Мама-ли это? Какъ-то не вѣрится, что эта худенькая, маленькая дама въ какихъ-то юбкахъ, тряпкахъ, въ модной шляпѣ съ вуалью и есть наша мама, съ которой мы не видались полгода, что это наша мама, самое дорогое и близкое существо на свѣтѣ, которое все простить и пойметъ, не осудить, не оттолкнетъ и не обидить, защитить и пожалѣть; что это та самая мама, которая насъ носила, родила, кормила, качала, купала и пеленала и терпѣла изъ-за насъ всякия тягости, та мама, подлѣ которой мы росли, болѣли, шалили, учились и развивались. И чувства любви и благодарности наполняютъ сердце при видѣ этой маленькой странной дамы въ темномъ ватерпруфѣ; мы съ Катей толкаемся у окна, высовываясь и кивая. Мама насъ увидѣла, узнала, мы встрѣчаемся глазами. И мы высказываемъ изъ вагона, и мама обнимаетъ насъ.

— А я васъ вчера поджидала и встрѣчать пріѣзжала. Я такъ поняла изъ письма Катюши...

— Да, да! Но я не разсчитывала, что мы такъ раскинемъ и устанемъ. Подумай, отъ самой Вѣны тащились безъ остановки. И главное: духота, жара... Переночевали въ Харьковѣ и вчера объ-

дали у Агафьи. Что-жъ Ермолай багажъ не достаетъ?.. Ты даль ему квитанці?.. Покорѣе, Ермолай!..

— Будьте покойны,— говорить съ елейной улыбкой начальникою станціи,— вы не заграницей.

— Катя и Алеша исправились, а Наташа похудѣла,— говорить мама, разглядывая насъ.

— Это я съ дороги.

— Она все время тамъ молодцомъ была и въ Люцернѣ прекрасно выглядѣла,— говоритъ Алеша.— А въ Вѣнѣ что-то прихворнула.

— Ну, здѣсь отдохнетъ. Здѣсь хорошо.

— Да, хорошо. И какой воздухъ!.. Что-же Ермолай?.. Гдѣ-же Ермолай?..

По привычкѣ мы все еще суетимся и торопимся; хотя суетиться нечего. Мы дома.

Поѣзду, надымивъ и свистнувъ, уходитъ дальше, а мы садимся въ коляску и, раскланиваясь съ знакомыми хохлами и евреями, выѣзжаемъ со станціи. Коляска, покачивая и потряхивая насъ, тихо катится по мягкой и пыльной проселочной дорогѣ. Алеша окидываетъ хозяйствскимъ взглядомъ свои поля, лѣса и угодья; а Катя и мама вспоминаютъ заграничные дороги, чудесные шоссе съ ихъ бѣлыми столбиками и рядами тѣнистыхъ деревьевъ. Какія дороги во Франціи!.. А въ Германіи!.. И вѣдь отъ деревни до деревни! А у насъ!..

Мы вѣзжаемъ въ лѣсъ. Боже, что за рай, какая прохлада! Какія поэтическія привѣтствія шепчутъ намъ, кивая, зеленія вѣтви старыхъ дубовъ, берестовъ, кислицъ и лѣсныхъ грушъ; какія поэтическія привѣтствія журчить намъ рѣчка, пробираясь подъ склонившимися надъ ней вербами, подъ кустами густо разросшагося гигантскаго лопуха и полевыхъ штокъ-розъ. Змѣя громко турчить, кузнечики свистять... И весь лѣсъ шепчетъ намъ: „Ну, не хорошо-ли здѣсь и можетъ-ли гдѣ-нибудь быть лучше? Чего было уѣзжать, чего искать? Развѣ Божій міръ не вездѣ одинаково хороши?“ И я радуюсь, узнавая знакомыя тропинки, знакомые повороты, простоки и прогалинки.

— Какъ хорошо, какая свѣжесть!— говоритъ Катя.— Пріѣдемте завтра сюда чай пить. Разскажи-же, мама, о Лизѣ. Что она?..

И мама разсказываетъ о Лизѣ, о ея женихѣ и о ея приданомъ.

Лѣсъ рѣдѣеть; мы выѣзжаемъ въ поле. Солнце садится, золотя горизонтъ. Дороги скрещиваются и разбѣгаются. Вотъ и дорога въ Михайловское. До чего все похоже на тотъ вечеръ, когда мыѣхали изъ Михайловскаго отъ тети Ани веселой гурьбой и пѣли хоромъ пѣсни. Мне кажется, что я и сейчасъ слышу голосъ Лизы и звуки родной, заунывной, за сердце хватющей русской пѣсни. „Ахъ!.. не одна во полѣ дороженька пролегала“... Какъ все похоже на тотъ вечеръ!

Какъ и тогда, солнце садится, какъ и тогда, степь стихаетъ, засыпаетъ подъ немолчный свистъ кузнециковъ... И въ довершениѣ сходства на потемнѣвшемъ горизонтѣ, въ кучѣ голубыхъ облаковъ, вспыхиваетъ блѣдная зарница...

Изъ-за холма встаетъ вдали мой старый вѣтрякъ съ недвижно распостертыми крыльями. Скалы раздвигаются, скалы поворачиваются и внизу открывается знакомое мирное село, блеститъ крестъ церкви, густой зеленый садъ, съ чутъ виднѣющейся красной крышей дома. Катя вытягиваетъ шею, заглядывая на знакомый пейзажъ, и говорить съ улыбкой:

— Ну, вотъ и Божидаровка!..—А что это тамъ за толпа?.. У чьей это хаты? Чья-нибудь свадьба?..

— Оксану за Петра Бондаренку отдаютъ,—говорить, поворачиваясь на козлахъ, кучеръ Данило.

Катя и Алеша, принимая новость къ сердцу, высказываютъ свое мнѣніе объ этомъ бракѣ. А я думаю о томъ, до чего все похоже на тотъ вечеръ, когда я въ первый разъ увидѣла Николая Федоровича и невольно вспоминаю его и думаю о немъ. Все, все здѣсь попрежнему; только я уже не прежняя; той дѣвочки, той восемнадцатилѣтней Наташи уже нѣтъ и никогда не будетъ. Я буду другою, я и теперь уже чувствую себя другою. О Николаѣ Федоровичѣ и его женѣ я думаю уже безъ горечи и страданія. Въ сущности, вѣдь между нами не было произнесено ни одного слова, которое давало бы миѣ поводъ надѣяться на что-нибудь. Въ сущности, вѣдь я его совсѣмъ мало знала; все, что я о немъ знала, я слышала отъ другихъ, отъ Марьи, отъ Алеши — и только. И что-же было? Были романсы, поѣздка въ таратайкѣ, крокетъ и голубая кофточка,—ничего больше. И зарницы вспыхиваютъ въ небѣ, точно улыбаясь моей наивности и молодости. Мама просить остановить экипажъ; она боится переѣзжать по развалившемуся мосту, на которомъ все еще не починили все увеличивающейся дыры. Мама выходитъ изъ коляски и идетъ пѣшкомъ подъ руку съ Алешей. А мы съ Катей лихо перелетаемъ черезъ сломанный, устланный соломою старый мостъ, взлетаемъ на пригорокъ и ёдемъ вдоль зеленої рѣшетки. На дворѣ при появлениѣ экипажа поднимается суета и оживленіе. Дворовые хохлушки, кухарки, прачки, скотницы, птичницы въ очипкахъ, красныхъ юбкахъ и плисовыхъ или ситцевыхъ корсеткахъ, спѣшатъ намъ на встрѣчу, отирая руками и передниками губы для поцѣлуевъ. Ребятишки сбѣгаются, толкаются и съ серьезными лицами стремглавъ несутся за коляской, сверкая босыми пятками и поднимая облака пыли. Баба Ганна, широко растворивъ калитку, уже издали низко кланяется намъ, зарядивъ нараспѣвъ свои многословныя хохлацкія привѣтствія. А „Буянъ“, какъ сорвав-

шайся съ цѣпи, скачетъ, мечется, визжитъ, бросается на насъ, порывисто и радостно лаетъ, кусаетъ наши платья и горячо и бурно выражаетъ свой собачий восторгъ и свою собачью дружбу и преданность.

И мы входимъ въ садъ. Фонтаны тихо плещутъ. Зарницы трепещутъ въ небѣ. Все, все совсѣмъ какъ было въ тотъ вечеръ. Нѣтъ только стола съ самоваромъ подъ лицами, нѣтъ Николая Федоровича... Перефлювавшись съ дворней и поздоровавшись съ дѣтьми, я иду наверхъ въ комнату, гдѣ я жила съ Лизой и буду теперь жить одна. И здѣсь все по старому. Я открываю пустой ящикъ стола, въ которомъ хранились мои дневники, и нахожу тамъ тупой карандашъ, синюю обложку отъ разорванной тетрадки, два три старыхъ письма, оборванный листокъ съ выписанными афоризмами и стихами:

Seliger ist, als nehmen, geben,
Besser ist, als klagen trösten;
Schmerzen, die im Lied sich lösten
Geben Kraft zu neuem Leben.

Читаю дальше: „Терзаться тѣмъ, что посыпается для его блага, можетъ только неразумный“... и дальше: „Плодъ добрыхъ трудовъ славенъ и корень мудрости неподвиженъ“...

Отыскиваю еще бумажки, перечитываю письма и перевопусь мысленно къ тому времени, когда все это писалось. Дверь на балконъ открыта. Сѣрая мельница съ высоты смотритъ прямо ко мнѣ въ комнату, и мнѣ хочется поскорѣй пойти къ ней и подѣлиться съ ней впечатлѣніями. Татьяна вносить мой чемоданъ ко мнѣ въ комнату и спрашиваетъ ключъ отъ него. Я говорю „сейчасъ“ и спускаюсь внизъ. Прохожу мимо кабинета Алеша, уже поглощенаго горячей бесѣдой съ нагрянувшими къ нему конторщиками, штегерами, инженеромъ и управляющимъ, прохожу черезъ гостиную, въ которой Николай Федоровичъ пѣлъ когда-то свои романсы:

„To было раннею весной“...

Въ смежной комнатѣ Катя, разбирая свой чемоданъ, показываетъ мамѣ свои новые парижскія платья.

— Очень мило, говоритъ мама,—это прелестно, прелестно!

— И представь, всего по десять франковъ аршинъ... Это что будетъ на наши деньги?..

Изъ гостиной выхожу на полукруглую террасу, гдѣ спить густо разросшаяся, обвившая весь балконъ ипомея, скромно свернувшись на ночь свои яркіе лиловые, розовые, малиновые и бѣлые колокольчики. Изъ цвѣтника, надъ которымъ особенно поусердствовалъ этой весной садовникъ, встаетъ сладкое и нѣжное благоуханіе. Розы, резеда, левкои, душистый горошекъ и высокая бѣлая никоціана дремлютъ,

разливая въ воздухѣ благоуханіе. „Буянъ“, все еще волнуясь и поизгивая, бросается откуда-то ко мнѣ, трется головой о мое платье, лижетъ мнѣ руки и бѣжитъ за мной, когда я спускаюсь въ садъ.

Вотъ и площадка, на которой мы играли въ крокетъ. Кажется, что сейчасъ еще здѣсь стучали молотки и шары, что мы только что разошлись... Но гдѣ наша партія? Ольга Павловна ушла изъ жизни, ушла тихо и незамѣтно, какъ и жила, Лиза гдѣ-то выходитъ замужъ, Николай Федоровичъ женился, дѣти выросли, я измѣнилась... Все движется, все мѣняется повинуясь, всеобщему закону превращенія.

У кухнини, подъ бѣлой акаціей, нахожу поставленный садовникомъ круглый столбикъ, обвитый дикимъ виноградомъ. Наверху, на темной дощечкѣ — надпись разведеннымъ мѣломъ: „Котъ Василій“, годъ и число.

Мнѣ вспоминается бѣдный, старый, сѣрий котъ, тихо и рѣдко мяукавшій, неслышно бродившій по стопамъ своей скромной подруги. Мнѣ не вѣрится, что и Ольги Павловны уже нѣтъ. Кажется, вотъ сейчасъ я приду въ домъ, а она сидитъ тамъ въ своемъ старенькомъ коричневомъ платьѣ съ засаленной колодой картъ въ рукахъ, взглянуть на меня и скажетъ; „Хотите — погадаю?“...

И вздохнувъ обѣ Ольгѣ Павловнѣ, я углубляюсь съ „Буяномъ“ въ темную аллею. Низкія старыя яблони задѣваютъ меня своими кривыми вѣтвями; созрѣвшія яблоки съ легкимъ стукомъ падаютъ на траву и къ моимъ ногамъ. Никогда еще старый садъ не казался мнѣ до такой степени живымъ существомъ, никогда еще я не чувствовала себя въ такой степени поэтомъ. Столько жизни, столько воспоминаній, рѣчей, звуковъ, образовъ встаетъ изъ глубины темной чащи. Мнѣ кажется, что было тѣ, чѣго не было и чѣго не было того, что было; фантастическое переплетается съ дѣйствительностью, какъ ползучая зелень хмѣля переплетается на берегу рѣчки съ свѣжими гибкими вербами. Чѣ-то таинственное и неясное, какой-то шопотъ и шорохъ чудится за темными кустами и деревьями. И я чувствую, что я здѣсь не одна, что со мною кто-то стоитъ здѣсь, кто-то крадется за мною, не пугая меня, дружескимъ взоромъ слѣдить за мною, среди чаръ этой лѣтней ночи и спящаго сада.

Я поднимаюсь на скалу и по мѣрѣ того, какъ я поднимаюсь выше и выше, на душѣ у меня становится все яснѣй и спокойнѣе. Старый садъ со своими вздохами, шорохомъ и смутными мечтаніями остается у моихъ ногъ, а я выхожу на просторъ и яснѣе вижу небо, вспыхивающее огнями. И при видѣ этихъ свѣтлыхъ зарницъ въ душѣ поднимается чѣ-то сѣрѣлое и хорошее, съ дѣтства знакомое и полузабытое; чѣ-то, что просыпается въ душѣ въ минуты страданій, въ часы одиночества, чѣ-то, что выше радостей и огорченій.

Съ этимъ свѣтлымъ ощущеніемъ я поднимаюсь на скалу и сажусь подъ старой мельницы, которая тихо скрипитъ мнѣ свое дружеское привѣтствіе. „Буянъ“ ложится у моихъ ногъ и здѣсь я чувствую себя дома и на родинѣ, болѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Мнѣ хорошо, легко и спокойно.

Солнце зашло. Зарницы трепещутъ въ небѣ. Село еще не спитъ. Тамъ поютъ, шумятъ. Это свадьба, *веселье* Оксаны... Толпа тѣснится еще у хаты невѣсты. Я не вижу ихъ хорошенъко за темнотой и далью; но я столько видѣла этихъ свадебъ, что и отсюда легко могу себѣ представить все, что тамъ происходит... Тамъ — водка, каравай, пьяные дѣвки, пьяные парубки, бабы и старики... Судя по времени, обряды должны быть уже кончены; остается посадить Оксану съ пѣснями въ повозку жениха, запряженную его лошадью. На повозку ставятъ *скрыню* (сундукъ) съ приданымъ невѣсты. А женихъ, взявъ кнутъ — знакъ власти, троекратно обходить вокругъ повозки, изъ всей силы стегая по лошади, по невѣстѣ и по скрынѣ съ ея приданымъ. Отхлеставъ Оксану, онъ повезетъ ее къ себѣ въ хату, гдѣ ждетъ ее жизнь молодицы, которой „нема воли“, какъ говоритъ пѣсня.

А у насъ какъ?... Я припоминаю свадьбу Кати. Водки и кара-ваевъ не было, а были конфеты и шампанское. Обряды были другие. Кнута тоже не было; но если вѣрить Катѣ, что прошлое мужа тя-жело ложится на плечи дѣвушкѣ, то вѣдь это стоитъ кнута. Вѣрно, это такъ и нужно; кто знаетъ?.. Терпи, женщина. Долготерпѣливый лучше храбраго и владѣющій собой лучше завоевателя города, гово-рить Соломонъ. Конечно, много вытерпѣть и выстрадать должно быть хо-рошо и полезно. Какъ-то наша Лиза освоится со своей новой жизнью?.. Помоги ей Богъ!.. Хоть бы мужъ любилъ ее!.. Только кажется, они насъ никогда не любятъ. Они или любуются нами, нашей наруже-ностью, нашими кофточками, романсами, развлекаются нашими шут-ками, нашей веселостью и дарованыницами, — или пользуются нами, когда мы подъ рукой, и это удобно, какъ воспользовался Николай Федоровичъ Матреной?.. Вѣдь и то, и другое — не любовь. Инте-ресно мнѣ, должно это такъ быть или не должно; или можетъ быть мы сами тутъ чѣмъ-нибудь виноваты? Жизнь выяснить мнѣ это, а пока я не знаю и не понимаю этого. Но какъ хорошо было бы, еслибы мужья любили своихъ жен!.. Я думаю, что если есть мужъ, который любить и жалѣть свою жену, знать и любить ея душу и чтить въ ней человѣка, то такой мужъ гораздо больше дѣлаетъ для всѣхъ женщинъ, чѣмъ всѣ тѣ, что говорятъ и хлопочутъ о правахъ женщины... Что эти права?.. Ну, да все это, конечно, выяснится мнѣ современемъ.

Вотъ и смолкло *веселье*. Толпа разошлась; стихли всѣ звуки на
Кн. 4. Отд. I.

сель. Воцаряется чудная тишина. По небу плывутъ облака, красивыя, причудливо вытягивающіяся, слоящіяся и поминутно мѣняющія форму облака, озаряемыя трепетными огнями. Уснувшая земля кажется теперь только темной каймой, темной рамкой къ этой чудной картинѣ движущагося и свѣтящагося неба. И картина эта такъ хороша, что не въ силахъ оторвать отъ нея глазъ, я забываю о землѣ, забываю обо всемъ на свѣтѣ и помню только о томъ, что есть что-то еще лучшее, что-то лучшее лучшаго, высшее высшаго, что-то невѣдомое, непостижимое и несомнѣнное... Есть вѣчна правда, и въ душѣ человѣка есть вѣчное стремленіе къ ней.

Я помню также, что Божій міръ необъятно великъ и прекрасенъ и можетъ дать много, можетъ дать все тому, кто захочеть искать въ немъ. И чего будешь искать, то и найдешь; и чего будешь сильно желать, то и получишь; это я знаю твердо. Пока человѣкъ живеть, онъ желаетъ. И у меня есть желанія.

Я желаю любить правду, жить со всѣми въ мирѣ и не знать лукавства, быть готовой на страданія и съ твердостью переносить ихъ.

И еще я желала бы найти въ своей душѣ всѣ слова, слезы, чувства, которыя помогли бы мнѣ выразить хоть слабо то, что вложено Богомъ въ душу каждого изъ насъ...

Глубокое небо съ озаряющими его огнями кажется мнѣ все глубже и глубже и, не мѣня позы, не опускаясь на колѣни, съ сердцемъ, переполненнымъ блаженствомъ вѣры, я тихо говорю вслухъ:

Отче нашъ, иже еси на небесахъ...

Маленький домъ, обвитый дикимъ виноградомъ, свѣтится привѣтливыми огнями, приютившись въ тѣни старыхъ и высокихъ липъ. Тамъ мама, тамъ сестра, тамъ люди. Надо идти къ нимъ; можетъ быть, меня уже зовутъ и ищутъ. И хотя я охотно просидѣла бы всю ночь на-пролетъ у мельницы, я спускаюсь по тропинкѣ въ садъ. Перепрыгивая чрезъ рѣчку, я вижу фосфорическія блестки на старой черной вербѣ. Это свѣтлячки. Не надо и быть ни большимъ, ни сильнымъ, чтобы свѣтиться въ темнотѣ и дышать огнемъ.

Подходя къ цвѣтнику, слышу звуки рояля. Катя играетъ уже любимую Николаемъ Федоровичемъ фантазію f-moll Шопена. И подъ звуки этого бодрящаго и благороднаго марша, я вхожу съ не отставшимъ отъ меня „Буяномъ“ на террасу, гдѣ мама ужъ ждетъ меня, взглядываясь въ темноту.—А ты ужъ уѣжала?..

Мы садимся ужинать за столъ, на которомъ дымятся вареники, картофель и завернутая въ салфеткѣ пшеничка.

— А неутѣшный-то вдовецъ,— весело говорить Алексѣй Александровичъ, впиваясь зубами въ молодую пшеничку.

— Мама знаетъ?..

— Да, Катя писала. Да я и здѣсь оть кого-то слышала. Что жъ, онъ прекрасно поступилъ. Эти дѣти будутъ, можетъ быть, утѣшениемъ его старости. Марьяна болѣзнейная дѣвочка, и если бъ, Боже сохрани, она умерла, онъ остался бы совсѣмъ одинокимъ. А тутъ все-таки у него будетъ семья, близкіе люди...

— Да, но каково это Марьянѣ?..

— Что жъ Марьяна? Если, какъ вы говорите, она хорошая и добрая дѣвушка, то она не захочетъ отравлять жизнь отцу. Вѣдь это чистѣйшая фантазія, что нельзя всѣмъ жить въ мири.

— Я непремѣнно завтра же напишу Манѣ,—говоритъ Катя.

— И я ей припишу,— прибавляетъ мама,— хоть и незнакома съ ней, а напишу ей нѣсколько словъ.

— А я напишу Николинѣ,— говоритъ Алеша.

Затѣмъ разговоръ переходитъ къ купленной въ Вѣнѣ фисъ-гармоніи, существующей на-дняхъ прибыть въ Божидаровку, и о новыхъ стеклахъ для туманныхъ картинъ, привезенныхъ Алешей изъ Парижа. Поужинавъ, мы прощаемся и расходимся.

И когда я поднимаюсь къ себѣ наверхъ, я ощущаю радостное, счастливое и безмятежное настроеніе, котораго я давно уже не испытывала. Опять я люблю *всѣхъ* и опять я вполнѣ довольна тѣмъ, что есть. О Марьянѣ и Николаѣ Федоровичѣ я думаю съ искрѣнностью и симпатіей.

Мнѣ хорошо и весело и, заплетая на ночь косы, я машинально напѣваю:

„То было раннею весной“...

В. Микуличъ.

НА МОТИВЪ СЮЛЛИ ПРЮДОМА.

(Chants d'automne).

Мнѣ снилось: мы оба надъ темною бездной
 Въ объятьяхъ эфира неслися высоко,
 И небо сіяло плеядою звѣздной,
 Земныя страданья остались далѣко.

Но вдругъ поблѣдѣли, померкли свѣтила,
 И тьмою одѣлись они непроглядной
 И чья-то зловѣща, тайная сила
 Меня разлучила съ тобой безпощадно.

Объяты испугомъ, въ тоскѣ и печали
 Блуждая какъ тѣни, по чуждому краю,
 Мы долго и тщетно другъ друга искали
 И свидѣться намъ удалось ли — не знаю?..

0. Чюминъ.

КАПЛУНЫ.

ПЬЕСА ВЪ ОДНОМЪ ДѢЙСТВИИ.

Соч. Люсьена Декавъ и Жоржа Даренъ.

Посвящается памяти героическихъ буржуа города Калэ.

(Представлена была въ первый разъ въ парижѣ на сценѣ «Свободнаго Театра»
13 июня 1890 г.).

Переводъ кн. А. И. Урусова и Р. М. Хинъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

БАРБЬЕ, рантье, 55 лѣтъ.

РАКИЛЬЕ, табачный торговецъ, 50 лѣтъ.

Г-жа БАРБЬЕ, 45 лѣтъ.

ЕКАТЕРИНА, 40 лѣтъ, служанка Барбье.

ДѢЙСТВІЕ прописходить въ предмѣстіи Версала, въ 1870 г., на другой день по
вступленіи въ городъ прусскихъ войскъ.

Большая буржуазная столовая въ первомъ этажѣ. Въ глубинѣ два окна. Между
ними широкая входная дверь съ крыльцомъ. Въ окна видны деревья сада. На-
право — комната Барбье. Налѣво — двѣ двери, ведущія на черную лѣстницу.

Я В. Л Е Н И Е I.

БАРБЬЕ, г-жа БАРБЬЕ сидѣтъ у стола, на которомъ КАТЕРИНА
устанавливаетъ чашки, сахарницу, печенье.

КАТЕРИНА (*подавая пирогъ*). Вы что-же это, не хотите моего
печенія?

Г-жа БАРБЬЕ. Нѣтъ, Катерина, только чаю.

КАТЕРИНА (*унося пирогъ въ буфетъ*). Хорошо.

БАРБЬЕ. Когда подумаешь, что прусаки со вчерашняго дня въ
Версали... У меня кусокъ не идетъ въ горло. Ахъ, не привыкли мы
къ подобнымъ революціямъ. (*Катеринъ, которая входитъ съ чаемъ*).
Слабый?

Г-жа БАРЬЕ. Капельку рома?

БАРЬЕ (*протягивая чашку*). Одну капельку... Будетъ. (*Катерину*). Ты не слыхала, нѣтъ-ли чего новаго?

КАТЕРИНА. Не знаю, на улицѣ собаки не видно.

Г-жа БАРЬЕ. И потому я ей приказала не выходить.

БАРЬЕ. Хоть-бы Ракилье пришелъ... рассказалъ-бы, что тамъ дѣлается (*ищетъ около себя*). Однако... Катерина, чѣмъ ты мнѣ прикажешь размѣшивать чай?

Г-жа БАРЬЕ. И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же ложечки?

КАТЕРИНА. Точно вы не знаете. (*M-r и M-me Барбье молча взглядываютъ другъ на друга*).

Г-жа БАРЬЕ. Правда, вѣдь ихъ вчера зарыли съ остальнымъ серебромъ. Хорошо, что успѣли.

БАРЬЕ. Вотъ ужъ могу сказать, что у меня чутье. Я все время твердилъ, что пруссаки нагрянутъ въ Версаль неожиданно... И вотъ намъ приходится мѣшать чай карандашомъ... И это только начало лишений.

Г-жа БАРЬЕ (*встаетъ и подходитъ къ нему сзади*). Ну, ну, другъ, не надо такъ унывать..., (*Чешетъ ему подбородокъ, какъ ребенку*). А кто сейчасъ будетъ пить сладкій горячій чай, кто? А пруссакамъ ничего не достанется, ничего, помнишь какъ ты говорилъ съ Ракилье?

БАРЬЕ. Ракилье... Ракилье! Видишь, какъ онъ о насъ заботится! Хвастунишка! Вѣдь какъ хорохорился! Помнишь, когда департаментъ объявили въ осадномъ положеніи? Само Провидѣніе, говорилъ, посыпаетъ ихъ на Сену и Оазу, у насъ ихъ ждетъ могила! А теперь, я увѣренъ, онъ боится высунуть носъ на улицу...

Г-жа БАРЬЕ. Послушай... а вдругъ они его взяли заложникомъ?..

БАРЬЕ. Лавочника!.. Они берутъ только нотаблей... А впрочемъ, онъ такой интриганъ.

Г-жа БАРЬЕ. Какъ-бы тамъ ни было, мы до сихъ поръ не знаемъ, сколько народу намъ придется содержать.

КАТЕРИНА (*которая собрала со стола*). Стало быть, это вѣрно, что у насъ будетъ... это добро.

Г-жа БАРЬЕ. Къ несчастью! Ты, небось, думаешь, сколько у тебя работы прибавится. Еще-бы! Извольте подержать домъ въ чистотѣ съ подобными животными.

БАРЬЕ. Катерина будетъ исполнять свой долгъ, какъ мы нашъ. (*Звонокъ*).

Г-жа БАРЬЕ. А! Ракилье!

БАРЬЕ. Неизвѣстно... неизвѣстно... Посмотри раньше въ окошко, а потому ужъ открывай.

(*Катерина приподняла занавѣску, потомъ открыла дверь и, впустивъ Ракилье, ушла въ дверь нальво*).

Я В Л Е Н И Е II.

БАРБЬЕ, г-жа БАРБЬЕ, РАКИЛЬЕ.

БАРБЬЕ (*идя на встречу Rakилье*). Наконецъ-то! Ну что?

РАКИЛЬЕ (*весело*). Ничего... все отлично... Превосходно...

БАРБЬЕ. То есть какъ это?

РАКИЛЬЕ. Я изъ меріи. Вамъ назначили трехъ...

Г-жа БАРБЬЕ. Трехъ?

РАКИЛЬЕ. Благодаря мнѣ. Опредѣлили всего двоихъ, но я попросилъ третьяго — унтеръ-офицера... это имѣть большое значеніе... дисциплина... ну, и почетъ... и мало еще что... и потомъ если хватаетъ на двухъ... Но вы, кажется, недовольны?

БАРБЬЕ. Мы ничего не сказали.

РАКИЛЬЕ. А то я его возьму къ себѣ... Вы ихъ совсѣмъ не знаете... Представляете себѣ Богъ знаетъ что.

Г-жа БАРБЬЕ (*подходя къ нему*). Такъ вы ихъ видѣли?

РАКИЛЬЕ. Да, я уже сутки живу съ ними, точно съ вами. Какъ видите, меня отъ этого не убыло.

Г-жа БАРБЬЕ. Разсказывали такие ужасы.

БАРБЬЕ. Газеты... все газеты... Онѣ всегда преувеличиваютъ.

РАКИЛЬЕ. Я могу сказать лишь одно: они приличны. О, конечно, я знаю: мы получили ихъ не изъ первыхъ рукъ, если позволено такъ выразиться. А, еслибъ намъ пришлось вынести первый ударъ, другое дѣло. А то подумайте! люди ужъ два мѣсяца гуляютъ по Франції. Мы ихъ отшлифовали положительно! Во первыхъ, они умѣютъ объясняться. Можно сейчасъ-же сообразить, чего они желаютъ.

Г-жа БАРБЬЕ. А чего-же они желаютъ?

РАКИЛЬЕ. Боже мой... ничего, кроме необходимаго.

Г-жа БАРБЬЕ. Они отвратительны, не правда-ли?

РАКИЛЬЕ. Вовсе нѣтъ.

Г-жа БАРБЬЕ. У нихъ большія рыжія бороды?

РАКИЛЬЕ. Рыжія, черные, блокуры...

Г-жа БАРБЬЕ. И сабли, пистолеты, пики...

РАКИЛЬЕ. Они вооружены, какъ солдаты.

БАРБЬЕ. Но ваше собственное мнѣніе?

РАКИЛЬЕ. По моему, не слѣдуетъ терять хладнокровія. Знаете, на вашемъ мѣстѣ меня-бы тревожило совершенно другое.

БАРБЬЕ. Что такое?

РАКИЛЬЕ. Катерина.

Г-жа БАРБЬЕ. Катерина?

РАКИЛЬЕ. Еще-бы! Послѣ письма, которое она получила съ родини.

Г-жа БАРБЬЕ. Вы предполагаете?

РАКИЛЬЕ. Очень вѣроятно, что она воспользуется первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы отомстить за смерть своего брата.

Г-жа БАРБЬЕ. Какъ это?

РАКИЛЬЕ. Отплативъ за это солдатамъ, которые будутъ у васъ стоять.

БАРБЬЕ. Брать Катерины былъ убитъ при Форбахѣ... въ началѣ войны. Она о немъ поплакала, носить по немъ трауръ... это дѣло конченное.

РАКИЛЬЕ. Гм!.. Гм!..

Г-жа БАРБЬЕ (*съ некоторымъ беспокойствомъ*). А вы развѣ что-нибудь узнали?

РАКИЛЬЕ. Нѣтъ... но у меня хорошая память, вотъ и все. Вы, повидимому, забыли, какое отчаяніе она проявила, когда пришло извѣстіе объ его смерти. Она прочла письмо чуть не всему околотку. Говорятъ даже, будто она выразилась у лавочника: попадись мнѣ только кто-нибудь изъ нихъ въ руки, ужъ заткну я имъ глотки.

Г-жа БАРБЬЕ. Вы никогда намъ объ этомъ не говорили.

РАКИЛЬЕ (*пожимая плечами*). Да кто изъ насъ не говорилъ такихъ вещей!.. Непріятель былъ далеко... никто не думалъ... къ несчастію, разные дураки подзадорили ее, вскружили ей голову... и, конечно, теперь можно бояться всего.

БАРБЬЕ. Полноте! Я повторяю вамъ то, что было понятно шесть недѣль тому назадъ, когда на нее обрушился этотъ ударъ, немыслимо теперь. Мало-ли что говорится въ пылу горя. Время сдѣлало свое дѣло.

Г-жа БАРБЬЕ. Мы отвѣчаемъ за Катерину, какъ за себя.

РАКИЛЬЕ. Тѣмъ лучше. Но, повидимому, вы не особенно внимательно слѣдили за нею. Посмотрите на нее. У нея какой-то угрожающій трауръ. Подобный трауръ опасенъ для дома. Вѣрьте мнѣ или же вѣрьте, это ваше дѣло, я васъ предупредилъ... береженаго и Богъ бережетъ... И если она съиграетъ съ вами какую-нибудь штуку...

Г-жа БАРБЬЕ. Катерина! и вдругъ преступница. О!..

РАКИЛЬЕ. Ужъ и преступница! Зачѣмъ преувеличивать. Экзальтированная, да! Правда, что съ точки зрѣнія отвѣтственности результатъ одинъ.

БАРБЬЕ. Какой?

РАКИЛЬЕ (*прицѣливаясь въ воображаемый предметъ*). Другого нѣтъ.

БАРБЬЕ (*дѣлая усилие отогнать мрачныя мысли*). Ахъ, оставьте. Все это вздоръ.

РАКИЛЬЕ. Вамъ я другъ, я счелъ нужнымъ васъ предупредить. Надѣюсь, вы не будете за это на меня въ претензіи. (*Вынимая часы*). Ахъ, чортъ возьми... я и забылъ... ужъ четыре часа... Ваши три

молодца будуть здѣсь черезъ полчаса. До свиданія... Въ случаѣ я вамъ понадоблюсь... (Уходитъ).

Я В Л Е Н И Е III.

ТѢ-ЖЕ безъ РАКИЛЬЕ.

БАРЬЕ опять садится за столъ. Г-жа БАРЬЕ стоитъ за нимъ. Продолжительное и неловкое молчаніе.

Г-жа БАРЬЕ. Не хочешь-ли для развлеченія наколоть нѣсколько флаговъ на военную карту?

БАРЬЕ. Нѣтъ, не хочу. (*Опять молчаніе*).

Г-жа БАРЬЕ. Тебѣ не кажется, что Ракилье хотѣлъ насъ напугать?

БАРЬЕ. Очень можетъ быть... Трудно повѣрить, чтобы Катерина скомпрометировала себя и насъ подобной болтовней въ лавкѣ.

Г-жа БАРЬЕ. Сплетни!.. Катерина очень любила своего брата, но, какъ ты сказалъ, она о немъ посплакала, и это все, что можетъ сдѣлать женщина.

БАРЬЕ (*довольно злобно*). Во всякомъ случаѣ скажи ей, чтобы она придержала язычекъ. Теперь не время для фанфаронадъ.

Г-жа БАРЬЕ (*послѣ небольшого молчанія*). Что тамъ ни говори, а все это какъ-то странно. Катерина, которая почти всегда молчитъ, вдругъ такъ разошлась, что стала угрожать. Ракилье ошибается. Онъ приписываетъ ей такія намѣренія, которыхъ у нея никогда не было.

БАРЬЕ (*подозрительно*). Да, да... А ты не посмотрѣла на нее, когда она подавала чай? У нея былъ какой-то странный взглядъ изподлобья...

Г-жа БАРЬЕ. Катерина всегда была немножко дика. Вотъ уже двадцать пять лѣтъ, какъ она у насъ живетъ, и мы лишь очень рѣдко видимъ, чтобы она обнаруживала свои чувства. Она сама говоритъ, что они не вылѣзаютъ изъ ея нутра.

БАРЬЕ. Это меня и тревожитъ. Я предпочитаю открытый характеръ... Съ тѣми по крайней мѣрѣ знаешь, чего отъ нихъ ждать. А тутъ изволь быть постоянно на сторожѣ. Вотъ и сини спокойно при такихъ условіяхъ.

Г-жа БАРЬЕ. Можетъ быть ея слова были невѣрно переданы?

БАРЬЕ. Не будемъ никого осуждать. Очень вѣроятно, что эта дѣвушка... весьма первобытная, какъ ты сама выразилась, подъ влияниемъ сильного чувства рѣшился расправиться своимъ судомъ.

Г-жа БАРЬЕ. Однако, это не особенно успокоительно все, что ты говоришь.

БАРЬЕ (*рѣзко*). Я наблюдаю. Съ тѣхъ, порѣ какъ она получила

это письмо, она совершенно перемѣнилась. Нужно быть слѣпымъ, чтобы этого не видѣть.

Г-жа БАРБЬЕ. Почему-жѣ ты ничего обѣ этомъ не говорилъ?

БАРБЬЕ. Потому что для меня мало подозрѣній, мнѣ нужна увѣренность. Воюсь я какъ-бы мы по ея милости не попали въ бѣду.

Г-жа БАРБЬЕ. Ты бы ее разспросилъ... похитрѣе...

БАРБЬЕ. Я самъ обѣ этомъ думалъ. Нада ее позвать. (Звонокъ).

Г-жа БАРБЬЕ. Это они! Господи! у меня отнялись ноги. (Падаетъ съ кресла).

Я В Л Е Н И Е IV.

ТѢ-ЖЕ И КАТЕРИНА.

КАТЕРИНА. Явились... эти. Отпирать, что-ль?

БАРБЬЕ (живо). Не надо, не надо... Я самъ. А ты побудь съ барыней: ты ей нужна. (Уходитъ).

Я В Л Е Н И Е V.

Г-жа БАРБЬЕ И КАТЕРИНА.

Г-жа БАРБЬЕ (беря Катерину за руку). Вѣдная моя!.. Ты вѣдь не покинешь меня, правда?

КАТЕРИНА. Не пойти-ли мнѣ туда... Надо вѣдь ихъ устроить.

Г-жа БАРБЬЕ. Нѣтъ, ихъ немногого... всего трое, Господи Боже мой!.. вотъ они... не гляди. (Вѣ глубинѣ, передъ каждымъ окномъ проходитъ г. Барбье; видна только его шапочка и за нею три островерхонечные каски). Намъ остается одно: обратиться къ религії, которая никогда не отказываетъ въ утѣшениі скорбящимъ. Религія учить насъ прежде всего прощать обиды. Ты обѣ этомъ слышишь въ церкви каждое воскресеніе. Нужно покориться.

КАТЕРИНА. Я, кажется, вамъ всегда покорялась.

Г-жа БАРБЬЕ. Ты меня не понимаешь. Конечно, ты къ намъ привязана...

Я В Л Е Н И Е VI.

ТѢ-ЖЕ И БАРБЬЕ.

БАРБЬЕ (ходитъ очень озабоченный). Скорѣе, они теперь переодѣваются, обѣдать будутъ черезъ часъ... а пока желають слегка закусить... Да... тутъ у нихъ унтеръ-офицеръ говорить по-французски: плохо, но понять можно. Есть у тебя что-нибудь для нихъ?

Г-жа БАРБЬЕ (соображая). Не знаю, право...

КАТЕРИНА. Развѣ мой вчерашній пирогъ имъ подать?

Г-жа БАРБЬЕ. И въ самомъ дѣлѣ.

БАРЬЕ (принужденно улыбаясь). Разумеется... это... это... (Когда Катерина подошла к буфету, шепчетъ жену). Несчастная, о чём ты думаешь!

Г-жа БАРЬЕ. А что?

БАРЬЕ. Неужели ты не замѣтила, съ какой готовностью она предложила пирогъ?

Г-жа БАРЬЕ. Ну?

БАРЬЕ. А вдругъ она подложила туда яду. Она, вѣдь, пекла его вчера, то-есть когда все уже знали объ оккупациі.

Г-жа БАРЬЕ. Ты правъ: пирогъ, навѣрное, отравленъ.

БАРЬЕ. Сдѣлай видъ, будто ты несешь его солдатамъ и брось его въ яму.

КАТЕРИНА (входя). Весь подать?

Г-жа БАРЬЕ (быстро беря у нея изъ руки тарелку). Не знаю... я посмотрю и спрошу у нихъ сама.

КАТЕРИНА. А я буду обѣдъ готовить.

БАРЬЕ. Нѣтъ, барыня сама этимъ займется. Теперь не время быть бѣлоручками. Теперь нѣтъ ни служанокъ, ни хозяекъ, а есть только французы передъ лицомъ непріятеля. (Отойдя съ женой, говоритъ вполголоса). Оставь насъ однихъ, я ей прочту нравоученіе. (Г-жа Барье уходитъ).

Я В Л Е Н И Е VII.

Тѣ же, безъ г-жи БАРЬЕ.

БАРЬЕ. Поди сюда, голубушка... Мы понимаемъ, никто лучше насъ не понимаетъ, какъ невыносимъ для тебя видъ людей, которыхъ мы... вынуждены принимать теперь. А потому мы съ женой рѣшили избавить тебя отъ зрелица, которое должно пробуждать въ тебѣ столь печальная воспоминанія. Мы будемъ сами работать, чтобы ты не страдала отъ необходимости сталкиваться съ ними... Къ тому же это могло бы тебѣ внушить какое-нибудь пагубное искушеніе?

КАТЕРИНА. Искушеніе? Какое искушеніе?

БАРЬЕ. Но и ты не должна обманывать нашего довѣрія. Я смотрю на тебя какъ на члена нашей семьи, обращаюсь къ твоей старой, испытанной преданности. Ты для насъ не служанка, которую можно устранить, чтобы отнять у нея возможность дѣйствовать подъ вліяніемъ ненависти. Двадцать пять лѣтъ работъ и беззавѣтной преданности даютъ тебѣ права, которыхъ мы обязаны признавать.

КАТЕРИНА (отъ волненія едва сдерживаетъ слезы). Зачѣмъ вы мнѣ это говорите, сударь? Я дѣлала свое дѣло и больше ничего.

БАРЬЕ. Я зналъ, что лучше всего обратиться къ твоему сердцу.

Мы все, и ты тоже должны подчиниться волѣ Провидѣнія. Война, видиши ли, этотъ бичъ народовъ, имѣетъ свои непреодолимые законы. Она отнимаетъ сыновей, братьевъ, мужей. (*Катерина плачетъ, закрывшись фартукомъ*). Развѣ я увѣренъ, что обѣ мои дочери, которыхъ ты выходила, что онѣ въ настоящую минуту не вдовы, что мои оба сына не убиты? И все-таки, ты видишь, я владѣю собой? Я умѣю приносить жертву родинѣ. (*Катерина плачетъ сильнѣе*). Пересиль свое горе! Не увлекайся мщеніемъ, которое можетъ погубить не только тебя, но и твоихъ стариковъ-хозяевъ. А! если бы сила была на нашей сторонѣ, я бы не колеблясь сказала тебѣ — впередъ! Но мы — въ ихъ рукахъ. Малѣйшая попытка противъ нихъ — и ты и мы поплатимся жизнью. Пусть они читаютъ на твоемъ лицѣ упрекъ, но не угрозу. И скажи имъ безъ бравады, что ты свято чтишь память своего брата. Повѣрь, трауръ сердца гораздо лучше, чѣмъ трауръ платья... Нельзя ли чего-нибудь свѣтленькаго въ твой головной уборъ... Я поговорю обѣ этомъ съ женой. Нужно, конечно, сохранять приличія и чувства... Но, съ другой стороны, не слѣдуетъ забывать, что мы во власти непріятеля. Посмотри на меня. Ты вѣдь насъ любишь?

КАТЕРИНА. Вы еще спрашиваете?

БАРЬЕ. Ну, такъ утри свои глаза... и не хмурься. Да, вотъ еще что. Портреты твоего брата, артиллериста, все еще висятъ въ твоей комнатѣ?

КАТЕРИНА. Да.

БАРЬЕ. Знаешь, надо ихъ убрать на нѣкоторое время. (*Катерина дѣлаетъ движеніе*). Я не говорю, чтобы ты съ ними разстались, но зачѣмъ выставлять ихъ на показъ! Это смахиваетъ на вызовъ. Ступай-ка, голубушка, и припрячь ихъ. (*Тихонъко толкаетъ ее къ львой двери*).

Я ВЛЕНІЕ VIII.

БАРЬЕ, г-жа БАРЬЕ (*которая входитъ, какъ только Катерина вышла*).

Г-жа БАРЬЕ. Ну?

БАРЬЕ. Совсѣмъ овца лаской убѣжденная: изъ нея можно сдѣлать все, что угодно. Стоило мнѣ сказать, что она — членъ нашей семьи — и благоразуміе взяло верхъ.

Г-жа БАРЬЕ. Слава Богу!

БАРЬЕ. Я даже добился, чтобы она носила бѣлый, скромный, болѣе приличный нашему положенію, трауръ. Это ужъ твое дѣло. А то этотъ черный чепчикъ... не хватаетъ только трехцвѣтной кокарды...

Г-жа БАРЬЕ. А все-таки напрасно я ей сказала, что у насъ

будутъ стоять всего трое. Большее число на нее бы сильнѣе подѣйствовало.

БАРБЬЕ. О, я совершенно спокоенъ. Знаешь, что она теперь дѣлаетъ? Она снимаетъ со стѣнъ портреты своего брата. Этотъ моло-децъ положительно компрометировалъ домъ. Ну... какъ они?

Г-жа БАРБЬЕ. Они гуляютъ въ саду въ ожиданіи обѣда.

БАРБЬЕ. Ты не боишься, какъ бы они не разсердились?

Г-жа БАРБЬЕ. Можно имъ снести бутылку вина.

БАРБЬЕ. Отлично. Я самъ имъ снесу. (Беретъ изъ буфета бутылку и три стакана).

Г-жа БАРБЬЕ. А я пока накрою на столъ у нихъ въ комнатѣ. (Она открываетъ дверь для Барбье, у которого заняты руки, и возвращается назадъ къ буфету, откуда достаетъ столовую посуду и булье). И куда это Катерина пропала? (Барбье стремительно возвращается и опускается на стулъ около двери).

Г-жа БАРБЬЕ (оборачиваясь на шумъ). Боже мой! Что случилось? Что съ тобой, мой бѣдный другъ.

БАРБЬЕ (задыхаясь). Со мной... со мной... Да, еслибъ не я, она сейчасъ бы убила одного изъ нихъ... Тамъ — на моихъ глазахъ.

Г-жа БАРБЬЕ. Катерина?

БАРБЬЕ. Да, твоя Катерина. У меня кровь застыла въ жилахъ... По счастью, пруссаки стояли къ ней спиной и ничего не видали. А мое появленіе удержало руку этой безумной.

Г-жа БАРБЬЕ. О, мы этого не переживемъ. Расскажи, какъ это было.

БАРБЬЕ. Я вышелъ, какъ разъ въ тотъ моментъ, какъ они проходили подъ ея окнами. Одинъ изъ нихъ, унтеръ-офицеръ, нагнулся, чтобы сорвать цветокъ. Мне пришло въ голову (это воля Провидѣнія) взглянуть на верхъ! И что же я вижу! Катерина поднимаетъ съ своего обна горшокъ цветковъ. Мой взглядъ точно пригвоздилъ ее на мѣстѣ... Но еще секунда и пруссакъ бы былъ убитъ.

Г-жа БАРБЬЕ. О, самъ Господь на насъ прогнѣвался!

БАРБЬЕ. Вотъ и держи прислугу двадцать пять лѣтъ.

Г-жа БАРБЬЕ. Что дѣлать... что дѣлать?..

БАРБЬЕ. Это какая-то дубина. Нечего и думать, что она обрзумится. Разсуждать съ ней все равно, что со столомъ. Еслибъ ты посмотрѣла на нее, когда я съ ней разговаривалъ — хоть бы она моргнула. Да, нѣтъ — вотъ все, что я могъ изъ нея вытянуть. Она забила себѣ что-то въ голову, теперь ужъ этого не выколотишь. И какая притворщица. О, она сократить наше существованіе на двадцать лѣтъ.

Г-жа БАРБЬЕ. О, больше.

БАРЬЕ. Я бы еще могъ допустить въ крайнемъ случаѣ ея волненіе, еслибы между нами и квартирантами находился убійца ея брата. Но, развѣ не безсмысленно дѣлать отвѣтственными за его смерть этихъ трехъ солдатъ. Чортъ возьми! Лѣсь рубятъ — щепки летятъ. На поди-ка растолкній это.

Г-жа Барбье. Нужно, однако, что нибудь придумать.

Барбье. Придумаешь тутъ. Намъ остается только одно — не спускать съ нея глазъ ни днемъ, ни ночью. И прежде всего пусть ее спить здѣсь. Такъ, по крайней мѣрѣ, она всегда будетъ у насъ подъ рукой (въ комнатѣ мало-по-малу темнѣетъ. Г-жа Барбье встаетъ опрокидываясь на стулъ. Барбье вскакиваетъ и оборачивается). Какъ ты меня испугала! И что за глупость сидѣть въ темнотѣ... (вздрагивая) Эта комната точно погребъ.

Г-жа Барбье. Сейчасъ зажгу лампу. Слушай... Она идетъ... Будь остороженъ. Не говори ей ничего такого...

Я ВЛЕНІЕ IX.

ТѢ-ЖЕ И КАТЕРИНА.

КАТЕРИНА. (Въ одной руцѣ держитъ лампу, въ другой рамку, которую она показываетъ г-же Барбье). А все-таки далеко имъ до нашихъ мундировъ.

Г-жа Барбье. Ты слишкомъ горячишься, матушка. Надо быть благоразумнѣе.

КАТЕРИНА. Какое же сравненіе съ этими рохлями.

БАРЬЕ (вспыльчиво). Катерина... Мы не позволяемъ тебѣ бранить людей... которые могутъ это услышать... держи свой языкъ, не то...

КАТЕРИНА. Ладно, ладно. (Прячетъ портретъ за лифъ).

БАРЬЕ. Это еще не все. Ты должна имъ уступить свою комнату... Они этого требуютъ.

КАТЕРИНА. Мою комнату?

Г-жа Барбье. Ну-ну, не сердись. Ты лжешь здѣсь... около насъ. Развѣ тебѣ здѣсь не хорошо? Снеси-ка свою кровать.

КАТЕРИНА. Зачѣмъ? Я постелю себѣ на полу.

Г-жа Барбье. Какъ знаешь. Мы живемъ въ такое время, когда честнымъ людямъ хочется быть поближе другъ къ другу... вмѣстѣ не такъ страшно. Свяжи свои вещи въ узелъ. Мы ихъ примостимъ гдѣ нибудь здѣсь. (снаружи зовутъ). Они хотятъ обѣдать.

КАТЕРИНА. Я сейчасъ подамъ.

Г-жа Барбье. Нѣтъ, они зовутъ меня. Займись своими вещами. (въ глубинѣ) Я сама накрою (открывая дверь). Посмотри мой другъ, вотъ къ тебѣ идетъ Ракилье. Милости просимъ. Нѣтъ, нѣтъ, вы

насъ нисколько не беспоконте. (Она отступаетъ, чтобы впустить Ракилье, затмъ уходитъ. Катерина закрываетъ за ней дверь и уходитъ на лѣво).

Я В Л Е Н И Е X.

БАРБЬЕ И РАКИЛЬЕ.

РАКИЛЬЕ. Ну что? Вы довольны своими?

БАРБЬЕ. Пока ничего... А вы?

РАКИЛЬЕ. Не могу жаловаться. Я торгую по маленьку. Они платятъ за все... И какіе курильщики... Представьте, вдругъ приходитъ ко мнѣ одинъ... такой толстякъ и проситъ продать ему почтовой бумаги, чтобы написать письмо на родину. Я ему говорю — позвольте узнать, ко мнѣ обращается солдатъ или отецъ семейства? Надѣюсь, что отецъ семейства? Въ такомъ случаѣ спрячьте ваши деньги... Всѣ люди — люди. Не ихъ вина, что они нѣмцы... У нихъ, какъ и у насъ, есть жены и дѣти... Если не помогать другъ другу...

БАРБЬЕ. Ничего новаго въ городѣ?

РАКИЛЬЕ. Ничего... впрочемъ, да... Въ распоряженіяхъ генерального штаба будуть расклеены прокламациі, извѣщающія жителей, что домъ, въ которомъ изъ мести будетъ убитъ или раненъ кто либо, принадлежащий къ войскамъ его королевскаго величества — будетъ сожженъ, а виновные разстрѣляны.

БАРБЬЕ. И они такъ и сдѣлаютъ?

РАКИЛЬЕ. О, на этотъ счетъ будьте покойны. Я сейчасъ же подумалъ о васъ.

БАРБЬЕ. Гм.

РАКИЛЬЕ. Я про Катерину... Лавочникъ подтвердилъ мнѣ всѣя рѣчи... Надѣюсь вы обѣ этомъ подумали?

БАРБЬЕ. Я только и дѣлаю, что думаю. Послушайте, вы нашъ старый, испытанный другъ... Что вы мнѣ посовѣтуете?

РАКИЛЬЕ. Выгнать ее въ шею — безъ разговоровъ...

БАРБЬЕ. Никогда. Развѣ вы не знаете, что для насъ Катерина? Ей было 15 лѣтъ, когда она къ намъ поступила. Теперь ей 40... Вы ни въ чемъ не можете ее упрекнуть. Это сама честность. А ужъ предана — безъ границъ. Она выняничила нашихъ дочерей. Одну изъ нихъ она прямо спасла. О, я знаю, чѣмъ мы ей обязаны. Два мѣсяца, когда у меня былъ плевритъ, она не отходила отъ моего изголовья. Конечно, послѣ смерти брата она стала совсѣмъ другая. Но это — критическій моментъ... Временное состояніе... Мы будемъ за ней слѣдить. Здѣсь неѣ никакого оружія. Все зарыто съ тѣхъ поръ, какъ департаментъ въ осадѣ. Съ пустыми руками не убиваютъ людей...

РАКИЛЬЕ. О, половая щетка, кухонный ножъ, мало ли... Недостатокъ оружія не можетъ остановить мщеніе. Впрочемъ... я говорю вамъ это, какъ состоѣть, совершенно безкорыстно... Хотя, конечно, если вашъ домъ будетъ горѣть... хе, хе... это, признаюсь, не особенно для меня пріятно... У меня всѣ шансы тоже погорѣть. Это, какъ хотите, щекотливый вопросъ. Нельзя всегда думать только о себѣ. Впрочемъ если вы ручаетесь за Катерину...

БАРЬЕ (нервнштително). Я ручаюсь и не ручаюсь... То, что вы мнѣ сказали... Шш... вотъ она. Будемъ говорить о другомъ. (*Катерина входитъ, неся сложенный вдвое тюфякъ, въ которомъ свернуты простыни, однѣло, подушка и т. д., она быстро стелетъ себѣ на полу постель*). А что... они много у васъ забираютъ?

РАКИЛЬЕ. Въ кредитъ?

БАРЬЕ. Нѣтъ, я не обѣ этомъ. Я хотѣлъ спросить очень ли они требовательны, много ли приходится за ними ухаживать, или они сами все дѣлаютъ?

РАКИЛЬЕ. Не могу жаловаться. У меня офицеръ... очень порядочный... Говоритъ по-французски какъ мы съ вами... хороший музыкантъ, что весьма пріятно. (*Съ оттѣнкомъ пренебреженія*). У васъ вѣдь только унтер-офицеръ?

БАРЬЕ (задѣтый). Унтер-офицеръ *porte-éfée* и два солдата.

РАКИЛЬЕ. Видите я правъ, говоря вамъ, что старшій по чину...

БАРЬЕ. Конечно, и мы вамъ очень благодарны. Онъ изъ любезности предложилъ намъ уложить солдатъ на соломѣ. Довольно съ нихъ и этого, говоритъ. Но мы, конечно, не допустили и дали всѣмъ кровати. Надо войти въ ихъ положеніе. Когда люди вынесли такие труды, они не прочь понѣжиться... Не такъ ли? (*Катерина уходитъ*).

РАКИЛЬЕ. Еще бы. Поэтому Катерина будетъ спать на полу?

БАРЬЕ. Н... да... къ тому же такимъ манеромъ, она постоянно будетъ у насъ на виду. Мы должны принять всѣ предосторожности. Если случится несчастье...

РАКИЛЬЕ. Не несчастье, а катастрофа. Если, разстрѣлявъ васъ троихъ, они сожгутъ и меня...

БАРЬЕ. Вы стало быть находите мое поведеніе...

РАКИЛЬЕ. Не могу скрыть, что всѣ васъ осуждаютъ, такъ что признаюсь, я счелъ благоразумнымъ замаскировать ваши настоящія намѣренія...

БАРЬЕ. То есть?

РАКИЛЬЕ. На всякий случай и благодаря любезности моего офицера, я заручился пропускомъ для Катерины. Если вы найдете нужнымъ ее спровадить — мигните только мнѣ и мы это устроимъ безъ всякихъ затрудненій и проволочекъ.

БАРЬЕ. А! И... онъ у васъ, этотъ пропускъ?

РАКИЛЬЕ. Да... въ сущности я могу вамъ его дать сейчасъ. Это ни къ чему не обязываетъ. Если вы имъ не воспользуетесь, вы мнѣ его возвратите. (*Катерина входитъ, таща чемоданъ*). Покойной ночи. Я совсѣмъ разбитъ и иду спать.

БАРЬЕ (*привождая его*). Мы тоже уляжемся, какъ только наши солдаты пообѣдали. Покойной ночи (*Пожимая руку, удерживаетъ его на порогѣ*). Спасибо... мы этого никогда не забудемъ.

РАКИЛЬЕ. Полноте. Не стоитъ... не стоитъ... (*выходитъ*).

Я В Л Е Н И Е XI.

БАРЬЕ, КАТЕРИНА, ПОТОМЪ Г-ЖА БАРЬЕ.

(*Барбѣсглядитъ то на пропускъ, то на Катерину, занятую своимъ чемоданомъ.*)

КАТЕРИНА. У господина Ракилье, стало быть только одинъ офицеръ.

БАРЬЕ. Да.

КАТЕРИНА. И одного много.

БАРЬЕ (*подходя*). Что ты еще тамъ ворчишь?

КАТЕРИНА (*которая стояла нагнувшись надъ чемоданомъ, вдругъ выпрямляется и гневно говоритъ*). А то... что мочи моей больше нѣтъ... я у васъ тутъ хуже собаки... Виданное ли это дѣло, что бы барыня сама всю работуправляла... Ходить за ними, за этими, а я сижу сложа руки, точно меня тутъ и нѣть. Хорошее времячко настало—все шоворотъ на выворотъ... хозяйка замѣсто прислуги (*Барбѣс хочетъ что-то сказать*). Нѣтъ, сударь, какъ вамъ угодно, а я не могу молчать. Хоть душу отвести дайте, а то лопнешь.

БАРЬЕ. Катерина!

КАТЕРИНА (*смягчаюясь*). Что грѣха таить... Тяжко мнѣ, охъ тяжко смотрѣть, какъ эти разбойники у насъ...

Г-ЖА БАРЬЕ (*входя при этихъ словахъ*). Да замолчишь ли ты наконецъ.

БАРЬЕ. Она успокоится только тогда, когда настъ всѣхъ изъ-за нея перерѣжутъ.

КАТЕРИНА (*продолжая*). Что и говорить—много я отъ нихъ горя приняла—сердце кровью обливается... когда вспомнишь... А все-таки это не порядокъ, чтобы вы за меня работали, а я бы сидѣла ровно истуканъ. На что я вамъ, за что вы мнѣ деньги платите? А коли я вамъ не нужна, не для чего меня и держать... Я не хочу даромъ хлѣбъ Ѳеть.

Г-ЖА БАРЬЕ. Послушай, не дури. Ты видишь, что мы еще не пришли въ себя... Завтра всякий примется за свое дѣло, теперь надо прежде всего отдохнуть.

КАТЕРИНА. Я лягу въ одѣждѣ... А то съ этими жильцами не ровенъ часъ... Не лечь ли мнѣ у вашей двери? Чуть что, а я ужъ тутъ... готова.

Г-ЖА БАРБЬЕ. Нѣтъ... спасибо.

БАРБЬЕ (*тихо*). Она что-то замышляетъ. Она не хочетъ раздѣваться, чтобы лучше обмануть.

Г-ЖА БАРБЬЕ. Надо слѣдить за ней.

КАТЕРИНА (*надѣвавъ ночной чепчикъ*). Что же вы не ложитесь?

БАРБЬЕ. Сейчасъ... я хочу наколоть еще нѣсколько флаговъ на карту. (*Кладетъ на столъ карту и садится, по другую сторону усаживается его жена*).

КАТЕРИНА (*ложится*). Какъ угодно... Покойной ночи.

БАРБЬЕ (*тихо женѣ черезъ столъ*). Притворяется... какая хитрая.

Г-ЖА БАРБЬЕ. Если оставить ее одну, она черезъ пять минутъ будетъ у пруссаковъ.

БАРБЬЕ. Ты заперла кухонные ножи? Ракилье говоритъ...

Г-ЖА БАРБЬЕ. Все... до послѣдняго вертѣла.

БАРБЬЕ. Въ ея рукахъ самый обыкновенный предметъ можетъ обратиться въ оружіе... подсвѣчникъ, напримѣръ. Надо спрятать наши массивные подсвѣчники. Ракилье правъ... въ орудіяхъ преступленія никогда не бываетъ недостатка. Ужъ если онъ что говоритъ, значитъ, это не даромъ...

Г-ЖА БАРБЬЕ (*наклоняясь къ нему*). Онъ вѣрно еще что-нибудь слышалъ?

БАРБЬЕ (*придвигаясь*). Хотятъ ни болѣе ни менѣе, какъ донести на насъ надлежащимъ властямъ. (*Г-Жа Барбье въ ужасъ дѣлаетъ движеніе, но Барбье ее останавливаетъ, прикладывая палецъ къ губамъ*). Подойди къ ней потихонько и посмотри спить ли она. (*Г-Жа Барбье на ципочкахъ подходитъ къ Катеринѣ, наклоняется надъ ней и такъ же осторожно возвращается*).

Г-ЖА БАРБЬЕ. Она спить. Что ты говорилъ?

БАРБЬЕ. Всѣ требуютъ, чтобы мы приняли какое-нибудь рѣшеніе. Сосѣди уполномочили Ракилье предупредить меня объ этомъ. Онъ изъ деликатности не сказалъ этого прямо, но это ясно, какъ день.

Г-ЖА БАРБЬЕ. Не понимаю.

БАРБЬЕ. Сейчасъ поймешь. На всѣхъ стѣнахъ прибиты объявленія, что тѣ дома, въ которыхъ будутъ дурно обращаться съ солдатами его величества, будутъ сожжены, не говоря уже о кровавой расправѣ, которая ждетъ виновныхъ и ихъ сообщниковъ. (*Г-Жа Барбье опускается на стулъ, совершенно уничтоженная*). И поэтому нѣсколько не преувеличиваю, говоря что судьба околодка въ нашихъ рукахъ. Съ нашего дома огонь можетъ перейти насосѣднія строенія и охватить весь городъ... Не удивительно, что всѣ противъ настѣ.

Г-жа БАРЬЕ. Неужели Ракилье не далъ тебѣ никакого совѣта?
БАРЬЕ. Напротивъ... и единственno что намъ остается — это послушаться его совѣта.

Г-жа БАРЬЕ. Ну?

БАРЬЕ. Ну... отправить Катерину и больше ничего.

Г-жа БАРЬЕ (*вставая*). Отправить Катерину? Что это ты говоришь? Дѣвушку, которая не задумается умереть за насть...

БАРЬЕ. При условіи взаимности. Благодарю покорно.

Г-жа БАРЬЕ. Домъ безъ Катерины? Да тѣ же самые люди, которые теперь требуютъ ея удаленія, первые будутъ насъ упрекать за это.

БАРЬЕ. Ахъ... точно я не знаю, что другой такой Катерины намъ не найти! Но мы не имѣемъ права быть эгоистами. На насъ лежитъ отвѣтственность за другихъ.

Г-жа БАРЬЕ. А если она не захочетъ уйти изъ Версаля?

БАРЬЕ. Она слишкомъ намъ предана, слишкомъ настъ любить... чтобы насъ огорчить...

Г-жа БАРЬЕ. Но подумалъ ли ты, куда она, несчастная, дѣнется?

БАРЬЕ. Въ это мы не имѣемъ права вмѣшиваться... вѣроятно она вернется въ Нормандію, на родину.

Г-жа БАРЬЕ. Черезъ прусскія линіи?

БАРЬЕ. Съ пропускомъ не страшно.

Г-жа БАРЬЕ. Да гдѣ-жъ она его возьметъ, этотъ пропускъ?

БАРЬЕ (*вынимаетъ изъ кармана*). А вотъ онъ!

Г-жа БАРЬЕ. Какъ ты его добылъ?

БАРЬЕ. Ракилье обо всемъ позаботился. Этотъ человѣкъ наше провидѣніе.

Г-жа БАРЬЕ. Нѣтъ... нѣтъ... мы не должны даже думать объ этомъ.

БАРЬЕ. Ты, слѣдовательно предпочитаешьъ, чтобы на насъ до-несли? Я нахожу, что ты слишкомъ легко распоряжаешься нашимъ существованіемъ. Въ концѣ концовъ Катерина намъ чужая, мы всегда аккуратно платили ей жалованье. Она намъ обязана 25-ти лѣтнимъ покоемъ... Она тоже бывала больна... правда рѣдко... Что же! Развѣ ей отказывали въ уходѣ? Мы квиты...

Г-жа БАРЬЕ. Это дурно... Словамъ Катерины придали такое значеніе, котораго они не имѣли, я убѣждена въ этомъ.

БАРЬЕ. Потому что, какъ у всѣхъ женщинъ, у тебя на первомъ планѣ чувство, даже тамъ, гдѣ его вовсе не нужно. Но, положимъ, я съ тобой соглашусь — все это преувеличено, прекрасно. Но огонь-то вѣдь не тлѣтъ, онъ не погасъ. Предположи, что эти солдаты, такъ долго лишенные всего... всего... позволять себѣ въ обращеніи съ

Катериной... нѣкоторыя вольности... А обѣ этомъ ты не подумала!.. И огонь опять всыхнетъ. Несчастіе, видиши ли совершается обыкновенно очень быстро и предупредительная мѣры не болѣе какъ долгъ.

Г-жа Барбье. У меня никогда не хватитъ духу сказать ей.

Барбье. Я самъ ей скажу. Я не намѣренъ проводить ночи, подобныя сегодняшней.

Г-жа Барбье. Неужели... ты сейчасъ... хочешь...

Барбье. Нѣтъ... но завтра на разсвѣтѣ. Надо, чтобы всѣ видѣли, что она ушла.

Г-жа Барбье. Нужно дать ей по крайней мѣрѣ время собраться.

Барбье. Наоборотъ. Отсрочка можетъ имѣть шагубныя послѣдствія. Я думаю, лучше всего, если, проснувшись, она найдетъ свои вещи собранными... У ней не будетъ предлога медлить.

Г-жа Барбье. Значитъ, я должна уложить ея чемоданъ?

Барбье. Зачѣмъ чемоданъ? Это только ее затруднитъ... Небольшой узелъ съ самыми необходимыми вещами — вотъ по моему все, что нужно. Впрочемъ, тебѣ лучше знать, что она можетъ унести. Ну, помоги же мнѣ. (*Подходитъ къ чемодану и поднимаетъ его за одинъ конецъ; жена, послѣ небольшого колебанія, берется за другой конецъ. Оба осторожно опускаютъ чемоданъ у стола, на которомъ Барбье разослали салфетку. Жена приподняла крышку*). Платье, юбка немного бѣлья... Это вѣдь необходимо да?

Г-жа Барбье (*вытаскивая изъ чемодана платье*). Вотъ платье. Это послѣднее, которое я ей подарила.

Барбье. Ты его надѣвала въ Версали?

Г-жа Барбье. Да.

Барбье. Въ такомъ случаѣ давай другое. Оно можетъ обнаружить, что Катерина ушла отъ насъ, еслиъ съ ней приключилось несчастіе. (*Она подаетъ ему юбку, которую онъ укладываетъ въ салфетку*). Ну, юбку пожалуй... (*жена подаетъ платье*) и платье, если оно не твоё. (*Кладетъ въ салфетку*).

Г-жа Барбье. Вотъ бѣлье?

Барбье. Мѣтки ея? Ладно.

Г-жа Барбье. Моя старая шаль; я ее такъ рѣдко надѣвала.

Барбье (*отстраняя*). Не надо, не надо... Въ чемоданѣ нѣть ничего такого, что бы могло навлечь на насъ непріятности?

Г-жа Барбье. Нѣтъ, смотри самъ.

Барбье (*пошаривъ въ чемоданѣ*). А это? Артиллерійскій значекъ ея брата (*кладетъ въ чемоданѣ*).

Г-жа Барбье. Не будетъ-ли ей чего, если это найдутъ въ ея узлѣ?

Барбье. Это воспоминаніе о ея братѣ. Оно ей дорого. Мы не имѣемъ права оставлять это у себя.

Г-жа БАРЬЕ (тоже наклонившись надъ чемоданомъ). О Барбье... Барбье...

БАРЬЕ. Что тамъ еще?

Г-жа БАРЬЕ (надъвая на свой кулакъ дѣтскій чепчикъ). Взгляни: ты не узнаешь? Это чепчикъ нашихъ малютокъ. Она его сохранила... Бѣдняжка! Какъ она ихъ любила... Ахъ, не думала я, что ей придется разстаться съ нами.

БАРЬЕ. Нельзя повелѣвать событиями. Ну все? (заязыкаетъ салфетку). Теперь ее разбуджу.

Г-жа БАРЬЕ (загораживая ему дорогу). Постой Барбье...

БАРЬЕ. Повторяю тебѣ — это вопросъ жизни и смерти. Я глава семьи и знаю свой долгъ. (Онъ подходитъ къ постели, сопровождаемый женой). Катерина! (романс) Катерина! (Катерина вскакиваетъ и растерянно оглядывается).

КАТЕРИНА. Что это? Вы уже на ногахъ?

БАРЬЕ. Да... мы плохо спали... до насъ дошли дурныя вѣсти...

КАТЕРИНА (садясь на постели). Еще какія-нибудь гадости?

БАРЬЕ. Нѣтъ... только причиняютъ горе, большое горе, заставляя насъ принять рѣшеніе, которое разрываетъ намъ сердце... повѣрь мнѣ... (г-жа Барбье утираетъ слезы).

КАТЕРИНА (вставая). И барыня отъ этого плачетъ?

Г-жа БАРЬЕ (подходя къ ней и беря ее за руку). Повѣрь, мы сдѣлили все, чтобы избѣгнуть этой крайности. Съ болью въ сердце, по принужденію...

БАРЬЕ. Именно по принужденію. Этого требуетъ весь околотокъ.

КАТЕРИНА (оглушенная). Да чего имъ еще?

БАРЬЕ (подождавъ, чтобы отвѣтила жена). Всѣ требуютъ, чтобы мы съ тобой разстались. (Катерина вздрагиваетъ). На время.

КАТЕРИНА (опустивъ руки). Не можетъ быть!

Г-жа БАРЬЕ. И ты тоже умна? Попла вдругъ разсказывать, что если тебѣ попадутся прусаки, ты имъ заткнешь глотку. Развѣ про такія вещи говорять! Твою угрозу теперь вспомнили, прикрасили и теперьсосѣди, боясь чтобы изъ-за тебя всѣмъ не досталось, настаиваютъ, чтобы ты ушла... Не мы тебя отсылаемъ...

КАТЕРИНА. И то хорошо...

БАРЬЕ. Мы отдаемъ должное твоимъ качествамъ, твоему усердію, твоей преданности. У меня есть связи. Я постараюсь добиться для тебя награды, которая выдается старымъ вѣрнымъ слугамъ... Разсчитывай на меня. Но теперь бесполезно пытаться поколебать наше рѣшеніе. (Катерина начинаетъ рыдать). Барыня собрала для тебя въ узелокъ самое необходимое. Остальное мы тебѣ перешлемъ, какъ только восстановится сообщеніе.

Г-жа БАРЬЕ. Намъ достали для тебя пропускъ... мы даримъ тебѣ еще немного денегъ на дорогу.

КАТЕРИНА (сквозь слезы). Не надо... у меня есть.

БАРЬЕ (тихо женъ). Не настаивай. Это ее обижаетъ.

КАТЕРИНА. Если вамъ изъ-за меня грозитъ бѣда, я уйду. Я на это не обижаюсь... Сама понимаю (снимаетъ чепчикъ).

БАРЬЕ. Ты славная девушка... Ты вернешься теперь къ своимъ, да? Тебѣ придется пройти черезъ прусскія линіи. У меня къ тебѣ просьба. Береги себя для насть, будь осторожна, особенно въ этой мѣстности, гдѣ насть всѣ знаютъ и гдѣ бы ты могла не только намъ повредить, но подвергнуть опасности нашу жизнь. Пока ты не будешь далеко отсюда, твоя судьба такъ сказать, связана съ нашей. Мы надѣемся, что ты этого не забудешь и почерпишь въ этой мысли силы сдерживать свои чувства, какъ сдерживаю ихъ я.

КАТЕРИНА (громко рыдала). Я никогда... никогда... не желала... зла...

БАРЬЕ. Мы въ этомъ убѣждены. Ты уносишь съ собой наше полное уваженіе. Еслибы люди, требующіе твоего удаленія, знали тебя, какъ мы, они бы не были такъ настойчивы... Надо имъ простить... Окупациія такъ тяжела для всякаго французскаго сердца, что некоторая слабость извинительна.

Г-жа БАРЬЕ. Собираися, голубушка. По моему тебѣ лучше уйти на разсвѣтѣ, это не такъ утомительно.

БАРЬЕ. Еслибы ты могла уйти раньше, чѣмъ проснутся прусаки... это бы тебя избавило отъ непріятности ихъ видѣть... Ты уйдешь по крайней мѣрѣ подъ впечатлѣніемъ только нашей искренней любви къ тебѣ.

КАТЕРИНА (машинально одѣваясь). Кого... кого... вы возьмете на мое мѣсто?

Г-жа БАРЬЕ. Никого.

БАРЬЕ. Я тебѣ обѣщаю, что никто не займетъ твоего мѣста у нашего очага.

КАТЕРИНА. Вотъ этому я рада. Но вы это только такъ говорите, чтобы меня потѣшить. Гдѣ вамъ обойтись безъ прислуги... Вы возьмете новую... ничего то она не будетъ знать, пожалуй еще воровка какая нибудь попадется (Опять плачетъ). О! Господи Иисусе!..

БАРЬЕ. Полно... полно... Настанутъ лучшія времена... Вотъ твой узелокъ и этотъ пропускъ... Ты должна его предъявлять по каждому требованію. Спрячь его хорошенъко. (Она прячетъ его на груди). Онъ устранитъ, надѣюсь, всѣ затрудненія. Но если я ошибаюсь (слѣдуетъ все предусмотрѣть), если у тебя потребуютъ объясненій, которыхъ могутъ насть какъ нибудь компрометировать... то можетъ

быть лучше не ссылаться на насъ. Понимаешь? Не говорить ни откуда ты идешь, ни гдѣ ты служила... Послѣ войны — другое дѣло... Можешь располагать нами по своему усмотрѣнію.

КАТЕРИНА. Спасибо вамъ за вашу доброту.

Г-жа БАРБЬЕ. Не можемъ ли мы что нибудь сдѣлать для тебя? Подумай... Если только это возможно...

КАТЕРИНА. Ахъ... я была бы такъ довольна... еслибы...

БАРБЬЕ (вмѣстѣ). Еслибы что?

КАТЕРИНА. Еслибы вы позволили мнѣ поцѣловать васъ на прощанье... Авось это принесетъ мнѣ счастье... и мы... свидимся...

Г-жа БАРБЬЕ. Ахъ, голубушка, конечно! (обнимаетъ ее).

БАРБЬЕ. Право, сердце радуется, когда видишь такую благодарность. (Тоже обнимаетъ ее).

Г-жа БАРБЬЕ. Это дождь идетъ. (Подходитъ къ окошку и открываетъ его). Льетъ, какъ изъ ведра. Въ такую погоду жалко собаку на улицу выслать.

БАРБЬЕ. Теперь ужъ время такое.

Г-жа БАРБЬЕ (Катеринѣ). Покройся хорошенько.

КАТЕРИНА. У меня есть ваша шаль. (Барбье дѣлаетъ женій знаки).

Г-жа БАРБЬЕ (смузенено). Да... шаль...

БАРБЬЕ (останавливая Катерину, которая хочетъ открыть чемоданъ). Зпаешь... я не совсѣмъ тебѣ... въ твоихъ же интересахъ... Плохая это одежда для путешествія, по непріятельскому лагерю. Подумаю еще, что ты скрываешь какое нибудь оружіе... Тебя обыщутъ, напугаютъ... Нѣтъ, не надо шали... (обращаясь къ женѣ). Какъ ты думаешь?

Г-жа БАРБЬЕ. Да... Пожалуй, что и такъ... Ступай ужъ лучше въ свое пальтишкѣ. (Помогаетъ Катеринѣ одѣться. Барбье подаетъ ей узелъ). До свиданія... Ужъ свѣтаетъ... (мужу). Погаси лампу. (Идетъ съ Катериной въ глубину сцены и останавливается при восхищаніи Барбье).

БАРБЬЕ. Катерина! (идетъ къ ней) Ахъ, чортъ возьми, я чуть не забылъ...

Г-жа БАРБЬЕ. Что еще?

БАРБЬЕ (Катеринѣ). Послѣднее предостереженіе. Ты видѣла, какъ мы прятали наши деньги, серебро и драгоцѣнности!. Мы знаемъ твою скромность и конечно не сомнѣваемся... Но наши враги, чтобы узнать секретъ, прибегаютъ иногда къ жестокости, скажу больше, недостойнымъ цивилизованной націи средствамъ... Можемъ-ли мы разсчитывать на твое мужество... на твое молчаніе... не смотря ни на что?..

КАТЕРИНА. Господи... да пускай меня на куски разрѣжутъ!..

БАРБЬЕ. Спасибо.

КАТЕРИНА. Я тоже забыла вать... попросить... Когда будете писать дѣтямъ... поклонитесь имъ отъ меня... Пошли имъ Богъ счастья!.. (Уходитъ съ узелкомъ въ руки. На порогъ ее останавливается вътеръ, она оборачивается, еще разъ долю кланяется Барбье и исчезаетъ).

Я В Л Е Н И Е XII.

Г. и г-жа БАРБЬЕ, потомъ РАКИЛЬЕ.

Г-жа БАРБЬЕ (*затворяя дверь*). А ливень-то какой! Точно потопъ!

БАРБЬЕ. Ужо разгуляется.

Г-жа БАРБЬЕ. А вѣдь она какъ-то скорѣе согласилась, чѣмъ я думала.

БАРБЬЕ. А можетъ быть она въ душѣ очень мало о насть сожалѣеть?

Г-жа БАРБЬЕ (*обиженно*). Напрасно. Мы кажется всегда были къ ней добры.

РАКИЛЬЕ (*входитъ отряхиваясь*). Что за погода, ужасъ! Ну, что устроилось дѣло? она ушла?

БАРБЬЕ. А развѣ ее видѣли... соѣди?..

РАКИЛЬЕ. Всѣ въ восторгѣ! Приншу вамъ отъ всѣхъ чувствительную благодарность. Большое, знаете, облегченіе для всего сосѣдства! Впрочемъ, отъ васъ всѣ ожидали...

БАРБЬЕ. Я умѣю жертвовать своими интересами, когда долгъ повелѣваетъ.

Г-жа БАРБЬЕ (*глядя на первое окно, мимо котораго медленно проходятъ три прусскія каски—показываясь потомъ въ слѣдующемъ окнѣ*). Посмотрите... Неужели это возможно?

РАКИЛЬЕ. Что такое?

БАРБЬЕ. Какъ! Въ такую погоду — и они идутъ на ученіе?

РАКИЛЬЕ. А, еще бы!

Г. и г-жа БАРБЬЕ (*смѣясь*). Ахъ, бѣдные!

ЗАНАВѢСТЬ.

ИЗЪ ДНЕВНИКА АМIELЯ.

Переводъ съ французскаго гр. М. Толстой, подъ редакціей гр. Льва Толстого.

23 мая 1873 г. Основное заблужденіе Франціи заключается въ ея психологіи.

Ей всегда казалось что то, что сказано, все равно, что сдѣлано. точно слово есть дѣло, будто краснорѣчіе можетъ восторжествовать надъ наклонностями, привычками, характеромъ, надъ дѣйствительною жизнью, будто болтовня можетъ замѣнить собою волю, совѣсть, воспитаніе. Франція дѣйствуетъ выстрѣлами краснорѣчія, пушекъ или декретовъ; она воображаетъ измѣнить такимъ образомъ природу вещей, и производитъ только фразы или развалины. Она никогда не понимала первой строчки Монтескье: „законы суть необходимыя соотношенія, вытекающія изъ природы вещей“. Она не хочетъ видѣть, что ея безсиліе создать свободу лежитъ въ самой натурѣ ея, ея понятіяхъ о личности, обществѣ, религіи, правѣ, долгѣ, въ ея системѣ воспитанія дѣтей.

Она сажаетъ деревья корнями вверхъ и удивляется послѣдствіямъ! Всеобщая подача голосовъ, при ложной религіи и дурномъ народномъ образованіи, заставляетъ ее вѣчно колебаться между анархіей и диктатурой, между краснымъ и чернымъ, между Дантономъ и Лайолой. Сколько еще зарѣжетъ Франція козловъ отпущенія, прежде, чѣмъ покаяться?

18 августа 1873 г. Тысячи мыслей бродили въ моемъ мозгу. Я думалъ, сколько должно было совершиться историческихъ фактовъ, чтобы создать то, что я видѣлъ: Гудея, Египетъ, Греція, Германія, Галлія, всѣ эти вѣка отъ Моисея до Наполеона, и всѣ географические пояса отъ Батавіи до Гвіаны, всѣ участвовали въ общей работе для этого соединенія. Промышленность, наука, искусство, географія, торговля, религія всего человѣческаго рода отражаются во всякомъ человѣческомъ проявленіи и то, что тутъ вотъ передъ нашими глазами, необъяснимо безъ всего предшествующаго. Поразителенъ тотъ

фактъ, что нужно сплетеніе цѣлыхъ десятковъ тысячъ людей, чтобы создать одно явленіе. Чувствуется присутствіе закона, таинственная мастерская природы.

Эфемеридъ созерцаетъ вѣчное.

22 августа 1873 г. Почему доктора очень часто даютъ плохіе совѣты? — Потому, что они недостаточно индивидуализируютъ свою диагностику и лечение. Они причисляютъ больного къ категоріи, соответствующей ихъ наукѣ о болѣзняхъ, а между тѣмъ каждый больной своеобразенъ. Можетъ-ли быть основательно лечение при такой грубой сортировкѣ? Всякая болѣзнь есть простой или сложный факторъ, который увеличивается другимъ всегда сложнымъ факторомъ, а именно—особенностями больного индивидуума, такъ что результатъ есть частная задача, требующая всегда частнаго рѣшенія, въ особенности по мѣрѣ того, какъ мы удаляемся отъ дѣтства и отъ деревенской жизни. Главный упрекъ мой докторамъ въ томъ, что они оставляютъ истинную задачу, состоящую въ томъ, чтобы понять индивидуумъ, которымъ они заняты въ его отдельности. Ихъ пріѣмы изслѣдованія слишкомъ элементарны.

11 сентября 1873 г. Амстердамъ. Только что вышелъ докторъ. Онъ нашелъ у меня лихорадку и полагаетъ, что выѣхать мнѣ черезъ три дня небезопасно. Я не рѣшаюсь писать своимъ женевскимъ друзьямъ, что возвращаюсь съ морскихъ купаній съ ухудшенніемъ состояніемъ горла и гораздо болѣе разстроеннымъ, чѣмъ когда яѣхалъ туда, и что я потерялъ свое время, свой трудъ, свои деньги и свои надежды.

Этотъ сложный противорѣчивый фактъ наивной надежды, возрождающейся послѣ всѣхъ разочарованій и опыта, почти всегда неблагопріятнаго, объясняется, какъ всѣ мечты, волею природы, которая хочетъ, чтобы мы были обмануты или, освободившись отъ обмана, поступали, все-таки, какъ обманутые. Скептицизмъ—разумнѣе, но онъ парализуетъ жизнь, уничтожая заблужденія. Зрѣлость ума состоить въ томъ, чтобы участвовать въ принудительной игрѣ, притворяясь, что вѣришь въ нее. Эта благодушная снисходительность, смягченная улыбкой, есть лучшій выходъ изъ этого положенія. Предаешься оптической иллюзіи, и эта добровольная уступка похожа на свободу. Разъ ты пойманъ въ существованіе, нужно добродушно подчиняться его законамъ. Борьба съ жизнью приводить къ безполезному ожесточенію, если не допускается самоубійство.

Покорное смиреніе или религиозная точка зрѣнія; разочарованная снисходительность съ оттѣнкомъ ироніи, или точка зрѣнія свѣтской мудрости: только эти два положенія возможны.

Второе достаточно при разочарованихъ и непріятностяхъ, первое же, я думаю, необходимо въ великихъ страданіяхъ жизни.

Пессимизмъ Шопенгауэра предполагаетъ, по крайней мѣрѣ—здравье и дѣятельность мысли, чтобы поддержать себя. Но нуженъ стопческій или христіанскій оптимизмъ, чтобы переносить страданія плоти, души и сердца. Чтобы избѣгнуть порывовъ отчаянія, нужно вѣрить, по крайней мѣрѣ, что все есть благо, или что страданіе есть отеческая милость, очистительное испытаніе.

Мой символъ вѣры разрушился, но я вѣрю въ добро, въ нравственый порядокъ и спасеніе; религія для меня состоитъ въ томъ, чтобы жить и умереть въ Богѣ, предаваясь всецѣло святой волѣ, выражющейся въ природѣ и судьбѣ.

Я вѣрю даже въ Добрую Вѣсть, т. е. въ возвращеніе грѣшника въ милость Божію черезъ вѣру въ любовь Отца, который все прощаетъ.

Каждый человѣкъ переживаетъ все съ самаго начала и ни одна ошибка первого человѣка не была избѣгнута его тысячнымъ наслѣдникомъ. Общественный опытъ накапливается, а личный опытъ исчезаетъ вмѣстѣ съ личностью. Естественное послѣдствіе этого то, что учрежденія становятся болѣе мудры, безъимянная наука увеличивается, но нынѣшній юноша, хотя и болѣе образованный чѣмъ прежде, все также самонадѣянъ и не менѣе подверженъ ошибкамъ, какъ и прежде. Быть можетъ все улучшилось, но самъ человѣкъ положительно не сталъ лучше, онъ только сталъ другимъ. Его недостатки и добродѣтели измѣняютъ только форму, но въ общемъ выводѣ нѣть обогащенія. Тысяча вещей идетъ впередъ, девятьсотъ девяносто восемь назадъ,—въ этомъ—прогрессъ. Тутъ нечѣмъ гордиться, хотя можно утѣшиться.

4 февраля 1874 г. У Гаве есть такого рода ошибка. Оно христіанство дѣлаетъ синонимомъ римского католичества и церкви. Я хорошо знаю, что римская церковь дѣлаетъ то-же самое и что съ ея стороны это приравниваніе законно, но научно это несправедливо.

Не слѣдуетъ даже отождествлять христіанства съ евангеліемъ, ни евангелие съ религіей вообще. Критическая точность должна разсѣивать эти постоянныя смѣшанія, которыми изобилуетъ практика и проповѣдь. Распредѣлять идеи, различать ихъ, опредѣлять ихъ, ставить ихъ на свое мѣсто—есть главная обязанность науки, когда она касается такихъ хаотическихъ и сложныхъ вещей какъ нравы, языки или вѣрованія. Запутанность есть условіе жизни, порядокъ и ясность есть признакъ серьезной и побѣдоносной мысли.

Въ старину превратны и ложны были понятія о природѣ, теперь таковы понятія психологическая и нравственная. Наилучшимъ исхо-

домъ изъ этого столпотворенія вавилонскаго было бы составленіе или подготовленіе науки о человѣкѣ, которая была бы истинно научна.

16 февраля 1874 г. Обращаясь къ толпѣ, которая уже со-
ставляетъ силу, а въ понятіи республиканцевъ даже и право, Клеоны
всегда кричали, что въ ней кромѣ того и свѣтъ, и мудрость, и мысль,
и разумъ. Льстить толпѣ, чтобы сдѣлать себѣ изъ нея орудіе, такова
игра этихъ фокусниковъ и престидигитаровъ всеобщей подачи го-
лосовъ. Они притворяются, что обожаютъ марionетку, которую они
заставляютъ двигаться.

Теорія радикализма есть шарлатанство, потому что она предпо-
лагаетъ посылки, ложность которыхъ она знаетъ. Она фабрикуетъ ора-
кула, и притворяется, что обожаетъ его откровеніе, она предписы-
ваетъ законъ, и дѣлаетъ видъ, что принимаетъ его, она утверждаетъ,
что толпа думаетъ, тогда какъ ловѣй человѣкъ думаетъ за нее и
внушаетъ ей то, что это она, будто-бы, придумываетъ. Льстить, чтобы
властствовать, въ этомъ пріемѣ придворныхъ во всѣхъ самодержавіяхъ,
любимцевъ всѣхъ тирановъ. Онъ старъ и пошлъ; тѣмъ не менѣе онъ
ненавистенъ.

Честная политика должна поклоняться только справедливости и
разуму и должна проповѣдывать ихъ народу, который въ среднемъ
представляетъ изъ себя дѣтской возрастъ, а не возрастъ возмужа-
лости. Развращаютъ дѣтство, если говорятъ ему, что оно не можетъ
обманываться и что въ немъ больше свѣта, чѣмъ въ тѣхъ, которые
предшествуютъ ему въ жизни. Развращаютъ народъ, когда говорятъ,
что онъ есть мудрость, ясновидѣніе и обладаетъ даромъ непогрѣ-
шимости.

Монтескье тонко замѣтилъ, что чѣмъ больше собрать мудрецовъ,
тѣмъ менѣе получится мудрости. Радикализмъ же предполагаетъ, что
чѣмъ болѣе соберется невѣждъ, людей, живущихъ страстями и нера-
зумныхъ, въ особенности людей молодыхъ, тѣмъ болѣе выдѣлится изъ
нихъ свѣта.

27 февраля 1874 г. Среди народовъ съ очень развитою обще-
ственностью, личность боится болѣе всего смѣшного, а быть оригинальнымъ—кажется смѣшнымъ. Никто не хочетъ быть въ сторонѣ отъ
общества, каждый хочетъ быть со „всѣми“. Общее мнѣніе—это вели-
кая сила, она есть властелинъ и называется *всѣ*. *Всѣ* одѣваются,
всѣ обѣдаютъ, *всѣ* гуляютъ, *всѣ* выходятъ, *всѣ* входятъ—вотъ такъ,
а не вотъ этакъ. Эти *всѣ* всегда правы, что бы они ни дѣлали. Поданные *всѣхъ* болѣе низкопоклонны передъ ними, чѣмъ рабы
Востока передъ падишахомъ. Прихоть этого властелина рѣшаеть без-

аппеляционно; его капризъ есть законъ. То, что говорятъ или дѣлаютъ *всѣ*, называется обычаемъ, то, что они думаютъ, называется мышніемъ, то, что они находять прекраснымъ или хорошимъ, называется модой.

У народовъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, *всѣ*—есть мозгъ, сознаніе, сужденіе, вкусы и разумъ людей, каждый находитъ все решаемъ, помимо своего участія; онъ избавленъ отъ напряженія обдумывать и решать чтобы-то ни было. Ему нечего бояться, только бы онъ подражалъ, копировалъ и повторялъ образцы, представляемые ему *всѣми*; онъ знаетъ все, что нужно знать, и спасенъ.

29 апреля 1874 г. Наше сознаніе подобно книгѣ, листы которой, переворываемые жизнью, послѣдовательно закрываютъ другъ друга вслѣдствіе своей непрозрачности; и хотя-бы книга была открыта на страницѣ настоящаго, вѣтеръ всякую минуту можетъ перевернуть листы и открыть передъ нами первыя страницы. Быть можетъ при смерти листы перестанутъ прикрывать другъ друга и мы увидимъ все наше прошедшее сразу? Можетъ быть это будетъ переходъ отъ послѣдовательного къ одновременному, т. е. отъ времени къ вѣчности? Можетъ быть мы поймемъ тогда въ ея единствѣ всю поэму или таинственный эпизодъ нашего существованія, произносимый до того времени по-складамъ—фраза за фразой? Не оттого-ли часто облекается такимъ величиемъ (побѣды надъ смертью) лицо и чело тѣхъ, которые только что умерли? Тутъ есть аналогія съ положеніемъ путешественника, достигшаго вершины большой горы, откуда развертывается передъ нимъ вся панорама страны, виденная прежде урывками. Обозрѣвать свою собственную исторію, угадывать смыслъ ея во всеобщей гармоніи и въ божескомъ планѣ — это было бы началомъ блаженства. До этого приносились жертвы ради порядка, теперь-же намъ становится доступно наслажденіе красотой его. То мы были исполнителями подъ управлениемъ капельмейстера, теперь становимся изумленными и восхищенными слушателями. То мы видѣли только свою маленькую тропинку въ туманѣ; теперь-же чудесная панорама неизмѣримыхъ перспективъ развертывается вдругъ передъ ослѣпленнымъ взоромъ. Почему- же и не такъ?

1 сентября 1874 г. Равнодушная природа? Сатанинская сила? Или добрый, праведный Богъ? Три точки зрѣнія. Вторая—неправдоподобна и ужасна. Первая—призываетъ къ стоицизму. Мой организмъ былъ скорѣе слабымъ. Онъ протянулся сколько могъ. Каждому свой чередъ, нужно покориться. Уничтожится сразу это особенное счастье; но ты будешь погибать понемножку. Покорись. Раздраженіе было бы без-

смысленно и бесполезно. Ты все-таки изъ лучше надѣленныхъ и твоя доля выше средней.

Одна третья точка зреінія можетъ дать радость. Но допустима ли она? Есть ли особый промыселъ Божій, руководящій всѣми обстоятельствами нашей жизни и, следовательно, посылающій намъ наши несчастія въ воспитательныхъ цѣляхъ? Эта героическая вѣра совмѣстима ли съ нынѣшнимъ знаніемъ законовъ природы? Трудно. Но можно субъективировать то, что эта вѣра признаетъ объективнымъ. Нравственное существо можетъ придать нравственный смыслъ своимъ страданіямъ, пользуясь естественнымъ явленіемъ для своего внутренняго воспитанія. То, чего оно не можетъ измѣнить—оно называетъ волей Бога, желать-же того, чего желаетъ Богъ—доставляетъ ему миръ. Природа равнодушна и къ нашей стойкости, и къ нашей нравственности. Богъ же, напротивъ, если Онъ есть, хочетъ нашей святости и, если страданіе очищаетъ насъ, мы можемъ утѣшаться въ страданії. Въ этомъ-то и состоитъ высшее преимущество христіанской вѣры; она есть торжество надъ страданіемъ, побѣда надъ смертью. Одно только нужно: смерть грѣху, умерщвленіе собственной воли, сыновняя жертва своими желаніями. Зло есть желаніе своего, т. е. своего тщеславія, своей гордости, своей чувственности, даже своего здоровья. Благо есть желаніе своей доли, принятіе своего назначенія и соединенія съ нимъ, желаніе того, что велитъ Богъ, отреченіе отъ того, что Онъ намъ запрещаетъ, согласіе съ тѣмъ, въ чемъ онъ насъ поправляетъ или въ чемъ отказываетъ намъ.

21 сентября 1874 г. Когда вѣнецъ молодости блекнетъ на нашемъ члѣвѣ, постараемся, по крайней мѣрѣ, имѣть добродѣтели зреіности; будемъ дѣлаться лучше, кротче, степеннѣе, какъ плодъ винограда по мѣрѣ того, какъ листья желтѣютъ и опадаютъ.

Умѣть старѣться есть верхъ мудрости, и одна изъ самыхъ трудныхъ сторонъ великаго искусства жить.

Тотъ, кто требуетъ отъ жизни только улучшенія своего существа, нравственного усовершенствованія въ смыслѣ внутренняго удовлетворенія и религіозной покорности, менѣе, чѣмъ кто-либо, подверженъ опасности не исполнить призванія своей жизни.

22 января 1875 г. Французскій умъ, по Джюберти, принимаетъ только форму истины и преувеличиваетъ ее, изолируя ее такъ, что исчезаютъ тѣ дѣйствительности, которыми онъ занятъ. Онъ принимаетъ тѣнь за добычу, слово за вещь, кажущееся за дѣйствитель-

ность и абстрактную формулу за истинное. Онъ не выходитъ изъ умственныхъ ассоциаций. Поговорите съ французомъ объ искусствѣ, объ языѣ, о религіи, о государствѣ, о долгѣ, о семье, и вы почувствуете въ его манерѣ говорить, что его мысль остается вне предмета, что она не входитъ въ его сущность, въ его сердцевину. Онъ не старается понять ее въ ея существенномъ, но только—сказать о ней что-либо похожее на правду. Въ его устахъ самыя прекрасныя слова дѣлаются узкими, пустыми; напр., умъ, идея, религія. Этотъ умъ поверхности и не обнимаетъ вещей, онъ колетъ съ тонкостью, но не проникаетъ. Французскій умъ хочетъ наслаждаться собой по поводу вещей; но онъ не имѣтъ уваженія, безпристрастія, терпѣнія, забвенія себя, которые необходимы, чтобы понимать вещи такими, каковы они есть. Это не философический умъ, но только поддѣлка подъ него, потому что онъ не содѣйствуетъ разрѣшенію ни одной задачи и безспасенъ схватить все, что живо, сложно и конкретно. Абстракція есть его первородный порокъ, самонадѣянность—его неизлечимый недостатокъ и правдоподобность—его роковой предѣлъ.

Французскій языкъ не можетъ выразить ничего рождающагося, зачинающагося, онъ изображаетъ только послѣдствія, результаты. caput mortuum, но не причину, не движение, не силу, не совершение какого-бы то ни-было явленія. Онъ аналитиченъ и описателенъ, но онъ ничего не объясняетъ, потому что онъ не показываетъ началъ и образованія изъ ничего. Кристаллизація не есть для него таинственный актъ, посредствомъ котораго вещество переходитъ изъ состоянія жидкаго въ состояніе твердое, а только послѣдствіе этого акта.

Кажда истины не французская черта. Во всемъ предпочитается то, что кажется, тому, что есть, внѣшнее—внутреннему, фасонъ—матеріи, то, что блестить, тому, что служить, мнѣніе людей—сознанію. Это значитъ, что центръ тяжести француза всегда виѣ его, въ другихъ, въ публикѣ. Отдельные личности—нули; единицы, которыхъ дѣлаютъ изъ нихъ число, сообщаются имъ извнѣ; эти единицы суть—государь, модный писатель, любимый журналъ, словомъ, мгновенный хозяинъ моды. Все это можетъ происходить отъ чрезмѣрной общительности, которая убиваетъ въ душѣ мужество сопротивленія, способность изслѣдованія и личного убѣженія, уничтожаетъ стремленіе къ идеалу.

27 января 1875 г. Ламартинъ въ „Прелюдіяхъ“ удивительно выразилъ тяжесть блаженства для слабаго существа. Я подозрѣваю, что причина этой тяжести есть вторженіе безконечнаго въ существо конечное. Тутъ есть головокруженіе, ищущее поглощенія (сліянія съ безконечнымъ). Слишкомъ интензивное ощущеніе жизни стремится къ

смерти. Для человѣка умереть, это значитъ стать Богомъ. Трогательная иллюзія. Посвященіе въ великую тайну!

16 августа 1875 г. Жизнь есть только ежедневное колебаніе между возмущеніемъ и покорностью, между инстинктомъ личности, которая стремится расшириться и наслаждаться въ своей неприкоснovenности, въ своемъ царственномъ величіи, и инстинктомъ души, который стремится къ повиновенію всеобщему порядку, къ принятію воли Бога.

Холодное отреченіе разочарованного разума не есть миръ. Миръ состоить только въ примиреніи съ судьбой, когда судьба является благой въ религіозномъ смыслѣ, т. е. когда человѣкъ чувствуетъ себя непосредственно въ присутствіи Бога. Тогда только воля покоряется. Но совершенно она покоряется только тогда, когда она обожаетъ. Душа подчиняется жестокостямъ судьбы, только когда пойметъ великое возмездіе за нихъ, состоящее въ любви Всемогущаго. Другими словами—она не можетъ привыкнуть ни къ скудости, ни къ голоду, она ужасается пустоты, и ей нужно счастье надежды или счастье вѣры. Она можетъ легко перемѣнить объектъ надежды, но объектъ нуженъ ей. Она откажется отъ своихъ прежнихъ идоловъ, но она будетъ требовать другого культа. Душа алчетъ и жаждетъ счастья и если бы даже все покинуло ее, она никогда не признаетъ себя покинутой.

26 октября 1875 г. Всѣ начала — тайны; причина всякой индивидуальной или коллективной жизни — тайна, т. е. нѣчто неподдающееся разуму, неизъяснимое, неопределенное. Однимъ словомъ: всякая индивидуальность есть неразрѣшимая загадка и никакое начало не объясняется. Въ самомъ дѣлѣ, все то, что сдѣлалось, объясняется прошедшимъ, но начало чего-бы то ни-было не сдѣлалось. Оно представляетъ всегда fiat lux, начальное чудо, твореніе; потому что оно не есть слѣдствіе чего-либо другого: оно является только между прежними вещами, которые составляютъ ему среду, случай, обстановку, но которыхъ сопутствуютъ его появлению, не понимая, откуда оно явилось.

Быть можетъ также истинныхъ индивидуумовъ нѣть, а — въ этомъ случаѣ нѣть и начала, кроме одного только первоначального толчка, перваго движенія. И всѣ люди составляютъ только одного двухполаго человѣка, и человѣкъ не отдѣляется отъ животнаго и животное отъ растенія и единственный индивидуумъ есть только вся живая природа, сведенная къ живой матеріи, къ гюлозиому олеса. Но и при этой гипотезѣ только одного начала, въ абсолютномъ смыслѣ, оста-

вались-бы относительныя начала, многообразные символы первого начала. всякая жизнь, которую мы называемъ приблизительно индивидуальной, представила-бы въ миниатюрѣ исторію міра, для философа-же была-бы микроскопическимъ сокращенiemъ этого міра.

Исторія образованія идей болѣе всего освобождаетъ разумъ.

Философическая истина дѣлается популярной, только очеловѣчившись черезъ ораторскую душу, только тогда, когда она передана че-резъ даровитую личность. Чистая истина неусвояема толпою: чтобы сообщиться, она должна сдѣлаться заразительной.

30 января 1876 г. При помощи искусства возвратиться къ природѣ: эта задача была-бы прекрасна для такой архисложной литературы, какъ наша.

Также и Руссо нападалъ на литературу, обладая всѣми средствами писательского искусства, и восхвалялъ прелести дикости со всѣми уловками самого изощренного цивилизованнаго человѣка. Это-то соединеніе противоположностей и нравится особенно: прямая сладость, ученая невинность, разсчитанная простота, да и нѣтъ, безумная мудрость. Въ сущности, это та высшая иронія, которая льститъ вкусу эпохи разложенія, которая желаютъ двухъ ощущеній за-разъ, какъ улыбка Жоконды соединяетъ два противоположныхъ значенія. Удовлетвореніе выражается тогда также двусмысленной улыбкой, которая говоритъ: я очарованъ, но не обманутъ, я подъ иллюзіей и вѣя; я вамъ уступаю, но понимаю васъ; я снисходителенъ, но я гордъ; я испытываю ощущенія, но я свободенъ; вы талантливы—я уменъ, мы квиты и понимаемъ другъ друга.

1-го февраля 1876 г. Сегодня вечеромъ мы бесѣдовали о безконечно-большомъ и безконечно-маломъ. Безконечно-большое кажется г-жѣ X.... болѣе яснымъ, чѣмъ безконечно малое, потому что безконечно-большое есть число, слагающееся изъ самого себя, тогда какъ она не умѣетъ анализировать то, что должно быть измѣряемо другимъ способомъ.

Существо мыслящее можетъ поставить себя на всѣ точки зрѣнія, и заставить жить свою душу всѣми способами, но надо признаться, что очень мало людей пользуются этой возможностью. Люди вообще какъ-бы заключены въ тюрьмѣ, привинчены къ своимъ обстоятельствамъ, почти какъ животные. Они не подозрѣваютъ этого совсѣмъ, потому что они не судятъ себя. Поставить себя внѣ всѣхъ

своихъ состояній и смотрѣть внутрь своей жизни и своего существа, есть дѣло критика и философа.

Пускай воображеніе боится призраковъ, которые оно само себѣ творить,— это простительно ему потому, что оно воображеніе. Но чтобы умъ подчинялся или боялся тѣхъ категорій, которыхъ онъ порождаетъ — непростительно ему, потому что онъ, какъ сила критическая, не можетъ быть обманутъ.

А между тѣмъ сущѣрія величины есть обманъ ума, творящаго понятіе пространства. Сотворенное же не можетъ быть больше творца, синь не больше отца. Тутъ необходима поправка. Умъ долженъ освободиться отъ пространства, дающаго ему ложное понятіе о немъ самомъ. Но освобожденіе это возможно только тогда, когда мы научимся видѣть пространство въ умѣ, вместо того, чтобы видѣть умъ въ пространствѣ. Какъ же такъ? Возвративъ пространство къ его основному свойству. Пространство есть разсѣяніе, умъ—сосредоточеніе.

Поэтому Богъ вездѣ, не занимая миллиардовъ кубическихъ верстъ, ни въ сто разъ меныше, ни въ сто разъ больше.

Въ мысли міръ занимаетъ точку, но въ состояніи разсѣянія и анализа для этой мысли нужны небеса въ небесахъ.

Время, число также въ разумѣ, поэтому человѣкъ, возвратившись къ сосредоточенію разума, не меныше, а больше ихъ.

12 июля 1876 г. Горе за горемъ. Припадокъ кашля; ни хорошая погода, ни прекращеніе работы не улучшаютъ состояніе моего здоровья. Разрушеніе ускоряется. Разрушеніе преждевременное, тяжелое испытаніе? „Послѣ столькихъ несчастій что-же тебѣ остается?— Я самъ“.

Это, ли есть центральное сознаніе, стволъ всѣхъ срѣзанныхъ вѣтвей, основа, на которой совершились всѣ урѣзыванія. Скоро ничего больше не останется кромѣ этого, кромѣ голой мысли. Смерть приводитъ насъ къ математической точкѣ; разрушеніе, предшествующее ей концентрическими кругами, все болѣе и болѣе тѣсными, приводить насъ къ этому послѣднему неразрушимому убѣжищу. Я предвѣщаю этотъ полъ, въ которомъ уничтожаются всѣ формы. Я вижу, какимъ образомъ совершается возвращеніе въ мракъ и обратно—вижу, какъ выходятъ изъ него. Жизнь есть только метеоръ, путь котораго виденъ мнѣ. Рожденіе, жизнь, смерть получаютъ новый смыслъ при каждомъ фазисѣ нашего существованія. Видѣть себя какъ летящую ракету, присутствовать при убѣгающемъ феноменѣ своей жизни,— вотъ практическая психологія. Я предпочитаю созерцать міръ, который представляетъ фейерверкъ болѣе обширный и богатый; но когда болѣзнь служиваетъ мой горизонтъ и приводитъ меня къ моему ничтожеству, мое ничтожество представляетъ всетаки зрелище для моей любозна-

тельности. Интересуетъ меня во мнѣ, не смотря на мое отвращеніе, то, что я нахожу въ себѣ подлинный экземпляръ человѣческой природы, слѣдовательно образчикъ общей цѣнности. По образчику я понимаю безчисленное количество подобныхъ же положеній и моихъ ближнихъ...

Если исторія разума и сознанія есть сердцевина и сущность существованія, то быть пригнаннымъ къ психологіи, даже личной, не значить выходить изъ вопроса. Напротивъ, въ этомъ положеніи находишься въ самой серединѣ вопроса, въ центрѣ всемирной драмы.

Мысль эта утѣшительна. Все можетъ быть у насъ отнято; но если намъ остается мысль, то мы держимся еще за ось міра магической нитью. Но мы можемъ потерять мысль и слово. Остается тогда только простое чувство; чувство присутствія Бога и смерти въ Богѣ; это есть послѣдній остатокъ преимущества человѣка; преимущество участія во всемъ, въ общемъ съ абсолютнымъ.

Твоя жизнь есть молния, которая исчезаетъ въ своей тучѣ.

Но молния спасла тебя, если она показала тебѣ небо.

26 іюля 1876 г. Дневникъ располагаетъ къ лѣни, онъ избавляетъ отъ необходимости рассматривать предметы со всѣхъ сторонъ, онъ допускаетъ повторенія, слѣдуетъ за всѣми капризами и извѣлинами внутренней жизни и не ставить себѣ никакой цѣли. Этотъ дневникъ содержитъ въ себѣ матеріалъ для многихъ томовъ. Какая страшная трата времени, мысли и силъ. Онъ не будетъ ни для кого полезенъ, даже для меня онъ послужитъ скорѣе къ тому, чтобы вернуться отъ жизни, чѣмъ войти въ нее. Дневникъ замѣняетъ повѣренного, т. е. друга и жену; онъ замѣняетъ дѣятельность, онъ замѣняетъ отчество и общество. Это есть забвеніе страданія, отводящее средство, увертка. Но этотъ фактотумъ, который замѣняетъ все, самъ по себѣ ничего не представляетъ.

Что-же составляетъ исторію души? Это есть наслажданіе ея успѣховъ, списокъ ея пріобрѣтеній и ходъ ея судьбы. Чтобы твоя исторія просвѣтила кого-нибудь и заинтересовала тебя самого, нужно, чтобы она высвободилась изъ своего матеріала, упростила и очистила. Эти тысячи страницъ суть только куча листьевъ и кора дерева, изъ которой еще нужно извлечь ея сущность. Цѣлый лѣсъ хищныхъ деревьевъ не стоитъ бочки хинина. Цѣлый садъ розовыхъ кустовъ въ Смирнѣ сгущается въ одинъ фланонъ розовыхъ духовъ. Эта 29 лѣтняя болтовня резюмируется, быть можетъ, въ ничто, каждый вѣдь интересуется только своимъ романомъ и своей личной жизнью. Ты, можетъ быть, и самъ никогда не удосужишься перечитать его. Итакъ..... итакъ что-же? Ты прожилъ, а жизнь вѣдь состоить въ

повтореніи человѣческаго типа и все той же человѣческой ритурнели,— какъ это дѣлали, дѣлаютъ и будуть дѣлать во вѣки вѣковъ легіоны тебѣ подобныхъ. Сознать эту ритурнель и этотъ типъ—уже что нибудь да значитъ и мы не можемъ сдѣлать ничего большаго. Реализація типа лучше удается и ритурнель болѣе радостна, если обстоятельства благопріятны и милостивы, но сдѣлаютъ ли маріонетки такъ или иначе... *Trois petits tours et puis s'en vont.*

Три раза повернутся и потомъ упастъ¹⁾).

Все это падаетъ въ ту же бездну и все почти одинаково.

Бороться съ судьбой, отбиваться отъ нея, чтобы спастись отъ неизбѣжнаго исхода — это почти ребячество. Столѣтняя жизнь и жизнь эфемеріда суть величины очевидно эквивалентны,— геологія или астрономія позволяютъ намъ рассматривать эти жизни съ этой точки зрѣнія,— что значутъ наши незамѣтныя треволненія, наши усилия, наши злобы, наше честолюбіе, наши надежды? Смѣшно поднимать мнимыя бури ради сна во снѣ. Что значитъ для настъ тѣ сорокъ миллионовъ инфузорій, которые занимаютъ полувершковый кубъ мѣла? Что значать для селенита тѣ сорокъ миллионовъ людей, которые составляютъ Францію? Быть сознательной монацой, быть ничѣмъ, но признавать себя микроскопическимъ привидѣніемъ міра — вотъ все то, чѣмъ мы можемъ быть.

*19 сентября 1876 г. Дудану*²⁾ недоставало только дозы матеріальности, грубости и необходимаго честолюбія, чтобы занять блестящее положеніе, но оцѣненный въ лучшемъ обществѣ Парижа, онъ не искалъ ничего другого. Онъ напоминаетъ мнѣ Жуберта.

20 сентября 1876 г. Умъ состоять въ удовлетвореніи ума другого, доставляя ему заразъ два наслажденія: именно понять вещь и угадать по ней о другой, такъ сказать, убить двухъ зайцевъ заразъ. Такимъ образомъ Дуданъ никогда почти не высказываетъ прямо свою мысль, онъ скрываетъ ее и осторожно вводить ее въ сознаніе читателя намекомъ, образомъ, гиперболой, легкой ироніей, притворнымъ гнѣвомъ, разыгрываемымъ смиреніемъ, любезной хитростью. Чѣмъ болѣе различается та вещь, которую надо угадать, отъ той, которая сказана, тѣмъ болѣе пріятного изумленія для собесѣдника или корреспондента. Эта тонкая и прелестная манера выражаться даетъ возможность поучать безъ педантизма и быть смѣлимъ, не оскорбляя. Въ этой манерѣ есть что-то воздушное и аттическое, серьезное съ

¹⁾ Французская колыбельная пѣсенка.

²⁾ Французскій писатель, умершій при жизни Амеля.

шуточнымъ, фикція съ истиной, и все это—съ легкой граціей, отъ которой не отказались бы Дафонтенъ и Алквиадъ.

15 ноября 1876 г. Вотъ еще новыя приложенія закона ироніи. Каждая эпоха имѣетъ два противорѣчивыхъ стремленія, которые логически отталкиваютъ другъ друга, фактически же соединяются. Такимъ образомъ въ прошломъ въкѣ философскій материализмъ былъ сторонникомъ свободы. Теперь же дарвинисты стоять за равенство, тогда какъ дарвинизмъ доказываетъ право спльного. Безсмысленное есть характеръ жизни; существа реальная суть живыя противорѣчія, одушевленные и движущіеся паталогизмы. Согласіе съ самимъ собой было бы примиреніемъ, отдыхомъ и можетъ быть неподвижностью. Почти всѣ люди признаютъ дѣятельность и прилагаютъ ее только въ видѣ войны, внутренней войны за существование, внѣшней и кровавой войны націй, наконецъ, войны съ самимъ собой. Итакъ, жизнь есть вѣчная битва, которая хочетъ того, чего она не хочетъ, и не хочетъ того, чего она хочетъ. Отсюда то, что я называю закономъ ироніи, т. е. безсознательный обманъ; опроверженіе себя самимъ собой, конкретное осуществленіе абсурда. Неужели это необходимо? Я не думаю. Борьба есть карикатура гармоніи. Гармонія же, которая состоить въ соединеніи противоположностей, можетъ быть тоже началомъ движения. Война есть грубое и жестокое умиротвореніе, подавленіе противоедѣйствія черезъ истребленіе или рабство побѣжденныхъ. Взаимное уваженіе было бы лучше. Борьба происходитъ отъ эгоизма, признающаго своимъ предѣломъ только постороннюю силу. Законы животности преобладаютъ почти во всей исторіи. Человѣческая исторія преимущественно зоологична; она человѣчивается только поздно и то только въ лучшихъ душахъ, преданныхъ справедливости, добротѣ, энтузіазму и самоотверженію. Ангелъ только рѣдко и съ трудомъ пробивается сквозь животное.

Христіанскія націи обнаруживаютъ вполнѣ законъ ироніи. Онъ исповѣдуютъ небесную буржуазію, исключительный кульпъ вѣчныхъ благъ, и никогда алчное преслѣдованіе тлѣнныхъ благъ, привязанность къ землѣ, жажда пріобрѣтенія не были болѣе сильны, чѣмъ у этихъ націй. Ихъ официальный девизъ прямо противоположенъ ихъ положительнымъ стремленіямъ. Подъ чужимъ знаменемъ, подъ ложнымъ флагомъ, онъ производятъ контрабанду съ шутовскою безопасностью совѣсти. Есть-ли это лицемѣрный обманъ? Нѣтъ, это есть приложеніе закона ироніи.

Плутовство столь обычно, что оно становится незамѣтнымъ самому преступнику. Всѣ націи противорѣчатъ себѣ каждую минуту и ни одна не чувствуетъ, на сколько она смѣшна. Нужно быть япон-

цемъ, чтобы замѣтить шутовскія противорѣчія христіанской цивилизаціи. Нужно быть селенитомъ, чтобы понять вполнѣ глупость человѣка и его постоянную иллюзію. Философъ также подпадаетъ закону ироніи, потому что послѣ того, какъ онъ мысленно освободился отъ всѣхъ предразсудковъ, т. е. вполнѣ обезличился, ему нужно снова входить въ свое рувище, въ свою гусеницу, есть и пить, испытывать голодъ, жажду и холодъ, и поступать какъ всѣ другіе смертные, послѣ того, какъ онъ на мгновеніе поступить какъ никто. Здѣсь-то и ожидаются его комическіе поэты; животныя потребности истятъ за эту экскурсію въ эмпирей и съ насмѣшкой кричатъ ему: Ты грязь, ты ничтожество, ты человѣкъ!

Люди геніальные поставляютъ сущность исторіи, тогда какъ толпа есть только критический фільтръ, ограниченіе, замедленіе, необходимое, но пассивное отрицаніе идей, приносимыхъ геніемъ. Глупость динамически есть необходимый противовѣсь ума. Нужно много, нужно три четверти азота, примѣшанного къ кислороду, чтобы сдѣлать воздухъ годнымъ для дыханія, жизненнымъ; чтобы создать исторію, нужно имѣть много силы для того, чтобы побѣдить сопротивленіе и увлечь за собой массы.

5 ліваря 1877 г. И вотъ я опять совсѣмъ несчастенъ нынче утромъ, полузадушенный своимъ бронхитомъ, стѣсненный въ ходѣѣ, съ ослабленнымъ мозгомъ—то, чего я боюсь больше всего, потому что размышеніемъ я защищаю себя противъ другихъ непріятностей. Быстроѣ убываніе силъ, незамѣтная порча высшихъ органовъ, разрушеніе мозга; какое испытаніе, и никто не подозрѣваетъ его. Нѣкоторые жалѣютъ васъ за то, что вы наружно старѣетесь, но это ничего. Ровно ничего, если чувствуешь свои способности сохранившимся.

Это благодѣяніе даровано было столькимъ людямъ умственной дѣятельности, что и я немногого надѣялся. Увы! Неужели и этимъ надо пожертвовать? Жертва легка, если вѣрить, что она возложена или скорѣе отечески потребована Богомъ, особеннымъ Его промысломъ. Но у меня нѣть этой религіозной радости. Это моеувѣчье умаляеть меня, не принося никому пользы. Мнѣ остается только одинъ мотивъ: мужественная покорность передъ неизбѣжнымъ и примѣръ для другихъ; чистая стоическая мораль.

Это нравственное воспитаніе отдѣльной души пропадетъ ли? Когда наша планета окончить циклъ своего назначенія, кому и на что въ небѣ это послужить на пользу? Прозвучать одной своей нотой въ симфоніи творенія. Мы сознаемъ пѣлое и неизмѣнное, потомъ исчезаемъ, мы, индивидуальные атомы, ясновидящіе монады. Развѣ этого

мало? Да мало, потому что если нѣтъ прогресса, приращенія, улучшенія, есть только химическая игра и эквивалентность сочетаній. Брама создалъ и поглощаетъ. Если мы—лабораторія духа, то по крайней мѣрѣ пусть духъ увеличивается нашими силами. Если мы осуществляемъ высшую волю, то пусть Богъ радуется этому. Если довѣрчивая покорность души болѣе радуетъ его, чѣмъ величие мысли, будемъ входить въ его планъ, въ его намѣреніе. Это-то и значить жить для славы Бога, выражаясь теологическимъ языкомъ. Религія состоитъ въ сыновнемъ принятіи божеской воли, какова бы она ни была, лишь бы только отчетливо понимать ее. А развѣ можно сомнѣваться въ томъ, что убываніе, болѣзнь и смерть находятся въ программѣ нашего существованія? То, что неизбѣжно, есть судьба. А судьба не есть ли безъименное указаніе Того, котораго религіи называютъ Богомъ. Спускаться безъ ропота по рѣкѣ своей судьбы, переживать безъ возмущенія посвященіе въ тайну послѣдовательныхъ отреченій, безпредѣльныхъ умаленій, безпредѣльныхъ до 0 (нуля) — вотъ что нужно. Святіе также естественно, какъ и развитіе. Входишь также постепенно въ мракъ, какъ постепенно выходилъ изъ него. Игра силъ и органовъ, грандіозный механизмъ жизни часть за частью скрываются въ коробкѣ. Начинаешь инстинктомъ, нужно умѣть кончить ясновидѣніемъ, нужно видѣть себя разрушающимся и умирающимъ.

6 февраля 1877 г. То, что рѣже всего встречается, это вѣрность ума, методъ, критика, соразмѣрность, постепенность... Общее состояніе мыслей есть путаница, безсвязность, самоувѣренность, и общее состояніе сердецъ есть страстность, невозможность быть справедливымъ, безстрастнымъ, уступчивымъ, открытымъ; воля всегда впереди ума; желанія впереди воли; и случай рождаетъ желаніе; такъ, что люди выражаютъ только случайная мнѣнія, которыхъ не стоятъ того, чтобы ихъ принимать серьезно, и которыхъ не могутъ оправдать себя ничѣмъ инымъ, какъ дѣтскимъ разсужденіемъ: я есмь, потому что я есмь. Искусство познавать истину рѣдко прикладывается къ дѣлу, да оно даже и неизвѣстно, потому что нѣтъ личного смиренія и даже нѣтъ любви къ истинѣ. Мы хотимъ познаній, которыхъ вооружили бы наши руки или языки, которыхъ служили бы нашему тщеславію или нашей потребности власти, но критика самихъ себя, своихъ предразсудковъ, своихъ склонностей намъ антипатична.

Человѣкъ животное своевольное и жадное, которое пользуется своей мыслю, чтобы удовлетворять своимъ наклонностямъ, но которое не служитъ истинѣ, которое имѣетъ отвращеніе къ личному исправленію, которое ненавидитъ беспристрастное созерцаніе и работу надъ самимъ собой. Мудрость раздражаетъ его, потому что она при-

водить его въ смущеніе и потому что онъ не хочетъ видѣть себя такимъ, каковъ онъ есть.

Большая часть людей только запутанные мотки, неполная клавіатура, хаосъ, существа или всегда стоящія или всегда шумящія, и что дѣлаетъ ихъ положеніе почти неизлечимымъ, это то, что это положеніе имъ нравится. Нельзя излечить больного, который считаетъ себя здоровымъ...

5 апреля 1877 г. Освятить на минуту глубокую душу, сдѣлать добро тѣмъ, которые несутъ, сострадая, тягость столькихъ скрученныхъ сердецъ и столькихъ страдающихъ жизней, есть благословеніе, преимущество, цѣну которого я чувствую. Есть какое-то религіозное блаженство въ томъ, чтобы подкреплять силу и мужество благородныхъ характеровъ. Самъ удивляешься, что обладаешь этой силой, которой не считаешь себя достойнымъ, и хочется прилагать ее съ сознаніемъ ея значенія. Я испытываю съ особенной силой, что человѣкъ во всемъ томъ, что онъ дѣлаетъ или можетъ дѣлать прекрасного, великаго и доброго, есть только органъ и орудіе чего-то или кого-то высшаго его. Это чувство есть религія. Человѣкъ религіозный присутствуетъ съ трепетомъ священной радости при этихъ совершающихся透过 него, а не отъ него явленіяхъ, которыхъ происходятъ въ немъ. Онъ отдаетъ имъ въ распоряженіе своей голосъ, свои руки, свою волю, свое содѣйствіе, стараясь почтительно стереться, для того, чтобы какъ можно меныше извратить высшее дѣло этого гenія, который на время пользуется имъ для исполненія своего дѣла. Онъ обезличивается, онъ уничтожается отъ восхищенія. Его „я“ должно исчезнуть, когда говорить святой Духъ, когда дѣйствуетъ Богъ. Такъ пророкъ слышитъ призывъ, такъ молодая мать чувствуетъ, какъ движается плодъ въ ея утробѣ, такъ проповѣдникъ смотритъ, какъ текутъ слезы его слушателей. До тѣхъ поръ, пока мы чувствуемъ свое „я“, мы ограничены, эгоисты, плѣнники; когда мы въ согласіи съ общей гармоніей, когда мы выбираемъ въ униссонѣ съ Богомъ, наше „я“ исчезаетъ. Такъ въ совершенно согласномъ хорѣ нужно фальшивить, чтобы услыхать самого себя. Состояніе религіозное это есть сдержаній энтузіазмъ, прочувственное созерцаніе, спокойный экстазъ. И какъ рѣдко это состояніе для несчастнаго существа, измученнаго долгомъ, необходимостью, злымъ свѣтомъ, грѣхомъ, болѣзнью! Это есть состояніе внутренняго счастья. Но основа существованія, обычнаѧ ткань нашихъ дней, есть дѣятельность, усиление, борьба, слѣдовательно диссонансъ. Безпрестанно возобновляющаяся битва съ короткими и всегда непрочными перемириями,—вотъ картина человѣческаго существованія. Будемъ же привѣтствовать, какъ отзвукъ неба, какъ пред-

вкушение лучшаго устройства міра, эти краткія мгновенія полнаго согласія, эти затишья между двумя бурями. Миръ не химера, но есть только неустойчивое равновѣсіе—случайное. „Блаженны миротворцы,— они сынами Божими назовутся“.

26 апреля 1877 г. Перелистывалъ „Парижъ“ Виктора Гюго. Въ 10 лѣтъ накопились изобличенія во лжи пророка, но довѣріе пророка къ тому, что онъ воображаетъ, — не уменьшилось. Смиреніе и здравый смыслъ приличны только лиллипутамъ. Викторъ Гюго гордо не вѣдаетъ всего того, чего онъ не предвидѣлъ. Онъ не знаетъ, что гордость есть граница ума и что гордость безгранична есть признакъ мелкости души. Еслиъ онъ ставилъ себя на-ряду съ другими людьми, а Францію съ другими народами, онъ видѣлъ бы вѣрнѣе и не впадалъ бы въ свои безразсудныя преувеличенія и свои нелѣпыя предсказанія. Но соразмѣрность и вѣрность не въ его струнахъ. Онъ обреченъ титаническому. Его золото всегда смѣшано со свинцомъ, его созерцанія съ ребячествомъ, его разумъ съ безуміемъ. Онъ не можетъ быть простъ. Онъ освѣщаетъ, какъ бы пожаромъ, только ослѣпляя. Словомъ, онъ удивляетъ, но онъ раздражаетъ, онъ волнуетъ, но онъ оскорбляетъ. Онъ всегда на половину или на двѣ трети во лжи, это-то и есть себратья тягостнаго чувства, которое онъ постоянно заставляетъ испытывать. Великій поэтъ не можетъ отදваться отъ шарлатана, который сидитъ въ немъ. Можно назвать общественнымъ бѣдствіемъ Франціи то, что самый могучій поэтъ ея не понялъ лучше своей роли, и что противно тому дѣлали еврейскіе пророки, которые, любя свой народъ, наказывали его, онъ систематически и вслѣдствіе своей гордости вадитъ своимъ согражданамъ. Франція—это міръ; Парижъ—это Франція; Гюго—это Парижъ. Народы, падайте ницъ!

2 мая 1877 г. Какая нація лучше всѣхъ? Нѣтъ ни одной, въ которой бы зло не составляло противовѣса добра. Каждая нація есть только карикатура человѣка, что и доказываетъ то, что ни одна не имѣть тѣхъ качествъ, вслѣдствіе которыхъ она могла бы устранить всѣ другія націи, то, что всѣ они должны поучаться другъ отъ друга. Я постоянно поражаюсь качествами и недостатками каждой изъ нихъ... Моя точка зрѣнія философская, т. е. беспристрастная и не личная. Единственный типъ, который мнѣ нравится, это совершенство, человѣкъ, просто человѣкъ, человѣкъ идеальный. Что касается национального человѣка, я терплю, изучаю его, но я не восхищаюсь имъ. Я могу восхищаться только прекрасными образцами рода, великими людьми, геніями, характерами возвышенными,

душами благородными и эти образцы находятся во всѣхъ этнографическихъ отдѣлахъ. Мое отечество „по выбору“ (выражаясь словами г-жи Сталь) состоитъ изъ избранныхъ личностей. Я не чувствую никакого внутренняго пристрастія ни къ французамъ, ни къ нѣмцамъ, ни къ швейцарцамъ, ни къ англичанамъ, ни къ полякамъ, ни къ итальянцамъ столько же, сколько къ бразильцамъ или китайцамъ. Иллюзія патріотическая, шовинистская, семейная, профессіональная не существуетъ для меня. Напротивъ, я почувствую съ большей живостью недостатки, пороки и несовершенства группы, къ которой я принадлежу. Моя наклонность—это видѣть вещи такими, каковы онѣ есть, отвлеченными отъ моей личности, освобожденными отъ всякаго желанія и всякой воли. Моя антипатія не къ тому или этому, но къ заблужденію, къ предвзятости, къ предразсудку, глупости, исключительности, преувеличенію.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛЪ.

БРОДЯЧАЯ РУСЬ.

Городъ Любимъ «привлекаетъ къ себѣ людей—и даже издалека,—для земледѣлія, а его коренные граждане живутъ на промыслахъ за тридевять земель». Они «находятъ наиболѣе удобнымъ для себя бытомъ зарабатывать деньги и постоянно жить за тысячу верстъ отъ своего дома и своей семьи и только изрѣдка се посѣщать! Все это — явленія, свойственныя нынѣ въ Европѣ только Россіи и поразительныя для западныхъ европейцевъ».

В. И. Безобразовъ.

Въ силу многихъ условій, нарушившихъ устойчивость крестьянского хозяйства, земледѣльцы уходятъ изъ своихъ деревень все въ большемъ и большемъ числѣ и многомилліонной массой ходятъ по Россіи, отыскивая работу. Въ 1886 году, напримѣръ, число крестьянъ, уходившихъ отъ своего жилища дальше, чѣмъ за 30 верстъ, равнялось 4.951,000. Изъ этого числа 2¹/₂ милл., или около половины, брали паспорта на сроки менѣе полугодового; остальные — на годъ и на полгода.

Малоземелье и высокія подати — главныя причины отхода. Невозможность прокормиться съ надѣлъ, въ связи съ малымъ спросомъ на рабочія руки въ ближайшихъ мѣстностяхъ, въ связи съ безвыгодностью кустарныхъ промысловъ — естественно порождаютъ отхожіе промыслы. Въ 1887 году изъ Полтавской губерніи, напримѣръ, сообщалось, что отправляющіеся на заработки крестьянъ «гонятъ изъ дому крайняя нужда, вызванная малоземельемъ и отсутствиемъ урожаевъ» ¹⁾. Въ томъ же году писали изъ Орловской губерніи, что крестьянамъ, при недостаткѣ надѣловъ, нѣтъ основанія проводить долгое лѣто, занимаясь уборкой хлѣбовъ и т. п. Семья въ 5 человѣкъ свободно выдѣляетъ въ отходъ троихъ и двоихъ оставшихся справляются со всею работою ²⁾. Недостатокъ хлѣба,

¹⁾ См. библіографію въ концѣ статьи.

Кн. 4. Отд. II.

малая урожайность, малая величина надѣла вызвали отходъ изъ Серпуховскаго уѣзда Московской губерніи ³). «Малоземелье, истощеніе почвы, значительное повышеніе арендной платы, неурожай и падежи скота — таковы тѣ главнѣйшия причины, которыя заставляютъ все большее и большее количество крестьянскихъ рабочихъ руку брать косу и идти» изъ Острогожскаго уѣзда Воронежской губерніи на заработки ⁴). Крестьянъ изъ западныхъ волостей Скопинскаго уѣзда Рязанской губерніи гонить въ отходъ «недостаточный надѣль при полномъ отсутствіи съемной земли и мѣстныхъ заработковъ» ⁵). По Нижегородской губерніи имѣются числовыя данныя объ отходѣ съ 1864—1884 годъ. Число отхожихъ рабочихъ первого десятилѣтія ниже числа второго. Оно и понятно: количество земли въ губерніи конечно все то же теперь, что и раньше, народонаселеніе же увеличилось съ 1864 года на 200,933 человѣкъ ⁶). «Чѣмъ хуже и дешевле надѣль, пишутъ изслѣдователи Саратовскаго и Царицынского уѣздовъ, тѣмъ больше промышленниковъ въ волости на мѣстѣ и въ отходъ» ⁷). Лесорубочный отхожій промыселъ особенно развитъ въ сѣверныхъ волостяхъ Слободского уѣзда Вятской губерніи, «гдѣ собраннаго хлѣба не достаетъ крестьянамъ до новаго сбора» ⁸). «Чѣмъ менѣе обеспечена въ Мамадышскомъ уѣзде Казанской губерніи данная группа общинъ землею (пашией), тѣмъ значительнее относительное число семей, живущихъ на сторонѣ и тѣмъ слабѣе слѣдовательно у ней связь съ землею» ⁹). Въ прямой связи съ малоземельемъ стоитъ невозможность прокормиться собраннымъ хлѣбомъ до новаго урожая, что прямо вызываетъ отходъ: хлѣба хватаетъ только до февраля, дѣ марта, даже до октября и т. д. — вотъ фраза, которая встрѣчается при описаніи мѣстъ отхода. «Отъ всѣхъ, пишетъ изслѣдователь южнаго движенія рабочихъ, г. Ползыковъ, отъ всѣхъ одна и та же жалоба — недостатокъ земли, недородъ хлѣбовъ и малый заработка на мѣстѣ» ¹⁰).

Любой изъ признаковъ паденія крестьянскаго хозяйства является зачастую и причиной отхода; такъ напр., чѣмъ выше процентъ безлошадныхъ и безхозяйныхъ дворовъ въ центральномъ районѣ Курской губерніи, тѣмъ выше цифра отхожихъ промышленниковъ ¹¹). Въ Новгородскомъ уѣзде безлошадность прямо вызываетъ отходъ ¹²).

Высокія подати имѣютъ, разумѣется, не менѣе серьезное вліяніе на развитіе отхожихъ промысловъ. Интересенъ для разъясненія ихъ вліянія слѣдующій фактъ: съ уменьшеніемъ выкупныхъ платежей довольно много крестьянъ, жившихъ исключительно отхожимъ промысломъ, вернулись въ деревню и принялись за земледѣліе ¹³). Высокія подати вызывали даже исчезновеніе цѣлыхъ деревень, жители которыхъ расходились куда глаза глядятъ; таковы, напр., были шереметьевскія вотчины Горбатовскаго уѣзда Нижегородской губерніи; нѣть надобности доказывать, что простой отходъ является прямымъ слѣдствіемъ высокихъ платежей ¹⁴).

На развитіе отхожихъ промысловъ оказываютъ, разумѣется, вліяніе неурожай и слабая производительность почвы: — въ центральномъ рай-

оиѣ Курской губерніи, напр., границы мало плодороднаго суглинистаго района совпадаютъ съ границами наиболѣе развитой отхожей промышленности¹⁵⁾. Число отхожихъ рабочихъ Тетюшского уѣзда Казанской губерніи неодинаково: оно сильно увеличивается въ неурожайные годы и сильно падаетъ въ хорошие¹⁶⁾). Само собою разумѣется, что малоземелье и дурное качество земли не всегда совпадаютъ, тѣмъ не менѣе малоземелье и при хорошей почвѣ вызываетъ отходъ, напр., въ большей части Нижегородскаго уѣзда¹⁷⁾). Замѣтимъ еще, что на-ряду съ увеличенiemъ процента сдаваемой крестьянами пашни увеличивается и процентъ общия съ отхожими промыслами¹⁸⁾.

Нѣть сомнѣнія, что каждый шагъ на пути улучшенія условій земледѣлія и связанныхъ съ нимъ мѣстныхъ промысловъ задерживаетъ хожденіе на сторону. Это видно, напримѣръ, изъ того, что коротоякское земство Воронежской губерніи, развивъ въ средѣ крестьянъ садоводство и огородничество, сильно уменьшило число отхожихъ рабочихъ¹⁹⁾). Даже земледѣльческие заработки на частновладѣльческихъ земляхъ удерживаютъ крестьянина отъ отхода на сторону²⁰⁾.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ размѣры отхожихъ промысловъ пропорціональны развитію мѣстныхъ, напр., въ Орловскомъ уѣздѣ Вятской губерніи²¹⁾. Тѣсопромышленность, которая бываетъ то мѣстнымъ, то отождимъ промысломъ, смотря по тому, близко ли лѣсь отъ деревни, удерживаетъ отъ отхода крестьянъ нѣкоторыхъ мѣстностей Ржевскаго уѣзда Тверской губерніи²²⁾.

Паденіе возможнаго въ отходѣ кустарного промысла прямо вліяетъ на увеличеніе числа отходчиковъ: въ Варнавинскомъ уѣздѣ Костромской губерніи, напр., шерстобитный промыселъ пересталъ развиваться по недостатку заказовъ и кустари ищутъ заработка на сторонѣ²³⁾; то же явленіе замѣчается у шерстобитовъ и портныхъ Кологривскаго уѣзда той же губерніи²⁴⁾, у выдѣлывающихъ дуги въ Медынскомъ уѣздѣ Калужской губерніи, гдѣ бывшіе прежде самостоятельными хозяева уходятъ по найму на сторону²⁵⁾; страшно низкій заработка гонить въ отходъ и кружевницъ Михайловскаго уѣзда Рязанской губерніи²⁶⁾. Упадокъ производства гонить въ отходъ и красильщикъ Костромской губерніи²⁷⁾. Аналогическое вліяніе оказываетъ и сокращеніе заводской дѣятельности: сокращеніе производства на Верхне-Сергинскомъ заводѣ (Пермская губ.) выгнало на заработка въ теченіе $2\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ четвертую часть рабочаго населения²⁸⁾; аналогичное же вліяніеоказалъ и разгромъ Мальцевскаго заводскаго района. Вообще говоря, развитіе отхожихъ промысловъ обратно пропорціонально въ нѣкоторыхъ мѣстахъ развитію мѣстныхъ занятій и промысловъ — земледѣлія, кустарныхъ промысловъ; въ связи съ этимъ стоитъ и пониженіе числа отхожихъ рабочихъ при большей площасти лѣса, напр., въ Орловскомъ уѣздѣ Вятской губерніи²⁹⁾; нѣть сомнѣнія, что это явленіе объясняется возможностью заняться деревообрабатывающими кустарными промыслами.

Одною изъ причинъ отхода надо считать и крѣпостное право, помѣшившее правильному разселенію крестьянъ³⁰⁾). Въ южно-запѣянской части Княгининскаго уѣзда Нижегородской губерніи отхожіе промыслы начались во время крѣпостного права: «старики еще наши ходили и мы ходимъ», «у барина мы были на оброкѣ и дома онъ насть не удерживалъ», говорили крестьяне. Но и здѣсь отходъ поддерживается земельной тѣснотою³¹⁾). Въ Ржевскомъ уѣздѣ Тверской губерніи, помимо малоземелья и малоурожайности, причиною отхода является и вѣковая привычка жителей приволжскихъ волостей³²⁾.

Встрѣчается и много другихъ второстепенныхъ, такъ сказать, причинъ отхода. Изъ Горбатовскаго уѣзда Нижегородской губерніи крестьяне ходятъ на астраханскія рыбныя ловли: «по большей части эти рабочіе принадлежать къ категоріи такъ называемыхъ отчаянныхъ головъ и бѣгство въ Астрахань есть въ нѣкоторомъ родѣ бѣгство отъ семьи... Пессорившись съ отцомъ, молодой парень часто ищетъ случая избавиться отъ надзора семьи и готовъ отправиться всюду, только бы подальше отъ родной деревни; случается, что и самъ отецъ спровождаетъ въ Астрахань непокорнаго сына, говоря: «Богъ съ нимъ! Какъ хошь, такъ и живи, только бы глаза мои не глядѣли». Словомъ, въ случаѣ семейныхъ распреи Астрахань играетъ иногда роль ссылкой колоніи³³⁾). Второстепенные причины отхода очень многочисленны и вызываютъ отходъ изъ какой-либо одной мѣстности, напр., упадокъ цѣнъ на хлѣбъ въ Воронежской губерніи³⁴⁾). Перечисленіе такихъ причинъ не представляется, разумѣется, особаго интереса. Всѣ же причины отхода — главная и побочная — обобщены, напр., въ такихъ двухъ строчкахъ пѣсенки арзамасскихъ отхожихъ рабочихъ: «Здѣсь несчастная сторонка, распроклятое житѣе!» *).

Въ рядахъ отхожихъ рабочихъ находятся, кроме мужчинъ, женщины и дѣти. Въ 1887 году изъ Орла сообщали, что на югъ на землемѣльческія работы отправились и бабы, чего въ прежнее время не замѣчалось³⁵⁾). Крестьяне нѣкоторыхъ селеній Фатежскаго и Дмитріевскаго уѣздовъ Курской губерніи, пдя на косовицу, берутъ и женъ, такъ какъ дома, все равно, ёсть нечего³⁶⁾). Безхозяйные крестьяне Самарской губерніи цѣлыми массами со всѣми своими чадами и домочадцами на все почти лѣто оставляютъ свое родное гнѣздо и идуть на сторону искать работу³⁸⁾). Въ 1888 году на косовицу шли не только мужчины, но и женщины, даже съ грудными дѣтьми на рукахъ³⁹⁾. Женщины ходятъ не на одинъ только сельскія работы. Изъ Варнавинскаго и Макарьевскаго уѣздовъ Костромской губерніи онѣ ходятъ на сплавъ лѣса⁴⁰⁾. Въ Ржевскомъ уѣздѣ Тверской губерніи сильно развитъ женскій отходъ въ окрестности Москвы на разработку торфа⁴¹⁾ Не мало женщинъ-портнихъ ходить по

*.) Причины отхода были указаны давно: Черновъ писалъ въ 1811 году слѣдующее: «малочисленность и сопряженная съ нею безвыгодность сельской жизни заставили крестьянъ Московской губерніи, оставя дома, искать пропитанія въ другихъ мѣстахъ»³⁵⁾).

деревнямъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ женщины идутъ на какой-либо промыселъ въ большемъ числѣ, чѣмъ мужчины; такъ напримѣръ изъ Торжка на кирпичную работу ⁴²⁾). На Поволжѣ есть специфические женские отхожіе промыслы: «на югъ въ степи идутъ женщины-жницы; они расходятся по Самарской губерніи». Другой отхожій промыселъ существуетъ на югѣ Поволжья — это обмазываніе изѣмъ глиной и дѣланіе кизяка; употребленіе послѣдняго распространено къ югу отъ Самары; женщины, занимающіяся этимъ промысломъ, соединяются въ артели и расходятся на востокъ въ Бугурусланскій уѣздъ и Уральское войско ⁴³⁾).

Число отхожихъ женщинъ не мало. Изъ Рязанского уѣзда, напримѣръ, уходитъ на заработки болѣе $\frac{1}{2}$ общаго числа работницъ ⁴⁴⁾). Число отхожихъ женщинъ постоянно растетъ: въ Орловскомъ уѣздѣ Вятской губерніи въ 1874 году отхожія женщины составляли 2,68%, въ 1883 году — 6,46%, въ 1884 г. — 6,55%, въ 1885 г. — 7,22% ⁴⁵⁾). Бываютъ уже и кризисы, захватывающіе женские отхожіе промыслы, такъ напримѣръ, въ 1887 году экономіи сахарныхъ и водочныхъ заводовъ сократили посѣвъ свеклы и картофеля и вотъ десятки и сотни женщинъ возвращались назадъ съ заводовъ, не находя работы ⁴⁶⁾.

Нерѣдко женщины ходятъ очень далеко; но встрѣчается отходъ и въ предѣлахъ одного и того же уѣзда; напримѣръ, женщины Горбатовскаго уѣзда ходятъ изъ Чмутовской въ Избылецкую волость копать гряды и убирать сады ⁴⁷⁾; въ Сумскомъ уѣздѣ Харьковской губерніи ходятъ по лоть свекловицу ⁴⁸⁾). Нельзя не замѣтить, что дальній отходъ женщинъ является вѣрнымъ показателемъ сильнаго упадка сельскаго хозяйства.

Дѣти рабочіе часто идутъ съ родными и оставляются послѣдними въ промышленныхъ центрахъ. Въ засѣданіи московскаго юридического общества 12 октября 1887 г. А. И. Чупровъ указалъ, что по переписи 1882 г. «болѣе $\frac{4}{5}$ дѣтей, находящихся въ промышленныхъ заведеніяхъ, принадлежать къ пришлому населенію Москвы» ⁴⁹⁾. «Фабричный промыселъ, говорить обѣ отходѣ писатель Юревецкаго уѣзда Костромской губерніи, идетъ все въ гору: сначала пошелъ на фабрику мужчина, потомъ женщина, теперь масса дѣтей сохнетъ тамъ» ⁵⁰⁾. «Лишь минѣть мальчику 12—13 лѣтъ, писали обѣ Алешковской волости Чухломскаго уѣзда Костромской губерніи, онъ уже въ столицѣ на зароботкахъ» ⁵¹⁾. Дѣти ходятъ и на земледѣльческія работы, а въ качествѣ учениковъ и по деревнямъ вмѣстѣ съ ремесленниками, портными, напримѣръ ⁵²⁾). Нельзя не замѣтить, что дѣти отходчики попадаютъ иногда въ невыносимое положеніе: на рыболовныхъ промыслахъ въ Астрахани, число отхожихъ дѣтей растетъ постоянно. Трудъ этихъ дѣтей прямо неспособный, рабочій день равняется (съ 9 марта по 1 мая) 14—15 часовъ въ сутки съ часовымъ перерывомъ, пища очень плоха, обращеніе съ дѣтьми жестокое, они часто болѣютъ и никто ихъ не лечить; что всѣго хуже, такъ это ранній возрастъ дѣтей — они начинаютъ иногда работать съ 8 лѣтъ ⁵³⁾.

Всѣхъ отхожихъ рабочихъ по роду ихъ занятій можно разбить на три главныя группы: промысловые рабочіе, торговцы, сельскіе рабочіе. Отдельно отъ этихъ группъ стоитъ отхожее нищенство, о которомъ нельзѧ не упомянуть, благодаря большому числу лицъ, занимающемуся этимъ про-мысломъ.

Мы остановимся сначала на неземледѣльческомъ отходѣ, укажемъ его характерныя особенности, не упоминая покамѣсть о тѣхъ его чертахъ, которыя общи всему отхожему движенію.

Неземледѣльческие промыслы могутъ быть раздѣлены на чернорабочіе (бурачество, нагрузка и выгрузка, простая работа въ промышленныхъ заведеніяхъ) и качественные (ремесленные, фабричные). Рабочіе послѣдняго вида поступаютъ въ промышленные заведенія или просто ходятъ по городамъ и селамъ, предлагая свои услуги въ качествѣ ремесленниковъ. Иногда крестьяне занимаются дома однимъ ремесломъ, а въ отходѣ совсѣмъ другимъ; такъ, напримѣръ, ткачи Рязанской губерніи уходятъ лѣтомъ плотничать и на другіе заработки⁵⁴⁾, кружевницы Торжка уходятъ въ окрестности Петербурга на кирпичные заводы, кузнецы Суксуга Пермской губерніи и Тихвинскаго уѣзда Новгородской дѣлаются въ отходѣ сплавщиками судовъ⁵⁵⁾. Крестьяне Гдовскаго уѣзда, проведя зиму на лѣсныхъ заготовкахъ, на лѣто отправляются или въ мостовщики или каменьщики въ Петербургъ или работаютъ на судахъ⁵⁶⁾.

Замѣтимъ кстати, что отходъ своимъ невѣрнымъ спросомъ на опредѣленное ремесло породилъ довольно оригинальное явленіе — это отхоже рабочіе, знающіе нѣсколько ремесль и занимающіеся, смотря по спросу, то однимъ, то другимъ. Таковы набойщики холстины, продавцы картиночекъ Серпуховскаго уѣзда Московской губерніи, портные и штукатуры Бронецкаго уѣзда⁵⁷⁾, портные и печники Подольскаго⁵⁸⁾, кровельщики и красильщики той же губерніи⁵⁹⁾, маляры и стекольщики Галичскаго уѣзда Костромской губерніи⁶⁰⁾ и т. д. Нѣкоторые рабочіе идутъ съ не-премѣннымъ намѣреніемъ заниматься двумя промыслами; такъ, напримѣръ, семеновские кузнецы (Нижегородской губерніи) идутъ иногда на сторону какъ для работы, такъ и для продажи своихъ издѣлій⁶¹⁾. Встрѣчаются и «удивительные», по словамъ г. Пономарева, рабочіе: изъ Лукьяновскаго уѣзда идутъ рабочіе, изъ которыхъ каждый «въ одно и то же время и каменьщикъ, и штукатуръ, и печникъ, и плотникъ, и столяръ, и слесарь, и купецъ и торговецъ — все что угодно знать, ко всему пріобѣкъ и положительный мастеръ»⁶²⁾. Можно, разумѣется, сомнѣваться въ томъ, что каждый такой рабочій знаетъ хорошо всякое ремесло, за которое берется, но что есть отхоже рабочіе, знающіе хорошо или плохо цѣлый рядъ ремесль — это не подлежитъ сомнѣнію.

Иногда ремесленники не берутъ въ отходѣ инструментовъ, такъ какъ за дальностью пути ихъ неудобно нести; такъ напр., идутъ въ Петербургъ слесаря и кузнецы Галичскаго уѣзда Костромской губерніи; плотники, столяры, печники, маляры того-же уѣзда тоже не берутъ своихъ

инструментовъ, а покупаютъ ихъ, прибывъ на мѣсто работы ⁶³⁾). Очень многие ремесленники покупаютъ инструменты на мѣстѣ и продаютъ ихъ передъ возвращеніемъ; въ другихъ случаяхъ рабочие берутъ инструменты у подрядчиковъ, что создаетъ, разумѣется, большую зависимость отъ послѣднихъ.

Отхожіе рабочіе стараются иногда гарантировать заработокъ; такъ напр. «швецы всегда придерживаются такого обычая, чтобы шить въ однихъ и тѣхъ-же домахъ и работы другъ отъ друга не отбивать». Шерстобиты, прия въ Оренбургскую губернію, заключаютъ съ обществомъ договоръ, по которому данное общество обязуется не допускать къ себѣ другихъ шерстобитовъ ⁶⁴⁾). Такіе случаи, впрочемъ, не часты, далеко не всегда возможны и, какъ видно изъ второго случая, не представляютъ изъ себя какого-либо блестящаго выхода изъ тяжелаго положенія, въ которое попадаютъ отхожіе рабочіе. Но, по словамъ г. Пономарева, взаимопомощь распространена между отхожими рабочими довольно сильно. Но опять-таки эта взаимопомощь замѣтна въ отдѣльныхъ, сообща ушедшихъ группахъ. Независимая артель въ средѣ отхожихъ рабочихъ — рѣдкое явленіе. Даже тѣ промыслы, которые требуетъ иничтожнаго количества денегъ на покупку орудій, труда и матеріаловъ, кабалятся капиталомъ, разъ съ ними связанъ отходъ. Уходя, рабочіе должны нѣсколько обезпечить свою семью и достать деньги на дорогу. Эти деньги берутся обыкновенно у подрядчиковъ и независимая артель не можетъ сложиться. Такъ, напримѣръ, расходы на паспортъ, дорогу и содержаніе (до получения работы) заставляютъ кровельщиковъ Московской губерніи работать на подрядчиковъ ⁶⁵⁾). Подати не позволяютъ сдѣлаться самостоятельными рабочими и стекольщикамъ той-же губерніи ⁶⁶⁾). Большинство плотниковъ Уржумскаго уѣзда Вятской губерніи не можетъ идти на промыслы, не получивъ впередъ денегъ на уплату податей и на домашніе расходы остающемся семейству ⁶⁷⁾). Одинъ и тотъ-же промыселъ ведется иногда вольными артелями мѣстныхъ и кабальными пришлыхъ рабочихъ; напримѣръ ловля трески на сѣверѣ; даже длина дороги вліяетъ на уменьшеніе числа независимыхъ рабочихъ; плотники Рязанской губерніи, напр., при ближнемъ отходѣ составляютъ независимую артель, при дальнемъ-же напираются къ подрядчику, у котораго и берутъ впередъ деньги ⁶⁸⁾). Независимыя артели отхожихъ рабочихъ обыкновенно не велики: 3—20 человѣкъ. Плотники, пильщики и каменщики Курской губерніи, напримѣръ, ходятъ и самостоятельными артелями въ 12—18 человѣкъ; работа этихъ артелей считается добросовѣснѣе работы подрядчиковъ, но нужда грозитъ уничтожить эти артели ⁶⁹⁾). Отхожіе рабочіе, нанятые разными подрядчиками, довольствуются ничтожнымъ заработкомъ. Подрядчики, писалъ г. Червинскій, «понимаютъ въ чемъ дѣло. Съ инстинктомъ хищной птицы они летятъ на несчастье, на голодъ, на нужду и не ошибаются конечно. Отходъ, конечно, прежде всего, можетъ быть названъ лѣтописью нужды и разнообразныхъ лишеній; высокая цифра уходящихъ на заработки

почти съ полной несомнѣнностью свидѣтельствуетъ о крайней бѣдности и притомъ чѣмъ безпомощнѣе и малосильнѣе семья, тѣмъ скорѣе она высылаетъ своихъ членовъ на сторону». «Само собою понятно, что при наймѣ, вынужденномъ подобными гнетущими условіями, плата непрѣжно должна держаться на самомъ низкомъ уровнѣ» ⁷⁰). Можно-бы было написать цѣлую книгу о наймѣ рабочихъ подрядчиками, но намѣчая здѣсь только главныя и характерныя черты отхода, ограничимся однимъ примѣромъ: въ Вятской губерніи «для найма рабочихъ мелкіе лѣсопромушенники или подрядчики отъ крупныхъ выждаютъ обыкновенно того времени, когда начинается усиленное требование податей, и тогда предлагаются неимѣющими деньги — задатки впередъ на уплату податей, уменьшая при томъ заработную плату. При этомъ наниматели почти всегда прѣѣжаютъ съ виномъ, угождаются сначала начальниковъ, потомъ нанимающихся и затѣмъ уже предлагаютъ свои условія, по большей части настолько невыгодныя, что пока крестьяне достаточно не угостятся, не соглашаются на нихъ; подъ хмѣлькомъ-же и по совѣтамъ и настоящимъ угождающаго и сельского или волостного начальства заключаютъ невыгодныя условія, которымъ на другой день сами удивляются. Не смотря на все это, заработка былъ-бы выгоденъ для крестьянъ, если-бы они не были поставлены въ необходимость покупать необходимые жизненные припасы у своихъ хозяевъ по самымъ высокимъ цѣнамъ» ⁷¹).

Нерѣдко отхожаго ремесленника ожидаетъ полное разочарованіе: отправляясь въ извѣстное мѣсто, онъ застаетъ тамъ развивающимся тотъ про-мыселъ, единственнымъ представителемъ котораго годъ тому назадъ былъ онъ самъ. Такая судьба постигла, напр., швецовъ, столяровъ, сапожниковъ и валяльщиковъ Симбирской губерніи ⁷²), шерстобитовъ, валяльщицъ Самарской ⁷³), овчинниковъ Московской, портныхъ Нижегородской ⁷⁴): «вездѣ видна безхлѣбница; оттого и мастерству всѣ стали учиться; мастеровъ-то много, да мастерить стало нечего», говорять шерстобиты самарцы. Заработка отхожихъ работъ очень ничтоженъ. Здѣсь тоже намъ придется ограничиться немногими примѣрами. Въ докладѣ Высочайше утвержденной комиссіи для изслѣдованія желѣзно-дорожнаго дѣла въ Россіи, мы читаемъ слѣдующее: «отхожее онежское населеніе Архангельской губерніи за тяжелый трудъ устройства плотовъ выручаетъ около 3 рублей на человѣка, а женщины не приносятъ домой ни копѣйки, а только кормятся на сторонѣ»; заработка олонецкихъ «отлучныхъ крестьянъ ничтожны, часто равны нулю, такъ что крестьяне являются домой, не принося туда со своей стороны никакой помощи»; «многимъ крючникамъ (Тверской губ.) приходится кормиться на пути милостыней и являться домой ни съ чѣмъ послѣ 5-месячнаго тяжелаго труда» ⁷⁵). Въ Самарской губерніи ходятъ артели крестьянъ мять глину: «особенной выгода, читаемъ мы въ Сборнике по Сам. губ., отъ этой работы пѣть, но, по крайней мѣрѣ, можно кормиться своимъ хлѣбомъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ; зато ежедневное пребываніе босыми ногами въ холодной глине

весьма дурно отзыается на здоровье работниковъ, которые нерѣдко болѣютъ простудными болѣзнями — лихорадкою, тифомъ, ревматизмомъ и т. д. »⁷⁶). Бурлачество по Днѣпру, по словамъ проф. Цитовича, «настолько малоприбыльно, что бурлаки часто не имѣютъ съ чѣмъ возвратиться домой»⁷⁷). Вся выгода вятскаго бурлака въ томъ, что онъ заплотитъ часть податей и кое-какъ прокормится въ теченіе $3\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ⁷⁸). Коренные пахари Олонецкой губерніи на вопросъ, ходятъ-ли они на заработки, съ гордостью отвѣчаютъ: «пока Богъ миловать—не хаживали... А впередъ загадывать нельзя: отъ сумы не слѣдъ отказываться». Мы ходимъ, говорять крестьяне, «не деньги наживать, а время провожать»⁷⁹). Понятно, что выгодность отхожаго промысла опредѣляется не той суммою, которую вырабатываетъ отходчикъ, а тою, которая приносится имъ домой. А эта сумма низка даже у рабочихъ качественнаго труда. Наиболѣе крупные заработки достаются, какъ кажется, живущимъ въ Петербургѣ костромичамъ. Д. Н. Жбанковъ, одинъ изъ серъезнѣйшихъ изслѣдователей отхода, считаетъ средній заработка отхожаго солигаличчанина въ сто рублей, но вычитаетъ изъ него 15 — 40 рублей, идущихъ на наемъ работника по хозяйству и 25 — 30 рублей, расходуемыхъ на дорогу⁸⁰). Нельзя забывать также, что оторванный отъ родины рабочій, въ періодъ застоя въ дѣлахъ, вынужденъ браться за самую тяжелую и невыгодную работу. Мы встрѣтились даже съ такимъ фактомъ, какъ передача болѣе тяжелыхъ работъ именно отхожимъ крестьянамъ; московское населеніе находитъ выдѣлку кирпича очень тяжелой работой, подыскивая другіе заработки, «а весь заработка на кирпичныхъ заводахъ предоставляетъ въ пользу прилага рабочаго населенія»⁸¹).

Очень и очень часто отхожіе рабочіе вовсе не находятъ занятій. Предложеніе рабочихъ рукъ все послѣднее время превышаетъ спросъ на нихъ; усиленный же приливъ рабочихъ находится въ зависимости не отъ увеличенія спроса, а отъ чисто мѣстныхъ деревенскихъ причинъ, особенно отъ неурожаевъ. Понятно, что, помимо хронической безработицы, отхожимъ рабочимъ нерѣдко приходится переживать и острую безработицу. Изъ Москвы, Петербурга, Николаева, Рыбинска, Ростова-на-Дону, изъ Саратовской губерніи и изъ другихъ мѣстъ сообщалось о безработицѣ отходчиковъ⁸²). Въ 1887 году страшная безработица постигла рабочихъ, пришедшихъ въ Орелъ, Орѣхово-Зуево, Самару, Харьковъ, Саратовъ. Многіе пошли назадъ съ пустыми котомками за плечами, рабочіе продавали свою одежду, собирали, чтобы не умереть съ голоду, милостыню, работали изъ-за одного только хлѣба⁸³). Въ 1888 году опять-таки изъ ряда мѣстъ сообщалось о безработицѣ отходчиковъ⁸⁴). Вообще говоря, безработица можетъ считаться у насъ хроническимъ, по временамъ, обостряющимся явленіемъ. 12 лѣтъ тому назадъ Кіевъ, Одесса, Рыбинскъ, Самара, Саратовъ жаловались на переполненіе ихъ рабочими⁸⁵); въ послѣднее же время эти жалобы стали постоянными. Спросъ на рабочія руки растетъ у насъ гораздо медленнѣе, чѣмъ происходитъ процессъ

оторванія крестьянства отъ земли; результатомъ такого несоответствія является какъ безработица, такъ и низкій уровень заработной платы.

Неземлемѣльческіе рабочіе идутъ главнымъ образомъ изъ сѣверной части центральной полосы и изъ губерній верхне- и средневолжскаго бассейна. Идутъ они и изъ многихъ другихъ мѣстъ и ходятъ очень далеко. Изъ Костромской губерніи, напр., ремесленники ходятъ даже въ Финляндію, Остзейскій край, въ Сибирь, на Кавказъ ⁸⁶); курскіе плотники ходятъ и въ Румынію ⁸⁷); изъ Московской и Тульской губерній идутъ къ югу всякие кустари и промышленники ⁸⁸).

Остановимся теперь на нищенствѣ, которое является не только нежеланнымъ спутникомъ отхода, но и самостоятельнымъ промысломъ. На положеніи нищихъ намъ не придется останавливаться; понятно только, что съ увеличеніемъ числа нищихъ въ данномъ мѣстѣ падаетъ и сумма подаянія, приходящаяся на каждого человѣка. Остановимся поэтому только на тѣхъ причинахъ, которые вызываютъ отходъ нищихъ и возьмемъ для примѣра Ржевскій уѣздъ Тверской губерніи, изъ крестьянъ котораго нищенствуетъ 2271 человѣкъ. Изъ этого числа 854 человѣка — крестьяне, а 1417—безхозяйные бобыли. Нищенствуютъ болѣе всего въ мѣстностяхъ, заселенныхъ бывшими помѣщицкими крестьянами, а менѣе всего въ мѣстностяхъ, заселенныхъ бывшими государственными или получившими большой надѣль шереметьевскими крестьянами. Изъ подобныхъ крестьянъ нищенствуютъ самыя бѣдныя семьи: «нищенствующія семьи меньше, слабѣе по отношенію къ рабочей силѣ, имѣютъ меньше надѣльной земли, надѣль на половину не обрабатываютъ сами и, наконецъ, половина нищенствующихъ семей не имѣтъ ни лошади, ни коровы». Крестьяне нищенствуютъ обыкновенно только по зимамъ, бобыли — круглый годъ. Крестьяне Хоринской волости ходятъ по миру не постоянно, а только когда «хлѣба не хватаетъ». Нищенствуютъ, разумѣется, и дѣти, и старики, и старухи ⁸⁹). Изъ этихъ данныхъ видно, въ какой тѣсной связи стоитъ отходъ нищихъ съ благосостояніемъ крестьянства. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ нищіе тоже попадаютъ въ руки нанимателей и являются наемниками. Не будемъ останавливаться подробнѣе на этомъ видѣ отхода, хотя нельзя не согласиться, что онъ сильно развитъ (изъ Вятскаго уѣзда уходитъ, напримѣръ, 1384 нищихъ ежегодно) ⁹⁰) и какъ одинъ изъ рѣзкихъ признаковъ упадка крестьянского благосостоянія заслуживаетъ вниманія.

Скажемъ нѣсколько словъ объ отходѣ мелкихъ торговцевъ. Занимая собою сравнительно небольшое число рукъ, онъ не бросается рѣзко въ глаза, хотя, по существу, ничѣмъ не отличается отъ отхода ремесленниковъ. Безработица и отсутствіе спроса на товаръ, возникновеніе мѣстныхъ промысловъ и открытие лавочекъ по деревнямъ — все это аналогичныя явленія. Замѣтимъ, что эти разночики-торговцы, «офици», какъ ихъ называли прежде, являются въ случаѣ самостоятельного веденія дѣла богаче кустарей и имъ не такъ страшнѣй застой въ дѣлахъ.

Дешево, хотя бы и въ убытокъ, проданный товаръ не допустить ихъ до того положенія, въ которое зачастую попадаютъ ремесленники. Самостоятельный торговцевъ очень мало; большинство оfenей захвачены въ руки хозяевъ, опутаны долгами и превращены въ неоплатныхъ должниковъ, въ зависимыхъ прикашниковъ. «Масса фактовъ, говоритъ г. Рейнке, обѣ отхожихъ торговцахъ щетинникахъ, приводить къ тому убѣжденію, что почти 3000 хозяйствъ щетинниковъ представляютъ не что иное, какъ неоплатныхъ должниковъ ⁹¹⁾). Крестьянское хозяйство такихъ отходчиковъ далеко неудовлетворительно. Такъ, напр., картищники московской губерніи утрачиваютъ склонность къ серьезному труду; большая часть ихъ на дѣловъ пустуетъ, то, что обрабатывается, обрабатывается кое-какъ, потому что хозяйственная приспособленія и птицожны и притомъ не въ порядкѣ ⁹²⁾). Какъ на характерную черту отхожихъ торговцевъ, черту свойственную впрочемъ и немногимъ отхожимъ ремесленникамъ, укажемъ на существование у нихъ особаго оfenьского языка съ его многочисленными разновидностями (кажется, впрочемъ, что употребленіе этого языка выходитъ изъ моды).

Посмотримъ теперь, въ какомъ положеніи находится земледѣльческое хозяйство отхожихъ рабочихъ. Часть изъ нихъ уходитъ на цѣлый годъ (напр., трубочисты Московской губерніи) ⁹³⁾), такъ какъ земледѣліе недостаточно выгодно; другая часть работаетъ только зиму, возвращаясь домой къ началу полевыхъ работъ или къ покосу; иногда рабочие возвращаются для посѣва и покоса, а потомъ опять уходятъ; такъ напримѣръ приходятъ въ юнь и опять уходятъ въ конецъ августа крестьяне Ново-графской волости Галичского уѣзда Костромской губерніи ⁹⁴⁾), крестьяне нѣкоторыхъ волостей Дмитровскаго и Грайворонскаго уѣздовъ Курской губерніи ⁹⁵⁾). Красильщики Бугульминскаго уѣзда Самарской губерніи уходятъ на всю зиму, на-глухо запирая и заколачивая свои избы, и возвращаются домой ненадолго лишь къ Петрову дню ⁹⁶⁾). Наконецъ, третья часть отхожихъ рабочихъ (главнымъ образомъ земледѣльческіе) приходитъ домой на зиму, которая прекращаетъ ихъ работу. Только въ счастливомъ случаѣ идуть въ отходъ лишніе рабочіе большихъ семействъ; очень часто идуть и нужные землѣ работники. Оставляя свои земли труду полурабочаго населенія, отходчики ухудшаютъ свое сельское хозяйство. Если это и не всегда замѣтно, если и встречаются иногда указанія на сравнительное споспособное состояніе земледѣлія, то все же это наиболѣе обычное явленіе, особенно для отходчиковъ, идущихъ на сельскія работы. Мы не говоримъ, разумѣется, о тѣхъ случаяхъ, когда крестьяне возвращаются домой къ началу полевыхъ работъ, или когда уходить только лишніе работники многодушныхъ семействъ. Мѣсто ушедшихъ мужчинъ занимаютъ въ сельскомъ хозяйствѣ женщины. Въ Березниковой волости Нерехтскаго уѣзда Костромской губерніи руки женщинъ «пашутъ, жнутъ и пекутъ тотъ хлѣбъ, которымъ питается масса» ⁹⁷⁾). Въ семи волостяхъ Солигаличскаго уѣзда «есть дворы даже поселки, гдѣ не остается ни

одного мужчины, не считая стариковъ»; «вся тяжесть полевыхъ работъ лежить на женщинахъ, которой помогаютъ старики и подростки»⁹⁸). Въ Чухломскомъ уѣзда женщина — «кормилица въ строгомъ смыслѣ этого слова: — безъ нея не было бы ни зерна». Въ 8 волостяхъ Галичскаго уѣзда всѣ полевые работы лежать на женщинахъ, а въ 14—изрѣдка нанимаются батраки. Въ сѣверной части Ярославской губерніи почти все взрослое населеніе уходитъ въ отходъ. Въ Ржевскомъ уѣзде Тверской губерніи «есть деревни, изъ которыхъ уходить плотничать все взрослое населеніе, такъ что все хозяйство остается на рукахъ стариковъ да бабъ, болѣе зажиточные нанимаютъ батраковъ»⁹⁹). Въ Чуриковской волости Скопинскаго уѣзда Рязанской губерніи «уходъ на сторону вообще и на торфъ преимущественно до того развитъ, что не только въ безлозадныхъ дворахъ, но и у семей, лично обрабатывающихъ свою землю, всѣ работники уходятъ на сторону; развѣ только въ наиболѣе зажиточныхъ и многосемейныхъ домохозяйствахъ одинъ работникъ остается все лѣто дома. Въ случаѣ отлучки всѣхъ работниковъ семьи, они уходятъ взметавъ яровые, а одни изъ нихъ возвращаются ко времени уборки, нанявъ кого либо изъ остающихся произвести взметь пара». «Въ Мещерской сторонѣ Рязанскаго уѣзда до $\frac{3}{4}$ всѣхъ рабочихъ уходитъ на сторонніе заработки, покидая землю на руки женщинамъ»¹⁰⁰). Даже въ Курской губерніи встречаются въ мѣстахъ отхода женщины, которые сами косять, боронятъ, молотятъ и даже пашутъ; правда, такое явленіе покамѣстъ рѣдко, но, по увѣренію мѣстныхъ изслѣдователей, несомнѣнно разовьется въ будущемъ¹⁰¹). Въ Московской губерніи на надѣлахъ отходящихъ стекольщиковъ и кровельщиковъ работаютъ преимущественно женщины¹⁰².

Понятно, что сельское хозяйство отходчиковъ падаетъ. Крестьянская молодежь, уходящая на заработки въ Петербургъ, совсѣмъ даже незнакома съ земледѣліемъ¹⁰³). О Троицкой волости Клинскаго уѣзда Московской губерніи сообщалось слѣдующее: «большинство домохозяевъ подросткамъ живетъ въ Москвѣ и на фабрикахъ. Дома находятся только женщины да старики и потому земля обрабатывается кое-какъ, хозяйства находятся въ самомъ плачевномъ состояніи: въ каждомъ домѣ одна плохая корова, 2 овцы и на два дома одна лошадь. Избы стоятъ безъ дворовъ, не говоря уже о садахъ и огородахъ, крыты соломой. Крестьяне живутъ въ Москвѣ, едва присылаютъ половину оброка, а семейство бѣется круглый годъ въ нуждѣ, видя кругомъ себя опустошеніе во всемъ и сами охлаждаются къ земледѣлію и проводятъ время въ кабакахъ, которыхъ развелось чуть не по два въ каждомъ селеніи»¹⁰⁴). Г. Козаченко писалъ объ отходящихъ рабочихъ Орловскаго уѣзда Вятской губерніи слѣдующее: «такой отливъ взрослого населенія, конечно, не можетъ не вліять на сельское хозяйство, такъ какъ уходить за почвою и полевыми работами занимается меньшее число рукъ и очень часто всѣ эти работы исполняютъ почти исключительно женщины, оставляя безъ присмотра

свой домъ и дѣтей, вслѣдствіе чего не только разстроивается и безъ того неудовлетворительное хозяйство; но и дѣти, отъ плохого ухода, слабѣютъ физически и изъ нихъ впослѣдствіи выходятъ слабые работники. Такимъ образомъ отхожие промыслы, производимые въ лѣтнюю рабочую пору, за немногими исключеніями, не улучшаютъ экономического состоянія крестьянъ»¹⁰⁵). Изъ Олонецкой губерніи писали въ 1888 году слѣдующее: въ тѣхъ волостяхъ, где особенно развито отхожее бурлачество, «крестьянское хозяйство находится въ наиболѣе плачевномъ положеніи и это стремленіе къ упадку идетъ рядомъ съ развитіемъ промысла. Остающіяся дома женщины, на которыхъ, за отсутствіемъ мужчины, падаетъ вся тяжесть лѣтнихъ полевыхъ работъ, не могутъ поддерживать хозяйства и оно постепенно опускается все ниже и ниже. Даже стороннему наблюдателю при первомъ знакомствѣ съ бурлацкой деревней дѣлается понятнымъ, что тутъ что-то не ладно, что эта деревня значительно бѣднѣе сосѣднихъ чисто земледѣльческихъ. У бурлака и домъ какъ-то покривился, и инвентарь у него плохой, и въ домѣ неопрятно и неуютно»¹⁰⁶). Г. Приклонскій слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ вліяніе отхода на мѣстную жизнь: «нужда и голодъ выгоняютъ работниковъ съ родины, а корень нужды лежитъ въ малоземельѣ, въ захватѣ культурныхъ земель немногими богачами. Въ сторону уходятъ тѣ работники, на долю которыхъ недостаетъ земли или слишкомъ мало земли, или совсѣмъ нѣтъ ея. Но покидая родину для отхожихъ промысловъ, крестьяне не мало не облегчаютъ этимъ участъ оставшихся на родинѣ работниковъ, не останавливаютъ процессъ обезземленія, не возстановливаютъ соразмѣрность земледѣлія съ рабочею силою. Напротивъ, оторвавшись отъ земли, они увлекаютъ за собою и другихъ рабочихъ въ ту же пропасть, въ какую сами низринулись. Въ самомъ благопріятномъ случаѣ, когда земля останется за работникомъ и тогда земледѣльческое хозяйство неминуемо должно падать во время отлучки для заработковъ. Семья отпускаетъ для заработка самыхъ лучшихъ здоровыхъ работниковъ и дома для полевыхъ работъ остаются слабосильные больные старики и женщины. Понятное дѣло, что, при плохихъ работникахъ, хозяйство ведется кое-какъ, плохо и убыточно. Тогда земля воздѣлывается дурно и даетъ скучный урожай. Своего хлѣба хватаетъ не долѣе какъ на полгода, считая съ осени, когда стоптъ дешевая цѣна на хлѣбъ. Затѣмъ весною приходится покупать хлѣбъ по высокой цѣнѣ у богачей, переплачивая имъ весь барышъ, полученный отъ промысла. Такимъ образомъ многоземельные богачи остаются въ барышѣ отъ чужого промысла, богатѣютъ еще больше, и вмѣстѣ съ тѣмъ получаютъ больше средствъ и силы для эксплуатации бѣдняковъ. Разореніе женщины и деморализація населенія постоянно съ большою и большою силой распространяется по мѣрѣ развитія отхожихъ промысловъ»¹⁰⁷). Антагонизмъ отхожаго промысла и земледѣлія былъ указанъ давно тому назадъ Александромъ Николаевичемъ Радищевымъ: «изъ всего вышеизложеннаго, пишетъ онъ, можно видѣть, что пильщики,

каменщики, кирпичники, суть худые земледѣльцы, потому что не живутъ дома, и можно сказать, что $\frac{1}{4}$ работниковъ земли не воздѣлываютъ и не только отъ того вредъ земледѣлю, по вредъ населенію; ибо отлученъ отъ семейства вдается въ пороки, приносить болѣзни въ домъ» ¹⁰⁸⁾.

Иногда отходъ совсѣмъ разоряетъ крестьянскія семьи; вотъ, напр., что пишутъ изслѣдователи Ржевскаго уѣзда Тверской губерніи: «часто, особенно въ мѣстностяхъ, гдѣ отхожіе промыслы только что начинаютъ развиваться, крестьянинъ-общинникъ уходитъ въ Питеръ или Москву, пропадаетъ безъ вѣсти и паспорта, по нѣсколько лѣтъ сряду. Недоимки растутъ, платить ихъ некому; тогда міръ отбираетъ землю отъ недопимщика, хотя бы у него на родинѣ и была семья. Семья же переходитъ въ бобыльство» ¹⁰⁹⁾). Также ненормаленъ отходъ въ продолжительную, а иногда даже въ безвѣстную отлучку, отходъ, извѣстный въ Вятской губерніи подъ именемъ ушлячества.

Отходъ, какъ земледѣльческій, такъ и ремесленный, очень часто влечеть за собою сдачу земли въ аренду (и наоборотъ, вынужденная сдача надѣла порождаетъ отходъ). Возвратиться же крестьянину къ разъ брошенной землѣ очень трудно, а часто и прямо невозможно; de facto отходчикъ становится типичнымъ пролетаріемъ. Не сдавая землю въ аренду, крестьянинъ отдаетъ иногда для прокорма скотину и лишается необходимаго удобренія; нѣкоторые отхожіе промыслы, напр., лѣсорубочный, заставляютъ отходчика брать съ собою лошадь, вслѣдствіе чего удобреніе теряется и поле плохо обрабатывается ¹¹⁰⁾). Во всѣхъ почти случаяхъ отходъ и благосостояніе сельского хозяйства стоять въ полномъ антагонизмѣ.

А. Карелинъ.

1) Рус. Вѣд. 1887 г. 97. 2) Вол. Вѣст. 1887 г. 234. 3) А. Риттихъ. Переселенія. 15. 4) Сбор. стат. свѣд. по Воронеж. губ. т. II, вып. 2, стр. 279. 5) В. Григорьевъ. Переселеніе крестьянъ Рязанской губерніи, стр. 73. 6) Засѣданіе нижегородскаго губернскаго статистическаго комитета, 7 июля 1886 г., стр. 16. 7) Сбор. стат. свѣд. по Саратов. губ. т. III. 23. 8) М. Куроптевъ. Слободской уѣздъ Вятской губ. 1886 г. 9) Материалы для сравнительной оцѣнки земельныхъ угодий въ уу. Казанской губ. VI. 40. 10) И. Ползыковъ. Отчетъ объ изслѣдованіи отхожаго промысла между Харьковомъ и Таганрогомъ по курско-харьковской желѣзной дорогѣ отъ 15 до 31 мая 1881 г. 11) Промыслы и грамотность центрального района Курской губерніи. 47. 12) Г. Бычковъ. Опытъ подпорного изслѣдованія въ трехъ волостяхъ Новгородскаго уѣзда. 13) 1885 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, в. I, стр. 144. 14) Янсонъ. Опытъ изслѣдованія о крестьянскихъ надѣлахъ и платежахъ. 15) Промыслы и грам. ц. р. Кур. губ. 219. 16) Материалы... Казанской губерніи. II. 53. 17) Материалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніи. В. Докучаева. VIII, стр. 5. 18) Материалы... Казанской губ. II. 54. 19) Р. Вѣд. 1888. 131. 20) В. Григорьевъ. 71. 21) Материалы по статистикѣ Вятской губерніи. III. 2. 19. 22) Ржевскій уѣздъ Тверской губерніи. 1886. 113. 23) Труды комиссіи по изслѣдованію кустарной промышленности въ Россіи. XIII. 144. 24) Тамъ-же. 282, 283. 25) Тамъ-же. II, 81. 26) Тамъ-же. VII, 1207. 27) Тамъ-же. VI, 4. 88. 28) Казан. Буржевой Листокъ. 88 99. 29) Материалы... Вятской губерніи III. 30) А. Макаренко. Отхожіе и кабальные рабочіе. Ю.

- В. 87. 4. 31) Вол. Вѣст. 87 г. 1 сентября. 32) Ржевский у. 113. 33) Труды ком. VIII. 1234. 34) Сельскохозяйственный обзоръ по Воронежской губ. за 88 годъ. 40. 35) Сб. ст. св. по Московской губ. т. IV. ч. I. 36) Рус. Вѣд. 87. 187. 37) Пром. и грам. ц. р. Кур. губ. 58. 38) Рус. Вѣд. 88. 162. 39) Р. В. 88. 139. 40) Тр. ком. XIII. 76. 41) Ржевский у. 86 г. 134. 42) Майковъ. Материалы для изученія кустарного производства и ручного труда въ Россіи. 161. 43) С. Шашковъ. Исторія русской женщины. 127. 44) В. Григорьевъ. Переселеніе. 103. 45) Материалы... Вятской губ. III. 46) Р. В. 87. 148. 47) Тр. ком. VIII. 1234. 48) Труды комиссіи по изслѣдованію кустарныхъ промысловъ Харьковской губ., в. I. 82. 49) Юрий. Вѣст. 88. I. 149. 50) Тр. ком. XIV. 51—52. 51) Тамъ-же. XIV. 178. 52) Сб. ст. свѣд. по Тамбовской губ. I. 86. 53) К. Б. Л. 89. 63. 54) Тр. ком. VII. 1907. 55) Тамъ-же. X. 2666. 2978—79; VIII. 2324. 56) Материалы по стат. народнаго хозяйства въ С.-Петербургской губ. IV. 169. 57) Сб. стат. свѣд. по Моск. губ. VI. II. 255. 58) Тамъ же. VII. I. 304. 59) Тамъ-же. VI. II. 255. 60) Тр. ком. XIV. 2. 61) Тамъ-же. IV. 166. 62) Сѣв. Вѣст. 88. 10. 66. 63) Тр. ком. XIV. 4. 64) С. Пономаревъ. Артельщина и дружество. Сѣв. Вѣст. 88. II. 142. 65) Сб. ст. св. по Моск. губ. VII. I. 303. 66) Тамъ-же. VI. I. 123. 67) И. Романовъ. Статистическое описание Уржумскаго у. Вятской губ. 225. 68) Тр. ком. VII. 1105. 69) Пр. и гр. ц. р. Курской губ. 43—44. 70) Экономическая скитанія. От. Зап. 80. 6. 71) Тр. ком. XI. 399—400. 72) Тамъ-же. VI. 592. 73) Сб. ст. св. по Самар. губ. V. 101. 74) Нижегородскій Сборникъ. VIII. 242. 75) Высочайше утвержденная комиссія для изслѣдованія желѣзодорожнаго дѣла въ Россіи. Докладъ о передвиженіи рабочихъ партій по желѣзнымъ дорогамъ 81 г. 26, 27, 35. 76) Сб. ст. свѣд. по Самар. губ. V. 100. 77) Цитовичъ. Кустарная промышленность въ Россіи. 39. 78) Тр. ком. XI. 72. 79) С. Приклонскій. Народная жизнь на сѣверѣ. 7, 201. 80) Д. Жбанковъ. Юр. Вѣст. 90. 9. 81) В. Б. Отходящий промыселъ Московскаго уѣзда. Тр. Им. Вол. Экон. Общества. 78 г. 9. 75—76. 82) А. Макаренко. Юр. Вѣст. 87. 4; 85 годъ въ с.-хоз. отношеніи 101; Рус. Вѣд. 85. 340. 83) Рус. Вѣд. 87. 116, 206, 347. 84) Рус. Вѣд. 82. 42, 49, 148. 85) Молва 80 г. 72. 86) Тр. ком. VII. 4. 114. 87) Пр. и гр. ц. р. Курск. губ. 22. 88) А. Риттихъ. 10. 89) Ржевский у. 136—137. 90) Мат. по ст. Вятск. губ. 91) Труды общества для содѣйствія русской промышленности и торговли. Записки V отдѣлевія. 89 г. 126. 92) Сб. ст. св. по Моск. губ. VI. I. 108. 93) Сб. ст. св. по Моск. губ. VII I. 311. 94) Тр. ком. XIV. 39. 95) Пром. и грамот. центр. р. Курск. губ. 39. 96) Сб. ст. св. по Сам. губ. V. 98. 97) Тр. ком. XIII. 318. 98) Тамъ-же. XIV. 195. 99) Ржевскій уѣздъ. 132. 100) В. Григорьевъ. 103, 73. 101) Пр. и гр. ц. р. Курской губ. 217. 102) Сб. стат. свѣд. по Моск. губ. VI. I. 124; VII. I. 304. 103) Д. Жбанковъ. Юр. Вѣст. 90. 9. 105) Тр. ком. XII. 549. 106) Рус. Вѣд. 88. 110. 107) С. Приклонскій. 200. 108) Собрание оставшихся сочинений покойнаго Александра Николаевича Радищева. Ч. 4. 144. 109) Ржевскій у. 141. 110) Тр. ком. XIII.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ.

Безлюдье въ уѣзда. — Какъ опредѣлить это явленіе. — Люди и земская работа. — «Моск. Вѣдомости» и «Одесскій Листокъ» о пытѣшней молодежи.— Смазные сапоги и бѣлая подкладка.— «Каспій» обѣ эмеритальной кассѣ для литераторовъ.— Мужчина и двѣ женщины въ «Новоросс. Телеграфѣ».— Письма трехъ женщинъ въ «Одесскомъ Листкѣ».— Результатъ женского учительства по «Кievлянину».— Право женщинъ на трудъ, какъ и на распоряженіе имуществою.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я коснулся «вопроса» о такъ называемомъ «перепроизводствѣ интеллигенціи» и призналъ, конечно, что это былъ вопросъ праздный, что никакого перепроизводства интеллигенціи у насъ нѣтъ. Теперь вышелъ другой вопросъ—«о безлюдѣ», который формулируется такъ: отчего у насъ въ уѣзда мало людей съ высшимъ образованіемъ, а изъ тѣхъ, которые имѣются, многіе или вовсе не хотятъ участвовать въ общественной дѣятельности, или участвуютъ въ ней нерадиво? Есть читатели, которые полагаютъ, что «вопросы» возникаютъ не случайно, но ставятся самой жизнью и что обсуждаться могутъ лишь предметы въ самомъ дѣлѣ неясные, допускающіе различіе во взглядахъ при полной искренности спорящихъ. Такихъ читателей должно было изумить появленіе второго изъ названныхъ вопросовъ, послѣ первого. Въ самомъ дѣлѣ, если могли быть какія-нибудь основанія думать, что у насъ происходитъ уже перепроизводство интеллигенціи, то мыслимо-ли говорить о недостаткѣ интеллигенції?

Но дѣло въ томъ, что у насъ возбуждаются иногда и такие вопросы, «которые вовсе не вопросы», подобно тому, какъ въ одной опереткѣ поется: «Il y a d's Espagnols qui n'sont pas de vrais Espagnols!» Вотъ, къ числу такихъ не «всамомдѣльныхъ» (какъ говорять дѣти) вопросовъ и принадлежать такие напр.: не напрасно-ли у насъ «слишкомъ» стараются о распространеніи высшаго образованія, «своевременно-ли» у насъ было отмѣнять «дисциплинованный» крестьянскій трудъ, необходима-ли «у насъ» несмѣнность судей и т. д. Это—настолько же «вопросы», какъ напр.: хорошо-ли, что мы вступили въ общеніе съ Европой, не слишкомъ-ли рано мы выпустили женщинъ изъ затворничества и т. п.

А «безлюдье» или недостатокъ образованныхъ людей въ уѣздахъ, это, пожалуй, вопросъ; но какъ вопросъ не принципа, а факта и притомъ факта неускользающаго отъ наблюденія, онъ, мнѣ кажется, легко мочь быть рѣшенъ тотчасъ же. И онъ быль бы рѣшенъ немедленно, если бы провинциальная печать была въ состояніи дать на него положительный отвѣтъ. А только она и могла бы дать отвѣтъ рѣшающій, если бы она болѣе занималась идеинмъ наблюденіемъ мѣстной жизни. Изъ того, что

такой отвѣтъ ею не былъ данъ, заключаю, что она и сама не лучше насть знаетъ, правда-ли, что въ уѣздѣ «людей нѣть» и «отчего нѣть людей?»

Я уже упоминалъ о письмѣ по этому предмету землевладѣльца Орловской губерніи г. Ромера, напечатанномъ въ «Новомъ Времени», письмѣ, которымъ и былъ возбужденъ «вопросъ», собственно въ примѣненіи его къ уѣзду и къ дѣятельности общественной. Въ болѣе общемъ значеніи, на тотъ же фактъ указывали и раньше, даже давно. Такъ, защитники доступности высшаго образованія для женщины постоянно приводили такой аргументъ, что во многихъ отрасляхъ дѣятельности образованная женщины съ пользою могли бы замѣнить малообразованныхъ мужчинъ; такъ, при обсужденіи врачебной организаціи въ уѣздахъ, необходимость возстановленія женскихъ врачебныхъ курсовъ доказывалась крайнимъ недостаткомъ въ Россіи числа врачей; тоже самое говорилось по поводу борьбы съ холерною эпидеміей. Наконецъ, недавно, г. министръ финансовъ указалъ на недостаточный процентъ числа людей съ высшимъ образованіемъ на государственной службѣ по его вѣдомству. Въ корреспонденціи «Русской Жизни» какъ-то были приведены процентныя цифры лицъ съ высшимъ образованіемъ, служащихъ въ разныхъ управленіяхъ въ Вильнѣ и оказывалось, что цифры эти только въ немногихъ высшихъ мѣстахъ превышали 10%, а въ другихъ были значительно ниже.

И такъ, если мало образованныхъ людей въ уѣздѣ, то прежде всего по той причинѣ, что и вообще-то ихъ еще не особенно много. Что въ уѣздахъ ихъ меньше, чѣмъ въ городахъ, это объясняется тѣмъ, что огромное большинство людей съ высшимъ образованіемъ принадлежать не къ имущественному классу. Сущность данного вопроса, стало быть, сводится на то, почему изъ числа образованныхъ людей, въ классѣ владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ въ уѣздѣ, многіе не живутъ въ немъ, а изъ живущихъ нѣкоторые уклоняются отъ участія въ общественной дѣятельности? Въ этомъ видѣ, вопросъ еще распадается на двѣ части. Постоянно жить въ уѣздѣ, не занимая на мѣстѣ должности съ жалованьемъ, можетъ только крупный собственникъ, не нуждающійся въ заработкѣ и имѣющій такія средства, чтобы дать дѣтямъ среднее образованіе — дома. При такихъ средствахъ, надо еще, чтобы у человѣка была привязанность къ землѣ, чтобы почетнѣе всякихъ отличий онъ признавалъ независимость и выше всякой иной дѣятельности считалъ ту, въ которой онъ, въ самомъ дѣлѣ, можетъ наиболѣе — непосредственно приносить пользу, видя собственными глазами результаты своей работы.

Но можно-ли сказать, что наши историческія условія благопріятствовали созданію подобнаго, устойчиваго, любящаго независимость и землю просвѣщенного класса мѣстныхъ дѣятелей? Конечно нѣть. Землевладѣніе у насъ непрочно, а привязанности къ землѣ у собственниковъ мало. Я зналъ одного джентльмена, которому досталась на аукціонѣ за безцѣнокъ великолѣпная рѣзная, дорогое дерево кровать, имѣвшая даже, по его словамъ, большое историческое значеніе. Онъ держалъ ее, надѣясь, что ка-

кой-нибудь любитель дастъ за нее большія деньги и съ непрѣніемъ ждалъ такого любителя. Но, чтобы кровать не занимала лишняго мѣста, онъ другой не ставилъ, а спалъ на этой.—А что—спросилъ я—если бы любитель явился ночью, разбудилъ бы васъ и далъ бы хорошія деньги, но съ тѣмъ, чтобы вы тотчасъ встали и позволили людямъ вынести вашу кровать?— Еще бы! Разумѣется, съ величайшимъ удовольствіемъ — былъ отвѣтъ. И вотъ, мнѣ думается, что если не всѣ, то огромное большинство нашихъ собственниковъ относятся къ своей землѣ совершенно такъ, какъ тотъ джентльменъ—къ кровати, которою онъ однако гордился, пока она у него была. Ночью разбудить владѣльца земли, дать за все хорошую цѣну, но съ тѣмъ, чтобы онъ самъ тотчасъ же покинулъ свою усадьбу... Думаю, что, въ большинствѣ случаевъ, покинетъ. Пойдетъ къ батюшкѣ и доспѣть остальное время.

Даже и во времена крѣпостного права, о которыхъ въздыхаютъ «Моск. Вѣдомости», говоря, что до сліянія сословій, находились же всегда люди въ уѣздахъ, что въ нихъ не было недостатка, дворянство занимало первенствующее положеніе и т. п. — даже и тогда, говорю я, наше землевладѣніе устойчивымъ не было, и значительная часть помѣщиковъ состояла изъ бывшихъ чиновниковъ провіантскаго, коммисаріатскаго или таможеннаго вѣдомства, купившихъ имѣнія на торгахъ въ управѣ благочинія, да изъ отставныхъ поручиковъ и штабсъ-ротмистровъ, пріобрѣвшихъ имѣнія въ приданое за женами. Но «Моск. Вѣдомости», которая укоряютъ настоящее тѣмъ прошлымъ, когда въ уѣздахъ недостатка въ «людяхъ» не было, тѣмъ самыми все-таки признаютъ фактъ, что нынѣ—послѣ сліянія сословій—людей въ уѣздахъ нѣть или мало. Надо однако замѣтить, что дѣло здѣсь идетъ не о людяхъ вообще, но именно о людяхъ интеллигентныхъ. Какъ бы ихъ ни было мало, но полагаю, что въ современномъ уѣздахъ ихъ все — таки больше, чѣмъ во времена генерала Бетрищева, Пѣтуха, Ноздрева, Собакевича и Плюшкина.

Теперь обращусь ко второй части вопроса, въ частной, относящейся собственно къ уѣзду, его формулоровкѣ. Почему и изъ тѣхъ образованныхъ людей, которые нынѣ живутъ постоянно въ уѣздахъ, нѣкоторые склоняются отъ участія въ общественной дѣятельности? Только къ этой части вопроса, весьма разносторонняго, и можетъ относиться тотъ отвѣтъ, который даютъ на него «Русскія Вѣдомости». Онѣ возражаютъ «Моск. Вѣдомостямъ», причемъ ссылаются на прежнія «Моск. Вѣдомости», цитируя покойнаго Каткова и его заставляютъ побивать аргументацію газеты г. Петровскаго. Вотъ въ какомъ свѣтѣ изображенъ Катковъ въ 1866 году дореформенное время: «Науки не было — была бюрократія. Суда не было — была бюрократія. Церковного управления не было — была бюрократія. Администраціи не было — было организованное превышеніе власти. («Р. Вѣд.» № 61. «М. Вѣд.» 1866 г. № 154)». «Послѣ освобожденія крестьянъ — говорятъ «Р. В.» — стали возникать новыя учрежденія крестьянско-мировыя, земскія, судебнно-мировыя, обще-судебныя; создалась

масса должностей, носителямъ которыхъ дана самостоятельность; они были избавлены отъ унизительной, рабской зависимости отъ произвола начальства, ограждено ихъ служебное и человѣческое достоинство, они поставлены въ возможность не изводить только бумагу, а дѣлать настоящее, полезное дѣло... И люди нашлись... Особенно поразителенъ былъ успѣхъ судебной реформы, для которой сразу потребовались нѣсколько тысячъ людей... Катковъ писалъ (въ 1867 г.): «попытнѣ, едва вѣрится, чтобы въ столь короткое время такъ крѣпко и такъ успешно принялось дѣло столь великое и столь мало похожее на прежніе наши порядки... Судь присяжныхъ, это лучшая гарантія гражданской свободы» и т. д. Въ 1866 г.: «великое учрежденіе тѣмъ и велико, что создаетъ людей, способныхъ проводить въ жизнь созданнія имъ начала».

Въ 1870 г. тотъ же публицистъ, говоря о мѣрахъ принятыхъ, въ концѣ 60-хъ годовъ, относительно земскихъ учрежденій и «указать на стѣненіе гласности, которая для нихъ — то же, что воздухъ для организма, съ грустью отмѣчаютъ: земскія учрежденія представляютъ печальное зрѣлице; гласные во многихъ мѣстахъ окладываются къ своему дѣлу, перестаютъ видѣть въ немъ серьезнозное дѣло государственного значенія; они замѣчаютъ въ правительственныйхъ властяхъ глухое нерасположеніе къ этому созданію правительственной власти; многія земскія собранія шли вяло, за малочисленностью гласныхъ, иные вовсе не состоялись, за неприбытіемъ законнаго числа членовъ». Приведя эти выписки изъ «Моск. Вѣдомостей» Каткова, съ указаніемъ годовъ и нумеровъ, почтенный «авторъ статьи «Русск. Вѣдомостей», Г. Д. оканчиваетъ такъ: «приведенные данныя изъ недавняго прошлаго, кажется, достаточно наглядно показываютъ, какими причинами обусловливается появленіе «людей» и исчезновеніе ихъ. Sublata causa tollitur morbus: съ устраниеніемъ причины, устраняются и патологическая послѣдствія ея».

Признаюсь, не люблю цитать изъ тѣхъ статей покойнаго руководителя «Моск. Вѣд.», которымъ такъ противорѣчили позднѣйшія его статьи. Указанное выше явленіе — малочисленность гласныхъ, явившихся на земскія собранія продолжалось и, какъ известно, по новому « положенію », за неявку гласныхъ установлены штрафы, что могло уменьшить и самое число желавшихъ баллотироваться въ гласные. Отмѣченная же еще Катковымъ «вялость» земскихъ собраній никакъ не уменьшилась въ настоящее время, и я упоминалъ о ней недавно, по поводу послѣдней сессіи губернскихъ земствъ. Нельзя не согласиться со взглядомъ г. Г. Д., что дѣло могло бы перемѣниться по рецепту *sublata causa tollitur effectus*. Но мнѣ бы хотѣлось опредѣлить точнѣ — въ чёмъ собственно выражается явленіе, что «людей нетъ». Я уже замѣчалъ, въ одномъ изъ своихъ обзоровъ, что при всей вялости собраній, исполнительные органы земства не только продолжаютъ работать дѣятельно, не смотря на разныя затрудненія, какія могли встрѣчаться, но и расширяютъ свою дѣятельность, внося проекты относительно новыхъ полезныхъ предпріятій. Въ этомъ, мнѣ кажется,

можно видѣть доказательство, что въ нашемъ уѣздѣ уже упрочились какъ сознаніе въ необходимости, при какихъ бы то нибыло условіяхъ, общественной работы надъ улучшеніемъ мѣстного быта, такъ и внутренняя сила этой работы. Затрудненія въ той или другой области дѣлаются только то, что земская дѣятельность временно какъ бы измѣняетъ нѣсколько свое русло, но все-таки она стремится впередъ, остается живою.

Такъ, въ первое время, излюбленной земствомъ областью представлялось дѣло народнаго образования. Потомъ, вслѣдствіе фактовъ, которыхъ не буду перечислять на нѣсколькихъ страницахъ, которыя могу посвятить этому вопросу, земства, временно, какъ будто охладѣли къ этому дѣлу; но зато они стали усиленно работать по устройству врачебной части. Затѣмъ, они стали создавать, насколько то въ ихъ силахъ, нѣкоторыя средства для поднятія производительности народнаго труда и это дѣло теперь развивается, а вмѣстѣ съ тѣмъ, земскія усиія уже снова обратились къ распространенію образования. Нетолько появились старанія по устройству библіотекъ, но возобновилось и болѣе дѣятельное отношеніе непосредственно къ самой школѣ. Исчезла мысль о передачѣ ея изъ земскихъ рукъ, мысль, которая одно время явилась слѣдствіемъ какъ бы обезкураженія и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была даже приведена въ исполненіе. Вотъ почему я думаю, что если бы теперь осуществилась та новая организація дѣла народнаго продовольствія, о которой упоминалось во «внутреннемъ обозрѣніи» предшествующей нашей книги, то земства не уменьшили бы свою работу, но направили бы ее еще въ другую сторону, напр., болѣе занялись бы дѣломъ призрѣнія калѣкъ и спрѣть по участкамъ уѣзда.

И такъ, фактъ, что въ уѣздѣ оказывается слишкомъ мало образованныхъ людей, желающихъ заниматься общественной работой, объясняется прежде всего тѣмъ, что людей съ высшимъ образованіемъ вообще еще слишкомъ мало въ каждой сферѣ дѣятельности, кроме нѣсколькихъ специальныхъ, где высшее образованіе составляетъ условіе непремѣнное. Затѣмъ, въ частности, фактъ, о которомъ идетъ рѣчь, сводится на то, что нѣкоторые изъ образованныхъ иуважаемыхъ людей въ уѣздѣ прежде участвовали въ земской работе, а впослѣдствіи отъ нея устранились, вслѣдствіе измѣненія внѣшнихъ условій и что, по той же причинѣ, за эту работу не принимаются и нѣкоторые молодые образованные люди, которые, при другихъ условіяхъ, стали бы работать для уѣзда, а теперь или остаются въ большихъ городахъ, занимаясь пынными дѣлами, или живя въ уѣздѣ, занимаются только своими личными интересами. Это, несомнѣнно, печальное явленіе. Но главное все-таки въ томъ, что практическая дѣятельность земствъ не ослабѣваетъ, что внутренняя ихъ сила жива и выживеть, какъ нынѣшніе озимые всходы въ тѣхъ губерніяхъ, где не было снѣга, а морозы были сильные. Они сасались, что всходы погибнутъ, и вотъ недавно, въ «Правит. Вѣстникѣ» было утѣшительное извѣстіе, что озимые всходы съ самаго начала, съ осени, благодаря тогдашнимъ благо-

пріятнымъ условіямъ, пріобрѣли силу, которая позволила имъ выдержать безснѣжную зиму. Будемъ надѣяться на внутреннюю силу земской работы.

Отъ общественныхъ дѣятелей перейду къ молодежи, отъ земства — къ высшей школѣ. Я хочу поговорить о двухъ недавнихъ статьяхъ, въ которыхъ отчасти характеризовалась нынѣшняя университетская молодежь. Одна изъ этихъ статей принадлежитъ критику «Моск. Вѣд.» г. Ю. Николаеву и посвящена разбору напечатанного въ нашей февральской книгѣ разсказа гр. Л. Л. Толстого «Совершеннолѣтніе», другая написана по поводу университетскихъ праздниковъ и составляеть фельетонъ «Одесского Листка» за подписью Фигаро. «О современной молодежи — пишеть г. Николаевъ — говорять очень много дурного. Ее упрекаютъ въ черствости, въ холодности, въ малой отзывчивости. Говорятъ, что съ упраздненіемъ такъ называемыхъ «вредныхъ идей» въ молодежи упразднились и всякия идеи». Критикъ находитъ, что все это преувеличено, «а если въ современной молодежи и можно замѣтить нѣкоторую умственную апатію и сердечную вялость», то это есть «прямое послѣдствіе того нервнаго и бесплоднаго напряженія, которое пережила молодежь предшествующаго поколѣнія». Мысль критика заключается въ томъ, что такъ какъ, съ 60-хъ годовъ, «общество систематически отучалось мыслить самостоятельно», «поворачивалось туда и сюда по командѣ искусственно созданного общественного мнѣнія», то «молодежь, воспитавшаяся среди подобнаго общества впала въ умственную апатію и сердечную вялость; ростъ личности слишкомъ насильственно былъ прерванъ».

Итакъ, критикъ «Моск. Вѣд.» все-таки признаетъ фактъ «нѣкоторой умственной апатіи и сердечной вялости у нынѣшней молодежи», то-есть признаетъ за современной молодежью особенность весьма печальной. Но объясненіе этого факта у него — малоубѣдительно. О такомъ объясненіи можно сказать по-французски, что оно притянуто за волосы, или по-русски, что оно, наоборотъ, представляетъ плѣшивое доказательство; смыслъ обоихъ этихъ противоположныхъ выражений одинаковъ. Г. Николаевъ едва-ли можетъ думать, что всегда и повсюду, где проявляется общественное мнѣніе, ростъ личности прерывается и молодежь выростаетъ съ той печальной чертой, которую онъ признаетъ у нашей, современной. Причину этого явленія онъ, вѣроятно, видѣтъ въ томъ именно, что, съ 60-хъ годовъ и до какого-нибудь позднѣйшаго периода, общественное мнѣніе у насъ было «искусственно-созданное». Но вѣдь это — объясненіе совершенно произвольное и я, съ неменьшимъ, а по моему, съ гораздо большимъ правомъ, могу назвать искусственно-созданнымъ то, въ чёмъ г. Николаевъ можетъ видѣть общественное мнѣніе нашихъ дней.

Большинство нынѣшней университетской молодежи находилось въ возрастѣ 7 — 10 лѣтъ, когда уже минулъ периодъ «команды искусственно созданного общественного мнѣнія», какъ его называетъ критикъ. Пшли уже совсѣмъ иные разговоры, и не проще-ли въ умственной апатіи современныхъ молодыхъ людей видѣть прямое вліяніе тѣхъ разговоровъ,

среди которыхъ формировался ихъ умъ, а не какой то рикошетъ на нихъ отъ «искусственного» общественного мѣнія черезъ перерывъ въ «ростѣ личности» ихъ отцовъ? Настроение молодежи естественно соотвѣтствуетъ, въ тотъ или другой періодъ, настроению общества, выражаясь, обыкновенно, съ большей откровенностью и рельефностью. Я бы сказалъ, что молодежь, въ лицѣ большинства своихъ представителей, какъ и большинство общества, особенно общества столичнаго, служащаго, возвратилась къ тому отсутствію идеиной связи въ своей средѣ и къ той умственной апатіи, какія соотвѣтствовали періоду болѣе отдаленному, періоду до конца 50-хъ годовъ.

Но этимъ я не могу ограничиться, какъ и г. Николаевъ не ограничился «умственной апатіей» въ современномъ молодомъ поколѣніи, но долженъ быть признать еще и «сердечную вялость». Это уже черта новая, которой въ томъ, старомъ періодѣ не замѣчалось среди молодежи. Дѣло въ томъ, что если старое явленіе и повторяется въ жизни общества, то все-таки не въ чистомъ видѣ, но съ нѣкоторыми потерями, понесенными на штуки сперва впередъ, потомъ снова назадъ. «Умственная апатія» могла временно возстановиться, но сердечная теплота потерялась по дорогѣ. Почву для ослабленія ея подготавляло одно изъ тѣхъ ученій, съ которымъ спервашли впередъ, а именно то, которое утверждало, что человѣкъ «есть» только то, что онъ «ѣсть», что самая мысль и лучшая стремленія есть не болѣе, какъ продуктъ питанія, что идея служенія обществу, борьба за правду есть только результатъ съѣденныхъ мяса и картофеля, выпитаго пива или квасу. Логически отсюда слѣдовало, что человѣкъ и «есть» только для того, чтобы «ѣсть». Но этотъ роковой, неизбѣжный современемъ выводъ не сказывался, пока то знамя, на которомъ былъ девизъ ученія, по ошибкѣ, несли впередъ, въ числѣ другихъ, почтенныхъ, свѣтлыхъ знаменъ. Сопротивленіе воздуха временно обезвреживало тотъ девизъ, унося его міазмы. Но когда, испытавъ разочарованіе, остановились въ поступательномъ движениі и вновь заговорили давнія словеса, что каждый долженъ устраивать свои личныя дѣла, а до остального никому нѣть дѣла, тогда-то дѣйствие питанія, возвѣденаго въ нравственный законъ и сказалось.

Вотъ почему къ умственной апатіи прибавилась еще и сердечная вялость. Много сходства съ прежнимъ, давнимъ: и разобщенность, и малое вниманіе къ интересамъ общественнымъ. Но той прежней наивности впечатлѣній, той дѣтскости души въ прежней молодежи, которая соотвѣтствовали прежней «нѣкоторой умственной апатіи», теперь уже нѣть. Бѣда отъ материализма, когда онъ перестаетъ быть только (и то по ошибкѣ) знаменемъ борьбы за развитіе, за прогрессъ, а обращается въ обиходную мораль, въ правило для личной жизни. Тѣ напееньки, которые когда-то носились впередъ съ этимъ девизомъ, но носились осторожно, всѣ подѣлали карьеры. По характерному выраженію «Гражданина», они сказали консерваторамъ: возьмите насть, мы способнѣе васъ, а уѣжденія

наши — мы ихъ оставимъ при себѣ. Среди учащихся еще ихъ сыновъ я встрѣчалъ любопытные экземпляры. О томъ или другомъ изъ нихъ я бы сказалъ, что въ сущности онъ пока просто — «шикарь», совершенно чуждый какой-либо идеи. Но изъ разговора я убѣждался, что сидѣвшій передо мной кавалеръ съ длинной шпагой и бѣлой подкладкой подъ форменнымъ сюртукомъ — не просто «шикарь», но еще что-то въ родѣ декадента. Этотъ университетскій студентъ позналъ сущность всякихъ идеаловъ, онъ — Базаровъ въ отношеніи къ женщинѣ, онъ — Писаревъ въ отношеніи къ искусству; но онъ же — «артистъ» по отношенію къ карьерѣ, фанатикъ въ направленіи женитьбы на деньгахъ. *Cuique suum:* каждому свое, гласитъ прусскій девизъ. Но самый примѣръ Пруссіи громко свидѣтельствуетъ, что къ своему можно присоединять чужое, лишь бы умѣючи, что за это еще прослышишь не только умнымъ, но пожалуй и геніальнымъ. А знаменательные, крупные примѣры заразительны для цѣлаго періода.

Перехожу къ другой статьѣ о томъ-же предметѣ, но трактующей его съ другой, болѣе вѣнчаной стороны. Упоминая обѣ университетскихъ обѣдахъ, сотрудникъ «Одесского Листка» г. Фигаро говоритъ, что «чѣмъ-то сердечнымъ, простымъ и искреннимъ вѣтъ всегда отъ этихъ пирушекъ», что онъ самъ «десять лѣтъ ужъ, изъ года въ годъ, ни разу не пропускалъ этихъ товарищескихъ обѣдовъ въ университетскій день и что ему «ни одной фальшивой нотки не приходилось наблюдать въ этомъ товарищескомъ единеніи». Не знаю, можетъ быть, въ Одессѣ это и такъ, хотя, въ одесскомъ обществѣ незамѣтно особаго единенія. Но на общихъ университетскихъ обѣдахъ въ Петербургѣ я уже нѣсколько лѣтъ не бываю, именно потому, что тамъ давно не только послышались фальшивыя нотки, но можно сказать, стала господствовать полная какофонія. «Чѣмъ вынѣшній студентъ, даже бѣлоподкладочный франтикъ раздражилъ такъ господъ газетныхъ обозрѣвателей и ламентаторовъ?» спрашиваетъ авторъ. Затѣмъ, ихъ культурность, дисциплину, чистоплотность и воспитанность онъ противопоставляетъ неряшеству, грубости и цинизму прежнихъ студентовъ. Въ свои университетскіе годы, г. Фигаро въ студенческомъ кругу засталъ еще «цѣлыхъ серіи небрѣтыхъ и вежесаныхъ личностей», «красные рубахи съ косыми воротами и мѣшканскимъ спинажакомъ», «смазныя сапожища, пледы и никогда неумываемыя руки», «мертвецкія» на студенческихъ вечерахъ. При этомъ, по словамъ автора, врожденнымъ неряшествомъ рисовались въ качествѣ знамени «чего-то и протеста противъ всего»... «Тѣ времена, когда наморщенное чено считалось глубокимъ признакомъ учености, одинаково съ нечищенными ногтями, а шляпа калабрійского разбойника съ недосягаемыми полями — признакомъ сугубаго либерализма и просвѣщенности, слава Богу, отошли въ область преданій... Теперь никто не станетъ отрицать въ человѣкѣ ума или познаній только потому, что онъ прилично одѣвается или считать его заядлымъ обскурантомъ, потому что онъ єсть устрицы»...

Здѣсь я прерву разсужденія автора, но потомъ снова дамъ ему голосъ для восхваленія студента новой формациі. Г. Фигаро пишетъ недурно, хотя у него есть нѣкоторыя неправильныя выраженія, какъ напр. «глубокій признакъ учености» или «недосягаемыя поля шляпы». Но самую статью никакъ нельзя признать «глубокою» и недосягаемымъ, повидимому, осталось для ея автора многое болѣе важное, чѣмъ поля шляпъ, смазные сапоги или лакированныя ботинки. Замѣчаніе автора о прежнемъ врожденномъ неряшествѣ справедливо, но надо помнить, что въ то время шли въ университетѣ менѣе культурные, по рожденію и воспитанію, элементы, которымъ доступъ туда впослѣдствіи былъ загражденъ. Правда и то, что была и аффектація «врожденного неряшства», придаваніе ему значенія признака «сугубаго либерализма» и протеста. Но это—мелочь.

А если спросить, почему мелочь могла получить такое значеніе, то придется сказать, что важный и именно чуть-ли не политической смыслъ ей было придано не во время смазныхъ сапоговъ и пледовъ, но гораздо раньше, когда волосы, не то что длинные, а только несогсѣмъ коротко подстриженные считались признакомъ вольнодумства, появленіе на улицѣ въ фуражкѣ (вмѣсто прежней треуголки, которую такъ и нерѣшились возстановить) признавалось уже дѣйствіемъ явно неблагонамѣреннымъ, а отпущеніе бороды—чуть-ли не попыткою нисправергнуть строй, тотъ по крайней мѣрѣ, строй безбородый, который установился со временемъ Петра Великаго. Вотъ почему долгія гривы, цвѣтныя рубахи и смазныя сапоги могли впослѣдствіи, въ свою очередь, считаться заявленіемъ либерализма и протesta. Конечно, это было глупо, но оно не пришло само собой. Давленіе старинной формалистики чувствовалось у насъ такъ долго и то, что съ нею соединялось, то что она выражала, было такъ тяжко, что отвращеніе къ нѣкоторымъ формамъ, само по себѣ наивное, вѣѣлось въ привычки цѣлаго поколѣнія. Такъ, я знаю нѣсколькихъ стариковъ, умныхъ и ученыхъ, которые до сихъ поръ ни за что не надѣнути цилиндра, носятъ перчатки только зимой, теплыя, ни въ какомъ случаѣ не сядутъ въ театрѣ въ первомъ ряду, хотя-бы и неособенно дорого было и другихъ мѣсть бы не оказывалось.

Не могу не признавать, что и чистоплотность, и даже нѣкоторая внѣшняя дисциплина относятся къ культурности. Но такія вещи еще далеко не ручаются за истинную культурность, именно потому, что культурность есть свойство внутреннее, ея нельзя заказать себѣ у портного и у сапожника. И въ самомъ блестящемъ мундирѣ можно быть глубоко некультурнымъ. И вотъ, у прежняго-то студента, въ сравненіи съ нынѣшнимъ, было болѣе—того, что для истинной культурности поважнѣе изящнаго туалета, болѣе такихъ идеальныхъ стремленій, которыя объединяли молодежь. Г. Фигаро пишетъ: «явился мундиръ, явилась и бѣлая подкладка, такъ не нравящаяся пынью изъ золотовъ, но, прежде всего, явилось и нѣкоторое настоящее единеніе, внѣшнѣмъ выраженіемъ кото-

раго послужилъ мундиръ». Я ничего не имѣю противъ мундира; онъ не былъ придуманъ вновь, а возстановленъ въ прежнемъ видѣ, какъ его носили въ свое время многіе люди, которыхъ память дорога. Да форменный сюртукъ и практичнѣе «штатскихъ» нарядовъ для студентовъ небогатыхъ. Но въ чемъ-же заключалось то единеніе «выраженіемъ котораго послужилъ мундиръ? И развѣ мундиръ явился какъ выраженіе единенія? Съ особой настойчивостью авторъ защищаетъ бѣлую подкладку: «путь подъ инымъ изъ этихъ мундировъ подшита бѣлая подкладка... Что-же отсюда слѣдуетъ? Ровно ничего, кромѣ того, что студентъ имѣть средства на эту бѣлую подкладку»... Авторъ замѣчаетъ, что «заниматься наукой и бѣлая подкладка не мѣшаетъ».

Мѣшать-то, она сама и не мѣшаетъ, но значительно можетъ мѣшать то фатовство, котораго «внѣшнимъ выраженіемъ послужили» разныя прибавки, на военный ладъ, къ скромному форменному платью, придуманныя нынѣшними университетскими франтами. Такой франтъ носить шпагу длиннѣе, чѣмъ у кирасиръ, бѣлую подкладку также заимствуетъ у кавалерийскихъ офицеровъ, вмѣсто свѣтлосинихъ воротника и околыша, дѣлаетъ ихъ темносиними, въ подражаніе офицерамъ одного изъ пригородныхъ, кавалерийскихъ-же полковъ; лѣтомъ дѣлаетъ себѣ китель совершенно такой, какъ у нихъ, шинель носить «николаевскую», свѣтлосѣрую, вокругъ воротника ея пускаетъ канты, какъ у генераловъ, да тѣмъ-же кантомъ украшаетъ еще и бортъ сюртука. Онъ только еще не рѣшился сдѣлать себѣ синюю генеральскую подкладку подъ пальто, но когда-нибудь и ее себѣ сдѣлаетъ. «Что-же отсюда слѣдуетъ—спрашивается г. Фигаро—и отвѣчаетъ себѣ: «ровно ничего, кромѣ того, что студентъ имѣть средства?.. Нѣтъ, замѣчу я, отсюда слѣдуетъ еще кое-что иное. Какъ можно носить мундиръ несуществующій, выдуманный? Вѣдь это—шутовство. Вѣдь въ положенномъ форменномъ платьѣ все опредѣлено съ точностью, даже и цвѣтъ подкладки. А упомянутые франты ходятъ въ формѣ ими самими сочиненной, въ родѣ той, какую мы видимъ на «адмиралѣ швейцарского флота» въ опереткѣ. Положимъ, бѣды отъ этого никакой нѣтъ и пусть они себѣ забавляются. Но только едва-ли изъ такого «ряженаго» можетъ выйти современемъ что-нибудь дѣльное.

Въ двухъ статьяхъ, въ февралѣ, газета «Каспій» поставила вопросъ объ обезпеченіи участн сотрудниковъ газетъ на случай потери возможнности работать, вслѣдствіе болѣзни или дряхлости, а также о предоставлениі какой-нибудь помощи семьямъ умершихъ литераторовъ, остающимся безъ всякихъ средствъ. Положеніе больныхъ и одряхлѣвшихъ литературныхъ работниковъ и семействъ литераторовъ, послѣ ихъ смерти, обыкновенно отчаянное. Въ одной статьѣ бакинская газета высказала, что нынѣшняя беспомощность не устраниится «пока не будетъ существовать нормальныхъ условій между сотрудникомъ и издателемъ». Въ другой—послѣ разныхъ предположеній, «Каспій» остановился на мысли объ учрежденіи «одной общей для всей пишущей Россіи эмеритальной кассы». «Стоить

только—говорить газета—гг. издателямъ поставить въ обязательное условіе—вносить извѣстный, самый необременительный процентъ съ подписной платы своего изданія и такой же процентъ вычитать изъ гонорара или жалованья своихъ сотрудниковъ. *Наконецъ, обложистъ хотя бы самымъ минимальнымъ процентомъ и поступающей объявлениія.*

Эти послѣднія слова, сказанныя какъ будто мимоходомъ, я поставилъ курсивомъ потому, что въ нихъ-то и указано единственно-вѣрное и вполнѣ справедливое средство для обеспеченія предположенной пенсионной кассы. Гонораръ, получаемый большинствомъ литературныхъ работниковъ, особенно въ провинціи, такъ малъ, что вычитать то изъ него уже не приходится. Другое дѣло — вычетъ въ пенсионную кассу изъ платы за объявленія. Они даютъ газетамъ, однѣмъ треть, другимъ половину, а нѣкоторымъ и болѣе половины всей суммы ихъ дохода. Такимъ образомъ, на цѣлую третью своего бюджета, газета является предпріятіемъ не литературно-коммерческимъ, но чисто торговымъ и никакого налога это торговое предпріятіе не несетъ. Поэтому было бы совершенно практически обложить объявленія, въ пользу литературной кассы, какою-нибудь копѣйкою въ рубль. При такомъ размѣрѣ обложения, объявленія не могли бы вздрожать, да взимаемая за нихъ цѣна опредѣляется путемъ конкуренціи; и теперь берутъ какъ можно дороже, сколько могутъ взять, не опасаясь уменьшить ихъ числа, и безъ всякаго отношенія къ какимъ-либо соответствующимъ расходамъ; за объявленія на первой страницѣ пынья газеты берутъ по 50 коп. и даже по рублю со строчки петита. Да наконецъ, если бы издатели и прибавили за объявленія копѣйку на рубль, то есть, перенесли бы обложеніе — на подателей объявлений, то не было бы бѣды. Есть предпріятія, которыхъ затрачиваются на объявленія не меньше, чѣмъ на самое дѣло.

Расчитывая, что въ Россіи выходятъ отъ 900 до 1,000 газетъ и журналовъ, и что съ одного изданія въ кассу поступало бы, въ среднемъ, хоть по 500 рублей, «Каспій» полагаетъ, что касса получила бы въ первый же годъ своего существованія не менѣе 450 — 500 тыс. рублей, «а черезъ какія-нибудь 10 лѣтъ, быть газетныхъ инвалидовъ, ихъ вдовъ и сиротъ могъ бы считаться обеспеченнымъ». Но пусть принимаемая бакинскою газетой цифра изданій и преувеличена, не можетъ подлежать сомнѣнію, что и безъ образованія такимъ путемъ какого-либо фонда, самая сумма, какую можно бы выручать отъ постоянного обложения объявлений, даже при незначительномъ его размѣрѣ, была бы достаточна для производства пенсій. Если предположить, что въ среднемъ, на каждое одно изданіе приходилось бы одно вспомоществуемое семейство, то для этого вполнѣ достаточно тѣхъ 500 р., которые «Каспій» считаетъ среднимъ доходомъ кассы съ каждого изданія. А въ такомъ размѣрѣ, какъ 500 р., литературный фондъ производить пенсіи только семьямъ значительныхъ писателей и такихъ пенсій не много; по большей части пенсіи даются гораздо болѣе скромныя».

Обсуждая мысль «Каспія», «Русская Жизнь» — по словамъ «Вилен-скаго Вѣстника»—высказала мнѣніе, что за это дѣло слѣдовало бы взяться литературному фонду. Третья изъ сейчасъ названныхъ газет соглашается съ этимъ и отъ себя проектируетъ еще съѣздъ провинціальныхъ журналистовъ для обсужденія этого вопроса. На мой взглядъ, тутъ и обсуждать нечего, а на одинъ съѣздъ издержали бы больше, чѣмъ будетъ выплачено въ пенсіи за полгода. Литературный фондъ могъ бы просто ходатайствовать объ установлениіи законодательной мѣрою налога съ объявлений, специально для обеспеченія увѣчныхъ, больныхъ литературныхъ работниковъ и ихъ семействъ, лишенныхъ средствъ. Правительство могло бы сдѣлать это и безъ ходатайства, какъ оно установило правила относительно вознагражденія увѣчныхъ рабочихъ на фабрикахъ. Для завѣданія же каскою и назначенія пенсій, редакціи могли бы избирать комитетъ, заѣдающій въ Москвѣ или въ Петербургѣ, не составляя для этого никакого избирательного собранія. Первоначальная организація могла бы быть сдѣлана литературнымъ фондомъ. Затѣмъ, каждый годъ, къ опредѣленному сроку, каждая редакція сообщала бы, кого изъ литераторовъ, живущихъ въ той столицѣ, где будетъ находиться правленіе кассы, та редакція избираетъ своимъ кандидатомъ на мѣсто выходящаго по очереди. Избранными оказывались бы получившіе наибольшее число голосовъ. Тѣмъ редакціямъ, съ которыхъ поступали бы болѣе значительныя суммы сбора, могли бы быть предоставлены два, три голоса при выборахъ. Операциіи кассы подлежали бы ревизіи государственного контроля и состояніе кассы могло бы быть проверено разъ въ годъ, а сверхъ того и когда угодно, мѣстною казенною палатою. Должности членовъ правленія кассы должны быть оплачиваемы, для того, чтобы правленіе собиралось не разъ въ двѣ недѣли, какъ комитетъ фонда, но по меньшей мѣрѣ, два раза въ недѣлю.

Выше была рѣчь о спорѣ, лучше ли нынѣшній студентъ прежняго, или наборотъ? Тотъ споръ имѣть смыслъ, такъ какъ онъ въ сущности идетъ о сравнительномъ характерѣ настроеній самого общества въ разные періоды. Но какой смыслъ въ вопросѣ: кто лучше, мужчина или женщина, т. е. кто изъ нихъ имѣть менѣе недостатковъ? А такой вопросъ затѣялъ сотрудникъ «Новоросс. Телеграфа» г. Лепта. По поводу устроенного въ Одессѣ благотворительного «ситцеваго бала», г. Лепта выступилъ съ открытымъ письмомъ «къ женщинѣ» вообще и даже открылъ цѣлый отдѣль, объявивъ, что будетъ въ немъ нападать на женщинъ, защищать мужчинъ и приглашая женщинъ возражать ему, съ тѣмъ, что и ихъ письма будутъ печататься на томъ же мѣстѣ, если будутъ заслуживать. Г. Лепта самъ, въ дѣйствительности, не столь дурного мнѣнія о женщинахъ, какъ то хочетъ показать, такъ какъ уже впередъ предвидѣлъ со стороны женщинъ отвѣтъ, что это пустяки и что этимъ не стоитъ заниматься. Но въ пригласительномъ письмѣ онъ увѣрялъ, что изъ этого непремѣнно «дѣло выйдетъ».

Я имѣлъ терпѣніе прочесть два письма этого негалантнаго литера-

тора и три присланые ему отвѣта, сверхъ того, читаль описаніе самого бала, и долженъ сказать, что мужчина, въ лицѣ г. Лепты, былъ на голову разбить женщинамъ. Публицистъ увѣрялъ, что на «ситцевые балы» женщины всегда являются въ дорогихъ нарядахъ, гдѣ шелка больше чѣмъ ситца; «вы никогда неувѣрите женщину, что дѣло не въ нарядѣ, а въ красотѣ»; по его отзыву, женщина уже потому не поѣдетъ на балъ въ простомъ ситцевомъ платьѣ, что это значило бы «подчиняться», а подчиняться не въ ихъ природѣ; женщины склонны изъ духа противорѣчія, «глядя на бѣлизну снѣга, утверждать что онъ черенъ». Отсюда выводилось обвиненіе женщинъ въ слѣдующихъ, присущихъ имъ свойствахъ: «непослѣдовательность, капризъ, непослушаніе, недомысліе и фантазёрство». Балъ состоялся, имѣлъ успѣхъ и всего три женщины явились на него не въ ситцевыхъ платьяхъ, да и тѣ по уважительнымъ причинамъ. Не знаю, быть можетъ, вся цѣль затѣянной одесскимъ публицистомъ глубокомысленной переписки и представлялась тѣмъ, чтобы побудить женщинъ явиться на балъ непремѣнно въ ситцевыхъ платьяхъ. Это — наиболѣе выгодное для самого г. Лепты предположеніе, какое возможно сдѣлать о его собственномъ «фантазерствѣ», если не «недомысліе» въ данномъ случаѣ.

Но результатъ уже обеспечивался штрафомъ, который былъ установленъ распорядителями; его заплатили и три особы, явившіяся въ платьяхъ шелковыхъ, «по уважительнымъ причинамъ». Да и какъ было решиться отводить въ газетѣ цѣлый отдѣлъ, разъ въ недѣлю, для споровъ о качествахъ мужчины и женщины, съ той только цѣлью, чтобы содѣйствовать строго ситцевому характеру бала? Нѣтъ, очевидно, то «дѣло», которое непремѣнно должно было выйти изъ этой переписки, представлялось публицисту въ смыслѣ цѣнныхъ пріобрѣтеній для психологіи, а, можетъ быть, и соціологіи. Приведу смыслъ отвѣта одной изъ его оппонентокъ. Она писала, что мужчины сами развиваются въ женщинахъ кокетство, что женщины рядятся не для себя, а для нихъ, что если бы мужчина болѣе цѣнилъ въ женщинѣ душу, умъ и образованіе, чѣмъ смазливое лицико, то и т. д. «Откуда же вы взяли — возражаетъ въ свою очередь «женщинѣ» г. Лепта, — что теперь мы этого всего не цѣнимъ? Есть точно такія животныя между нами, что имъ ничего не нужно, кромѣ красоты, можетъ и каждый быть сбитъ съ толку красотой безумной и глупой женщины, но этотъ самообманъ, у человѣка съ умомъ и сердцемъ, продолжается очень недолго». Такимъ признаніемъ неосторожный публицистъ прямо отдалъ себя въ руки своей оппонентки, которая и не преминула этимъ воспользоваться. Но какъ вамъ нравятся: «точно такія животныя», «безумной и глупой женщины», «продолжается недолго?» Г. Лепта прибавлялъ: «мы естественно обращаемъ вниманіе на привлекательныхъ женщинъ, а не на чучель... На насъ дѣйствуетъ прежде всего красота и изъ двухъ женщинъ, красивой и менѣе красивой, мы обратимъ вниманіе на первую, хотя бы нарядъ второй былъ лучше».

Теперь и въ кадриляхъ не ведется разговоровъ подобныхъ этой публицистикѣ, развѣ кадетиками. Но воть еще какие «жестокіе» вопросы предложилъ своей собесѣдницѣ г. Лепта (классикъ, судя по псевдониму): «отчего женщины ненавистно послушаніе даже законнымъ требованіямъ? Отчего, рядомъ съ этимъ, женщина обожаетъ, чтобы ее сломили и подчинили себѣ и только того и полюбить, кто это сдѣлается?» Корреспондентка отвѣтила г. Лептѣ весьма резонно, что въ его же словахъ заключается приговоръ надъ нимъ. «Что касается женщинъ — пишетъ она — то прежде всего онѣ требуютъ отъ мужчины, чтобы онъ имѣлъ умъ, образованіе, дѣловитость, оригинальность, умѣніе занять, заинтересовать, а наружность мужчины значенія для женщины не имѣеть, лишь бы онъ не былъ безобразенъ до отвращенія. Женщины же, которыхъ увлекаются, по вашимъ словамъ, писанными красавчиками, съ парикмахерскою внѣшностью, составляютъ такое ничтожное исключеніе, говорить о которомъ не имѣеть смысла». На первый изъ двухъ вопросовъ, предложенныхъ ей во второмъ письмѣ г. Лепты, корреспондентка не отвѣчаетъ, такъ какъ онъничѣмъ не мотивированъ. На второй она говорить слѣдующее: «Надѣюсь, вы не допускаете же мысли, что женщина — существо безвольное, пассивное, не отрицаете, что она способна на борьбу? Если это такъ, то ничего и удивительного нѣть, что оказавшись побѣженной, женщина отдастъ себя во власть побѣдителя. Но это еще вопросъ, любить ли женщина своего побѣдителя... Бываетъ, что женщина ненавидитъ своего побѣдителя, но подчиняется ему, въ силу сложившихся для нея неблагопріятно обстоятельствъ».

Не входя въ разсмотрѣніе этихъ вопросовъ по существу, какъ выражаются юристы, я долженъ признать, что именно г. Лептѣ не слѣдовало обвинять женщинъ въ непослѣдовательности. Какъ бы тамъ ни было все остальное, но послѣдовательности его корреспондентки выказали въ своихъ отвѣтахъ гораздо болѣе, чѣмъ онъ въ своихъ вопросахъ и возраженіяхъ. Впрочемъ, желая чѣмъ нибудь смягчить пораженіе понесенное нашимъ поломъ въ данномъ случаѣ, выскажу догадку, что можетъ быть г. Лепта обвинялъ всѣхъ женщинъ подъ влияніемъ частыхъ ссоръ съ г-жой Лептой: сварливость и пристрастіе, какъ извѣстно, исключаютъ послѣдовательность и въ мысляхъ, и въ словѣ. Но мы можемъ прикрыть наше отступленіе еще другимъ образомъ, а именно такой гипотезой: не есть ли самъ г. Лепта — дама и не отвѣчали ли ей въ данномъ случаѣ мужчины, подъ лициною женщинъ? Не было ли устроено такого литературного маскарада, въ дополненіе къ «спицевому балу?»

Вопросы, относящіеся къ женщинамъ, ихъ характеру и ихъ положенію, повидимому, сильно занимало умы въ Одессѣ, въ февралѣ мѣсяца, такъ какъ и «Одесский Листокъ» счелъ долгомъ выступить съ подробнымъ анализомъ писемъ трехъ другихъ женщинъ, сѣѣющихъ на свою судьбу. Всѣ онѣ жалуются на несчастливое супружество, обвиняютъ своихъ супруговъ и просятъ совета у г. Оболенского. Одна пишетъ, что она молода, кра-

сива и образована, дочь очень богатыхъ родителей; ее выдали замужъ, но чрезъ нѣсколько лѣтъ она «убѣдилаась, что не могу ни любить, ни уважать своего мужа, что онъ также не любить и не уважаетъ меня». Она разошлась съ мужемъ, «и мужъ, и богатые родители бросили ее, отвернулись, перестали помогать материальными средствами» — говоритъ г. Оболенскій. Она вѣрila въ людей, думала, что ей будутъ сочувствовать, доставлять ей работу и возможность не погибнуть. «Но до сихъ поръ пишетъ она — я вижу только одно: отверженіе, даже отъ родителей, злорадство или подлецкія поползновенія ловеласовъ, потому что я молода и красива. Скажите-же мнѣ, есть-ли люди на свѣтѣ? Есть-ли настоящіе порядочные люди?! Поможетъ-ли мнѣ кто-нибудь?» Г. Оболенскій подробно разбираетъ эти письма, онъ посвятилъ имъ цѣлый фельетонъ, рассматривая причины несчастнаго положенія своихъ собесѣдницъ, извлекаетъ изъ него общія поученія и двумъ женщинамъ даетъ совѣтъ. Но первой отказывается въ немъ. Онъ говоритъ ей: «при вашей свѣтской подготовкѣ, при взглядахъ вашихъ родителей, при экономическомъ положеніи той работы, которую вы можете предложить обществу, вы обречены погибнуть, такъ и знайте».

Другая корреспондентка пишетъ, что она была красива и теперь еще не стара. Съ ней былъ такой казусъ: она была замужемъ за человѣкомъ, старше ея на 25 лѣтъ, но была съ нимъ «счастлива, насколько это возможно на землѣ»; онъ умолялъ ее не выходить замужъ послѣ него и умеръ, оставилъ ей большое состояніе; она вступила во второй бракъ, зажила веселѣе, чѣмъ прежде, состояніе промотали они съ новымъ мужемъ, остатки пришлось отдать, чтобы спасти его отъ тюрьмы по дѣлу о векселяхъ, а тогда и самъ мужъ исчезъ, она осталась безъ всего и одна... Этой г. Оболенскій совѣтуетъ идти въ сестры милосердія. Но почему же онъ не даль такого же совѣта и первой? Въ обоихъ случаяхъ реальный вопросъ — въ томъ, чтобы найти убѣжище и честный хлѣбъ. Положимъ, напрасно совѣтовать, когда нельзя помочь. Но если совѣта все-таки спрашиваются? Ищите работы не непремѣнно господской, а какая попадется, лишь бы не погибнуть. А того, что было не вернешь, да и разсужденія о немъ бесполезны, ими не уменьшить и горя.

Наконецъ, третья женщина о молодости и красотѣ не упоминаетъ, но также просить совѣта. Она «въ юности мечтала устроить разумную жизнь — выйти замужъ за хорошаго идейнаго человѣка, работать съ нимъ вмѣстѣ, воспитывать дѣтей рационально, научно... И такой человѣкъ нашелся: образованный, энергичный, съ любовью къ наукѣ... По потомъ «все прежнее, серьезное, идейное куда-то выдыхалось». Мужъ сталъ и въ картишки слегка поигрывать, и выпивать, «серъезныхъ, хорошихъ разговоровъ не стало и въ поминѣ», а жена «невольно ворчала и упрекала его за паденіе; онъ сперва отшучивался, потомъ отмалчивался, потомъ сталъ сердиться и придириаться въ свою очередь... Пошли дѣти, я вся ушла въ шеленки, тряпки, башмачки, платьица, ухаживаныя за животиками, про-

студами, коряями, скорлатинами... Цѣлые часы въ кухнѣ... Съ мужемъ вѣчныя ссоры, почти брань, да еще при дѣтяхъ... И неужели такъ будеть всегда? До старости, до могилы?» Этой корреспонденткѣ г. Оболенскій совѣтуетъ: «возбудить въ себѣ вновь умственную энергию.. Читать лучшія произведенія нашихъ лучшихъ писателей... и тотчасъ вслѣдъ за ними—статьи о нихъ нашихъ лучшихъ критиковъ, старыхъ, прежнихъ, начиная съ В. Бѣлинского. Авось поможетъ»—прибавляеть г. Оболенскій.

Не думаю. Изъ трехъ корреспондентокъ его, третья, повидимому, умнѣе другихъ. Но какъ глупо она смотрѣла на жизнь и какъ глупо ее «устроила». Если она не была готова къ занятію пеленками, животиками и кухней, то ей слѣдовало не жить съ мужчиной или выйти не за «идейнаго», а за богатаго. Нашла идейнаго и думала, что вся жизнь будетъ заключаться въ веденіи съ нимъ «хорошихъ серьезныхъ разговоровъ». Разочаровавшись, стала его пилить, да должно быть исправно, если ему не удалось поддержать мира ни «отпучиваніемъ», ни «отмалчиваніемъ» и жизнь стала вѣчной ссорой. Совѣтъ ей можно дать одинъ: перестать пилить мужа и стараться возстановить спокойствіе, ею же нарушенное. А прежняго и здѣсь не вернуть. Но если она, даже съ Бѣлинскимъ и прочими старыми критиками въ рукахъ, будетъ продолжать браниться съ мужемъ, да еще, неровень часть, направить творенія этихъ критиковъ въ такую цѣль, которой они не предвидѣли, то и критики не помогутъ.

Признаюсь, всѣ эти три корреспондентки мнѣ не симпатичны, хотя и несчастны. Несчастны же онѣ и по своей, и по чужой винѣ, какъ то обыкновенно бываетъ въ дѣлахъ этого рода. Но существенный вопросъ представляется въ томъ: доколѣ образованное общество будетъ держать цѣлую половину своихъ членовъ въ полномъ безправіи на самостоятельный заработокъ? Въ первыхъ двухъ случаяхъ, о которыхъ только что упомянуто, супруги разошлись, и вотъ, жены, вслѣдствіе того, остаются безъ средствъ къ жизни, а мужья живутъ себѣ припѣвающи, по прежнему; одинъ изъ нихъ, обобравъ жену, ушелъ отъ нея, какъ отъ бремени, а ей нечѣмъ жить. А всѣ тѣ небогатыя дѣвушки, которыхъ мы заставляемъ ловить мужей, выходить за первого встрѣчнаго, осуждая ихъ, въ противномъ случаѣ, въ теченіе всей жизни, на заработокъ шитьемъ или уроками? А всѣ тѣ браки, которыхъ образчикомъ можетъ служить третій примѣръ и которыхъ чуть ли не большинство: люди живутъ въ вѣчной ссорѣ и дѣти ихъ растутъ безъ уваженія къ отцу и матери, безъ знанія что хорошо и что худо, постоянно видя обиды, а иногда и насилие, хотя бы и не физическое? Это будущіе дикие въ образованной средѣ. Несомнѣнно, что третья чета лучше бы сдѣлала если бы также разошлась. Мужъ это можетъ сдѣлать, нерѣдко и дѣлаетъ. Если бы для женщины былъ одинаково доступенъ равный заработокъ, какъ для мужчины съ тѣмъ же образованіемъ, то и жена могла бы оставить мужа, взявъ съ собой дѣтей. Но при нынѣшнихъ условіяхъ, ей не на что будеть, не только дать имъ образованіе, но и кормить ихъ.

И вотъ, эти вредные для всѣхъ сторонъ, ужасные по своему нравственному вліянію на дѣтей браки держатся; люди устроили себѣ адъ и остаются въ немъ, развѣ что мужъ броситъ и жену, и дѣтей. А именно тѣмъ, что мы принуждаемъ необезпеченную дѣвушку ловить мужа, подъ страхомъ пожизненной нищеты, и создается несомнѣнное условіе неудовлетворительности большинства браковъ. Уравненіе женщинъ съ мужчинами въ доступѣ ко всѣмъ видамъ заработка, кромѣ немногихъ, женщинъ не свойственныхъ, одно только и могло бы возвысить, улучшить самый бракъ, увеличивъ число союзовъ по выбору и по влеченію, болѣе нравственныхъ, болѣе прочныхъ, устранивъ необходимость, а стало быть и многочисленность союзовъ безъ разбора, достигаемыхъ притворствомъ, завлеченіемъ, разсчетомъ на содержаніе. Прекрасно было бы и то, что такие нравственно-неустойчивые браки сдѣлялись бы и фактически непрочными, когда мать имѣла бы такую же возможность кормить дѣтей и платить за нихъ въ школу, какъ и отецъ.

Въ концѣ января, въ Кіевѣ, образованная и еще молодая женщина, вслѣдствіе скудости заработка — умерла отъ голода. Случай этотъ былъ описанъ въ «Кіевлянинѣ». «Въ квартирѣ дворянки Артусевичъ, 22 января, скоропостижно умерла вдова ротмистра Озерская, 34 лѣтъ». Она давала уроки музыки, но зарабатывала такъ мало, что въ послѣднее время не могла уже нанимать квартиры, а ночевала, то у одной знакомой, то у другой, иногда у нихъ и обѣдала, а чаще не обѣдала вовсе, иногда проводила ночь на улицѣ (въ январѣ), чтобы не слишкомъ надѣдать знакомымъ. Такъ, ночь на 22 января несчастная оставалась на улицѣ, но почувствовала себя не хорошо и вынуждена-таки была побезпокоить свою знакомую Артусевичъ. Озерская постучалась въ 5 час. утра, а черезъ часъ съ ней сдѣлялось дурно. «По заключенію врача, подававшаго ей помощь, она умерла отъ спильного истощенія».

Вотъ, г. Оболенскій и другіе публицисты все тужатъ, что у насъ не даютъ женщинамъ такого «реального, жизненнаго образованія, которое дало бы ей почву... Нужно пріучать ихъ работать общеполезно еще въ домѣ родителей, чтобы ихъ головы и души были заняты чѣмъ-нибудь серьезно, глубоко и не рвалось только замужъ — во что-бы то ни стало!» Все это прекрасно, но образованная женщина можетъ только или заниматься черной работой, идти въ прислугу, или шить, давать уроки, самое большее — сдѣляться классной дамой, но много-ли ихъ? А реальное образованіе какую можетъ дать женщинѣ «почву?» Открыть ремесленное заведеніе? Для этого нужны деньги. Вѣдь «реалистку» не примутъ же ни въ высшій специальный институтъ, ни въ машинисты, ни даже въ кондукторы. И женщинамъ-то реалистамъ, не попавшимъ въ высшій институтъ, на что ихъ реализмъ? Служать себѣ конторщиками, приказчиками, чиновниками, словомъ, если получаютъ порядочные заработки, то не потому, что они — реалисты, а потому, что они — мужчины. Когда-нибудь пойметъ общество, что необходимо же и на женщинъ распространить

освобождение и надѣль. Освобождение я разумѣю въ смыслѣ отмѣны личныхъ ограничений, существующихъ только для женщинъ, а подъ названиемъ «надѣла» разумѣю открытіе для женщинъ всѣхъ видовъ заработка, кроме нѣсколькихъ, за которые они и сами не могутъ взяться. Русскому законодательству было бы свойственно первому вступить на этотъ благой путь. Одно изъ первыхъ, оно признало за женщиною экономическую равноправность — въ распоряженіи имуществомъ. Если оно признало эту равноправность для женского капитала, то почему же оно не могло бы признать ея и для женского труда?

Л. Прозоровъ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

А. Критика.

Іванъ Щегловъ. Убыль души. Около истины. Москва, 1894 г.

Книжка эта состоить изъ трехъ частей: полемического предисловія и двухъ беллетристическихъ очерковъ. Въ повѣсти подъ названіемъ «Убыль души» авторъ не безъ таланта описываетъ намъ психической разладъ человѣка, долгое время тянувшаго обычную жизненную лямку, не размышляя, не прислушиваясь къ голосу совѣсти, не заглядывая въ глубь души своей. Бойкій извѣстный петербургскій фельетонистъ вдругъ опомнился, почувствовалъ, что въ его повседневномъ трудѣ нѣть серьезнаго смысла, что его духовныя силы идутъ на убыль въ этой нелѣпой сутолокѣ мелкихъ страстей, самолюбивыхъ порывовъ и безцѣльного, оскорбительного для человѣческаго достоинства газетнаго гаерства. Предъ нимъ въ правдивыхъ краскахъ встало его настоящая жизнь, и онъ ужаснулся. Въ его семейной обстановкѣ нѣть ничего правдиваго, осмыслинаго, въ его журнальной дѣятельности все изъѣдено цинизмомъ, въ его сношенияхъ съ людьми духъ низкопоклонства и искательства господствуетъ надо всѣмъ. Достигнувъ довольно большой извѣстности и занявъ видное положеніе среди людей, участвующихъ въ ежедневной печати, онъ вдругъ постигъ съ полною ясностью всю безцѣльность своего существованія при сложившемся строѣ личной и общественной жизни и рѣшилъ сразу покончить съ собою, оборвавъ ту нить, которая затянула его въ пошлию и засасывающую среду безпринципнаго и разнузданнаго карьеризма. Только самоубийствомъ можно выйти изъ того положенія, въ которомъ находится человѣкъ, вынужденный жить по масштабу, противорѣчашему проснувшемуся въ немъ чувству нравственной порядочности, если не хватаетъ силъ на передѣлку окружающихъ обстоятельствъ, если нѣть надлежащей энергіи и умственной мощноти для борьбы съ житейскою рутиною... Г. Щегловъ подробно прослѣживаетъ всю душевную драму своего героя и нервнымъ стилемъ, за которымъ чувствуется внутренняя горячность, подъемъ воображенія, нѣкоторая пылкость натуры, выписываетъ предъ нами процессъ сомнѣній и колебаній, доведшій писателя до послѣдняго

рѣшительного поступка. Безъ особеннаго таланта, но не безъ вдохновенія, авторъ бичуетъ окружающее общество, смѣется надъ дешевой славой различныхъ газетныхъ тузовъ, надъ мишурунъмъ блескомъ того слоя общества, въ которомъ вращается главное дѣйствующее лицо его повѣсти. Въ разсказѣ попадаются юмористические штрихи, производящіе эффектъ болѣе или менѣе забавнаго остроумія. Иногда подъ перомъ г. Щеглова загорится удачное слово, мѣткое сравненіе, въ которыхъ передается живое, искреннее настроеніе. Не обладая крупными художественными способностями, г. Щегловъ умѣеть однако просто и бойко рассказывать въ тонѣ интеллигентнаго бытописательства — съ реалистическими оттенками, выдающими небогатую, но простую и даже простоватую натуру. Типическихъ образовъ въ настоящемъ смыслѣ слова у него искать не слѣдуетъ: для нихъ талантъ его слишкомъ зауряденъ, сдавленъ душевною банальностью и склонностью къ подражанію, къ заимствованіямъ, къ подчиненію сильнымъ вѣнчаниемъ, неумѣньемъ разрабатывать широко и свободно, такъ сказать на полномъ художественномъ просторѣ, доступные ему материалы жизни. Воображеніе у г. Щеглова не самобытно, не способно къ яркимъ вспышкамъ. Легкій и плавно льющейся стиль нигдѣ не обнаруживаетъ пластической силы. Въ многочисленныхъ его лирическихъ изліяніяхъ пробивается зловѣщая нота нервнической разстроеннности и какой-то истерической растрепанности чувствъ. Фигуры у него нигдѣ не дочерчены и проносятся передъ глазами какими-то незначительными, случайными эскизами. Это симпатичный, но не глубокій рассказчикъ. Это небольшое дарование, не прошедшее никакой дисциплины, не воспитанное въ атмосфѣрѣ серьезныхъ идей и потому беспомощно бьющееся въ противорѣчіяхъ между различными влечениями, то изливающееся въ покаянныхъ монологахъ, то вдругъ ударяющееся въ жалкое и постыдное, пасквильное изобличеніе отдѣльныхъ группъ общества. То падая, то поднимаясь, г. Щегловъ дѣлаетъ свою литературную карьеру съ иѣкоторымъ шумомъ, производящимъ впечатлѣніе чего-то болѣзненнаго, напряженного и натянутаго — и при всей даровитости и литературной экзальтированности молодого писателя, его репутація никогда не поднимется выше самого ординарнаго уровня. Настоящее творчество не терпитъ никакого шатаанья между различными жизненными и журнальными кружками и дается только тѣмъ, кто сосредоточиваетъ свои чувства, мысли, фантазію на правдивой передачѣ оригиналъныхъ настроений въ полныхъ образахъ, въ картинахъ жизни, понятой въ глубину и ширину безъ всякой мелкой обличительной тенденціи консервативнаго или либеральнаго характера. Настоящее творчество доступно только тѣмъ, которые не смышиваютъ смѣлой сатиры, скрывающей подъ собою любовь и сочувствіе къ людямъ, съ сквернымъ клеветничествомъ. Люди настоящаго искусства изображаютъ въ своихъ произведеніяхъ душу человѣческую, никогда не позволяя себѣ ограничиваться списываніемъ какихъ-нибудь ничтожныхъ комическихъ подроб-

ностей вѣшней обстановки, въ которой живутъ и дѣйствуютъ определенные люди извѣстныхъ убѣждений. Литераторъ, уважающій свое призваніе, никогда не вступитъ на путь беллетристическихъ инсинуаций и не дастъ воли мелкой злобѣ на людей, которые думаютъ о жизни не такъ, какъ онъ, которые ищутъ правды не тамъ, гдѣ онъ.

А г. Щегловъ въ своемъ разсказѣ «Около истины», лишенномъ художественныхъ достоинствъ, написанномъ въ однообразномъ тонѣ, въ распянутой формѣ, близокъ къ литературному пасквилю на людей, ставшихъ извѣстными почти всей интеллигентной Россіи, дѣлающихъ свое дѣло съ полнымъ, искреннимъ убѣжденіемъ, съ вѣрою въ добро, въ высокое духовное назначеніе человѣка, затрачивающихъ громадныя средства на цѣли народнаго образования, сближающихся съ народомъ, живущихъ съ народомъ въ селахъ и деревняхъ огромнаго и пустыннаго русскаго царства. Многіе изъ тѣхъ, кого г. Щегловъ захотѣлъ оскандалить пошлыми анекдотами и явнымъ клеветничествомъ, трудятся съ пользою для литературы и личнымъ примѣромъ разносятъ въ захудалой средѣ русскихъ интеллигентовъ настоящій нравственный свѣтъ, безъ котораго долго обходились въ Россіи люди прогресса. Есть фактическія, неопровержимыя доказательства ихъ настоящаго подвижничества во имя народнаго блага, и надо было поддаться ослѣпленью личной неудовлетворенности, перешедшей въ ненависть, чтобы рѣшился топтать въ грязь — подъ прозрачными псевдонимами — извѣстныя имена и незапятнанныя репутаціи самыхъ добросовѣстныхъ работниковъ на поприщѣ современной русской культуры. Можно относиться такъ или иначе къ теоретическимъ идеямъ этихъ людей, но нельзя рисовать ихъ пошляками, облыжно обвинять ихъ въ развратѣ, въ безсердечіи, въ низкомъ карьеризмѣ новѣйшаго попшиба. Спорьте, если хотите, съ убѣжденіями, но не сочиняйте небылицъ на тѣхъ, которые ведутъ жизнь честную, трудовую и простую — безъ крикливыхъ манифестацій, безъ зазывающихъ анонсовъ въ газетахъ и журнальныхъ статьяхъ. Нельзя, постоянно намекая на свою симпатію къ возвышеннымъ религіознымъ настроеніямъ, тутъ же рядомъ пресмыкаться въ грязномъ беллетристическомъ сплетничествѣ съ приемами дешеваго карикатуриста, сочиняющаго дрянной фельетонъ для мелкаго газетнаго листка. Это дѣло слѣдуетъ предоставить професси ональнымъ клеветникамъ печати, и кто чувствуетъ отвѣтственность предъ обществомъ за свои слова, долженъ осторегаться всего того, что г. Щегловъ съ распущенностью человѣка, оторвавшагося отъ всякихъ нравственныхъ принциповъ, дѣлаетъ на множество ладовъ въ своемъ разсказѣ «Около истины». Г. Щеглова уже упрекали въ печати за инсинуаціи, но онъ съ упорствомъ отстаиваетъ въ предисловіи къ отдельному изданію разсказа свое право писать о толстовцахъ то, что ему будто бы извѣстно. Ему ставили на видъ, что его разсказъ не художественное произведеніе, а литературный пасквиль, но онъ — съ юморической для литературнаго кустаря заносчивостью — ссылается на то, что и другіе герои его разсказа

зовъ, созданные его творческимъ воображеніемъ, были кѣмъ-то и когда-то сочтены за копіи съ живыхъ оригиналовъ. Ему говорять: ваша повѣсть позорить незаслуженнымъ образомъ честь порядочныхъ людей и даетъ толпѣ невѣрное представление объ одномъ изъ интереснѣйшихъ движений въ современномъ русскомъ обществѣ, но онъ — съ запальчивостью и обозленностью пылкой и непостоянной натуры,— настойчиво выкрикивается: повѣрьте мнѣ, это искренняя исповѣдь человѣка, горько разочаровавшагося въ новомъ словѣ...

Намъ искренно жаль г. Щеглова.

К. Бальмонтъ. Подъ сѣвернымъ небомъ. Элегіи, стансы, сонеты. Спб. 1894 г.

Г. Бальмонтъ выступаетъ на литературное поприще довольно своеобразно. Соединивъ нѣсколько стихотвореній, каждое короче воробышного носа, онъ выпускаетъ ихъ небольшою книжечко въ изящной оберткѣ, съ пышнымъ заглавиемъ: «Подъ сѣвернымъ небомъ». Ничтожная цѣна въ 50 к., хорошая бумага, нѣсколько страницъ для быстрого и легкаго чтенія—все здѣсь по плечу среднему читателю. Такихъ книжекъ можно въ теченіе года выпустить цѣлый десятокъ, и каждая изъ нихъ должна принести автору известную пользу. Газеты будутъ отзываться о новыхъ и новыхъ томахъ произведеній молодого стихотворца, списходительные журналы помянуть его болѣе или менѣе поощрительными словами. Въ какихъ-нибудь два года можно, при усидчивости и настойчивости, при желѣзномъ терпѣніи, опередить на пути славы все современное поколѣніе поэтовъ: Минскій будетъ лежать во прахѣ, когда звѣзда Бальмонта будетъ ярко горѣть на небосклонѣ русской поэзіи, Мережковскій будетъ пресмыкаться у ногъ знаменитаго писателя, Фофановъ будетъ забыть, потому что всѣ будутъ читать Бальмонта. На прилавкахъ книжныхъ магазиновъ, отливая всѣми цветами радуги, будутъ пестрѣть обертки многочисленныхъ стихотворныхъ изданій г. Бальмонта. Подъ всѣмъ сѣвернымъ небомъ не будетъ человѣка болѣе популярнаго, чѣмъ поэтъ, издающій свои оригинальныя произведенія небольшими, но непрерывно слѣдующими другъ за другомъ выпусками. Положительно можно сказать, что въ славѣ г. Бальмонта потонутъ всѣ мелкія репутаціи современныхъ дѣятелей печати. Настоящая книжка—только начало большаго литературнаго предприятия, въ нѣкоторомъ родѣ поэтическая угроза сверстникамъ и товарищамъ: вотъ посыплются, какъ изъ рога изобилия, новые и новые книжки, вотъ г. Бальмонтъ станетъ героемъ дня. Мережковскій трепещетъ, Минскій въ смущеніи, а любители литературы поздравляютъ другъ друга съ появлениемъ нового таланта.

Теперь обратите вниманіе на оригинальныя качества самихъ стихотвореній г. Бальмонта. Бездушныя, холодныя, не оживленныя пылкимъ темпераментомъ, никакимъ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ, эти стихотворенія производятъ какое-то странное впечатлѣніе. Красивыя слова, соединенные

между собою болѣе или менѣе случайнымъ образомъ, при совершенной пустотѣ поэтическаго настроенія, при полномъ отсутствіи лирическаго напѣва и яркихъ образовъ въ душе писателя, не оставляютъ въ читатель никакого воспоминанія о прочитанномъ. Что-то мелькнуло передъ глазами и разсыпалось раньше, чѣмъ вниманіе схватило какой-нибудь опредѣленный рисунокъ, какую-нибудь мысль. Художественные краски скомпилированы по современнымъ иностраннымъ образцамъ, всѣ мотивы—блѣдные отзвуки чужихъ настроеній, испорченныхъ собственнымъ поэтическимъ безсиліемъ. Недурной переводчикъ поэтическихъ произведеній, г. Бальмонтъ не обнаруживаетъ пока признаковъ самостоятельного художественного таланта. Повсюду чувствуется у него сознательная или безсознательная подражательность, неумѣніе овладѣть ни своею, ни даже чужою мыслью. Надрываясь въ перепѣвахъ современныхъ мотивовъ, то подползая къ Бодлеру, то подбираясь къ Верлѣну, г. Бальмонтъ впадаетъ иногда въ циническую откровенность, иногда въ настоящій литературный комизмъ, граничащій съ поэтической галиматьей. Вдругъ, раскрывъ завѣсу семейного альбома, онъ предается меланхолическимъ размышленіямъ о безконечной душевной отдаленности предмета его любви при рельефномъ изображеніи тѣлесной близости. Вдругъ, въ припадкѣ символического экстаза, поэтъ набрасываетъ передъ нами слѣдующую непонятную и по способу выраженій совершенно дикую картину:

Вечеръ. Взморье. Вздохи вѣтра.
Величавый возгласъ волнъ.
Близко бура. Въ берегъ бѣется
Чуждый чарамъ черный членъ.
Чуждый чистымъ чарамъ счастья,
Членъ томленья, членъ тревогъ
Бросилъ берегъ, бѣется съ бурей,
Ищетъ свѣтлыхъ сновъ чертогъ.
Мчится взморьемъ, мчится моремъ,
Отдавалась волѣ волнъ.
Мѣсяцъ матовый взираетъ.
Мѣсяцъ горькой грусти полнъ.
Умеръ вечеръ. Ночь чернѣеть.
Ропшѣть море. Мракъ растетъ.
Членъ томленья тѣмой охваченъ.
Бура воетъ въ бездѣлѣ водъ.

Стихотвореніе это называется «Членъ томленья» и, по обычаю нашихъ дней, посвящено знаменитому человѣку: кн. А. И. Урусову. Такого стихотворенія въ русской литературѣ до сихъ поръ не имѣлось, и если пожелать играть—въ подражаніе г. Бальмонту—скверною и неполною аллитерацией, можно было бы сказать: чуждый чутью и чарамъ поэзіи, писатель далеко не ѣдетъ на своемъ «членѣ томленья» по бурному океану русской литературы. Подобно «члену томленья», онъ будетъ мчаться взморьемъ, мчаться моремъ, и мѣсяцъ, полный горькой грусти, будетъ долго взирать на его бесплодное скитанье по волѣ волнъ... Не

чуждые чувству благожелательности, мы пожелали бы, однако, молодому стихотворцу побольше литературной серьезности, побольше уважения къ своимъ собственнымъ скромнымъ способностямъ. Пусть онъ трудится надъ отделькою стиха, но пусть не думаетъ, что пустой перезвонъ рифмъ и начальныхъ буквъ, при бѣдности духовнаго содержанія, можетъ имѣть какое-бы то ни-было значеніе. Пусть изображаетъ, что хочетъ, какіе угодно оттѣнки самыхъ капризныхъ и мимолетныхъ душевныхъ настроеній, но пусть не забываетъ, что тайна поэтическаго впечатлѣнія—въ искренности чувства, въ простотѣ и ясности стихотворныхъ выраженій. Пусть не бѣгаеть за славой: слава убѣгаеть отъ тѣхъ, которые кладутъ на ея алтарь ничтожные замыслы, не очищенные отъ себялюбивыхъ мечтаній, и вмѣсто вдохновенія, страсти, высокихъ, безразсчетныхъ порывовъ, вносять въ литературу духъ разсудочности, мелкихъ заботъ и легкомысленной подражательности моднымъ талантамъ. Лучше остаться порядочнымъ переводчикомъ, чѣмъ обнаруживать тщетныя притязанія и форсировать свои природныя способности.

Фалькенбергъ. Исторія новой философіи. Переводъ студентовъ С.-Петербургскаго университета, подъ редакціей проф. А. И. Введенскаго. Спб. 1894 г.

Виндельбандъ. Исторія древней философіи. Переводъ слушательницъ высшихъ женскихъ курсовъ, подъ редакціей проф. А. И. Введенскаго. Спб. 1893 г.

Альфонсъ Фуллье. Исторія философіи. Переводъ П. Николаева. Москва. 1894 г.

Въ короткое время русская литература обогатилась тремя хорошими пособіями для изученія исторіи философіи. Послѣ классического труда по новой философіи Куно-Фишера, имѣющагося въ русскомъ переводе, выписанныя нами книги должны занять самое выдающееся мѣсто по своимъ научнымъ достопріятствамъ, по манерѣ критического изложенія предмета, по цѣльности общефилософской картины. Какъ извѣстно, русская публика до сихъ поръ вынуждена была пробавляться плохими журнальными статьями, писанными людьми безъ философскаго дарованія, безъ серьезной научной подготовки, въ тѣхъ случаяхъ, когда она обращалась къ изученію этого предмета, или же довольствовалась извѣстнымъ трудомъ по исторіи философіи англійскаго писателя Льюиса, трудомъ, написаннымъ въ узко-позитивистическомъ направленії. За недостаткомъ настоящихъ оригинальныхъ сочиненій и вслѣдствіе низкаго уровня философскихъ знаній, русское общество получало самое превратное представление о важнѣйшихъ предметахъ отвлеченнаго научнаго мышленія. Ни университеты, ни журналистика не содѣйствовали его философскому развитию—и развѣ только въ русскихъ семинаріяхъ и духовныхъ академіяхъ разрабатываются еще вопросы философскаго мышленія съ любовью къ предмету, къ высшимъ духовнымъ задачамъ, хотя, быть можетъ, съ одно-

сторонней точки зрењія. Въ университетахъ нѣтъ людей съ философскимъ талантомъ, въ журналистикаѣ — претенциозное невѣжество, подбитое дешевымъ и пошлымъ либерализмомъ, путается и запутываетъ читателя при обсужденіи самыхъ элементарныхъ теоретическихъ вопросовъ. Съ грустью надо отмѣтить, что петербургскій университетъ въ этомъ отношеніи шелъ въ послѣдніе годы чуть ли не позади другихъ русскихъ университетовъ и, такъ сказать, состязался съ бойкими писателями либеральныхъ и ретрографадныхъ газетъ и журналовъ въ легкомысліи по части философской науки. Покойный Владиславлевъ не шевелилъ нищихъ первовъ, а профессора другихъ факультетовъ распространяли среди студентовъ самыя сбивчивыя и противорѣчивыя философскія понятія и тенденціи, заимствованныя изъ второстепенныхъ компилиативныхъ сочиненій европейской литературы. Кто самъ прошелъ курсъ въ с.-петербургскомъ университѣтѣ, кто личнымъ опытомъ соприкоснулся съ наиболѣе извѣстными преподавателями его, тотъ хорошо знаетъ, въ какомъ положеніи находится дѣло философіи въ этомъ храмѣ наукъ. Возстановите въ памяти философическая разсужденія, то удалыя, то запутанныя, кудрявые, многословные, лишенныя серьезныхъ знаній, близкайшаго знакомства съ оригинальными текстами, небезъизвѣстнаго, усердно магистрантствовавшаго профессора Коркунова. Читали ли вы лекціи проф. Карбѣва, изслѣдующаго съ высоты прогресса вопросы философіи исторії? Знакомъ ли вамъ въ своемъ родѣ замѣчательный курсъ большого знатока исторіи литовскихъ евреевъ, проф. Бершадскаго, о философіи Канта? Надо стоять близко къ этому дѣлу, чтобы понять, что важнѣйшее орудіе университетскаго просвѣщенія, а чрезъ университетъ и общественнаго просвѣщенія, находилось въ послѣдніе годы въ очень слабыхъ рукахъ. Философскія понятія, ихъ значеніе для научнаго мышленія, ихъ связь съ высокими потребностями человѣческаго духа, ихъ воздействиѣ на политическую и соціальную исторію, остаются неосвѣщенными для молодой толпы, которая изъ университета выходитъ въ жизнь безъ серьезнаго внутренняго критерія, безъ систематическаго пониманія вопросовъ морали и общественной культуры, безъ твердой опоры для воздействиѣ на окружающій жизненный строй. Отрывочная эмпирическая знанія быстро разсыпаются подъ дуновеніемъ встрѣчныхъ вѣтровъ, и сплы, которые были бы пригодны для живого труда на поприщѣ исторіи, мертвѣютъ въ условіяхъ быта, не движимаго стремленіемъ къ свободѣ и правдѣ. Молодому поколѣнію остается только подчиниться такимъ журнальнымъ авторитетамъ, какъ «магистръ полицейского права» (какъ афишируетъ «Русская Мысль») В. Гольцевъ и г. Михайловскій, по сравненію съ которыми даже г. Коркуновъ является настоящей ученой величиної, а г. Карбѣвъ въ нѣкоторомъ родѣ живымъ воплощеніемъ философской мудрости.

Можетъ быть время стало въ этомъ отношеніи измѣняться къ лучшему. Въ московскомъ и петербургскомъ университетахъ дебютировали въ послѣдніе годы люди съ настоящими философскими знаніями, съ

серьезнымъ, полнымъ пониманіемъ всей важности предмета, съ одушевленнымъ отношеніемъ къ своей научной задачѣ. Можетъ быть, мы живемъ наканунѣ нѣкотораго возрожденія философской мысли на русской почвѣ. Въ печати, въ обществѣ, въ студенческихъ кругахъ, наиболѣе чуткихъ къ запросамъ времени, носятся какія-то новыя вѣянія, обѣщающія въ будущемъ смѣлые порывы, подъемъ умственныхъ и нравственныхъ силъ, свѣтлую реформу въ сферѣ важнѣйшихъ отвлеченныхъ понятій. Вѣдь общество не умираетъ и не собирается умереть отъ того, что либеральные журналисты вмѣсто того, чтобы обогащать литературу идеями, истощили свое остроуміе на мелочахъ и нынѣ занимаются пустымъ подзадориваніемъ легкомысленныхъ людей противъ новыхъ работниковъ и протестантovъ. Общество должно опередить этихъ журнальныхъ рутинеровъ и выдвинуть изъ своей среды новыхъ дѣятелей на пользу русского просвѣщенія. Жизнь не стоитъ на одномъ мѣстѣ, и то, что само не развивается, не содѣйствуетъ новымъ поколѣніямъ въ ихъ исканіяхъ, не трудится безраз счетно на поприщѣ исторического прогресса, непозбѣжно идти назадъ — и чѣмъ болѣе оно по преданію авторитетно, прославлено въ глазахъ общества, тѣмъ опаснѣе его реакціонное воздействиѣ на ходъ вещей. Въ юношескихъ кругахъ носятся новыя вѣянія, и вотъ одно изъ доказательствъ: переводъ такихъ двухъ сочиненій, какъ исторія древней философіи Виндельбанда и исторія новой философіи Фалькенберга. Оба сочиненія переведены учащимся юношествомъ: Виндельбандъ — слушательницами высшихъ женскихъ курсовъ, Фалькенбергъ — студентами с-петербургскаго университета, и инициатива обоихъ переводовъ принадлежитъ молодому, талантливому профессору Александру Введенскому, автору нѣсколькихъ капитальныхъ разсужденій на трудныя философскія темы и, по слухамъ, блестящему лектору по кафедрѣ психологіи и исторіи философіи. Оба сочиненія переведены съ большимъ стараніемъ, снабжены подробными указателями, необходимыми предисловіями отъ лица редактора и, между прочимъ (въ переводѣ Фалькенберга), довольно подробнымъ библіографическимъ спискомъ статей и книгъ философскаго характера, имѣющихся на русскомъ языке. Книги Виндельбанда и Фалькенберга обладаютъ вѣсома значительными научными достоинствами и, въ качествѣ пособій къ изученію исторіи философіи, могутъ быть смѣло рекомендованы всѣмъ, кто интересуется ходомъ философской мысли. Изложеніе Фалькенберга легко и выразительно. Онъ преодолѣваетъ труднѣйшія философскія задачи съ остроуміемъ оригинально мыслящаго писателя, дорожащаго интересами отвлеченаго знанія и умѣющаго видѣть факты духовной культуры на фонѣ историческихъ и органическихъ особенностей национального характера. Самое пониманіе задачи исторіи философіи у Фалькенберга, не отличаясь особенной глубиною, дышетъ свѣжестью и убѣжденіемъ. Отношеніе его къ Декарту, Канту, Гегелю свидѣтельствуетъ о вдумчивости и умѣніи впитывать въ труднѣйшія философскія сочиненія, открывать въ нихъ тотъ свѣтъ, который горитъ въ ихъ глубинѣ.

Многія критическія замѣчанія Фалькенберга заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманія и должны быть опубликованы въ связи съ его общимъ философскимъ міровоззрѣніемъ.

Сочиненіе Виндельбанда, посвященное древней философіи, можетъ служить хорошимъ руководителемъ для тѣхъ, которые не имѣютъ возможности пользоваться въ оригиналѣ знаменитымъ трудомъ Целлера. Въ краткихъ чертахъ, въ сжатомъ и твердомъ изложеніи выступаютъ передъ нами главнѣйшія греческія школы, ихъ борьба между собою, эллино-римская философія, патристика, неоплатонизмъ. Глубокая философская образованность позволяетъ Виндельбанду улавливать и въ немногихъ словахъ передавать труднѣйшія опредѣленія съ поразительной ясностью. Г. Введенскій дѣлаетъ выписку изъ отзыва объ этомъ сочиненіи такого компетентнаго и превосходнаго журнала, каковъ знаменитый нѣмецкій «Архивъ для исторіи философіи» (*Archiv fur Geschichte der Philosophie*), въ которомъ справедливо говорится, что въ пониманіи философскихъ системъ, въ ихъ группировкѣ, въ ихъ освѣщеніи Виндельбандъ идетъ своей собственной дорогой и что, несмотря на знакомство съ естественными науками, онъ никогда не вдается въ сторону позитивистически-одностороннихъ и мелкихъ взглядовъ.

«Исторія философіи» Фуллье снабжена маленькимъ предисловіемъ отъ лица совершенно невѣдомаго философской литературы, переводчика, написаннымъ при явномъ отсутствіи какого бы то ни было таланта и знаній, но съ большими претензіями. Рекомендую сочиненіе Фуллье, которое принято во французскихъ университетахъ въ качествѣ пособія при экзаменахъ, г. Николаевъ скрбить о томъ, что Фуллье «не отдался еще вполнѣ отъ чисто метафизическихъ *апріорныхъ настроений* (?). Разсужденія французского писателя объ «абстрактной свободѣ, о волѣ, какъ первомъ принципѣ», храбрый переводчикъ считаетъ источникомъ нѣкоторого пристрастія французского автора къ метафизическімъ вопросамъ. «Само собою разумѣется, говоритъ г. Николаевъ, что при такой основной точкѣ зрѣнія нельзя и ожидать, чтобы онъ разсматривалъ философскія системы не въ ихъ яко-бы (!) логической послѣдовательности, а въ ихъ связи съ историческими факторами, съ общественнымъ строемъ въ данной странѣ и въ данную эпоху и съ развитіемъ положительныхъ знаній». По странной логикѣ г. Николаева, логика не должна быть признана историческімъ факторомъ въ развитіи общества.

Дѣльная и талантливая книга Фуллье могла бы съ успѣхомъ проложить себѣ дорогу въ общество и безъ наивныхъ размышлений мало свѣдущаго переводчика.

Кояловичъ. Исторія русскаго самосознанія по историческимъ памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ. 2-е изданіе. Спб. 1893 г.

Г. Кояловичъ мимоходомъ (въ одномъ изъ примѣчаній) говоритъ «о чисто русской потребности цѣльного міросозерцанія» и затѣмъ о «нашей

русской вѣротерпимости — лучшей изъ когда-либо бывшихъ вѣротерпимостей» (563 стр.). О себѣ же онъ говоритъ, какъ о человѣкѣ «русскаго чувства», глубоко преданномъ въ то же самое время и «научнымъ требованіямъ», — какъ бы для вящшаго доказательства той птицы, что русскому человѣку, даже подлежавшему воздействию со стороны науки, чужда потребность сколько-нибудь цѣльнаго міросозерцанія и недоступна даже самая худшая вѣротерпимость.

Г. Кояловичъ рѣшилъ написать исторію русскаго самосознанія по историческимъ памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ съ цѣлью изобличить все тѣ вредные «субъективизмы», которые наложили свою зловредную печать на разработку русской исторіи, и очистить путь для своего собственнаго «субъективизма», какъ единствено правильнаго и открывающаго «наукѣ русской исторіи» широкіе горизонты будущаго раззвѣта. Все, относящееся къ «субъективизмамъ», настолько забавно, что мы пригласимъ нашего автора объясниться своими собственными словами. Видите ли: путаясь въ непроходимыхъ для него путяхъ русской исторіи, г. Кояловичъ «часто видѣлъ какъ бы руководящія надписи: объективизмъ, научность! Но историческое чутье и горький опытъ слишкомъ часто показывали, что эти надписи невѣрны, что вместо нихъ нужно бы надписать: «субъективизмъ, извѣстный уголь зреѣнія!» Двигаясь дальше, онъ увидѣлъ, что «древнѣйший лѣтописецъ, писавшій безхитростно свою лѣтопись, и послѣдній подьячій московскихъ временъ, составлявшій простую бумагу, и ученѣйший русскій историкъ новѣйшихъ временъ — все субъективны, все высказывали и высказываютъ свое пониманіе дѣла». Разъ каждый высказываетъ свое пониманіе дѣла, то значить не можетъ быть рѣчи о научности и объективизмѣ историка. Посылка, конечно, весьма удобная для такого вывода, что и г. Кояловичъ, чуждый «научности и объективизму», можетъ и долженъ высказать свой субъективизмъ, свое пониманіе дѣла. Конечно, вопросъ объ объективизмѣ въ историческихъ изслѣдованіяхъ вопросъ весьма интересный и можетъ быть разсматриваемъ съ разныхъ точекъ зреѣнія, недоступныхъ г. Кояловичу въ силу «чисто русской потребности цѣльнаго міросозерцанія», а потому онъ и не понимаетъ, что къ объективизму стоять въ разныхъ отношеніяхъ и на разныхъ разстояніяхъ ученѣйший русскій историкъ, безхитростный лѣтописецъ и послѣдній подьячій московскихъ временъ. Теперь интересно, кто окрасить въ свой цвѣтъ субъективизмъ г. Кояловича — ученѣйший русскій историкъ, безхитростный лѣтописецъ или подьячій московскихъ временъ?

Г. Кояловичъ заявляетъ, что, пропутавшись долго, онъ наконецъ нашелъ такой субъективизмъ, который и больше всѣхъ другихъ обнимаетъ фактическую часть русской исторіи, и лучше другихъ освѣщаетъ дѣйствительныя и существенные ея стороны. «Такой субъективизмъ я находилъ и нахожу въ сочиненіяхъ такъ называемыхъ славянофиловъ. Онъ лучше другихъ, и въ народномъ, и въ научномъ смыслѣ, и даже въ смыслѣ возможно правильнаго пониманія и усвоенія общечеловѣческой

цивилизациія»?! Пусть будетъ такъ, но не смѣшалъ ли г. Кояловичъ славянофильскій субъективизмъ съ субъективизмомъ подъячаго московскихъ временъ?

Оказывается, что всѣ Шлецеры, Баіеры, Миллеры, поставившиe на ноги русскую исторію, являются слѣды злореднаго «вмѣшательства иноzemцевъ въ разработку русской исторіи» по той простой причинѣ, что это «инородческія» изысканія по русской исторіи. Это уже не столько славянофильство, сколько фанатическій обскурантизмъ человѣка съ «русскимъ чувствомъ», диктующимъ «лучшую вѣротерпимость»... Но пойдемъ дальше и посмотримъ на группу, съ одной стороны торжествующей Кояловичъ, а съ другой—приглашаemые туда... гг. Пыпинъ и Спасовичъ, держащіе въ собственныхъ рукахъ такое «доказательство», какъ ихъ «Исторія славянскихъ литературъ». Г. Пыпинъ «самоутверженно дѣйствуетъ, когда касается славянского значенія родной русской стихіи», а г. Спасовичъ романтизмъ «осмысливаетъ и оправдываетъ весьма обидно или весьма вызывающимъ образомъ для настѣ русскихъ» и пишетъ онъ «съ тою особеною окраской видимой гуманности и дѣйствительного фанатизма ко всему русскому, какіе возможны только въ ополячившемся»... Вотъ вамъ за настоящими инородцами идутъ «руssкіе инородцы», а за ними западники, федералисты, хохломаны и т. д.; всѣ эти Соловьевы, Костомаровы et cetera. То ли дѣло: Бѣляевъ, Лешковъ, Аксаковъ. Все имена и правда имена, но напрасно къ ихъ знамени протягиваетъ свои руки г. Кояловичъ. Онъ его не усвоилъ или выбралъ изъ него то, отъ чего они сами отказались по здравомъ обсужденію. Они не страдали «худой вѣротерпимостью», и не питали фанатической ненависти къ инородческому западу.

Если бы г. Кояловичъ дѣйствительно усвоилъ славянофильскій «субъективизмъ», то онъ, можетъ быть, не говорилъ бы такъ о «русскомъ направлении», о западникахъ и хохломанахъ, какъ онъ говоритъ. Онъ свѣль славянофильскій «субъективизмъ» до «субъективизма» подъячаго московскихъ временъ и ихъ перепуталъ.

Б. Библіографія.

ЛИТЕРАТУРА И ПЕДАГОГІЯ.

Л. А. Харламовъ. Изъ моря житейскаго. (Очерки и разсказы). 2-е изданіе. Спб. 1893. Ц. 50 к.

Г-н Харламовъ не беллетристъ, и это первый опытъ небезъзвѣстнаго фельетониста въ художественной рѣд. Опытъ — надо признать — не безнадежный. Какъ фельетонистъ, привыкшій скользить по наблюдаласяяъ событиямъ и явленіямъ жизни, онъ и въ этихъ своихъ разсказахъ

не можетъ похвастаться глубиною наблюдений и ихъ изображеній, но книжка его, все-таки, привлекаетъ теплымъ тономъ, общимъ направлениемъ, выборомъ сюжетовъ. Сюжеты въ книжкѣ, дѣйствительно, жизненны: каждый изъ нихъ близокъ любому читателю, потому что вѣренъ дѣйствительной жизни, прямо изъ нея выхваченъ. Къ тому же, сюжеты и разнообразны. То предъ читателемъ встаетъ симпатичный образъ бѣдной дѣвушки (*«Русалка»*), вынужденной искать работы на балаганахъ

во время масляничьего разгула и оказавшейся очень удачной русалкой; то изображается жизнь («На рельсахъ») на маленькой станции железнной дороги—жизнь далеко не пидилическая, а полна страсти; то развертывается картина актерскихъ правоъ при описании капустиника или «актерской масляницы», спрятанной въ чистый понедѣльникъ; то даются наброски изъ жизни захолустья («Чижъ», «Оказія», «Душа заговорила»); то опять автора уносить въ актерскій мирокъ («Актерское горе»), и онъ, немудрствуя лукаво, фотографируетъ вѣрою и ясно. Есть, однако, два недостатка въ этихъ симпатичныхъ произведенияхъ: у нашего фотографа аппаратурѣ-то хорошо, да ретушь плохонькая, отдалка въ рассказахъ—и въ слогѣ, и въ содержаніи—слабовата, ретушерь еще не имѣетъ навыка, не умеетъ соблюсти разныхъ тонкостей нужныхъ въ портретѣ; во-вторыхъ, грѣшишь противъ художественности желаніе автора непремѣнно приподнять сюжетъ и сдѣлать изъ простого бытового рассказа драму съ эффектною смертью въ развязкѣ, изъ простенькаго эскиза кричащее полотно... Это—обыкновенная замашка неопытныхъ беллетристовъ. Во всякомъ случаѣ, однако, время, потраченное на чтеніе книжки г. Харламова,—время не пропащее.

С. Б. Любощицъ. И. С. Тургеневъ. (Этюдъ). Одесса. 1893. Ц. 35 к.

Рѣшивъ, что осень 1893 года есть, поистинѣ, Тургеневская, потому что 22 августа исполнилось 10 лѣтъ со дня смерти Тургенева, а 28 октября 75 лѣтъ со дня его рожденія; рѣшивъ, что и весь прошлый годъ вообще Тургеневский, потому что въ прошломъ же году (только не осенью) исполнилось 50 лѣтъ литературной дѣятельности Тургенева,—г. Любощицъ, чтобы сдѣлать это годъ вполнѣ ужъ Тургеневскимъ, прицепилъ къ нему и свой критический этюдъ. Сѣтуя на «нашу умственную присиблѣнность» по тому поводу, что 10-лѣтіе кончины Тургенева прошло безъ какой-либо особой помпы (при чемъ тутъ присиблѣнность?), г. Любощицъ, бодрый и вспіюющій, приклепъ самаго себя къ этому 10-лѣтію своимъ критическимъ этюдомъ, который, какъ онъ полагаетъ, окажется небезполезнымъ при слѣдующихъ критическихъ изслѣдованіяхъ. Благеніе—кто вѣрюетъ: тепло ему на свѣтѣ! Тепло и г. Любощицу. Въ своемъ самоуслажденіи онъ чувствуетъ себя прекрасно. Фразистыми, трескучими тирадами раздастъ онъ аттестаціи направо и налево—и Толстому, и Достоевскому, и Ибсену, и всевозможнымъ корифеямъ разныхъ литературъ, а больше всѣхъ Тургеневу; на 40 разномъстыхъ стравичкахъ рѣшаєтъ всѣ вопросы, касающіеся Тургенева и его времеви, и, умолкая, выставляетъ цѣну 35 коп. за эту болтовню... и свою фамилію! Вотъ это для

разныхъ гг. Любощицъ самое важное: выставить рядомъ съ именемъ великаго писателя свое имя—вся цѣль ихъ писаний.

Юрій Якунічъ. На мертвотой стражѣ. Переводъ съ сербскаго Н. Н. Филиппова. Изданіе М. М. Ледерле и К°. Спб. 1893. Ц. 20 к.

Въ хорошемъ переводаѣ явилось это произведеніе, исполненное драматизма и красоты. Старый сербъ разсказываетъ своиму сыну про возстаніе, котораго самъ онъ былъ свидѣтелемъ и участникомъ въ 1848 году; исполненный горячей любви къ родинѣ, суровый съ виду старецъ благословляетъ сына на войну и даетъ ему оружіе, и когда отнятое имъ смиряетъ у непріятеля. Въ разсказѣ введенія и романтическая пиритга; какою-то обаятельною мощью дышитъ образъ невѣсты, оставившей вѣрной на всю жизнь свою покойному жениху.

Иліада. Поэма Гомера. Переводъ В. М. Краузе. Вып. I. Рапсодія (I) первая. Съ 18-ю рисунками въ текстъ. Спб. 1893. Ц. 40 к.

Итакъ, теперь у насъ есть нѣсколько переводчиковъ Гомера: Костровъ, Гнѣдичъ, Жуковскій и... г. Краузе. Здравствуйте, г. Краузе! Безъ смущенія, безъ колебанія, съ полнымъ присутствіемъ духа, взлетаетъ г. Краузе на Парнасъ и пытается столкнуть съ него и Ермилу Ивановича Кострова, забывть, или, вѣрѣть, въ зная, что про Ермилу Ивановича было написано многими въ томъ смыслѣ, что онъ «сыновицъ Гомера Россіи». Хочетъ г. Краузе спихнуть съ Парнаса и Николая Ивановича Гнѣдича, забывъ, или, вѣрѣя, не слыхавъ, что самъ Пушкинъ, по прочтенію Иліады въ гнѣдичевскомъ переводаѣ, воскликнулъ:

«Слыши умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи,

«Старца великаго тѣнь чую смущенной душой...

Пробуетъ г. Краузе сверзть съ великой горы и Василия Андреевича Жуковскаго, забывть, или, вѣрѣть, не вѣдая, что, по выражению Пушкина, стиховъ Жуковскаго

«Платитъальная сладость

«Пройдеть вѣковъ завистливую даль,» и какъ бы ни завидовали имъ еле-грамотные, зазубреніеи латынью, вродѣ пресловутаго г. Краузе, люди, какъ бы ни обзвывали они, въ своемъ невѣжествѣ, прежніе переводы Гомера неудовлетворительны, все же стихи Жуковскаго и другихъ корифеевъ переживутъ завистливую даль вѣковъ съ завистливымъ кашѣніемъ гг. Краузе. Выпуская первую рапсодію (!), г. Краузе полагаетъ, что и ея уже достаточно, чтобы составить себѣ представление, чего можно ожидать отъ его перевода. Совершенно вѣро. Скажемъ еще сильнѣе: достаточно прочитать 1-ю строку его перевода,—одну только строку,—чтобы основательно и ясно судить о всей дальнѣйшей бездарной

безграмотицъ. Приводимъ ее въ сравненіи съ переводами Кострова и Гнѣдича.

У Кострова (1787 г.):

«Воспой Ахилловъ гиѣвъ, божественная
Муза!..

У Гнѣдича (1829 г.):

«Гиѣвъ, о богиня, воспой Ахиллеса,
Пелеева сына!..

У г. Краузе (1893 г.)

«Злобу воспой, о богиня, Пелѣевича
Ахиллеса!..

Н довольно! Одна строка, только одна, а говорить много, говорить все: тут и злоба вм., тут и два ударения на одноглагольствѣ, тут и Ахиллесъ Пелеевичъ (?) и даже Пелѣевичъ Ахиллесъ... По одной строкѣ ясно видно все, что дальше будетъ: бездарность, неумѣніе сдѣлать подходящій выборъ словъ (злоба богини!), незнаніе русскаго стиха и вообще родного языка (два ударения на словѣ), русифицированіе греческаго Пеліда въ какого-то русачка Пелѣевича и, вообще, полное невѣжество плюсъ крупная наглость. Нѣтъ, г. В. М. Краузе, если, положимъ, васъ зовутъ Владимира Михайловича, позовите дать вамъ совѣтъ:

«Гиѣва на насъ не мечите, Михайловичъ,
вы — о, Владимиръ!

«Если попросимъ мы васъ не тревожить
великаго старца!..

Гольдсмитъ. Вѣкфильдскій священникъ. Переводъ Елиз. и Ек. Бекетовыхъ. Издание А. С. Суворина. Спб. 1893. Ц. 25 к.

Знаменитый романъ Гольдсмита спленъ высотою своей идеи, богатъ нравственнымъ значеніемъ. Съ общепринятой точки зрѣнія на человѣческое счастье вѣкфильдскій священникъ — вполнѣ несчастный человѣкъ: когда-то онъ былъ богатъ, имѣть хороший приходъ, былъ счастливымъ семьяшникомъ; но всѣ эти земные блага одно за другимъ покачнулись и рушались: онъ обнищалъ, у него обеззеченна дочь, отнятъ приходъ, онъ въ тюрьму... Но онъ не считаетъ себя несчастнымъ и находитъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы безропотно перенести всѣ удары судьбы.

Самъ Оливеръ Гольдсмитъ въ предисловіи къ этому роману проницливо говоритъ: «Въ этой книгѣ сотня недостатковъ. Герой предлагаемаго разсказа соединяется въ своей особѣ три важайшихъ роли на землѣ: онъ — служитель алтаря, землемѣръ и отецъ семейства. Живя въ довольствѣ — онъ простъ, въ несчастіи — величественъ. Въ наше время усиленной роскоши и утонченности правовъ можетъ ли такой типъ поправиться публикѣ? Охотники до великосвѣтской жизни съ пренебреженіемъ отвернутся отъ его скромнаго домашняго очага на лоно сельской простоты, любители сильныхъ шутокъ не найдутъ никакого остроумія въ его безобидной болтовнѣ, а люди, дававшіи словесности», пишущихъ подъ

привыкшіе насыщенно относиться къ религіи, посмѣются падь человѣкомъ, который главную опору своего счастья видитъ въ будущей жизни». Этими словами самъ авторъ постановилъ какъ нельзя болѣе вѣрный приговоръ своему произведенію: собственно не сказавъ прямо, кому же предназначается оно, онъ предзначающъ его, очевидно, людямъ чистымъ сердцами, еще не затертымъ мелочами жизни, не спѣдаемымъ жаждой порнографіи и любящимъ религію,—слѣдовательно юношамъ. Мы думаемъ, со своей стороны, что такая литература, будь хоть она прошлаго вѣка, стоять выше и стоять неоцѣнимо больше, чѣмъ всѣ наши дѣланія, нарочито приправляемыя къ дѣтскому возрасту изданія специальнѣо-дѣтской литературы, изготавляемыя для нея разными гг. Кругловыми и прочими сихъ дѣлъ мастерами.

Г. Ю. Ирмеръ. Вальтеръ-фонъ-деръ-Фогельвѣйде. Очеркъ. Харьковъ. 1894.

Автору очерка пришла счастливая мысль познакомить русскую публику съ весьма яркой личностью Вальтеръ-фонъ-деръ-Фогельвѣйде, дѣятельность которого обнимаетъ блестящій періодъ средневерхнемѣцкой лирики. Наша литература очень небогата свѣдѣніями о немъ, такъ что г. Ирмеру слѣдуетъ поставить въ несомнѣнную заслугу первыи почтѣй болѣе цѣльной и разнообразной характеристики поэта, бывшаго величайшимъ мастеромъ слова. Его пѣсни любви и философск.-религіозныя стихотворенія носятъ слѣды высокаго поэтическаго дарованія. По смерти Вальтера, лирика уклонилась отъ идеала, завѣщающаго пѣнь, спустилась до сухой риторики и только гениальный Гете возвратился къ той мелодіи, которую пѣлъ много лѣтъ раньше знаменитый Мейстерэрangenъ. Брошюра г. Ирмера написана довольно легкимъ языкомъ и читается съ большимъ интересомъ.

Письма обѣ эстетическомъ воспитанії. Виктора Острогорскаго. (Посвящаются русскимъ матерямъ). Издание журнала «Вѣстникъ Воспитанія». М. 1894. Ц. 40 к.

При чтеніи этой книжки читателя очень непріятно поражаетъ назойливое обращеніе автора къ самому себѣ, какъ будто онъ въ литературѣ почти ничего, кроме своихъ статей и книгъ, не знаетъ: въ книжкѣ то и дѣло встречаются указанія г. Острогорскаго на г. Острогорскаго. Стр. 5-я: «Авторъ позволилъ себѣ прибавить къ нему и свое вображеніе...». Стр. 10-я: «Вопросы о выразительномъ чтеніи и о выборѣ для выкладынія чтенія также выдѣлены п до пѣкоторой степени разработаны (мои книги: «Выразительное чтеніе», «Русскіе писатели»). Стр. 19-я: «Вопросъ, наимѣнѣніе разсмотриваемый, подробно разработанъ ими въ журнале „Біенеское Образованіе“ за 1884 г. въ статьяхъ «Бесѣды о преподаваніи словесности», пишущихъ подъ

этим же заглавиемъ отдельною книжкой въ 1886 г. вторымъ изданiemъ; мотивированное указание литературного материала найдутъ читатели въ третьемъ изданіи книги «Русские писатели», где подробно разобрана 21 изъ крупнейшихъ русскихъ писателей». Стр. 47-я: «Подробноеясненіе важности хорошаго чтенія въ семье, школѣ и вообще въ жизни читателя найдутъ въ книжкѣ моей «Выразительное чтеніе». М. 1893. Изд. З-е. Д. И. Тихомирова. Ц. 50 к.» (Даже и цѣна проставлена! Какъ обязательно! Покупай, кто хочетъ!). Стр. 48-я: «Что именно читать, найдутъ читатели мотивированныхъ указаний въ моей книжкѣ «Русские писатели». Стр. 65-я: «См. мои статьи...». И опять пдеть перечень шести собственныхъ статей и книги! Въ концѣ приложения къ переписке автора книги съ какой-то дамой, озлобленной на мужей, играющими въ винѣ и рассказывающими при дѣяхъ сальные анекдоты, — дамой, упрекающей автора, зачѣмъ онъ этихъ самыхъ шельмовъ-мужей не прѣзываѣтъ къ эстетическому воспитанію юношества. Положимъ, г. Острогорскій резонно возражаетъ разъяренной супругѣ, что такихъ шельмовъ къ такому дѣлу и прѣзываѣтъ не стоять, ибо ничего путнаго они въ этомъ направлении сдѣлать не могутъ; но въ самомъ помѣщеніи этой переписки въ книжкѣ опять-таки сказывается нескромное понапытаніе автора намекнуть читателю, что-де его «Письма объ эстетическомъ воспитаніи» уже при своемъ появленіи въ журналахъ обратили на себя вниманіе озлобленной мамаші. Правда, кроме своихъ собственныхъ статей и книги, г. Острогорскій указываетъ кое-гдѣ и на работы другихъ авторовъ; но какая при этомъ выскаживается прискорбная скудость библиографическихъ свѣтильниковъ по вопросу, избранному авторомъ!..

Какъ читать книги, чтобы они приносили намъ пользу? Ч. Ричардсона. Переводъ А. Валуевой (Мунтъ). Издание М. М. Ледерле и К°. («Моя библиотека»). Спб. 1893. Ц. 40 к.

Вопросъ о чтеніи и выборѣ книгъ, особенно въ юности, сталъ въ послѣднее время все болѣе и болѣе выплывать наружу, хотя на важность его указывали еще Бѣлинский, сказавъ: «Книга есть жизнь нашего времени». Кромѣ этого замѣчательнаго изрѣчения, можно привести еще слова великихъ умовъ, указывающихъ на значеніе и необходимость чтенія. Такъ, Фенелонъ сказаль: «Еслибы къ моимъ стопамъ повергли вѣны всѣхъ царствъ міра, веамъ моихъ книгъ и моей любви къ чтенію, я съ презрѣніемъ оттолкнулъ бы ихъ»; историкъ Гибонъ признается: «Любовь къ книгамъ — гордость и слава моей жизни; я не промтнѣялъ бы ее на все сокровища Индіи». Но если книга составляетъ для современного общества жизнь, то надо умѣть разобраться во

всей массѣ книгъ. Книгъ для чтенія — бездна, времени для чтенія — мало. Необходимо умѣть выбирать книги такъ, чтобы опѣ выполнять первое и прямое свое назначеніе для человѣка: получать, повышать и вдохновлять, давать знанія истинно-полезныя и необходимыя. Въ виду этого авторъ книги, со словъ Фредерика Гаррисона, стоитъ за школу великихъ людей и, отвергая посредственность, предлагаетъ читать только книги съ установившемся репутацией, не кидаясь на каждую новинку и вообще не тратя дорогое время по-пустому, съ рискомъ не приобрѣсти ничего ни для своего ума, ни для сердца: ибо это не болѣе, какъ только «полезная праздность». Даѣтъ предварительно общія мнѣнія о чтеніи, авторъ удѣляетъ значительную долю вниманія и разнымъ частямъ, больше мелкимъ, касающимся чтенія вопросамъ, напр.: разбираетъ, какое лучшее время для чтенія, сколько читать (если мы, читая страницу за страницей, убѣждаемся, что умъ нашъ ничего не выносить изъ прочитанаго, то это — прямое доказательство, что надо прекратить чтеніе, — все равно, прочитали ли мы одну страницу или тысячу страницъ), запоминаніе прочитанаго, какъ пользоваться записными книжками, развитіе вкуса къ чтенію и т. д. «Каждый читатель, — такъ заканчиваетъ авторъ свои этюды, — долженъ при выборѣ книги для чтенія избрать свою девизомъ слова, начертанныя на стѣнахъ нѣкоторыхъ старинныхъ храмовъ: *Ad majorem Dei gloriam*.

Можно признать, что вопросъ о важности и необходимости чтенія, равно какъ и серьезнаго отношенія къ нему и ко всему, съ нимъ связанныму, исчерпанъ Ричардсономъ вполнѣ. Его трудъ представляется собою убѣжденный и убѣдительный педагогический трактатъ по вопросу, составляющему въ воспитаніи элементъ съ крупнымъ и неоспоримымъ значеніемъ. Книжка распадается на шестиглавіе, и къnimъ весьма умѣсто и цѣлесообразно присоединить знаменитый списокъ сэра Джона Леббока «100 лучшихъ книгъ», съ нѣсколькими замѣчаніями па него разныхъ знаменитостей (Гладстона, Фаррара и др.). Безусловно-правильный переводъ г-жи Мунтъ-Валуевой дѣлаетъ эту книжку доступной и приятной для чтенія, а скромная цѣна — для кармана.

Ив. Феоктистова. Къ вопросу о детскомъ чтеніи. Издание М. М. Ледерле и К°. Спб. 1891. Ц. 1 р. 15 к.

Въ дополненіе къ только-что отмѣченной книжкѣ Ричардсона укажемъ на прекрасный трудъ г. Феоктистова, еще не разобранный у насъ. Въ этой книжкѣ видѣнъ человѣкъ, понимающій и знающій дѣло, умѣющій говорить о немъ обстоятельно и цѣлесообразно, вникая во всѣ его подробности.

Объемистая книга эта, стоящая притомъ очень дешево, содержитъ въ себѣ несолько этюдовъ, полныхъ интереса для всѣхъ занимающихся вопросами чтенія вообще и дѣтскаго чтенія въ частности: 1) *Талантливый ребенокъ;* 2) *Роль литературанаго чтенія въ воспитаніи извѣстныхъ писателей* — это этюдъ, помимо педагогическаго значенія, полонъ биографическаго интереса; 3) *Сказки, какъ материалъ для опытскаго чтенія*, где приведены перечень всѣхъ извѣстныхъ сказочниковъ и ихъ сказокъ, съ подробнымъ разборомъ послѣднихъ, такъ что этотъ этюдъ имѣеть и чисто практическое, указывающее значеніе для родителей и воспитателей; 4) *О книжь для маленькихъ дѣтей* — тутъ обстоятельно и серьезно выяснено, каковы могутъ и каковы должны быть книги для дѣтей младшаго возраста; 5) *Миниатюра извѣстныхъ писателей о дѣтской чтеніи и дѣтской литературѣ*, а именно мнѣніе: Ж.-Ж. Руссо, В. Г. Бѣлинскаго, И. А. Gonчарова, Д. И. Писарева и В. Крестовскаго (псевдонима). Кстати напомнимъ, что въ Запискахъ А. О. Смирновой («Сѣ. Вѣстн.» 1894 г., № 1, январь) приведено въ высшей степени интересное мнѣніе Пушкина о дѣтской литературѣ, и имъ г. Феоктистову слѣдуетъ также воспользоваться при новомъ изданіи своей прекрасной книги, котораго она, конечно, дождется.

Критический указатель дѣтской и педагогической литературы 1893 г. Издание редакціи журнала «Дѣтское Чтеніе». Вып. I. Слѣд. 1893. Ц. 10 к.—Вып. II. Слѣд. 1893. Ц. 10 к.

Очень хорошее дѣло затѣяла редакція «Дѣтскаго Чтенія», вознамѣрившаяся, очевидно, пополнить, по возможности, недостатокъ, замѣтный у насъ вообще, въ критическихъ указаніяхъ о дѣтской и воспитательной литературѣ и тѣмъ оказывать помощь содѣйствіе каждому, нуждающемуся въ такихъ указаніяхъ, но блуждающему въ дебряхъ этихъ литераторъ «какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣтицы». Давъ предварительно дѣльную руководящую статью съ обстоятельнымъ и беспристрастнымъ обзоромъ всѣхъ существующихъ указателей дѣтской и педагогической литературы, редакція «Дѣтскаго Чтенія» предлагаетъ въ своемъ указатѣлѣ длинный рядъ дѣльныхъ, серьезно проѣбреныхъ рецензий по различнымъ отдѣламъ: беллетристикѣ, учебники, исторія и биографія, географія и путешесстія, естество兹наніе, учебники и учебники пособія. Въ продажу пущены выпуски этого указателя очень дешево; поэтому доступенъ онъ каждому. Единственный недостатокъ его — это пераномѣрность нѣкоторыхъ отзывовъ: есть крошечныя рецензии о хорошихъ большихъ книгахъ и наоборотъ — большие отзывы о ничтожныхъ и по цѣнѣ и по содержанию. Это сдѣлали пра-

вильно: о хорошихъ книгахъ желательны болѣе пространная статьи, тогда какъ дрянная піданія достаточно характеризовать въ несолькихъ словахъ.

II. ОБЩЕСТВ. НАУКИ И ИСТОРИЯ.

Практическое руководство для судебныхъ слѣдователей. Т. II, выпускъ 2-й. Составилъ членъ Виленскаго окружнаго суда *А. Соколовъ*. Вильна. 1894.

Во второмъ выпускѣ II тома практическаго руководства для судебныхъ слѣдователей помѣщается очень полный и интересный указатель русской литературы о предварительномъ слѣдствії, причемъ перечисляются всѣ статьи юридическихъ журналовъ и газетъ, такъ или иначе относящихся къ данному вопросу; вторая половина настоящаго выпуска занята изложеніемъ подсудности въ общемъ порядкѣ судопроизводства; въ ней прежде всего дается общее понятіе о подсудности съ многочисленными сенатскими разъясненіями. Затѣмъ рассматриваются предѣлы вѣдомствъ такъ называемыхъ особыхъ судовъ: волостныхъ, станочныхъ, инородческихъ; здесь же излагаются правила о подсудности ссыльныхъ и компетенціи судовъ прежняго устройства. Остальная часть книги занята изложениемъ производства въ общихъ судебныхъ установленіяхъ; въ мировыхъ, где особенно подробно авторъ останавливается на подсудности при нарушеніяхъ установъ казенныхъ управлений, о повинностяхъ, о торговле и о промышленности; въ окружныхъ судахъ и судебныхъ палатахъ, здѣсь заслуживаютъ вниманія главы о подсудности по мѣсту совершеннаго преступленія, по принадлежности обвиняемыхъ къ особымъ вѣдомствамъ и, наконецъ, главы о порядкѣ разрѣшенія пререканій о подсудности и о перенесеніи дѣла.

Опытъ систематического повторительного курса по всеобщей и русской истории. Учебникъ для учениковъ VII кл. гимназій и учебное пособіе для старшихъ классовъ среднеучебныхъ заведеній. Вып. III. Составилъ *Евстафій Крыловъ*. Москва. 1893.

«Опытъ» г. Крылова нельзя назвать особенно удачнымъ, положительныхъ качествъ въ немъ очень немного и они сводятся къ ясному изложенію, за то недочетовъ очень много. Особенно слабъ авторъ таѣмъ, где онъ пытается дать общій характеристики эпохъ и людей; на стр. 23, напримѣръ, онъ объявляетъ, что одно изъ наиболѣе важныхъ свойствъ русского народа это — патріотическая замкнутость. Но его мнѣніе Россія, удалившись отъ культурнаго запада и Византіи, подъ вліяніемъ татарскаго ига, между прочимъ, имѣла возможность познать себя (стр. 57). Русское государство, по мнѣнію его, началось у насъ не раньше мо-

сковского периода, съ княжения Иоанна III, а до того было только союзъ волостей (стр. 91 и 104). Чрезвычайно много и очень запутанно авторъ говорить о характерѣ Иоанна Грознаго (127, 130, 131 и 137 страницы). Общій выводъ автора тотъ, что Иоанн IV очень мало походилъ на бездушного и достоинъ скорѣе жалости и со-страданія, чѣмъ осужденія.

Историческая чтенія (Lectures historiques). Исторія средніхъ вѣковъ и нового времени 1270—1610. Составилъ Ж. Г. Маррежоль. Переводъ съ французскаго. Спб. 1893.

Г. Маррежоль собралъ въ своей книгѣ въ систематическомъ порядкѣ по эпохамъ цѣлый рядъ отрывковъ изъ лучшихъ современныхъ авторовъ и изъ оригиналныхъ историческихъ памятниковъ, характеризующихъ важнѣйшіе события французской и вообще европейской исторіи съ 1270 по 1610 годъ. Умѣльный подборъ статей и довольно подробный библіографический указатель къ каждой главѣ дѣлаютъ книгу г. Маррежоля очень интересной и полезной христоматіей, которая можетъ очень пригодиться для развитія охоты къ самостоятельному ознакомленію съ историческими работами. Книга можетъ дать также матеріалъ для класснаго чтенія въ высшихъ классахъ среднеучебныхъ заведеній. Книга снабжена 111 рисунками, дающими понятіе о среднѣвѣковыхъ постройкахъ, одеждѣ, утвари и вооруженіи, многіе изъ этихъ рисунковъ выполнены не дурно.

Терновскій, С. Историческая записка о состояніи Казанской духовной академіи. Казань. 1892.

Записка г. Терновскаго представляетъ подробнѣйшую лѣтопись академической жизни съ 1870 по 1892 годъ, по которой будущему историку легко будетъ пользоваться обширнымъ и подробнымъ матеріаломъ. По официальнымъ даннымъ лѣтописи можно прослѣдить постепенное развитіе внутренней жизни, жизни академіи въ тяжелые и хорошие годы, которые ей пришлось пережить. Въ настоящее время, какъ видно изъ отрывковъ отчета за послѣдніе годы, академія прекрасно выполняетъ свою задачу служить разсадникомъ духовнаго просвѣщенія на нашемъ востокѣ.

Историческая статья. П. В. Безобразова. Выпукъ первый. Москва. 1893.

Въ настоящемъ выпускѣ наиболѣе интересными статьями являются: «Черты византійской культуры и нравовъ» (стр. 47—143), въ которой достаточно подробно и популярно описывается внутренній бытъ умирающей Византійской имперіи; «Очерки среднѣвѣковой жизни», где авторъ занимательно излагаетъ несолько хорошихъ книжекъ, посвященныхъ исторіи среднѣвѣковаго быта низшихъ и высшихъ сословий. Довольно подробно авторъ останавливается

на описанії городского благоустройства среднѣвѣковаго Парижа и жизни его корпораций и цеховъ. Изъ другихъ статей слѣдуетъ упомянуть жизнеописаніе императора Зопа, являющейся одной изъ интереснѣйшихъ личностей византійской исторіи XI в.; здѣсь авторъ вполнѣ въ своей области, и прекрасно описываетъ придворную жизнь императоровъ. Самая слабая статья — это «Будущія переселенія народовъ», въ которой авторъ приводитъ и обсуждаетъ будущую войну Россіи съ Китаемъ изъ-за Сибири, и коротенькая біографія Жанны Д'Аркъ, отъ отсутствія которой книжканичего не потеряла бы.

Грегуаръ, Л. Исторія Франціи въ XIX вѣкѣ. Съ приложеніемъ введенія и дополненія. Т. I. Переводъ М. В. Лучинской подъ редакціей И. В. Лучинскаго. Москва. 1893.

По мысли переводчиковъ, настоящій томъ представляетъ собою начало издания исторіи всѣхъ важнѣйшихъ европейскихъ государствъ въ теченіе истекающаго столѣтія. Для исторіи Франціи выбрано объемистое сочиненіе Л. Грегуара. Въ видѣ введенія помѣщено хорошо составленный очеркъ исторіи реставраціи по книгѣ Эрнеста Додэ. Трудъ Грегуара начинается съ описанія первыхъ дней Польской монархіи, которое въ I томѣ и доводится до 1832 года. Авторъ выказываетъ себѣ безпредвѣстнымъ изслѣдователемъ, чуждымъ партійныхъ предубѣждений. Въ его описаніяхъ дѣятельности выдающихся политическихъ лицъ нѣть ни излишнихъ преувеличевій, ни недомолвокъ. Очень живо описаны имъ: личность Луи-Филиппа, процессъ противъ министровъ низвергнутаго короля Карла X и революція въ Бельгіи, создавшая Бельгійское королевство.

О черниговскихъ князьяхъ по Любецкому спіонику и о черниговскомъ княжествѣ въ татарское время. Р. В. Зотова. Спб. 1892.

Татарское нашествіе сильнѣе всего чувствовалось въ южной Россіи, отъ городовъ которой въ XIII вѣкѣ остались только жалкія развалины. Вмѣстѣ съ паденiemъ общественной и политической жизни въ Черниговской области, одной изъ наиболѣе пострадавшихъ, исчезли и мѣстные лѣтописцы, вслѣдствіе чего замѣтается и у русскихъ историковъ отсутствіе систематическихъ указаний о Сѣверной землѣ съ конца XIII до конца XIV вѣка, когда она была занята литовскими князьями. Одинъ изъ немногихъ источниковъ, проливающихъ свѣтъ на исторію Черниговской земли въ названный періодъ — это Любецкий спіоникъ, въ которомъ записаны имена черниговскихъ князей XIII и XIV. Подробнымъ изслѣдованіемъ его и занялся г. Зотовъ, который старается возстановить исторію каждого князя, упоминаемаго въ спіоникѣ,

посредствомъ современныхъ лѣтописей и другихъ историческихъ документовъ.

Французская революція въ показаніяхъ современниковъ и мемуаровъ. Виконта *de-Броко*. (*Le France pendant la revolution*). Переводъ подъ редакціей *Ѳ. И. Булакова*. Спб. 1893.

Трудъ г. Броха раздѣляется на 16 главъ, обнимающихъ собою періодъ времени отъ начала революціи 1789 года до паденія директоріи. Внутреннее состояніе французскаго общества за это тяжелое время описывается авторомъ на основаніи мемуаровъ, записокъ и подлишныхъ историческихъ бумагъ. Кровавыя сцены убийствъ, казней ужасной жестокости Террора излагаются авторомъ съ полнымъ спокойствіемъ и объективностью. Отдельныя главы посвящены разсмотрѣнію положенія средняго сословія при старомъ режимѣ и во время революціи, народному просвѣщенію при старыхъ и новыхъ условіяхъ общественной жизни и экономическому положенію страны, несущей на себѣ гнетъ междуусобной и винѣшней войнъ и разоряемой въ то же время новой администрацией почти также, какъ это дѣлалось при короляхъ. Книга изобилуетъ массой интересныхъ фактовъ и подробностей, рисующихъ многие важные моменты революцій, и выясняетъ истинныя причины развитія послѣдующей эпохи, приведшей къ абсолютизму Наполеоновской империи.

Крушеніе монархіи во Франції. Очерки и эпизоды первой эпохи французской революціи 1787—1790. *Н. А. Любимова*, заслуженного проф. Московского университета. Москва. 1893.

Професоръ Любимовъ занялся французской революціей, съ цѣлью поученія современного русскаго общества. Революція представляется авторомъ результатомъ преступной слабости Людовика XVI и его министровъ. Г. Любимовъ находитъ, что синхронитность короля слишкомъ плохо вознаграждалась, потому что «никогда декламація о тираніи, деспотизмѣ, произволѣ не достигала такихъ высокихъ нотъ, какъ при этомъ столь мало деспотическому королю» (стр. 61). Финансовая затрудненія авторъ считаетъ очень не важными: «дефицитъ, конечно, говорить онь, былъ, но не должно забывать обстоятельство капитальной важности: богатство страны росло, и съ устраненіемъ привилегій податныхъ силы *могли бы возвыситься*», и указываетъ затѣмъ на то, что во время революціи Франція жила при гораздо большемъ дефиците. Авторъ совершенно забываетъ при этомъ, что время революціи было эпохой великой страстной борьбы съ виновными и внутренними врагами нового порядка, на которую уходили всѣ силы народа, и которая заслонила всѣ другіе интересы, и что въ болѣе спокойное время трудно было жить надеждою на то,

что обстоятельства могли улучшиться послѣ цѣлаго вѣка финансовыхъ неудачъ и неурядицъ. Такимъ же поверхностными и мало обоснованными являются и другіе выводы автора.

Древняя история. *К. Ф. Беккера*, вновь обработанная *Вильгельмомъ Мюллеромъ*, профессоромъ Тюрингенскаго университета. Часть III. Спб. 1893.

Въ третьей части исторіи Беккера рассматриваются событія отъ временъ преемниковъ Александра Великаго (XIV вѣкъ до Р. Х.) до временъ Каролинговъ (X вѣкъ по Р. Х.). Книга написана сжато и ясно: можно сказать, что въ ней не упомянута ни одна существенная подробность, и въ тоже время устранено все, что могло бы помѣшать правильному пониманію и оцѣнкѣ описываемыхъ событій. Что особенно цѣлѣно: авторъ обращаетъ вниманіе на внутренний бытъ, на развитіе цивилизаций, въ этомъ томъ, преимущественно римской. Съ вѣнчаніи стороны издание выполнено удовлетворительно: масса рисунковъ въ текстѣ, сдѣланыхъ очень отчетливо и вѣсколько карты въ значительной мѣрѣ облегчаютъ чтеніе и пониманіе этого прекрасного и полезнаго для всѣхъ доступнаго труда.

Кеппенъ. Вѣроятныя финансовые послѣдствія законопроекта обѣ отъственности владѣльцевъ промышленныхъ предпріятий заувѣчье и смерть рабочихъ для русской промышленности вообще и горной въ особенности.

Какъ извѣстно, представители отечественной промышленности ведутъ отчаянную агитацию противъ законопроекта о страховании рабочихъ. Къ ихъ услугамъ представлены столбцы „Москов. Вѣд.“ и „Русскаго Обозрѣія“, где мысль о введеніи страхованиія рабочихъ въ Россіи предается всяческому посмѣянію и прямо обзываются „заговоромъ“ противъ фабрикантовъ и заводчиковъ, всегда „отчески“ относящихся къ интересамъ рабочихъ классовъ. Какой-то досужій „ученый“ состряпалъ для фабрикантовъ записку, где, на основаніи „статистическихъ“ данныхъ, доказывается, что примѣненіе выработанного законопроекта поглотить чрезъ 10 дней всю прибыль гг. фабрикантовъ. Эта смѣлая записка была представлена высшей администраціи съ просьбой „не погубить“.

Г. Кеппенъ, видимо, желаетъ стоять въ сторонѣ и, не обнаруживая особаго энтузиазма къ законопроекту, пытается самостоительно высчитать, что будетъ стоить „затѣ“ отечественнымъ промышленникамъ. Оказывается, что все дѣло обойдется добавкой 6 (а быть можетъ и 10?) процен-твъ къ расходамъ на заработную плату. Расходъ даже вдвое больший въ общемъ не стоитъ всѣхъ материальныхъ и не материальныхъ затратъ на агитацию противъ законопроекта.

Гурьевъ. О привилегіяхъ на изобрѣтенія. Спб. 1894 г.

Г. Гурьевъ—крайній патріотъ. Онъ же-лаетъ, чтобы въ Россіи иностранцамъ не выдавались привилегіи на ихъ изобрѣтенія, такъ какъ иностранные изобрѣтатели, по его увѣренію, получивъ привилегіи, фактически настъ не вакомятъ или не желаютъ знакомить со своимъ изобрѣтеніемъ. Секретъ этого нежеланія составляеть тайну г. Гурьева. Онъ желаетъ, чтобы у настъ появлялись общедоступныя печатныя описанія иностранныхъ изобрѣтений. Очевидно, г. Гурьеву неизвѣстно, что „порядочность“ въ отношеніяхъ между культурными странами доходитъ до „международной“ защиты фабричныхъ клемъ и марокъ, а мы будемъ по проекту г. Гурьева, прямо воровать иностранныя изобрѣтенія. Конечно, это очень просто, но едва-ли культурно и честно.

А. П. Вейнеръ. Консулы въ христіанскихъ государствахъ Европы и Сѣверной Американской Соедин. Штатахъ. Спб. 1894.

За послѣдніе полѣвка, съ развитіемъ парового мореплаванія и международныхъ союзій, усилилось и значеніе консульскихъ учрежденій, особенно русскихъ, роль коихъ въ сфере экономическихъ и торговыхъ отношеній становится съ каждымъ годомъ все серьезнѣе. Другія государства давно озабочились преобразованіемъ своихъ консульскихъ учрежденій и издали новые консульские уставы, чему много содѣствовала специальная литература. Въ Россіи до сего времени это все еще въ дореформенномъ положеніи. Нашъ консульский уставъ давно устарѣлъ. Материалы для нового устава подготавлияютъ уже 20 лѣтъ и все не могутъ кончить. Въ нашей литературѣ, послѣ книги Наумова «О консульскомъ правѣ», изданной въ 1856 году, не появлялось ни одного общаго сочиненія; была только книга 1873 г. монографія Ф. Ф. Мартенса о консулатахъ на востокѣ, а за послѣднія 20 лѣтъ въовсе ничего не появлялось. Поэтому труду А. Вейнера является вполнѣ свое временіемъ, а главное—полезнымъ материаломъ при окончательномъ составленіи консульского устава. Онъ даетъ подробный свѣдѣнія о консульскихъ учрежденіяхъ въ другихъ государствахъ, излагаетъ исторію ихъ и современное положеніе, призывая за ними большое политическое значеніе, какъ органа, непосредственно содѣствующаго дипломатіи. Другихъ, собственныхъ, выводовъ авторъ, къ сожалѣнію, не даетъ, не отводитъ мяста п экономической роли консуловъ. Но нельзя не оценить умѣло структурированного материала, яснаго и объективнаго изложения.

Кустари-кошевники Полтавской губерніи. Составитель, по порученію Полтавской губернской земской управы, д-ръ В. Святловскій. Полтава. 1894.

Авторъ настоящей книги собралъ въ ней массу интересныхъ данныхъ о бытѣ кожевниковъ, о доходности ихъ промысла, о способахъ производства и о вліяніи занятія кожевеннымъ дѣломъ на работниковъ. Онъ правильно оцѣниваетъ значение кустарного промысла и указываетъ на его большое преимущество передъ фабриками въ томъ, что «мастерская кустаря представляетъ собою семейную ассоціацію со всѣми пристекающими выгодами подобного соединенія труда». Въ концѣ книги г. Святловскій намѣщаетъ рядъ избр., необходимыхъ для поддержки и развитія кожевенного промысла, доказывая, что безъ нихъ онъ неизбѣжно придется въ упадокъ.

Краткій очеркъ экономическихъ мѣропріятій земствъ 23 губерній Россіи. (1865—1892 гг.). Полтава. 1894.

Настоящая брошюра въ 76 страницъ является первымъ выпускомъ предпринятаго Полтавской губернскай управой изданія. Цѣлью его служить желаніе дать возможность земству воспользоваться опытомъ другихъ органовъ земскаго самоуправлія. Дѣйствительно, разобщенность уѣздныхъ и губернскихъ земствъ въ сфере хозяйственныхъ мѣропріятій давночувствовалась и отзывалась вредно на ихъ дѣятельности, заставляя, такъ сказать, отдѣльныя управы и собранія открывать Америку тамъ, где все уже выполнено и намѣчено въ другихъ уѣздахъ Россіи. Поэтому почтѣніе Полтавской губернскай управы заслуживаетъ полнаго сочувствія. Къ сожалѣнію, свѣдѣнія настоящаго выпуска отличаются излишнею краткостью и касаются преимущественно дѣятельности губернскихъ земствъ. Въ слѣдующихъ выпускахъ управа предполагаетъ дать обзоръ мѣропріятій земствъ остальныхъ одиннадцати губерній и пополнить пробѣлы первого выпуска, происшедши отъ недостатка нѣкоторыхъ материаловъ, которые не были доставлены къ сроку выхода въ свѣтъ этого изданія.

Сергій Шарановъ. А. Н. Энгельгардтъ и его значеніе для русской культуры и науки. Спб. 1893.

Брошюра заключаетъ въ себѣ публичную лекцію, прочтенную авторомъ въ Москвѣ въ прошломъ году, вскорѣ послѣ смерти А. Н. Энгельгардта. Книжка содержитъ въ себѣ краткую біографію и характеристику дѣятельности почтеннаго ученаго и при жизни изложеній прочтется съ интересомъ. Недостатками ея можно считать излишнюю витѣватость выражений и дорогую цѣну, составляющую 40 коп. за 62 страницки въ 32-ю долю листа.

Радецкій, И. М. Темные и больныя силы. (Жертвы страстей; антисоціальные типы; причины сумасшествій, вырожденія; пути возрождевія). Одесса. 1894.

Г. Радецкій выступаетъ въ своей брошюре съ проповѣдью о спасеніи совре-

менного общества, погибающего отъ разныхъ «темныхъ спль». Для этого авторъ предлагаетъ прежде всего смотрѣть на общественное зло съ биолого-гигиенической точки зрѣнія, и тогда все устронится какъ нельзя лучше. Затѣмъ авторъ распространяется о явно разстроенныхъ, явно правственномъ извращенныхъ лицахъ, львыхъ алкоголикахъ и, наконецъ, психически-больныхъ, разгуливающихъ на свободѣ. Затѣмъ авторъ нападаетъ на эгоистовъ (стр. 14) и рекомендуетъ, въ концѣ-копцовъ, какъ панацею противъ всѣхъ бѣдствий, нормальное воспитаніе дѣтей. Брошюра украшена вѣршами, вполнѣ достойными Тредьяковскаго.

III. ЭТНОГРАФІЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ.

По бѣлу свѣту. Путешествія д-ра А. В. Елисѣева, съ иллюстраціями Каразина, Кившенко, Казанцева, Самокишъ, Піотровича и друг. художниковъ. Издание П. И. Сойкина. Спб. 1894. Ц. 3 руб.

Книга эта содержитъ въ себѣ описание первыхъ путешествій доктора А. В. Елисѣева и обнимаетъ собою путешествія его по побережью Ледовитаго океана, Финляндіи, Малой Азіи, Египту и берегамъ Нила. Какъ видно изъ предисловія книги, она представляетъ собою первый томъ описаній многочисленныхъ странствій извѣстнаго путешественника, хотя и является совершенно самостоятельной.

Путешествія А. В. Елисѣева, не представляя изъ себя исключительной занимательности, тѣмъ не менѣе читаются съ интересомъ уже въ силу прекраснаго изложенія. Нельзя отрицать и того, что путешественникъ, большую частью странствуя съ ограниченными средствами, очень много успѣлъ наблюсти и пережить, что придаетъ опять-таки интересъ чтенію. Вообще книга эта является достойной вниманія читающей публики.

При ея качествахъ нельзя не обратить вниманія и на самое изданіе, которое безусловно нужно причислить къ изящнымъ.

Основанія ученія обѣ электрическихъ и магнитныхъ явленіяхъ. И. И. Боргмана, профессора Имп. С.-Петербургскаго Университета. Ч. I. Электростатика и электрическій токъ. Спб. 1893. Стр. 470. Ц. 3 руб.

Въ прошлой книжкѣ журнала мы дали отзывъ о „Курсѣ электричества“ Жерара. Мы указали тогда, что въ курсѣ этому читатель пайдеть теоретическое объясненіе устройства и работы различныхъ электрическихъ приборовъ и машинъ. Курсъ „Жерара“ не даетъ однако читателю теоріи самыхъ электрическихъ явлений или даетъ ее въ слишкомъ скжатомъ и мало понятномъ для неспециалиста изложеніи. Прекраснымъ дополненіемъ къ этому курсу или, лучше сказать, подготовкой къ усвоенію

служить вышедшій теперь трудъ нашего извѣстнаго физика, профессора Боргмана.

Изъ этой превосходно и съ полнымъ знаніемъ дѣла написанной книги читатель вынесетъ ясное представление о сущности тѣхъ сложныхъ процессовъ, которые носятъ общее название электричества и магнетизма, насколько эта сущность раскрыта въ настоящее время наукой. Въ книгу этой нашли себѣ мѣсто и всѣ позѣйшия замѣтительныя изслѣдований и опыты, проявившіе такъ много свѣта на природу электрическихъ явлений. Написанная вполнѣ научно, книга проф. Боргмана тѣмъ не менѣе можетъ быть прочитана съ большимъ интересомъ всякимъ образованымъ человѣкомъ, желающимъ замѣнить вынесенные имъ изъ школы устарѣвшія теперь представленія обѣ электричествѣ болѣе современными взглядами. Мы не говоримъ уже о пользѣ этой книги для слушателей высшихъ учебныхъ заведеній. Для нихъ изслѣдованіе проф. Боргмана является единственной пока книгой на русскомъ языкѣ, которая съ такимъ умѣніемъ вводитъ ихъ въ широкій міръ теоретическихъ изысканий по изученію электричества и магнетизма.

Проф. М. Кассовицъ. Лекціи по болѣзнямъ первого дѣтскаго возраста. Пер. съ нѣм. д-ровъ А. Р. Ильиша и С. Л. Рарапорта. Спб. 1893.

Если вспомнить, какая масса дѣтей погибаетъ въ ближайшіе мѣсяцы послѣ рожденія, то заболѣванія первого дѣтскаго возраста получать особенно важное практическое значеніе. Между тѣмъ въ большей части специальныхъ руководствъ вопросъ этотъ рассматривается очень поверхностно и даже нерѣдко обходится молчаніемъ. Не мудрено при такихъ условіяхъ, что онъ представляеть не только для публики, но и для многихъ врачей настоящую тега инсигніи.

Ходиче мѣбіе, правда, не задумываясь, указываетъ, какъ на principio всевозможныхъ заболѣваній въ этомъ возрастѣ — на прорѣзываніе зубовъ. Это событие кажется многимъ даже образованымъ людямъ чѣмъ то такимъ страшнымъ и роковымъ, что уже заранѣе приводить въ трепетъ мать и нерѣдко заставлять безсильно опуститься руки врача, когда онъ видѣтъ болѣзнь у ребенка въ возрастѣ прорѣзыванія зубовъ.

Извѣстный профессоръ дѣтскихъ болѣзней вѣнскаго университета Кассовицъ подвергъ эту ходячую теорію всесторонней критикѣ, и результаты его изслѣдований заставляютъ взглянуть на дѣло совершенно съ другой точки зрѣнія. Въ виду важности этого вопроса, мы приводимъ познакомимъ читателей съ главнѣйшими выводами автора.

Прежде всего оказывается, что врачи, признающіе правильность ученія о болѣзняхъ, яко бы зависящихъ отъ прорѣзыва-

ния зубовъ, не могутъ привести въ пользу него систематическихъ наблюдений, а ограничиваются совершенно голословными заявлениями отдельныхъ лицъ изъ публики, которые будто бы наблюдали связь между физиологическими процессомъ и известными болезненными явлениями.

Цифровые данные, взятые изъ отчетовъ дѣтскихъ больницъ, не показываютъ увеличения заболѣваемости и смертности въ периодъ прорѣзыванія зубовъ (отъ 6 мѣс. до 2½ лѣтъ), а свидѣтельствуютъ о постепенномъ понижении болѣзnenости и смертности, начинная съ первого мѣсяца жизни, представляющаго *maxima*, который зависитъ отъ наименшаго сопротивленія со стороны ребенка внѣшнимъ болѣзнетворнымъ вліяніямъ. Больѣ шилдгентныхъ дѣти во время второго прорѣзыванія зубовъ, равно какъ и взрослые при «зубахъ мудрости», прекрасно объясняютъ, что не чувствуютъ никакихъ болѣзнетворныхъ явлений. Цифровые данные проф. Кассовица, добытые наблюдениями на собственныхъ дѣтяхъ, доказываютъ, что ребенокъ продолжаетъ укрѣпляться во время прорѣзыванія зубовъ, что питаніе его идетъ прекрасно, если конечно онъ не заболѣваетъ подъ вліяніемъ какой-либо причины, совершенно чуждой зубному процессу. Само собою разумѣется, что этотъ процессъ не предохраняетъ ребенка отъ гриппа, болотной лихорадки, отъ разстройствъ пищеваренія, вызванныхъ неправильнымъ кормленіемъ, отъ судорогъ, обусловленныхъ англійской болѣзнью и т. п., но само по себѣ прорѣзываніе зубовъ не вызываетъ ни одного изъ вышеизложенныхъ разстройствъ, и сила болѣзни, а также и теченіе ея нисколько неизмѣняется подъ вліяніемъ «зубовъ»: напротивъ того въ этомъ периодѣ число соответственныхъ заболѣваній меньше, чѣмъ въ первые мѣсяцы жизни, благодаря тому, что ребенокъ отчасти уже успѣхъ приспособиться къ окружающей средѣ.

Книга проф. Кассовица содержитъ подробный разборъ заболѣваній, яко бы вызываемыхъ прорѣзываніемъ зубовъ и производить прекрасное впечатлѣніе обилиемъ фактическихъ данныхъ и блестящимъ изложеніемъ предмета. Мы рекомендуемъ ее вниманию родителей, какъ руководство, изъ которого они могутъ почерпнуть не мало полезныхъ сѣдѣній, напр., о вредѣ мяса до конца третьего полугодія, обѣ опасности зараженія малолѣтнихъ дѣтей насморкомъ и т. п.

Переводъ сдѣланъ хорошимъ языкомъ, хотя мѣстами попадаются не совсѣмъ удачные выраженія. Таковы, напр., слѣдующіе: «рахитъ служитъ лучшимъ (наиболѣе частымъ?) источникомъ судорогъ» (стр. 36). «Гиппократъ приписывалъ болѣзнетворные особенности клыкамъ и вслѣдствіе этого предпочитенія, оказанного имъ (т. е. клыкамъ)

первымъ авторитетомъ (т. е. Гиппократомъ) и т. д. (стр. 45) «ясно объяснилъ» (100) «жиръ молочныхъ шариковъ — трудно (т. е. хорошо) эмульгированъ отъ природы» (166) и проч.

Б. Тедески. Пища маленькихъ дѣтей. Пер. съ штал. Кіевъ 1893, Изд. Ф. А. Іогансона.

Брошюра Тедески издана «на основаніи постановленія общества поданія помощи больнымъ дѣтямъ въ г. Кіевѣ». Выборъ общества нельзя не признать удачнымъ, потому что авторъ въ незатѣйливой формѣ знакомитъ читателей съ главными основавіями рационального кормленія въ дѣтскомъ возрастѣ. Останавливаясь на причинахъ, почему искусственное питаніе не можетъ сравняться съ кормленіемъ грудью, авторъ справедливо указываетъ не только на разницу въ качествѣ составныхъ частей женского и коровьяго молока, но и на неопрятность въ содержаніи коровъ и храненіи молока, доказательствомъ чего служитъ ученіе желудочно-кишечныхъ заболѣваній въ лѣтнее время, способствующее болѣе энергичному размноженію бактерій. Мѣра борьбы противъ этихъ двухъ золъ состоитъ очевидно въ возможно большемъ приближеніи коровьяго молока къ женскому, т. е. разбавленіи его водой и прибавкѣ точно отвѣщенного количества сахара (лучше молочного), а затѣмъ въ тщательномъ его обеззараживаніи. Понятно авторъ высказываетъ нѣсколько дѣтскихъ замѣчаній, напр., о причинахъ частой рвоты въ дѣтскомъ возрастѣ, о вредѣ муки Нестле и кашекъ для новорожденныхъ и пр.

Въ перевѣдѣ попадаются негладкости, напр., «огромная важность (?) достигнутая изученіемъ бактериологии» (стр. 20) «бѣлковинные вещества», (бѣлковый или бѣлковинный отъ слова бѣлковина стр. 33), «свѣршенная слабость» (44). На стр. 50 напечатано: «ребенокъ требуетъ ночью менѣе пищи, потому что... менѣе движений, съѣта... «да и самая потребность въ пищѣ ночью уменьшается», другимъ словами: потребность менѣе потому, что она менѣе. Въ брошюре довольно много опечатокъ.

Впрочемъ указанныя погрѣшности не мѣшаютъ признать изданіе г. Іогансона заслуживающимъ вниманія читателей.

Практическая фармакология по рецептамъ современныхъ клиницистовъ. Составилъ д-ръ мед. М. Боголюбовъ. 2 изд. Москва 1893.

Фармакология д-ра Боголюбова представляетъ изъ себѣ необходимую справочную книгу для каждого практического врача. Легко отыскавъ любое средство по алфавиту, а также по толковому указателю, приложенному къ книгѣ, врачъ найдетъ сжатую характеристику старыхъ и новыхъ лекарственныхъ средствъ и главнейшихъ формъ ихъ употребленія. Каждый изъ 1800 рецеп-

това, вошедшемъ въ книгу г. Боголюбова, строго продуманъ, и въ этомъ отношеніи его фармакологія выгодно отличается отъ массы всевозможныхъ «спутниковъ врача» «vade — mescim» и т. п. чисто коммерческихъ изданий, которыми заполоненъ въ настоящее время книжный рынокъ.

Солидный трудъ почтенаго автора можно смѣло рекомендовать вниманию врачей и студентовъ тѣмъ болѣе, что авторъ обещаетъ давать ежегодныя прибавленія, пріобрѣтатъ которыя «за ничтожную цѣну» желающіе всегда будутъ иметь возможность слѣдить за постепеннымъ развитіемъ медицинской науки и такими образомъ избѣжать ежегоднаго пріобрѣтенія все новыхъ «карманнныхъ спутниковъ», переполненныхъ новыми вѣроятностями и грубыми опечатками.

Къ настоящему 2-му изданію приложено первое прибавленіе, представляющее перечень средстъ, введенныхъ въ медицину за послѣдній годъ.

КНИГИ ДЛЯ ДѢТЕЙ.

Русскіе богатыри. Избранныя былины въ пересказѣ для дѣтей, О. Роговой. (Шмидтъ-Москвитиновъ). Изданіе А. Ф. Девреіна. Спб. 1893. Ц. 3 р. 50 к.

Относительно этой книги можно сказать и за и противъ. Что дѣтямъ нужно прочитать и знать свои родныя былины — это несомнѣнно; но что нѣтъ пользы знакомить ихъ съ ними въ изложеніи какой-нибудь или какого-нибудь литературного перекрошки — это также несомнѣнно. Г-жа Рогова пишетъ грамотно, но таланта въ ея писаніяхъ не замѣщается; однако, грамотности еще далеко недостаточно для такой отвѣтственной задачи, какъ популяризация народныхъ произведений. Да и къ чему популяризировать то, что и безъ того, само по себѣ, популярно? И, кромѣ того, какъ бы ни была талантливъ популяризаторъ, онъ никогда не достигнетъ той высокой простоты, каковою обладаютъ произведения народно-устной словесности. Итакъ, мы не скажемъ, что эта книга, составленная съ безспорною добросовѣтностью и изданная съ похвалною щадительностью, даже роскошью, — мы не скажемъ, что она плоха; но не думаемъ, чтобы она нужна была въ нашей дѣтской литературѣ, где должны быть прямо сборники былинъ (конечно, съ извѣстными сокращеніями, въ примѣненіи къ дѣтскому чтенію).

Бабушка Олена. Смерть дѣда. Два рассказа. П. И. Добротворская. Изданіе М. К. Спб. 1893. Ц. 4 к.

Две правдивыя деревенскія картины эти воспроизводятъ вѣрио и ясно жизнь захолустья, благодаря какъ наблюдательности автора, такъ и чисто пародному языку, ко-

торымъ онъ написаны. Образы деревенскихъ стариковъ (Олени и дѣда), благородныхъ, всемъ уважаемыхъ и любимыхъ, живущихъ у мѣра на покоѣ, дышать неотразимо привлекательностью и поучительностью.

Юношескіе годы Пушкина. Біографическая повѣсть. В. П. Авенариуса. Издание 2-ое. Спб. 1893. Ц. 1 р. 75 к.

Недавно вышла новымъ изданіемъ эта извѣстная и во всѣхъ отображеніяхъ образцовая книга, которая, вмѣстѣ съ другою повѣстью того же г. Авенариуса («Отроческие годы Пушкина»), охватываетъ всю до-школьную и лицейскую жизнь нашего великаго поэта. Рѣдкая книга читается у насъ съ такимъ удовольствиемъ, какъ эти двѣ повѣсти г. Авенариуса. Причина, во-первыхъ, въ ихъ содержаніи, представляющемся высокимъ интересомъ самою личностью Пушкина и его сверстниковъ, во-вторыхъ — въ изложении, легкомъ, живомъ, бойкомъ. Автору удалось держаться на исторической почвѣ, не смотря на то, что онъ придалъ своему произведению форму беллетристической повѣсти, съ неизбѣжнымъ въ каждой такой повѣсти вымысломъ, въ смыслѣ существовавшихъ на самомъ дѣлѣ сценъ и разговоровъ, которые онъ, однако, съумѣлъ придумать и поставить въ повѣсти соотвѣтственно съ возможной дѣйствительностью. Очевидно, литературная эпоха и лицейская среда изучены г. Авенариусомъ глубоко, и авторъ проникся духомъ того времени, которое онъ избралъ для повѣствованія.

Нельзя не отмѣтить и того, что въ помѣщаемомъ изданіи книга эта является значительно удешевленною.

Слѣпая Роза. Матушка Іовъ. Две повѣсти. Г. Констанса. Переводъ съ голландского О. Петерсонъ. Издание М. М. Лердерле и К°. Спб. 1893. Ц. 40 к.

Хоть и не предназначенные издателями нарочито для юношескаго чтенія, эти двѣ повѣсти какъ-разъ именно для юношества то и подходятъ своею бодрою, свѣтлою идеей борьбы со всѣкими житейскими перегодами и бѣдами. Въ обѣихъ повѣстяхъ представлены милые образы людей, въ которыхъ добродушіе, терпѣніе, отсутствіе унынія, свѣтлый взглядъ на жизнь, какъ бы ни мрачна она была, — доходить до идеальной высоты, и этою-то именно высотою эти произведения и воспитательны: такое чтеніе производить въ юношахъ подъемъ духа, проливаетъ бодрость имъ въ сердца, подвигасть на добрыя дѣла, облагораживать, помогасть имъ любить жизнь, приближаетъ ихъ къ пѣсчанымъ и углѣеннымъ, — словомъ, представляетъ собою истинно-правственное чтеніе.

ПИСЬМА ИЗЪ АМЕРИКИ.

XLVI. Международная выставка въ Санъ-Франциско.

15/27-го января, при обычныхъ въ такихъ случаяхъ процессіяхъ и спичахъ, открылась въ Санъ-Франциско зимняя международная выставка, запоздавшая болѣе чѣмъ на три недѣли. Ко всеобщему удивленію, выставка эта оказалась совсѣмъ не тѣмъ, что предполагалось здѣшними жителями, которые заранѣе рѣшили, что это будетъ иначе, какъ реставрированные остатки Колумбийской выставки, перенесенные на зимній сезонъ въ Калифорнію. Но вѣдь американцы восточныхъ штатовъ, въ сущности, нелучше знакомы съ условіями жизни на далекомъ западѣ, чѣмъ европейцы: даже о Чикаго, находящемся въ какихъ-нибудь суткахъ ёзды отъ Нью-Йорка, они имѣютъ самыя превратныя понятія; а о Калифорніи и говорить нечего. Послѣ долгаго периода недовѣрія къ затѣѣ Чикаго по устройству всемирной выставки, нью-йоркцы, на-ряду съ иностранцами, были сильно удивлены великолѣпiemъ и громадностью Колумбийской выставки; то же готово повториться и теперь: публика рѣшительно захвачена врасплохъ извѣстіями о томъ, что устроили у себя калифорнійцы въ такой невѣроятно короткій срокъ. Вѣдь первая мысль об устройствѣ этой послѣдней выставки пришла всего въ іюнѣ мѣсяца; 10-го же июля въ Санъ-Франциско было уже рѣшено отвести подъ выставку самую живописную по мѣстоположенію часть *Golden Gate Park*. 24-го августа, въ присутствії слишкомъ 100,000 человѣкъ публики, заложено было основаніе выставки, и вотъ, пять мѣсяцевъ спустя, она уже открыта!...

Такая быстрота устройства выставки не представляла бы ничего особыенно замѣчательного, если бы выставка въ «Паркѣ Золотыхъ Воротъ» дѣйствительно ограничивалась подогрѣтыми экспонатами выставки Колумбийской; но на самомъ дѣлѣ эта новая выставка, конечно уступающая по величинѣ только что закрывшейся выставкѣ въ Чикаго, является вполнѣ оригиналльной. Правда, что большинство ея экспонатовъ перевезено изъ Джаксонъ Парка, но, въ видахъ далекой перевозки черезъ весь континентъ, въ Санъ-Франциско высланы лишь самые отборные; такимъ образомъ въ Санъ-Франциско въ значительной мѣрѣ устраниено самое

серъезное неудобство, подавлявшее усердныхъ посѣтителей выставки въ Чикаго, гдѣ не-специалисту приходилось рѣшительно теряться въ совершенной пучинѣ экспонатовъ, среди которыхъ, лишь цѣною большого труда и неимовѣрной затраты времени, удавалось отдѣлять дѣйствительно интересныя вещи отъ массы всякаго хлама.

Изъ этого, однако же, не слѣдуетъ, что выставка въ Санъ-Франциско мала размѣрами: не будь она открыта сейчасъ же вслѣдъ за блестящей выставкой въ Чикаго, она привлекла бы всеобщее вниманіе.

Начать хотя бы съ того, что выставка эта вполнѣ заслуживаетъ названія выставки международной: въ ней принимаютъ участіе экспоненты тридцати восьми различныхъ странъ и даже такія небольшія, какъ Сербія и Черногорія. Италія и Франція очень старательно обставили свои отдѣлы: французы перевезли сюда весь свой великолѣпный северскій отдѣль, а итальянцы все, что только было возможно доставить изъ Чикаго, гдѣ ихъ отдѣль былъ весьма полонъ и хорошъ. Японцы перевезли въ Санъ-Франциско всѣ свои экспонаты, благо имъ это было по пути домой; бѣднѣе всего отдѣлы русскій и нѣмецкій. Сюда перѣвезли даже и турецкій, и персидскій театры; и эскимосы, и дагомейцы, и разныя другія народности, привлекавшія такую долю вниманія въ Чикаго, также перѣѣхали въ Санъ-Франциско. Не мѣшаетъ, впрочемъ, отмѣтить то обстоятельство, что калифорнійцы не дозволили давать на своей выставкѣ пресловутый *Danse du Ventre* который исполнялся въ Джаксонъ Паркѣ раскрашенными парижанками самаго низшаго разбора; этотъ танецъ былъ также запрещенъ и въ Нью-Йоркѣ когда его захотѣли было преподнести здѣшней публикѣ мѣсяца полтора тому назадъ: изъ этого у насъ выводятъ то утѣшительное заключеніе, что Нью-Йоркъ и Санъ-Франциско куда какъ нравственнѣе Чикаго, хотя циники утверждаютъ, что этотъ танецъ запрещается здѣсь только потому, что онъ привлекалъ бы слишкомъ большія толпы.

Мы не станемъ, конечно, останавливаться здѣсь надъ перечисленіемъ разнообразныхъ приманокъ, устроенныхъ при калифорнійской выставкѣ на *Midway Plaisance*. Нельзя, однако же, не упомянуть объ одномъ дѣйствительно замѣчательномъ и вполнѣ уже оригинальномъ зрѣллищѣ, устроеномъ въ этомъ самомъ отдѣльѣ и надъ которымъ калифорнійцы съ любовью проработали довольно долгое время: это изображеніе лагеря рудокоповъ, въ томъ самомъ видѣ и при той самой обстановкѣ, при которой онъ былъ при первомъ проявленіи извѣстной золотопромышленной горячкѣ, которая охватила Америку въ 1849 году, по открытіи золота въ Калифорніи. Сходство съ дѣйствительностью въ воспроизведеніи здѣсь этого пресловутаго фазиса развитія американской цивилизациіи не оставляетъ желать ничего лучшаго: здѣсь устроены первобытныя хижини, на подобіе тѣхъ, въ которыхъ въ ту пору жили нахлынувшіе со всѣхъ сторонъ въ Калифорнію искатели приключеній; цѣликомъ перенесены уцѣлѣвшія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ избушки, въ которыхъ въ ту, не слишкомъ уже отдаленную эпоху, жили пользующіеся теперъ международною извѣстностью

американские миллионы Мэки (John Mackay, вотчимъ принцессы Колонии) и экс-сенаторъ Фэръ (Fair), незадолго до того времени прибывшie сюда изъ родной Ирландии и, за время золотопромышленной горячкы 49 года положившie прочное основание теперешнему своему богатству. Въ этомъ лагерѣ показываются примитивные, въ ту пору употреблявшieся, способы промылок золота, воспроизведены тогдашніе танцклассы или, вѣрнѣе сказать, вертепы, въ которыхъ велась азартная игра въ излюбленный рудокопами «фэр», на которомъ многіе изъ нихъ просаживали всѣ свои заработки; тутъ же можно видѣть вѣрное изображеніе державшагося тамъ въ ту пору во всей силѣ «Суда Линча», дается даже представление такъ называемой hemp necktie party — собранія, на которомъ кому-нибудь «вадѣвался конопляный галстукъ», т. е. когда по-просту кого-нибудь вѣшли.

Не менѣе интересно устроенное въ Паркѣ Золотыхъ Воротъ точное воспроизведеніе рудокопнаго лагеря въ уменьшенномъ, конечно, размѣрѣ, въ которомъ добывается кварцъ; онъ воспроизведенъ со всѣми подземными проходами, по которымъ посѣтители могутъ проходить, машинами, насосами и проч. Какъ здѣсь, такъ и въ лагерѣ 49 года, изображены въ возможно большей полнотѣ какъ старинные, такъ и новѣйшіе методы мнннаго дѣла — отрасли, которой Калифорнія главнымъ образомъ обязана раннимъ своимъ развитиемъ. Эти отдѣлы выставки Санъ-Франциско представляютъ большую прелесть для всѣхъ почитателей Бретъ-Гарта — неподражаемаго барда этой своеобразной эпохи развитія американского «Далекаго Запада».

Къ чести калифорнійцевъ слѣдуетъ замѣтить, что, судя по тому, что представляетъ собою только что открывшаяся у нихъ выставка, у нихъ почти совсѣмъ отсутствуетъ слѣпая подражательность, и въ этомъ отношеніи они представляютъ довольно рѣдкое исключеніе: даже въ стилѣ построекъ выставка ихъ рѣзко отличается отъ Колумбійской, на которой преобладали стили итальянскій и греческій, тогда какъ въ Санъ-Франциско, въ силу тяготѣнія къ историческому прошлому края, принадлежавшаго когда-то Испаніи, зданія являются калифорнійскимъ відопизѣніемъ стариннаго испанскаго стиля, т. е. отчасти мавританскимъ, а зданіе изящныхъ искусствъ отстроено въ чисто египетскомъ стилѣ. Въ общей сложности на выставкѣ преобладаютъ архитектурные стили дальн资料го востока: помимо зданій въ стилѣ египетскомъ, здѣсь фигурируютъ также зданія въ арабскомъ, турецкомъ, индійскомъ, сіамскомъ вкусѣ — хотя и не всегда выдержанномъ. Изъ сочетанія этихъ различныхъ восточныхъ стилей, яркость красокъ получается поразительная и чрезвычайно эффектная подъ яркимъ небомъ Калифорніи, где теперь царитъ совершенная весна. Яркая зелень полутропической растительности, при множествѣ пальмъ, на фонѣ которой выступаютъ эти яркой окраски зданія съ ихъ причудливыми очертаніями, придаетъ имъ такой исключительный, своеобразный характеръ, что пестрота ихъ совсѣмъ уже не

рѣжеть глаза, а содѣствуетъ лишь общему впечатлѣнію исключительной оригинальности, печать которой несомнѣнно лежитъ на всей этой выставкѣ. Быть можетъ, не будь эти самыя зданія поставлены въ столь чарующую рамку роскошной растительности, раскинувшейся по берегу океана, въ мѣстности, примыкающей къ прелестному озеру, съ выступающею изъ самой его середины горою, такъ удачно нарушающей нѣсколько плоскій характеръ окрестности, они казались бы, пожалуй, вычурными, чтобы не сказать претенціозными; но, какъ уже сказано, чудная обстановка искупааетъ самый рискованный полетъ архитектурной фантазіи, и посѣтитель, при первомъ же вступленіи на выставку, всецѣло окунается въ какую-то необычайную для него сказочную атмосферу, что разомъ лишается способности критической оцѣнки.

По-истинѣ диву даешься при мысли о томъ, что еще какихъ-нибудь пять мѣсяцевъ тому назадъ на этомъ самомъ пространствѣ росъ одинъ лишь дикий кустарникъ, да тощія деревья экалиптуса. Теперь по террасамъ, живописно спускающимся къ такъ называемому Court of Honor, разстилаются роскошнѣйшіе ковры цвѣтовъ самыхъ яркихъ красокъ и причудливыхъ формъ, такъ легко принимающихся подъ яркимъ небомъ полутропической Калифорніи: цвѣты тутъ вются по изгородямъ, спускаются по уступамъ къ самому озеру, образуютъ замысловатые узоры въ разбросанныхъ по всему парку клумбахъ. Когда же глаза, наконецъ, отрываются отъ этой декорациіи, среди которой установлена выставка, и переносятся на самые экспонаты, укрывающіеся въ зданіяхъ, то тутъ прежде всего открывается другая область культуры, а именно, широко поставленное садоводство. Впрочемъ, самыи замѣчательныи экспонатомъ отъ самой Калифорніи—по мнѣнію опытныхъ экспертовъ—является отдѣльный минный. За этимъ главнымъ экспонатомъ Калифорніи непосредственно слѣдуетъ выставка мѣстнаго садоводства и овцеводства, главныхъ предметовъ мѣстной культуры, которые за послѣднее десятилѣтіе достигли удивительной степени развитія. До сихъ поръ Калифорнія привлекала на себя вниманіе главнымъ образомъ своими золотыми пріисками, но теперь сами жители этого штата начинаютъ сознавать тотъ фактъ, что настоящее его «золотое дно» кроется не въ золотыхъ пріискахъ, а въ плодородной почвѣ, которая, при разумно поставленной и удешевленной системѣ орошенія, при чрезвычайно къ тому благопріятномъ климатѣ, даетъ въ области садоводства баснословную выгоду при умѣломъ ведѣніи дѣла.

Весьма внушительны также размѣры и численность экспонатовъ мѣстнаго винодѣлія: тутъ, на глазахъ зрителей, въ скоромъ времени будетъ совершаться весь процессъ издѣлія вина, начиная съ прессированія винограда и кончая разливкой готоваго вина по бутылкамъ. Среди американцевъ спросъ на вина весьма малъ, такъ какъ не только у нихъ не въ обычай пить вина за столомъ, но, исключая семей, живавшихъ по долгу въ Европѣ, не принято даже подавать вина и приглашеннымъ

гостямъ, иначе какъ на самыхъ парадныхъ званныхъ обѣдахъ. Конечно, въ Калифорніи потребление столовыхъ винъ болѣе распространено, но опять-таки не всеобще, такъ какъ, равно какъ и въ другихъ мѣстностяхъ запада, почти всѣ безъ исключенія передовыя и наиболѣе энергичные мѣстные дѣятели и богачи являются переселенцами съ американского востока и отличаются строгимъ консерватизмомъ въ своихъ привычкахъ. Много калифорнійского вина продается здѣсь подъ видомъ испанского и французского, такъ какъ американцы, не знающіе въ винѣ толка, но ненавидящіе экономію въ угощеніи, всегда требуютъ вина заграничного; вывозится также не мало вина изъ Калифорніи и изъ Огайо въ Европу, где оно идетъ на подправку мѣстныхъ винъ, предназначающихся на вывозъ — пожалуй опять-таки сюда же.

Изъ сказаннаго, надѣемся, уясняются причины, побудившія калифорнійцевъ не скупиться на затраты по устройству у себя выставки, въ полной увѣренности, что затраты эти будутъ имъ возвращены сторицею въ близкомъ будущемъ. Значительную, конечно, роль въ развитіи этого предприятия игралъ и патріотизмъ, весьма сильно развитый въ жителяхъ побережья Тихаго океана: не только западные штаты, но даже и многія отдельныя граffества самой Калифорніи отстроили на выставкѣ свои отдельныя зданія, нарядныя и оригинальныя.

Почти что всѣ экспонаты уже на мѣстахъ и, на сколько можно судить, наибольшее вниманіе привлекается богатыми экспонатами главныхъ отраслей естественнаго производства края: замѣчательно крупными и сочными калифорніскими фруктами, которые, какъ и американскія ягоды, однако, по аромату уступаютъ европейскимъ, и обширнѣшими и чрезвычайно полными экспонатами рыбнаго промысла по побережью Тихаго океана. Въ зданій публика преимущественно стекается на живописные мости, которые переброшены арками съ береговъ озера на гору, возвышающуюся на срединѣ его; желѣзная башня, граціозно извивающаяся на высотѣ 272 футовъ посрединѣ параднаго плаца между главными корпусами выставки, также не мало привлекаетъ зрителей. Башня эта вечерами вся переливается разноцвѣтными электрическими свѣтовыми эффектами, сигнальными знаками, подаваемыми при помощи мощныхъ рефлекторовъ, и т. п. Администрація выставки, помимо другихъ приманокъ для публики, рѣшила послѣдовать примѣру выставки Чикаго и назначить праздничные дни для каждого города или отдельныхъ національностей. Въ марте мѣсяцѣ будетъ тамъ — и «русскій день» въ честь довольно многочисленнаго мѣстнаго русскаго населенія: на этотъ день приглашенъ на выставку русскій хоръ изъ Нью-Йорка.

Выставка Санть-Франциско открыта по всѣмъ днамъ недѣли: до сихъ поръ не было никакихъ признаковъ агитации относительно принудительнаго закрытія выставки по воскреснымъ днамъ.

По части численности посѣтителей дѣла выставки также очень удовлетворительны, въ день ея открытія ее посѣтило 72,248 человѣкъ (изъ

которыхъ свыше 60,000 чел. внесли входную плату въ полдоллара каждый) и за всѣ первые дни численность публики на выставкѣ держалась приблизительно въ тѣхъ же размѣрахъ. Такой результатъ на первыхъ порахъ крайне удовлетворителенъ, даже и по сравненію съ первоначальнымъ числомъ посѣтителей выставки Чикаго, размѣры которой такъ много превышали размѣры выставки въ Санть-Франциско.

В. Макъ-Гаханъ.

ПИСЬМА ИЗЪ ЛОНДОНА.

Лондонская еженедѣльная и ежемѣсячная печать.

I. Нѣсколько параллелей.

«Никто не обниметъ необъятнаго» — пришло мнѣ въ голову, когда я приступилъ къ настоящей статьѣ. Въ то время какъ ежедневная печать въ каждой странѣ имѣеть свою опредѣленную физіономію, свой характеръ, — ежемѣсячная и еженедѣльная представляютъ безконечное разнообразіе всюду и вездѣ. Передо мною раскинулось безконечное море періодического печатнаго слова. Издание въ осьмушку, маленькая, никому неизвѣстная; изданія in folio, крупныя, рекламистныя; изданія безъ иллюстрацій, съ иллюстраціями, для дѣтей, взрослыхъ, мужчинъ, женщинъ; критическая, литературная, театральная, моды, религіозныя, философскія, спортивскія, промышленныя и т. д. и т. д. Издание цѣнной въ пенсъ, въ два, въ три, въ четыре и т. д. до полукроны включительно. Издание въ желтыхъ, синихъ, красныхъ, голубыхъ, радужныхъ и другихъ цвѣтовъ обложкахъ; изданія безъ обложекъ; изданія серьезныя и «комическія». И т. д. и т. д. Словомъ, не счѣсть ихъ всѣхъ, словно песокъ на берегу морскомъ. Однако, и въ этомъ безбрежномъ морѣ можно открыть опредѣленныя течения, извѣстную окраску, особыя черточки. Не знаю, бросились ли бы послѣднія въ глаза американцу, французу, нѣмцу. Я недостаточно знакомъ съ французской, нѣмецкой или съверо-американской печатью. Быть можетъ, послѣдняя очень походитъ на англійскую и отличить ихъ другъ отъ друга трудно. Но русскому разница между своей, родной, печатью и англійской сразу дѣлается ясной. Мало походить англійская ежедневная газета на русскую, очень мало напоминаютъ собою другъ друга русскій и англійскій еженедѣльники; но совсѣмъ не похожъ ежемѣсячный англійскій журналъ на русскій. Замѣчательно, что въ Россіи ежемѣсячное изданіе сохранило за собою название «journal», а англійское — «magazine».

Конечно, — это звукъ пустой, а все-таки въ данномъ случаѣ оно очень характерно. Въ Россіи «журналъ» еще въ нѣкоторомъ родѣ лѣтопись, «дневникъ». Въ каждомъ изъ русскихъ журналовъ или почти въ каждомъ имѣются иностранное и внутреннее обозрѣнія и постоянный критический отдѣлъ, отмѣчающій литературныя события дня. Въ русской журнальной книжкѣ, какая бы она ни была по своему литературному достоинству, обязательно отмѣчаются события дня, какъ, напр., юбилейные торжества, законодательные акты, провинциальные казусы, административныя распоряженія и т. под. Правда, центръ тяжесть перемѣщенъ изъ событий дня въ литературную часть. Не красна теперь книжка своей внутренней или иностранной лѣтописью, а цѣнится она по своимъ повѣстямъ, критическимъ и инымъ статьямъ литературного характера. Попробуйте, однако, отнять у читателя эту лѣтопись — и онъ взбунтуется. Ничего подобного нѣтъ въ Англіи. Книжка тутъ — «магазинъ», настоящій литературный складъ, гдѣ статьи подбираются по сезону, и въ этомъ смыслѣ, если хотите, англійскій журналъ въ нѣкоторомъ родѣ и лѣтопись, но это лѣтопись любого магазина. Стоить только остановиться у окна магазина, особенно дамскихъ нарядовъ, чтобы узнать сезонъ. Если въ окнѣ выставлены тяжелыя пальто, если шляпки темнаго цвѣта, а зонтики болѣе круинныхъ размѣровъ, если, наконецъ, галоши красуются — или лучше чернѣютъ рядомъ съ непромокаемыми ватерпруфами, то вы смѣло можете сказать, что на дворѣ осень, и пожалуй, дождливая. Но все-таки, кончилась ли каменноугольная или иная стачка, воюютъ ли французы съ дагомейцами и англичане съ софами, прошелъ ли такой-то билль, какой романъ написанъ талантливѣе другихъ и др. — этого изъ магазинной выставки не узнаете. Тутъ будуть статьи и о софахъ, и о дагомейцахъ, и о каменноугольномъ кризисѣ. Вамъ покажутъ товаръ лицомъ и на пизанку; вамъ расскажутъ всю родословную короля дикихъ «соффъ» и дадутъ обстоятельный отчетъ объ Ирландіи, но «события дня», совершающагося общественнаго факта не ищите въ «складѣ». Это дѣло газеты; она торгууетъ въ разносъ и раздробь. «Магазинъ» же торгуетъ оптомъ.

«Магазины» же, торгующіе не по сезону, вамъ не дадутъ даже и тѣхъ намековъ на текущую кругомъ вѣсну общественную жизнь, какие вы узнаете изъ первыхъ. Они представляютъ собою просто литературные сборники, не имѣющіе рѣшительно никакого значенія, какъ «органы» печати.

Эта коренная разница между англійскимъ ежемѣсячникомъ и русскимъ влечетъ за собою цѣлый рядъ другихъ различій. Тонъ журнала, содержаніе его статей, характеръ редакціи, способъ вознагражденія сотрудниковъ — все это зависитъ уже отъ этой главной разницы. Къ этому слѣдуетъ имѣть въ виду, что русская ежемѣсячная книжка не только отмѣчаетъ события, но и толкуетъ ихъ. Это значитъ, что она сочувствуетъ или осуждаетъ, ликуетъ или печалится, бранится или смеется. А такъ какъ все это зависитъ отъ характера издателя или редактора, отъ его направленія

и взглядовъ, отъ его политического и умственного воспитанія, то и книжка въ Россіи получаетъ извѣстную духовную фізіономію. Она бываетъ съ «направлениемъ». И вы, конечно, можете сказать напередъ, какая статья въ нее можетъ попасть и какая — нѣтъ, хотя бы послѣдняя и имѣла за собою всѣ литературные достоинства не хуже первой. Разъ журналъ слѣдуетъ опредѣленному направлению, то въ немъ работаютъ люди и съ соотвѣтственнымъ образомъ мыслей. Если, положимъ, *A* стоять за розги, а *B* за школы, то *A* пойдетъ направо, а *B* — налево и наврядъ ли они когда-либо встрѣтятся въ одной и той же книжкѣ журнала. Такимъ образомъ вырабатывается извѣстный постоянный составъ сотрудниковъ; возникаетъ извѣстная солидарность между редакторомъ и сотрудникомъ; создается «редакція», подъ которой подразумѣвается извѣстный кружокъ однomyслящихъ и совмѣстно-работающихъ писателей. Достаточно сказать «редакція такого-то журнала» — и въ умѣ вашемъ возстаетъ извѣстное литературное или политическое направление. Лондонская же ежемѣсячная книжка ничего этого не знаетъ. Редакція «Nineteenth Century», напр., это значитъ просто: «57, Ludgate Hill», адресъ ея — и больше ничего. Тутъ нѣтъ направлениія, нѣтъ ни сочувствія, ни осужденія, нѣтъ постоянныхъ сотрудниковъ и нѣтъ никакой связи между послѣдними и редакторомъ. Тутъ нѣтъ даже и литературы въ строгомъ смыслѣ слова. Это просто магазинъ, складъ. Осеню здѣсь преподносятъ галоши, зимою теплые фуфайки, а лѣтомъ — свѣтлые галстуки. Пріобрѣтаются магазинами фуфайки у фабрикантовъ (а не литераторовъ) и платить за нихъ «по сезону». Наступаетъ, напр., сезонъ гомруля, публика начинаетъ требовать товара по этой части, и «article» (по русски: товаръ, статья) заказывается настоящему мануфактуристу по части ирландскаго гомруля: Михаилу Дэвитту, Чемберлэнду и др. Въ Россіи голодъ — и articleы фабрикуютъ «специалисты» по русскимъ дѣламъ. Анархисты взбодораживаютъ свѣтъ покушеніями — и товаръ доставляется бывшими революціонерами. Въ южной или центральной Африкѣ бѣлые побили черныхъ или черные сѣди бѣлыхъ — и article обѣ Африкѣ заказывается бывшимъ тамъ офицерамъ, купцамъ или миссіонерамъ. Словомъ, литература тутъ не при чемъ. Редакція или лучше — редакторъ не заботится особенно ни о красотѣ стиля, ни обѣ оригинальности мысли, ни о блескѣ *литературного* имени. Ему нужны специалисты, которыхъ, въ случаѣ нужды, онъ готовъ озолотить, но отъ которыхъ онъ и даромъ не возьметъ статьи не по сезону. Конечно, во всякомъ большомъ складѣ найдется товаръ и не совсѣмъ сезонный. Кое-что залежалось, кое-что пріобрѣтено случайно, кое-что досталось очень дешево и можетъ найти покупателя. Вотъ почему, рядомъ со статьей о животрепещущемъ вопросѣ, попадается и какое-нибудь стихотвореніе, и какая-нибудь статья о «философіи преступленій», обѣ исчезнувшей звѣздѣ и т. под. Но эти статьи составляютъ уже балластъ, и не онъ, конечно, характеризуютъ англійскую ежемѣсячную книжку.

Не похожа она на русскую и по своему объему. Въ то время какъ

послѣдняя напоминаетъ собою въ нѣкоторомъ родѣ дородность русской куничихи, первая—настоящая тщедушная англійская миссъ. Средній форматъ—сто-двѣсти страницъ, что составляетъ приблизительно лишь одну треть русской книжки. Но сказанное мною здѣсь относится лишь къ такимъ политическимъ журналамъ, какъ «Nineteenth Century», «Contemporay Review» и «Fortnightly Review». Какъ они не развятся отъ русскихъ своихъ собратовъ, они все-таки хоть чѣмъ-нибудь да напоминаютъ послѣднихъ, хотя бы уже тѣмъ, что не иллюстрированы и стараются дать серьезно-научныя и публицистическія статьи. За ними же идеть цѣлый рядъ «магазиновъ» съ не-сезоннымъ товаромъ, имѣющихъ лишь то общее съ русскими журналами, что также выходятъ разъ въ мѣсяцъ. Къ нимъ слѣдуетъ относить «Strand», «Idler», «Review of Reviews» и множество другихъ.

Еженедѣльная лондонская печать, какъ я уже выше замѣтилъ, больше, чѣмъ ежемѣсячная, походитъ на русскую. За исключеніемъ нѣкоторыхъ классовъ изданій, англійскій еженедѣльникъ въ сущности является прототипомъ русскаго. Особенно это слѣдуетъ сказать объ иллюстрированныхъ изданіяхъ, которыя, какъ въ Лондонѣ, такъ и Петербургѣ, по существу почти одинаковы. Вся разница въ отдѣлкѣ, во внѣшности, въ цѣнѣ, въ размѣрахъ обращенія и въ способѣ привлечения читателей. Однако, оставимъ поле сравненія и перейдемъ къ непосредственному описанію еженедѣльной и ежемѣсячной лондонской печати, къ ея финансовой и литературной сторонамъ.

II. Финансы.

Первое впечатлѣніе, которое эта печать производить на человѣка, начинаящаго знакомиться съ ея финансовой стороной, это—царство фирмы. Одинъ и тотъ же издаватель имѣть по нѣсколько разныхъ изданій еженедѣльныхъ и ежемѣсячныхъ. Напримѣръ, Ингрэмъ принадлежать: еженедѣльные «London Illustrated News», «Penny Ill. Paper», и ежемѣсячные «Sketch» и «English Illustrated Magazine». Ньюсъ издается «Strand», «Tit-Bits», «Westminster Gazette», «Westminster Budget», «Million» и др. Асторъ издаетъ «Pall Mall Gazette», «P. M. Budget», «P. M. Magazine» и др. Фирма Касселя имѣть: «The Quiver», «Cassell's Family Magazine» «The Magazine of Art», «Little Folks», «Cassel's Saturday Journal» и «Work». Такого рода собственниковъ, которымъ принадлежать отъ 2 до 6 изданій, здѣсь очень много. Объясняется это тѣмъ, конечно, что при изданіи нѣсколькихъ журналовъ каждый изъ нихъ обходится въ отдѣльности дешевле, меныше риска, неудача не такъ страшна и распространеніе легче. Предпринять же самостоятельное периодическое изданіе въ послѣднее время требуетъ громадныхъ средствъ. Годовой подпіски на журналы, особенно еженедѣльные, почти не существуетъ; весь издавательскій разсчетъ основывается на нумерной продажѣ и на объявленіяхъ. Но

чтобы получать много и постоянныхъ объявленій, нужно раньше приобрѣсть громадный кругъ читателей. Приобрѣтается же онъ дешевизной піданія, хорошимъ и интереснымъ содержаніемъ, громадными расходами на объявленія и выдаче наградъ за рѣшеніе конкурсныхъ задачъ, безъ которыхъ не обходится почти ни одинъ распространенный еженедѣльникъ. Дешевизна піданія доведена уже до крайнихъ предѣловъ. Пенсъ становится мало-по-малу цѣнной общей для всѣхъ еженедѣльниковъ. Лишь нѣкоторые изъ нихъ продаются по два, по три пенса и дороже. Но всѣ они даютъ столько материала, что расходы свои они могутъ покрывать лишь при продажѣ многихъ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду и то, что известный процентъ, и довольно крупный, отъ 10 до 40, идетъ въ пользу газетнаго торговца, доставляющаго вамъ піданіе на домъ или продающаго его за своимъ прилавкомъ. Для того, напр., чтобы «Tit-Bits», стоящій пенсъ, покрывалъ свои расходы, онъ долженъ распространяться минимумъ въ 150,000 экземпляровъ. Ежемѣсячный «Strand», дающій до 150 страницъ текста и до двухъ сотъ рисунковъ, стоитъ номинально всего шесть пенсовъ, но продается, какъ и «Idler» и многія др. шестипенсовыя піданія, на самомъ дѣлѣ лишь за $4\frac{1}{2}$ пенса, изъ которыхъ самому издателю достается лишь около трехъ пенсовъ. При такихъ условіяхъ «Strand» можетъ существовать лишь при его замѣтальномъ успѣхѣ, расходуясь въ количествѣ свыше трехсотъ тысячъ нумеровъ.

Всего пять журналовъ продаются по цѣнѣ въ полкроны (около 1 р. 25 к.) за нумеръ. Это «Nineteenth Century», «Fortnightly», «Contemporary», «National» и «Westminster Review». И эти журналы имѣютъ сравнительно ничтожное распространение. Самый распространенный изъ нихъ «Nineteenth Century», расходится въ 12,000 слишкомъ экземпляровъ.

Расходы на распространение піданія составляютъ главную статью издательскихъ расходовъ. Нѣкоторыя еженедѣльные газеты тратятъ по 1000 рублей въ недѣлю на объявленія, которыя не только печатаются въ газетахъ, но и пестрѣютъ вдоль желѣзныхъ дорогъ, на вокзалахъ и пристаняхъ, на крышахъ омнибусовъ и спичечныхъ коробкахъ. Масса нумеровъ въ первые дни появленія газеты раздается даромъ, какъ газетнымъ торговцамъ такъ и публикѣ. Первый нумеръ, напр., еженедѣльника «Pearson's Weekly», начавшаго выходить года три тому назадъ, былъ напечатанъ въ количествѣ 250,000 экземпляровъ. Изъ нихъ было продано (по пенсу) до пятидесяти тысячъ, а остальные разданы даромъ въ провинціи и Лондонѣ. Въ настоящее время этотъ журналъ расходится въ числѣ около 400,000 нумеровъ. Кроме привлечения читателей объявленіями и раздаче даровыхъ нумеровъ, при первомъ своемъ появлѣніи, многія піданія ловятъ еще читателя своими конкурсами и страхованиеми. Основателемъ этой системы заманивания читателя является «Tit-Bits».

Собственно говоря, маленькая награды за разгадываніе аркостиховъ, шарадъ и др. несложныхъ загадокъ выдавались и раньше, но дальше

этого никто не шелъ. «Tit-Bits» же сразу придалъ этой системѣ такие размѣры и такое разнообразіе, что въ настоящее время, какъ бы ни была хороша еженедѣльная газета, она не можетъ добиться большого распространенія, не прибѣгая къ конкурсамъ. Почти всѣ конкурсы «Tit-Bits'a» составляются такъ, что для рѣшенія задачи необходимо текстъ газеты. Иные задачи должны быть рѣшены въ теченіе недѣли, иные — въ теченіе мѣсяца, а нѣкоторыя и въ болѣе продолжительные сроки. Заданія бываютъ чрезвычайно разнообразнаго характера. Къ конкурсамъ привлекаются и дѣти и взрослые, и мужчины и женщины, и умные и глупые, словомъ, всякий, въ карманѣ котораго можетъ оказаться свободный пенсъ для покупки газеты. Вотъ, напр., требуется составить новую фразу изъ буквъ любой строки въ данномъ нумерѣ, но такъ, чтобы смыслъ новой фразы совершенно противорѣчилъ смыслу первой, напечатанной. Мудрому Эдипу, приславшему самое лучшее рѣшеніе, обѣщается гинея. Вотъ предлагаются двѣ гинеи за составленіе связной статейки изъ заглавій статей, напечатанныхъ въ одномъ изъ нумеровъ «Tit-Bits'a». Выдается тысяча рублей тому или той, кто присыпетъ фотографическую карточку съ наиболѣе художественно убраннымъ окномъ въ магазинѣ дамскихъ нарядовъ. Задачи иногда бываютъ очень остроумныя, но почти никогда не превышаютъ среднихъ способностей читателя, и потому — мудрые эдипы, у которыхъ больше свободного времени, чѣмъ свободныхъ денегъ, бросаются десятками тысячъ на этотъ журналецъ и подобныя ему изданія. Первая крупная награда, объявленная «Tit-Bits'омъ, состояла изъ «виллы» о семи комнатахъ. Редакція объявила, что приславший ей лучшій разсказъ, размѣромъ не больше трехъ тысячъ словъ, получить домъ о семи комнатахъ въ томъ городѣ, въ какомъ самъ выигравшій пожелаетъ. При этомъ выборъ ограничивался лишь тѣмъ, что городъ долженъ быть имѣть населеніе не менѣе двухъ сотъ тысячъ душъ, и ставилось также непремѣннымъ условіемъ, чтобы домъ потомъ назывался «Tit-Bits Villa». Отъ участниковъ въ конкурсѣ не требовалось даже, чтобы присланные разсказы принадлежали ихъ перу. Достаточно было указать на хороший разсказъ, напечатанный, впрочемъ, не далѣе какъ за 12 мѣсяцевъ до конкурснаго срока. Разсказъ могъ быть и не оригинальный, а переводъ съ какого-нибудь иностраннаго языка. Награду выигралъ рядовой 8-го кавалерійскаго полка, нѣкто Меллишъ, приславшій разсказъ изъ изданій въ томъ году сочиненій Макса Эделера. Домъ особнячекъ былъ найденъ въ Дульвичѣ, недалеко отъ Лондона, въ трехъ минутахъ разстоянія отъ желѣзно-дорожной станціи, и стоилъ пятьсотъ фунтовъ стерл. И такъ какъ рядовой Меллишъ не могъ сейчасъ же воспользоваться домомъ, а впереди предстояла рискъ платить ренту и не имѣть жильцовъ, то редакція гарантировала, сверхъ всего, еще всѣ расходы по дому на пять лѣтъ впередъ. Слѣдующій конкурсъ былъ не менѣе замѣчательенъ. Онъ былъ предложенъ той же редакціей съ обѣщаніемъ предоставить у себя, въ редакціи, постоянное мѣсто приславшему наи-

болѣе хорошо написанные отвѣты на поставленные ею вопросы. 3000 человѣкъ отзвались, и побѣдителемъ оказался Пирсонъ, очень способный журналистъ, ставшій черезъ нѣсколько лѣтъ редакторомъ-издателемъ основанного имъ самимъ, весьма распространенного теперь журнала «Pearson's Wearly».

Другая статья расхода для привлечения читателей или проще—покупателей, это — страхование жизни или отъ увѣчья. Положительно трудно теперь найти здѣсь еженедѣльную газету, которая бы не страховала своего читателя тѣмъ или инымъ способомъ. Обыкновенно цифра страхового вознагражденія колеблется отъ 1000 до десяти тысячъ рублей (считая фунтъ стерлинговъ въ десять рублей). «Cassell's Saturday Journal», напр., выдаетъ десять тысячъ въ случаѣ смерти читателя и 2500 р. въ случаѣ его увѣчья. «Tit-Bits» платить тысячу лишь въ случаѣ смерти. Условія выдачи этихъ денегъ очень разнообразны, но обыкновенно требуется, чтобы текущій номеръ изданія находился при читателѣ во время приключенія несчастія, причемъ имѣются въ виду лишь несчастія на желѣзныхъ дорогахъ. Очень часто выдаются вознагражденія и по одному лишь удостовѣренію газетнаго торговца, что такой-то, пострадавшій во время желѣзнодорожной катастрофы, былъ постояннымъ читателемъ соотвѣтственнаго изданія. Еще не далѣе какъ нѣсколько недѣль тому назадъ «Tit-Bits» уплатилъ на одной недѣлѣ двумъ семьямъ, по случаю смерти ихъ кормильцевъ, по сту фунтовъ страхового вознагражденія. Обѣ эти семьи принадлежали желѣзнодорожнымъ служащимъ, погибшимъ не во время исполненія своихъ служебныхъ обязанностей. Если бы несчастіе случилось на службѣ, то ихъ семьямъ ничего бы не полагалось, такъ какъ ни одна редакція не страхуетъ желѣзнодорожныхъ служащихъ отъ несчастій, приключающихся съ ними во время исполненія ими своихъ обязанностей. Одинъ изъ этихъ двухъ случаевъ, стоявшій редакціи «Tit-Bits» сто фунтовъ, на столько трогательенъ по своимъ подробностямъ, что не могу удержаться, чтобы не разсказать о немъ здѣсь. Дѣло произошло 28-го декабря минувшаго года, на желѣзнодорожной станціи Feltham Junction, недалеко отъ Лондона. Стрѣлочникъ Броунингъ вышелъ изъ дома съ намѣреніемъ пойти на станцію за жалованьемъ. Жена съ ребенкомъ на рукахъ вышла провожать его и остановилась въ дверяхъ своего коттеджа. Броунингъ, удаляясь отъ дома, часто оборачивался, посылая женѣ и ребенку воздушные поцѣлуи. Онъ дошелъ до полотна дороги, идущей на разстояніи шаговъ пятнадцати отъ коттеджа, остановился и опять обернулся лицомъ къ женѣ. «Good bye!» (прощай!) — крикнулъ онъ ей и ребенку, улыбаясь и размахивая шляпой. «Good bye!» — отвѣтила весело жена, но не успѣла еще замереть въ пространствѣ я прощальный привѣтъ, какъ быстро налетѣвшій паровозъ смялъ ея мужа.

Распространеніе изданія посредствомъ разныхъ финансовыхъ выдумокъ составляетъ характерную черту лондонской еженедѣльной печати. Редакція,—главнымъ образомъ, конечно, новая—всегда занята решеніемъ

мучительного вопроса: «какъ познакомить читателя съ моимъ изданиемъ?» И въ самомъ дѣлѣ, что толку въ томъ, что изданіе хорошее, если его достоинства никому неизвѣстны! И потому практическій умъ англичанъ и подсказываетъ первую заботу о настиженіи читателя. Пусть это стоить десятки тысячи фунтовъ, пусть читаютъ журналъ или газету даромъ: нѣтъ! пусть читатель даже получить денежную премію, но пусть онъ прочтеть новое изданіе. Вотъ какъ разсуждаетъ англійскій издатель. Отсюда и являются разные экстравагантные конкурсы и щедрыя денежная предложения побѣдителямъ. Вотъ, напр., недавно основанный «To-Day», еженедѣльный журналъ высокаго литературнаго достоинства. Стоить всего два пенса, издается Джеромомъ, редакторомъ-издателемъ «Idler'a», и украшаетъ свои страницы именами первостепенныхъ писателей. Казалось-бы, что онъ можетъ пробить себѣ дорогу къ сердцу... и не прибѣгая къ разнымъ финансовымъ заманкамъ, а между тѣмъ, уже помимо страхованія жизни, этого *conditio sine qua non* для существованія изданія, онъ объявляетъ еще о слѣдующей хитрой комбинації. Редакція предлагаетъ 250 фунтовъ стерл. вознагражденія за доставленіе ей обязательствъ отъ разныхъ лицъ въ томъ, что они будутъ покупать журналъ въ продолженіе послѣдующихъ 13 недѣль. Покупать можно где угодно, нѣть надобности выписывать прямо изъ редакціи. Причемъ деньги распредѣляются такъ: Первая премія въ 100 фунтовъ выдается доставившему наибольшее количество обязательствъ, вторая премія — 25 фунтовъ, третья — 10, четвертая — 5, слѣдующія тридцать — по фунту, а послѣдняя шестьдесятъ — по полу-фунту. Остающіеся пятьдесятъ фунтовъ распредѣляются между тѣми, которые подписались у выигравшаго первую премію. Подписной листъ для десяти человѣкъ заключается при этомъ въ каждомъ номерѣ, и редакція разсчитываетъ тутъ, конечно, не столько на ни къ чему въ сущности не обязывающія подписи, какъ на то, что будутъ между тѣмъ покупать номера для полученія этихъ подписныхъ листовъ и просто ради любопытства, чтобы узнать, чѣмъ все это кончится и кто выиграль. Или вотъ еще болѣе изъ ряда вонъ выходящее предложеніе. Народившійся только что журналецъ «Mascot» предлагаетъ тысячу фунтовъ награды, которая будетъ распредѣлена между шестью лицами (одному — 500, а остальнымъ — по 100), болѣе или менѣе вѣрно решившими задачу, которая состоить въ слѣдующемъ: въ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ номерахъ будутъ даны по нѣсколько буквъ, изъ которыхъ слѣдуетъ каждый разъ составить слово. То слово, которое составляется изъ буквъ первого номера, отправляется въ редакцію, а слѣдующія оставляютъ у себя. Когда появленіе буквъ въ журналѣ прекратится, то участвующіе въ конкурсѣ составляютъ уже изъ словъ осмысленную фразу и отправляютъ ее въ редакцію, которая и присуждаетъ награды наиболѣе вѣрно подобравшимъ слова и фразу. Въ конкурсѣ могутъ участвовать лишь тѣ, которые приобрѣтаютъ пай, стоящій шиллингъ и дѣлающій читателя участникомъ въ будущихъ барышахъ журнала. Это

пріобщеніе читателя къ финансовому процвѣтанію изданія является подражаніемъ уже сдѣланному здѣсь опыту иллюстрированнымъ журналомъ «Pick-me-up». Послѣднее изданіе, впрочемъ, сильно распространившись, оставило эту затѣю, какъ очень хлопотливую.

За этими, такъ сказать, специальными-англійскими издательскими расходами идуть уже другіе, одинакового характера съ тѣми, что и въ Россіи: содержаніе сотрудниковъ, печатаніе и т. д. Изъ нихъ слѣдуетъ остановиться лишь на платѣ сотрудникамъ, какъ на пунктѣ, наиболѣе бытовомъ. Гонораръ сотрудникамъ здѣсь также разнообразенъ, какъ и вездѣ, но разница здѣсь между maximum и minimum гонорара чрезвычайно огромна. Въ ежедневной печати по этой части больше однообразія, устойчивости и соразмѣрности. Ежедневная газета, будучи почти вся анонимна, не такъ гоняется за громкими именами; требуя несравненно больше капитала для введенія дѣла, она зато менѣе подвергнута конкуренціи новыхъ изданій, которыхъ-бы отвлекли отъ нея способныхъ сотрудниковъ. Наконецъ, большие нуждаясь въ постоянныхъ сотрудникахъ, она ихъ содержать на жалованья. Еженедѣльная-же и, особенно, ежемѣсячная печать въ послѣдніе годы почти не знаетъ анонимовъ. Наоборотъ, наиболѣе выдающіеся журналы вовсе не хотятъ печатать статьи, не подписанныя полными именами ихъ авторовъ. Въ настоящее время лишь очень немногого изданій, и то давно издаваемыхъ, сохранили анонимность статей. Для главныхъ, такъ называемыхъ, политическихъ и литературныхъ журналовъ имя, это—все. Деньги платить за имя и чѣмъ громче оно, тѣмъ выше плата. Въ сущности англійские журналы знаютъ только определенный minimum гонорара. Maximum-же его растягимъ до крайнихъ предѣловъ. Иногда эта погоня за именами принимаетъ характеръ спорта. Въ пылу состязанія издатель часто совершенно забываетъ свои ресурсы, свою публику, свою программу. Герой минуты, какъ, напримѣръ, возвратившійся изъ Африки путешественникъ, одержавший победу офицеръ, предложившій новый бильярдистъ и т. п. забрасываются заманчивыми предложениями написать статью. Если герой минуты знаетъ себѣ цѣну и къ «презрѣнному металлу» не совсѣмъ равнодушенъ, то онъ можетъ «сорвать» съ увлекшагося издателя чрезмѣрно-крупный кушъ. И хорошо еще, что «героевъ» вообще рѣдко бываетъ, а то издатели и даже самые богатые неминуемо обанкротились бы. Обыкновенно у нихъ разсчетъ основывается не столько на широкой продажѣ одного даннаго нумера, какъ на томъ, что читатель, купивъ разъ журналъ, захочетъ прочесть и слѣдующій его нумеръ. Имѣя въ виду, что англійские крупные издатели — народъ опытный, слѣдуетъ полагать, что ихъ разсчетъ правильный и что такъ дѣйствительно бываетъ въ жизни. Обыкновенный minimum платы въ большихъ ежемѣсячныхъ журналахъ это — гинея (около 10 р. 50 коп.) за страницу. Менѣе важные платить по полгинеи. Еженедѣльные платить по столбцамъ: болѣе богатые по 2 гинеи, менѣе богатые — по гинеѣ за столбецъ. Нѣкоторые журналы, какъ «Saturday Review» и «Spectator»,

платить за статьи, а не по мѣсту, ею занимаемому. Эти два журнала обыкновенно платить пять гиней (около 53 руб.) за статью. Но въ то же время «Fortnightly Review», напр., платить Гладстону по 25 гиней за страницу. И кто знаетъ, сколько обходится статья, подъ которой фигурируетъ подпись какого-нибудь герцога или архиепископа! Но кромѣ самого гонорара, иная редакція еще расходуетъ громадныя деньги на оповѣщеніе читателя о предстоящемъ появлениі въ ея изданіи такой-то вещи. Обыкновенно это дѣлается передъ началомъ печатанія новаго романа. Пишущій эти строки предложилъ разъ одному знакомому редактору очень распространенной еженедѣльной газеты переводъ съ небольшой русской повѣсти. При своемъ появлениі въ Россіи, она вызвала массу статей и, вообще, надѣлала шуму. Мой знакомый прежде всего понтересовался размѣромъ повѣсти. Сколько, примѣрно, выйдетъ столбцовъ? — спросилъ онъ. Я ему отвѣтилъ. Нѣтъ, къ сожалѣнію, не подходитъ, — заявилъ онъ. Отчего же, спрашивая: — повѣсть хорошая, оригинальная; написана въ реалистическомъ направленіи, такъ нравящемся вамъ; затрагиваетъ соціальный злобы, вопросы этики, душевную жизнь, словомъ, какъ разъ въ вашемъ вкусѣ, — стараюсь убѣдить редактора. Вѣрю, вѣрю, — говорить онъ равнодушно, очевидно совершенно не прельщенный моей критической характеристикой: — но въ вашей повѣсти однѣ громадный недостатокъ, продолжалъ онъ, это — ея размѣры: всего на протяженіи какихъ-нибудь трехъ — четырехъ нумеровъ! Не успѣешь начать ее печатаніемъ, какъ опять выложить 200—300 фунтовъ на рекламу. — На какую рекламу? — удивился я. — На обыкновенную, — отвѣтилъ онъ: — на газетную, «стѣнную», «заборную» и др., на которую всегда трачу до трехсотъ фунтовъ, собираясь печатать новый романъ. Посудите-же сами, развѣ выгодно истратить такую сумму изъ-за вещи, которая протянется не больше четырехъ недѣль. А вѣдь безъ объявленій нельзя. Нужно ловить читателя. Онъ самъ къ вамъ не придетъ! — закончилъ онъ сентенціозно тономъ опытнаго человѣка. И дѣйствительно, мнѣ стоило только вспомнить тѣ громадные плакаты, которые наклеиваются на стѣнахъ и заборахъ и привлекаютъ вниманіе прохожихъ своими разноцвѣтными рисунками, существующими изображать захватывающіе эпизоды изъ будущихъ романовъ, чтобы совершенно согласиться съ практическимъ редакторомъ.

Показанныя мною раньше цифры гонорара относятся лишь къ тѣмъ изданіямъ, которые болѣе или менѣе прочно стали на собственные ноги, пользуются хотя бы нѣкоторымъ распространениемъ и характера болѣе или менѣе общѣ-литературнаго. Но кромѣ такихъ периодическихъ изданій, лондонскій журнальный рынокъ буквально кишить совершенно неизвѣстными изданыицами, которыхъ «кѣмъ-то» издаются, «кѣмъ-то» пишутся и «кѣмъ-то», очевидно, читаются. Въ этихъ изданіяхъ гонораръ начинается съ нуля и кончается пятью шиллингами за страницу. Впрочемъ, глав-

ными сотрудниками въ нихъ бывають клей да ножницы, умѣющіе работать и безъ гонорара.

До сихъ поръ мы, употребляя бухгалтерскій языкъ, говорили о «кредитѣ» англійской редакціи. Теперь скажемъ нѣсколько словъ о «дебетѣ» ея. Онъ гораздо проще. Продажа нумеровъ и объявленія — вотъ единственная статья дохода, по существу одинаковая и въ Лондонѣ, и въ Петербургѣ, и въ Пекинѣ. Разница только въ величинѣ, и въ этомъ отношеніи лондонская печать крайне разнится отъ петербургской. Въ то время какъ послѣдняя, особенно ежемѣсячная, почти совершенно лишена объявлений, первая извлекаетъ изъ объявлений главную часть своихъ доходовъ «Nineteenth Century», напр., имѣеть до 24 страницъ объявлений, дающихъ издателю очень крупный доходъ. «Strand» имѣеть 26—32 страницы объявлений. Затѣмъ вслѣдствіе зависимости изданія отъ розничной продажи сезонъ играетъ очень большую роль въ его распространеніи. Лѣтомъ, напр., «Tit-Bits» расходуется чуть ли не на сто тысячъ экземпляровъ больше, чѣмъ въ зимнее время. Если лѣто стопъ хорошее — теплое, сухое — и публика проводить много времени въ пути въ вагонахъ или на пароходахъ, то «Tit-Bits», какъ составляющее отличное «желѣзодорожное чтеніе», расходится на славу. Участъ этого журнала раздѣляютъ въ большей или меньшей степени и остальные лондонскія еженедѣльныя и ежемѣсячныя изданія.

С. Рыбаковъ.

(Окончаніе сlijduетъ).

ТЕАТРЪ.

(ТЕКУЩІЙ РЕPERTУАРЪ).

Бенефисъ г. Давыдова, «Гусь Лапчатый» Салова. — Московские драматурги и унтеръ-офицерская вдова. — Юбилей И. И. Сосницкаго. — Театральная благотворительность. — Конецъ большого сезона и его итоги. — Школьные спектакли.

Послѣднимъ передъ Великимъ постомъ бенефисомъ былъ бенефисъ г. Давыдова, состоявшійся 16 февраля. Послѣ долгихъ поисковъ и колебаний, г. Давыдовъ составилъ бенефисную афишу такимъ образомъ, что, если не качествомъ, то количествомъ «представленій», долженъ быть удовлетвориться самый взыскательный изъ зрителей, требующій себѣ удовольствія на весь уплаченныя имъ по бенефисной цѣнѣ деньги. Афиши обѣщали спектакль (шутка сказать!) изъ девяти актовъ. Правда, чтобы не очень запугать публику, также афиша обѣщала антракты въ одной пьесѣ — *по 3 минуты*, въ другой — *по 2*; но, конечно, эти обѣщанія оказались изъ адовой мостовой и, не смотря на то, что по болѣзни г-жи Савиной, одноактный «этюдъ съ натуры» г. Гиѣдича *Женя* былъ замѣненъ сценой И. Ф. Горбунова, спектакль затянулся до часу пополуночи, и лишь немногіе бодрые духомъ и тѣломъ вынесли возобновленную трехактную чепуху подъ заглавиемъ *Дальше въ лѣсъ, большие дровы*, передѣланную нѣкогда г. Крыловымъ изъ скучнѣйшей французской пьесы «Une corneille qui abat des noix», и данную въ заключеніе бенефиснаго спектакля.

Капитальною пьесою бенефиса была дана драма въ 5-ти дѣйствіяхъ г. Салова *Гусь лапчатый*, написанная уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но до сихъ поръ еще не шедшая на Александрийской сценѣ. *Гусь лапчатый*, какъ и остальные пьесы г. Салова, отличается необыкновенною грубостію фактуры и значительною аляповатостію изображеній. Замѣчаются мѣстами блестки правдивости, и штрихи, не лишенные мѣткой наблюдательности, тонутъ въ рутинной шаблонности выведенныхъ лицъ и положеній, придуманныхъ въ угодженіе той особой кулисной логикѣ, въ жертву которой знающіе свою публику драматурги наши приносятъ и художественность, и реальную правду.

Герой цесы — разбогатѣвшій кабатчикъ Облопошевъ — купилъ графское имѣніе, вылѣзъ въ губернскіе тузы и наровить сдѣлаться совсѣмъ бариномъ, но, конечно, въ душѣ остался все тѣмъ же, прежнимъ кабатчикомъ. Типъ, какъ видите, не новый и представляющій обильный коми-ческій матеріялъ, которымъ издревле и пользовались драматические писатели, начиная съ Мольера, выведшаго своего безсмертнаго г-на Журдена. Но при всемъ сходствѣ, есть и значительная разница между Мольеромъ и г. Саловыемъ. Мольеровскій мѣщанинъ, и въ дворянствѣ, вѣренъ своему типу; онъ живой человѣкъ, цѣликомъ выхваченный изъ жизни. Саловскій кабатчикъ — не живой человѣкъ, а театральная выдумка, сдѣланная для потѣхи публики. Облопошевъ (само имя то какъ изобразительно: что твой Стародумъ или Правдолюбъ нашихъ дѣдовъ!), стремясь къ графской жизни, заводить въ своеѣ домъ разныхъ мамзелей «изъ благородныхъ и манеристыхъ», а жену держитъ въ подвалѣ, сына выгналъ изъ дома. Это все возможно. Но затѣмъ онъ находитъ, что «все это не то», что онъ *не христѣ* и объясняетъ адвокату Мишанскому: «Вѣдь я крестъ ношу на себѣ, мнѣ такія *беззаконія* творить не приходится... Хотѣлось бы *по божьему*, законную жену имѣть, а не *дамочку*», и просить развести его съ женой, причемъ даже плачетъ по ремаркѣ автора. Вотъ это ужъ мало вѣроятно. Въ воззрѣніяхъ русскаго простолюдина разводъ есть тоже своего рода *не божеское дѣло* и поправлять одно *беззаконіе* другимъ русскій человѣкъ не станетъ въ той средѣ, къ которой принадлежитъ Облопошевъ, и гдѣ твердо держатся изреченія: «Богъ соединилъ, человѣкъ да не разлучаетъ».

Волею г. Салова нравственно-матrimonіальныя стремленія барствующаго кабатчика сейчасъ же получаются и достойный имъ объектъ. Въ земскую школу пріѣзжаетъ новая учительница, Елена Петровна, со своей бабушкой, г-жей Шашковой. Согласно кодексу портняжно-театрального сочинительства — это особы чистѣйшей аристократической крови, обѣднѣвшія до нельзя, но, сохранившія отъ прежняго величія: портреты предковъ, золотые часы и нитку жемчуга, которую бабушка прячетъ въ красномъ деревянномъ яичкѣ для приданаго внучкѣ.

Облопошевъ влюбляется въ Елену Петровну, строить для нея просторную школу, и ей строить куры, и каждый день носить букетъ цветовъ, имъ самимъ нарванныхъ въ его садахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ еще настойчивѣе домогается отъ своей законной жены согласія на разводъ и, для поощренія адвоката Мишанскаго, просватываетъ за него свою модницу-дочь — Агнію, получившую слабое образованіе въ благородномъ пансионѣ.

И дочка, и адвокатъ — фигуры трафаретной живописи. Она все время цѣлуєть руки отцу и наровить взять съ него векселя, обезпечивающіе ея приданое; онъ — нахаль и карьеристъ съ словомъ «гонорарь», написаннымъ лубочною кистью на мѣдномъ лбу.

Пріѣзжаетъ съ Урала выгнанный отцомъ изъ дома Облопошевъ —

сынъ, и дѣло запутывается. На Уралѣ Петръ Егоровичъ сдѣлался очень образованъ, уменъ и честно-дѣловитъ: такъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ въ современныхъ *серыезныхъ* пьесахъ. Онъ возмущенъ желаніемъ отца развестись съ матерью, но тѣмъ не менѣе допускаетъ старуху дать согласіе на разводъ, налагающій позорное пятно на ея неповинную голову и только рѣшаетъ увезти ее къ себѣ на Ураль. А пока влюбляется въ Елену Петровну и добивается ея взаимности, становясь такимъ образомъ на дорогѣ отцу. Такъ что, когда Облопошевъ, разведенныій наконецъ съ женою, дѣлаетъ предложеніе добродѣтельной учительницѣ, то аристократическая бабушка выгоняетъ вонъ зазнавшагося «хама» и даетъ свое согласіе на бракъ внучки съ хамскимъ сыномъ, который по ея выраженію: «своей порядочностью искушилъ свое происхожденіе». Совершивши этотъ подвигъ, бабушка умираетъ на сценѣ послѣ томительной агоніи въ теченіе двухъ почти актовъ.

Молодой Облопошевъ женится на Еленѣ Петровнѣ и вмѣстѣ съ нею, старухой-матерью, приживалкой Оеклой Кузьминичной и докторомъ собирается уѣзжать на Ураль. Такое общее переселенческое движение на крайніе предѣлы Европейской Россіи предпринято г. Саловымъ съ очевиднымъ намѣреніемъ постро же наказать злостнаго кабатчика, обрекая его на одиночество въ графскихъ палатахъ среди обломковъ разбитыхъ надеждъ и плановъ. Въ послѣднемъ дѣйствіи авторъ какъ-бы показываетъ «злонравія достойные плоды». Облопошевъ перерождается: онъ признаетъ свое окаянство, ужасается пустынѣ, образовавшейся вокругъ него по его же винѣ, примиряется съ сыномъ и со слезами умоляетъ всѣхъ остаться и жить вмѣстѣ съ нимъ. Но кара должна свершиться, просьбы его остаются тщетны, и всѣ уѣзжаютъ, оставляя его на жертву Агнія и ея жениха Мишанскаго, которымъ онъ выдаетъ векселя съ грустнымъ укоромъ: «Эхъ, дочка... дочка...» и опускаетъ голову подъ «быстро падающій занавѣсъ».

По моему г. Саловъ слишкомъ ужъ строго наказалъ своего раскаявшагося героя. Для этого онъ не пожалѣлъ даже несчастной старухи и искалѣчилъ разведенную жену Облопошева. Эта простая *мужичка*, слыша отъ мужа при прощаніи слова примиренія, слова просьбы остаться съ нимъ, забывши разладъ, слова: «кто же можетъ разлучить насъ, *коли мы вѣнчаны?!*», не падаетъ въ объятія его, какъ можно было ожидать, оставаясь вѣрною своимъ простымъ взглядамъ на нравственное значеніе брачнаго союза, а, подстрекаемая г. Саловымъ, даетъ жестокій отвѣтъ: «Сами пожелали.. Нѣть ужъ, воля ваша, а я здѣсь не останусь».

Г. Салова нельзя заподозрить въ грубомъ незнаніи той бытовой среды, изъ которой онъ черпаетъ своихъ персонажей. Въ той же пьесѣ, «Гусь лапчатый», имъ выведено лицо очень типичное и совершенно живое — всеобщая приживалка Оекла Кузьминична, одна изъ яркихъ представительницъ созерцательного простодушія, безтрепетно смотрящаго въ самыя глубокія бездыны вѣчныхъ вопросовъ бытія. Это положительно лучшее

лицо пьесы и, конечно, оно оказалось такимъ благодаря только своей аксессуарности, спасшей его отъ заботливой обработки по шаблонамъ рыночной драматургіи. Будь это лицо въ числѣ главныхъ участниковъ дѣйствія, оно непремѣнно пострадало бы отъ тѣхъ насильственныхъ операций, съ помощью которыхъ наши драматурги уродуютъ и искажаютъ вѣрно подмѣченныя ими лица, втискивая ихъ въ готовые театральные футляры, или сгибая подъ часто зубами натянутыя тенденціи и искусственные формы кулисной жизни.

Автору драмы «Гусь лапчатый» показалось мало того вывода, который можетъ быть сдѣланъ каждымъ изъ зрителей, просмотрѣвшимъ пьесу; онъ счелъ нужнымъ подчеркнуть мораль своего произведенія и вложилъ въ уста Облопошева заключительный монологъ, резюмирующій всю пьесу и усердно объясняющій все и безъ того ясное: «*Одинъ... совсѣмъ одинъ...* Думалъ, что со мной жить станутъ, что пожалѣютъ... *Скажите, пожалуйста, какой достойный жалости человекъ!..* Жену въ подвалѣ содержалъ, по лицу билъ... Сына два раза изъ дома выгонялъ... Дѣвушка же мой моей быть не захотѣла, — кусокъ хлѣба у ней отнялъ... *и вотъ одинъ, совсѣмъ одинъ!..*» Этими жалостными словами Облопошевъ каеется такъ сокрушенно, что право рука болѣе не поднимается на всѣ грубости, карикатурные пересолы и наивныя странности, полюбившейся г. Давыдову, пьесы.

Надо отдать справедливость исполнителямъ, что всѣ роли были сыграны ровно и въ общемъ довольно удовлетворительно. Лучше другихъ были г-жа Стрѣльская — приживалка, г-жа Жулева — умирающая бабушка и г. Давыдовъ — Облопошевъ. Овацій по адресу бенефесіанта и подношеній ему было большое изобилие. Остальные роли были распределены между г-жами: Ленской (жена Облопошева), Потоцкой (Агнія) и Мичуриной (Елена Петровна), и гг. Аполлонскимъ (Облопошевъ-сынъ), Корвинъ-Круковскимъ (Мишанскій) и Ленскимъ (докторъ).

На мой взглядъ удачное исполненіе пьесы, подобныхъ этому *Гусю*, имѣеть весьма малую художественную цѣнность. Каждому изъ актеровъ приходится повторять давно знакомыя лица и сценическія положенія; мало того — играть самихъ себя: такъ какъ лица эти скроены по ихъ мѣркѣ и пригнаны авторами съ такою тщательностью, что творческая работа актера оказывается совершенно излишнею. Въ подобныхъ пьесахъ актеръ изображаетъ не известное лицо или характеръ, созданный авторомъ, а повторяетъ тѣ сценическія пріемы, которыми онъ всегда играетъ подобныхъ лицъ (нахальныхъ адвокатовъ, кулаковъ-міроѣдовъ, честныхъ механиковъ, добродѣтельныхъ учительницъ и т. д.). Творчество вообще устранило изъ современного театра; какъ неѣть его въ сочиненіи пьесы, такъ неѣть его и въ актерской игрѣ. Какъ въ промышленности артистическая ручная работа замѣнена машиной, такъ и въ театрѣ пьесы и роли скоро будутъ штамповаться, какъ пуговицы, пишущими машинами-автоматами и играющими машинами-актерами.

Кто кого довелъ до такого *механическаго* состоянія, авторы ли актеровъ, или актеры авторовъ, вопросъ сложный, но за примѣрами его ходить недалеко: чуть не на дняхъ случился курьезный казусъ, могущій служить недурной къ нему иллюстраціей. Какой-то фельетонный шутникъ пустилъ въ газеты письмо, подписанное «*московскимъ драматургомъ*», въ которомъ горько жаловался на несчастную долю своихъ собратій, — вынужденныхъ часто коверкать свои пьесы въ угоду артистамъ, предъявляющими требованія на разныя *пріятнія для нихъ* вставки и украшенія ролей, хотя бы это было въ ущербъ смыслу и качествамъ пьесы.

Такъ, по словамъ г. московскаго драматурга, пьеса тогда только можетъ разсчитывать попасть на сцену, если авторъ вставитъ *истерику* для одной артистки, *жесткій смѣхъ* — для другой, *симпатичность* — для одного актера, страсть для другого и т. д. Понятно, что при этихъ условіяхъ, исполнители *удачныхъ моментовъ* всегда оказываются въ выигрышѣ передъ публикой, а авторы обречены на порицанія за нелѣпости, въ которыхъ они мало повинны.

Дѣйствительно ли что-нибудь похожее случается съ московскими авторами и актерами, или все это — не болѣе, какъ мистификація — я не знаю, но склоненъ думать, что въ этомъ *вымыслѣ* есть нѣкоторая доля правды. Иначе не изъ чего было такъ разволниваться гг. московскимъ драматургамъ, приславшимъ въ газеты коллективное опроверженіе, подписанное гг. Шпажинскимъ, Вл. Александровымъ, Рокшанинымъ и Гославскимъ. Въ этомъ опроверженіи господа драматурги заявляютъ, что никогда актеры московскаго театра не требовали отъ нихъ никакихъ измѣненій или приспособленій къ своимъ личнымъ вкусымъ, и что пьесы были *написаны совершенно такъ*, какъ появлялись передъ публикой.

Нельзя отказать этому заявлению въ извѣстной долѣ комизма. Если дѣйствительно ничего подобнаго сообщаемому «*московскимъ драматургомъ*» не было, и московскіе авторы писали свое опроверженіе, движимые единствено чувствомъ справедливости и желаніемъ снять съ московскихъ артистовъ незаслуженное нареканіе, то по истинѣ они проявили рыцарскую доблѣсть и похвальное самопожертвованіе. Помилуйте, нашелся благодѣтель, заявляющій, что всѣ шаблонныя нелѣпости новѣйшихъ пьесъ, ложные, искусственные ихъ эффекты, грубыя спекуляціи на нервы зрителей, пошлые приемы вымогательства успѣха, — все это актерскія выдумки, во всемъ этомъ авторы неповинны, — и вдругъ эти самые авторы съ такимъ стараніемъ обѣленные въ глазахъ публики, сами объявляютъ во всеобщее свѣдѣніе: «Неправда, всѣ эти нелѣпости и пошлости написаны нами; не актеры выпрашивали себѣ истерики и жесткіе смѣхи, а мы сами ихъ пристегивали къ пьесамъ, чтобы угодить этимъ актерамъ». Остается сказать только: «съ чѣмъ вѣстъ и поздравляемъ!» Примѣровъ такого самоотреченія немнogo: одна развѣ Гоголевскаяunter-офицерская вдова можетъ поспорить съ московскими авторами, такъ доблестно высѣкшими самихъ себя.

Если предположить съ другой стороны, что московскіе авторы были движими не столько культомъ истины, сколько опасеніемъ прогнѣвить *дорогихъ для нихъ* артистовъ, или что доблестное заявленіе состоялось подъ нѣкоторымъ давленіемъ артистовъ, задѣтыхъ письмомъ «московскаго драматурга», — то и въ этомъ случаѣ не изъ чего было огородъ городить. Гг. артистамъ право же не стоить откращиваться отъ дѣлаемыхъ ими вставокъ и приспособленій въ роляхъ, если они дѣйствительно ими дѣлаются. Вѣдь все это практикуется на такомъ театральномъ хламѣ, не имѣющемъ никакой художественной цѣни, что ни истерики, ни жесткіе смѣхи особенного ущерба пьесамъ нанести не могутъ: для искусства — они безразличны, такъ какъ съ искусствомъ и безъ того они не имѣютъ ничего общаго, для зрителя же отъ актерскихъ поправокъ можетъ выйти только барышъ: среди сплошнаго вздора онъ увидитъ сцену, хоть и пришитую бѣлыми нитками, но хорошо сыгранную. Съ такими пьесами, какія пишутся гг. Вл. Александровымъ, Рокшанинымъ, Гославскимъ и ихъ присными, напрасно было бы церемониться московскимъ актерамъ, а къ пьесамъ *настоящимъ*, къ авторамъ серьезнымъ и дѣйствительно талантливымъ никто бы не рѣшился сунуться съ требованіемъ какихъ-либо поправокъ *для себя*. Навѣрно авторы, пишущіе для театра, а не работающіе на актеровъ, избавлены отъ подобныхъ превратностей судьбы, и я не помню, чтобы Д. В. Аверкіевъ или А. А. Потѣхинъ когда-либо испытывали надобность въ заявленіяхъ и опроверженіяхъ подобнаго свойства.

Въ нынѣшнемъ году 18-е февраля совпало съ днемъ, памятнымъ для исторіи русскаго театра: минуло 100 лѣтъ со дня рожденія одного изъ славнѣйшихъ прошлыхъ дѣятелей петербургской драматической сцены — Ивана Ивановича Сосницкаго. Артистъ съ головы до ногъ, блестящій представитель школы въ лучшемъ значеніи слова, виртуозъ техники и мастеръ своего искусства — Сосницкій являлъ собою завидное сочетаніе природнаго дарованія съ необыкновенно тонкой и изящной отдѣлкой его путемъ труда и самовоспитанія. Шестьдесятъ лѣтъ служенія родной сценѣ, артистическая карьера, обнявшая нѣсколько послѣдовательно смѣнявшихся теченій въ драматическомъ искусствѣ, художественная сила, прошедшая всѣ театральныя амплуа, неизмѣнно сохраняя передовое мѣсто въ труппѣ, блестѣвшей крупными талантами, благоговѣйное уваженіе задачъ театра, щепетильно-добросовѣстное отношеніе къ каждой роли, чисто ювелирная отдѣлка мельчайшихъ деталей, — таковы права Сосницкаго на благодарную память его сценическихъ наслѣдниковъ, для которыхъ нѣть болѣе поучительного примѣра, какъ художественная личность «Дѣда русской сцены».

Инициативу чествованія памяти Сосницкаго взяло на себя Общество для пособія нуждающимся сценическимъ дѣятелямъ. Оно оповѣстило о предстоящемъ артистическомъ торжествѣ и разослало приглашенія всѣмъ драматическимъ русскимъ актерамъ въ Петербургъ. Въ Новодѣвичьемъ монастырѣ была отслужена заупокойная обѣдня и панихида на могилѣ

Сосницкаго, а затѣмъ въ 2 часа днѧ въ фойзь Александрийскаго театра состоялось публичное собраниѣ съ произнесеніемъ рѣчей, чтеніемъ историческихъ очерковъ, воспоминаній и стиховъ предъ украшеннымъ цвѣтами бюстомъ чествуемаго артиста. И что-же? На призывъ общества откликнулись артисты казенной драматической сцены (и то не въ полномъ составѣ), съ десятокъ постороннихъ лицъ, стоящихъ болѣе или менѣе близко къ театру или къ артистамъ, да нѣсколько газетныхъ репортеровъ. Изъ артистовъ частныхъ сценъ—никого, точно имя Сосницкаго имѣть значеніе только для одной Императорской сцены, а не для всего русскаго театра. Никакого коллективнаго проявленія того почитанія славнаго художественнаго прошлаго, которое должно-бы жить въ сознаніи актерской корпораціи! Нѣтъ, далеко еще русскому актерству до культурности его европейскихъ собратій!

Другой примѣръ: чрезъ два днѧ послѣ чествованія Сосницкаго, въ воскресенье 20-го февраля, въ Маріинскомъ театрѣ данъ былъ маскарадъ, ежегодно устраиваемый тѣмъ-же Обществомъ для пособія нуждающимся спекулятивнѣмъ дѣятелямъ. Дирекція Императорскихъ театровъ оказываетъ съ своей стороны полное покровительство начинаніямъ Общества и даетъ ему театръ, право пользоваться костюмами, декораціями, разрѣшаеть артистамъ принимать участіе въ празднествѣ. Казалось-бы, что при такихъ благопріятныхъ условіяхъ и при сочувствіи артистовъ цѣлямъ общества, вся дѣятельность котораго посвящена благотворенію ихъ-же нуждающимся собратіямъ, праздники эти могли-бы представлять выдающійся интересъ, отличаться особыннымъ артистическимъ блескомъ и вкусомъ, но на дѣлѣ, главнаго-то—сочувствія самихъ артистовъ не оказывается. Попробуйте съ нашими артистами затѣять что-нибудь хоть немногого похоже на тѣ благотворительные праздники, на которые такъ единодушно откликаются, напримѣръ, въ Парижѣ, всѣ крупнѣйшія знаменитости театра. Двѣ, три продавщицы шампанскаго въ кіоскахъ, пять шесть актеровъ въ залѣ— вотъ и все, чѣмъ выражается сочувствіе русскихъ артистовъ благотворительной дѣятельности Общества, основаннаго для русскихъ артистовъ.

Полная культурная неразвитость, отсутствіе всякого сознанія художественнаго значенія своей профессіи, самая эгоистичная разобщенность, совершенное невѣдѣніе принципіальныхъ обязанностей, налагаемыхъ принадлежностью къ артистическому сословію и вѣчная, непрѣмѣнная, всюду проявляемая халатность самомніющей ограниченности — вотъ отличительныя свойства теперешняго русскаго, а болѣе всего Петербургскаго актерства, ставящія его ниже самой захолустной театральной провинціи запада. Нѣтъ, съ такимъ матерьяломъ мудрено изъ нашего театра сдѣлать истинно художественное учрежденіе!

Насколько мы далеки отъ этого идеала можно судить хотя-бы по итогамъ только-что окончившагося сезона. Итоги эти, какъ нельзя болѣе, краснорѣчивы. Говорятъ, что г. Крыловъ очень доволенъ первымъ годомъ своей дѣятельности и находить, что онъ блистательно провелъ сезонъ,

давшій въ сложности нѣкоторое увеличеніе сборовъ сравнительно съ прошлымъ годомъ.

По моему мнѣнію, стоя во главѣ не коммерческаго, а чисто художественнаго дѣла, каковъ нынѣ Императорскій русскій театръ, слѣдовало-бы ставить себѣ въ заслугу не денежные, а художественные результаты, достигнутые сезономъ. Увеличенія сборовъ можно достигнуть средствами, совершенно противными интересамъ искусства и въ этомъ случаѣ перевыручка докажетъ только, что дѣло велось скверно. Истекшій сезонъ какъ разъ это и подтверждаетъ. Публику всегда можно заманить въ театръ частою смѣною пьесъ: это знаютъ всѣ провинциальные антрепренеры — барышники. Разочаровавшись въ одной пьесѣ, публика идетъ смотрѣть слѣдующую, думая, что хоть это доставитъ ей больше удовлетворенія и непремѣнно оказывается жертвой своего любопытства, подстрекаемаго заманчивой афишой.

Съ открытия сезона и по Великій посты въ двухъ театрахъ, Александринскомъ и Михайловскомъ, было дано всего 254 представленія (180 и 74), на которыхъ оказалось истраченными 50 капитальныхъ пьесъ и 53 второстепенныхъ. Изъ этихъ 50 пьесъ, такихъ, которыхъ выдержали 5 и болѣе представлений, было 21 пьеса; остальная же 29 не дошли даже до такой скромной цифры представлений, какъ 5. Это можетъ служить доказательствомъ или того, что эти пьесы плохи, или того, что они дурно были поставлены и исполнены. Пьеса ставилась за пьесой, выдерживала 2—3 представленія и проваливалась; на смѣну ей являлась другая, которую постигала также участъ и т. д. Въ числѣ такихъ обиженныхъ судбою пьесъ по большей части красуются лучшія произведенія театра. Мольеръ, Островскій, Писемскій, А. Потѣхинъ, Соловьевъ и проч. ставились съ двухъ, трехъ репетицій, ставились кое-какъ и, конечно, проваливались. За то пьесы, къ которымъ прикоснулась даровитая рука г. В. Крылова, выдержали отъ 6 до 24 представлений¹⁾. Это оказались не только лучшія пьесы сезона, но и составили самую капитальную часть репертуара. Такъ, новыхъ и возобновленныхъ пьесъ было всего поставлено 23, изъ нихъ на долю творчества г. Крылова приходится 6 или 25%. Всѣ 23 пьесы дали въ сложности 188 представлений, а 6 пьесъ г. Крылова — 74 представленія, т. е. 40% всего количества. Если-же взять всѣ пьесы сезона: новые, возобновленные и перешедшія изъ прошлаго сезона, то получится слѣдующая картина: всего въ сезонъ дано капитальныхъ пьесъ — 50, давшихъ въ сложности 258 представлений; въ этомъ числѣ пьесъ, близкихъ сердцу г. Крылова — 9 (почти 20%), давшихъ 83 представленія, т. е. 32% всего репертуара. Какъ ни крѣпъ, — а сезонъ вышелъ блестательнымъ дѣйствительно только благодаря дѣятельности г. управляющаго русской драматической труппой, и опыту

¹⁾ Мертвия душа (24), Первая муха (14), Чѣмъ ушибл (13), Цыганка Запада (11), Антонъ Горемыка, Сорвапецъ (6) и т. д.

первого года показалъ вполнѣ, какія надежды образцовая русская сцена можетъ питать въ будущемъ.

Другая надежда театра—подготовляемые школою будущіе жрецы его—тоже не въ лучшемъ положеніи, если судить по публичнымъ ученическимъ испытаніямъ, оканчивающихъ курсъ школы. Испытанія эти, въ формѣ спектаклей, производятся обыкновенно съ наступленіемъ великаго поста и въ нынѣшнемъ году состоялись въ два понедѣльника 7-го и 14-го марта на сценѣ Михайловскаго театра.

Испытанію подвергались выпускные учащіеся, прошедшіе трехлѣтній курсъ и заканчивающіе свою сценическую подготовку подъ руководствомъ артиста г. Ленскаго, принявшаго въ свои руки II и III курсы въ нынѣшнемъ году отъ г. Давыдова, отказавшагося преподавать въ школѣ далѣе. Понятно, что при этомъ условіи на долю г. Ленскаго падаетъ лишь весьма небольшая доля отвѣтственности за учащихся, принятыхъ и руководимыхъ въ теченіе болѣе двухъ лѣтъ г. Давыдовымъ. Но тѣмъ не менѣе и г. Ленскаго нельзя оправдать за выборъ экзаменаціоннаго материала, выборъ, зависѣвшій по всей вѣроятности лично отъ него. Трудно понять, почему въ репертуарѣ школьнаго упражненій включены были такія пьесы, какъ пошлѣйшая и глупѣйшая *Дармоѣдка* г. Салова, *Въ послѣдний разъ* г. Разсохина (?) или водевиль *Винѣ-мундиръ* Карагыгина. Играя какую-либо образиовую роль, ученикъ можетъ показать подготовку и степень своей пригодности для ролей подобнаго жанра, типичнымъ представителемъ котораго является эта образцовая роль. Исполняя-же разныхъ «Дармоѣдокъ», ученикъ ровно ничего не показываетъ, потому-что можно прекрасно сыграть «Дармоѣдку» и все-таки ни на что болѣе путное не годиться.

Въ нынѣшнемъ году выпускъ драматическихъ курсовъ Театрального Училища состоить всего изъ четырехъ учащихся—трехъ ученицъ, г-жъ: *Петровой*, *Вербовской* и *Кирсановой*, и одного ученика — г-на *Валыхъ*. Каждый изъ экзаменовавшихся появлялся въ трехъ роляхъ. Такъ г-жа *Петрова* играла въ отрывкахъ роли: *Юлии Туиной* въ «Послѣдней жертвѣ» Островскаго, *Мариши* въ «Дармоѣдкѣ» Салова и *Марии Стюартъ* въ трагедіи Шиллера. Г-жа *Вербовская* исполняла: *Глафиру Фирсовну* въ «Послѣдней жертвѣ», *Агафью Тихановну* въ «Женитьбѣ» Гоголя и *Замойскую* въ пьесѣ Кулікова «Весною». Г-жа *Кирсанова* появлялась въ роляхъ: *Ирины Лавровны* въ «Послѣдней жертвѣ», *Наташи* въ комедіи «Въ послѣдній разъ» и *Юлии* въ пьесѣ «Весною». Наконецъ, г- *Валыхъ* сыгралъ *деньщика Лемченко* въ комедіи «Въ послѣдній разъ», *Маскорила* въ «Жеманицахъ» Мольера и *Разильяева* въ водевилѣ «Винѣ-Мундиръ».

Я не буду говорить о дарованіи экзаменовавшихся: талантъ школой не дается и отъ школы не зависитъ. Часто бываетъ, что обѣщающіе въ будущемъ не сдерживаютъ этихъ обѣщаній и наоборотъ, способности, не замѣтныя почти въ началѣ спекнческаго поприща, развиваются съ практи-

тикой въ крупныхъ величины. Поэтому я оставляю въ сторонѣ оценку талантливости, хотя по правдѣ сказать, мнѣ не удалось замѣтить признаковъ ея въ перечисленныхъ питомцахъ школы. Гораздо важнѣе то, насколько оканчивающіе полный курсъ несутъ на себѣ слѣды школьнай подготовки и какіе можно сдѣлать, судя по нимъ выводы о постановкѣ въ школѣ дѣла сценическаго воспитанія.

Прежде всего поражаетъ синхордительность школьнай педагоговъ при приемѣ учащихся. Предъ нами люди, прошедшиѣ трехлѣтній курсъ; въ теченіе трехъ лѣтъ ихъ актерскій матерьялъ развивался школьнай воспитаніемъ и въ концѣ концовъ матерьялъ этотъ представляется въ такомъ видѣ, что даже и въ теперешнемъ его положеніи онъ не можетъ быть признанъ годнымъ для сценической профессіи. Ни наружныхъ данныхъ, ни голосовыхъ средствъ, ни выразительныхъ и подвижныхъ лицъ, ни гибкаго или ловкаго тѣла, ни граціи или значительности жеста и движений, ни дыханія — ничего, что давало бы хоть какое-нибудь право мечтать о сценѣ. Если въ сценическомъ искусствѣ внутреннее дарованіе можетъ искупить недостатки актерскихъ средствъ, то нельзѧ же на этомъ основаніи игнорировать извѣстныя требования сценическаго дѣла. Для любого ремесла нужно обладать извѣстнымъ прирожденнымъ матерьяломъ, а для такой богатой и разносторонней художественной дѣятельности, какъ сценическая, нельзѧ же считать пригоднымъ всякого, кому только захочется посвятить себя театру.

Относясь съ излишней синхордительностью къ требованиямъ извѣстныхъ сценическихъ данныхъ, школа дѣйствуетъ въ совершенно обратномъ направлѣніи своему назначению: она не борется съ губящимъ искусствомъ дилетантизмомъ, а сама его поощряетъ, обольщая несбыточными надеждами людей, непригодность которыхъ къ дѣлу можетъ быть замѣчена съ первого взгляда. Продержавъ три года людей, совершенно къ сценѣ непредназначенныхъ, они выставляютъ на выпускныхъ экзаменахъ актрисъ и актеровъ безъ голоса, безъ дыханія, безъ лица, безъ мимики, безъ жеста, безъ движений, безъ дикціи, безъ умѣнья читать прозу и стихи, безъ манеръ, безъ образования и безъ таланта.

Я не вправѣ смотрѣть на выпускныхъ учениковъ, какъ на *готовыхъ* актеровъ и актрисъ, но я въ правѣ требовать отъ нихъ наличности тѣхъ качествъ, которыя даются школьнай подготовкой. Я не знаю, какъ ведется преподаваніе на драматическихъ курсахъ театральнаго училища, но изъ того, что мнѣ показываютъ на публичномъ испытаніи, я вижу, что за три года выпускные не выучились правильно говорить по-русски, логически тонировать фразу, управлять дыханіемъ, правильно распоряжаться паузами; они не умѣютъ хорошо читать ни прозы, ни стиховъ; они безмысленно ставятъ логическія ударенія и подчеркиваютъ слова, которыя не слѣдуетъ (особенно прилагательныя, что составляетъ весьма распространенную болѣзнь у нашихъ актеровъ); они не выучены ни поклонамъ, ни реверансамъ (напримѣръ въ «Жеманицахъ»), хотя и существуетъ

классъ maintien; они не умѣютъ носить костюмъ и т. д. Все это вещи независящія отъ дарованія и вполнѣ достижимыя школьнью *выучкой*; отсюда я долженъ заключить, что дѣло школы ведется дурно.

Чего же можно ожидать въ отношеніи другихъ, болѣе тонкихъ требованій актерскаго искусства, требованій — ближе соприкасающихсяъ прирожденными способностями или съ развитымъ образованіемъ, вкусомъ и пониманіемъ задачъ сцены? Какое можетъ быть *пониманіе роли* и умѣніе цѣльного *созданія лица*.

Г-жа Петрова, напримѣръ, играя Маришу въ сценахъ, выхваченныхъ изъ трехъ различныхъ актовъ пьесы «Дармоѣдка», изображаетъ три совершенно разныхъ лица, три Мариши, мало похожія одна на другую. Юлія въ «Послѣдней жертвѣ» не носить ни малѣйшаго бытоваго колорита: ее можно одинаково счесть и молодой купеческой вдовой и генеральской дочкой, и барышней изъ гувернантокъ. Что же касается до Маріи Стюартъ, то при полномъ отсутствіи сценическаго голоса и драматической силы, получается что-то невозможное блѣдное, хилое, даже не напоминающее трагическое лицо несчастной героини Шиллера. А между тѣмъ г-жа Петрова все-таки лучшая изъ нынѣшняго выпуска. Въ ней есть хоть житейская (если не сценическая) толковость, спасающая ее отъ грубыхъ ошибокъ и погрѣшностей противъ здраваго смысла. И все-таки она не представляетъ изъ себя ничего выше приличной любительницы, могущей сыграть не сильную рольку на маленькой домашней сценѣ, предъ съисходительными родственниками и хорошими знакомыми.

Это слишкомъ скучные результаты для столичной театральной школы и не при такомъ положеніи школьнаго дѣла можно ожидать для нашего театра притока свѣжихъ артистическихъ силъ, которыхъ внесли бы на сцену новую струю. При средствахъ материальныхъ и художественныхъ театральной дирекціи, дѣло сценическаго воспитанія можно поставить на надлежащую высоту и вопросъ этотъ для будущности отечественнаго искусства настолько важенъ, что заслуживалъ бы болѣе серьезнаго вниманія.

Д. Д. К.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНИЕ.

Русско-германский торговый трактатъ. — Понижение пассажирского тарифа на желѣзныхъ дорогахъ.

Весь нынѣшній обзоръ мы должны посвятить разсмотрѣнію двухъ дѣлъ свойства тарифнаго, изъ которыхъ одно только что рѣшено, а другое энергически подготавляется къ рѣшенію. Первое, это — русско-германский трактатъ о торговлѣ и мореплававаніи, подписанный въ Берлинѣ 29 января (10 февраля) и ратифицированный въ марта, послѣ разсмотрѣнія въ германскомъ сеймѣ и въ нашемъ государственномъ совѣтѣ.

Второе — проектъ пониженія пассажирскаго тарифа на желѣзныхъ дорогахъ, выработываемый въ настоящее время. Оба эти дѣла можно только привѣтствовать, отдавая справедливость ясности взгляда, обнаруженной въ нихъ тѣми, чьей иниціативѣ Россія будетъ обязана этими важными экономическими улучшеніями.

Нашъ таможенный тарифъ, въ теченіе примѣрно 20-ти лѣтія, въ общемъ, удвоился и вызвалъ расширение размѣровъ фабрично-заводскаго производства. Но одновременно падали цѣны на хлѣбъ, чemu въ послѣдніе годы значительно содѣйствовали «боевые» хлѣбные попшлины, установленные въ Германіи, въ видѣ репрессалій за постоянное возвышение нашего тарифа, которое закрыло русскій рынокъ для разныхъ отраслей германского производства. При паденіи хлѣбныхъ цѣнь, выручка земледѣльцевъ уменьшилась, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшились у сельскаго населенія и средства для покупки издѣлій промышленности. Тогда въ этой послѣдней стали появляться признаки перепроизводства, которое въ конечномъ результата могло бы повести къ промышленному кризису. Итакъ, пришлося подумать объ уступкахъ со стороны Германіи — цѣною, понятно, предоставленія и ей уступокъ съ нашей стороны.

Нѣчто подобное обнаружилось и въ пассажирскомъ движеніи на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ. Пассажирскій тарифъ у насъ въ самомъ началѣ былъ установленъ слишкомъ высокій. Но — какъ о томъ будетъ рѣчь ниже — вслѣдствіе прибавки къ этому тарифу еще высоко-процентнаго государственного сбора, не только прекратилось развитіе пассажир-

скаго движениія, но поверхное движениіе стало даже уменьшаться. Здѣсь помочь дѣлу можно уже не частными уступками, какъ въ договорѣ съ одной державой, но общей отмѣнной излишняго стѣсненія, общимъ и значительнымъ пониженіемъ пассажирскаго тарифа.

Необходимость перехода Россіи отъ системы автономнаго и равнаго для всѣхъ странъ таможеннаго тарифа къ заключенію отдѣльной таможенной конвенції съ Германіею (какъ извѣстно, уже ведутся переговоры о конвенції съ Австро-Венгріею, а затѣмъ послѣдуютъ, вѣроятно, и другія конвенції) была очень хорошо выяснена въ статьѣ официального «Вѣстника Финансовъ» о состоявшемсямъ договорѣ. До восьмидесятыхъ годовъ главные предметы нашего вывоза, т. е. хлѣба, не были обложены пошлинами заграницей. Но и послѣ того, какъ «покровительственное направление коснулось предметовъ добывающей сельско-хозяйственной промышленности, это не представляло еще серьезныхъ затрудненій, пока пошлины съ однородныхъ продуктовъ взимались въ одинаковомъ размѣрѣ, независимо отъ ихъ происхожденія». Но съ февраля 1892 г. вошли въ силу новые трактаты Германіи съ Австріею, Испаніею, Швейцаріею и Бельгіею, причемъ Германіею были допущены конвенціонные пониженія пошлинъ на хлѣбные продукты, лѣсъ, яйца, масло, живой скотъ, нѣкоторые животные продукты, и эти пониженія распространились одновременно на всѣ страны, пользующіяся въ Германіи правами наиболѣе благопріятствующихъ по торговлѣ: Францію, Англію, скандинавскія государства, Нидерланды, государства Балканскаго полуострова, Египетъ. Соединенные Штаты, Аргентинскій союзъ и др. Затѣмъ, былъ заключенъ трактатъ въ такомъ же направленіи между Германіею и Испаніею. Такимъ образомъ, русскіе продукты были лишены равноправности на европейскомъ рынке. При дальнѣйшемъ удержаніи Россіею одного, равнаго для всѣхъ, таможеннаго тарифа нельзѧ было ожидать ни прямого пониженія пошлинъ на наши продукты въ другихъ странахъ, ни распространенія которою-либо изъ нихъ на насть пониженныхъ пошлинъ, которыя были уже предоставлены ею другимъ странамъ. Для нихъ не было цѣли этого дѣлать, такъ какъ нашъ тарифъ оставался равнымъ для всѣхъ, то-есть и для тѣхъ, кто предоставилъ бы намъ льготы, какъ и для тѣхъ, кто этого бы не сдѣлалъ. Далѣе излагается, что вслѣдствіе того, мы и отступили отъ одного, равнаго для всѣхъ тарифа, и признавъ дѣйствующій тарифъ за пониженный, создали, посредствомъ процентныхъ надбавокъ къ первому, особый, возвышенный тарифъ, который и примѣнили къ Германіи, такъ какъ на первыя предложения съ русской стороны о представлениі и намъ конвенціонныхъ пониженій, Германіею были предъявлены требования слишкомъ большихъ уступокъ, которая шли бы въ разрѣзъ съ дѣйствующей у насть покровительственной системой.

Въ этомъ взглядаѣ, который мы передали вкратце, упомянуто только въ общихъ выраженіяхъ, что въ восьмидесятыхъ годахъ въ таможенной политикѣ Европы проявилось покровительственное направление, которое

коснулось и предметовъ сельско-хозяйственной промышленности. Но если этотъ фактъ опредѣлить точнѣе, то надо сказать, что онъ заключался въ установлениі Германію въ 1888 году пошлинъ на привозный хлѣбъ, а такъ какъ главной поставщицей хлѣба для Германіи была Россія, то тѣ пошлины и получили название «боевыхъ» пошлинъ противъ Россіи. Такимъ образомъ, такъ называемая таможенная война была дѣйствительно начата не нами, въ прошломъ году, съ цѣлью побудить Германію къ предоставлению намъ конвенціонныхъ пониженій, но Германію, въ 1888 г., и была начата всѣдѣствіе возвышенія нашего тарифа въ $1\frac{1}{2}$ раза съ 1877 года, посредствомъ переложенія пошлинъ на золото, послѣдующихъ процентныхъ надбавокъ и цѣлаго ряда возвышеній пошлинъ, какія у насъ были сдѣланы въ 80-е годы въ отношеніи къ жѣлѣзу, каменному углю, машинамъ и проч. Эти мѣры значительно уменьшили для Германіи доступность русскаго рынка.

«Вѣстнику Финансовъ» это обстоятельство извѣстно, но вполнѣ естественно, что онъ не настаивалъ на обстоятельствѣ, которое свидѣтельствуетъ о томъ, что нашъ же крайній протекціонизмъ и вызвалъ со стороны Германіи репрессаліп, которая впослѣдствіи лишили нашъ хлѣбъ равноправности на европейскомъ рынке или, иными словами, что нашъ слишкомъ высокій тарифъ обратился въ ущербъ нашему же сельскому хозяйству. Германія, посредствомъ особыхъ трактатовъ съ другими странами, получила отъ нихъ и предоставила имъ, съ февраля 1892 г., пониженія, а тогда нашъ хлѣбъ, дѣйствительно, лишился равноправности, что представляло новую репрессалію, вызванную нашимъ, еще болѣе возвышеннымъ тарифомъ 1891 года.

О томъ, что тарифъ этотъ крайне высокъ и стѣснителенъ для внутренняго потребленія, свидѣтельствуетъ самый фактъ, что нынѣ въ договорѣ съ Германію допущены сбавки въ 10 — 20% по важнымъ предметамъ привоза а, какъ мы увидимъ ниже, есть пониженія и на 50%, даже болѣе, противъ тарифа 1891 года. Въ этомъ отношеніи имѣются любопытныя признанія самихъ сторонниковъ тарифа. Такъ «Вѣстникъ Финансовъ», объясняя необходимость тѣхъ уступокъ, какія сдѣланы въ трактатѣ, самъ признаетъ, теперь, что «повидимому, для серьезнаго покровительства сельско-хозяйственному машиностроенію еще не наступило время». А между тѣмъ, въ тарифѣ 1891 г. привозныя сельско-хозяйственные машины обложены въ 70 к. зол., т. е. въ 1 р. кред. съ пуда, а паровыя молотилки въ 1 р. 40 коп. зол., т. е. въ 2 р. кред. съ пуда. «Новое Время», доказывая несправедливость жалобъ на пониженіе, допущенное на шерсть, бархать и плюшъ, ремесленные инструменты и сельско-хозяйственные машины, признаетъ теперь, «что нашъ тарифъ 1891 г. по всѣмъ почти статьямъ ввоза назначалъ ставки съ *большимъ запасомъ*, такъ что было изъ чего уступить, не нарушая покровительственный характеръ тарифа». Но въ такомъ случаѣ, къ чemu же было обременять потребителей назначеніемъ, почти по всѣмъ статьямъ, пош-

линь «съ большимъ запасомъ», если цѣль покровительства могла быть достигнута обложениемъ безъ этого лишняго запаса? Отзывъ о большомъ запасѣ газета дѣлаетъ на основаніи свѣдѣній, сообщенныхъ изданіями министерства финансовъ, а можетъ быть, заимствуетъ пзъ одного изъ нихъ и самый этотъ отзывъ. Даѣе, защищая пониженія, сдѣланнныя по чесаной шерсти и по шерстянымъ издѣліямъ, «Новое Время» объясняетъ, что и при новой пошлине русскій фабрикантъ будетъ имѣть, по отношенію къ своему расходу, премію въ 153%, если онъ обрабатываетъ русскую шерсть, и въ 42%, если даже обрабатывается иностранную шерсть — передъ фабрикантомъ иностраннымъ. Другой примѣръ: не смотря на то, что въ договорѣ пошлина съ бархата и плюша понижена въ $2\frac{1}{2}$ раза противъ тарифа 1891 г., тѣмъ не менѣе она составляетъ около 50% стоимости производства этихъ товаровъ для самого фабриканта.

Приведемъ еще одно признаніе той же газеты, которая восхваляла тарифъ 1891 г. при его введеніи. «По некоторымъ статьямъ ввоза, для которыхъ понижены пошлины, оказывается, что у насъ еще не имѣется благопріятныхъ условій для прочного развитія собственной промышленности. Такъ, производство косъ, серповъ, рѣзаковъ, ножницъ для стрижки овецъ, заступовъ, лопатъ, а также многихъ ремесленныхъ инструментовъ ничего не подвигнулось отъ введенія высокой пошлины еще въ 1887 году, по той причинѣ, что у насъ не оказывается подходящаго и годнаго материала, въ особенности стали». Итакъ, не имѣется благопріятныхъ условій для развитія собственной промышленности, не оказывается собственнаго подходящаго и годнаго материала, а между тѣмъ, взглянувъ въ тарифъ 1891 г., мы видимъ, что иностранные серпы, косы, рѣзаки, вилы, лопаты и заступы обложены пошлиною въ 1 р. 40 к. зол., т. е. въ 2 р. кред. съ пуда, а въ томъ же размѣрѣ обложены и ремесленные инструменты.

Наши музикальные инструменты, по качеству и силѣ тона и по прочности состава механизма, не выдерживаютъ никакого сравненія съ иностранными. Сверхъ того, наши такъ называемые фортепіянные фабриканты всѣ составныя части своихъ инструментовъ, струны, клавиши, деревянные клапаны, винты, металлическія доски, отчастіи даже и дерево выписываютъ готовыми изъ-за заграницы, а сами только ихъ собираютъ, да дѣлаютъ ящики, то есть являются скорѣе мебельными мастерами, чѣмъ фортепіянными фабрикантами. А между тѣмъ, иностранные флигели въ тарифѣ 1891 г. обложены наравнѣ съ органами въ 132 р. зол., т. е. почти въ 200 рублей кред. со штуки, а піанино — въ 80 р. зол. или въ 120 р. кред. И при всемъ томъ, разница въ качествѣ такъ велика, что иностранные флигели находили у насъ покупателей даже во время таможенной войны, когда пошлина съ рояля обходилась въ 257 руб. зол., т. е. въ 385 кред. руб.! При такихъ размѣрахъ обложенія инструментовъ заграничныхъ, немудрено, что и рояли внутренняго приготовленія (т. е. составленные изъ привозныхъ частей), на которыхъ играетъ уважаемый А. Г.

Рубинштейнъ — которые и хороши только тогда, когда на нихъ играеть онъ — доходятъ цѣною до 1,500 рублей.

Значеніе самого договора съ Германіей, за которымъ должны послѣдовать и другія конвенціи, опредѣляется прежде всего — сравненіемъ тѣхъ выгодъ для русской производительности, которая мы пріобрѣли теперь отъ Германіи — съ уступками, какія мы сами предоставили ей въ пониженіяхъ тарифныхъ ставокъ на ея продукты. Но какъ для разъясненія первоначальной причины таможенной войны, такъ и для опредѣленія нашего взгляда при сравненіи взаимныхъ уступокъ, намъ необходимо было начать съ указанія на чрезмѣрно протекціонистскій характеръ самого тарифа 1891 г., въ которомъ почти всѣ пошлины были установлены «съ болѣшимъ запасомъ». При сравненіи взаимныхъ уступокъ, намъ уже придется предполагать, что для Россіи этотъ договоръ выгоденъ, несмотря на тѣ пониженія въ пошлинахъ, какія она сама должна была сдѣлать. И вотъ, когда въ этихъ пониженіяхъ видѣть «жертвы» принесенные для пріобрѣтенія такихъ выгодъ, которая важнѣе, чѣмъ тѣ жертвы, мы и должны были прежде всего указать на непомѣрность обложенія 1891 года. Она такова, что никакихъ тутъ жертвъ мы собственно не видимъ и считаемъ прямо полезными для Россіи, какъ тѣ пониженія въ тарифѣ, которая она пріобрѣла отъ Германіи, такъ и тѣ, на которыхъ согласилась сама.

Заключеннымъ выиѣ трактатомъ Россія пріобрѣла, во первыхъ, на 10 лѣтъ прямые пониженія пошлинъ для ея товаровъ, ввозимыхъ въ Германію, опредѣленные въ особомъ приложеніи къ договору, а во вторыхъ, получила въ Германіи права наиболѣе благопріятствующей націи, вслѣдствіе чего и по всѣмъ остальнымъ статьямъ германского тарифа, на русскіе товары распространяются тѣ пониженные ставки, которая Германія предоставила на 10 лѣтъ другимъ государствамъ, съ которыми она заключила конвенціи. Такимъ образомъ, для нашихъ продуктовъ въ Германіи вновь предоставлена равноправность. Такъ какъ, по нашему мнѣнію, и тѣ уступки съ нашей стороны, которыми Россія купила себѣ это право, полезны не только для Германіи, но и для самой же Россіи, то намъ неѣ и нужды останавливаться на томъ обстоятельствѣ, что, какъ сообщаетъ «Вѣстникъ Финансовъ», Германія сперва требовала гораздо большаго, потомъ удовольствовалась гораздо меньшимъ, а Россія съ самаго начала требовала для своихъ продуктовъ только равноправности и добыла ее.

Нашъ годовой вывозъ въ Германію составляетъ около 200 милл. руб. кред. и главное мѣсто въ немъ занимаютъ жизненные припасы, то есть, отбросивъ менѣе значительные, другіе продукты — хлѣбъ, на который, въ среднемъ, приходится около 80 милл. руб. Весь нашъ средній годовой отпускъ жизненныхъ припасовъ въ Европу за 3-хъ лѣтие передъ 1891 г., когда вывозъ хлѣба былъ запрещенъ—составлялъ около 400 милл. руб. Стало быть, вывозъ хлѣба въ Германію равняется, смотря по году, примерно одной пятой всего нашего хлѣбнаго отпуска.

Вследствие заключения настоящего договора, русская пшеница и рожь будут подлежать въ Германию пошлине въ $3\frac{1}{2}$ марки (1 р. $8\frac{1}{2}$ к. зол.) со 100 килогр. ($6\frac{1}{4}$ пуда), что составляетъ 18 коп. зол. на пудъ, между тѣмъ, какъ въ настоящее время онѣ платили съ пуда 38 коп. зол., включая 50% осенней надбавки, а безъ нея, по дифференциальной пошлине съ 1892 года—26 к. зол. Эта дифференциальная пошлина, въ ущерб нашему хлѣбу образовалась отъ того, что Германия, въ конвенціяхъ съ другими государствами, понизила для нихъ пошлину на $1\frac{1}{2}$ марки за 100 килогр., а нашъ хлѣбъ остался въ конвенціи, т. е. безъ этой уступки. Это составляло 7,6 к. зол. или до 12 к. кред. разницы. Австрія, Америка, Франція платили то, что и мы будемъ теперь платить — 18 к. зол. съ пуда, мы же уплачивали, сверхъ того, еще 7,6 коп. зол., значитъ всего 25,6 к. з. А когда осенью набавили для насъ еще половину этой пошлины, то и составился упомянутый выше размѣр обложения—38 коп. зол. съ пуда.

Но будемъ сравнивать полученное нами облегченіе для главныхъ нашихъ хлѣбовъ не съ обложеніемъ дѣйствовавшимъ за послѣдніе мѣсяцы, а только съ прежнимъ, съ той дифференциальной пошлиной, какая образовалась въ 1892 г. и составляла 7,6 коп. мет. или до 12 коп. кред. Эту разность наши землевладѣльцы и земледѣльцы должны были принять на себя, такъ какъ экспортёры на столько же понизили цѣны за нашъ хлѣбъ, который иначе не могъ бы конкурировать заграницею съ хлѣбомъ другихъ странъ. А продавать хлѣбъ на 12 коп. кред. въ пудѣ дешевле значило лишиться значительной части дохода отъ его производства. При такихъ условіяхъ, если бы то количество русскаго хлѣба, на 80 м. р., примѣрно, въ годъ, которое идетъ въ Германию, могло быть, при некоторомъ удешевленіи, помѣщено на нашемъ внутреннемъ рынкеѣ, съ потерю противъ прежней цѣны, положимъ, хоть 6 коп., но не 12-ти, то нашъ хлѣбъ просто пересталъ бы идти въ Германию. Но такъ какъ мы вывозимъ только избытокъ хлѣба, причемъ нашъ отпускъ хлѣба заграницу значительно превышаетъ то количество хлѣба, которое продается на внутреннемъ рынкеѣ, то отсюда происходитъ, что цѣны, какія назначаютъ экспортёры заграницу, обусловливаютъ и цѣны на хлѣбъ на внутреннемъ рынкеѣ.

Вотъ отчего и зависѣло то обстоятельство, что вслѣдствіе дифференциальной пошлины въ Германию, наши сельскіе хозяева должны были терять значительную часть своего дохода, особенно на ржи, которой вывозъ заграницу гораздо болѣе, чѣмъ наполовину направляется именно въ Германию. А теперь, когда Франція и Италія подняли обложение привознаго хлѣба почти въ $1\frac{1}{2}$ раза, наши цѣны тѣмъ болѣе стали бы зависимы отъ цѣны германской. Заключеніе нынѣшняго трактата подаетъ надежду на устраненіе искусственно вызванного паденія цѣнъ на нашъ хлѣбъ, а стало быть на возвышение дохода сельскихъ хозяевъ и средствъ массы населенія на приобрѣтеніе произведеній нашей же промышленности. Заключенный на 10 лѣть, договоръ вносить въ производства нѣкоторое успокояніе и нѣкоторую увѣренность. Трактатъ, кромѣ равноправ-

ности нашему хлѣбу въ Германіи, даетъ еще существенныя облегченія и другимъ значительнымъ предметамъ нашего вывоза, каковы: лѣсь, животные продукты, животныя, яйца, и обезпечиваетъ на 10 лѣтъ существующую беспошлинность ввоза въ Германію нашихъ: льна, пеньки, шерсти, волоса, щетины, масляныхъ выжимокъ и проч.

Чтобы пріобрѣсть тарифныя уступки со стороны Германіи и право наиболѣе благопріятствуемой державы на ея рынкѣ, Россія, въ свою очередь, должна была предоставить тарифныя пониженія германскимъ продуктамъ. Мы уже сказали, что по важнѣйшимъ статьямъ привоза изъ Германіи, уступки сдѣланы въ небольшомъ размѣрѣ, отъ 10 до 20 процентовъ со ставокъ тарифа 1891 г. Такъ, для желѣза не въ дѣлѣ назначено съ пуда, вмѣсто прежнихъ 25 к. до 1 руб. (по разнымъ видамъ)—отъ 30 к. до 80 к., для рельсовъ вмѣсто 60 к.—50 к., для издѣлій изъ желѣза и чугуна вмѣсто 1 р. 70 к.—1 р. 40 коп., для машинъ вмѣсто 4 р. 80 к.—4 р. 32 к., для локомотивовъ вмѣсто 2 р.—1 р. 80 к., для локомобилей и швейныхъ машинъ вмѣсто 1 р. 70 к.—1 р. 40 к., для сельскохозяйственныхъ машинъ безъ парового двигателя вмѣсто 70 к.—50 к., для паровыхъ молотилокъ вмѣсто 1 р. 40 к.—1 р. 20 к., для ножевого товара вмѣсто 16 р. 5 к.—13 р. 60 к., для кость, серповъ, заступовъ и виль вмѣсто 1 р. 40 к.—1 р. 10 к., для чесанной шерсти вмѣсто 5 р. 50 к.—4 р. 50 к., для гончарныхъ издѣлій вмѣсто 30 к.—25 к., для фаянсовыхъ вмѣсто 1 р. 40 к.—1 р. 25 к.

Только на два изъ важнѣйшихъ предметовъ привоза сдѣланы пониженія значительныя, а именно въ 50% прежней пошлины: на каменный уголь вмѣсто 2 к.—1 коп., и на коксъ вмѣсто 3 к.— $1\frac{1}{2}$ коп. съ пуда. Нынѣшній угольный кризисъ показалъ необходимость такого пониженія, которое, къ сожалѣнію, допущено только по сухопутной границѣ. Но пѣмъ менѣе важныхъ предметовъ германского привоза значительныя пониженія допущены для многихъ. Такъ, пошлины уменьшены: съ бархата и плюша—съ 7 р. 50 к. до 3 р., т. е. до менѣе чѣмъ половины, на музыкальные инструменты (кромѣ фортепьяно и органовъ), а также части фортепьянныхъ механизмовъ, струны и проч., также на половину—съ 20 к. до 10 к.; но рояли и піанино облегчены мало: рояли и органы—съ 132 р. до 112 руб. со штуки, а піанино—съ 80 р. до 64 руб. Зато такой интересный предметъ ввоза, какъ сдѣленные изъ писчей бумаги воротнички, манишки и маншеты, получилъ понижение съ 72 р. на пудъ до 2 р. 40 к.; очевидно, прежняя пошлина имѣла цѣлью устранить эту дрянь. На писчую и типографскую бумагу пониженіе составляетъ только—съ 10 р. 60 к. до 8 р. 75 к. Сильно понижены ставки для записныхъ книжекъ, бумажниковъ и т. п. изъ замши и глянцевой кожи—съ 3 р. до 70 коп.; для часовъ—доселѣ 75 коп. со штуки, впредъ беспошлинно; для химическихъ и фармацевтическихъ продуктовъ (кромѣ особо названныхъ)—съ 2 р. 40 к. до 1 р. 50 к., для полушелковыхъ зонтиковъ—съ 2 р. 50 к. до 1 р. 50 к. на штуку; на желѣзную и стальную прово-

локу—съ 9 р. до 3 р. 20 к. на пудъ, на хмѣль—съ 10 р. до 3 р. 50 к. Въ заключеніе, сообщимъ нашимъ читательницамъ, что дамскія шляпы, которыя несли пошлину въ 18 р. зол. съ фунта, «подешевѣютъ», такъ какъ пошлина понижена до 15 р. 30 к. зол. А такъ какъ теперь носять и такія шляпы, въ которыхъ фунтъ вѣса, то пошлина съ нихъ, вмѣсто 27 р. кред., будетъ только 23 р. кред. со штуки! Читателей же познакомимъ съ фактомъ, что виноградная и ягодная вина понижены всего съ 45 к. до 38 к., а шипучія съ 1 р. 40 к. до 1 р. 19 к. на бутылку.

Мы сочли не лишнимъ дать перечень самыхъ ставокъ въ договорѣ, сравнительно со ставками тарифа 1891 г.; замѣтимъ, что всѣ ставки приведены нами въ металлической валюте. Такимъ образомъ, читатели нагляднѣе могутъ судить о величинѣ и значеніи взаимныхъ уступокъ, чѣмъ если бы мы ограничились только общими опредѣленіями. Сравнивать значеніе взаимныхъ уступокъ можно только на основаніи данныхъ обѣ отпускѣ и привозѣ за прежніе годы, а на основаніи этихъ данныхъ, надо признать, что настоящимъ договоромъ мы болѣе получили отъ Германіи, чѣмъ дали ей. Но очень вѣроятно, что въ силу тѣхъ понижений, которыя теперь сдѣланы для германскихъ продуктовъ, самая картина привоза изъ Германіи совершенно измѣнится, на что тамъ, конечно, и надѣются. Что касается настѣ, то наши хлѣбныя цѣны поправятся и это—главный вѣроятный результатъ договора, земледѣліе станетъ прибыльне. Нашъ хлѣбный отпускъ въ Германію усилится, русскій хлѣбъ вновь завоюетъ себѣ на тамошнемъ рынкеѣ если не вполнѣ, то хоть отчасти, то мѣсто, какое ему принадлежало прежде, а потомъ было занято хлѣбомъ другихъ, болѣе благопріятствованныхъ странъ.

Это уже составить большую заслугу инициаторовъ трактата съ Германіею. А такъ какъ теперь уже ведутся переговоры о торговыхъ же конвенціяхъ съ Австро-Венгріею, Испаніею и Португаліею, то надо надѣяться, что современемъ, путемъ сепаратныхъ конвенцій—все тяжкое зданіе тарифа 1891 г. фактически приведется къ болѣе умѣреннымъ размѣрамъ, что, повидимому, не противорѣчитъ нынѣшнимъ взглядамъ самыхъ творцовъ этого тарифа, такъ какъ, по извѣстію «Гражданина», при обсужденіи договора съ Германіею въ государственномъ совѣтѣ бывшій министръ финансовъ И. А. Вышнеградскій назвалъ этотъ договоръ «дѣломъ блестательнымъ». И мы, съ своей стороны, считаемъ это дѣло весьма полезнымъ, а по неожиданности его и независимости взгляда его внушившаго — весьма примѣчательнымъ.

Теперь перейдемъ къ другому тарифу, который преобразовывается по почину министерства финансовъ. Живой интересъ представляютъ работы комиссіи по пересмотру пассажирскихъ тарифовъ желѣзныхъ дорогъ. Коммісія, ко времени составленія нашего обзора, имѣла два засѣданія, подъ предсѣдательствомъ директора департамента желѣзодорожныхъ дѣлъ министерства финансовъ, и въ принципѣ уже решила вопросъ въ смыслѣ очень значительного пониженія проѣздныхъ платъ, особенно

на самыя большія разстоянія. Нѣкоторыя газеты замѣчаютъ, что дѣло это могло быть пущено въ ходъ теперь по той причинѣ, что исчезло Главное общество, которое бы составило для него препятствіе.

Но вопросъ этотъ былъ сперва поднятъ въ томъ же департаментѣ еще два года тому назадъ, когда директоромъ департамента былъ нынѣшній министръ финансовъ С. Ю. Витте, знатокъ желѣзнодорожнаго дѣла. Онъ сразу настоялъ въ то время на нѣсколькихъ существенныхъ улучшеніяхъ въ самыхъ графикахъ: на введеніи въ болѣшемъ числѣ — прямыхъ сообщеній, на ускореніи поѣздовъ. Имъ, тогда же, былъ возбужденъ вопросъ о пониженіи пассажирскихъ тарифовъ и вопросъ этотъ былъ уже подвергнутъ старателльной разработкѣ. Существованіе Главнаго общества едва ли могло быть помѣхой для достижения желательнаго результата, такъ точно какъ оно не помѣшало регулированію, по видамъ министерства финансовъ, тарифовъ товарныхъ, въ которыхъ желѣзнодорожныя общества заинтересованы гораздо больше, чѣмъ въ пассажирскомъ. Полагаемъ, что тогдашнія работы пріостановились просто потому, что директоръ занялъ постъ министра финансовъ и вниманіе его привлекли на себя дѣла болѣе настоятельныя. Главному же обществу слѣдуетъ поставить въ вину, что послѣ того, оно уже опять нѣсколько замедлило движеніе поѣздовъ на варшавской дорогѣ и это замедленіе, въ сравненіи съ тѣмъ, что было достигнуто въ 1892 году, остается до сихъ поръ.

Въ то время были уже вполнѣ выяснены два основные факта, требующіе непремѣнно значительного пониженія пассажирскаго тарифа, особенно на большихъ разстояніяхъ. Но здѣсь, мимоходомъ, мы спросимъ, почему если пассажиру, который, положимъ, переселяется изъ Петербурга въ Москву плата за проѣздъ будетъ уменьшена по расчету 600 верстъ, не предполагается предоставить равнаго пониженія тому пассажиру, который въ теченіе полутора сутокъ сдѣлаетъ тѣ же 600 верстъ, проѣхавъ до Бологаго и возвратясь въ Петербургъ? Разсматривается вопросъ о всеобщемъ пониженіи платы за проѣздъ въ одинъ конецъ, будутъ рассматриваться вопросы о еще болѣшемъ пониженіи по билетамъ круговыхъ и по дачному сообщенію. Но что-то не слышно обѣ особомъ пониженіи для билетовъ обратныхъ, годныхъ только на короткое время. А между тѣмъ, такие билеты введены заграницею и у насъ на финляндской дорогѣ. Уступка на проѣздъ въ два конца, въ краткій срокъ, болѣе, чѣмъ всякая иная способна именно создать совершенно новыя категоріи пассажировъ, то есть вызвать много такихъ поѣздокъ — по торговымъ дѣламъ, для свиданія съ семьей или родственниками, для пріисканія заработка — которыхъ нынѣ не предпринимаются и впредъ предприниматься не будуть, если не будетъ уступки на проѣздъ въ два конца, въ теченіе положимъ недѣли, для значительныхъ разстояній, и 3—4 дней — для малыхъ. Такъ какъ пониженіе предполагается только на разстояніяхъ свыше 160 верстъ, то, стало быть, сѣзжать изъ Петербурга въ

имѣніе близъ Бологаго, дня на три, будетъ стоить то же самое, что теперь. Итакъ, кто не ѣздилъ туда лишний разъ доселѣ, тотъ не поѣдетъ и впредь, что представитъ отсутствіе для желѣзной дороги новой категоріи дохода. Проѣзжая то же самое разстояніе прямо до Москвы, пассажиръ 2 класса будетъ платить почти вдвое меныше; а до Бологаго и назадъ—прежнее. Сверхъ того, почему ѻдущему въ Москву дѣлать невыгодной остановку на день — два въ Твери? Если онъ долженъ будетъ брать билеты сперва только въ Тверь, а потомъ изъ Твери въ Москву, то уступка противъ нынѣшняго будетъ дѣлаема для него сперва не по разсчету $\frac{2}{3}$ отъ 600 верстъ, но въ меньшемъ размѣрѣ, положенному для 400 верстъ; затѣмъ, на разстояніи отъ Твери до Москвы онъ получить уже совсѣмъ малую уступку, положенную для 200 верстъ. Намъ кажется, слѣдовало бы непремѣнно установить, что билетъ прямого сообщенія допускаетъ высадку по дорогѣ, даже нѣсколько высадокъ, съ тѣмъ только, чтобы билетъ штемпелевался на промежуточныхъ станціяхъ и оставался годенъ въ теченіе двойного времени противъ того, какое нужно на непосредственный сквозной проѣздъ на дальнее разстояніе.

Прибавимъ здѣсь же, впереди, еще одно соображеніе, на которое комисія не обратила вниманія, такъ какъ въ ея предположеніяхъ упоминается о поѣздахъ «пассажирскихъ», почтовыхъ и курьерскихъ или скорыхъ. Предполагается сдѣлать обязательнымъ включеніе нѣсколькихъ вагоновъ 3 класса въ почтовые поѣзда, что теперь на нѣкоторыхъ дорогахъ не допускается, а платы за проѣздъ въ поѣздахъ скорыхъ опредѣлять съ надбавкой 33 процентовъ. Объ увеличеніи же скорости нѣть рѣчи. Но такъ какъ самые наши «молниеносные» курьерскіе поѣзды не ходятъ даже и 50-ти верстъ въ часъ, то допуская рядомъ поѣзды медленные, каковы «почтовые», идущіе около 30 верстъ въ часъ, для чего же оставлять затѣмъ еще поѣзды сугубо-медленные, т. е. пассажирскіе, которые на лучшихъ дорогахъ, какова варшавская, ползутъ по 20 верстъ въ часъ, то есть перегоняются на небольшихъ разстояніяхъ — велосипедомъ? Такъ, пассажирскій поѣздъ № 5 изъ Петербурга въ Варшаву выходитъ въ 10 час. вечера, а приходить къ мѣсту назначенія на третій день, въ 8 час. 45 мин. утра, то есть, разстояніе въ 1044 версты проходить въ 35 часовъ безъ четверти, стало быть не идетъ и 21 версты въ часъ. На что такие поѣзда, когда и почтовый-то ходить довольно уже по-черепашь, а именно 32 часа? Теперь въ этомъ почтовомъ есть только одинъ вагонъ 3 класса (прямого сообщенія съ юго-западными дорогами), но когда ихъ будетъ нѣсколько, то какой былъ бы смыслъ оставлять еще усиленно - медленные поѣзды, которые идутъ тремя часами еще дольше?

Скажутъ—безопасность движенія большого поѣзда. Но вѣдь и почтовые, съ нѣсколькими вагонами 3 класса, станутъ столь-же большими. Да и развѣ возможно въ самомъ дѣлѣ различать наши поѣзды по скорости ихъ дѣйствительного движенія? Иной пассажирскій, застоявшись на нѣ-

сколькихъ станціяхъ, катить потомъ такъ, что его и отъ «молніи» (46 в. въ часть!) не отключишь. Наши поѣзды различаются не по скорости дѣйствительного ихъ хода, которая въ разное время сама бываетъ очень различна, но по простоту ихъ на станціяхъ. Всѣ они стоять долго, курьерскіе меныше, почтовые уже слишкомъ, а пассажирскіе — изъ рукъ вонь. Такъ упомянутый варшавскій поѣздъ № 5 имѣеть на 54 станціи *четырнадцать* такихъ остановокъ, которыхъ длится 10, 20, 30 и 40 минутъ! Спрашивается, кому это нужно? Развѣ содергателямъ буфетовъ. Сдѣлайте эти 14 остановокъ каждую—въ 6 минутъ и вотъ уже будутъ выгоданы $2\frac{1}{2}$ часа пути. А если на остальныхъ 40 станціяхъ уменьшить остановки въ среднемъ на $1\frac{1}{2}$ м. на каждой, то вотъ еще часть.

Но мы взяли расписаніе петербургско-варшавской дороги; а есть дороги, на которыхъ имѣются такие пассажирскіе поѣзды, которые идутъ по 16 верстъ въ часъ, такъ что съ ними можно перегоняться на хорошей тройкѣ.

Выше было упомянуто обѣ установленныхъ еще въ 1892 году двухъ основныхъ фактахъ, которые доказываютъ совершенную необходимость пониженія нашего пассажирскаго тарифа. Они представляются тѣмъ, что нашъ тарифъ, въ среднемъ, выше, чѣмъ существующіе гдѣ-либо въ Европѣ и что пассажирское движеніе на 1 версту возрастаетъ слишкомъ медленно, а въ первыхъ двухъ классахъ—уменьшается, несомнѣнно вслѣдствіе дороживы проѣзда. Поверстная плата съ самаго начала была установлена слишкомъ высокая, а именно $1\frac{1}{4}$ коп. для третьаго класса, $2\frac{1}{4}$ к. для второго и $3\frac{1}{2}$ к. для первого. Плату 3 класса можно-бы еще признать не слишкомъ дорогою—при небольшихъ разстояніяхъ, такъ какъ она составляетъ на 100 верстъ 1 р. 25 к.; но съ прибавкой налога въ 15%, она уже слишкомъ высока, а на большихъ разстояніяхъ обременительна. Плата-же во 2 классѣ, которая, при налогѣ въ 25%, является двойной противъ платы въ 3 классѣ, уже ни съ чѣмъ несообразна. И никакой уступки при дальнихъ разстояніяхъ. Такъ, цѣна проѣзда по варшавской дорогѣ въ каждомъ изъ трехъ классовъ представляется слѣдующими цифрами: до Царскаго Села—79 коп., 59 к., 30 к., а до Варшавы—39 р. 21 к., 29 р. 41 к. и 15 р. 4 к. Такимъ образомъ, при опредѣленіи такъ называемаго максимальнаго пассажирскаго тарифа, который сдѣланъ нормальнымъ, вовсе не было принято во вниманіе то обстоятельство, что въ Россіи болѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ Европѣ, желѣзныя дороги призваны бороться съ пространствомъ, дѣлать доступными сообщенія пунктовъ, разделенныхъ огромными разстояніями. Въ Одессу черезъ Бѣлостокъ, прямымъ сообщеніемъ, цѣна въ 1 кл. 72 р., а во 2-мъ 54 р. По такому разсчету, билеты изъ Петербурга въ Иркутскъ стоили бы 240 и 180 рублей.

А между тѣмъ, какъ показываютъ цифры, собранныя комиссіей, пѣвсего числа 30 милл. пассажировъ 3-го класса въ году, на разстояніе свыше 300 верстъ проѣзжаютъ только 442 тысячи. И такъ, даже пред-

полагая, что сборъ упадеть въ той-же пропорці, какъ уменьшится плата, что-же значило-бы для желѣзныхъ дорогъ уменьшить плату для 1 пассажира изъ 60, или примѣрно изъ 30, если не считать половины всего итога, а именно—пассажировъ, ёдущихъ на разстоянія менѣе 50 верстъ? Но нѣтъ, не допускали уступки и тѣмъ стѣсняли дальняя поездки; такъ, на разстоянія болѣе 1000 верстъ, изъ 30 милл. пассажировъ, оказывалось всего 90 тысячъ. Любопытно и то, что дачное или вообще пригородное движение составляло 54% общаго числа пассажировъ 3 класса. Можно было-бы полагать, что вслѣдствіе того, числа пассажировъ 2 и даже 1 класса окажутся сколько-нибудь значительными въ общихъ итогахъ, такъ какъ въ дачномъ и вообще пригородномъ движениі—значительное число пассажировъ достаточныхъ. Между тѣмъ, пассажировъ 2 класса оказывается всего 2 милл., а 1-го менѣе 400 тысячъ—рядомъ съ 30 миллионами пассажировъ 3-го класса. Отсюда слѣдуетъ, что и въ дачномъ движениі числа ёздящихъ во 2 и 1 классахъ должны быть незначительны, въ сравненіи съ числомъ ёздящихъ въ 3 классѣ. И это вполнѣ естественно: когда во 2 классѣ вдвое дороже, чѣмъ въ третьяемъ, то и достаточный, сколько-нибудь разсчетливый человѣкъ будетъ ёздить въ 3-мъ классѣ.

Изъ приведенныхъ данныхъ совершенно ясно, что даже сильное пониженіе платы на большія протяженія вполнѣ безопасно, такъ какъ число пассажировъ на эти разстоянія слишкомъ невелико; то же самое слѣдуетъ сказать и объ удешевленіи проѣзда въ двухъ высшихъ классахъ, потому что число такихъ пассажировъ невелико въ общемъ итогѣ движения. Но пониженіе платы не только не опасно для дохода, а наоборотъ, должно его примѣрно возвысить, черезъ немногого лѣтъ, когда это измѣненіе вызоветъ новыя категоріи пассажировъ, усилить движение на большія разстоянія, создастъ новыя привычки.

Ближайшимъ средствомъ для удешевленія ёзды на желѣзныхъ дорогахъ была-бы отмена налога на билеты. Налогъ этотъ даетъ казнѣ менѣе 9 милл. р. въ годъ, а между тѣмъ введеніе его прямо остановило развитіе пассажирскаго движения, которое хотя и возрастаетъ медленно, но только вслѣдствіе постройки новыхъ линій, а въ двухъ высшихъ классахъ уменьшается. Налогъ этотъ былъ введенъ покойнымъ С. А. Грейгомъ въ 1878 году, когда вслѣдъ за войной предвидѣлся дефицитъ и необходимо было ввести такие налоги, которые могли поступать съ самаго дня ихъ обнародованія и доставить миллионовъ 25 для уравновѣшенія бюджета. Тогда и были введены: увеличеніе винного акциза на 1 коп. съ градуса, налогъ съ пассажировъ и грузовъ большой скорости на желѣзныхъ дорогахъ и налогъ на страхование отъ огня. Два послѣдніе вида обложенія представляются безусловно анти-экономическими; но намъ положительно известно, что самъ покойный Грейгъ считалъ ихъ временными и только въ свое менѣе чѣмъ трехлѣтнее, управлѣніе финансами, не успѣть замѣнить ихъ иными. Но съ 1881 г. общее обложеніе возросло на столько,

что давно можно было отмѣнить упомянутые налоги, тѣмъ болѣе что, по справедливому замѣчанію А. А. Головачова въ «Р. Вѣдомостяхъ», такъ какъ пассажирское движеніе перестало возрастать, то «налогъ съ пассажирскихъ билетовъ былъ не болѣе какъ фикціей, отразившейся въ недоборѣ чистаго дохода желѣзныхъ дорогъ, а слѣдовательно, и въ недоборѣ суммъ, поступавшихъ отъ нихъ (въ казну) въ уплату процентовъ съ облигационаго капитала».

Налогъ этотъ въ настоящее время наполовину потерялъ и значеніе налога, такъ какъ половина сѣти находится уже въ рукахъ казны. Но одна отмѣна налога составляла-бы пониженіе слишкомъ малое и не устранила-бы того ни съ чѣмъ несообразнаго факта, что съ билета на 2000 верстъ не дѣлается никакой скидки, въ сравненіи съ билетомъ на 20 верстъ. И дѣйствительно, большої заслугою комиссіи является принятное ею рѣшеніе—понизить тарифы на сколько-нибудь дальнія протяженія въ большомъ размѣрѣ. При ставкѣ въ $1\frac{1}{4}$ к. съ версты въ 3 классѣ и 15% налога, цѣна за проѣздъ на 160 верстъ составляетъ 2 р. 30 к. По даннымъ, опубликованнымъ въ «Торгово-Промышленной Газетѣ», комиссія остановилась на слѣдующемъ предположеніи: на разстояніяхъ до 160 верстъ платы останутся прежнія, а къ платѣ за 160 в. будетъ прибавляемо, на разстояніяхъ до 300 в., по 0,8 коп. съ версты; затѣмъ, къ платѣ за 300 в.—по 0,7 к. до 500 в.; къ платѣ за 500 в.—по 0,6 к. до 700 в. и т. д.; такъ что, наконецъ, къ платѣ за 1500 в. прибавляется только 0,3 к. за версту и это уже—на всякое дальнѣйшее разстояніе.

Прибавляя сюда налогъ въ 15%, получаются такія платы для 3 класса, сравнительно съ существующими: за 500 в. 5 р. 16 к. вмѣсто 7 р. 19 к.; за 700 в. 6 р. 56 к. вмѣсто 10 р. 6 к.; за 1000 в. 8 р. 38 к. вмѣсто 14 р. 38 к.; за 1500 в. 10 р. 86 к. вмѣсто 21 р. 56 к., а за 3000 в. 16 р. 86 к. вмѣсто 43 р. 13 к. Это свѣдѣніе мы заимствуемъ изъ «Новаго Времени». Итакъ изъ Петербурга въ Одессу въ 3 классѣ будетъ стоить вдвое дешевле, чѣмъ теперь и это вполнѣ раціонально и справедливо. Только при такомъ пониженіи нынѣшняго тарифа мыслимо въ самомъ дѣлѣ огромное оживленіе сообщеній Сибири съ Европейскою Россіей.

По извѣстію той-же газеты, комиссія признала возможнымъ стоимость проѣзда во 2 классѣ опредѣлять въ полуторномъ размѣрѣ противъ платы въ 3 кл., хотя были высказаны мнѣнія и за болѣе высокую цѣну, а именно за исчисленіе не въ $1\frac{1}{2}$ раза но въ $1\frac{3}{4}$. Это было-бы близко къ нынѣшнему и совершенно непрактично. Если въ 3 классѣ движеніе возрастаетъ слабо и только отъ открытія новыхъ линій, то во 2-мъ оно рѣшительно падаетъ, не смотря на расширение сѣти. Число пассажировъ 2 класса уменьшалось за три года 1889, 1890 и 1891 въ тысячахъ такъ: 2115, 2085, 2022, т. е. рѣшительно падало, не смотря на открытіе новыхъ линій. Въ 1 классѣ число пассажировъ упало менѣе, чѣмъ во 2-мъ, и это объясняется просто дорожевизной 2 класса сравнительно съ третьимъ. Кому недороги иѣсколько лишнихъ рублей, тотъ Ѣдетъ въ 1 классѣ, гдѣ

можетъ получить спальный билетъ, да и безъ него, навѣрное, цѣлую скамейку. А для кого нѣсколько рублей составляютъ большой разсчетъ, тотъ єдетъ въ 3 классѣ. Мы знаемъ такой примѣръ: человѣкъ съ положенiemъ въ обществѣ ежегодно єздитъ съ женой и дочерью изъ Одессы на дачу близь Петербурга, къ роднымъ, и постоянно въ 3 классѣ, по той простой причинѣ, что во 2 классѣ, за три билета, сюда и обратно, ему пришлосьбы платить 324 рубля, что было немыслимо при его жалованье; и вотъ онъ, съ женой и дочерью шесть сутокъ єхалъ сюда и назадъ въ 3 классѣ за 167 рублей. При такихъ цѣнахъ, мѣста во 2 классѣ, положимъ, заняты на николаевской дорогѣ, больше чѣмъ наполовину; но на варшавской и на югозападныхъ дорогахъ во 2 классѣ пожалуй больше простора, чѣмъ на николаевской въ 1-мъ. Цѣна во 2 классѣ ни въ какомъ случаѣ не должна быть болѣе, чѣмъ полуторная противъ 3 класса. Что касается 1 класса, то, по известію «Нов. Времени», комиссія единогласно признала возможнымъ взимать плату въ $2\frac{1}{2}$ раза высшую противъ 3 класса; а достаточно-бы и въ 2 только, иначе скидка, напр., отъ Петербурга до Москвы въ почтовомъ поѣздѣ составитъ всего 16%.

Предполагается, что доходъ отъ пассажирскаго движенія, вслѣдствіе проектируемой значительной сбавки цѣнъ, долженъ будетъ, на первое время, уменьшиться на сумму отъ 7 до 8 милл. руб. Но мы полагаемъ, что уже года черезъ два онъ возстановится, вслѣдствіе усиленія движенія, а года черезъ три, когда успѣютъ сказаться всѣ послѣдствія, онъ даже возрастѣтъ противъ нынѣшней цифры.

Въ половинѣ минувшаго мѣсяца, комиссіи еще предстояло разсмотрѣть вопросы о тарифахъ для двухъ высшихъ классовъ, для багажа, для круговыхъ поѣздокъ и существующихъ нынѣ тарифахъ льготныхъ, которые предполагается въ большей части отмѣнить, въ виду значительного пониженія цѣны билетовъ въ 3 классѣ. Положимъ, при общемъ удешевленіи проѣзда можно будетъ отмѣнить такую льготу, какъ право офицеровъ єздить во 2 классѣ съ билетомъ 3 класса. Но не слѣдуетъ отмѣнять такихъ льготъ, которыя позволяютъ нѣкоторымъ категоріямъ лицъ предпринимать лишній разъ въ годъ поѣздку. Пояснимъ это на примѣрѣ. Плата за 500 верстъ по новой ставкѣ понижается съ 7 р. 19 к. до 5 р. 16 к., т. е. менѣе чѣмъ на треть прежней цѣны, между тѣмъ, какъ при льготномъ тарифѣ, нѣкоторыя лица могутъ єхать за половинную цѣну, т. е. за 3 р. 60 коп. Зачѣмъ-же заставлять ихъ платить 1 р. 56 к. дороже, чѣмъ они платятъ теперь, почти на половину дороже нынѣшней, льготной цѣны? Точно такъ, общее удешевленіе билетовъ не должно препятствовать допущенію льготъ въ нѣкоторыхъ особыхъ случаяхъ, какъ напр. специально для посѣщенія какой-нибудь большой выставки, какъ то дѣлается вездѣ въ Европѣ. Не допуская подобныхъ льготъ, имѣющихъ особое или временное назначеніе, желѣзныя дороги создаютъ только фиктивное огражденіе дохода: на выставку проѣдетъ меньше народа и желѣзная дорога можетъ болѣше потерять на числѣ пассажировъ, чѣмъ выиграть на охраненіи нормальной платы.

Наконецъ, надо сказать и то, что, это предположеніе пониженіе платы на разстоянія свыше 160 верстъ еще не составляетъ послѣдняго слова въ облегченіи пассажирскаго движенія, въ выдахъ его развитія. Необходимо осуществить современемъ пониженіе и на разстоянія меньшія 160 верстъ, меньшія даже 50 верстъ. Почему далѣе 160 верстъ примѣняется одно разсужденіе — что пониженіе платы вознаградится усиленіемъ движенія, а до предѣла 160 верстъ признается убѣдительнымъ другое разсужденіе, то именно, что съ пониженіемъ платы упадетъ и доходъ? Въ этомъ проявляется несомнѣнное противорѣчіе. Его оправдываютъ тѣмъ, что уступка съ малыхъ платъ не чувствительна для публики. Но когда малая плата производится много разъ, то она равняется большой. Оставленіе для разстояній менѣе 160 в. нынѣшихъ ставокъ, которыя признаны чрезмѣрными, вяушено не логикой, но оппортунизмомъ. Коммисія предполагаетъ разсмотрѣть особо вопросъ о «дачномъ» движеніи. Но поѣздки дачниковъ не имѣютъ такого значенія, какъ поѣздки подгородныхъ крестьянъ, съ мѣшками и корзинами ихъ продуктовъ, къ ближайшему рынку. Оставляя проѣздъ для нихъ по желѣзной дорогѣ, верстъ за 30, дорогимъ, заставляютъ ихъ тратить на проѣздъ на лошади, съ четырьмя лукошками яицъ, цѣлыя сутки, вмѣсто 3—4 часовъ, или принуждаютъ ихъ, вмѣсто того, чтобы самимъ везти корзинку съ птицей, съ яйцами, теленка, нѣсколько кружковъ масла — продавать эти продукты въ деревнѣ, за полцѣны, скупщику. Необходимо, чтобы, обсуждая вопросъ о «дачномъ» движенії, коммисія рассматривала его въ смыслѣ не «дачнаго», но пригороднаго вообще.

Сверхъ того, радикальнымъ преобразованіемъ существующаго пассажирскаго тарифа можно бы признать только такое, которое удешевляло бы въ большомъ размѣрѣ все движеніе на какихъ бы то ни было разстояніяхъ. Допустимъ, что проѣздъ отъ Колпина, Лигова, Гатчины въ Петербургъ, какъ и проѣздъ отъ Любани, Нарвы и Луги — т. е. на разстояніяхъ менѣе 160 верстъ, уменьшенъ противъ нынѣшняго втрое. Тогда и при одинаковой поверхстной платѣ на всякия разстоянія, пассажиръ платилъ бы за 3000 верстъ 14 р. 37 коп., вмѣсто нынѣшніхъ 43 р. (въ проектѣ предположено на такое разстояніе пониженіе съ 43 р. до 16 р.) Но вмѣстѣ съ тѣмъ, и пригородный мужикъ ъездилъ бы въ городъ по желѣзной дорогѣ даже съ малымъ количествомъ продуктовъ, не теряя на это сутки или не продавая на мѣстѣ кулаку, а на частыхъ его поѣздкахъ, вѣроятно, вознаградилось бы самое пониженіе.

Этого не рѣшились сдѣлать по тому соображенію, что большая часть пассажировъ проѣзжаютъ дистанціи небольшія и пониженіе платы съ нихъ было бы шагомъ рискованнымъ, могло бы уронить весь доходъ отъ пассажирскаго движенія. А между тѣмъ, почему же не допустить, что и здѣсь пониженіе платы можетъ вызвать большое развитіе движенія, которое поддержитъ доходъ? Окончательную схему пассажирскаго тарифа мы представляемъ себѣ въ такомъ видѣ: платы на всякия разстоянія понижены

такъ, что даже при одинаковой ставкѣ, пассажиры самыхъ дальнихъ разстояній платятъ втрое меныше нынѣшняго. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, и мѣстное движеніе усилилось втрое. Тогда на далекія разстоянія слѣдовало бы все-таки сдѣлать еще особыя скидки, но уже въ меньшемъ, относительно, размѣрѣ, чѣмъ въ той, только частно - улучшающей, но тѣмъ не менѣе важной и полезной мѣрѣ, какая проектирована теперь.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЗАМѢТКИ.

Г. Михайловскій и его разсужденія о русской литературѣ.

I.

Въ французскомъ журналь «Revue des Revues» (1894 г., №№ 2, 3) напечатана небольшая статейка г. Михайловского подъ названіемъ «Литературное движение въ Россіи». Авторъ задумалъ въ немногихъ чертахъ представить передъ иностранцами подлинную картину нашей умственной истории XIX вѣка въ тѣхъ эпизодахъ, которые должны быть признаны наиболѣе характерными для русской культуры, наиболѣе типичными для развитія русской мысли. На немногихъ страницахъ, написанныхъ отрывочными фразами, перебивающими другъ друга и какъ-бы порывающимися объединить различныя тенденціи, г. Михайловскій передаетъ намъ свои убѣжденія по различнымъ вопросамъ русской жизни въ категорическихъ выраженіяхъ литературного манифеста. Все, что дѣлалось въ Россіи до нашихъ дней включительно, разсмотрѣно съ опредѣленной точки зреянія, придающей статьѣ характеръ сжатаго, компактнаго свода тѣхъ понятій, которыя до сихъ поръ управляли русскимъ прогрессомъ, давали опору для оценки прошедшей русской жизни и, можно сказать, бросали тѣни будущихъ событий. По манерѣ отношенія къ задачамъ русского искусства, по типичности красокъ, въ которыхъ выступаютъ предъ нами наиболѣе замѣчательные дѣятели русской поэзіи, по меланхоличности разсужденій о современномъ состояніи нашей литературы и по мажорности тѣхъ атестацій, которыя раздаются вождямъ журнального радикализма въ пропагандѣ, это одна изъ самыхъ характерныхъ статеекъ г. Михайловского, представляющая хороший заключительный аккордъ къ его тридцатилѣтней публицистической дѣятельности. Можетъ быть никто лучше г. Михайловского, между дѣятелями современной печати, не сумѣлъ бы отразить тѣхъ взглядовъ, которые такъ широко распространились въ русскомъ обществѣ, той популярной философіи, которая, пройдя въ русскую жизнь подъ гнетомъ либеральной публицистики прошедшихъ дней, съ азартомъ захлестывала все, что противорѣчило ея реалистиче-

скому принципу, и съ ничѣмъ не оправдываемою самонадѣянностью отталкивала пынья движенія, пробивающіяся изъ глубины народной души. Многолѣтняя работа въ журналѣ, шедшемъ наравнѣ съ вѣкомъ, но не выставившемъ изъ своей среды ни одного самостоятельного, глубокаго мыслителя, работа, достигавшая наибольшаго эффекта тогда, когда она являлась выраженіемъ задорныхъ настроеній въ представителяхъ прогрессивной молодежи, постоянно сверкающая зажигательными словами демократического лексикона, такая работа должна была развить въ г. Михайловскомъ большую выразительность въ изложеніи именно самыхъ популярныхъ, ходящихъ мнѣній. Каждое движеніе имѣть своихъ типическихъ знаменосцевъ, и литературно-нигилистическое движеніе, порожденное агитациею Чернышевскаго и его послѣдователей, захватившее на время лучшіе русскіе журналы, но иѣсколько поколебавшееся со смертью такого крупнаго природнаго таланта, какъ Писаревъ, нашло своего ревностнаго, хотя, быть можетъ, чрезмѣрно склоннаго къ рисовкѣ предъ толпою, глашатая въ лицѣ г. Михайловскаго. Въ немъ соединились всѣ черты, необходимыя для дѣятеля такой эпохи, когда въ обществѣ окончательно затерялись всѣ положительные критеріи, когда всѣ общественные силы, искусственно загнанные въ узкую рамку угрозами отлученія отъ настоящаго либерализма, дѣйствовали слабо, въ стѣпомъ подчиненіи людямъ съ неглубокимъ образованіемъ, но съ темпераментомъ живыхъ и бойкихъ журнальныхъ фельетонистовъ. Рѣзкій тонъ въ полемикѣ съ различными оппонентами, иногда гораздо выше его стоявшими по таланту и умственной воспитанности, умѣніе отдѣльватся отъ серьезныхъ возраженій хлесткой шуткой, игра намеками, разсчитанными на эффектную ассоціацію въ взбудораженномъ воображеніи современнаго читателя, снисходительно-великодушная рѣшимость покидать высоты науки каждый разъ, когда писателя призовутъ общественные нужды, простой стиль, заправленный острыми словцами, юмористическими прибаутками и пословицами, которыя шевелятъ русскіе нерви, говорять русскому сердцу, какъ вызывающіе звуки дешевой гармоники въ рукахъ подгулявшаго парня въ кумачной рубахѣ съ фуражкой на бекренѣ,—все содѣствовало тому, чтобы имя г. Михайловскаго пріобрѣло большую известность въ иѣкоторыхъ слояхъ русскаго общества, расплатаеннаго подъ сильными ударами настоящихъ литературныхъ отрицателей и потомъ чуть-чуть усомнившагося въ самомъ отрицаніи. Наиболѣе дорогія тенденціи прошедшей умственной эпохи съ ея реалистическимъ размахомъ, съ ея ненавистью къ «празднымъ» эстетическимъ вопросамъ, съ ея полной свободой отъ всякихъ «метафизическихъ и теологическихъ предразсудковъ», доживали въ его статьяхъ въ слабѣюшихъ, иногда замирающихъ отголоскахъ, а потребности новой жизни, реакція внутренняго начала противъ узкаго и бездушнаго матеріализма, еще не нашедшая своеи твердой, разумной точки опоры, отразились въ запутанномъ ученіи о «субъективномъ методѣ», не обоснованномъ никакими научными доказательствами, совершенно лишенномъ философскаго

характера, но отвѣчающемъ добрымъ запросамъ русскаго нутра. Въ глазахъ людей, не привыкшихъ серьезно разбираться въ явленіяхъ русской литературы, статьи г. Михайловскаго производили пріятную иллюзію умственной полноты и послѣдовательности. Если мысль г. Михайловскаго, отрываясь отъ предмета, залетала въ не свойственныя даннымъ разсужденіямъ сферы, читатели могли думать, что это не просто одинъ изъ видовъ нѣкоторой логической несостоятельности, неспособности къ сосредоточенному и безпощадному анализу, а смѣлый порывъ въ высь на крыльяхъ благороднаго субъективизма, который не дается въ плѣнъ жестокимъ теоріямъ Спенсера, Маркса и Дарвина, не удовлетворяющимъ его сердца, его нутра. Если г. Михайловскій набрасывался на людей, занимающихся праздными философскими и эстетическими вопросами, предавая ихъ публичному поношенню въ распущенныихъ, иногда циничныхъ выраженіяхъ, читателямъ могло казаться, что онъ сражается во имя строгой новѣйшей науки, что онъ защищаетъ славная реалистическая традиція людей, оказавшихъ услугу русскому обществу на поприще либерализма. А между тѣмъ, въ статьяхъ г. Михайловскаго нѣть выдержаныхъ, теоретическихъ или практическихъ, построеній, нѣть никакихъ чертъ, характерныхъ для крупнаго и оригинальнаго таланта, накладывающаго свою печать на цѣлую эпоху. Вся его дѣятельность подобна, можно сказать, слабо мерцающей звѣздѣ, замѣтной глазу на разсвѣтѣ, когда скрылась луна, но солнце еще не всходило! Что-то свѣтится какъ будто сквозь утренній туманъ, но вотъ-вотъ потухнетъ...

Всякій, кто изслѣдуетъ судьбы русской культуры, не можетъ не обратить вниманія на упомянутую статьку г. Михайловскаго, въ которой, не смотря на краткость и отрывочность изложенія, сконцентрировались всѣ типическія особенности писателя, шедшаго всегда наравнѣ съ толпою и, вмѣстѣ съ этой толпою, теперь оплакивающаго печальная судьбы русскаго прогресса. Она раздѣлена на четыре главки, и мы шагъ за шагомъ прослѣдимъ ея характерную аргументацію, весь ея историческій материалъ, ту критическую методу, которая приводить г. Михайловскаго къ его наиболѣе твердымъ и повидимому совершенно устоявшимся заключеніямъ. Въ статькѣ имѣется и нѣкоторая философская подкладка, скроенная изъ субъективизма и реализма, которая едва-ли будетъ оѣнена просвѣщенною европейскою печатью, но которая хорошо знакома людямъ, слѣдившимъ за многолѣтней то научно компиляторской, то публицистической карьерой г. Михайловскаго. Какъ послѣднее по времени выраженіе нашего журнального либерализма, эта литературная замѣтка, написанная въ свободномъ стилѣ и для свободнаго, европейскаго органа печати, даетъ намъ драгоценное доказательство той умственной сумятицы, которая господствуетъ еще до сихъ поръ въ самыхъ важныхъ вопросахъ нашего литературнаго развитія, нашего духовнаго существованія. Предъ нами со всею полнотою и яркостью вырисовывается та самая утилитарная точка зрѣнія, которая недавно направляла всю нашу

прогрессивную работу, но которая неизбежнымъ образомъ привела русскую общественную мысль къ явному банкротству. Поставленный лицомъ къ лицу съ публикой, съ которой можно говорить безъ всякихъ аллегорий, открыто, ясно, вынимая изъ души свои лучшія соображенія и передавая ихъ въ наиболѣе подходящихъ формахъ, въ словахъ и фразахъ, отвѣчающихъ настроеніямъ и порывамъ таланта, г. Михайловскій долженъ былъ открыть намъ свои настоящія литературныя убѣжденія. Мы знаемъ, съ какимъ вдохновеніемъ, съ какою поразительной силой страсти писали другое въ аналогичныхъ условіяхъ. Нѣкоторые литературные очерки, вышедши изъ-подъ пера настоящихъ ратоборцевъ прогресса, какъ призывный звонъ колоколовъ, звучать въ нашихъ ушахъ такъ повелительно смѣло, такъ возвыщенно умно и справедливо. Тутъ участвовали лучшія силы души, тутъ дѣйствовалъ темпераментъ пламенного гражданина, искавшаго истины съ любовью, съ пылкостью фанатика. Вы видите человѣка, который понималъ Россію внутреннимъ чутью проповѣдника, вышедшаго изъ народа и тянущагося назадъ въ эту безконечную народную стихію. Никакого резонерства, никакой вымученности въ сцѣпленіи либеральныхъ силлогизмовъ. Все окрашено убѣжденіемъ могучимъ, глубокимъ и, по тону безъисходной грусти, убѣжденіемъ чисто національнымъ, родственнымъ настроеніямъ вѣличайшихъ русскихъ художниковъ.

Что-же мы находимъ въ статейкѣ г. Михайловскаго? Передадимъ ея содержаніе въ порядкѣ главъ и сдѣлаемъ наши замѣчанія послѣдовательно къ важнѣйшимъ пунктамъ его литературнаго символа вѣры, его субъективно-реалистического міровоззрѣнія.

Исходной точной современной русской исторіи, говорить г. Михайловскій, является освобожденіе крестьянъ. Если до освобожденія въ Россіи существовали извѣстные таланты, то только съ освобожденіемъ народилась настоящая русская литература. Лучшія силы бездѣйствовали и, при могуществѣ виѣшнихъ обстоятельствъ, изнемогали въ сознаніи своей бесполезности. Но *вдругъ* возникла мысль объ освобожденіи крестьянъ (*tout d'un coup surgit l'idée de l'émancipation*), объединившая разрозненные силы и стремленія, направившая ихъ къ высшей цѣли, создавшая для общества опредѣленную практическую задачу. Приходилось осуществить громадный и сложный трудъ: кроме юридической стороны, нужно было реформировать весь экономический бытъ, разрѣшить аграрный вопросъ. Старая система накладывала свой отпечатокъ на всю нашу общественную и нравственную жизнь, на отношенія гражданъ между собой, на отношенія гражданъ къ государству, на отношенія семейныя— мужа къ женѣ, дѣтей къ родителямъ. Приходилось выработать цѣлую новую систему... Вся эта реформа была осуществлена въ 4 года: съ 1857 до 1861 г. Стараясь дать теоретическое освѣщеніе нарисованной имъ исторической картинѣ, г. Михайловскій приводитъ, по своему обыкновенію, русскую пословицу: «не сули журавля въ небѣ, дай спину въ руки».

Бываютъ моменты, говоритьъ онъ, когда высокія задачи могутъ быть упомянуты журавлю въ небѣ, когда между ними и реальной жизнью лежитъ цѣлая пропасть. Бываютъ моменты, когда стремлениія людей направлены къ высотамъ неба, бываютъ другие моменты, когда народъ удовлетворяется синицей въ рукахъ. Но бываютъ и такие моменты, когда люди лишены и того, и другого блага, когда жизнь выражаетъ лишь печальное сознаніе бесплодности всякихъ силъ. Такова была наша исторія до эпохи освобожденія крестьянъ. Вся русская жизнь раздѣляется на два периода: до 1857 г. и послѣ этого времени, когда идея эманципаціи вдругъ зажгла всѣ воображенія, соединивъ въ одномъ чувствѣ, въ одной волнѣ всѣхъ русскихъ людей, породивъ одновременно идеальныя стремлениія и практическія задачи. До освобожденія у насть не было ни журавля, ни синицы. Но идея освобожденія, возникшая вдругъ и осуществленная во всей полнотѣ въ четыре года, совершила великий переворотъ, пустивъ журавля въ небо и поймавъ синицу въ руки. Изучая русскую литературу, нужно постоянно имѣть въ виду этотъ славный моментъ, говорить г. Михайловскій. Благодаря ему, все, что было въ Россіи великаго по уму, по сердцу, по таланту, всплывало на горизонтѣ и присоединялось къ общей работе. Благодаря ему, нашли себѣ дѣло по способностямъ и люди второстепен-наго дарованія. Всѣ силы сплотились для того, чтобы распространять свѣтъ, ободрять слабыхъ, сѣять вѣру и довѣріе къ будущему,—и ихъ совокупная работа создала настоящую, могущественную литературу.

Таково содержаніе первой главки въ статьѣ г. Михайловскаго. Если вникнуть въ нее поглубже съ тѣмъ, чтобы открыть въ ней опредѣленное руководящее начало, то можно собрать ея важнѣйшія положенія въ слѣдующемъ логическомъ порядкѣ. Г. Михайловскій утверждаетъ, что до эпохи освобожденія крестьянъ русской литературы не существовало: были таланты, но не было литературы. Не было ни журавля въ небѣ, ни синицы въ рукахъ. Вдругъ блеснула свѣтъ во тьмѣ: этимъ свѣтомъ была идея освобожденія крестьянъ, непрѣвѣтно кѣмъ брошенная въ русскую жизнь — по крайней мѣрѣ, г. Михайловскій не обозначаетъ, съ какой именно стороны она явилась — и эта идея соединила болыше и малые таланты въ одну могучую духовную силу. Жизнь вдругъ перемѣнилась: фактъ освобожденія крестьянъ, явившійся какъ-бы самъ собою, создалъ идеальное настроеніе, а вмѣстѣ съ нимъ и литературу. Мы думаемъ, что г. Михайловскій не правъ во всѣхъ пунктахъ своего разсужденія. Во первыхъ, говорить объ отсутствіи литературы въ такое время, когда дѣйствовали Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Грибоѣдовъ, когда уже были созданы главнѣйшія произведенія русского искусства, въ которыхъ, какъ въ классическихъ образцахъ, отлилась цѣлая народная психологія и выразились глубочайшія настроенія русского общества, когда русское творчество, русскій языкъ обнаружили все богатство присущихъ имъ красокъ, когда уже были намѣчены главнѣйшіе пути, по которымъ должна была пойти русская культура — по менышей мѣрѣ странно для писателя, умѣю-

шаго производить интеллигентную оценку над прошлымъ. Со времени Пушкина русская литература только раскрывалась, обнаруживалась въ различныхъ направленияхъ, но не рождалась. Въ томъ, что создано Пушкинымъ и Гоголемъ, уже даны всѣ зародыши тѣхъ явлений, которыми украсилось русское искусство впослѣдствіи. Богатый посѣвъ былъ брошенъ въ почву, и всходы появились естественно, по законамъ духовнаго роста и развитія. Все крупное, яркое, оригинальное, все то, что составляетъ русскую литературу по преимуществу, чѣмъ она гордится передъ иностранцами, чѣмъ она приковала къ себѣ вниманіе всего міра, вышло изъ Пушкина и Гоголя, окрашено Пушкинымъ и Гоголемъ, одухотворено имъ гениемъ, родственно имъ по своему тревожному характеру, по волнующему мотиву высшей красоты и высшей правды. Достоевскій началъ писать до освобожденія крестьянъ, и уже первые проблески его глубокаго дарованія раскрыли передъ читателями одну изъ самыхъ типическихъ чертъ русского национальнаго характера съ его сектантскимъ фанатизмомъ, затаеннымъ подъ внѣшнею кротостью. До освобожденія крестьянъ появились нѣкоторыя замѣчательныя произведенія Тургенева, отразившія во всей прелести разнообразнѣйшихъ поэтическихъ оттенковъ русскую природу и русскіе крестьянскіе типы. Гончаровъ началъ свою литературную дѣятельность, какъ и Достоевскій, еще при Бѣлинскомъ. Графъ Толстой напечаталъ уже въ то время произведенія, которыхъ навсегда останутся въ русской литературѣ. «Дѣтство» появилось въ 1852 г., а къ 1857 г. были уже напечатаны такія вещи, какъ «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика», «Набѣгъ», «Казаки», «Севастополь» и др. Въ эпоху, предшествовавшую освобожденію крестьянъ, прошла почти вся блестящая литературная дѣятельность Герцена, къ несчастью, не сосредоточенная на одной территории. Мы не говоримъ уже о второстепенныхъ дарованіяхъ, которыхъ сдѣлали-бы честь всякой менѣе богатой литературѣ. Въ темную и глухую эпоху, описываемую г. Михайловскимъ, эпоху, лишенную литературы, прошла вся кипучая дѣятельность Бѣлинского, сложились знаменитые кружки Станкевича и Герцена, развернулось нѣсколько блестящихъ дарованій на "поприщѣ" университетскаго преподаванія, открылись и достигли высокаго развитія лучшіе русскіе журналы. А литературы не было! Были на лицо всѣ произведенія Пушкина и Гоголя, всѣхъ русскихъ классиковъ, но журавли все еще не летали въ небѣ. Г. Михайловскій, самъ невольно вспоминая нѣкоторыя изъ указанныхъ именъ, ссылается на то, что Герценъ и Огаревъ эмигрировали пзъ Россіи, Тургеневъ былъ высланъ, Достоевскій приговоренъ къ казни, Бѣлинскій едва не вошелъ въ пріятнныя сношенія съ тайной полиціей. «Вотъ нѣкоторые примѣры, краснорѣчиво рисующіе состояніе нашей литературы», заключаетъ г. Михайловскій: не было литературы, потому что еї приходилось бороться съ обстоятельствами. Не было литературы, потому что писателямъ приходилось переносить, быть можетъ, тяжелыя, но внѣшнія испытанія — какъ будто литературѣ, богатой количественно и качественно, обладающей внут-

ренними силами, такъ легко искусственно зажать ротъ!.. Воть какъ пишется сжатая, компактная исторія русской литературы.

Во вторыхъ, г. Михайловскій не правъ и въ вопросѣ о томъ, какъ и во сколько времени сложилась идея крестьянской реформы и совершилось ея осуществленіе. Въ Россіи мало людей съ среднимъ университетскимъ образованіемъ, которые не знали бы, что факту освобожденія крестьянъ предшествовала огромная дѣятельность и общества, и правительственныйхъ сферъ въ этомъ направленіи. По словамъ г. Михайловскаго, идея освобожденія возникла вдругъ, а вся реформа была осуществлена въ четыре года. Во тьму русской жизни ворвался цѣлый снопъ лучей, озарившій всю Россію съ верху до низу! Журавли полетѣли по небу, синица была поймана въ руки — внезапно, какъ-бы по мановенію волшебнаго жезла!

А между тѣмъ дѣло освобожденія крестьянъ имѣть свою довольно богатую исторію и подготовлено всѣмъ движениемъ интеллигентнаго русского общества на пути культуры, цѣлымъ рядомъ правительственныйхъ напряженій, отвѣчавшихъ на запросы лучшихъ русскихъ людей.) Пушкинъ всегда интересовался всѣмъ, что дѣлало правительство по крестьянскому вопросу. «Огражденіе дворянства, подавленіе чиновничества, новыя права мѣщанъ и крѣпостныхъ — воть великие предметы, писалъ онъ 16 марта 1830 г. кн. Вяземскому. Я думаю пустится въ политическую прозу»¹⁾). Въ «Повѣстяхъ Бѣлкина» явно проглядываетъ гуманная тенденція Пушкина по отношенію къ крестьянскому положенію. Въ «Исторіи села Горохина» имѣются черты, выхваченные изъ тяжелаго крѣпостного быта. Въ «Дубровскомъ» цензура не пощадила многихъ мѣсть, въ которыхъ рисовалась дикая картина помѣщичьяго произвола. Повсюду, гдѣ Пушкинъ соприкасался съ вопросомъ объ юридическомъ и экономическомъ бытѣ крестьянства, его сочувствіе было всегда на сторонѣ слабыхъ и правыхъ. Свобода Россіи грезилась ему еще съ юныхъ лѣтъ. Вспомните его молодое стихотвореніе «Деревня»:

Привѣтствуя тебя, пустынныи уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенія,
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ
На лонѣ счастья и забвенья!
Я твой: я промѣнялъ порочный дворъ царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденія,
На мирный шумъ дубровъ, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размыщенія.

Набросавъ деревенскій пейзажъ и описавъ въ поразительныхъ словахъ позоръ невѣжества, дикость барства, трагическую покорность терпѣливаго русскаго крестьянина, поэтъ восклицаетъ:

О, если бы голосъ мой умѣль сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ

¹⁾ Сочиненія Пушкина, изд. Литературнаго фонда, т. VII, стр. 218.

И не данъ мнѣ въ удѣль витійства грозный дарь?
 Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
 И рабство, падшее по маню царя,
 И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
 Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря.

Лермонтовъ съ дѣтства сочувствовалъ крестьянамъ, и если мы не встрѣчаемъ слѣдовъ этого настроенія въ болѣе зрѣлыхъ его произведеніяхъ, говоритъ г. Семевскій въ своемъ изслѣдованіи о крестьянскомъ вопросѣ въ Россіи, то нужно припомнить тогдашнія цензурныя условія и то особенное положеніе, въ которомъ находился Лермонтовъ вслѣдствіе ссылки¹⁾. Мы не будемъ распространяться о томъ, какое значеніе для реформы крестьянского быта имѣли произведенія Гоголя, Тургенева, Григоровича и другихъ, второстепенныхъ, писателей. Отмѣтимъ еще только два - три факта, доказывающихъ, что общественное мнѣніе Россіи по этому вопросу сложилось задолго до 1857 г. Еще за 20 лѣтъ до этого, въ 1837 г., Станкевичъ говорилъ: «Нѣть никакого сомнѣнія, что рано или поздно правительство сниметъ съ народа это ярмо, но и тогда народъ не можетъ принять участія въ управлѣніи общественными дѣлами, потому что для этого требуется извѣстная степень умственного развитія,— и потому прежде всего надлежитъ желать избавленія народа отъ крѣпостной зависимости и распространенія въ средѣ его умственного развитія.» Въ письмѣ къ Боткину отъ 1847 г. Бѣлинскій писалъ о томъ, какъ подвигнулось впередъ общественное мнѣніе по вопросу о крестьянскомъ освобожденіи. «Проскальзываютъ тамъ и сямъ то статьи, то статейки, очень осторожныя и умѣренныя по тону, но понятныя по содержанію. Помѣщики наши проснулись и затолковали. Видно по всему, что патріархально-сочный бытъ весь изжитъ и надо взять иную дорогу». Въ 1840 г. Огаревъ заключилъ съ своими крестьянами Рязанской губерніи договоръ объ увольненіи ихъ въ свободные хлѣбопашцы. Въ 1846 г. Герценъ широко надѣлилъ свободою дворовыхъ своего отца²⁾...

Паралельно съ реформаторскимъ движениемъ русской интеллигентіи, на поприщѣ литературы или на поприщѣ практической жизни развивалась правительственная дѣятельность въ области экономического и правового быта русского крестьянства. Уже Петръ Великій предпринялъ нѣкоторыя мѣры къ облегченію участія крестьянъ, осудивъ господствовавшій въ его время обычай продавать крестьянъ безъ земли и съ раздробленіемъ семейства. Тяжелое крестьянское положеніе давало себя чувствовать очень сильно, и при послѣдующихъ царствованіяхъ правительство нерѣдко прибегало къ военной силѣ для подавленія крестьянскихъ бунтовъ. Несмотря на закрѣпощеніе, въ народѣ жилъ духъ справедливости. Темные массы волновались и напряженно ждали свободы. При Петрѣ III издана была очень важная мѣра по отношенію къ дворянамъ:

¹⁾ В. И. Семевскій, Крестьянский вопросъ въ Россіи, т. II, стр. 266.

²⁾ Ibid., стр. 302, 306.

имъ предоставлено было служить и не служить. Это измѣняло положеніе крестьянъ, которые служили государству черезъ посредство помѣщиковъ. Если помѣщикъ освобожденъ отъ службы, коментируетъ эту мѣру проф. Сергеевичъ, крестьянину нѣть основанія работать на него. При Екатеринѣ II слово *освобожденіе* уже было произнесено, хотя императрица, вступивши на престолъ при исключительныхъ условіяхъ и нуждаясь въ сочувствіи дворянства, не рѣшилась предпринять ни одной мѣры для улучшения быта крестьянъ. Въ знаменитомъ наказѣ, въ первомъ спискѣ его, прямо говорилось обѣ освобожденіи, и среди депутатовъ созванной законодательной комисіи нашлись люди, рѣшившіеся отстаивать крестьянъ съ большою откровенностью. Но дѣятельность комисіи была прервана турецкой войной, и крестьянское дѣло было замято, благодаря новымъ настроеніямъ. При Павлѣ мы встрѣчаемся уже съ прямою попыткою улучшить крестьянскій бытъ. При Александрѣ I была объявлена первая мѣра, направленная къ освобожденію, которою помѣщикамъ позволялось навсегда отпускать крестьянъ на волю съ землею. Тотъ же Императоръ рѣшился освободить крестьянъ въ Эстляндіи и Курляндіи, хотя и безъ земли. При Николаѣ былъ учреждѣнъ особый секретный комитетъ, на который было возложено разсмотрѣніе вопроса о крестьянахъ, и былъ изданъ рядъ указовъ, имѣвшихъ въ виду улучшеніе ихъ быта. Все русское общество было уже тогда взволновано ожиданіемъ неизбѣжной реформы. Всякий указъ истолковывался въ духѣ эманципаціи, народъ тревожился каждымъ новымъ слухомъ. Даже духовенство толковало правительственные распоряженія въ лучшую сторону. Когда Александръ II въ 1855 г. вступилъ на престолъ, мысль обѣ освобожденіи крестьянъ съ землею, проглядывавшая въ законодательныхъ мѣрахъ Александра I и Николая, можно сказать, охватила все общество. Въ бытность Государя въ Москвѣ графъ Закревскій доложилъ ему, что дворянство волнуется слухами обѣ освобожденіи, что въ народѣ распространилось убѣждѣніе о близости воли. Императоръ велѣлъ призвать московскаго предводителя дворянства, которому онъ сказалъ, что старый порядокъ не можетъ остаться неизмѣннымъ, что лучше начать освобожденіе сверху, чѣмъ ждать, когда онъ начнетъ отмѣняться снизу¹⁾.

Вотъ какъ шло освобожденіе крестьянъ, вотъ какъ разрѣшался въ дѣйствительности вопросъ огромнѣйшей исторической важности. Не *вдругъ* возникла идея эманципаціи въ Россіи: серьезныя вещи никогда не дѣлаются вдругъ (старая, но умѣстная въ данномъ случаѣ истина!). Идея освобожденія выросла въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ, вмѣстѣ съ общимъ ростомъ просвѣщенія, и ко времени восшествія на престолъ Александра II она висѣла надъ всѣмъ русскимъ строемъ, какъ давно назрѣвшая правда—подобно многимъ моральнымъ и общественнымъ истинамъ, широко распространеннымъ въ современномъ обществѣ, хотя и не получившимъ еще

¹⁾ В. И. Сергеевичъ. Лекціи по истории русского права, стр. 658.

своего осуществления. Въ нѣсколько лѣтъ можно было много исполнить именно потому, что многое было хорошо продумано раньше, а кое-что уже и практически намѣчено и пущено въ жизнь, какъ пробный шарь. Вся прошедшая литература Россіи, начиная даже не съ Пушкина, а съ Фонъ-Визина, своими идеальными силами, всѣмъ своимъ духовнымъ содержаніемъ подготовляла коренную реформу общественного строя—и безъ нея талантливые сотрудники «Современника», несмотря на горячность убѣженія по этому вопросу, не смотря на весь свой агитационный пыль, сдѣлали бы очень мало. Свобода крестьянъ добыта не кровью, не восстаниемъ, не физическимъ гнетомъ, а именно силою твердаго убѣженія, къ которому примкнули всѣ слои, высшіе и низшіе, русскаго общества. Она явилась тогда, когда общее сознаніе уже противилось рабству, какъ чему-то неестественному и чуждому нравственнымъ требованіямъ. Какъ и во всякомъ сложномъ вопросѣ, и здѣсь происходили неизбѣжныя замедленія и задержки. Люди, отъ которыхъ зависѣло освобожденіе, долго шли въ этомъ направленіи, какъ говорилъ Герценъ, «поворачивая ноги носками внутрь», но дѣло все-таки подвигалось впередъ при дружномъ содѣйствіи лучшихъ силъ литературы, при неизбѣжныхъ и постоянныхъ уступкахъ со стороны пристрастныхъ, запитересованныхъ круговъ. Г. Михайловскій обнаруживаетъ почти примитивное незнакомство съ историческими фактами, утверждая, что въ эпоху, предшествовавшую освобожденію крестьянъ, мыслящіе люди были обречены на печальное бездѣйствие съ сознаніемъ полной бесполезности своихъ силъ. Это невѣрно и теоретически, и фактически. Внутреннія силы никогда не могутъ быть бесполезными, пока остается малѣйшая физическая возможность такъ или иначе обмѣниваться мыслями съ людьми. Внѣшніе факты и события, упорная работа различныхъ представителей общества въ опредѣленномъ направленіи свидѣтельствуютъ о томъ, что Россія, каковы бы ни были ея обстоятельства, не спала, что въ ней бился живой пульсъ, что въ ней кипѣли духовныя стремленія. Освобожденіе явилось послѣднимъ словомъ этого духовнаго процесса. Крестьянская свобода явилась такъ, какъ пророчествовалъ еще въ 1837 г. Бѣлинскій, говоря: «Гражданская свобода должна быть плодомъ внутренней свободы каждого индивида, составляющаго народъ, а внутренняя свобода приобрѣтается сознаніемъ. И такимъ-то прекраснымъ путемъ достигнетъ свободы наша Россія... Все сдѣляется безъ заговоровъ и бунтовъ, и потому сдѣляется прочнѣе и лучше».

Наконецъ, въ третьихъ—и это вытекаетъ изъ всего сказаннаго—освобожденіе крестьянъ было не причиной, а слѣдствиемъ идеальныхъ настроекъ общества и не было факторомъ, создавшимъ литературу, а само явилось результатомъ совокупной работы литературы и общества на по-принципѣ гражданственности. Внѣшніе факты не могутъ быть первопричиной какихъ бы то ни было теченій въ области духовной истории людей. Создаваемые нравственными и умственными силами, они только тогда накладываютъ свою печать на ходъ человѣческаго развитія, когда дѣй-

ствуютъ въ сочетаніи съ уже готовыми, сложившимися психологическими настроеніями и нравственно-философскими идеалами. Выражая въ дѣйствіи, въ поступкѣ, въ живомъ примѣрѣ опредѣленную духовную тенденцію, они служатъ какъ бы материальнымъ свидѣтельствомъ самобытнаго человѣческаго творчества. Исторія управляетя идеями. Соціальная и политическая события совершаются по волѣ человѣческой души и носять на себѣ яркий слѣдъ этой души съ ея порывами, волненiemъ чувствъ и высшихъ инстинктовъ. Освобожденіе крестьянъ въ Россіи только въ живой связи съ соотвѣтствующими явленіями прошедшей умственной эпохи могло войти составною частью въ литературный оборотъ, въ творческую работу русской интеллигентіи. Оторванное отъ своего идеального корня, оно было бы малозначущимъ вѣнчаниемъ события, сложившимся по предписанію высшей администраціи и совершенно чуждымъ настроенію общества. Внѣ зависимости отъ тѣхъ духовныхъ и умственныхъ вліяній, о которыхъ мы говорили выше, оно становится чѣмъ-то непонятнымъ: въ странѣ, гдѣ все было погружено въ мракъ, гдѣ не было, какъ описывается то время г. Михайловскій, никакихъ стремленій къ небу, гдѣ все прозябало въ полнѣйшемъ бездѣйствіи, въ такой странѣ крестьянская реформа не могла бы осуществиться, а если бы она и осуществилась, то вызвала бы настоящую бурю негодованія со стороны общества и повела бы къ полной реакціи по отношенію къ совершившемуся прогрессивному событию. Г. Михайловскій, не выходя со всѣмъ своимъ путаннымъ и легко вѣснѣмъ субъективизмомъ за предѣлы банальнааго эмипризма, не думая надъ фактами исторіи съ подобающею для притязательного публициста серьезностью, даже не задается, повидимому, вопросомъ о томъ, какими силами могутъ быть перевѣшены исторические факты, передѣланы историческая обстоятельства, разъ только факты и обстоятельства опредѣляютъ наши настроенія, желанія и стремленія во всемъ ихъ объемѣ? Если вѣнчаніе факты обусловливаютъ содержаніе нашей духовной жизни,—во всѣхъ ея проявленіяхъ, литературныхъ, научныхъ и философскихъ—то гдѣ же критерій для сужденія о нихъ, гдѣ рычагъ для ихъ передѣлки? Вотъ гдѣ видно все ничтожество изобрѣтенія г. Михайловскаго, вѣнчаніе конкуренціи съ известными научно-философскими теоріями, субъективнаго метода, не спасающаго его литературныхъ и соціологическихъ разсужденій отъ самыхъ грубыхъ ошибокъ въ духѣ материалистического и механическаго міровоззрѣнія. Вотъ гдѣ ясно до полной очевидности, что отрывочные, до конца не продуманные, захватанные изъ переводныхъ книжекъ философскія теоріи, подносимыя читателю съ фамильярной развязностью обладателя богатыхъ научныхъ сокровищъ, не могутъ принести пользу при обсужденіи болѣе или менѣе отвѣтственныхъ вопросовъ. Вся небольшая главка въ разматриваемой статьѣ г. Михайловскаго представляетъ образецъ полной путаницы понятій, которая не выкупается никакими глубокомысленными разсужденіями и ссылками на народныя пословицы, никакими великолѣпными словамъ о прелести того времени, когда у на-

рода есть и журавль въ небѣ, и синица въ рукахъ. Все сбъто вмѣстѣ, мысли перепутываются въ полномъ беспорядкѣ, либеральная фразы то-нуть въ туманѣ произвольныхъ и сбивчивыхъ историческихъ обобщеній и субъективныхъ теорій.

II.

Откинувъ мелкія противорѣчія, можно передать содержаніе второй главки разсматриваемой статьи г. Михайловскаго въ слѣдующихъ немногихъ словахъ. Русское общество представляло въ эпоху, предшествовавшую освобожденію крестьянъ, очень странное зрѣлище. Надъ всѣми проявленіями его духовной жизни тяготѣлъ строгій контроль администраціи. «Многія науки, какъ, напр., геологія, и даже отдельная историческая эпохи въ жизни народовъ» совершенно не существовали для ученой и литературной обработки. Печатаніе книгъ встрѣчало непреодолимыя трудности, газеты почти не существовали. Былъ только одинъ родъ литературы, который пробилъ себѣ дорогу—ежемѣсячныя изданія, около которыхъ группировались писатели и поэты, всѣ, имѣвшіе потребность говорить къ русскому народу и проводить въ общество свои идеи. Въ нихъ сосредоточилась литературная критика, которая въ концѣ концовъ пріобрѣла въ Россіи политическое значеніе. Имена Бѣлинскаго, Добролюбова и Писарева обозначаютъ, говорить г. Михайловскій, нечто большее, чѣмъ простыя эстетическія тенденціи, хотя въ то время не было еще настоящихъ политическихъ партій. Въ обществѣ существовали два главныхъ теченія—славянофильское и западническое, къ которымъ правительство относилось съ одинаковымъ недовѣріемъ и которыя поневолѣ скрывали свои программы подъ туманомъ различныхъ отвлеченій и гегелевской философіи. Но реформы Александра II, даровавшия свободу печати, обнаружили, что и въ славянофильствѣ, и въ западничествѣ не было ничего, кроме пустыхъ и безсодержательныхъ фразъ, и что для проведенія въ жизнь всего того, что было намѣчено важнейшими государственными преобразованіями, нужна другая группировка способныхъ и дѣятельныхъ элементовъ. Въ это время между ежемѣсячными журналами выдвинулись два изданія: «Современникъ» въ С.-Петербургѣ и «Русский Вѣстникъ» въ Москвѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ появился новый классъ литературныхъ работниковъ, вышедшихъ изъ самыхъ бѣдныхъ слоевъ русского общества и не имѣвшихъ другихъ средствъ къ существованію, кроме литературного заработка. Въ умственную жизнь общества влилась новая струя. Печать стала демократизироваться. Новые труженики внесли въ нее новые точки зренія и наложили на литературу ту печать, которая сохранилась на ней и до сихъ поръ. Предшествующіе писатели, выходя изъ обеспеченного класса, обладали изысканнымъ образованіемъ и знаніемъ европейскаго искусства. Писатели новой эпохи, которые рекруттировались изъ среды интеллигентныхъ пролетаріевъ, были лишены всѣхъ этихъ благъ. Имъ недоставало ни теоретического, ни эсте-

тическаго образованія. Въ вѣтной борбѣ съ обстоятельствами, они не могли думать о томъ, чтобы придать своимъ произведеніямъ законченную форму. Они заботились только о томъ, чтобы какъ можно рельефнѣе отразить настоящую дѣйствительность съ ея пороками и недостатками. Но во всякомъ случаѣ, несмотря на ихъ пренебреженіе къ формѣ, это были люди съ большимъ талантомъ и съ большою оригинальностью въ дѣлѣ художественнаго творчества. Это была щѣлая блестящая плеяда писателей, на-ряду съ произведеніями которыхъ зарождался и расцвѣталъ новый родъ искусства — сатирическій и обличительный. Дореформенная Россія не знала никакой гласности. Злоупотребленія, несправедливости, преслѣдованія слабыхъ совершились у всѣхъ на глазахъ, но никто не смѣлъ протестовать—и вотъ теперь писатели принялись за обличеніе съ жаромъ, который до того времени приходилось сдерживать. «Свобода печати была однако очень относительна, говорить г. Михайловскій. Сатирикамъ приходилось ограничиваться формой романа, комедіи, повѣсти, которая подъ чертами своихъ героевъ скрывала намеки на вліятельныхъ людей». Основателемъ этого рода литературы былъ, безъ сомнѣнія, Щедринъ со своими «Губернскими очерками», которому громадный талантъ позволялъ однако создавать цѣльные художественные типы, выражавшіе пзвѣстныя соціальные категоріи.

Но беллетристика дѣйствовала на почвѣ, уготованной знаменитыми публицистами того времени, между которыми были люди съ глубокимъ образованіемъ и настоящимъ талантомъ, каковъ напр. Чернышевскій. Литературная критика слѣдовала за общественнымъ движениемъ и добилась того, что заставила художественные произведенія давать отвѣты на вопросы дня, со всѣми ихъ соціальными усложненіями. Сочиненія Добролюбова могутъ быть признаны образцомъ такого рода критики. Его статьи о романахъ Тургенева, Гончарова и др., написанныя въ публицистическомъ тонѣ, имѣли огромное вліяніе на русскую публику, и когда по его смерти жезль русской критики перешелъ къ Писареву, всякаго рода эстетическія тенденціи были совершенно изгнаны изъ литературы. Съ Писаревымъ реалистическое направление торжествуетъ по всей линіи русской журналистики—и въ области искусства, и въ области сатиры, и въ области теоретическихъ разсужденій. Писареву же мы обязаны культомъ естественныхъ наукъ, которая прежде находились подъ запретомъ. Какъ только открылась дорога, русскіе писателибросились со страстью къ источнику настоящихъ знаній и, за отсутствиемъ оригиналной научной литературы, начали съ жаромъ переводить все, что появлялось по этой части заграницею. Философскіе взгляды утверждались на прочныхъ основаніяхъ... Затѣмъ мало-по-малу стало нарождаться теченіе, окрещенное Тургеневымъ именемъ *нигилизма*—«отрицательное направление чрезмѣрной критики». Нигилизмъ, говорить г. Михайловскій, имѣлъ безъ сомнѣнія и дурныя стороны, но въ немъ было также много хорошаго. «Люди искали во что бы то ни стало истины, которая на русскомъ языкѣ сливалась съ понятіемъ справедливости въ словѣ правда. Въ глубинѣ этого движения были эти-

ческія и идеальная стремленія, и подъ вліяніемъ этихъ-то ідей народилась въ Россіи цѣлая литература, имѣющая значеніе и до сихъ поръ». Къ сожалѣнію, этому литературному движению не суждено было развиться съ надлежащей полнотою. Въ 1861 г. умеръ Добролюбовъ, вскорѣ Чернышевскому пришлось оставить журнальную дѣятельность, польское броженіе выдвинуло на первый планъ Каткова, получившаго съ тѣхъ поръ особое значеніе въ судьбахъ русской печати. Журналы, въ которыхъ работали Добролюбовъ, Чернышевскій и Писаревъ, должны были закрыться.

Вотъ какъ г. Михайловскій разсказываетъ исторію русской литературы въ одномъ изъ самыхъ интересныхъ ея періодовъ. Борьба славяно-фильства съ западничествомъ разрѣшилась побѣдою русскихъ демократовъ, упразднившихъ всѣ прежнія философскія и практическія программы и со-здавшихъ то реалистическое движение, которымъ гордится и современная Россія. Литературный пролетарій, безъ образованія, безъ эстетического воспитанія, съ пренебреженіемъ ко всякой художественности и артистичности, открылъ собою новую эпоху въ исторіи русского искусства. Прежній умственныій аристократизмъ, питаемый доходами съ барщины, уступилъ мѣсто тяжелой, непріглядной работѣ надъ дѣйствительными, реальными фактами — и литература вступила въ новый фазисъ высшаго развитія. Г. Михайловскій, бесѣдуя съ иностранцами, не хочетъ пока называть никакихъ второстепенныхъ именъ и упоминаетъ изъ художниковъ новой литературной эпохи только Глѣба Успенскаго, а изъ сатириковъ, писавшихъ въ формѣ разсказовъ и комедій — Щедрина. Они служать яркимъ доказательствомъ тому, что новое направление не только не было вредно талантамъ, но само по себѣ выдвигало людей съ оригиналными творческими и умственными силами. На этой-то стадіи русское искусство, вмѣстѣ съ публицистикой и наукой, отразило настоящую сущность русскаго національнаго характера, а иностранныя книги, пришедшия на помощь потребностямъ дня, позволили обнаружиться природнымъ влечениямъ общества къ реализму во всѣхъ формахъ его проявленія. Реализмъ въ философіи, публицистикѣ и критикѣ сдѣлался разъ навсегда знаменемъ русской духовной культуры... Наші возраженія могутъ быть, опять-таки, разбиты на три пункта: первый относится къ демократизму въ искусствѣ, второй къ критической дѣятельности Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, третій къ реалистической философіи и культу естественныхъ наукъ, воздвигнутому на почвѣ иностранныхъ книгъ и переводныхъ сочиненій. Итакъ, во-первыхъ, г. Михайловскій считаетъ особенно отраднымъ то обстоятельство, что русскимъ искусствомъ занялись люди изъ среды интеллигентныхъ пролетаріевъ безъ образованія, безъ эстетическихъ ідей, съ простыми демократическими тенденціями: по его мнѣнію они-то и наложили на русскую литературу печать реализма, составляющую ея характерную особенность и до настоящаго времени. Послѣднее не вѣрно. Реализмъ внесенъ въ русскую литературу тѣми, которые ее создали. Какъ манера схватывать черты дѣйствительной жизни и передавать ихъ съ художественной простотою, безъ

всякихъ романтическихъ прикрасъ, въ правдивыхъ формахъ и чертахъ, реализмъ свойственъ всѣмъ лучшимъ русскимъ произведеніямъ. Но никогда ни у Пушкина, ни у Гоголя онъ не выдвигался во что-то самостоятельное: являясь манерой изображенія, онъ не заслонялъ собою того богатѣйшаго психологического материала, изъ котораго они черпали образы для своихъ художественныхъ замысловъ, никогда не погашалъ того идеальнаго свѣта, которымъ озарялись ихъ лучшія созданія. Самое возвышенное настроеніе, утонченѣйшее моральное или религіозное чувство можетъ и должно быть изображено просто, реально, но то произведеніе будетъ ничтожно, въ которомъ за реализмомъ бытовой картины не видно никакой духовной перспективы, тѣхъ внутреннихъ основъ, на которыхъ совершается человѣческая жизнь и которая возвышаютъ человѣка при всѣхъ обстоятельствахъ надъ удручающими его внешними силами. Правда изображенія безъ правды внутренней, міровой, идеальной, мертваго и ничтожна, и ни одна высокая литература не держится на произведеніяхъ, передающихъ жизнь только въ ея частныхъ, мѣстныхъ и временныхъ проявленіяхъ. Пушкинъ реалистъ, Гоголь реалистъ, Тургеневъ и Толстой реалисты, но, при реализмѣ формы, въ ихъ произведеніяхъ разлита настоящая, общечеловѣческая, міровая правда, которая возвышаетъ ихъ до степени вѣчныхъ созданій искусства. Но такого перворазрядного художника демократическая волна не дала. При всей своей талантливости и сердечности художественная произведенія Глѣба Успенскаго не могутъ быть сравнены ни въ какомъ отношеніи съ русскими классическими произведеніями. По силѣ вдохновенія, по цѣльности художественныхъ образовъ, это писатель, имѣющій лишь второстепенное значеніе въ общемъ теченіи настоящей русской литературы. Въ немъ есть талантъ, есть наблюдательность и мѣткость въ оцѣнкѣ различныхъ явлений народной жизни, но нѣтъ широкаго художественнаго кругозора и настроений, захватывающихъ глубины народной души. Внутренняя не законченность, прикрываемая публицистическими разсужденіями и отступленіями, постоянно даетъ себя чувствовать въ его произведеніяхъ, не позволяя сложиться цѣльному и сильному художественному впечатлѣнію. Новой эпохи въ русскомъ искусствѣ Успенскій, конечно, не открылъ. Отрадно, безъ сомнѣнія, что русское творчество расширило свой кругъ, что въ литературу вошли работники изъ новыхъ классовъ и внесли въ нее свой опытъ, свои жизненные наблюденія. Но новые притоки, каковы бы они ни были, неизмѣняютъ направленія главнаго русла, а новая струя сильь, влившаяся въ русскую литературу съ освобожденіемъ крестьянъ, была только притокомъ... Тоже самое нужно сказать по о Шедринѣ. Это крупное, сильное, своеобразное, подчасъ стихійно-грубое дарованіе не создало въ Россіи никакой самостоятельной школы. Русская сатира, имѣвшая свою довольно богатую исторію, окончательно создалась, окрасилась національнымъ цвѣтомъ и достигла міроваго значенія въ произведеніяхъ Гоголя (кстати сказать, вовсе не принадлежав-

шаго къ обезпеченому, аристократическому классу, какъ это утверждаетъ г. Михайловскій). Въ Гоголѣ русскій смѣхъ звучитъ тѣми нотами, которыя въ другомъ видѣ можно открыть и у Пушкина, Лермонтова, Достоевскаго. Обличеніе достигаетъ у Гоголя такой глубины, какой оно никогда не достигало у Щедрина, не говоря уже о его ничтожныхъ подражателяхъ. Гоголь предаль бичеванію всю внутреннюю скверну русскаго характера и всего русскаго строя жизни, съ его чичиковскими подхалимствомъ, съ собакевичевской грубостью, съ ноздревской разнудистностью, съ плюшкинскимъ скряжничествомъ, съ слашавой и бездѣльной маниловщиной, съ разгульнымъ хлестаковскимъ враньемъ, съ многочисленными разновидностями самобытнаго хамства и мздоимства на всѣхъ ступеняхъ городской іерархіи, нарисовавъ рядъ бессмертныхъ типовъ на широкомъ фонѣ бытовой картины, отъ которой вѣтъ глубокой тоскою и горькимъ отчаяніемъ, то разливающимся въ заунывныхъ пѣсняхъ, то заглушаемымъ дикимъ топотомъ удалого трепака. Послѣ такой сатиры, вѣчной по существу и убийственной для своего времени, можно ли говорить о *нарожденіи* русской сатиры въ лицѣ Салтыкова? По скольку въ произведеніяхъ Салтыкова имѣются настоящіе художественные типы, по стольку эти произведенія вливаются въ общее русло національной сатиры. А по скольку подъ чертами его героеvъ скрываются намеки на разныхъ живыхъ людей современности и гражданскій протестъ, направленный противъ событій данного момента, по стольку его сатира стоитъ не выше чисто публицистическихъ произведеній его времени и съ каждымъ годомъ утрачиваетъ свой живой, понятный смыслъ и свое значеніе.

Во вторыхъ, г. Михайловскій даетъ самое невѣрное представление о значеніи для русской литературы реалистической критики. Отдѣлавшись пустымъ заявленіемъ, что статьи Добролюбова о Тургеневѣ и Гончаровѣ имѣли большое общественное значеніе, г. Михайловскій съ торжествомъ заявляетъ, что въ лицѣ знаменитѣйшихъ публицистовъ того времени критика заставила художественныя произведенія давать отвѣты на сложные вопросы текущей жизни. Можно подумать, что въ этомъ именно и заключается задача художественной критики или, по крайней мѣрѣ, что окончательное отверженіе эстетики, совершенное критическимъ жезломъ Писарева, имѣло положительное значеніе для успѣховъ русской гражданственности. Вѣрный своему обыкновенію стрѣлять съ двухъ фронтовъ, г. Михайловскій дѣлаетъ уступку духу настоящаго времени, откровенно признаваясь, что нигилизмъ, какъ онъ выразился въ русской литературѣ, имѣлъ въ себѣ кое-что дурное (*des choses mauvaises*). Иллюстраціи и объясненія въ этомъ направленіи отсутствуютъ. Теоретическихъ соображеній, оправдывающихъ литературный нигилизмъ, хотя бы съ исторической точки зрѣнія, тоже не имѣется. Все дѣло представлено въ такомъ видѣ, какъ будто бы русская умственная культура быстро и послѣдовательно подвигалась по пути прогресса, не смотря на какія-либо мелкія, частныя ошибки. А между тѣмъ картина умственного

развитія тогдашняго русскаго общества, съ его вождями и храбрыми борцами на кочковатомъ полѣ русскаго журнализа, должна быть нарисована иными чертами, гораздо менѣе оптимистическими красками. Критика 60-хъ годовъ, какъ это можетъ быть доказано документально и какъ это должно быть доказано во имя лучшихъ потребностей русской жизни, имѣла растлѣвающее вліяніе на ходъ умственного прогресса въ его высшихъ проявленіяхъ. Она потеряла объектъ своего изслѣдованія и, предавшись несвойственной ея средствамъ и силамъ гражданственной агитации, перемѣшила свои неподкупные критеріи съ утилитарными жизненными мѣрилами, принизила въ обществѣ живое пониманіе искусства, требованія художественного вкуса. Духовная культура прямо проиграла отъ этой критики, а культура гражданская, выигравъ на первое время черезъ чурь мало, въ концѣ концовъ—нуждаясь для своихъ дальнѣйшихъ успѣховъ въ возвышающихъ идеяхъ и понятіяхъ—потеряла подъ собою отъ ея воздействиія надлежащую почву. Наконецъ, въ третьихъ, г. Михайловскій не объясняетъ намъ, какой именно свѣтъ внесенъ въ сознаніе русского общества «крайнимъ культомъ» естественныхъ наукъ, какую пользу принесъ русскому просвѣщенію материализмъ Бюхнера и Молешота, прошедший въ нашу жизнь черезъ посредство переводныхъ сочиненій и журнальныхъ компилиацій по иностраннымъ образцамъ. Конечно, общество, не имѣющее своей самостоятельной умственной культуры, никакихъ серьезныхъ философскихъ преданій, легко могло ухватиться и за материализмъ, какъ за нѣчто увлекательное и способное вывести его на широкую историческую дорогу, но странно видѣть теперь въ реалистическихъ разглагольствованіяхъ недавнихъ дѣятелей печати, безъ самостоятельныхъ научныхъ знаній, безъ умѣнья работать по строгому философскому методу, безъ умѣнья самостоятельно изслѣдовать явленія жизни, какой бы то ни было прогрессъ въ смыслѣ установлениія прочныхъ началъ для прочного міровоззрѣнія. То, что подносилось русскому обществу въ разматриваемую эпоху какъ послѣдній выводъ науки, какъ верховная истина, важная для теоретическихъ и практическихъ выводовъ, даже не можетъ быть сравнимо съ философскими разсужденіями литературныхъ дѣятелей 30-хъ и 40-хъ годовъ. Въ философическихъ замѣткахъ Надеждина была огромная эрудиція, настоящее пониманіе предмета. Въ философскихъ разсужденіяхъ Бѣлинскаго въ лучшую, свѣтлую пору его критической дѣятельности была настоящая жизненная сила, которая могла бы развернуться широко и съ огромной пользой для русскаго просвѣщенія, если бы болѣе глубокія умственные вліянія поставили его на болѣе твердую дорогу. Мы уже не говоримъ о тѣхъ философскихъ статьяхъ, которые были написаны Герценомъ въ духѣ гегелевской философіи: въ нихъ проявился талантъ исключительный, сила мышленія оригинальная, яркая, вдохновенная, какая встрѣчается только у перворазрядныхъ людей. Все умственное движеніе, совпавшее съ литературнымъ разсвѣтомъ въ Россіи, было охвачено настоящимъ паѳосомъ, въ которомъ была

правда, обращенная къ высшимъ научнымъ и моральнымъ цѣлямъ. Въ материализмѣ жизни нѣтъ. Отправляясь отъ фальшиваго представлениа о природѣ человѣческаго существа, превращая всѣ проявленія разумнаго начала въ механическое дѣйствіе мертвыхъ силъ, материализмъ не можетъ дать объясненій высшимъ стремленіямъ человѣческаго духа и потому не можетъ служить рычагомъ для возбужденія въ людяхъ глубокихъ нравственныхъ потребностей. Его ошибка въ ложномъ взглѣдѣ на матерію, какъ на причину первоначальную, тогда какъ въ дѣйствительности самое понятіе матеріи уже предполагаетъ нѣчто, создающее наши представлениа и понятія о вѣнчанемъ мірѣ вообще. Его заблужденіе заключается въ томъ, что, покинувъ путь настоящаго критического мышленія, разбирающагося въ различныхъ элементахъ нашего опыта, онъ ударился въ наивный догматизмъ, мертвящій всѣ наши психологическія и логическія изысканія. Будучи крайней реакцией противъ нѣкоторыхъ спиритуалистическихъ теорій, материализмъ имѣлъ еще какой-нибудь исторический смыслъ на Западѣ, но въ Россіи онъ былъ настоящимъ уродливымъ явленіемъ. Въ кипучемъ водоворотѣ европейской философіи материализмъ былъ тою пѣною, безъ которой нельзѧ себѣ представить никакого водоворота, но въ Россіи онъ былъ слукаенъ, какъ пѣна, выброшенная на сухой берегъ бурными волнами европейскаго океана. Этого не принялъ во вниманіе г. Михайловскій и, говоря о чрезмѣрномъ кульѣ естественныхъ наукъ, водворенномъ въ Россіи Писаревымъ, онъ не сумѣлъ отмѣтить истинныхъ свойствъ этого беспочвенного реалистического движенія. Тутъ потребовалась бы критика — не подъ банальнымъ, субъективнымъ угломъ зреянія, а критика философская въ настоящемъ смыслѣ слова, которую г. Михайловскій никогда не занимался. Тутъ потребовались бы такія знанія и соображенія, для которыхъ во всей предыдущей дѣятельности г. Михайловскаго беспристрастный читатель не найдетъ никакихъ матеріаловъ. При настоящемъ анализѣ российского реализма выводы получились бы неутешительные, но за то правдивые, вѣрные и важные для разсвѣянія тѣхъ умственныхъ тумановъ, которые застилаютъ пути русскаго прогресса. Для такой работы нуженъ былъ бы человѣкъ съ свободнымъ умомъ, фанатикъ истины, который дорожилъ бы будущимъ больше, чѣмъ прошедшимъ, который дорожилъ бы тѣмъ, что доступно человѣческой природѣ вообще, болѣе, чѣмъ мелкими успѣхами какой-нибудь эпохи. Только крупный талантъ, вооруженный настоящими знаніями, сможетъ совершить это дѣло съ надлежащею силою и полнымъ успѣхомъ. А г. Михайловскій, мучительно распинающійся на всѣ возможные лады, чтобы заполнить собою пропасть, раздѣляющую материализмъ и идеализмъ, совершенно неспособенъ для разрѣшенія такой задачи.

III.

Переходимъ къ третьей главкѣ статьи г. Михайловскаго. Въ 1863 г. во главѣ «Отечественныхъ Записокъ» сталъ Некрасовъ. Онъ возводилъ

въ своемъ журналѣ реалистическое движение—исканіе истины, — о которомъ уже говорилось выше. Послѣ смерти Некрасова въ 1877 г. его мѣсто въ редакціи журнала занялъ Щедринъ, и «злой смѣхъ его плодовитой музы разразился на всю Россію». Щедринъ соединялъ въ себѣ тонкое знаніе русской жизни съ широкимъ политическимъ и соціальнымъ идеаломъ и страстью любовью къ русскому народу. Рядомъ съ Щедринымъ, отличавшимся большою образованностью, стоялъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» Глѣбъ Успенскій, человѣкъ съ отзывчивой душою, но съ «мало образованной музою». Оригинальность его таланта заключается въ сочетаніи юмористическихъ и трагическихъ элементовъ. Его любимая тема—жизнь народа. Трогательная и безпредѣльная искренность, сильное и глубокое чувство, одухотворяющее его произведенія — вотъ качества, сдѣлавшія его однимъ изъ самыхъ любимыхъ авторовъ Россіи. Постояннымъ вкладчикомъ «Отечественныхъ Записокъ» былъ и Златовратскій, который, быть можетъ, стоитъ выше Успенского въ отношеніи законченности своихъ произведеній, но далеко уступаетъ ему въ гибкости и глубинѣ таланта. Кромѣ этихъ писателей, составлявшихъ, повидимому, главныя силы журнала, г. Михайловскій упоминаетъ еще Гаршина, Крестовскаго (псевдонимъ) и Мамина-Сибиряка. Всѣ эти таланты группировались вокругъ «Отечественныхъ Записокъ», статьи которыхъ воплощали въ строго логической формѣ особое движение, умѣвшее критически относиться къ недостаткамъ парламентскаго западно-европейскаго строя, надлежащимъ образомъ подчеркнувшее то, что прогрессъ наукъ и промышленности не только не улучшилъ положеніе рабочихъ классовъ, но напротивъ обострилъ кризисъ. Эти сомнѣнія относительно западно-европейской цивилизациіи составляютъ одинъ изъ элементовъ, такъ называемой, народнической литературы, т. е. литературы, посвященной народу и занимающейся исключительно народомъ.

Паралельно съ художественной и публицистической пропагандой, дѣятель «Отечественныхъ Записокъ» разрушали теологическія и метафизическія тенденціи русской мысли. Пройдя черезъ материализмъ Бюхнера и Молешота, они пришли къ позитивизму Огюста Конта и къ нео-кантіанству, не подчинившись однако слѣпо ихъ вліянію. Французские писатели Гюйо и Фуллье также повліяли на русский прогрессъ. Дарвинъ и Спенсеръ присоединили свое вліяніе къ тѣмъ, которые воздѣйствовали на русское литературное движение.

Вотъ какъ г. Михайловскій рисуетъ ту эпоху въ литературномъ развитіи Россіи, когда «Отечественные Записки» стояли во главѣ общественного движения. Въ области искусства на первомъ планѣ стояли: Щедринъ, Успенскій, Златовратскій, Гаршинъ, Хвощинская и Маминъ-Сибирякъ. Въ сферѣ критики и публицистики передовые люди вѣка разрушали нѣкоторые наивныя иллюзіи относительно западно-европейской культуры и, понявъ безсиліе науки и индустрии поднять благосостояніе массъ, разрабатывали соціальные вопросы въ духѣ народничества. Наконецъ, фило-

софія достигла своей настоящей высоты, совершивъ либеральную эволюцію отъ материализма Бюхнера и Молешота къ Огюсту Конту и нео-кантианству. Вотъ тѣ элементы, въ которыхъ, какъ въ чистомъ зеркаль, отразились лучшія прогрессивныя тенденціи того времени: либеральное искусство, антипарламентская публицистика и философія, поднявшаяся на небывалую высоту. Другихъ стремленій и силъ, дѣйствовавшихъ на пользу Россіи, г. Михайловскій не видѣть и не признаетъ. Молодая умственная Россія вся сосредоточилась въ «Отечественныхъ Запискахъ», служившихъ единственнымъ орудіемъ для возрожденія русскаго народа. Усердный звонарь своего прихода, г. Михайловскій никогда не упускаетъ случая потрезвонить славою того журнала, въ которомъ онъ былъ когда-то однимъ изъ главныхъ дѣятелей. «Отечественные Записки» были единственнымъ источникомъ умственнаго свѣта для Россіи, и съ паденiemъ этого журнала русская литература потеряла все, что въ ней было лучшаго, чистаго, характернаго въ національномъ смыслѣ. Сравнительно второстепенныя явленія русскаго искусства выдвинуты впередъ, а все то, что было въ то время особенно мощнаго, оригинальнаго и наиболѣе значительнаго, что шло въ главномъ руслѣ національной литературы, — Толстой, Тургеневъ Достоевскій, Гончаровъ и др., что продолжало дѣло Пушкина и Гоголя — все это подвергнуто сомнѣнію съ точекъ зрѣнія либерального устава и пренебрежительно отодвинуто на задній планъ. Иностранные читатели, конечно, не оцѣнятъ и, пожалуй, не поймутъ этого почти комического tour de force, но въ Россіи такія сужденія должны быть поняты во всей ихъ незамысловатости. Такъ и должно быть. Критика, потерявшая свой предметъ, не вѣдающая своей настоящей задачи, управляемая случайными критеріями, такая критика должна была предпочесть литературные произведения, явно бьющія въ опредѣленную цѣль, произведеніямъ съ большими психологическими замыслами и творческою глубиною, изъ которыхъ опредѣленные гуманные выводы могутъ быть сдѣланы самими читателями. Вотъ моментъ, когда русская критика, пережившая Бѣлинскаго, повернувшая на публицистической путь благодаря Чернышевскому и Добролюбову, разнудавшаяся при Писаревѣ, дошла до полного ничтожества въ лицѣ писателя, сообщающаго нынѣ французской публикѣ, что вершиною русской литературы должны быть признаны «Отечественные Записки». Г. Михайловскій жалуется на печальное состояніе нашей литературы, на то, что дѣятели настоящаго момента не обнаруживаютъ крупныхъ талантовъ, но онъ не видѣтъ при этомъ, где находится одна изъ важныхъ причинъ современного литературнаго измельчанія, хотя непредубѣжденное изслѣдованіе прошедшіхъ фактъ нашей умственной истории могло бы обнаружить передъ нимъ въ истинномъ свѣтѣ тѣ силы, которыя онъ стремится, во что бы то ни стало, поднять выше ихъ истиннаго значенія.

Что касается философской публицистики «Отечественныхъ Записокъ», опередившей въ своихъ политическихъ тенденціяхъ государствен-

ныя идеи Западной Европы и поровнявшейся въ своемъ полетѣ съ Огюстомъ Контомъ и нео-кантіанствомъ, то и въ этомъ отношеніи соображенія г. Михайловскаго, выраженные въ нѣсколькихъ строкахъ, заключаютъ въ себѣ ошибку наивнаго самоудовлетворенія. На какія статьи, на какія произведенія намекаетъ здѣсь г. Михайловскій? Какія философскія идеи проводились въ «Отечественныхъ Запискахъ» съ такимъ талантомъ, что о нихъ стоитъ говорить въ сжатомъ очеркѣ русскаго литературнаго прогресса? Кто именно такъ изучилъ и прозрѣлъ позитивную философію, что далъ возможность обществу понять ее въ ея достоинствахъ и истинныхъ недостаткахъ? Гдѣ слѣды изученія Канта въ Россіи того времени и какимъ образомъ могло воцариться нео-кантіанство въ литературѣ, въ которой о Кантѣ не было сказано рѣшительно ничего оригинального и самостоятельнаго? Попробуйте спросить какого угодно передового русскаго человѣка, воспитавшагося на «Отечественныхъ Запискахъ» и даже читавшаго тяжеловѣсныя, хотя и не лишенныя серьезности, сочиненія г. Лессевича, прикомандированнаго къ журналу въ качествѣ либеральнаго депутата отъ философіи, спросите самаго г. Михайловскаго, какъ развилось нео-кантіанство, каково его отношеніе къ Канту, въ чёмъ его основной теоретическій принципъ, — и можно сказать съ увѣренностью, что вы получите либо уклончивый, либо самый неопределенный и сбивчиво-формулированный отвѣтъ. Для вникающихъ въ дѣло должно быть ясно, что единственный путь, ведшій отъ нео-кантіанства къ «Отечественнымъ Запискамъ», шель черезъ либеральную добродорядочность г. Лессевича и что самобытно-субъективная философія наиболѣе породистыхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» должна была бы явно скандализировать этого представителя нео-кантіанства, если бы онъ обладалъ, кромѣ либеральной добродорядочности, еще и мужествомъ призваннаго борца науки. Логической связи между русскимъ журналомъ и именно этой отраслью западно-европейской философіи нѣть. Нео-кантіанство пристроилось къ «Отечественнымъ Запискамъ» совершенно случайно и положительно можно сказать, что ни философія, ни либерализмъ отъ этого ничего не выиграли: въ одну телегу вирячъ не можно коня и трепетную лань!

IV.

Но г. Михайловскій даетъ намъ краткую характеристику и великанъ русскаго искусства въ четвертой главѣ своей статьи, представляющей въ самыхъ мрачныхъ красахъ современное положеніе вещей въ русской литературѣ. Рядомъ съ писателями «Отечественныхъ Записокъ», говорить онъ, были еще другие, принадлежавшіе къ предшествующему поколѣнію, не принявши программы журнала. Въ ихъ числѣ мы находимъ Тургенева съ его романомъ «Отцы и дѣти», Гончарова, который пошелъ дальше Тургенева въ «Обрывѣ», и Писемскаго съ его романомъ

«Взбаломченное море». Достоевский и Катковъ (?) писали въ еще более реакционномъ направлении. Тургеневъ и Гончаровъ, говорить г. Михайловскій, никогда не оставляли точки зрения умѣренного либерализма, представляемаго въ Россіи «Вѣстникъ Европы». Достоевскій, по возвращеніи изъ Сибири, кончилъ тѣмъ, что основалъ нео-славянофильскую школу. Два несчастья его жизни — эпилепсія и пребываніе въ ссылкѣ — наложили пагубную печать на его литературную дѣятельность. Его талантъ сдѣлался слишкомъ болѣзненнымъ, его творенія слишкомъ пессимистическими. Остатокъ демократическихъ тенденцій, пережившій его несчастья, превратился въ крайній мистицизмъ, который сдѣлалъ изъ него отчаяннаго врага всякихъ реформъ. Онъ дошелъ до того, что возвелъ въ культу катаргу, которая разбила его жизнь и которую онъ такъ разительно описалъ въ «Запискахъ изъ мертваго дома». Наконецъ, онъ сталъ вѣрить въ то, что русскій народъ желаетъ страданій: это отвѣчало потребностямъ его собственной души и его жестокаго таланта. «Заграницей желали видѣть въ произведеніяхъ Достоевскаго воплощеніе русской души. Это просто ошибка. Русская литература гордится различными произведеніями этого автора, признаетъ могущество его таланта, преклоняется передъ его замѣчательнымъ анализомъ, но она не допускаетъ, чтобы Достоевскаго можно было признать представителемъ души своего народа».

Опредѣливъ такимъ образомъ литературное значеніе Тургенева, Гончарова, Писемскаго, Достоевскаго, г. Михайловскій въ немногихъ словахъ даетъ либеральную оценку дѣятельности гр. Толстого. Гр. Толстой пытался насаждать просвѣщеніе въ Россіи и въ своихъ педагогическихъ статьяхъ, не имѣвшихъ никакого успѣха, указывалъ на печальные результаты западно-европейской цивилизациі. Рассказы, романы и повѣсти его, въ противоположность статьямъ, вызывали общій энтузіазмъ. «Всѣ произведенія Толстого, говорить г. Михайловскій, вращаются въ сферѣ привилегированныхъ классовъ, изображая ихъ то раздавленными тяжестью собственнаго положенія, то несчастными и завидующими мужикамъ, то спокойно наслаждающимися сладостями, предоставленными имъ жизнью». Предавшись публицистической дѣятельности, Толстой прошелъ черезъ цѣлый рядъ внутреннихъ превращеній. Онъ началъ съ того, что присвоилъ себѣ вѣрованія народа и кончилъ тѣмъ, что создалъ собственную вѣру, сдѣлавшись моралистомъ и теологомъ. Русская литература потеряла вслѣдствіе этого громадный талантъ писателя и приобрѣла взамѣнъ мало послѣдовательного и очень туманного мистика.

Итакъ, съ паденiemъ «Отечественныхъ Записокъ» въ 1881 г., русская либеральная литература потеряла своихъ главныхъ вождей, а писатели, не принявшие программы этого журнала, и безъ того мало содѣйствовали интересамъ русского прогресса. Современное положеніе литературы почти безнадежно. Реакція поколебала всѣ прежніе идолы, вся работа прошедшаго поколѣнія оказалась потерянной для представителей современности. Современное поколѣніе лишено идеала и даже не знаетъ, где его искать.

Старые журналы, въ которыхъ свѣтилась русская душа либеральной эпохи, почти недоступны публикѣ. Мы присутствуемъ при полномъ упадкѣ литературы. Отъ времени до времени выступаютъ люди, желающіе сказать намъ новое слово, и общество было бы радо послѣдовать за ними, но—увы! всѣ эти новыя слова не больше, какъ мистическая галлюцинація или метафизическая построенія: новые пророки въ большинствѣ случаевъ не обладаютъ ни талантомъ, ни авторитетомъ. «Русская литература стала тусклой и печальной, какъ осеннеѣ дни нашего отечества». Между современными русскими писателями г. Михайловскій отмѣчаетъ Фофанова, Минскаго, Мережковскаго, Чехова и Короленко, причемъ свои симпатіи выражаетъ только послѣднему...

Въ Россіи опять нѣть ни журавля, ни синицы!

Съ точки зрѣнія журнального устава Тургеневъ и Гончаровъ не болѣе, какъ умѣренные либералы, а Писемскій просто ретроградъ — какъ будто эти писатели сочиняли публицистическія статьи на экономической или юридической темы, а не художественные произведенія, выражающія глубокое пониманіе русского народа и русского интеллигентнаго общества. Достоевскій оказался какимъ-то изувѣромъ, котораго иностранцы только по ошибкѣ считаютъ представителемъ русского національнаго характера. Онъ бредилъ о величіи русского народа, носился съ какими-то мессіанскими идеями, вылилъ въ своихъ произведеніяхъ огонь души, полной экстаза и сектантскаго самообличенія — значить онъ ничего не могъ дать русскому прогрессу, русской умственной культурѣ! Достоевскій, преемникъ Гоголя, такъ сказать, пророкъ среди свѣтскихъ писателей, долженъ уступить мѣсто въ значеніи для русской культуры Хвошинской, Златовратскому, Мамину-Сибиряку. Толстой, на публичномъ судилищѣ передъ интеллигентною Европою, подъ предсѣдательствомъ всемирно-извѣстнаго Михайловскаго, "оказался буржуазнымъ беллетристомъ, туманнымъ и мало послѣдовательнымъ философомъ-мистикомъ). Но въ Европѣ знаютъ беллетристическая произведенія Толстого, а всякий, — знающій автора «Войны и мира» съ его психологіей толпы, съ его почти народническимъ сопоставленіемъ Пьера Безухова съ Каратаевымъ, автора «Севастополя», «Казаковъ», «Трехъ смертей», где все уравнено передъ лицомъ смерти, автора «Поликушки», «Власти тьмы», «Плодовъ просвѣщенія» и многихъ геніальныхъ сказокъ, написанныхъ въ чисто народномъ стилѣ, — пойметъ всю плоскость этой характеристики г. Михайловскаго. А публицистическая произведенія Толстого, ясныя, смѣло рѣжущія все глубже и глубже человѣческую психологію, вдохновенно прокладывающія дорогу широкимъ моральнымъ понятіямъ въ добри и трущобы запутанной человѣческой жизни, почти нелѣпо сопоставлять съ лилипутскими напряженіями русскихъ журналистовъ, самодовольно величающихъ своимъ либеральными подвигами, которые, по собственнымъ словамъ г. Михайловскаго, уже безсильны оказать какое-либо вліяніе на современные умы. Г. Михайловскій думаетъ, повидимому, что съ Достоевскимъ и Толстымъ такъ-же легко

раздѣлаться передъ лицомъ безпристрастнаго европейскаго общества въ немногихъ либеральныхъ словахъ, яко бы скрывающихъ въ себѣ какіе-то значительные намеки и политическія глубины, какъ передъ лицомъ довѣрчивой русской публики, сбитой съ толку рабскимъ языккомъ прикрытыхъ выраженій и недомолвокъ. Ему представляется, что люди, знакомые съ истинно-философскими понятіями и имѣющіе возможность разбрѣться во всѣхъ произведеніяхъ Толстого, такъ же легко разсудить и осудить его міровоззрѣніе, какъ пѣкіе позитивисты «Отечественныхъ Записокъ», состоявшіе въ дружескомъ союзѣ съ нео-кантіанствомъ. Такъ увѣрено и бездоказательно говорить предъ интеллигентной публикой о писателяхъ и общественныхъ дѣятеляхъ можно либо тогда, когда судишь о ничтожныхъ величинахъ, либо тогда, когда надѣешься, что мелькомъ брошенное слово упадетъ на вполнѣ подготовленную почву. А г. Михайловскій судить о русской литературѣ во французскомъ журналь особенно увѣренно и особенно бездоказательно. Незольно задаешься вопросомъ по прочтенію его статейки: что должны думать французы о ходѣ нашего литературного и общественнаго прогресса, да и что думаетъ самъ г. Михайловскій о законахъ всякаго прогресса? До 1857 г. не было въ Россіи ни журавля, ни синицы. Съ 1857 г. по 1881 г., когда закрылись «Отечественные Записки», были и журавль, и синица. Послѣ 1881 г.—опять ни журавля, ни синицы. О синицѣ мы не будемъ говорить. Но куда могъ дѣваться журавль, неожиданно взлетѣвшій надъ полемъ русской журналистики? Неужели высоко парящаго журавля такъ легко захватить въ клѣтку? Неужели высокія умственная стремленія, разъ они дѣйствительно возникли и окрѣпли, такъ легко пропадаютъ для культуры, для дальнѣйшаго прогресса? Повидимому, г. Михайловскому, имѣющему о прогрессѣ свое особенное, субъективное представление, полагающему, что всѣ источники, питавшіе умственную жизнь Россіи, окончательно изсякли, остается разсчитывать только на благосклонность фортуны: вдругъ свалится откуда нибудь новая, живительная идея, вдругъ общество съ раскаяніемъ вернется къ нео-кантіанскому и анти-парламентскому завѣтамъ «Отечественныхъ Записокъ».

А. Волынскій.

ИЗЪ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ.

Гладстонъ и Розбери.— Голосъ русскаго о швейцарской литературѣ.— Романическій эпизодъ изъ жизни Альфieri.— Стихотворенія Ады Негри.— О женскихъ врачебныхъ курсахъ.

Гладстонъ и Розбери. (The Liberal leaders M-r Gladston, lord Rosbery and Sir W. Harcourt. «Review of Reviews» March.) Когда ровно годъ тому назадъ Гладстонъ провелъ въ постѣ и молитвѣ цѣлый день, подготовляясь, какъ древній первосвященникъ, къ великому акту home-role, когда на другое утро онъ внесъ свой законопроектъ объ ирландскомъ самоуправлениі и произнесъ одну изъ самыхъ блестящихъ своихъ рѣчей, никто не думалъ, что ему не удастся довести до конца благородный подвигъ упроченія единства имперіи не на страхѣ и силѣ, а на любви. Его голосъ звучалъ въ палатѣ, какъ призывъ къ борьбѣ; онъ былъ юношески свѣжъ и звученъ и даже враги были потрясены силой вѣры восемидесятилѣтняго старца. Принцъ Уэльскій, присутствовавшій на историческому засѣданію въ парламентской ложѣ, присоединился къ овациямъ въ честь «народнаго Вили». Но судьба рѣшила иначе; время и утомленіе сказались и на великому Ахиллесѣ, и онъ добровольно сложилъ съ себя доспѣхи, вручивъ свой щитъ и мечъ этому рѣдкому «баловню фортуны», лорду Розбери.

Мистеръ Стедъ дѣлаетъ въ редактируемомъ имъ органѣ «Review of Reviews» характеристику двухъ премьеровъ и нового лидера палаты общинъ сэра Гаркортта. Послѣдній представленъ авторомъ въ пристрастномъ свѣтѣ, онъ не пользуется, по-видимому, его расположениемъ; но двѣ первыя характеристики заслуживаются, чтобы на нихъ остановиться подробнѣе.

Англичанину трудно повѣрить, трудно примириться съ мыслию, что Гладстонъ ушелъ окончательно отъ политической жизни. Послѣ пораженія на выборахъ 1874 года, «народный Вили» уже заявилъ, однажды, что отрекается отъ борьбы, что онъ вступилъ въ такой возрастъ, когда нужно готовиться къ другой жизни. Но въ 1874 году онъ былъ только скромной силой, сравнительно съ Гладстономъ послѣдніхъ лѣтъ. Этотъ двадцатилѣтній періодъ былъ самымъ благотворнымъ и значительнымъ въ его жизни. Онъ былъ и тогда великимъ человѣкомъ, но теперь онъ национальный герой, занявший первое мѣсто въ ряду безсмертныхъ именъ, вліявшихъ на судьбу англійской расы. Вотъ почему, разставаясь съ нимъ, народъ испытываетъ особенно горькое и тяжелое чувство. Англія лишилась своего лучшаго украшенія, символа своего величія; сломилась вершина великаго собора; потерянъ лучшій камень въ ея коронѣ. Гладстонъ былъ тѣмъ же для цѣлой страны, чѣмъ соборъ Св. Павла для Лондона. Грандіозный храмъ — это Лондонъ; Гладстонъ — это Англія. Нужно было быть, собственно, готовымъ къ удару, никто не могъ вѣрить въ безсмертіе человѣческой плоти. Но Гладстонъ занималъ слишкомъ долго первое мѣсто въ существованіи англійского народа, и неудивительно, если вмѣстѣ съ нимъ, какъ бы отрывается кусокъ его тѣла. Онъ быть частью цѣлаго, его украшеніемъ и славой; онъ сверкалъ не какъ комета; но согрѣвалъ своими лучами какъ солнце,

и если онъ по временамъ и скрывался, всеѣ были спокойны, что пройдегь ночь, и солнце снова покажется на востокѣ.

Въ течеиie трехъ четвертей столѣтия онъ служилъ Англіи, какъ самый преданный и вѣрный ея сынъ. И до тѣхъ поръ, пока страна родитъ такихъ дѣятелей, какъ Гладстонъ, — съ ихъ высокимъ чувствомъ лояльности и справедливости, въ ней не замрутъ ни сила энтузіазма, ни стремленіе къ добру. Ни за однимъ изъ своихъ сыновей Англія не плашъ такимъ довѣріемъ. И это не было слѣпымъ и неразумнымъ рабствомъ; нѣтъ это было сознаніе, что все лучшее и чистое нашло себѣ олицетвореніе въ «народномъ Вили». Какъ характеръ и государственный дѣятель, онъ совершенно оправдываетъ слова Стеда, сказанныя имъ не такъ давно Государю одной великой державы: «Ваше величество, у Гладстона нѣть замѣstitеля. Когда онъ уйдетъ, мы поставимъ на его мѣсто другого; но Гладстонъ у насъ только одинъ». Великій государственный дѣятель никогда не прибѣгалъ ни къ какому воздѣйствію помимо чисто нравственнаго; никогда не пользовался онъ, поэтому и такою титаническою властью надъ своею партіей и своими коллегами, какъ Парнель. Правда, между англичанами и ирландцами есть разница и въ национальномъ темпераментѣ. Его вліяніе было вліяніемъ служителя слова Божія. Недаромъ въ молодости готовился онъ къ духовной дѣятельности, и кто знаетъ, быть можетъ, въ церковной сфере онъ бы прославилъ себя не менѣе, чѣмъ въ залахъ Вестминстерскаго дворца. Стедъ дѣлаетъ остроумное предположеніе, что было бы, если бы Гладстонъ былъ не первымъ министромъ, а папой. Онъ оказался бы, вѣроятно превосходнымъ главою церкви, и его энцикліки прославили бы его имя въ потомствѣ. Мы имѣемъ нѣсколько образчиковъ его энциклікъ: «Неаполитанская тюрьмы», «Болгарскіе ужасы». «Ватиканизмъ». Все это придало бы несомнѣнно блескъ ватиканскому престолу. Но Гладстону суждено было сдѣлаться не римскимъ, а англійскимъ папой, англійскимъ первымъ министромъ, главой англиканской церкви. Въ сфере практическихъ требованій послѣдней Кентерберийскій шелъ только вслѣдъ за папой. Онъ былъ единственнымъ духовнымъ вождемъ народа, живымъ олицетвореніемъ его совѣта.

Наслѣдникъ Гладстона графъ Розбери (The Earl of Rosebery) не напрасно получилъ название «баловня судьбы». Вокругъ его имени создались цѣлые легенды. Рассказываютъ, что еще на школьной скамье онъ говорилъ своимъ товарищамъ, что добьется трехъ величайшихъ почестей въ мірѣ: женится на самой богатой наслѣднице Англіи, будетъ первымъ министромъ и его лошадь выиграетъ призъ «Дерби». Его покойной женой была Анна Ротшильдъ, единственная дочь Мейера Ротшильда; теперь осуществилась его вторая мечта: въ 47 лѣтъ онъ назначенъ первымъ министромъ ея величества королевы великобританской,— будучи слѣдовательно на 12 лѣтъ моложе Гладстона, принявшаго наслѣдство отъ великаго Пама (lorda Пальмерстона) 59 лѣтъ отъ роду,— и, наконецъ, его лошадь, записанная на «Дерби», имѣетъ всѣ шансы взять главный призъ.

Мистеръ Стедъ относится съ нескрываемыми симпатіями къ замѣстителю великаго Гладстона. Вмѣстѣ со многими другими, онъ считаетъ лорда Розбери человѣкомъ будущаго.

Благородный графъ—надежда британской демократіи; онъ государственный дѣятель болѣе, чѣмъ какой-либо другой либеральный министръ, совмѣщающій имперскіе инстинкты съ соціально-демократическими идеалами. Онъ былъ президентомъ лондонскаго графскаго совѣта, былъ англійскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ; теперь онъ первый министръ ея величества королевы великобританской; онъ шотландецъ по происхожденію, пэръ; мужественъ, смѣлъ и красивъ.

За исключеніемъ Лабушера и его немногихъ сторонниковъ, всѣ, начиная съ королевы и кончая народною массою, считаютъ его настоящимъ человѣкомъ на настоящемъ мѣстѣ. Въ Англіи жалѣютъ только объ одномъ, что принципы гладстоновской школы заставили его отказаться отъ званія министра иностранныхъ дѣлъ. Долж-

ность премьера и завѣдываніе иностранными дѣлами страны не должны быть со-
вмѣщаемы. Таковъ катехизисъ правовѣрныхъ гладстоновцевъ и графъ Розбери по-
далъ первый примѣръ дисциплины, вручивъ портфель графу Кимберлею.

Относительно верхней наследственной палаты первъ благородный лордъ уже
успѣлъ высказаться. Его воинствующій кипучий умъ не остановится передъ страш-
нымъ поединкомъ съ избранными родами. Въ качествѣ руководителя политики своей
страны, онъ склоненъ развернуть знамя джingoизма, знамя лорда Пальмерстона, и
въ дѣлѣ Уганды смѣло пошелъ въ свое время противъ мнѣнія всего кабинета, зая-
вивъ, что британскій флагъ не долженъ быть спущенъ, разъ онъ развѣвается на
какомъ-либо пункѣ земного шара. Вмѣстѣ съ шовинистскими инстинктами новый
премьеръ выдѣляется своею способностью приспособляться къ эволюціи англійской
демократіи. Никто лучше его не умѣеть примирять различныя настроенія, и, въ ка-
чествѣ президента лондонскаго графскаго совѣта, онъ поддерживалъ дружественные
и близкія отношенія даже съ вождями рабочей партіи Джономъ Бернсомъ и Макъ-
Догалемъ. Лондонъ — сердце имперіи, и его задачи, — задачи культурнаго человѣче-
ства. Лордъ Розбери былъ его президентомъ и состоить его членомъ. Аристократъ
по происхожденію и привычкамъ, онъ искренній демократъ въ глубинѣ своего
сердца и его симпатіи обезпечены народу и обездоленнымъ. При этомъ онъ не фи-
лантропъ, помогающій бисквитами и душеспасительными книгами. Нѣть, онъ только
не закрываетъ глаза передъ человѣческими невзгодами и старается, по мѣрѣ силъ,
ихъ облегчить. Какъ ораторъ, онъ отличается чисто шотландскимъ юморомъ, и его
рѣчи вызываютъ всегда веселое и бодрое настроеніе; демократія не приминетъ при-
нять его совѣты, хотя бы они исходили отъ пэра. Какъ Гладстонъ, онъ очень рели-
гіозенъ и сдержанъ въ своей жизни, строгъ къ самому себѣ и находитъ счастье
только среди дѣтей. Свою лучшую и единственную книгу о «Питѣ» онъ посвятилъ
памяти жены. «Величайшимъ счастьемъ моей жизни было посвятить книгу женѣ. Я
посвящаю ее ея памяти». Такой лаконизмъ говорить во всякомъ случаѣ о благо-
родномъ и мужественномъ сердцѣ и недюжинномъ характерѣ. Единственно, чего не-
достаетъ «баловню судьбы» и о чёмъ не говорить Стэдъ — это сна. Часто по но-
чамъ онъ выходитъ изъ своего дворца и бродитъ до утра по улицамъ столицы. Го-
ворить, будто такъ повліяла на него смерть жены. Иногда онъ предпринимаетъ да-
лекія морскія прогулки на своей яхтѣ, но и здѣсь рѣдко находитъ успокоеніе. Въ
послѣдній разъ, передъ образованіемъ министерства Гладстона, болѣзнь принялъ
острую форму и онъ рѣшилъ не вступать въ кабинетъ. Только настоящія Гладстона,
готовившаго себѣ въ его лицѣ преемника, сломили его упорство. Теперь онъ достигъ
вершины власти.

Голосъ русскаго о швейцарской литературѣ. Meister der Schweizerischen
Dichtung des neunzehnten Jahrhunderst. Jeremias Gotthelf, Gottfried Keller, Kon-
rad Ferdinand Heinrich Deutbold, Lronmor, Von Saichik. 1894. Эта объе-
мистая книга заслуживаетъ вниманія, по очень многимъ причинамъ, и вся нѣ-
мецкая печать посвятила ей рядъ статей. Прежде всего, она выдѣляется своею
смѣлостью и, главное, умомъ, большімъ умомъ. У автора во всемъ своя физи-
ономія. Кромѣ того, въ книгѣ разбросано много мѣткіхъ наблюденій и штриховъ.
Авторъ не только художественно чуткая натура, но и тонкій критикъ, съ опре-
дѣлѣнными эстетическими формулами. Онъ очень начитанный и философски
образованный писатель, съ чисто славянской чувствительностью, и въ Герма-
ніи не мало удивляются его знакомству съ специальной швейцарской литературой.
Услышать судъ славянина надъ такими глубокими писателями, какъ Готгельфъ и
Келлеръ, это и ново и не лишено пикантности.

Въ книгѣ есть очень много оригинального, но встрѣчаются, конечно, еще больше
старого. Главный недостатокъ ея — тонъ лифійского оракула автора, дѣлающій
отдельные мѣста критики совершенно непопитными. Нѣкоторыя его характери-

стики—настоящая оргия словословія; съ другими дѣло обстоитъ также далеко не безопасно. Такъ, онъ совершенно напрасно приписываетъ знаменитому Мейеру совершенно фантастические пессимизмъ, несчастную любовь и т. д. Но въ общемъ отзывы «русского о нѣмцахъ», какъ говорить одинъ мюнхенскій критикъ, принадлежащий къ лучшимъ работамъ по швейцарской літературѣ, и нѣкоторыя опредѣленія автора отличаются поразительной мѣткостью. Относительно Мейера послѣднее объясняется международнымъ характеромъ швейцарского поэта. Юморъ Келлера и пессимизмъ Драмора нашли въ славянско-русскомъ критикѣ также тонкаго юнкителя. Онъ поражаетъ вездѣ своею начитанностью и даже съ нѣкоторымъ излишествомъ нагромождаетъ на 410 страницахъ одного тома цитату на цитатѣ. Эпосъ лирика Мейера, также какъ и чистая лирика Келлера, не оставлены авторомъ безъ вниманія. О первомъ онъ говоритъ: «Мейеръ не принадлежалъ къ чисто лирическимъ патурамъ, облегчающимъ горе тѣмъ, что они облекаютъ его въ поэтические образы; онъ былъ натурой трагической, не любящей показываться на аренѣ съ своимъ горемъ». Въ другомъ мѣстѣ онъ пишетъ: «Онъ былъ чувствителенъ къ красотамъ природы родной Швейцаріи, особенно же къ красотамъ синаго альпийского кряжа; но онъ не былъ въ состояніи облечь свои чувства въ поэтический образъ». Такихъ красивыхъ и художественныхъ характеристикъ не мало въ любопытной книгѣ, и ее прочтеть съ пользою всякий, для кого незнакома свободная и гордая страна, имѣющая свою самобытную литературу.

Романический эпизодъ изъ жизни Альфieri. Новые черты изъ біографіи великаго драматурга, Альфieri, должны безспорно заинтересовать всѣхъ слѣдящихъ за западноевропейской літературой. Въ итальянскомъ периодическомъ изданіи «Gazzetta Letteraria» появилась по этому вопросу статья Перреро «Note et Aggiunte alla vita di Vittorio Alfieri sopra riuchi documenti D. Perrero. Gazzetta Letteraria 10 marzo 1894». Авторъ, на основаніи неизданныхъ документовъ, разясняетъ намъ нѣкоторые эпизоды изъ книги «Vita» Альфieri, какъ главу X и XI «О страстномъ любовномъ приключеніи въ Лондонѣ» и «Объ ужасномъ разочарованіи славой» Г. Перреро удалось открыть имя героини романического приключения, названной Альфieri очень неопределенно «прелестной синьорой вышаго лондонскаго свѣта».

Въ 1771 году посланникомъ Сардиніи въ Лондонѣ состоялъ графъ Оттонъ ди-Скарнафижи; къ нему въ сентябрѣ 1770 года обратился г. Райберти, одинъ изъ видныхъ чиновниковъ министерства иностраннаго дѣлъ, и горячо рекомендовалъ Альфieri (находившагося въ то время въ Петербургѣ), какъ потомка благороднаго рода, «успѣвшаго пріобрѣсти во время своихъ путешествій уваженіе всѣхъ, съ кѣмъ ему приходилось сталкиваться, и воспользовавшагося своими поѣздками въ цѣляхъ расширенія знанія и полезныхъ свѣдѣній».

Переводъ не замедлилъ состояться, и здѣсь-же разыгрался романъ блестящаго и молодого Альфieri. 10 мая 1771 года графъ Скарнафижи допоспѣлъ министру иностраннаго дѣлъ Джузеппе де-Кастелляру: «Во вторникъ вечеромъ, когда почта была уже отправлена, ко мнѣ явился графъ Альфieri, чтобы сообщить о своемъ приключеніи, и я считаю долгомъ доложить обо всемъ вашему превосходительству. Вслѣдствіе интриги съ миледи Лигоніе, дочерью сэра Питта (Джорджъ Питтъ, позднѣе лордъ Риверсъ, чрезвычайный посланникъ Великобританіи при туринскомъ дворѣ, съ 1763 по 1768 годъ), мужъ сталъ относиться подозрительно къ ихъ пребыванію, сталъ слѣдить за нимъ, узялъ, что ночь съ 5 на 6 число текущаго мѣсяца они провели вмѣстѣ, въ деревне. На слѣдующій же день онъ прогналъ жену къ отцу, заявивъ, что не желаетъ имѣть съ ней ничего общаго, и что онъ начинаетъ процессъ о разводѣ. Вечеромъ, въ оперѣ, онъ встрѣтился въ ложѣ князя Массерана съ графомъ Альфieri и вызвалъ его на дуэль. Графъ, несмотря на то, что рука была у него на перевязи, принялъ вызовъ. Встрѣча состоялась въ Сен-Джемскомъ

паркѣ,—но безъ всякихъ результатовъ. Милордъ Лигоніе объявилъ, что онъ удовлетворенъ, и ничего больше не желаетъ. Графъ же Альфieri началъ строить тысячи проектовъ и, ослѣпленный страстью, не обращалъ вниманія на совѣты князя Массерана, маркиза Каракчіоли и мн.; не смотря на то, что разводъ могъ и не состояться, что бракъ съ разведенной женой ему могли и не разрѣшить, онъ все твердилъ одно и тоже, что «онъ сдѣлалъ ее несчастной и потому не можетъ покинуть ее».

Случай этотъ, конечно, долженъ былъ обратить на себя вниманіе, и могъ дойти до Піемонта другимъ путемъ, причемъ непосредственное начальство взглянуло бы на дѣло болѣе строгими глазами, потребовавъ, чтобы Альфieri сейчасъ же вернулся въ Піемонтъ. Это было извѣстно Скарнафижи, онъ зналъ также, что въ томъ состояніи, въ какомъ находился его любимецъ, онъ ни за что не подчинится приказанію, а это могло ему сильно повредить; и онъ постарался отвратить ministra отъ нежелательного рѣшенія. «Нисколько не защищая молодого человѣка, я беру на себя смѣлость указать вашему превосходительству на его хорошія стороны; миледи Лигоніе уходитъ къ тому же въ монастырь, и я не потерялъ надежды убѣдить его совершилъ далекое путешествіе въ Лисабонъ».

Къ счастью Альфieri, министръ иностраннѣхъ дѣлъ успѣлъ познакомиться съ нимъ четыре года тому назадъ въ Неаполѣ, гдѣ онъ былъ тогда посланникомъ; и ему разрѣшено было продолжить путешествіе. Еще болѣе счастливымъ для него обстоятельствомъ было то, что въ то самое время всплыла на свѣтѣ Божій болѣе ранняя связь ея съ лакеемъ милорда, и matrimonіальные планы его рушились. Графъ ди-Скарнафижи былъ очень радъ и доволенъ и поспѣшилъ увѣдомить о перемѣнѣ ministra, наставивъ на дарованіяхъ «молодого человѣка, способнаго принести большую пользу королю и родинѣ».

Тѣмъ временемъ въ Туринѣ дошли другія свѣдѣнія объ Альфieri, значительно преукрашенныя; враги уже радовались, въ разсчетѣ, что ему придется непремѣнно вернуться. Они старались какъ нибудь довести обо всемъ до слуха короля Карла-Эмануила III, очень строгаго по части нравственности. Путешественнику пришлось бы тогда круто. Но сильнѣе, чѣмъ козни враговъ, было расположение къ нему ministра, и онъ поспѣшилъ успоконить посланника въ особомъ письмѣ, отъ 15 мая 1771 года: «Вы меня крайне обязываете, если передадите г. Альфieri, что онъ встрѣтить во мнѣ всегда готовность оказать ему услугу, и что я высоко цѣлю его самого и его чувства ко мнѣ».

Трудно предположить, чтобы какое-нибудь другое правительство могло отнести болѣе предупредительно и болѣе мягко къ Альфieri, чѣмъ правительство людей, не разъ называемыхъ впослѣдствії «варварскими и дикими властителями» страны.

Еще болѣе непонятными представляются намъ въ «Vita» Альфieri тѣ главы, гдѣ онъ говорить о маркизѣ Массерано и маркизѣ Каракчіоло, обходя совершенно молчаніемъ не только графа Кастеляра, но и графа Скарнафижи, сдѣлавшихъ ему столько добра и обнаружившихъ по отношенію къ нему столько привязанности и предупредительности. Судя по автобіографіи, можно думать, что въ Лондонѣ совсѣмъ не было сардинскаго посла. Это несправедливое замалчиваніе введено было, повидимому, Альфieri въ систему; у него находилось для людей и дѣлъ своей страны только слова раздраженія. Это было не только неблагодарно, но и несправедливо, такъ какъ Піемонтъ выдвинулъ въ то время многихъ выдающихся государственныхъ дѣятелей; и лордъ Честерфильдъ писалъ своему сыну, готовящемуся къ дипломатической дѣятельности: «при всѣхъ дворахъ и на всѣхъ конгрессахъ ты встрѣтишь иностраннѣхъ дипломатовъ; но представители Сардиніи будутъ въ общемъ самые даровитые, любезные и ловкіе». Нисколько неудивительно, если Деметръ пишетъ объ автобіографіи Альфieri: «Я не люблю этого произведения и его болѣе чѣмъ презрительный топъ, въ отзывахъ о Піемонтѣ и его дворѣ».

Если предупредительность и любезность дипломатовъ къ Альфieri можно объ-

яснить его общественнымъ положеніемъ, то совершенно непонятнымъ представляется намъ единодушіе, съ какимъ отзывались дипломатические представители Піемонта въ различныхъ европейскихъ столицахъ объ его поведеніи и объ его усиліяхъ принести пользу королю и государству.

11 апрѣля 1767 года графъ ди-Ривера писалъ г. Райберти, что «онъ никогда не встрѣчалъ болѣе даровитаго и блестящаго юношу». Если сравнить эти единогласные восторги съ автобіографіей, контрастъ бросится самъ собою въ глаза. Юноша, поставленный въ самыя благопріятныя условія для изученія обычаевъ, правовъ и выдающихся дѣятелей, терялъ драгоценное время на любовныя приключенія и авантюры, и думалъ только о своихъ капризахъ. Объяснить эти противорѣчія можно или тѣмъ, что всѣ дипломаты сознательно обманывали дворъ или что всѣхъ сознательно обманывалъ Альфieri. Есть еще одно предположеніе, что рядомъ съ добрыми качествами преобладали въ Альфieri и дурныя, особенно ярко сказавшіяся въ его «Vita», и это будетъ самое близкое и подходящее къ эксцентричному характеру Альфieri объясненіе. «4 июня, читаемъ мы въ письмахъ графа Демилезимо, прибылъ къ намъ въ Туринъ великий Альфieri.» Бурбоны поставили въ театрѣ одну изъ его пьесъ. Представление потерпѣло фіаско, благодаря дурному исполненію. А раздраженный авторъ писалъ: «Съ этого дня начинается мое разочарованіе славой». Въ этомъ отношеніи, какъ видно, Альфieri былъ гораздо ближе къ типу обыкновеннаго человѣка съ его слабостями и пороками, чѣмъ другой великій поэтъ Италии, поэтъ пессимизма Леонарди, воспитанникъ великой школы Данте, Петрарки и Возрожденія, вызывавшій въ звучныхъ стихахъ къ «Источнику любви—красотѣ, къ красотѣ души». «Всякій изъ пасъ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, болѣе или менѣе благороденъ въ такой степени, въ какой онъ способенъ познавать красоту». Какъ древній эллинъ онъ искалъ идеала въ прекрасномъ, но не только въ гармоніи формъ, а въ величинѣ души, въ «возвышенныхъ и сверхчеловѣческихъ химерахъ, въ справедливости, добродѣтели и славѣ».

Стихотворенія Ады Негри. Недавно появившіяся въ Италии сборникъ стихотворений, озаглавленный «Fatalit », возбудилъ интерес читающей публики какъ содержаніемъ своимъ, такъ и личностью автора. Дѣйствительно, уже одно то, что авторъ этого сборника—молодая дѣвушка, придаетъ ея произведеніямъ исключительный интересъ. Въ данномъ случаѣ интересъ усугубляется еще тѣмъ, что юная писательница—дочь простой работницы, что она родилась и выросла въ бѣдной ремесленной обстановкѣ. Она знаетъ по горькому опыту всѣ темныя и грустныя стороны этой жизни, и всѣ ея стихотворенія, затрагивающія эти вопросы—есть крикъ живой, страдающей души.

До 18 лѣтъ Ада Негри жила съ матерью въ Лоди; затѣмъ переселилась въ мѣстечко Мотта-Висконти, гдѣ получила мѣсто школьнной учительницы. Тяжелый, однобразный трудъ не помѣшалъ ей заниматься поэзіей, и измученная трудозымъ днемъ дѣвушка проводить ночи безъ сна, занимаясь дорогимъ дѣломъ. Теперь, когда она стала извѣстна благодаря своему таланту, она все-же не бросила утомительныхъ занятій въ школѣ.

. Ада Негри не получила почти никакого образованія, читала очень мало, и вся доступная ей литература заключалась въ журналахъ, которыхъ она, правда, получаетъ множество и которые присылаются ей ея друзьями. Она никогда нигдѣ не была, ничего не видѣла; красоты природы и искусства ей одинаково чужды. Только недавно, и то мелькомъ, увидѣла она впервые большой городъ. Миланъ ослѣнилъ ее и вѣсколько дней бѣдная дѣвушка ходила словно отуманенная непривычнымъ для нея шумомъ, блескомъ и оживленіемъ. Вотъ все, что можно сказать о тяжелой, бѣдной событиями жизни молодой дѣвушки. Краткая біографія необходима для лучшей оценки какъ достоинствъ, такъ и недостатковъ ея произведений. И

тѣхъ и другихъ у нея не мало, но недостатки ея по большей части чисто вѣшніе, а достоинства коренятся глубоко въ натурѣ самого поэта.

Говоря о недостаткахъ, необходимо прежде всего указать на самый крупный и самый существенный, а именно однообразіе сюжетовъ. Разбирая различные роды поэзіи Негри, мы раздѣлимъ ихъ на болѣе или менѣе характерныя группы, для удобства ихъ разбора. На самомъ-же дѣлѣ такого рѣзкаго раздѣленія нѣтъ. Во всѣхъ почти стихотвореніяхъ повторяются тѣ же жалобы на судьбу, надежда на свои силы и т. п., только въ различныхъ комбинаціяхъ. Ада Негри вездѣ субъективна, никогда не даетъ полнаго, цѣльного изображенія какого-нибудь чувства или поступка. Ея стремленія не имѣютъ никакой почвы, она сама не отдаетъ себѣ хорошо отчета въ томъ, куда она стремится, чего ждеть. Вотъ, напр., что она говорить въ «Non mi turbar»:

Когда свое чело задумчиво склоня,
Твоимъ словамъ любви съ улыбкой безучастной
Внимаю молча я—о, не тревожь меня!
Я созерцаю міръ блаженный и прекрасный.

...Вездѣ любовь и свѣтъ и розы благоуханье,
Невинныхъ, свѣтлыхъ душъ прекрасныя мечты,
Великихъ, славныхъ дѣлъ небесное блистанье,
Порывъ могучихъ силъ, сиянье красоты.

Весь міръ—одна страна для всѣхъ людей родная,
Одинъ святой порывъ всѣ души единить,
Надъ радостной землей отъ края и до края
Гимнъ мира и любви торжественно звенить!

Тѣ-же возвышенныя стремленія выражены въ слѣд. словахъ «Il canto della zappa» (Пѣснь кирки):

...Я мечтаю о новомъ разсвѣтѣ,
Когда свѣтлое знамя труда
Въ всемогуществѣ, славѣ и свѣтѣ
Возстановитъ пародъ навсегда.

Будутъ чисты знамена плебея
И клинки не потонутъ въ крови,
И раздора ехидныя змѣи
Уничтожатся силой любви.

Съ формой своихъ произведений Негри обращается небрежно. Происходить ли это отъ неумѣнія или просто отъ нежеланія работать надъ нею? Скорѣе первое; но если можно указать два или три оригинальныхъ приема (Te solo, Luce, Afa), можно вдесятеро больше набрать примѣровъ неумѣлаго обращенія съ формой. Таковы, напримѣръ, «Maho nell' Ingrancio», написанные якобы терцинами, но гдѣ первая строка вовсе ни съ чѣмъ ни риѳмуется, «Salve», гдѣ вовсе нѣтъ риѳмы и т. д. Недостатокъ начитанности отразился и на основной формѣ произведеній Негри; у нея нѣть ни одного большого произведенія не только эпического, но даже простой баллады, требующей все-же помимо общихъ свѣдѣній—знаний чисто-практическихъ: умѣнія составить планъ, развить его и т. п. Вообще надо сознаться, что стихотворенія Ады Негри производятъ впечатлѣніе не формой, даже не содержаніемъ, а только своимъ настроениемъ.

Результатомъ всего вышесказанного естественно является вопросъ: чѣмъ-же собственно заслуживаетъ вниманія Ада Негри? Дѣйствительно, если даже ея недостатки происходятъ главнымъ образомъ отъ ея неопытности, это можетъ послужить оправданіемъ ей, какъ личности, но не какъ поэту, отъ котораго мы привыкли ждать многаго, къ которому примѣняемъ извѣстныя требования, независимо отъ его образования и общественнаго положенія. И наконецъ, недостатки эти не превышаются

какими-нибудь несомнѣнными, яркими достоинствами. Каждое стихотвореніе безусловно содержательно и свѣжо, но вѣдь этого недостаточно!.. Возраженіе это основательно и опровергнуть его невозможно. Несомнѣнно, что если мы будемъ предъявлять къ Негри обычныхъ требованій, мы не получимъ благопріятнаго отвѣта, но — можно ли прилагать къ ней принятую мѣрку, и не достигнемъ ли мы гораздо лучшіхъ результатовъ, если будемъ смотрѣть на нее съ другой точки зрѣнія?

Если искать въ сборнике Негри новыхъ, блестящихъ мыслей, или по крайней мѣрѣ новаго, оригинального выраженія ихъ, то разочарованіе будетъ полное. Идеи Негри не новы, чтобы не сказать банальны, оригинальность-же формы чисто вышняя; ни одно мѣткое выраженіе, ни одинъ блестящій парадоксъ не останавливаютъ вниманія. Но стихотворенія эти пріобрѣтаютъ несравненно большее значеніе, если разсматривать ихъ, какъ полную картину душевной жизни дѣвушки. Тогда самыя ничтожныя вещицы получаются новый интересъ, какъ освѣщеніе этой женской души «peinte par elle-m me». Къ сожалѣнію, эта особенность сборника менѣе всего поддается анализу. Можно пересказать содержаніе, но нельзя передать того ощущенія свѣжести, молодости и чистоты, которое появляется при чтеніи. Здѣсь неѣ поражающей глубины мысли, но есть безотчетное, молодое стремленіе къ свѣту и свободѣ, напр., въ стихотвореніи «Cavallo arabo» (Арабскій конь), а особенно слѣдующія слова:

Конь мой, впередъ! И на полѣ открытомъ
Бей, попирай своимъ звонкимъ конемъ
Страсти порочныхъ племенъ.
Видишь, собираются въ полѣ туманы,
Выше! Несись черезъ горы и скалы
Царственъ, могучъ и сильнъ!
Жаромъ пылаешь несокъ раскаленный,
Мчишь быстрѣ, мой конь запѣненный,
Смѣло несишь впередъ!
Мчишь неизвѣстности темной на встрѣчу,
Горе, опасность безстрашно я встрѣчу,
Если свобода тамъ ждетъ!

Молодая, кипучая энергія такъ и бѣть ключемъ въ пылкой душѣ; и одновременное настроеніе не удерживается долго, надъ нимъ вездѣ «блестаютъ ея двадцать лѣтъ», которые молодо, громко, дерзко поютъ и смѣются, не смущаясь ни мрачнымъ призракомъ горя, не нищетой, ни изнурительнымъ трудомъ!

Вотъ напр. отрывокъ изъ стихотворенія «Bon-di, Misericordia» (Добрый день, нищета)!

Терзай меня, но я непобѣдима;
Я молода, пойми, и буду жить!
Пусть гнетъ тяжелъ, борьба невыносима —
Имъ не удастся молодость сломить.
Несчастіе и горе побѣждай,
Надъ всѣмъ блестаетъ юность золата!

Хочу я жить гармоніей искусства,
Всегда прекрасной, юной и живой,
Хочу узнать порывъ горячій чувства,
И честный трудъ могучий и святой,
Безечный смѣхъ и заикахъ розъ прекрасныхъ,
Любовь и нѣту иощѣуевъ страстныхъ!..

Но ты проходишь мрачное видѣніе,
И закрываешь блескъ златыхъ лучей,
А вокругъ несутся ароматы, иѣнѣ,
И все живеть вполнѣ и горячѣ!
И я, хоть скована безжалостно тобой
Пою веселый гимнъ, гимнъ жизни молодой!

Та же страстиꙗ появляется и въ другихъ стихотвореніяхъ, напр., Luce, Salvete и особенно «Sfida» (Вызовъ), гдѣ она бросаетъ вызовъ всему миру съ его страстями и пороками:

И ты, ничтожный міръ, испорченный и лживый,
Развратный, злой ингемъ, безсильный и слѣйой,
Ты, мелочный торгащъ, лишь ищущій наживы,
Ты хочешь подорвать полетъ мой молодой?..

.. Но устремивъ свой взглядъ на ясныя свѣтила,
Безстрашно я иду съ надеждою впередъ!

Но молодая, отзывчивая душа устаетъ бороться съ горемъ и нуждой; дѣвушка утомлена, измучена, и какъ больное дитя ждетъ утѣшенія отъ горячо-любимой матери:

.. О, мама, я хочу забыть, что я поэтъ,
И стать малюткой снова.

Хочу услышать вновь напѣвъ спокойный твой,
Когда въ вечерній часъ, безмолвный, безмятежный,
Качая колыбель, ты пѣла надо мной
Съ такою лаской нѣжной!

Какъ бѣдное дитя, уставшее страдать,
На дорогую грудь хочу опять склониться,
И блѣдное чело, какъ прежде, цѣловать,
И тихо—позабыться.

Мать заболѣваетъ и, исполненная чистой вѣрой, дѣвушка обращается къ Богу съ жаркой мольбою, предлагая ему взять у нея все, но даровать жизнь ея дорогой мамѣ:

О Боже мой, сжался надъ нею,
Внемли моимъ жаркимъ мольbamъ,
Все, все, чего жду я отъ жизни,
Тебѣ я за это отдамъ!
Покрай оскорбленьемъ, позоромъ
Ты грустную юность мою,
Любовь и надежды и радость
Я въ жертву тебѣ отдаю.
Пусть въ горѣ, слезахъ и печали
Текутъ мои грустные дни,
Пусть счастья душа не узнаетъ...
Но маму мою сохрани!..
О, сжался!

Опасность проходить и дѣвушка забываетъ свое обѣщаніе удовлетвориться скромной одинокой жизнью, она снова рвется на просторъ, въ вышину, куда-нибудь, чтобы только забыть не привѣтную тяжелую жизнь и ея заботы:

О, я рвусь на свободу полей необъятныхъ,
Какъ горячий, какъ огненный копъ молодой!
По коврамъ разноцвѣтнымъ цѣтовъ ароматныхъ
Я хочу пропоситься какъ вѣтеръ стенной,
И могу чумы дыханье земли плодородной
Упиваюсь хочу я всей грудью свободной!..
„Vieni ai campi“ (Идемъ въ поля).

Тоже чувство сквозить и въ слѣдующихъ строкахъ «Tu vuoi saper» (ты хочешь знать):

Кто разобьетъ мои пѣни жестокія,
Дверь роковую темницы моей?
Скоролъ расправлю я крылья широкія,
И унесуся въ пространства далекія,
Въ блескѣ горячихъ лучей?..

И рядомъ съ такими страстиꙗми порывами является такое стихотвореніе, какъ «Sinite parvulos». Оно стоитъ какъ будто въ противорѣчіи съ другими, но между

тѣмъ оно вполнѣ объяснимо. Эта чуткая, впечатлительная натура быстро и сильно отзыается на все, что и ее затрагивает и поражает и вотъ она встрѣчаетъ бѣднаго заброшенного ребенка: женская нѣжность вспышаетъ ей сочувствіе къ покинутому мальчику, и забывая всѣ свои идеи о славѣ, она съ дѣтской пепослѣдовательностью переходить къ совершенно-противоположному желанію, и рисуетъ себѣ картину тихой, самоотверженной жизни.

Много стихотвореній Негри, если не большинство, посвящено бѣднымъ, страдающимъ братьямъ; тутъ нѣть и слѣда искусственности, заученныхъ жалобъ и т. п. Это—искреннее, живое сочувствіе человѣка, испытавшаго то-же горе, ту-же нужду; это горячія, чистыя слезы молодого отзывчиваго существа. Мѣстами слова ея, особенно когда она говоритъ о дѣтяхъ, звучатъ чисто-материнскою нѣжностью. Напр., въ «Birichino di strada» (Уличный мальчикъ):

О, какъ бы охотно къ нему я сбѣжалася,
Взяла бы бѣдняжку въ объятья мои,
И съ нѣжностью страстной ему прощептала
Слова утѣшенья, тоски и любви!

Наиболѣе ярко выражается ея сочувствіе въ стихотвореніяхъ: *Mano nell' Ingrasso, Sulla Breccia, Solvete, Vedova*. Временами сочувствіе это переходитъ въ озлобленіе, дикое озлобленіе противъ тѣхъ, кто не нуждается и не страдаетъ. Какъ болѣво выражается оно напримѣръ, въ «Autopsia» (Вскрытие), гдѣ мертвая дѣвушка, лежа на диссекціонномъ столѣ, разсказываетъ врачу свою грустную жизнь:

Что-жъ, рѣжь и мучай молодое тѣло,
—Кто пожалѣеть о моей судьбѣ!—
Вскрывай мой трупъ и поуйтай смѣло,
Вѣдь это тѣло продано тебѣ!

...Нѣмая жертва пристальнаго взора
Обнажена лежу я предъ тобой,
И все еще страдаю; но не скоро
Забудешь ты взглядъ неподвижный мой.

Я умерла, но горечь и страданье
Лежать клеймомъ ужаснѣй на чертахъ,
Еще дрожитъ предсмертное рыданье.
На искаленныхъ мукой устахъ!..

И рядомъ съ такими мрачными картинами внезапно прорывается картина, полная такого свѣта, радости и наслажденія, что кажется какимъ-то диссонансомъ среди серьезныхъ и даже грустныхъ изображеній жизни.

Средь волнъ колосъевъ нѣжно-золотистыхъ,
При тихомъ шумѣ ихъ спокойныхъ струй.
На миляхъ губкахъ пурпурныхъ и чистыхъ
Напечатлѣть онъ первый поцѣлуй.

—Смѣется неба сводъ лазурно-ясный,
Весь миръ сияетъ ярче и свѣтлѣй,
Свѣжо и чисто поцѣлуй прекрасный
Звенить, несясь межъ золотыхъ полей.

Раскрывъ тревожно вѣнчикъ ароматный,
Ѣдуть поцѣлуй страстные цветы,
И гимнъ любви могучий, благодатный,
Поеть земля въ сияньи красоты!..

Какъ бы ни была удручена дѣвушка горемъ и нуждою, въ самомъ тайномъ уголкѣ ея сердца всегда живутъ грѣзы о любви, которая, какъ бѣдные забытые цветы, грустно повижаютъ головками въ трудныя минуты; но стоитъ проглянуть солнцу, пролиться теплому дождю, и увядающіе цветы снова оживаютъ и расцвѣтутъ.

таютъ. Не то ли—живидимъ мы и у Негри? Послѣ мрачнаго отчаянія (*Autopsia*), послѣ жалобъ и слѣзъ, встрѣчаемъ мы такое стихотвореніе, какъ «*Popolana*», гдѣ звучить такая молодая страсть, такое полное, горячее чувство, которое ясно доказываетъ, какъ много надеждъ и жизни осталось въ сердцѣ дѣвушки, не смотря на горе и нужду. Какая страсть звучитъ въ послѣднихъ словахъ *Te solo* (Ты одинъ):

Къ молодому челу, о, позволь мнѣ, позволь
Съ поцѣлуемъ приникнуть горячимъ и страстнымъ,
И одно только слово любви прошентать
Въ уноенны миуптномъ, но чудно-прекрасномъ!..

Мнѣ такъ надо любить!

А все стихотвореніе «Въ грозу» (*Nelle uragano*) развѣ не есть выраженіе той же глубокой всепоглощающей страсти?

Пусть воетъ ураганъ съ невѣдомою силой,
Пускай грохочеть громъ,
Ни буря, ни гроза мнѣ не страшны, о, милый,
На сердцѣ дорогомъ!

Какъ просто и какъ естественно выражено чувство дѣвушки въ *Perchѣ?* (Почему?). Дѣйствительно, она и сама не знаетъ, почему такъ властно, такъ влесильно влечетъ ее къ себѣ мощнага, безмолвная страсть «другого». Какъ много говорить одна строка ея стихотворенія «*Canto d'Aprile*» (Апрѣльская пѣснь), начинающаяся словами:

«О Amore, Amore, Amor!...»

Мечты о славѣ чаще всего мелькаютъ въ умѣ молодого поэта, и онъ много разъ съ особенной любовью къ нимъ возвращается. Въ такой страстной натурѣ ни одно чувство не выражается вполовину: сочувствіе страдающимъ братьямъ доходитъ до безумнаго озлобленія противъ богатыхъ и счастливыхъ, чувство глубокой, простой любви переходитъ вездѣ въ порывы бурной страсти, которой она отдается всей своей южной впечатлительной натурой. То же видимъ мы и въ ея мечтахъ о своемъ призваніи. Кромѣ небольшого стихотворенія *Fatalit*, отъ которого получила название и весь сборникъ, во всѣхъ остальныхъ ея стихотвореніяхъ, затрогивающихъ эту мысль, горить страстная жажда славы и отчаянія при мысли о томъ, что она можетъ умереть, не получивъ желанныхъ лавровъ.

Въ стихотвореніи «*Madre orogaia*» (Мать-работница), описывая жизнь бѣдной работницы, которая трудится до изнуренія, чтобы воспитать сына, у котораго «блестѣть въ очахъ таинственный свѣтъ генія», она описываетъ свою мать, а этотъ сынъ, которому она предсказываетъ такую славную и благотворную жизнь, не есть ли это сама Ада Негри, такъ твердо-вѣрящая въ свое призваніе?

Въ стихотвореніи, посвященномъ памяти Марии Башкирцевой, она болѣе ясно высказываетъ это стремленіе къ славѣ. Опакивая смерть Башкирцевой, она оплакиваетъ и себя: «Ужели отъ насъ ничего, ничего не остается?..» спрашиваетъ она съ горечью и болью, и ей становится страшно, что и она, со всей ея жаждой славы и дѣла, должна найти въ концѣ жизни наградой за всѣ свои стремленія—холодную могилу. Вотъ еще новое доказательство искренности этого порыва: если бы дѣвушка измышила свои произведения, а не переживала на самомъ дѣлѣ всѣхъ чувствъ, которыхъ въ нихъ выражены, она навѣрно вложила бы въ нихъ большую долю скромности и ложнаго смиренія. Но, нѣтъ! съ молодой самонадѣянностью она не сомнѣвается въ успѣхѣ и говорить о немъ съ такимъ наивнымъ, чисто дѣтскимъ самоинѣнiemъ, что невольно подкупаетъ читателя именно этой смѣлостью.

Ты будешь сражаться безстраши и смѣло,
Живя лишь грядущимъ, не глядя назадъ,
И пѣсни твои разнесутся какъ стрѣлы,
Какъ кличъ боевой на землѣ прозвучатъ.
Чусть льется ручьемъ твоя юная кровь—
Ты все будешь пѣть, прославляя любовь!

Средь пошлого свѣта, средь лжи и порока
Пойдешь ты впередъ велика и лена,
За все, что прекрасно, за все, что высоко,
Ты будешь бороться, надежды полна!
И если тебе суждено пораженье,
Ты будешь прекрасна и въ самомъ паденьи!
„Voci di tenebra“ (Голосъ тьмы).

Еще ярче выражена та же идея въ слѣдующихъ словахъ «Vaticinio» (Предсказаніе):

Всѣхъ тѣхъ, кто страдаетъ подъ гнетомъ неправды,
Прославишь ты въ пѣсняхъ своихъ,
И будешь предѣстникомъ воли и правды
Твой грозный, бичующій стихъ.
... Тебѣ, нашъ боецъ за иден святыя,
Изъ мрака возставшій иѣвецъ,
Могучая Слава на кудри густыя
Возложить безсмертья вѣнецъ!

Развѣ не представляется интереса эта дѣвственная душа, такъ правдиво и просто раскрытая передъ нами?..

О женскихъ врачебныхъ курсахъ. Въ № 3 «Смоленского Вѣстника» мы находимъ слѣдующую замѣтку: По поводу возбужденаго губернскимъ земствомъ ходатайства обѣ открытии женскихъ врачебныхъ курсовъ и предоставленіи права лицамъ, получившимъ заграничные докторскіе дипломы, держать экзаменъ на врача при русскаго университетаѣ, г. товарищъ министра, сенаторъ Плеве, увѣдомилъ г. смоленскаго губернатора, что было сдѣлано соображеніе съ министерствомъ народнаго просвѣщенія, которое увѣдомило министерство внутреннихъ дѣлъ, что Высочайшимъ повелѣніемъ 3-го декабря 1892 г. г. министру народнаго просвѣщенія предоставлено право возбудить вопросъ обѣ учрежденіи женскаго медицинскаго института, когда образуется изъ частныхъ пожертвованій сумма, достаточная для покрытия необходимыхъ расходовъ по его содержанію, и что такимъ образомъ отъ успѣшности поступленія упомянутыхъ пожертвованій будетъ зависѣть дальнѣйшее движение этого дѣла.

Какъ намъ извѣстно изъ достовѣрныхъ источниковъ, въ настоящее время, послѣ двухъ весьма крупныхъ пожертвованій, поступившихъ въ общій капиталъ, предназначенный для содержанія курсовъ, недостаетъ еще небольшой сравнительно суммы размѣромъ около 100 тысячъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ¹⁾.

Въ одномъ французскомъ журналь, гдѣ усердно слѣдятъ вообще за литературами всѣхъ странъ, недавно появилась статья г. Михайловскаго подъ названіемъ «Le mouvement littéraire en Russie». Статья эта не безъинтересна для насъ, русскихъ, въ томъ отношеніи, что, распространяя среди европейской публики неправильное представление о нашей литературѣ, она вносить только новую путаницу въ смутныя понятія европейцевъ о насъ. Мы не думаемъ этимъ сказать, чтобы г. Михайловскій сознательно хотѣлъ умалить русскую литературу; напротивъ, онъ искренно исповѣ-

¹⁾ Помѣщаю настоящее, полученное нами, письмо безъ какихъ либо измѣнений съ нашей стороны, какъ отголосокъ тѣхъ настроений, которыхъ должны дать толчокъ къ критической разработкѣ вѣкоторыхъ современныхъ литературныхъ вопросовъ.

дуется въ своей любви къ ней, указывая, между прочимъ, какъ трудно ему говорить о русской литературѣ передъ читателями, едва знакомыми съ двумя-тремя выдающимися русскими именами, тогда какъ онъ, въ теченіе всей своей тридцатилѣтней писательской дѣятельности привыкъ любить каждую мелочь въ ней. Это признаніе очень знаменательно; въ самомъ дѣлѣ, быть можетъ именно пристрастіе къ литературнымъ мелочамъ и помѣшало ему взглянуть на дѣло объективнѣе и шире.

Какъ бы то ни было, г. Михайловскій обѣщаетъ все-таки представить наиболѣе выдающіяся черты нашей литературной физіономіи; но читатель съ первыхъ-же строкъ становится втушникъ, когда узнаѣтъ отъ нашего автора, что исходнымъ пунктомъ всей нашей новѣйшей исторіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и литературы, служить освобожденіе крестьянъ; это такъ-же странно, какъ если-бы съ не менѣе крупнаго события — освобожденія негровъ — считать начало новѣйшей исторіи и литературы Соединенныхъ Штатовъ; смѣлость такого заявленія поразитъ въ особенности читателя — европейца, привыкшаго смотрѣть на литературу каждого даннаго момента не какъ на отрывочное явленіе, вызванное тѣмъ или другимъ, хотя-бы крупнымъ, но единичнымъ, государственнымъ актомъ, а въ ея преемственной связи совсѣмъ сложнымъ запасомъ идей и формъ, выработанныхъ и выношенныхъ предшествовавшими поколѣніями. Между тѣмъ г. Михайловскій не только забываетъ эту преемственность, а какъ мы увидимъ ниже, прямо отрицаетъ ее; больше того, признаетъ таланты въ лицахъ Тургенева, Герцена, Достоевскаго и другихъ, ставшихъ славными далеко раньше эпохи реформъ, онъ говорить тѣмъ не менѣе, что литература того времени «*vivotait à peine*», объясняя это безсиліе съ одной стороны тягостнымъ административнымъ гнетомъ, съ другой отсутствіемъ у нихъ идеала. «Но вдругъ, продолжаетъ онъ, воспрянула идея освобожденія крестьянъ», на поверхность русской литературы и жизни всплыли высокіе таланты, великие умы въ сердца, удѣляя място и людямъ менѣе одареннымъ; дѣла было много для всѣхъ и, съ ослабленіемъ цензурныхъ стѣсненій, литература расправляетъ свои могучія крылья.

Что долженъ подумать европеецъ, читая этотъ горячій панегирикъ нашей новѣйшей литературѣ? Въ лучшемъ случаѣ онъ предположить, что по малому знакомству съ Россіей ему невѣдомы лучшіе перлы, далеко превосходящіе творенія тѣхъ немногихъ русскихъ писателей, могучій геній которыхъ заставилъ его съ любовью интересомъ заглянуть въ русскую душу. Но это благопріятное предположеніе врядъ ли удержится въ немъ, если онъ послѣдуетъ за г. Михайловскимъ дальше и отъ него-же узнаеть, что беллетристы периода реформъ, выйдя изъ болѣе низшихъ слоевъ общества, чѣмъ ихъ предшественники, не имѣли достаточного образованія и, по незнанію европейскихъ языковъ, не были даже знакомы съ европейской литературой и не владѣли искусствомъ художественной законченности своихъ трудовъ. Любезность автора по отношенію къ критикамъ того-же периода, имѣвшимъ въ своей средѣ, какъ онъ замѣчаетъ, въ противоположность беллетристамъ, людей очень образованныхъ, нисколько не умалить разочарованія европейца, такъ какъ положительное творчество составляетъ всегда главное богатство сколько нибудь жизненной литературы. Гдѣ-же обѣщанные великіе таланты и умы, порожденные небывалымъ подъемомъ духа, спроситъ онъ и усомнится въ вѣрности пониманія исторической перспективы со стороны г. Михайловскаго. Скорѣе всего однако, сонаставивъ вышеуказанное опредѣленіе исходнаго пункта всей русской новѣйшей литературы съ фактическимъ содержаніемъ остальной части статьи нашего автора и его хвалебными отзывами о пореформенной литературѣ, европеецъ придется къ заключенію, что слово литература на русскомъ языкѣ имѣсть какой-то особый самобытный смыслъ, какого оно не имѣть ни на одномъ изъ европейскихъ языковъ. Въ этомъ не разубѣдить его и приводимая авторомъ историческая параллель между пастроеніемъ русского общества послѣ крымской войны и французскаго — послѣ войны франко-пруссской.

Въ самомъ дѣлѣ, не смотря на совершившуюся послѣ войны реорганизацію всего строя Франціи, начиная съ перемѣны формы правленія, кончая крупными реформами въ государственномъ хозяйствѣ, администраціей, арміи, школѣ и даже церкви, не смотря на незнакомое намъ вѣчно напряженное чувство самосохраненія и настоящую задачу ежечасной обороны противъ врага, грозящаго не рабствомъ одному только сословію, а национальной смертью всему великому французскому народу съ его оригинальной культурой и высокой цивилизаціей, эти крупнейшіе практическіе вопросы или, лучше сказать, задачи дня, далеко не исчерпываются всѣмъ содержаніемъ французской литературы, а напротивъ заставляютъ лучшіе умы Франціи еще глубже вдумываться въ свое и міровое прошлое, иска вѣчные законы, управляющіе жизнью человѣческихъ обществъ и проявленіями человѣческаго духа—этого единственного творческаго начала въ жизни. Всякій, кто сколько-нибудь слѣдить за французской литературой, не можетъ не признать этой, чуждой предвзятаго отрицанія, глубокой вдумчивости въ явленія прошлаго и настоящаго, этого исканія верховнаго закона жизни; оно оказывается во всѣхъ родахъ литературнаго творчества, начиная съ философскихъ трактатовъ, кончая чисто художественными произведеніями, воплощающими въ образахъ смутные запросы жизни и мысли, которыми волнается современное человѣчество. Не даромъ же цвѣтъ французской науки, скептикъ Ренанъ и реалистъ-художникъ Золя, отдавая дань своей духовной связи съ французскимъ народомъ и обществомъ, какъ бы говорились въ чаяніи пріиществія новаго Мессія, который объединитъ въ общемъ синтезѣ науку, религию и жизнь и вновь сблизить и одухотворить общимъ идеаломъ бѣдняка и богатаго, гения и скромнаго труженика, какъ въ лучшія эпохи безраздѣльного торжества христіанства, когда внутренній человѣкъ царилъ надъ человѣкомъ вѣшнимъ, когда какой-нибудь слабый монахъ или вицѣй рыцарь, не страшася ни владыкъ земныхъ, ни толпы народной, словомъ или дѣломъ вѣщаль отважно истину. Неужели же Россія, вскормленная съ колыбели высокими завѣтами Христа, неужели она одна чужда этихъ высокихъ запросовъ духа, а литература ея всецѣло поглощена узко поставленными вопросами дня, какъ въ томъ тщится убѣдить французовъ нашъ почтенный критикъ. Нѣтъ, это напраслина на нашу родину. Правда, г. Михайловскій говорить, что литература наша не чужда идеальныхъ и этическихъ стремленій и вскорѣль упоминаетъ, что мы были знакомы и сражались со всѣми магиканами западно-европейской философіи; но что исповѣдовали мы или изобрѣли своего въ этой области, онъ не объясняетъ.

Дѣло въ томъ, что г. Михайловскій совершенно произвольно отождествляетъ литературу съ журналистикой и даже не съ журналистикой, или лучше сказать публицистикой вообще, а лишь съ однимъ ея лагеремъ, группировавшимъ въ «Современникъ», а главнымъ образомъ въ «Отеч. Запискахъ». Вотъ почему мы видимъ, что едва удостоивъ мелькомъ упомянуть «Вѣсты. Евр.» и «Русскій Вѣстникъ», пройдя совершенно мимо «Рус. Мысли», «Сѣверн. Вѣсты», «Слова», «Недѣли», «Дѣла», «Рус. Слова» и друг. журналовъ, изъ которыхъ нѣкоторые имѣли и имѣютъ свою опредѣленную физиономію и не менѣйший, если не большій кругъ читателей, да и не менѣе талантъ, чѣмъ «Отеч. Записки», г. Михайловскій тѣмъ не менѣе тщательно перечисляетъ лишь сотрудниковъ этого послѣднаго журнала вплоть до Мамина-Сибиряка включительно. Всѣ эти имена фигурируютъ въ статьѣ критика рядомъ съ крупными именами Некрасова и Щедрина, какъ единомышленники, тогда какъ Писаревъ, Достоевскій, Тургеневъ и Толстой названы отдельно, какъ будто произведенія ихъ не появлялись также на страницахъ того или другого журнала; это обоснованіе не помѣшало ему однако снабдить каждого изъ нихъ партійнымъ ярлыкомъ, причемъ Писаревъ черезъ родство съ Бѣлинскимъ причисляется къ лагерю «Современ.» и «Отеч. Записк.», Тургеневъ названъ либераломъ изъ прихода «Вѣстника Европы», а Достоевскій и Толстой представлены какими то выходящими изъ ряда талантливыми выродками, игравшими въ руку мистицизму (Толстой) и реакціонной прессѣ (Достоевскій) и если

и имѣвшихъ послѣдователей, то лишь «благодаря отсутствію самостоятельности въ русскомъ обществѣ».

Итакъ, отождествляя литературу съ журналистикой, г. Михайловскій если и подмѣщаетъ въкоторые слѣды исторической преемственности, то лишь въ области критики; исторические, этические, политические и философскіе взгляды былыхъ западниковъ и славянофиловъ кажутся ему «пустыми, безсодержательными фразами», разсѣявшимися, какъ туманъ подъ дѣйствиемъ солнца реформъ, не сгустившись даже хотя бы въ небольшое грозовое облако, какъ то бываетъ въ природѣ и какъ то мы знаемъ въ жизни въ видѣ ли повального увлечения идеальной миссіей освобождевія славянъ, въ видѣ ли массового хожденія въ народъ — этихъ своеобразныхъ крестовыхъ походовъ Руси. Какъ-бы то ни было единственнымъ вѣрнымъ, истиннымъ и вліятельнымъ выразителемъ русскихъ общественныхъ и литературныхъ теченій служить, по мнѣнію г. Михайловскаго, журналъ «Отечеств. Записки». Все, что было въѣ этого лагеря, или забыто имъ, или клеймится реакціоннымъ клеймомъ. Какъ же опредѣляетъ онъ направленіе этого органа? Онъ называетъ его соціалистическимъ, оговариваясь однако, что за отсутствіемъ городского пролетаріата, обычного объекта соціализма (въ узко-нѣмецкомъ смыслѣ слова, скажемъ мы отъ себя, французскій соціализмъ не забывалъ націи и человѣчества и лишь въ послѣднее время, да и то не всѣ его фракціи, мириются съ сословной постановкой вопроса) — и такъ, за отсутствіемъ городского пролетаріата, соціализмъ «Отеч. Запис.» долженъ быть обратить свои взоры на деревенскаго мужика, а такъ какъ Россіи недоставало не только городского пролетаріата, но и многаго другого, то «Отеч. Запис.» явились выразителями разныхъ «чаяній и надеждъ», поддерживая въ обществѣ вѣру въ будущее. Все это конечно вполнѣ почтенно, но даетъ все таки крайне смутное представленіе не только о русскихъ литературныхъ теченіяхъ вообще, но и не опредѣляетъ ни физіономіи самихъ «Отеч. Запис.», ни ихъ представленія о будущемъ. Итакъ, что воплощала литература послѣдняго времени? — соціализмъ, не въ городской, а на мужицкой подкладкѣ, иначе говоря — народничество, но и не народничество. Какія средства употребляла она для практическаго осуществленія своихъ чаяній? — указанія на практическія нужды дня, нужды деревни, для удовлетворенія которыхъ нечего было черпать, по мнѣнію автора, ни въ нашемъ національномъ прошломъ, ни даже въ теоретическихъ и практическихъ построеніяхъ Залада. Въ этомъ направленіи и критика, и публицистика, и сатира, и беллетристика «Отеч. Запис.» дружно шли обѣ руку, по увѣренію г. Михайловскаго. Но дѣйствительно ли это исчерпывало все содержаніе русской литературы, всѣ запросы русского общества? Не значило ли это на практикѣ — топтаться на одномъ мѣстѣ, расплыватьсь въ мелочахъ и низводить роль литературы на роль какого-то литературнаго департамента, вносящаго поправки къ проектамъ, вырабатываемымъ существующими казенными департаментами, занятymi тѣми же нуждами дня, предоставляемъ въ то же время обществу жить своей обособленной жизнью, пытаясь впрочемъ вѣрой въ будущее на основѣ непогрѣшимой формулы почтеннаго журнала! Вотъ къ чему приводить смышеніе понятій. Смышеніе литературы съ журналистикой. Въ особенности это вредно у насъ, гдѣ, за отсутствіемъ устойчивой исторической группировки общественныхъ силъ, общество не имѣть прямыхъ органовъ ни для выраженія своихъ духовныхъ стремленій, ни для непосредственной постановки своихъ практическихъ задачъ. Журналистика всѣхъ лагерей ни въ коемъ случаѣ не можетъ замѣнить общественнаго почина, тѣмъ болѣе, что въ пореформенное время, журнальные дѣятели стоять вѣрой прямого общенія съ жизнью; они такие же цеховые труженики, какъ и люди любой профессіи, а гдѣ цехъ, тамъ и цеховые интересы, прямо противоположные общественному почину. Отсюда и частая смѣя яко бы общественныхъ настроеній, всецѣло зависящая отъ того, какое изъ подраздѣленій литературнаго департамента успѣшнѣе поддерживаетъ и развиваетъ правительственную программу минуты и побѣдоноснѣе

бъть въ свой барабанъ. Цеховой отпечатокъ въ нашей журналистики (публицистикѣ) гораздо рѣзче сказывается, чѣмъ въ Западѣ, гдѣ каждый болѣе или менѣе серьезный журналъ или газета предоставляютъ писать по вопросамъ практическимъ лишь людямъ жизни — политическимъ и общественнымъ дѣятелямъ, а не лицамъ, обучающимся политикѣ и жизни только по книгамъ или по случайнымъ экскурсіямъ въ провинцію, какъ дѣлается у насъ. Отсюда и выходитъ, какъ вѣрно подмѣтилъ еще Щедринъ на судьбѣ своего собственного журнала, «что писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ» и нѣтъ между ними духовнаго единенія.

Вотъ если-бы г. Михайловскій чувствовалъ это такъ-же глубоко, какъ его старшій товарищъ, шире смотрѣвшій на литературу и жизнь, онъ не отождествляль бы ее съ журналистикой, онъ подмѣтилъ бы, что ни идеяная, ни практическая жизнь Россіи не исчерпывается «Отеч. Записками» и не исходить изъ тѣсныхъ рамокъ одного государственного акта, размѣнянаго журналистикой на мелкую monetу круговой поруки, безлошадья, насильственного запрещенія семейныхъ раздѣловъ и тому подобныхъ вопросовъ дня, которые яко-бы вдохновляли общество и составляли главное содержаніе русской литературы. Нѣтъ, жизнь нашей родины — духовная и материальная — идеть своимъ особымъ, гораздо болѣе широкимъ и глубокимъ течениемъ, источникъ которого лежитъ далеко, позади освобожденія крестьянъ и такъ или иначе цѣною крови и слезъ, порывами высокаго вдохновенія или низменнаго инстинкта, двигаестся впередъ или дѣлаетъ шагъ назадъ, творить геройскіе подвиги или тяжкіе преступленія, но въ общемъ никогда самодовольно не успокаивается на мелочахъ минуты, постигая безсознательно всосаннымъ историческимъ опытомъ, что мелочами не решить вопросовъ жизни; въ особенности это чувствуется въ столь серьезный исторический моментъ, какъ настоящій, глубокіе вопросы которого если и нашли гдѣ отзвукъ, то не въ публицистикѣ «Отеч. Запис.», съ ея государственно-соціалистическимъ пластыремъ, а скорѣе въ тѣхъ гигантахъ русской литературы, которыхъ г. Михайловскій считаетъ чуть-ли не беспочвенными выродками, предостерегая французовъ отъ ошибки считать ихъ выразителями русской душы и клеймя печатью духовнаго рабства искренній энтузіазмъ общества, вызываемый этими гордо замкнутыми писателями, никогда не искавшими популярности, но дорогими обществу своимъ высокимъ культомъ свободы духовной человѣческой личности. Въ этомъ культѣ — ихъ высокое обаяніе для всѣхъ, независимо отъ ихъ взглядовъ на тѣ пути и средства, всегда условныя и временныя, вѣчно движущія и перемѣнчивыя, черезъ посредство которыхъ человѣчество стремится достичь идеала. Въ этомъ высокомъ культѣ свободы — ихъ единство съ русскимъ народомъ, во всемъ его культурномъ и сословномъ разнообразіи, ненавидящимъ всякое наспілѣ, всякое посягательство на его духовное я.

Л. Д.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Помѣщаемъ ту часть статьи проф. Модестова о Петербургскомъ университѣтѣ, которая нами своеевременно не была напечатана, какъ не вполнѣ относящаяся къ дѣлу и притомъ не разработанная на основаніи всѣхъ имѣющихся свидѣтельствъ. Газетныя заявленія г. Модестова побуждаютъ настъ предать гласности эти нѣсколько страницъ — не въ качествѣ статьи журнала, а въ качествѣ интереснаго и притомъ нуждающагося въ коментаріяхъ документа.

Конецъ статьи проф. В. Модестова:

,С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ УНИВЕРСИТЕТЪ“.

Возвращаясь къ судьбамъ петербургскаго университета, естественно спросить себя, какъ отразилось на ходѣ дѣлъ его введеніе устава, такъ сильно расходящагося съ уставомъ 1863 года, которому, какъ это было раньше замѣчено, университетъ этотъ въ значительной степени былъ обязанъ пышнымъ расцвѣтомъ своей научной жизни и преподавательской дѣятельности?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ прежде всего слѣдуетъ сказать, что для исторіи дѣйствія новаго устава на жизнь русскихъ университетовъ еще не наступило время. Вполнѣ оно наступитъ тогда, когда переживаемый вами періодъ жизни уступитъ мѣсто другому, въ которомъ получать преобладаніе другіе взгляды и другія потребности. Жизнь идей, какъ и жизни самыхъ человѣческихъ обществъ, представляетъ собой постоянно смѣну прилива и отлива: въ извѣстный періодъ преобладаетъ одно теченіе, которое сначала все поднимается вверхъ, затѣмъ понижается и замѣняется другимъ, съ каждымъ происходитъ та же исторія. Было время для устава 1863 года, настало другое, болѣе благопріятное для устава 1884 года. Когда произойдетъ отливъ создавшихъ этотъ послѣдній, онъ будетъ замѣненъ новымъ уставомъ, который будетъ соотвѣтствовать новому теченію, какъ въ общей политикѣ, такъ и во взглядахъ на университетскую организацію, всегда стоявшихъ въ зависимости отъ общей политики. Вотъ въ это то время, т. е. когда переживаемый вами періодъ сдѣлается достояніемъ исторіи, и будетъ сказано все, что нужно, относительно вліянія на ходъ университетской жизни дѣйствующаго теперЬ устава.

Впрочемъ, что касается петербургскаго университета, можно положительно сказать, что перемѣна устава не причинила никакого ущерба его блестящему состоянію. Нынѣ дѣйствующій уставъ, произведшій столько перемѣнъ въ университетскомъ управлениі, ничѣмъ не стѣснилъ научной дѣятельности университетской коллегіи и предоставляетъ ей полную возможность развивать ее посредствомъ основанія новыхъ ученыхъ обществъ и ученыхъ издавай. Это главное. Лишь-бы въ университетѣ процвѣтала наука, остальное само собой придетъ рано или поздно въ надлежащее состояніе.

На цвѣтущее состояніе петербургскаго университета бросаютъ время отъ времени темную тѣнь студентскіе безпорядки. Безпорядки эти не только не прекратились съ введеніемъ въ дѣйствіе новаго устава, но въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ приняли небывалые размѣры. Самымъ печальнымъ событиемъ въ исторіи университета этихъ годовъ является злодѣйское покушеніе трехъ студентовъ, арестованныхъ 1-го марта 1887 года и злоумышлявшихъ съ разрывными снарядами въ

рукъ противъ жизни самого Государя. Ничего подобнаго столь безумнымъ замысламъ не представляли до тѣхъ поръ лѣтописи русскихъ университетовъ. Арестованные злоумышленники принадлежали, правда, университету всего нѣсколько мѣсяцевъ, поступивъ въ него лишь осенью предшествовавшаго года, но все-таки они были студенты университета, и это было не только для университетскаго начальства, но и для всей корпораціи заведенія крайне прискорбно. Начальствующій и преподающій персональ былъ погруженъ вслѣдствіе того въ немалое смушеніе. Смушеніе это выказалось между прочимъ въ двухъ актахъ, занесенныхъ крупными буквами въ лѣтопись университета. Первымъ изъ такихъ актовъ была рѣчь ректора И. Е. Андреевскаго, произнесенная 6-го марта въ актовомъ залѣ въ присутствіи попечителя учебнаго округа, его помощника, всѣхъ профессоровъ и преподавателей университета, а равно и массы студентовъ, которую едва вмѣстила огромная зала университета. Вотъ какъ началь свое обращеніе къ профессорамъ и студентамъ университета его главный представитель:

«Я собрать васъ, милостивые государи, съ тою цѣлью, чтобы здѣсь, въ вашей средѣ, найти хотя нѣкоторое успокоеніе отъ того страшно-подавляющаго горя, которое пало на нашъ университетъ. Я знаю, что оно давить васъ всѣхъ столь-же тяжко, какъ и меня. Я знаю, что въ томъ, что буду говорить, я выражу только общую, всѣмъ намъ одинаково принадлежащую, мысль, высшія, общія намъ чувства скорби и негодованія. Но въ этомъ-то общемъ, одинаковомъ нашемъ настроеніи только и можно искать средства примиренія съ непримиримъ и способа очищенія и обѣлѣнія опозореннаго учрежденія, нашего великаго учрежденія—университета...» Указывая далѣе на то, что подобное преступленіе просто невѣроятно со стороны питомцевъ университета, высказывая сокрушеніе, что эти «злосчастные», не успѣвшіе еще проникнуться благотворныемъ вліяніемъ университетской среды, вошли въ университетъ только для того, чтобы опозорить его, протестуя отъ лица всѣхъ студентовъ противъ возмутительного поступка трехъ отверженцевъ ихъ среды, онъ твердо заявляетъ, что «университетъ — учрежденіе національное, и въ немъ такъ-же широко, какъ растетъ раскрытие истины, растетъ и крѣпнетъ любовь къ отечеству и неразрывно съ нимъ связанныму и изстари о немъ пекущемуся монарху». Въ заключеніе покойный теперь ректоръ провозгласилъ, что весь университетъ, профессора и студенты, повергаютъ къ стопамъ Государя «чувствъ вѣрноподданнической преданности и горячей любви», въ каковомъ смыслѣ и будетъ составленъ все-подданѣйший адресъ Его Величеству. Рѣчь эта, сопровождавшаяся дружными рукоплесканіями, вызвала восторженные возгласы студентовъ, за которыми слѣдовало пѣніе народнаго гимна и громогласное «ура», долго оглашавшее университетскія стѣны.

Въ тотъ-же день на экстренномъ собраніи совѣта университета былъ единогласно принятъ и подписанъ слѣдующій адресъ:

«Ваше Императорское Величество, Государь Всемилостивѣйшій!

Три злоумышленника, недавно сдѣлавшіеся къ великому несчастію для С.-Петербургскаго университета, его студентами, своимъ участіемъ въ адскомъ замыслѣ и преступномъ сообществѣ нанесли университету невыносимый позоръ. Тяжко, скорбно, безвыходно! И въ эти горестные дни С.-Петербургскій университетъ, въ цѣломъ его составѣ, всѣ его профессора и студенты, ищутъ для себя единственного утѣшения въ милостивомъ, Государь, дозволеніи подвергнуть къ священнымъ стопамъ Вашего Величества чувства вѣрноподданнической преданности и горячей любви».

Государю Императору угодно было 12-го марта удостоить этотъ адресъ слѣдующей резолюціи:

«Благодарю С.-Петербургскій университетъ и надѣюсь, что на дѣлѣ, а не на бумагѣ только, онъ докажетъ свою преданность и постарается загладить тяжелое

впечатлѣніе, произведенное на всѣхъ участіемъ студентовъ въ преступномъ замыслѣ. Да благословить его Господь на все доброе!»¹⁾.

Ближайшими послѣдствіями преступнаго замысла трехъ студентовъ, для университета, были: оставленіе должности ректоромъ Андреевскимъ и назначеніе ректора Владиславлева (28-го мая), закрытие (12-го июня) состоявшаго въ университѣтѣ «студенческаго научнаго литературнаго общества», увольненіе и исключеніе въ теченіе каникулярнаго времени многихъ студентовъ изъ университета и опубликованіе въ августѣ новыхъ правилъ приема въ С.-Петербургскій университетъ, въ силу которыхъ въ 1887 — 1888 академическомъ году принимались въ число студентовъ этого университета только лица, получившія аттестаты зрѣлости въ гимназіяхъ С.-Петербургскаго округа, а изъ другихъ округовъ принимались только тѣ, родители, родственники или заступающія ихъ мѣста лица коихъ имѣютъ постояннное пребываніе въ С.-Петербургѣ и обязываются подпиской постоянно наблюдать за студентомъ, который въ такомъ случаѣ и долженъ непремѣнно жить съ ними. Относительно евреевъ при этомъ было сказано, что число ихъ должно составлять не болѣе 3% общаго количества студентовъ, принятыхъ на тотъ-же семестръ. Наконецъ, со всѣхъ принятыхъ въ августѣ 1887 года студентовъ плата за ученіе поднималась съ пяти рублей на двадцать пять. Всѣдствіе этихъ, принятыхъ къ уменьшенію числа студентовъ мѣръ, общая цифра студентовъ, бывшая къ 1-му января 1887 года 2525, а вольнослушателей 2627, къ первому января 1888 года понизилась до 2058, а въ вольнослушателяхъ до 2123.

1887-й годъ былъ вообще несчастнымъ годомъ не только для петербургскаго, но и для другихъ университетовъ; въ ноябрѣ и декабрѣ этого года поднялись волненія во всѣхъ русскихъ университетахъ, кроме Кіевскаго, где было спокойно со временеми крупныхъ сентябрьскихъ волненій 1884 года, приведшихъ къ увольненію всѣхъ студентовъ и къ временному закрытию университета. Бурныя волненія проявлялись сначала въ Москвѣ, потомъ въ Харьковѣ, Одессѣ, Казани и, наконецъ, въ Петербургѣ. Въ Москвѣ волненія приняли такие размѣры, что, какъ сообщалось отъ 3-го декабря въ «Правительственномъ Вѣстнике», приходилось въ Екатериненской больнице для разсѣянія сходокъ пустить въ ходъ жандармовъ и полицію, а въ Петербургѣ потребовалось ввести полицію даже изъ университета, чтобы укротить бушующихъ. Во всѣхъ этихъ университетахъ лекціи были приостановлены и возобновились въ слѣдующій семестръ не 15-го января, согласно уставу, а въ Москвѣ 21-го января, въ Харьковѣ 25-го, въ Одессѣ 29-го, въ Петербургѣ 30-го, а въ Казани, какъ сообщалось въ «Правительственномъ Вѣстнике», отъ 24-го января, лекціи должны были открыться между 1-мъ и 8-мъ февраля 1888 года. По случаю происходившихъ въ концѣ 1887 года беспорядковъ и изъ опасенія новыхъ, въ Петербургскомъ университетѣ актъ 8-го февраля былъ отмѣненъ.

Но какъ конецъ 1887 года былъ временемъ безпокойствъ для русскихъ университетовъ и въ частности для Петербургскаго, такъ осень 1888 года была для нихъ временемъ, когда учащаяся молодежь доставила много утѣшения своимъ начальникамъ и руководителямъ. Сначала студенты харьковскаго, затѣмъ студенты московскаго, наконецъ, петербургскаго университетовъ воспользовались случаемъ чудеснаго спасенія Царской семьи 17-го октября при крушениіи поѣзда на Харьково-азовской дорогѣ, чтобы доказать живѣйшую преданность своему Государю, съ восторгомъ встрѣчая Ихъ Величества и обнаруживая при видѣ ихъ радость, исполненную благородныхъ порывовъ юности. За это они удостоились выраженія черезъ министра народнаго просвѣщенія «особаго удовольствія» Государя Императора и Государыни Императрицы, которое и было петербургскимъ студентамъ сообщено ректоромъ университета посредствомъ особаго письменнаго объявленія за его подпись. Это

¹⁾ См. Отчетъ университета за 1887 г., стр. 3—4.

обстоятельство, вѣроятно, играло не маловажную роль въ распоряженіи министра пароднаго просвѣщепія, которымъ на 1889—1890 учебный годъ разрѣшался пріемъ въ петербургскій университетъ окончившихъ гимназіческій курсъ съ аттестатомъ зрѣлости и въ другихъ учебныхъ округахъ.

Но волненія и беспорядки среди русскихъ студентовъ обнаруживались и въ концѣ 1889 (въ Одессѣ) и въ началѣ 1890 года (въ разныхъ мѣстахъ). Въ «Правительственномъ Вѣстнике» отъ 30 марта сообщалось, что въ теченіе февраля и въ началѣ марта происходили беспорядки въ Петровской академіи, въ московскомъ и петербургскомъ университетахъ, въ петербургскомъ технологическомъ и лѣсномъ институтахъ, въ харьковскомъ ветеринарномъ институтѣ, а также, «хотя и незначительно», въ новоалександрийскомъ институтѣ сельского хозяйства и лѣсоводства. Изъ петербургскаго университета, согласно сообщенію того-же «Прав. Вѣстника», было тогда уволено 20 человѣкъ и 2 исключено.

Съ новымъ десятилѣтіемъ, въ которое петербургскій университетъ празднуетъ се-мидесятипятилѣтіе своей жизни, въ немъ мало-по-малу возстановилось среди учащейся молодежи спокойствіе, полноты котораго только ему и недоставало, чтобы тверже идти по пути процветанія, имъ достигнутаго еще въ предшествовавшую эпоху.

Какъ университетъ, не смотря на пертурбациі, имъ пережитыя въ послѣднєе двадцатипятилѣтіе, все растетъ умственно и какъ преподаваніе въ немъ все болѣе и болѣе усиливается, видно уже изъ того, что въ теченіе этого двадцатипятилѣтія онъ приобрѣлъ цѣлую сотню новыхъ преподавателей, а именно: къ пятидесятілѣтнему своему юбилею въ 1869 г. онъ имѣлъ 76 преподавателей; за годъ и даже за два до семидесятипятилѣтія онъ имѣлъ ихъ уже 175, а въ настоящій моментъ ихъ насчитывается? Къ тремъ, образовавшимся на основаніи устава 1863 г. ученымъ обществамъ при университѣтѣ, прибавились за двадцатипятилѣтіе новыя общества: нео-филологическое, историческое и русское антропологическое, а химическое общество, преобразованное въ русское физико-химическое общество, раздѣлилось на два самостоятельныхъ отдѣленія: химическое и физическое. Какъ университетъ обезпечень научными силами для своего развитія въ будущемъ, показываетъ то обстоятельство, что въ 1892 г., по отчету за этотъ годъ, значилось 102 лица, состоявшихъ въ означенному году при университѣтѣ для приготовленія къ профессорскому званію. Къ настоящему моменту, какъ слѣдуетъ полагать, число это еще болѣе увеличилось. Благодаря частымъ беспорядкамъ въ средѣ студентовъ и некоторымъ причинамъ виѣшиаго свойства, не такъ возросло число учащихся въ университѣтѣ, какъ это должно было бы быть, судя по росту ихъ въ нормальные годы. Къ началу 1869 г., т. е. ко времени пятидесятія, число студентовъ доходило до 944 человѣкъ, къ которымъ присоединилось еще 126 человѣкъ постороннихъ слушателей. Если взять во вниманіе, что число студентовъ доходило еще въ 1848 г. за 700 человѣкъ, что затѣмъ, спустившись въ силу распоряженія 1849 г. до 300 (это, впрочемъ была цифра только своекоштныхъ студентовъ), оно снова возросло къ концу учебнаго 1860—1761 гг. вѣдѣть съ вольнослушателями до 1442 человѣкъ, а безъ вольнослушателей до 1274 человѣкъ, то цифра 2306 человѣкъ, а съ вольнослушателями 2356, какая значилась къ 1-му января 1893 г., является очень не-значительною. Эта незначительность намъ покажется тѣмъ болѣе ненормальною, что еще къ 1-му января 1887 г. студентовъ въ петербургскомъ университѣтѣ числилось 2525, а съ вольнослушателями 2627 человѣкъ. На сравнительно низкую цифру студентовъ для такого университета, какъ петербургскій, повлияли въ теченіе его семидесятипятилѣтія жизни собственно три главныхъ обстоятельства: ограниченіе числа своекоштныхъ студентовъ распоряженіемъ 1849 г. цифрой 300 человѣкъ, закрытіе университета въ 1861 году, продолжавшееся для историко-филологического и юридического факультетовъ до 1863 года и ограниченіе приема въ университетъ воспитанниками гимназій одного петербургскаго округа въ 1887—1888, 1888—

1889 академическихъ годахъ. Впрочемъ, если мы сравнимъ цифру 2356 съ цифрой 20 своекоштныхъ слушателей, явившихся къ открытию курсовъ 5 ноября 1819 г., то и настоящая цифра студентовъ покажется громадною. Она была бы громадною и въ томъ случаѣ, еслибы была всего 2000, такъ какъ и тогда представляла бы собою за семидесять пять лѣтъ увеличеніе во сто разъ.

Разсмотрѣвъ въ бѣгломъ очеркѣ судьбы университета, мы естественно становимся лицомъ къ лицу съ вопросомъ: какое значеніе имѣетъ с.-петербургскій университетъ въ ряду другихъ русскихъ университетовъ и вообще среди учрежденій, созданныхъ для высшаго образованія и научнаго изслѣдованія?

На вопросъ этотъ безъ колебанія можно отвѣтить такъ: С.-Петербургскій университетъ имѣетъ значеніе передового поста науки въ Россіи и въ то же время представляется собой высшее учебное заведеніе, где русскій юноша можетъ получить наиболѣе законченное образованіе въ своемъ отечествѣ. Это будетъ совершенно понятно, если мы представимъ себѣ, что университетъ этотъ, съ первого своего момента обставленный выдающимися учеными силами, переданными ему цѣликомъ Главнымъ Педагогическимъ Институтомъ, имѣя подъ бокомъ Академію Наукъ, которой онъ давалъ наиболѣе членовъ и съ которой всегда стоялъ поэтому въ близкихъ отношеніяхъ, находясь вообще въ центрѣ умственной жизни Россіи и потому безъ труда привлекая въ число своихъ дѣятелей цѣльѣ русской науки, естественно долженъ стоять впереди другихъ подобныхъ учрежденій и быть для нихъ въ той или другой степени указателемъ движенія. Все это, разумѣется, сказано, какъ выражаются im Ganzen und Grossen и подлежитъ въ подробностяхъ разнымъ ограниченіямъ. Бывали для петербургскаго университета времена упадка, каково было время попечительства Рувича, или каково было время послѣ 1848 года, до окончанія крымской войны, и онъ, такими образомъ, не всегда находился на высотѣ своего положенія; долгое время, можно сказать до пятидесятихъ годовъ, оспаривалъ у петербургскаго университета первое мѣсто московскій, у которого и въ самомъ дѣлѣ до того времени юридическій и филологическій факультеты, пожалуй, были въ общемъ сильнѣе; бывали по временамъ на той или другой каѳедрѣ представители значительнѣе петербургскихъ даже въ провинціальныихъ университетахъ, особенно въ казанскомъ, где обыкновенно процвѣтали математика, астрономія, естественные науки (химія, зоология) и отчасти въ кіевскомъ и даже харьковскомъ; въ нѣкоторыхъ научныхъ областяхъ, какъ, напр. въ философіи, не говоря о богословскихъ наукахъ, всегда были сильнѣе духовныя академіи, особенно кіевская, московская и петербургская, давшія къ тому же, прямо или косвенно, не мало профессоровъ (и между ними были люди первостепеннаго значенія) всѣмъ вашимъ университетамъ; но и при всѣхъ этихъ ограниченіяхъ петербургскому университету принадлежитъ между высшимъ учебными заведеніями Россіи текущаго столѣтія первое мѣсто.

Главную силу петербургскаго университета почти во все время его исторіи составляли, какъ мы на это уже указывали, математическая и естественная науки. Кромѣ естественной склонности русскаго ума къ подобнымъ наукамъ, на что было указываемо нерѣдко и иностранцами, и что свидѣтельствуется всей исторіей нашей науки, начиная съ Ломоносова па развитіе хорошаго состоянія преподаванія этихъ наукъ въ петербургскомъ, какъ и въ другихъ университетахъ, дѣйствовало еще то, что науки эти всего менѣе страдали отъ пертурбаций, которымъ время отъ времени подвергались извѣнѣ наши университеты. При всѣхъ перемѣнахъ, какимъ подвергались университетскіе уставы и самое преподаваніе, пекомитетнѣя руки всего менѣе касались математики и естествознанія, чтобы подчинить ихъ какимъ-либо особымъ теоріямъ или ограничепіямъ. Прибавлялись каѳедры, преподаваніе расширялось, специализировалось, шло своимъ нормальнымъ ходомъ, удовлетворяя все болѣе и болѣе потребностямъ науки, а не съуживалось и не искажалось, какъ это было съ философіею, и не искалѣчивалось посредствомъ отсѣченія извѣстныхъ частей,

въ родѣ естественного права и исторіи важнѣйшихъ иностраннѣхъ законодательствъ, какъ это было съ науками юридическими. Наука для своего правильнаго развитія требуетъ постоянства ученой обстановки, непрерывности теченія, преемственности въ разработкѣ и преподаваніи; только при этихъ условіяхъ можетъ образоваться ея надлежащій культъ, школа, преданіе. Математика въ петербургскомъ университѣтѣ была поднята на высоту, подобающую столичному университету, еще профессоромъ Сомовымъ, начавшимъ въ 1841 г. еще адъюнктомъ читать высшую алгебру, обѣ тригонометріи, аналитическую и начертательную геометрію и теорію опредѣленныхъ алгебраическихъ уравненій высшихъ степеней и занявшимъ въ 1847 г. профессорскую каѳедру прикладной математики. Но еще въ 1846 г. вступилъ въ качествѣ представителя чистой математики въ петербургскій университетъ академикъ Буняковскій, имѣвшій къ тому времени уже громкую извѣстность, а вслѣдъ за нимъ (1847) взошло на каѳедру и громкое, яркое свѣтило математического факультета, вскорѣ сдѣлавшійся знаменитымъ геометромъ П. Л. Чебышевъ, истинный создатель блестящей математической школы въ петербургскомъ университѣтѣ. Химія, другая слава петербургскаго университета, была поставлена на хорошую ногу еще профессоромъ Воскресенскимъ, читавшимъ главного педагогического института, затѣмъ ученикомъ Магнуса и Либиха, начавшимъ свои лекціи въ 1839 г. Въ его школѣ образовался цѣлый рядъ извѣстнѣйшихъ русскихъ химиковъ, между которыми достаточно указать на Н. Н. Соколова, Н. Бекетова, и на двухъ главнѣйшихъ нынѣшнихъ представителей химіи въ петербургскомъ университѣтѣ Менделѣева и Меншуткина. Но къ этой блестящей школѣ въ концѣ шестидесятихъ годовъ присоединилось еще новое украшеніе каѳедры въ лицѣ создателя особой химической школы, бывшаго казанскаго профессора А. М. Бутлерова. Присутствіе въ факультѣтѣ частію одновременное, частію преемственное, ученыхъ столь выдающагося значенія, представителей важнѣйшихъ каѳедръ въ факультѣтѣ въ связи съ значительными представителями къ другимъ каѳедрамъ, между которыми изъ числа умершихъ, чтобы не называть главныхъ, можно указать на астронома Савича, зоолога Степ. Куторгу, ботаника Ценковскаго, такъ выдвинуло физико-математический факультѣтъ петербургскаго университета не только изъ ряда другихъ факультетовъ другого университета, но и изъ ряда физико-математическихъ факультетовъ другихъ университетовъ, что первенство его среди тѣхъ и другихъ сдѣжалось безспорнымъ, и, вероятно, останется таковymъ на долгое время.

Историко-филологій факультѣтъ можетъ выставить, какъ свою неоспоримую славу, имена Грефе, М. Куторга, Срезневскаго, Минаева, имена первостепенного въ русскомъ университѣтскомъ мірѣ значенія, а равно съ гордостью указать на нѣсколькихъ изъ нынѣ живущихъ и дѣйствующихъ профессоровъ, которымъ не легко найти равныхъ въ другихъ университетахъ; юридическій—имѣлъ своими представителями Неволина, Пахмана, Градовскаго, да и въ настоящее время имѣть не одного достойнѣйшаго представителя, хотя, можетъ быть, въ общемъ онъ и не такъ блестяще обставленъ, какъ можетъ и долженъ быть обставленъ научными силами юридическаго факультета первенствующаго университета въ Россіи. Изъ ряда всѣхъ другихъ русскихъ университетовъ петербургскій университетъ выдѣгивается еще своимъ факультетомъ восточныхъ языковъ, где собрано столько специалистовъ по изученію азіатскихъ языковъ, сколько ихъ едва-ли можетъ выставить какой-бы то ни было университетъ въ Европѣ. Что въ этомъ факультѣтѣ, созданномъ лишь въ 1854 году, хотя преподаваніе нѣкоторыхъ азіатскихъ языковъ началось съ самаго начала существованія университета, были и есть люди первостепеннаго значенія, это извѣстно каждому. Существованіе восточнаго факультета придастъ не мало блеска и значенія петербургскому университету уже тѣмъ однимъ, что факультѣтъ этотъ есть единственный не только у насъ, но въ цѣлой Европѣ, именно, какъ факультѣтъ университета. А не какъ специальная школа. Отсутствіе же въ немъ

медицинскаго факультета, излишняго при существованіи медицинской академіи въ Петербургѣ, служитъ только къ избавленію университета отъ тѣхъ неудобствъ, ко-
торыя причиняеть медицинскій факультетъ другимъ русскимъ университетамъ. Съ
одной стороны, медицинскій факультетъ слишкомъ, такъ сказать, громоздокъ и
слишкомъ много занимаетъ мѣста въ университетѣ сравнительно съ другими факуль-
тетами, съ другой—нерѣдко вноситъ въ учченую среду по своему болыше практиче-
скому, чѣмъ теоретическому характеру, атмосферу интересовъ, которыхъ лучше не
имѣть университету. Отсутствію медицинскаго факультета петербургскій универси-
тетъ въ значительной степени обязанъ той высотѣ товарищескихъ отношеній въ
профессорской коллегіи, которой еще нѣть въ другихъ нашихъ университетахъ и
которая съ своей стороны также даетъ ему рѣшительное преимущество предъ всѣми
остальными русскими университетами.

Наконецъ, особое преимущество, которымъ петербургскій университетъ отли-
чается передъ своими русскими собратами, заключается въ томъ, что обучающееся
въ немъ юношество проводить годы своего учченія въ болыше культурной обстановкѣ,
чѣмъ юношество другихъ русскихъ университетовъ, не исключая и московскаго. Не
только по большому обилію образовательныхъ средствъ въ видѣ библіотекъ, музеевъ,
лабораторій и т. п., но и по большему развитію своей общественной среды, по
большей сложности и разнообразію дѣйствующихъ въ немъ интересовъ и стремленій,
Петербургъ представляеть и лучшую среду для разностороннаго умственнаго разви-
тія, и лучшую школу для подготовленія къ практической жизни. Ученымъ человѣ-
комъ можно сдѣлаться, разумѣется, во всякомъ университетскомъ городѣ, но полу-
чить надлежащую полноту развитія и въ умственномъ, и въ эстетическомъ, и въ
соціальномъ смыслѣ, усвоить себѣ широкіе интересы общественной жизни можно
всего легче и вѣрѣ лишь въ городѣ, служащемъ сосредоточіемъ государственной
жизни, гдѣ съ наибольшей полнотой представлены всѣ интересы, гдѣ общественная
жизнь выше по тону и напряженіѣ по стремленіямъ, гдѣ вся жизненная обста-
новка шире и разнообразнѣе, гдѣ вся окружающая среда культурнѣе. Не эта ли
притягательная сила болыше широкаго и неизбѣжнаго умственнаго центра, между
прочимъ, и манить въ нашу непривлекательную по своему климату столицу ежегодно
сотни юношесъ со всѣхъ концовъ нашей обширной имперіи, съ Кавказа и изъ Бесса-
рабіи, съ береговъ нижней Волги, Сибири, изъ центральной и южной Россіи, юпо-
шай, которые предпочитаютъ далекій университетъ города Петра Великаго своимъ
ближайшимъ университетамъ, своимъ естественнымъ центрамъ притяженія!

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

(Инцидентъ на юбилеѣ г. Скабичевскаго).

24-го марта праздновался въ одномъ изъ петербургскихъ ресторановъ тридцатипятилѣтній юбилей литературной дѣятельности г. Скабичевскаго обѣдомъ по подпискѣ, о чѣмъ было объявлено въ газетахъ. Наканунѣ этого дня я сдѣлалъ заявленіе съ просьбою внести меня въ списокъ обѣдающихъ. 24-го числа ровно въ 6 ч. вечера я приѣхалъ въ ресторанъ, где былъ встрѣченъ двумя распорядителями — гг. В. Острогорскимъ и Песковскимъ, которые сообщили мнѣ, что мѣста все разобраны, что мое заявленіе было имъ передано слишкомъ поздно и что они уже послали мнѣ обѣ этомъ извѣщеніе. Повѣривъ этимъ словамъ, сказаннымъ въ обычномъ тонѣ любезныхъ извиненій, я направился къ выходу. гдѣ былъ остановленъ извѣстнымъ артистомъ с.-петербургской Александрійской сцены г. В. П. Далматовымъ, который, не скрывая своего сочувствія мнѣ и своего возмущенія проишшедшемъ, сказалъ мнѣ, что въ публикѣ распространился слухъ о какой то сенсаціонной и неурядной телеграммѣ, будто-бы посланной мною юбиляру. Почтенный артистъ, желавшій, повидимому, устранить произошедший инцидентъ, вызвалъ ко мнѣ нѣкоторыхъ другихъ литераторовъ для объясненій, но убѣдившись изъ ихъ словъ, что извинительныя отговорки гг. распорядителей дѣйствительно стояли въ связи съ упомянутымъ слухомъ, я поспѣшилъ уйти изъ ресторана. Придя домой, я нашелъ у себя никѣмъ не подписанное и не вполнѣ грамотно средактированное письмо слѣдующаго содержанія: «Распорядители обѣда въ честь XXXV-лѣтія А. М. Скабичевскаго считаютъ необходимымъ уведомить г. Волынскаго, что ему мѣста на обѣдѣ въ настоящее время (?) предоставлено быть не можетъ». Въ виду всего сказанного считаю нужнымъ заявить слѣдующее: мною дѣйствительно было послано г. Скабичевскому въ утро его юбилейнаго дня письмо, которое, по моему мнѣнію, должно было служить выраженіемъ очень простаго человѣческаго сочувствія къ многою потрудившемуся литератору и никакимъ образомъ не могло оскорбить его въ какомъ бы то ни было отношеніи. Привожу это письмо цѣликомъ.

Многоуважаемый Александръ Михайловичъ!

Въ день тридцатипятилѣтія Вашего служенія русскому обществу на поприщѣ литературы считаю долгомъ выразить Вамъ мое глубокое уваженіе въ немногихъ строкахъ этого письма, въ которыхъ едва ли отразится то, что мнѣ хотѣлось бы сказать именно по поводу Вашего юбилея. Тридцать пять лѣтъ работать въ области русской критики, тридцать пять лѣтъ, изо дня въ день, слѣдить за ходомъ нашей умственной культуры, за мѣняющимися теченіями русского искусства — и твердо, не измѣняя свою мѣру убѣжденіемъ, держаться на занятомъ Вами литературномъ посту, я думаю — это настоящій нравственный подвигъ, въ оцѣнкѣ котораго должны сойтись всѣ работники русской печати. Мнѣ кажется — я знаю все, что Вами написано, все, что Вами было высказано принципіальноаго по различнымъ вопросамъ общественнаго характера, и вотъ, мысленно обозрѣвая совершенный Вами длинный и трудный путь, я не могу не сказать съ полнымъ убѣжденіемъ: тутъ была большая умственная энергія и та высокая порядочность, которой не подкупишь никакими посторонними соображеніями и не заманишь на фальшивую дорогу никакими вѣшними, показными тенденціями. Вы трудились, какъ призванный человѣкъ, и вкладывали душу въ то, что писали.

Съ особеннымъ удовольствиемъ я буду всегда вспоминать тотъ краткій періодъ времени, когда я работалъ рядомъ съ Вами въ одномъ и томъ же отдѣлѣ журнала и когда Вы обнаруживали столько истинно интеллигентной терпимости къ чужимъ воззрѣніямъ и убѣжденіямъ, съ которыми, быть можетъ, не могли сходиться на почвѣ эстетической и философской. Въ области теоретическихъ понятій Вы никогда не были узкимъ партизаномъ и, при условіи гражданственной солидарности, умѣли съ уважениемъ относиться къ чужимъ методамъ критического изслѣдованія. Вотъ что дѣлаетъ Васъ особенно дорогимъ въ моихъ глазахъ, и въ день, когда люди Вашего круга тѣсно сплотятся около Васъ, я — при всемъ различіи нашихъ отвлеченныхъ вѣрованій — не могу не присоединить и моего сочувственного слова къ общимъ поздравленіямъ и пожеланіямъ. Будемъ надѣяться, что Вамъ предстоитъ еще долго трудиться въ области русской литературы, которую Вы обогатили многими цѣнными трудами и которая считаетъ Васъ въ рядахъ своихъ честнѣйшихъ работниковъ.

Съ сердечнымъ почтеніемъ А. Волынскій.

Мнѣ думается, что для безпристрастныхъ людей тутъ все должно быть ясно: и то, въ чемъ я схожусь съ г. Скабчевскимъ, за что ему сочувствую и то, въ какихъ областяхъ я съ нимъ расхожусь. Мнѣ думается также, что во всякомъ истинно-интеллигентномъ обществѣ съумѣли бы понять всю естественность моего поступка и всю безобидность моего упоминанья о нѣкоторыхъ теоретическихъ разногласіяхъ въ нашихъ убѣжденіяхъ. Но гг. распорядители юбилейнаго обѣда очевидно думаютъ

иначе: очевидно они полагаютъ, что эстетическая и философская разногласія должны быть непремѣнно позорны или обидны для одной изъ сторонъ. Очевидно—пбо иначто, кромѣ моихъ чисто теоретическихъ взглядовъ, открыто выражаемыхъ мною во всѣхъ моихъ статьяхъ съ одинаковою послѣдовательностью во весь періодъ моего участія въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» (и до сотрудничества въ этомъ журналь г. Скабичевскаго, и во время его сотрудничества и въ самые послѣдніе годы), иначто кромѣ теоретическихъ разногласій, о которыхъ я говорю въ письмѣ, не стоитъ между нами. Но если гг. распорядители думаютъ, что мои взгляды непремѣнно заслуживаютъ протеста съ ихъ стороны и что людямъ, мало значущимъ въ литературѣ, умѣсто пользоваться своей властью на обѣдѣ для выраженія принципіального раздора, то почему они сочли возможнымъ извиняться, расшаркиваться и лгать, ссылаясь на несуществующія препятствія? Можно еще допустить нетерпимость, даже раздраженіе, вызванное принципіальными разногласіями въ какой либо области, но нельзя же отвернуться съ пренебреженіемъ отъ людей, которые берутся за литературный протестъ, только вооружившись распорядительскимъ бантикомъ и которые въ критическую минуту уклоняются отъ правдивыхъ объясненій и отдаѣются трусливыми, формальными фразами и анонимными извѣщеніями.

А. Волынскій.

С.-Петербургъ, 24 марта.

Книги, поступившія для отзыва въ редакцію „Сѣвернаго Вѣстника“ въ теченіе марта мѣсяца.

Агаповъ. Д. В. Подробное решеніе и объясненіе типическихъ задачъ по архом. Оренб. 1894. Ц. 50 к.

Его же. Искусственные способы решенія уравн. 2-ой ст. со многими неизв. Оренб. 1894. Ц. 60 к.

Его же. Решеніе нѣкот. геометр. задачъ помощью теоремы Агапова. Оренб. 1894. Ц. 35 к.

Его же. Решеніе треугольн. помощью теоремы Агапова. Оренб. 1894. Ц. 85 к.

Аксаковъ. А. Н. Анилизъ и спиритизмъ въ отвѣтъ Э. ф.-Гартману. Спб. 1893. Ц. за 2 т. 3 р.

Ауэрбахъ. Спиноза. Пер. А. Г. Сахаровой. Спб. 1894. Ц. 80 к.

Бальмонтъ. Подъ сѣвернымъ небомъ. Сочеты. Спб. 1894. Ц. 50 к.

Бинзъ. Вопросъ о цвѣтѣ помѣнѣ слуха. Пер. Д. Н. Ц. 50 к.

Бертенсонъ. Путевые замѣтки агронома. Спб. 1894. Вып. I и II. Ц. за оба вып. 1 р. 25 к.

Беэръ. В. А. Комментарий новыхъ прописиальныхъ учреждений 12 июля 1889 г. Ч. I. М. 1894. Ч. 1 р. 75 к.

Боголѣбовъ. И. П. Грамотность среди дѣтей школьнаго возраста въ Московск. и Можайск. уѣздахъ Московск. губ. М. 1894. Ц. 75 к.

Броннеръ и Лобачевскій. Казань. 1893.

Брюсовъ и Миропольскій. Русскіе символисты. М. 1894.

Васильевъ. А. Николай Ивановичъ Лобачевский. Казань. 1894.

Васильевъ. Первый спонъ. Елизаветградъ. 1894. Ц. 25 к.

Веселовскій, Александръ. Боккачіо. Т. I. Спб. 1893.

Гай-Юлій-Цезарь. Записки о галльской войнѣ. Пер. В. Е. Рудакова. Спб. 1894. Ц. 60 к.

Гrimmъ, бр. Библиотека сказокъ. Кн. III. М. Ц. 20 к.

Демченко, Г. В. Наказанія по літovскому статуту. Кіевъ. 1894. Ц. 1 р. 75 к.

Дергуновъ. В. Г. Таблица, показывающая прогонныхъ депегъ, причитъ лицъ, юдиицъ по почт. тр. и ж. д. Елизаветполь. 1893.

Житомирскій. Аргентина. Географич. обзоръ. Вильна. 1893. Ц. 20 к.

Зайдеманъ. Что такое аптека? Одесса. 1894.

Зографъ, Н. Ю. Труды отдѣла антропологии. Т. XV. М. 1892. Ц. 5 р.

Іоэльсонъ, М. Д. Пробковый дубъ, его разведеніе и эксплуатациія. Тифлісъ. 1894.

Калидаса. Сакунтала. Пер. С. Эйгесъ. Спб. Ц. 25 к.

Китаевъ. Извлеченіе золота въ Южной Африкѣ. Спб. 1894. Ц. 3 р.

Кернъ, Э. Э. Овраги, ихъ закрѣпленіе, обсыпаніе и запружненіе. М. 1894. Ц. 75 к.

Кетлеръ, І. Что такое женская эмансипація? Пер. І. Науменко. 1893. Ц. 15 к.

Кожевниковъ. Безцѣльный трудъ «Недѣлья или дѣло». М. 1894. Ц. 20 к.

Кояловичъ, М. О. Исторія русскаго самознанія. Изд. 2-ое. Спб. 1893.

Коломійцевъ, Даніїлъ. Стихотворенія. Изд. 2-ое. Спб. 1894.

Корнигъ, Т. Г., д-ръ. Нервный вѣкъ и первое поколѣніе. Пер. съ птм. Одесса. 1894. Ц. 40 к.

Коринфскій, Аполлонъ. Пѣсни сердца. Стихотворенія 1889—1893. Москва. 1894.

Коровяковъ, Д. Вокругъ театра. Спб. 1894. Ц. 1 р. 50 к.

Короленко, В. Въ дурномъ обществѣ. Изд. «Посредника для инт. чит.». М. 1894. Ц. 35.

Коршъ, М. Краткій словарь миѳологіи и древности. Спб. 1894.

Ланге, Н. Н. Психологическая наслѣдованія, законъ перцепціи, теорія волеваго виниманія. Одесса. 1893. Ц. 2 р.

Лапинъ. Около постройки сибирской жел. дороги. Хабаровскъ. 1894.

Левитовъ, И. Сибирскіе коршуны. Спб. 1894. Ц. 25 к.

Левицкій, О. И. 50-ти-лѣтіе кіевской комиссіи для разбора древ. актовъ. 1843—1893. К. 1893.

Макіевскій, д-ръ. Гигієническая бенѣды. М. 1894. Ц. 30 к.

Мищенко, Ф. Г. Изученіе аптичнаго міра въ зависимости отъ успѣховъ науки и просвѣщенія. Казань. 1893.

Его же. Краткій очеркъ греческой литературы. Кіевъ. 1893. Ц. 1 р. 50 к.

Михайлова, А. Изъ трясины на дорогу. Изд. Междунар. бібліотр. бібліот. Штутгартъ.

Мольеръ. Мѣщанинъ во дворянствѣ. Пер. Лихачева. Спб. Ц. 15 к.

Мартинсонъ. Укусъ. Спб. 1893. Ц. 1 р.

Никиторовъ, Н. К. Въ пріятной компаніи. Шуточки. и юморист. стихотв. Спб. 1894. Ц. 2 р.

Нелидовъ, Л. М. Письма о балетѣ. М. 1894. Ц. 50 к.

Немировичъ-Данченко, Вас. Большое сердце. Пов. Изд. «Посредника для интел. чит.». М. 1894. Ц. 20 к.

Нефедовъ, Ф. Д. Сочиненія. Т. I. М. 1894.

Пельти, К. Счастье. Пер. Александра Осторогорского. Спб. 1894. Ц. 50 к.

Порошинъ, Ив. Разсказы. Спб. 1894. Ц. 1 р.

Предтеченскій. Звѣздный міръ. Спб. 1894. Ц. 30 к.

Смирновъ, А. И., проф. Эстетика, какъ наука о прекрасномъ въ природѣ и искусствѣ. Учнв. чтенія. Каз. 1894. Ч. 1 р. 25 к.

Соловьевъ. Исторія Россіи съ древнійшихъ временъ. Кн. 1-ая. Т. I—V. Спб. 1894. Ч. 6 р. 50 к.

Startschewsky. Guide de Conversation Franco-russe. St.-Рѣ 1894.

Фалькенбергъ. Исторія новой философіи. Пер. студ. Спб. уннв. подъ ред. проф. А. П. Введенскаго. Спб. 1894. Ц. 3 р.

Фигъе. Подъ водой. Спб. 1894.

Фламаронъ. Что такое небо? Спб. Ц. 30 к.

Его же. Копецъ міра. Спб. Ц. 15 к.

Фуллье, Альфонсъ. Исторія философіи. Пер. П. Николаева. М. 1894. Ч. 3 р.

Цицеронъ. 1-ая и 2-ая рѣчи противъ Катилины. Объясн. Авг. Гофманъ, ч. I — текстъ, ч. II — комментарии. Спб. 1894. Ч. 80 к.

Шараповъ, Сергій. Франція и славянство. Спб. 1894.

Шатобранъ, Ф. А. Ренз. Эвдоръ и Веллада. Пер. Н. П. Чайко. Спб. 1894. Ц. 20 к.

Шахрай, Л. М. Борьба Мардохея съ Аманомъ. Од. 1894. Ц. 15 к.

Шеллеръ, А. К. (А. Михайловъ). Полное собр. сочин. Т. I. Спб. 1894. Ц. 2 р.

Шербюлье, Викт. Искусство и природа. Пер. М. Калмыкова. Спб. 1894. Ч. 1 р. 50 к.

Штейнфельдъ. О единстве всѣхъ явлений природы. Екатеринб. 1893.

Щегловъ, Ив. Убыль души около птицы. М. Ц. 1 р.

Его же. Сквозь дымку смѣха. Ч. 1 р.

Щеголевъ, В. Н. Женщина-телеграфистъ въ Россіи и заграницей. Спб. 1894. Ч. 60 к.

Эрбъ, В., д-ръ. Объ успевающейся первности нашего времени. Спб. 1894. Ч. 50 к.

Врачебное искусство и медицинская наука. Перев. съ нѣм. Одесса. 1894. Ч. 25 к.

Въ мартовской книжкѣ «Сѣверного Вѣстника», въ статьѣ П. Д. Боборыкина *Дѣло славянскія повѣсти* вкрались слѣдующія опечатки:

Стр. 78, 19-я строка снизу, напечатано: «Пушкинъ написалъ чудесные стихи якобы пѣз Тинdemana», вм. «.... якобы изъ *Цинденомите*».

Стр. 79, 11-я строка сверху, напечатано: «до конца 1843 г.», вм. «до конца 1893 г.».

Доброе дѣло. Сборникъ повѣстей и рассказовъ. Изд. «Посредника для интел. читат.». М. 1894. Ц. 90 к.

Докладъ соединенной комиссіи Спб. общест. психиатровъ и юридического по вопросу объ организ. психіатр. изученія прест. класса. Спб. 1894.

Докладъ Орловской губернскай земской управы о прод. статист. работѣ. Орель. 1894.

Законъ о векселяхъ и упрощенный порядокъ судопроизводства. М. 1894. Ц. 30 к.

Изъ переписки крестьянъ и деревенской интелигентіи съ агрономами. М. 1894. Ц. 75 к.

Материалы по статистикѣ Вятской губерніи. Т. VIII. Ч. I. Т. IX. Ч. II. Т. X. Ч. II.

Материалы по описанію промысловъ Вятской губ. Вып. V. 1893. Ц. 1 р.

Между прочимъ. Сборникъ рассказовъ: Чехова, Гиѣдича, Щеглова, Потапенко, Щепкиной-Куперникъ, Гомовскаго, Михеева. М. 1894. Ц. 80 к.

Нижегородскій домъ трудолюбія за 1893. Ижн.-Новг. 1894.

Отчетъ совѣта общ. попечепія о начальномъ образованіи въ г. Омскѣ за 1893 г. Омскъ. 1894.

Отчетъ правленія общества взаимного вспоможествованія прикащиковъ - евреевъ г. Одессы за 1893 г. Од. 1894.

Отчетъ и доклады торгово-промышленн. музея кустарей за 1892 г. М. 1893.

Отчетъ всчисл. доходности земель Дмитровскаго уѣзда Орлов. губ. Ор. 1894. Ц. 1 р.

Отчетъ общестна попеч. о начальномъ образов. за 1892 г. Томскъ. 1893.

Отчетъ о пародныхъ чешеняхъ въ Харьковѣ за 1892—93 учебный годъ. Харьковъ. 1894.

Очеркъ продовольственнаго обезпечения населенія Херсонскаго уѣзда 1891—92 г. Хер. 1893.

Очеркъ сельско-хозяйственныхъ мѣропріятій Вятскаго губ. земства. Вят. 1893.

По поводу первого 10-ти-лѣтія со дня основ. московск. общества собир. почтов. марокъ. М. 1894.

Протоколъ Омскаго медицинскаго общества.

Руководство къ ферротипіи для фотографовъ и любителей. Спб. 1893. Ц. 40 к.

Сборникъ статистич. свѣдѣній по Орловской губ. Т. VII. Вып. I. Орель. 1894. Ц. 1 р.

Сборникъ статистич. свѣдѣній о Тверской губ. Т. VIII. Ч. 2 р. и IX. Ч. 2 р.

AP
50
357
1894
no.4

Sievernyi viestnik

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

